А. Д. Скалдин

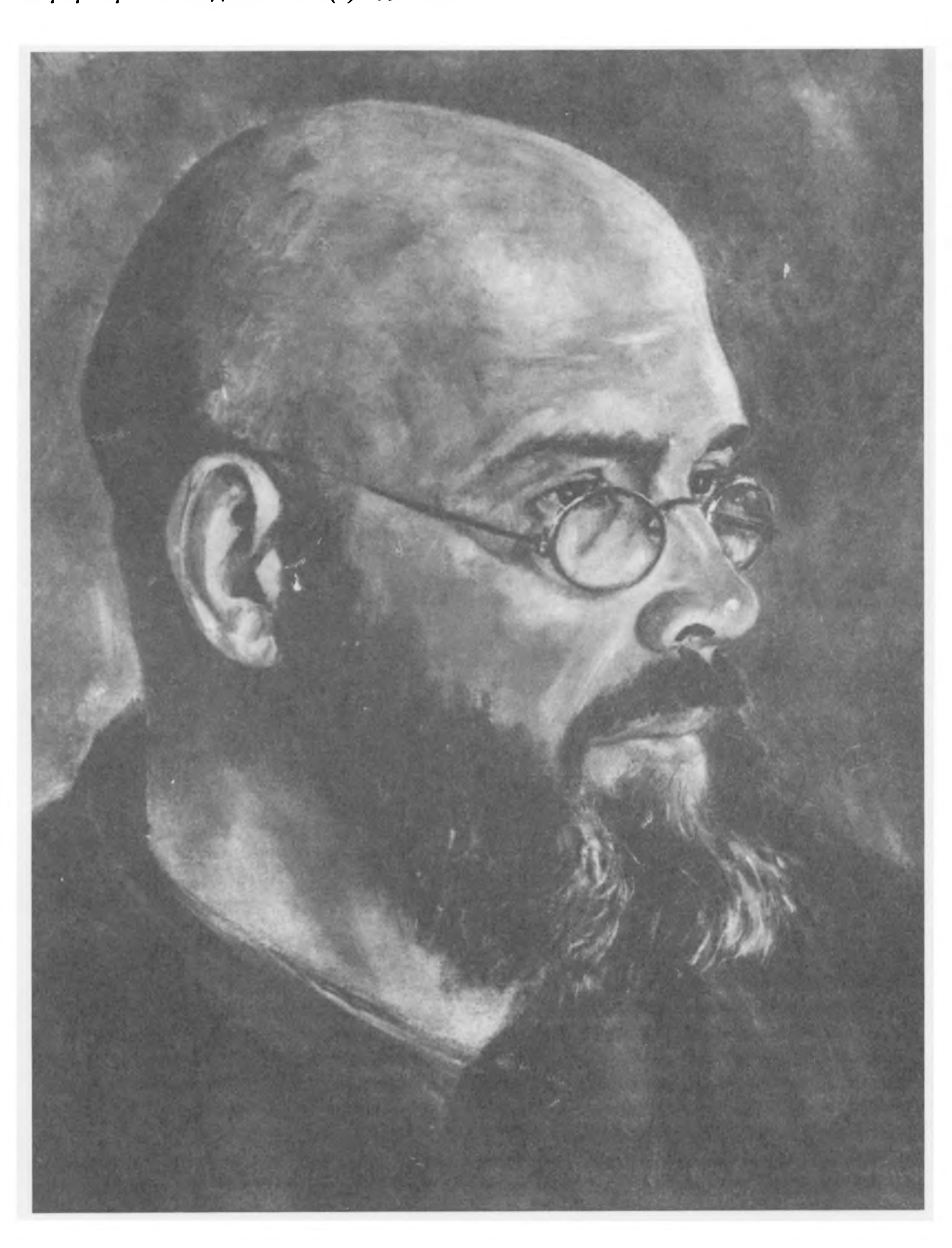


Стихи
Проза
Статьи
Материалы
к биографии

Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2004

А. Д. Скалдин

Алексей Дмитриевич Скалдин
Портрет работы Г. Д. Скалдина (?). 1930-е. Фото



А. Д. Скалдин

Стихи
Проза
Статьи
Материалы к биографии

Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2004

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
С 42

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук

Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии
Т. С. Царьковой

Скалдин Алексей Дмитриевич. Стихи. Проза. Статьи. Материалы к биографии /
С 42 Сост., подгот. текста, вступ. статья, коммент. Т. С. Царьковой. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. — 528 с., илл.

ISBN 5-89059-047-2

Книга последнего петербургского символиста представляет собой первое полное издание его произведений (по материалам государственных архивов и семьи Скалдина). Ученик Вяч. Иванова, ценимый А. Блоком, А. Белым, близкий друг М. Кузмина, Г. Иванова и Р. Иванова-Разумника, Скалдин во многом «предсказал» стилистические новации А. Платонова, Л. Добычина, обэриутов.

При жизни писателя вышли в свет только две его книги («Стихотворения», 1912; роман «Странствия и приключения Никодима Старшего», 1917). Пореволюционная судьба Скалдина трагична — его трижды арестовывали и в Карлаге он умер. Обширный архив, включавший восемь законченных романов, повести, рассказы, уникальную переписку, погиб.

Издание включает также биографический очерк и обстоятельный комментарий.

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Книга издана при поддержке
Комитета по печати и связям с общественностью Санкт-Петербурга

Иллюстрации предоставлены Рукописным отделом
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук

«...нить блестяща тонка»

Январским утром 1939 г. к платформе Витебского вокзала в Ленинграде, как всегда, подошел паровичок из Детского Села. Из него вышел немолодой человек, высокий, с темной, курчавой, аккуратно подстриженной бородой, которая сливалась с такими же густыми и аккуратными усами и доходила до седоватых висков. Широкие брови над небольшими, но останавливающими сторонний взгляд, напряженно смотрящими из-за старомодных, в тонкой оправе очков глазами, крупные нос и уши придавали лицу почти скульптурную завершенность. За семь лет до этого, при первой встрече на домашнем чтении его произведений у Верховских, художница А. П. Остроумова-Лебедева набросала в своем дневнике словесный портрет автора: «Его наружность: среднего роста, бородач. Из усов и бороды вырублен красивый рот. Маленькие, умные, внимательные черные глазки и румянец на щеках».

Человек, вышедший в город, держал в руках старенький саквояж. Одет он был в тулуп, каракулевую шапку-кубанку, прикрывавшую лысый череп, и белые бурки, что выдавало приезжего не из пригорода — издалека, необвыкшего к ленинградским неустойчивым морозам.

Однако, не оглядываясь по сторонам и никого ни о чем не расспрашивая, приезжий уверенно направился к Гороховой, уже двадцать лет как утерявшей это, столь привычное его слуху, название, дошел до покрытой снегом, но живой подо льдом Фонтанки, с Семеновского моста оглядел, как герой его романа — Никодим, ни в чем не изменившуюся площадь, тоже Семеновскую. В перспективе Гороховой — отсюда не разглядеть — но памятью все же угадывался величественный, столичного северного модерна шестиэтажный дом № 3, где когда-то, еще в имперское время, помещалось 2-е Страховое общество. Теперь — к Театральной, сейчас именуемой Зодчего Росси. Там замедлил шаги. Ему, так много писавшему об архитектуре — церковной, деревянной, провинциальной, и архитектуре этого города, хотелось снова слиться со светом его колонн, вырастающих, как это и было задумано, из покойного чистого снега и врастающих в летящий им навстречу метельный небесный снег. «Вновь оснеженные колонны...» — мягкая, пушистая блоковская строка.

Но вот уже и Александринский театр, и черно-белая площадь перед ним с решеткой Екатерининского сада. Да, именно в этом саду постоять минутку, опустив драгоценный саквояж на скамейку. Сколько лет мечталось!

Что замедляет колесницы бег, —
Иль опускаешь ты бразды, возница?
На черноту ветвей ложится снег,
А призрачное небо не глядится.
Пространство все охлаждено, и мера
Уже не учит больше ничему,
И видится притихшему уму
За ними хитрая химера.

Так писалось в канун тяжелого 1924 года, когда — ни работы, ни прав, а на руках огромная голодающая семья. Сколько раз петроградско-ленинградская хитрая химера гримасничала перед ним разными ликами — до смерти запугаю! Вот и теперь к ней — с подношениями. Рука потянулась за саквояжем, человек сделал еще двадцать шагов и медленно отворил — блаженная тяжесть открытия этих дверей, сколько лет открывал и сколько лет издалека отворял эти двери мысленно!

В вестибюле Публички его уже ждал сам Иван Афанасьевич Бычков. Почтительно приветствовал и в нарушение правил не раздевая, с саквояжем провел в Отдел рукописей, а там уж и обогрел, и расспросил, и обласкал. Наконец пододвинул заранее приготовленный бланк, отпечатанный на тогдашней дешевой желтой бумаге. Обмакнув стальное перо в чернильницу с фиолетовыми чернилами, человек стал заполнять документ: «Я, Скалдин Алексей Дмитриевич, передаю в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки:

Balsac 2 письма 1837 г.
Beranger 2 письма 1832 г.
Berlioz 4 письма 1850-х гг. ...»

и далее — список автографов, выстроенный в алфавитном порядке имен авторов, среди которых Вебер, Вольтер, Генрих IV (три письма), герцог Гиз, Гюго, Дидро, Мазарини, Мирабо, Мольер, Наполеон I, Робеспьер, Россини, мадам де Сталь, Вальтер Скотт, Франциск I, Шатобриан... Всего 97 автографов.

Через несколько дней о поступлении в фонды Публичной библиотеки раритетных рукописей сообщат газеты «Правда» и «Ленинградская правда», по-журналистски впопыхах или по безразличию перепутав XV век — так датированы самые ранние документы — с XVIII.

Но имя «частного лица», собравшего, сохранившего и за бесценок отдавшего (и когда они еще придут, эти копеечные, по казенным расценкам, деньги?) уникальные рукописи государству, в газетных сообщениях названо не будет. Да и зачем? Кто он такой? Ссыльнопоселенец.

Кем же он действительно был — Алексей Дмитриевич Скалдин?

Старший сын в многодетной крестьянской семье. Родился в деревне Корыхново Новгородской губернии 15 октября 1889 г. Отец — деревенский плотник, что кощунственно-иронически будет обыгрываться прессой, писавшей о первом судебном процессе над Скалдиным: «распинаем сына плотника», «разделяем ризы его». Впрочем, у Дмитрия Андреевича, человека беспокойного и творческого, было много занятий. Он мечтал о полетах в космос, пытался построить вечный двигатель, делал бытовые зарисовки и сочинял подписи к ним. Не засиживаясь на одном месте, часто на годы оставлял свою большую семью, пробовал (без особого успеха) хозяйничать на арендованных землях, а в начале XX в. перебрался в Петербург. В 1905 г. в столицу пере-

ехала и вся семья. Пятнадцатилетний Алексей поступил служить рассыльным во 2-е Страховое общество, в тот самый дом на Гороховой, гранитно-серый с колоннами и рогами изобилия на фасаде.

Систематического образования у Скалдина тогда и было всего — церковно-приходская школа. Формально так и останется, что позволит ему с гордостью и вызовом позднее, в арестантских анкетах, в графе «образование» подчеркивать «высшее» и пояснять — «самоучка». За десять лет в страховом деле Скалдин сделал головокружительную карьеру — стал управляющим округом. О его юности и молодости писать что-либо определенное трудно, жил Скалдин даже для своих друзей скрытно, потаенно, а наступившие сразу после Октябрьской революции скитальческие годы и безвестный конец эту потаенность усиливают.

Знаем, что стихи сочинял с девяти лет. В одном из первых писем к Вяч. Иванову от 11 апреля 1910 г. о своих ранних стихах писал: «К сожалению, я не могу привести хотя бы одно в целом виде. Сохранился у меня в памяти следующий отрывок:

Запыленны мои ноги,
И избиты, и усталы.
Лента длинная дороги,
Бесконечная, предстала
Пред моим туманным взором.
Вечер. Запад в счастье млеет.
Прохожу я старым бором.
Золотяся, он синеет...
И голодный, истомленный
(Далека моя дорога),
Я сажусь на ствол сваленный
Отдохнуть хотя немного.
Стебли вики дикой, цепкой
Красный ствол сосны обвили
И любовью верной, крепкой
Великана полюбили...

Это начало. Середины твердо не помню. Знаю лишь, что она, против моей воли, вышла очень сентиментальной и за то была обречена на уничтожение. Конец стихотворения:

...Но скорее в путь, скорее
(Так еще длинна дорога!),
И пока достигну цели,
Напишу в стихах я повесть,
Чтобы звуки ее пели,
Пробуждая в людях совесть.
Изберу я ритм столь трудный,
Чтоб усталость забывалась,
Чтоб короткою и чудной
Мне дорога показалась».

В том же письме Скалдин сообщает, что в пятнадцатилетнем возрасте послал два стихотворения И. Н. Потапенко (надо полагать — в журнал «Живописное обозрение») и получил стандартный ответ, в котором его, вероятно, уличали в подражании Пушки-

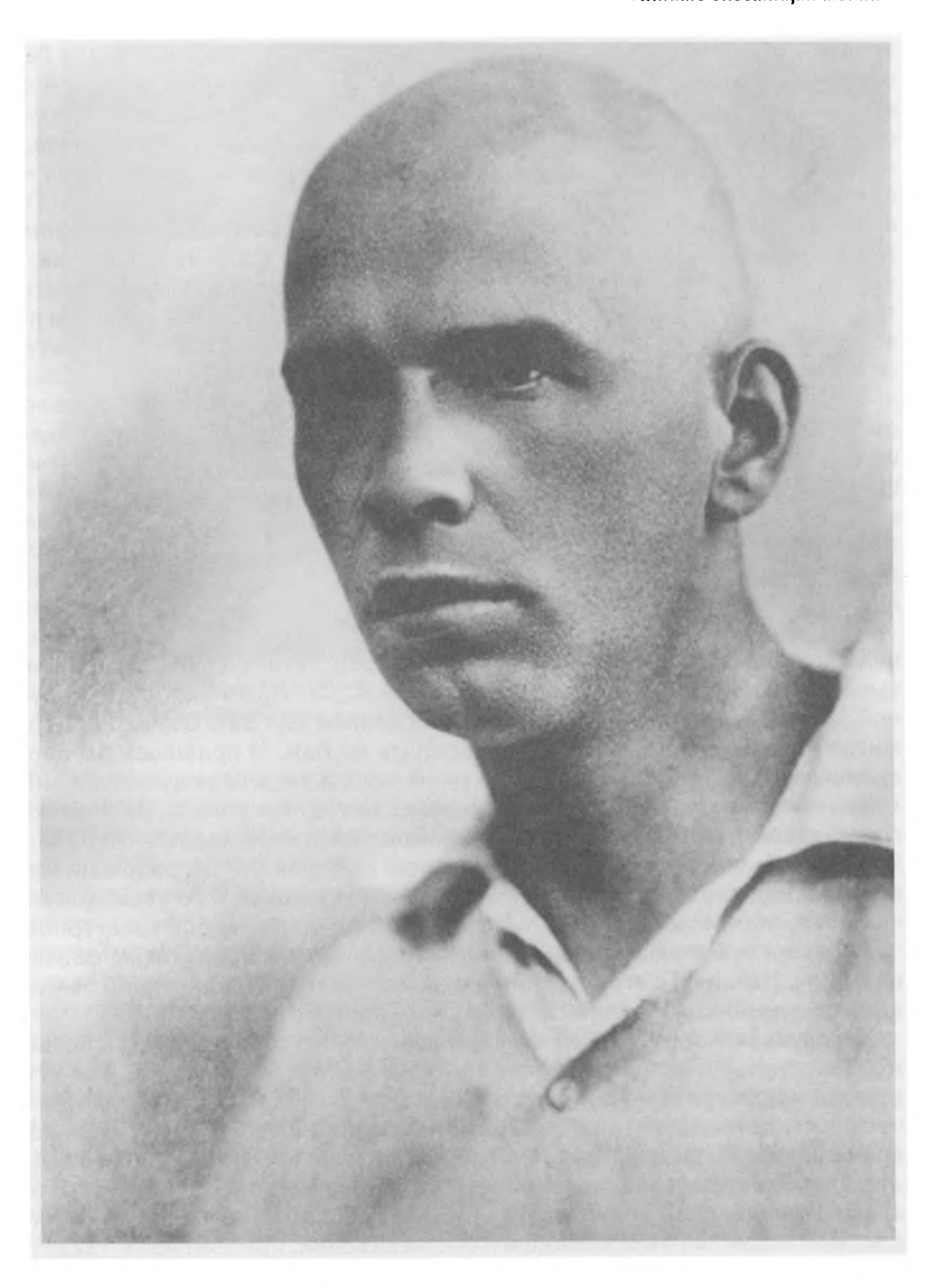


Е. К. Скалдина
1910-е

ну, Лермонтову и Алексею Толстому. «Кстати сказать, я еще не читал тогда Пушкина и Лермонтова. Знал из них лишь несколько школьных стихотворений. Из Алексея Толстого не знал даже одного слова».

В 1909—1910 гг. Скалдин урывками, когда позволяло время, свободное от службы, вольнослушателем посещал университет, скорее всего — историко-филологический факультет, участвовал в каких-то семинарах, готовил для них доклады. Самостоятельно выучил языки — немецкий, французский, итальянский, латынь. Много читал из русской, западной и восточной философии. Пытался установить контакты с литературной молодежью, собиравшейся вокруг шебуевского журнала «Весна», но вынес из этого общения только недолгую, больше деловую, чем душевную, дружбу с поэтом Пименом Карповым, вскоре, впрочем, из-за скандального норова последнего скандально оборвавшуюся.

Настоящая литературная жизнь Скалдина начинается с 1909 г., когда на каком-то литературном чтении, будучи замечен Вяч. Ивановым, он избирает поэта своим учителем, посылает ему стихи и упорно добивается встреч, возможности быть принятым и «посвященным». И как на этой начальной стадии отношений, так и до последнего не-



А. Д. Скалдин
Саратов, 1922

возвратного отъезда Вяч. Иванова в Италию в 1924 г. у Скалдина не было метаний и исканий в яркой и разнонаправленной, прельстительно-авангардной петербургско-московской поэтической среде. В своих стихотворных опытах он сразу и неотступно определился как символист, признав высоких учителей — Вяч. Иванова, Блока, Белого, — и оставался верен символизму до самых последних известных нам, случайно сохранившихся стихов 1920-х гг. В 1930 г., откликаясь на выход книги Георгия Чулкова «Годы странствий», Скалдин писал ее автору, своему давнему знакомому: «Ранние годы символизма мне известны только понаслышке <...>. Но о поздних, заключительных годах я все же много знаю и вольно или невольно являюсь участником личной трагедии его вождей, а не только школы. Вероятно, об этой трагедии писать еще невозможно, но только тот, кто расскажет о ней, даст истории литературы и русской общественности настоящие материалы о символистах». В этом высказывании проявились такт и щепетильность, обычные для Скалдина, когда дело касалось близких и дорогих ему людей. Так, в 1929 г., когда к нему обратился К. А. Шимкевич, заведующий литературным кабинетом в Государственном институте истории искусств (бывшем Зубовском институте), с просьбой передать туда рукописи и письма, Скалдин ответил ему: «За время с января месяца я пересмотрел весь мой архив. В нем очень мало того, что Вас интересует, т. е. писем, затрагивающих литературные вопросы, и вполне достаточно другого, т. е. разговоров о философии, мистике, общественном движении, разговоров в тех формах, которые в настоящее время не принято публиковать.

Разрознивать архив ради этих двух-трех случаев, архив, имеющий целостность и ценность совсем в другом смысле, — мне представляется неблагоразумным. Две-три выписки из него вполне возможно сделать <...>. Наконец, остается рукопись „Нежной тайны" — нечто отдельное и весьма ценное для Вас. Однако нет того человека в живых, от которого зависело бы передать ее Вам. И пришлось бы передавать с несколькими другими вещами (не письменными, а весьма вещественными вещами), которые связаны с тем, почему эта рукопись находится у меня. Личные истории не всегда можно излагать беспрепятственно. Покойный же человек — Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Впрочем, и не одною ее волей мог бы разрешиться этот вопрос, стоящий над рядом других трагических, — нет в живых и Александра Александровича Блока, ибо посвящение ему „Нежной тайны" далеко не литературное».

Первыми публикациями в журнале «Аполлон» Скалдин также обязан рекомендациям Вяч. Иванова, с его благословения и отчасти его иждивением был издан в 1912 г. единственный поэтический сборник Скалдина «Стихотворения».

По случайно оброненным фразам в немногих сохранившихся письмах Скалдина можно понять, что стихи он писал всю жизнь и что, в отличие от первой книги, в которую, за исключением притчевого «Сказания о гибели города», входят только лирические стихотворения, с годами наметилась тяга к стихотворному эпосу. Со слов современников мы знаем по крайней мере о двух произведениях больших форм — поэме «Крылатое сердце», написанной по получении известия (ошибочного) о расстреле во время Гражданской войны друга — С. В. Троцкого, и о «длинном стихотворном послании» — цикле из восемнадцати стихотворений, присланном в 1923 г. Вяч. Иванову из саратовской тюрьмы. (Хранится в римском архиве Иванова и остается недоступным ни читателям, ни исследователям.) Склонность Скалдина к большим, фундаментальным формам рано заметили проницательные поэты и критики Н. С. Гумилев и Н. В. Недоброво. Об этом читаем в письме к Вяч. Иванову от 29 мая 1912 г., когда первая книга готовилась к печати: «Был у Недоброво и, наконец, узнал мнение Н. В. о своих стихах. Оно достаточно интересно, стоит привести его. Почти все мои стихи основываются на одном чувстве: выхода из темного грота на яркий Божий свет. Исхождение в жизни повторяется бесконечно и воплощения бесконечны, достаточно разно-



Слева направо: ***В. П. Чигиринец, В. Д. Скалдина, Е. Д. Скалдина, Елена Скалдина (жена Георгия), Г. Д. Скалдин, дочь Георгия — Кристина****. Славянск, 1926*

образны, но... форма не соответствует содержанию. Содержание очень глубоко и както остается всегда недовоплощенным, или (по определению Гумилева, которого я случайно встретил третьего дня) „содержание для большой вещи, т. е. замысел требует вместилищ большого объема, а объем постоянно маленький". И Гумилев несколько покровительственно дает совет писать вещи фундаментальные. Н. В. говорит, что я просто обрубаю свои произведения, не даю им расти. Определить короче его мнение можно так: замыслы (мои) требуют гениальной формы. Внешность моих стихотворений он считает достаточно безукоризненной».

Вход на «Башню» Вяч. Иванова и в журнал «Аполлон» стал для Скалдина входом в интеллектуальную и культурную жизнь столицы. Здесь, в Академии стиха, он познакомился с Андреем Белым, В. Брюсовым, Н. Гумилевым, А. Ахматовой, М. Кузминым, Ю. Верховским, Н. Недоброво, А. Кондратьевым, С. Маковским, В. Мейерхольдом, В. Жирмунским и многими, многими другими художниками и литераторами.

Вяч. Иванов принял Скалдина как духовного ученика, младшего, но достойного друга и не ошибся — между ними никогда не было никаких недоразумений, Скалдин ни в чем не разочаровал его.

Общение их было много шире литературной школы. Скалдин искал и добивался внимания Иванова именно потому, что почувствовал — они люди одной веры. Вячеслав Иванов ввел своего ученика в Религиозно-философское общество, и подготовленный им уже в 1910 г. доклад «Идея нации» хоть и не был прочитан в обществе, но заинтересовал и Блока, и Мережковского, гостем и собеседником которых Скалдин с этих пор становится. В Религиозно-философском обществе и в собраниях у Мережковского молодой мыслитель обретает еще один близкий для себя круг общения, в который входят: Л. Шестов, С. Аскольдов (Алексеев), Н. Бердяев, Д. Философов, К. Эрберг (Сюннерберг), Ал. Чеботаревская и многие другие.

Из этого времени до нас дошла большая статья-рецензия «Затемненный лик» — отважный спор начинающего литератора с провоцирующим на споры, виртуозным искусителем — Розановым. Цельная по убежденности, афористичная по форме, статья вызвала восхищение Белого и Вяч. Иванова.

Личная жизнь Скалдина остается по-прежнему закрытой. Стихи говорят о высокой, платонической любви к падчерице Вяч. Иванова — Вере Шварсалон, документы и письма — о том, что Скалдин, не колеблясь, делает выбор между дружбой и защитой чести семьи своего учителя. Возмущенный неэтичным поведением Кузмина, он выступает на стороне брата Веры — Сергея Шварсалона, принимает предложение стать его секундантом в объявленной (но не состоявшейся) дуэли. Впрочем, одна из парадоксальных, на первый взгляд, мотиваций этого поступка — желание «сохранить Кузмину жизнь».

В 1913 г. к Скалдину приходит другая любовь, столь же непростая. Жена его друга, поэта Рейнгольда Вальтера, переводчица Элжбет (Елизавета Константиновна) Вальтер после долгого и мучительного выяснения отношений оставляет мужа, вычеркивает из памяти неудавшийся семилетний брак, и Скалдин обретает семью, в которой уже есть дочь и сын. В 1914 г. рождается дочь Марина, но из-за проволочек с оформлением развода матери она будет носить имя Марина Рейнгольдовна Вальтер. Через несколько лет Р. Вальтер навсегда уедет в Германию и заберет с собой сына, а Скалдин будет воспитывать двух дочерей — Клару и Марину, ни в чем не делая между ними различий. В 1942 г. Клару как немку вышлют в Казахстан, она будет искать отчима в Алма-Ате, но затем сама безвестно исчезнет. Марина с годовалой дочерью отправится в эвакуацию на Кубань, но из-за наступления немцев пешком за двадцать дней перейдет Кавказский хребет. Этот голодный переход с ребенком на руках подорвет ее здоровье. В 1944 г. она вернется в Ленинград, и в 1947 г. ее не станет.

Незаурядные организаторские способности, общественный темперамент, тяга к устройству больших дел проявились у Скалдина уже в молодости. После отъезда Вяч. Иванова за границу в 1912 г. он в чем-то почувствовал себя его наследником и продолжателем. Вот строки из письма от 11 апреля 1913 г.:

«Христос Воскресе, дорогой Вячеслав Иванович!

Целую Вас крепко и прошу всех целовать.

А о делах почти не хочется писать: такой я все же усталый, что на самого себя никак не похож.

Могу сообщить Вам радостную весть: усилиями моими, Недоброво (и Н. В. и Л. А.) и Е. Г. Лисенкова, которого Вы, к сожалению, не знаете, поэтическая Академия возродилась. Правда под иным именем — „Общество Поэтов“ — но это не важно. Мы уже приступили к работе. На первом заседании Блок прочел свою драму „Роза и Крест“; на втором я прочел доклад „О содружестве муз“. На третьем Вальтер прочтет о Стефане Георге, а затем намечено на дальнейшее еще несколько докладов. Дело мы ставим более прочно, чем оно стояло в Академии — берем членские взносы 10—12 рубл. в год и ничего — дают охотно».

Ему поручены дела издательства «ОРЫ», где печатаются его «Стихотворения» и книга Иванова «Нежная тайна»; он занимается Петербургским немецким литературным обществом.

По делам службы Скалдину приходилось бывать в разъездах. Так, в январе 1916 г. он уехал в Архангельск, и, вероятно, надолго. В лаконичных открытках оттуда сообщал друзьям: «Скучаю. Пишу повесть». Писалось легко и быстро. В мае того же года был закончен, как шутили, «36-главый» роман «Странствия и приключения Никодима Старшего». Роман столь необычен, что далеко не всеми слушателями — а читал его Скалдин не в одном литературном доме — был воспринят. Журнал П. Б. Струве «Русская мысль» отказался его печатать. Поэтому время выхода в свет растянулось до октября 1917 г.



Е. К. Скалдина с сыном и дочерью Кларой 1914 (?)

Судя по каталогу личной библиотеки Блока, он получил книгу с авторской дарственной надписью именно 25 октября. Раскрыл ли он ее в тот «первый», по определению другого поэта — Маяковского, памятный для всего XX века день?

В наше время роман переиздан, но остается неразгаданным и неизученным. Остановимся лишь на одном его аспекте.

При всей «фантасмагоричности» и «головокружительности» сюжета произведение глубоко автобиографично. Оно — об эзотерических поисках самого автора. Эту автобиографическую обусловленность понимали близкие Скалдину люди. Так, Михаил Зенкевич надписал свою книгу «Пашня танков» (Саратов, 1921) «...Питерскому Никодиму — Алешеньке Скалдину». По свидетельству внучки писателя Наталии Константиновны Гринберг, само описание дома и обстановки в нем соответствовало рассказам о семейном быте, которые ей довелось слышать. И состав семьи — взрослые дети: два брата и две сестры — точно такой, как в семействе Скалдиных. Непроясненным остается образ младшего Никодима, как бы и не родного в семье, сына-племянника, рождение которого окутано тайной. Но не будем забывать, что до нас дошла только



Е. К. Скалдина
Саратов, 1922

первая часть трилогии, герой которой — Никодим-старший, а судьбы остальных членов семьи в ней не раскрыты. Отношения родителей, то попеременно уходивших из дома, то пытавшихся примириться, их измены — те острые детские переживания, те загадки юности Скалдина, которые в причудливой форме выплеснулись на страницы романа, оставшись и там неразгаданными. Даже сюжетная ситуация с иностранцем Уокером, возможно, бывшим мужем госпожи N. N., кончающим с собой после поражения в любви от соперника — Никодима, который, в свою очередь, и не подозревает, что включен в роковой любовный треугольник, соотносима с реально побежденным Вальтером и не добивавшимся этой победы Скалдиным. И если взглянуть на

фотографии Елизаветы Константиновны, даже 1920-х гг., не остается никаких сомнений в том, кто послужил прототипом очаровательной, обольстительной героини-ведьмы, страстно любимой и вместе с тем неожиданной жены Никодима.

Останавливает внимание одно о многом говорящее несоответствие. Никодим, ровесник автора, не простолюдин, в нем не «мужицкая рабья кровь», которую изживал в себе Скалдин. Никодиму не надо трудиться, пробивать себе дорогу. Рабочие для него — «чудовища». Скалдин не презирал труд; преуспевающим до революции чиновником, комфортабельно живущим и обеспечивающим семью, наконец, писателем его сделали упорство и трудолюбие. Но он был аристократом духа и вожделел аристократизма. Ведь не случайно на обложке романа был изображен дворянский герб Никодима с девизом: «Терпение и верность». Не случайно его младший друг, поэт Георгий Иванов, утверждавший, что жизнь Скалдина окутывала «тень тайны», из всех многочисленных бесед вспомнил в эмиграции и воспроизвел в своих мемуарах «Петербургские зимы» (1-е изд.) такой диалог:

«Иногда он вел со мной странные разговоры:

— Ты дворянин?

— Дворянин, а что?

— А вот я мужик. Дед крепостным был.

— Так что же? Ты ведь не крепостной, чего тебе беспокоиться?

— Ты не поймешь этого...

— Чего же?

— Важности быть дворянином... в иных случаях.

— Действительно не понимаю.

— Видишь ли. Как тебе объяснить? Вот ты дворянин, и, значит, у тебя есть герб и корона. Герб твой дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики, какой-нибудь лафет и груда ядер. А другому дан герб с тремя лилиями и с соломоновой звездой, дан господином, за доблесть, и он должен таить его от всех, потому что не имеет дворянства, которое каждый отставной генерал имеет.

— Это не тебе ли дан герб с тремя лилиями?

— Может быть, и мне.

— И у тебя не хватает для него короны? За чем же дело стало? Давай, я тебя усыновлю, и ты украсишь моей короной свой замечательный герб, — шутил я.

В 1914 году весной С. собирался за границу, я уехал в деревню. Вдруг получаю от него письмо с Кавказа. Недоумеваю, почему он отложил свою поездку в Германию, совсем решенную, даже паспорт, кажется, был уже взят. Ответ загадочный: теперь поздно. Скоро будет война. Это в июне 1914 года. Вернувшись в Петербург, спрашиваю С.:

— Откуда ты знал?

Улыбка.

— Так показалось... <...>

Может быть, С. просто смеялся надо мной. Не знаю. Может быть, никакой тайны в нем не было. Может быть. Но если бы оказалось, что он и впрямь человек необыкновенный, с двойной жизнью, с таинственными познаниями, я бы не удивился...»

Вожди символизма — Мережковский, Блок — в начале 1910-х гг. видели в Скалдине «человека от земли» и поэтому возлагали на него особые надежды. Естественное продолжение школы, ее философские искания были направлены к постижению глубинных народных основ жизни. Возрастала потребность художников быть услышанными народом. На этом пути Скалдин мог оказаться одним из проводников. Но так не случилось. Идеи популяризации и демократизации наработанного, добытого предшественниками были для него неорганичны, роль проводника не увлекала. Скалдин стре-

мился в литературе быть первооткрывателем и стал им — прежде всего это относится к стилистическим поискам в прозе.

Но вернемся к роману о Никодиме. Несмотря на незавершенность (две части трилогии утрачены) широкого авторского замысла, можно говорить о композиционной законченности, гармоничной сведенности в единый рисунок всех сюжетных линий. Небольшой по объему роман густо населен, в нем десятки персонажей. На первый план выдвинута авантюрная, приключенческая фабула. Но при всей остроте и быстрой смене событий ни одно, даже, казалось бы, случайно упомянутое, имя не потеряно. Так, в главе XXVI назван владелец фирмы «некий Вексельман из Белостока», а в главе XXXII в причудливом бреду-видении героя является сам персонаж, чтобы сыграть отведенную ему служебную, но совсем не простую роль. В нескольких его репликах — и история жизни, и мировоззрение, и национальный характер. Мертвый благородный олень, внезапно и, казалось бы, немотивированно появившийся в начале романа, снова неожиданно возникает в повествовании после самоубийства Уокера, и герой понимает: это самоубийство было предопределено, как и наказание мифическому Актеону. «Человека убить просто», — убеждает себя Никодим. Но и он, и его жена, не убивая, мучаются происшедшим и искупают его, неся наказание.

Инфернальная и любовная темы романа, столь занимавшие авторское воображение и создающие эмоциональное напряжение повествования, не заслоняют социального звучания произведения. Загадочная фабрика, на которой «делают людей», многотысячные толпы угрюмых рабочих, как бы сошедшие с акварели П. Филонова того же 1916 г. «Рабочие», нищая, грязная, пьющая и больная деревня, вселяющая ужас в героя, — непроявленный, но отнюдь не затушеванный фон, столь же непроявленный, но намеченный, как и в написанном позднее «Рассказе о Господине Просто». Время действия в рассказе точно определено — 22 июля 1917 г., а вот с местом действия автор намеренно морочит читателя. Средневековый город соседствует (ребенок дойдет) с русской бабушкиной усадьбой, где и кот говорит только по-русски, куда приходит тревожная телеграмма еще об одной «беспокойной фабрике».

1917 год ворвался в жизнь Скалдина и взорвал ее. Февральскую революцию он встретил восторженно и сразу же стал ее работником. Политикой Скалдин не занимался — занимался культурой. Но культурное строительство, именно строительство, а не разрушение, вне политической самоидентификации оказалось невозможным.

12 марта 1917 г. в Михайловском театре столицы по инициативе Общества архитекторов-художников собралось около полутора тысяч представителей творческой интеллигенции, которые учредили Союз деятелей искусств (СДИ). По мысли учредителей, СДИ должен был обладать «законодательным правом и правом суда над правительственными и общественными мероприятиями и начинаниями в области искусства». Союз объединял свыше двухсот художественных и литературных обществ, в него входило сначала восемь, затем девять курий, в том числе литературная, театральная, краеведческая. Во главе стоял Временный комитет уполномоченных. Литературную курию возглавлял Федор Сологуб, секретарем с правом голоса в Комитете был Скалдин. Весной 1917 г. Союз развернул бурную, главным образом организационную деятельность. Заседания Президиума происходили почти ежедневно, иногда на день в Союзе приходилось несколько различных заседаний. Скалдин принимал участие во всем: в выработке структуры, устава, в проведении заседаний, рассылке повесток, обследовании памятников в пригородах, чтении общедоступных лекций. В дальнейшем ему очень пригодится опыт этой работы, но финал СДИ был печален. Осенью, когда переменилась власть, значительная часть Союза оказалась в оппозиции к ней. Началась борьба с различными комиссиями и комиссариатами за право управления и координации. В результате этой борьбы мнение наркома просвещения

А. В. Луначарского о необходимости государственного руководства художественной жизнью страны возобладало. СДИ перешел на полулегальное положение. В январе 1918 г. Скалдину, по свидетельству Г. Иванова, из Петрограда пришлось «удирать». В переписке с бывшими союзовцами — А. И. Таманяном (председателем Комитета), В. Э. Мейерхольдом (секретарем театральной курии) и др. — появляются многозначительные намеки на «общее дело», на необходимость умолчания о чем-то понятном лишь посвященным, на важность устного сообщения предъявителя письма, которое начинает играть роль рекомендательного.

Первую половину 1918 г. Скалдин с семьей проводит, судя по всему вынужденно, в Москве, живя под одной крышей с семейством Ивановых. В конце лета или ранней осенью он оказывается в Саратове, может быть потому, что в этом университетском и не таком голодном, как столицы, городе уже обосновались его питерские друзья — С. Аскольдов и М. Зенкевич. Сначала живет тихо, никак не проявляет себя, занимается хорошо знакомым страховым делом, теперь — в государственных учреждениях. Но уже в 1919 г. в журнале «Художественные известия» появляются три его статьи: «Вступительное Слово к исследованию о методологии искусства», «Обманувшийся зрячий», «Искусство книгопечатания», которые следует воспринимать как цикл статей, несмотря на то что объекты анализа в них различны: книгопечатание, поэзия Тютчева и нарождающееся революционное искусство. Красной нитью — почти с обреченностью — в них проходит мысль о необходимости защиты и творческого наследования искусства прошлого, высокого классического искусства. Это стержень всей культурной работы Скалдина, от которого он никогда не отречется. Как бы предвидя свою судьбу, принимая ее, он заключает одну из статей цикла такими словами: «Лучше пережить годы отвержения, изгнания, чем изменить делу, служить которому призвала нас сама душа наша, наша сущность художников».

С марта 1919 г. Скалдин состоит на службе сначала в должности заведующего литературной секцией Саратовского изотдела искусств, затем — заведующего Художественным отделом Педагогического музея, с сентября 1920 г. заведует Губернской музейной секцией и охраной памятников, в декабре к этому добавляется руководство Отделом культов при Историко-Археологическом музее Саратовского общества «ИСТАРХЭТ» и в декабре 1921 г. — заведование Радищевским музеем (теперь всемирно известный Саратовский художественный музей). В 1922 г. в сферу деятельности Скалдина входят еще и все театры Саратова, все зрелищные заведения: цирк, кинотеатр, филармония.

Кроме того, Скалдин преподает в педагогическом институте и во ВХУТЕМАСе. Он готовит труд «Философическая история вещественных искусств» и, наряду с другими учебными курсами, читает курс «Философия человеческого действования».

К этому следует добавить популярные лекции, доклады, выступления на диспутах и работу в Президиуме Саратовского общества истории, археологии и этнографии, многомесячные экспедиции от этого общества по обследованию памятников деревянного церковного зодчества Саратовской губернии. В основном связанные с этой деятельностью материалы пропали при аресте, но развернутые служебные записки и отчеты сохранились в архивных фондах.

В первые саратовские годы Скалдин проводит много времени с молодыми писателями, драматургами и актерами. С Михаилом Зенкевичем, поэтом и переводчиком, знакомым Скалдина еще по СДИ, они пытаются создать отдел Всероссийского союза поэтов. С театральным художником Николаем Симоном открывают экспериментальный театр-студию. Все вечера на неделе отдавались этим занятиям, длившимся по три-четыре часа. Студийцев приходило от 30 до 110 человек, сидели на полу. В числе друзей и сотрудников Скалдина литераторы и театралы Л. Гумилевский, С. Антимонов,

С. Аскольдов, А. Ромм, художники А. Савинов, Н. Гржебин, В. Перельман, И. Ребельской, М. Курдин, Н. Кузьмин.

Несмотря на огромный объем административной, собирательской, научной и педагогической работы, Скалдин не мог не писать. В Саратове была закончена и объявлена к выходу в свет в издательстве «Курганы» книга новелл «Вечера у Мастера Ха» (другое название — «Вечера у Мастера Христофора», до нас дошел лишь небольшой фрагмент ее — «Рассказ о Господине Просто»).

За неполные пять лет Скалдин много сделал для культурного строительства в Саратовском крае. Открывались новые музеи, пополнялись музейные фонды. Приход Скалдина к управлению театрами, совпавший с началом нэпа, спас их от разорения. Всего за полгода театры выплатили долги и стали доходными, сформировались сильные труппы. Популярность Скалдина росла. Но его культурно-идеологическая ориентация устраивала далеко не всех. Если даже участие Л. Гумилевского и Скалдина в вечере памяти Блока в 1921 г. оценивалось в официальной прессе как выступлениях «отставших от революции», то понятно, какую реакцию должны были вызвать охрана церковных памятников и отстаивание классического репертуара.

С начала театрального сезона 1922 г. режиссером театра Карла Маркса Разумовским и газетчиками из советско-исполкомовских «Саратовских известий» Зиновием Чаганом и Леонтием Котомкой была затеяна неприкрытая травля. Она имела ярко выраженную идеологическую направленность. Именно желание избавиться от неугодного культурного деятеля, а не сокрытие музейных ценностей послужило причиной ареста Скалдина. Обвинение в присвоении ценностей выглядело нелепым, поскольку на готовящиеся к отправке в центр материалы были составлены списки, хранящиеся в канцелярии музея.

После подробного, хотя и очевидно предвзятого разбирательства установка на высшую меру наказания воспринималась как курьез. Да и вынесенный приговор — три года изоляции — был нелепо жесток. Когда суд завершился, жена Скалдина Елизавета Константиновна бросилась в Петроград искать помощи друзей. Ей помогали Ал. Чеботаревская, Ф. Сологуб, Каменевы. Вяч. Иванов писал 12 июля 1923 г. из Баку П. С. Когану: «Дважды писал я, неделю тому назад, А. В. Луначарскому, <...> встревоженный участью моего молодого, но уже старинного приятеля, книжку которого (стихотворения) я же сам и издал в 1912 г., АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СКАЛДИНА, от которого вдруг получено послание в стихах с пометой: Саратов, тюрьма. Из послания явствует, что он в тюрьме, в отдельной, тесной камере, подвергается принудительным работам. В Саратове читал он лекции по искусству. Всегда был безусловно аполитичен и к партии никакой не принадлежал. Это символист, мистик, автор романа „Похождения Никодима Старшего“, романа фантасмагорического и головокружительного. Очень талантливый и умный человек, самостоятельно образованный <нрзб.>, человек строгих нравов, содержавший большую семью. Зная Вашу доброту и отзывчивость, прошу Вас поддержать мои хлопоты о выяснении причин ареста и о помощи Скалдину».

Хлопоты возымели действие. Благодаря прямому вмешательству Луначарского Скалдин был освобожден. В «Книге сроков отбытия наказания заключенных Саратовского Исправительного Труддома за 1922 год» под № 1567 отметка: «Скалдин Александр (ошибка в имени. — *Т. Ц.)* Св. 27/VIII 23».

Большая культурно-общественная работа в Саратове, которой Скалдин отдал четыре года предельно напряженной жизни, внешне закончилась для него полным и окончательным поражением. Конечно, друзья и ученики по театральной студии писали теплые, благодарные и ободряющие письма. Но уже ничего не оставалось, кроме как уйти в частную жизнь. Больше он не пойдет на контакты с властью, но и не будет бороться с ней. Обладая государственным складом ума, будучи государствен-

ником по убеждению (недаром еще Г. Иванов прочил его в «мужицкие министры»), Скалдин вынужден избрать личное противостояние в неафишируемых формах. Отныне у него две задачи — исполнение обязанностей перед семьей и творческая самореализация.

Выполнение первой должна была обеспечить служба. Ее долго не было, весь конец 1923 г. и начало 1924-го Скалдин — безработный. Друзья пытались помочь. Как знатока архитектуры его выдвигают на должность заведующего дворцами и парками Петроградского района (кроме всего прочего, здесь, на Петроградской — на Плуталовой улице, на Каменноостровском проспекте, на набережной реки Карповки он прожил много лет). Но эти планы не осуществились. Несколько месяцев Скалдин работает в Государственном музейном фонде, курирует Юсуповский дворец, ставший музеем. Наконец, зачислен в Институт истории искусств ассистентом «с возложением обязанностей секретаря редакции». Вероятно, жалование ассистента было таково, что Скалдин вынужден постоянно пребывать в отпусках «для научной работы — изучения провинциальной архитектуры», что он успешно сочетает с новой для него деятельностью — книготорговлей. Нэп позволял развернуть частное предпринимательство, и Скалдин становится разъездным агентом. За несколько лет, пока было возможно, он изъездил всю Россию — ее юг, Сибирь, Дальний Восток. Обслуживал сорок издательств, преимущественно частных. Жил в разлуке с семьей, но семья перестала бедствовать. Правда, с Зубовским институтом уже через год, в июне 1925 г., пришлось расстаться.

Во время своих странствий Скалдин собирал материалы для будущих произведений. Его всегда интересовала русская история. В 1924 г. в ГИЗ, а затем в издательство «Время», где работал художником младший брат Скалдина — Георгий Дмитриевич, был сдан роман «Смерть Григория Распутина». Роман долго «отлеживался» в издательствах, затем, вероятно, затерялся. Был ли он возвращен автору, неясно. Но над этим романом (другой его версией?) Скалдин тщательно работал и в 1930-е гг., филигранно его отделывая. Отбыв ссылку, приезжая ненадолго в 1938—1941 гг. из Алма-Аты, читал роман Юрию Верховскому, затем — в московских и петербургских литературных домах. Странствуя по Сибири, Скалдин собрал коллекцию документов и рассказов о старце Федоре Кузьмиче (ныне хранится в личном фонде писателя в РГАЛИ). У Гершензонов в 1924 г. читает свои рассказы «Зоологический лев», «Рассыпанное ожерелье» и стихи. М. Гершензон советует «писать детские сказки», вероятно, оценив способности Скалдина к созданию занимательной фабулы.

С закатом нэпа Скалдин возвращается в Ленинград. В конце 1927 г. семья переезжает в Детское (бывшее Царское) Село (ул. Революции, д. 1, кв. 1 — это последний питерско-детскосельский адрес Скалдина). Царское в жизни Скалдина связано с воспоминаниями о молодости. Сюда в 1911—1913 гг. он приезжал к поэту Василию Комаровскому, здесь выступал на литературных вечерах, а в счастливом 1914 г. жил с внезапно обретенной семьей в одном доме с друзьями — Николаем и Любовью Недоброво. Царскосельский литературный круг сохранился, но его составляли уже другие люди. Теперь это собрания в домах Иванова-Разумника, Вячеслава Шишкова, Валентина Кривича. С середины 1928 г. начинается служба в Госиздате в качестве редактора и библиотекаря.

Лучше в море утопиться,
Чем в Госиздасе служить —

шутливое двустишие из письма В. Н. Княжнину-Ивойлову, с которым в конце 1920-х гг. они дружили семьями. И это тоже место последней питерской службы.

Сохраняются старые дружеские связи. Вероятно, С. Шварсалон, который в эти годы работает в «Красной газете», помещает там рецензии Скалдина. Впрочем, они малоинтересны, безличны, газетно-информативны. Какие именно книги редактировал Складин, установить сейчас сложно. Архивные материалы позволяют говорить о том, что ему много приходилось работать для справочников и словарей. Сохранились словники по сельскому хозяйству и технике, списки написанных им словарных статей, тематический диапазон которых очень широк: экономика, естественные науки, история, искусствознание.

Не исключено, что именно в издательстве Скалдин познакомился с молодыми литераторами, которые позднее назовут себя обэриутами. Возникло взаимное притяжение, симпатия. Правоверный символист в поэзии, не прельстившийся авангардными течениями 1910-х гг., Скалдин в своей экспериментальной прозе многое предвосхитил из поэтики будущих литературных школ — Объединения реального искусства, мовизма: поливалентную семантику, необычность грамматических конструкций, алогические мотивации. О возникших контактах, о том, что Скалдин был принят обэриутами как свой, свидетельствует стихотворение Д. Хармса 1931 г.:

Короткая молния пролетела над кучей снега
зажгла громовую свечу и разрушила дерево
тут же испуганный баран (барс)
опустился на колени
тут же пронеслись дети олени
тут же открылось окно
и выглянул Хармс
а Николай Макарович и Соколов
прошли разговаривая о волшебных цветах и числах
тут же прошел дух бревна Заболоцкий
читая книгу Сковороды
за ним шел позвякивая Скалдин
и мысли его бороды
звенели. Звенела хребта кружка
Хармс из окна кричал один
где ты моя подружка
птица Эстер улетевшая в окно
а Соколов молчал давно
уйдя вперед фигурой
а Николай Макарыч хмурый
писал вопросы на бумаге
а Заболоцкий ехал в колымаге
на брюхе лежа
а над медведем Скалдиным
летел орел по имени Сережа.

В свою очередь, дочь Скалдина Мира вспоминает, как ей, пятилетней, отец читал стихи Хармса.

Любопытное и, может быть, тоже не случайное совпадение: во Всероссийский Союз писателей Скалдина и Хармса принимают в один день — 28 октября 1929 г. И исключают их из Союза, уже расширившего свое название словом «советских», тоже вместе — в «чистку» 1932 г.

Возможно, общение с обэриутами и память о совете М. Гершензона «писать детские сказки» сыграли свою роль в том, что на переломе 1920—1930-х гг. появляются

книжки Скалдина для самых маленьких: «Чего было много» (1929), «За рулем» (1930), «Раскваси», «Пионер в Питгор» (последние две не найдены, хотя на них были заключены договоры и Скалдин пишет о них как о вышедших). Не вышедшими из печати он называет книги «Нитка, иголка и пуговица» и «Музей „Чижа"».

Выпущенный в 1931 г. роман (так в договоре обозначен жанр) «Колдун и ученый», так же как и другие произведения того времени, можно назвать научно-популярным чтением для детей и юношества. Писались они быстро, из денег, но в то же время обнаруживают глубокое знание предмета повествования, широкую эрудицию и начитанность автора. Роман посвящен изобретению человечеством в древние времена красок и постепенному усовершенствованию их химиками XIX и первой трети XX в.

История замысла, как нам представляется, опять же может иметь биографическую основу. Многолетним и ближайшим другом Скалдина еще со времен «Башни» Вяч. Иванова был поэт Юрий Никандрович Верховский. Его брат Вадим Никандрович — ученый, профессор Педагогического института им. А. И. Герцена, действительный член Академии педагогических наук, заслуженный деятель науки — тоже писал стихи и подписывал их ямбом: «Верховский — химик, брат поэта». Вместе со своими ближайшими родственниками Рачинскими он принимал участие в организации издательства «Шиповник». В. Верховский был автором не только многих научных работ, но и учебников по химии для средних школ и вузов, в 1920—1940-х гг. выходивших в России и на Украине миллионными тиражами, а также «Химических азбук», «Химических хрестоматий», методических пособий и руководств. Многие из них иллюстрировал Георгий Скалдин. Оформлял он и многократно переиздававшиеся и любимые доныне серийные издания «Занимательная химия», «Занимательная электротехника» В. В. Рюмина, «Занимательная минералогия» А. Е. Ферсмана, «Занимательная арифметика» Я. И. Перельмана и другие книги издательства «Время». Я. И. Перельман и семейство Скалдиных в 1910—1920-е гг. жили по соседству, на одной лестничной площадке в доме № 2 по Плуталовой улице.

А в доме Вадима Верховского на Васильевском острове собиралась петербургско-ленинградская интеллигенция, именно там читал Скалдин свой роман «Земля Ханаана» (утрачен), в числе слушателей которого была А. П. Остроумова-Лебедева, оставившая в своих дневниках записи о встречах с писателем. Скорее всего беседы с химиком Верховским, а может быть, и прямое его предложение стали импульсом к написанию романа о красках. О том, сколь прочны были дружеские связи Скалдиных и Верховских, говорит тот факт, что в тяжелые годы блокады Георгий Дмитриевич оставил свою квартиру (теперь уже в Доме ученых, на ул. Халтурина, д. 27) и перебрался на 13-ю линию Васильевского острова, в дом № 56. «Маленький деревянный домик, в котором жили четыре съемщика: Вадим Никандрович Верховский, профессор-химик Юрий Сигизмундович Залкинд, профессор Зайчик и два брата-литератора, не помню фамилию, их посадили, — рассказывала нам ныне покойная дочь Верховского Анна Вадимовна Созонова, крестница академика С. В. Лебедева. — Папа помог Георгию Дмитриевичу эвакуироваться, может быть, тем спас ему жизнь, а в конце войны прислал вызов в Ленинград». По возвращении Георгий Дмитриевич продолжал жить у Верховского до дня его кончины, наступившей в декабре 1947 г. И только в 1948 г., когда после смерти хозяина квартиру продали, переехал опять в Дом ученых. Анна Вадимовна, в свою очередь, поддерживала отношения с Георгием Дмитриевичем и его женой Серафимой Семеновной Акимовой до их последних дней. В этой связи может оказаться не совсем случайным то обстоятельство, что и в Детском Селе семья А. Д. Скалдина и Лебедевы тоже поселяются на одной улице.

Георгий Дмитриевич в сравнении со своим братом был более спокойным и основательным. Кроме книжной графики, он занимался пейзажной и портретной живописью, но известным художником не стал, и все его довоенные работы погибли в осаж-

денном Ленинграде. В голодные годы он не гнушался и реставрацией мебели, просто плотницкой работой, как отец, и всегда, когда было нужно, не оставлял своей помощью семью старшего брата. Сколько у братьев было общих работ и планов — неизвестно. Сохранились лишь разрозненные страницы макета одной детской книги 1930 или 1931 г. — «Музей „Чижа“».

Талант отца унаследовала единственная дочь (от первого брака) Георгия Дмитриевича — Христина. Она пережила блокаду Ленинграда, стала художницей, заслуженным деятелем искусств Карелии. В 1989 г. Христина Георгиевна подарила Фонду культуры рисунки из серии «Воспоминания о Ленинградской блокаде».

Что еще писал Алексей Дмитриевич в эти годы? Об этом мы можем узнать лишь из следственных протоколов. Роман «Земля Канаана» он аннотирует в них как «посвященный изображению возможной революции на острове Ява». Возникают ассоциации с «Багровым островом» М. Булгакова. Кроме того, называются также не дошедшие до нас романы «Женихи» и «Деревенская жизнь». В январе 1933 г. Скалдин был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной народнической организации, ставящей своей целью изменение политического строя в стране. Формальным поводом, вернее, просто зацепкой для ареста и обвинения послужили нечастые посещения литературных собраний у Иванова-Разумника.

Быстрое разбирательство и приговор «тройки» — «заключить в концлагерь сроком на 5 (пять) лет. Заключение в к/л заменить высылкой в Казахстан на тот же срок» — обернулось для Скалдина тяжелой изоляцией и уже непоправимой жизненной катастрофой.

Первое впечатление, которое может сложиться по прочтении протоколов 1933 г., — Скалдин «всех заложил». Он, казалось, охотно называет имена своих литературных знакомых: и тех, кого знал еще в 1910-х гг., и тех, кого несколько раз видел случайно. Мы не знаем условий, в которых эти показания снимались. Допрашиваемый теми же следователями Иванов-Разумник писал в «Тюрьмах и ссылках», что протоколы составлялись самими допрашивающими. Одни и те же формулировки, встречающиеся во множестве протоколов разных подследственных, выдают диктовку. К тому же последние, итоговые показания написаны не рукою Скалдина. Из материалов многотомного дела видно, что задача следователей состояла в том, чтобы создать впечатление массовой организации с разветвленной структурой. Спешность и нелепость фабрикации сказались и в приговорах. Якобы стоявший во главе организации, руководитель ее идейно-организационного центра, к которому тянулись все нити, — Иванов-Разумник был приговорен к трем годам ссылки в Сибирь, где не провел и месяца — был переведен в Саратов. А, по его же свидетельствам, случайно схваченные люди: Скалдин, Котляров, Гребенщиков — последний себя признал виновным лишь частично — были сосланы на пять лет в Казахстан.

Скалдин прожил первый год в Алма-Ате, которая, как вспоминала его младшая дочь Мира, напоминала тогда большую пыльную деревню, в одной комнате с Яковом Петровичем Гребенщиковым — самозабвенно преданным Публичной библиотеке библиографом и библиофилом, глубоко верующим, церковным человеком. Они дружили. Скалдин покупал для Гребенщикова книги, дарил свои. В 1933 г. к 230-летию основания города вышел двухтомный «Путеводитель по Ленинграду». Имя уже репрессированного Скалдина, автора разделов по истории строительства и архитектуре в первом томе и достопримечательностям Васильевского острова и Петроградской стороны — во втором, скрыто за инициалами А. С. Второй том Алексей Дмитриевич подарил Якову Петровичу с надписью, обыгрывающей это обстоятельство. Ныне книга хранится у сына библиофила — Алексея Яковлевича. Тяжело переживая разлуку с семьей и свою невольную вину перед нею, Яков Петрович серьезно заболел. У него началась «реак-



А. Д. Скалдин
Петербург, 7 февраля 1928

тивная депрессия (с мыслями о самоубийстве) на фоне артерио-склероза». Состояние Гребенщикова стало столь тяжелым, что он был помещен в больницу и даже досрочно в марте 1934 г. той же «тройкой» «освобожден от ссылки». Ему было рекомендовано «возвращение в семейную обстановку», но при этом запрещено проживание в Ленинграде. В 1935 г. Гребенщиков скончался в Алма-Ате.

А в Детском Селе, вторично насильно разлученная с мужем, осенью 1933 г. умерла роковая красавица, госпожа N. N. скалдинского романа — Елизавета Константиновна. Ее похоронили на Кузьминском кладбище. После войны и смерти их дочери Марины могила затерялась.

Из-за одиночества, стремления быть хоть кем-то понятым Скалдин сблизился с молодой женщиной, ровесницей его дочери Ниной Соколовой. В Алма-Ате Нина оказалась как сестра ссыльнопоселенки. Возможно, из Астрахани выселили всю ее семью. В одном из писем Иванову-Разумнику Скалдин писал о Нине, не называя ее имени, как о единственном человеке, с которым он может хоть о чем-то говорить. Вскоре Нина вышла замуж. Но отцом ее ребенка — дочери, которую она назвала Верой, — был Скалдин. Семья мужа — Константина Гангоева — была оскорблена и принудила его к разводу. Молодая женщина почти сразу после родов снова попала в больницу. Новорожденную девочку, сильно ослабленную, взял к себе пожилой, совершенно неприспособленный в бытовых отношениях к жизни отец. Он выходил ее и, считая это вторым рождением, дал новое имя — звезды из созвездия Кита — Мира. Из далекого Славянска, что на Украине, на помощь брату приехала младшая сестра — Валентина. Может быть, пытаясь спасти свой брак, может быть, в беспамятстве Нина фактически отказалась от дочери, и девочка трех месяцев от роду совершила путешествие с тетей, ставшей ей матерью, через всю страну. Позднее ей дали фамилию и отчество мужа Валентины. Она стала Мирой Витальевной Чигиринец. А 23 января 1939 г. Марина с горечью написала в своем дневнике: «Говорила опять с отцом о Мире. Режет мне слух, что Мира — Вера Константиновна Гангоева. К чему это? Одна дочь у Скалдина: Марина Рейнгольдовна Вальтер, а вторая (даже имя-то другое!): Вера Константиновна Гангоева. Просто какая-то обидная чушь!..»

Деньги, которые Скалдин получил в 1939 г. за передачу автографов в Публичную библиотеку в Ленинграде и Литературный музей в Москве, он разделил между Славянском и Алма-Атой, между своими матерью-инвалидом, малолетней дочерью и последней любовью. Нина вторично вышла замуж за овдовевшего мужа своей сестры, покончившей жизнь самоубийством, еще достаточно молодого, но больного человека — Василия Александровича Пудовкина. Вася, как называет его в письмах и дневниках Скалдин, тоже, как и Нина, будет очарован умом и рассказами много знавшего и пережившего изгнанника. Годы они будут жить втроем в одной комнате, а затем, когда у Нины и Васи появится дочь Инесса, — вчетвером. Роль «приживала» угнетала и раздражала Скалдина. Из этого дома он наконец сможет уйти, но у него не хватит сил, хоть такое решение не один раз принималось, уехать из Алма-Аты, оставить Нину.

Ей и Васе он доверит, уже во время третьего ареста, все свои рукописи, книги и нехитрую, почти аскетическую утварь. Нина не сохранит доверенного, неспособная понять его ценности. А хранить было что. В Алма-Ате Скалдин работал над восемью романами. Вот как он аннотировал некоторые из них в письме к Иванову-Разумнику (июнь 1941 г.):

«**Роман о Распутине**, построенный на рассказах людей, много о нем знавших.

Колдуны — роман о деревне, о ее истории, начиная с 1840-х годов до нашего времени включительно.

Повесть каждого дня — лирический роман о любви человека, которому любовь „никак не удается“.



В. П. Чигиринец (отчим Миры), М. В. Чигиринец (дочь А. Д. Скалдина), В. Д. Скалдина
Начало 1940-х

Чудеса старого мира — роман о взаимоотношениях русского человека с зарубежным миром.

Третья встреча — роман о будущем как бы, но в формах совершенно настоящего».

В другом письме названы повести: «Авва Макарий», «Неизвестный перед святыми отцами», «Сказка о дровосеке с длинным носом». Всего было написано более 4000 страниц, что должно было составить 170—180 печатных листов.

«Двадцать тюков книг и переписки», занесенных в опись имущества в 1941 г., включали также дневники, которые Скалдин вел в Алма-Ате, конспекты лекций, там прочитанных, его неопубликованные статьи по изобразительному искусству, бесценные письма М. Кузмина, А. Н. Толстого, Ю. Верховского, Иванова-Разумника... Имен всех корреспондентов нам не угадать.

Близкие Скалдину по духу и уровню культуры люди понимали, что рукописи для него «дороже всего на свете» (из письма Марины 1939 г.), но в трагическом сорок первом близких рядом не оказалось.

Кто ее настоящие родители, Мира узнала только в шестнадцать лет, когда Валентины, спасавшей ее жизнь и в оккупации, уже не будет в живых, а Виталия Прокофьевича Чигиринца арестуют в 1951 г. по нелепому политическому обвинению в украинском национализме и приговорят к 25 годам лагерей без права переписки. Жизнь Миры никогда не была легкой. Оба ее отца — родной и названый — объявлены врагами народа. У матери, которую она отыскала, для дочери, «испортившей своим рождением ей жизнь», не нашлось ни тепла, ни жалости. Жизнь надо было строить самой. И Мира построила. Достойно.

Последние восемь лет, проведенных в Алма-Ате, были для Скалдина мучительными. В письмах домой и Ю. Верховскому он жалуется на отсутствие в библиотеке необходимых книг «для какой-либо работы по интересующему меня кругу», на «подлую тупость и наглость моих квартирных соседей, которым я не по нраву, а так как они свой нрав очень ценят — то мне даже и домой ходить неприятно, это осложняется целым рядом мелочей. Сижу, например, из-за сложности ситуации в отношениях без электричества, при свече. А электричество нужно не только для работы, но и для лечения».

Формальным поводом для третьего ареста — 28 июня 1941 г. — и послужили соседские доносы. Скалдин был обвинен «в клевете на граждан», и приговор по этому обвинению оказался несоизмеримо жесток — 8 лет лагерей. Но настоящая причина заключалась в том, что почти все привлекавшиеся ранее по политическим статьям сразу после объявления войны снова отправлялись в лагеря.

Родственники ставят под сомнение даже дату смерти и ее причину, указанные в свежевыписанном свидетельстве. К тому же в официальных ответах, полученных на запросы в МВД Республики Казахстан и МВД Российской Федерации, обозначены разные даты смерти — 18 июля и 28 августа 1943 г. Не исключено, что все эти обстоятельства сочинены в позднейшее, реабилитационное время и что вскоре после ареста и вынесения приговора 12 октября 1941 г. Скалдин мог быть расстрелян, как и многие десятилетиями гонимые «контрреволюционеры». Установить истину уже не представляется возможным. Как знать, не сбылось ли эзотерическое пророчество его молодых стихов:

Приближен срок: я был рожден
В октябрьский день, и мне судьбою
Прийти к последнему покою
Дан тот же день — я убежден.

Приношу глубокую благодарность за рассказы о семье и материалы, переданные РО ИРЛИ, дочери писателя Мире Витальевне Ситниковой и внучке Наталии Константиновне Гринберг, а также коллегам за помощь в разыскании документов и уточнения: В. Г. Белоусу, И. А. Доронченкову, Л. Н. Ивановой, Н. В. Котрелеву, Т. А. Кукушкиной, К. Ю. Лаппо-Данилевскому, Е. В. Лукину, С. А. Матяш, М. М. Павловой, А. Л. Осповату, Е. К. Савельевой, С. П. Суворовой, А. Г. Тимофееву, В. А. Фатееву, М. Д. Эльзону.

Т. Царькова

СТИХИ

Стихотворения 1911–1912

Вячеславу Иванову,
брату

М. А. Кузмину

В моей полутемной комнате
В углу потемневший Спас,
Такой же суровый, что — помните! —
Пленил когда-то и вас.

Шкафы наполнены книгами
(Два шкафа, но будет пять):
Их мудростью, точно веригами,
Люблю себя облекать.

Пред Спасом лампада красная.
Я рад, влача на плечах
Вериги, что дума согласная
С моей у Спаса в очах.

1910

***

Красный песок на дорожках.
Дряхлый сатир на глыбе замшелой.
Нежной рукой сплетенный, белый
Венок повис на козлиных рожках.

Старая башня в куртинах.
С нее кругозор широк, безмерен,
И грустящий сатир затерян
В твоих, Россия, тихих равнинах.

Клонит он чуткое ухо:
Не несет ли ветер пляски топот, —
Но слышен только листьев шепот,
Да бьется где-то синяя муха.

1911

Агнесе Скалдиной

Солнышко ласковое греет.
Матушка-земля, пробудися!
Дождичком весенним умойся,
Вырасти зеленую травку,
В алый цвет нарядися,
В белый, и лазоревый, и желтый, —
Что нарядов у тебя — счету нет,
Любованью, красованью лето долгое.

А и нрав у тебя незабывчив —
Помни же и нас за весельем,
Вспой, вскорми нам ярицу и озимь.
Матушка-земля, потрудися!
Матушка-земля, День Христов на дворе.

1911

ЗАПЛАЧКА

Ох ты горе, горе горькое!
И в словах-то тебе, горе, изговору нет,
И слезами-то тебя, горе, не выплакать.

Дитятко мое ненаглядное,
Сыночек ты мой единственный,
Положили тебя неомытого,
Неомытого, неприбранного,
Не под Спасовой святою иконою,
Не на чистом столе, не на липовом,
А на пыльной траве у околицы,
Принакрыли кульком-рогожею.
Понаедут лиходеи-земские,
Над тобой начнут измыватися,
Станут резати тело белое.
Не глядели бы глаза мои на позорище!..

А уж я ль тебе, сыночек, не наказывала,
А уж я ли тебе, парень, не говаривала:
«Не ходи ты к тычку, не похаживай,
Во царев кабак не захаживай,
У тебя, парень, сердце разгарчиво,
А кабацкая голь неуступчива!»
Не послушался ты родной матушки.
Проломили твою буйную головушку,
Проломили завсегдатаи кабацкие,
Незнамые люди, захожие.
Коим словом ты изобидел их —
Кабы знать наперед — отучила бы
От кабацких слов, от бесстыжиих.

Сирота я бедная, горемычная.
Чьи волосыньки мне теперь расчесывать,
Кого алым кушаком подпоясывать,
Да кому ж твоя шелковая рубашечка?
И кого мне нынче потчевать
Брагой хмельною, сладкой кашею,
И кому теперь приговаривать:
«Ты поешь, попей, поотведай-ка,
Похвали ты стряпуху, обрадуй-ка,
Красота ты моя неописанная,
Ты Иванушка свет-Трофимович!»

Горемычная я бобылка Марьица.
Ох ты, горюшко!..

1911

АКВАРЕЛИ

I

Холодная, ясная осень.
Вяз золотой и клен багрянеющий.
Сочные гроздья рябины
Сладкими стали от первых морозов.
Под старыми липами,
В редкой, бледно-зеленой траве,
Чета неподвижных ворон.
Прямые аллеи,
Скамьи на углах,
Подножия фавнов и нимф
Осыпаны листьем упавшим.
Диана колчан свой убрала огнистою ветвью,
Венера глядит на замерзшие поздние розы.

А чуткие дали прозрачны.
Белеет река уходящею гладью.
Ломается с треском — чуть тронешь —
Иссохший пырей на прибрежье,
И катятся по льду звенящие полые стебли.

Ухо внимательно ловит созвучья.
Как же не вспомнить и как не запеть о недавнем,
О том, что напели и что нашептали
Весна голубая и знойное лето.

Спокойное сердце ждет.
Знает, что сбудется жданное.

1911

II

В. К. Ивановой-Шварсалон

Как долго болел я:
Сегодня сентябрь.
Озолотились березы старые.
Здравствуй же, осень веселая!
Здравствуйте, новые сказки,
Новые песни.

В сад выхожу — и радостно сердцу.
Вижу: хозяйкой забытые,
Тяжелые желтые яблоки
С красными тонкими жилками
Клонятся, клонятся...
Падают в желтые листья...
Снег золотой!
Всюду, куда ни глянешь.
Вон на пруду синеющем
Плавно колышется,
Вон на крыльце
Тихо под ветром шевелится.

Солнце глядит, а не жжет,
Бледное
В небе бледном.
Здравствуй же, здравствуй, милая осень!

1912

М. М. Замятниной

Мужа я смуглого зрел: склонясь, он рассматривал ребра
Тяжкой квадриги златой. Кони сбирались помчать, —

Буйно храпели они, копытами звонко стучали;
Славный возничий Марон вожжи уже собирал.

Возле сенатор седой, одетый в богатую тогу,
С воином спорил о том, Главк победит иль иной.

Шума и споров кругом художник склоненный не слышал:
Были покрыты резьбой дивной квадриги края.

1911

***

Чужедальняя сторонушка!
Довелося добру молодцу во путь идти.
Как просили старики детинушку, сговаривали,
Молодому, неумно́му земно кланялись:
«Сослужи ты нам, парень, службицу,
Соберика-ка ты суму доро́жную,
Ты пройди-перейди Землю Русскую,
Ты иди в страну басурманскую.
Как придешь в страну басурманскую,
Станет прямь пред тобой Арарат-гора,
И на той святой Арарат-горе
Много лет спасается праведник.
А как старцу честному было имя дано
При святом Христовом крещении,
Никому из живых то неведомо,
Да и старец забыл свое имячко.
Расспроси ты старца предивного,
Где дорога лежит на Белый Град,
Испроси ты у него благословения,
Чтоб идти нам с детьми и с женами
Той дорогою к Граду Белому,
И ворочайся к нам, не замешкайся».

Ты прости меня, мать родимая.
Ты прости-прощай, жена милая.
Как детине бесталанному во путь идти:
На чужой стороне люди злы живут,
У них ковшичка водицы не выпросишь,
Они корочки странному не вынесут, —
Сгину я, бессчастный, во дальнем пути.

Не пристало только парню плакаться,
Послужу уж миру до последнего.
Встану завтра утром ранешенько
И пойду к попу на Никольский погост,
Упрошу попа старого,
Чтоб отпел он молебен напутственный,
Да поставлю свечу пред Угодником.

1911

ЯРОСЛАВСКАЯ

Ты сыграй, а я спою
Про участь горькую мою

Как во славном Питербурхе,
Во столице на Песках,
Эх-ха-ха, эх-ха-ха,
Во столице на Песках.

Жили-были, поживали
Два братана молодых.

Одного крестили Власом,
А другого-то Титом.

В ресторации ходили,
Развеселу жизнь вели.

А на масленой неделе
Собралися вдруг домой.

Добралися до деревни,
Да немного привезли.

Влас привез всего полтинник,
Тит дырявый четвертак.

Понадумали кататься,
Только лошади-то нет.

Серо-пегую лошадку
Призаняли у Петра.

Стали парни обряжаться,
О нарядах домекать.

Хоть у каждого пальтушка,
На двоих пара сапог.

Влас, однако, парень умный,
Поделил он сапоги.

Он на праву ногу лапоть,
А на леву сапожок.

Леву ногу через грядку,
Праву ногу под кулек.

3 Зак. 3178

Тит на леву ногу лапоть,
А на праву сапожок.

Праву ногу через грядку,
Леву ногу под кулек.

Как проехали деревней,
Только снег кругом летел.

А приехали к Успенью,
Собиралось все село.

Красны девицы глазели
На заезжих пареньков.

Посудачили старушки
Про богатых женихов.

Прокатились, похвалились
И вернулися домой.

Ну и дошлые ребята
Ярославцы-молодцы!

1912

Валентине Скалдиной

Стояли дети на мостике,
Смотрели... Мелькали хвостики
Стрижей над журчащей речкой.

Садилось солнце за рощею,
Играло с березкой тощею,
На шпиле горело свечкой.

У девочки зонт в горошинах,
А шляпу в лугах некошеных
Она потеряла, играя.

«Ах, эти скверные пальчики!» —
Сердито ворчали мальчики,
Стрижей улетела стая.

1912

Георгию Иванову

Стадо к полудню уснет, а мы собирать землянику
К лесу тому чрез ручей бродом песчаным пройдем.

Ягоды сочной в траве так радостно видеть кораллы, —
Радостней видеть в кустах милой пастушки лицо.

Там, у жасминных кустов, под сению старой оливы,
Знаю, она меня ждет, чтобы отвергнуть опять.

Нас рассудите, друзья! Дар каждому в меру заслуги.
Я ль Афродиту хулил? Что же смеется она?

Где справедливость богов? Памфил поцелуем утешен, —
Мне в утешенье дана лишь земляника в кустах.

1912

КАМЕННЫЕ БОРОДАЧИ

Андрею Белому

На мощные подъяли рамена
Навесов темных тягостное бремя.
В пыли густой и каменное темя
И бороды упавшая волна.

Недвижные! К чему им числить время?
Под ними площадь мертвых снов полна.
Не раз дымилась кровию она,
Но здесь не прорастет свободы семя.

А я люблю немых бородачей.
Провал глазниц и напряженность жил
Мне говорят: «Пойми, сними с нас узы».

Что мастер тот, резец волшебный чей
Вас создал, в вас, надвременных, вложил?
Вы — повесть тайная его и Музы.

1912

ГАДАНЬЕ

Я помню живо... Было лето.
Был вечер серый и прохладный.
Из-за угла мелькнув, карета
Остановилась у парадной.

А с козел слез старик в ливрее.
Он, руку приложивши к сердцу
И сделав мину поважнее,
Открыл таинственную дверцу.

И вылезли два господина
В цилиндрах, с розами в петлицах,
Не то с печатью важной сплина,
Не то с отчаяньем на лицах.

По лестнице они взбежали,
Входною дверью хлопнув резко;
Им стекла вслед продребезжали,
Швейцар же выругался веско.

Так было все на сон похоже:
Когда негромко позвонили,
Арапа высунулась рожа
И чьи-то тени заходили.

Седая дама в платье черном —
Поклонница старинной моды, —
Движеньем строгим, но проворным
Раскрыла вещие колоды.

Раскинула. Легла брюнету
Дорога без хлопот и скуки,
И скорая — пройти бы лету...
Вновь быстрые мелькают руки.

Сулят блондину карты что-то
Неясное. Измена злая.
Расходы. Тайная забота.
Опять любовь... «Ужель Аглая

Мне хочет изменить постыдно?» —
Товарищу он шепчет, зная,
Что тот ответит безозбидно:
«Подумаешь, беда какая!»

Раскланялись. И вниз сбежали.
Не тайную ль несли тревогу?
И снова стекла дребезжали,
И занавесил дождь дорогу.

Швейцар махнул. Запел из чайной
Вдруг граммофон. Рулады. Взвизги.
Но с резвостью необычайной
Помчалися, бросая брызги.

1912

Гр. Вас. А. Комаровскому

Яблоки шлю я тебе на простом нерасписанном блюде.
Дар небогатый прими. После оценишь его.

Разные рядом легли, отражаяся в белой поливе,
И многоцветна игра. Ты погляди и приметь.

Первое нежно сквозит, налитое желтеющим соком,
Будто бы липовый мед сердце его напитал.

Белый другого бочок заалелся от щедрого солнца,
Ровно девичье лицо нежным румянцем горит.

Третье же яблоко все в розоватых разорванных жилках;
Тут же и белый налив яблонь любимых моих.

А напоследок кладу два антоновских, крепких, зеленых.
Кислы? Ну что же — не ешь. Лучше письмо дочитай.

Краски и кисти возьми. На окошко поставив посылку,
Прочь занавеску откинь, солнцу окно отвори.

Чистой бумаге поверь многоцветную тайну природы.
Строго, спокойно смотри. Солнце поможет тебе.

1912

ПОЭТ

Пишу стихи, как зажигаю свечи
Пред образом, в тиши благоговейной.
Слова, слова томящие, глухие!
Примите плоть, дабы открыться людям,
Живите жизнью ясною и нужной,
Служите миру дольнему по силе.

Я знаю, этот мир принять вас должен:
Я душу отдаю — какая жертва! —
И, жертвуя, не жду себе награды, —
Что злато мне? и что венок лавровый? —
Но отдаю затем, что в этом даре
Лежит зерно, рожденное для роста, —
Тягчайшего не будет преступленья,
Как умертвить начало новой жизни.

Слова, вы мною рождены, и строгим
Вас пронесу путем к последней цели.
Светите светом трепетным и чистым.

1912

М. М. Замятниной

Юноша робко всходил на высокую круглую башню,
Зная, что башни иной нужно еще одолеть

Лестниц и крытых ходов коридоры и сотни ступеней —
Тяжкий и радостный путь: ряд восходящих годов.

Знамений тайных всегда на путях непройденных мы ищем, –
Юноша тоже гадал знаменье встретить в пути.

Вот до вершины дошел, и придверница башни Мария,
Строгий, недремлющий страж, двери раскрыла пред ним.

1912

ЗОДИАК

Памяти Н. К. Чурляниса

I. Водолей

Когда январской темной ночью
Волнообразный Водолей,
Вияся парой мудрых змей,
Зажжется пред тобой воочью —
Взгляни и знак понять сумей.

Припомни, как сбирались тучи,
Как сотрясалася Земля,
Богов о милости моля,
Как Океан потек могучий
На обреченные поля.

II. Рыбы

Над темным Океаном влажный,
Сгущенный воздух как туман,
И солнца лик во влажном рдян.
Со дна Атлантов род отважный
Незримо зыблет Океан.

В морях гордыню мы омыли.
Слепой, вот брение: отри
Глаза свои. Смотри, смотри,
Уж Рыбы вещие поплыли:
В морях — одна, и в небе — три.

III. Овен

И на омытом Арарате
Стал Агнец чистый и глядит,
Как моря темный малахит,
Что розами горел в закате,
Иною розою горит.

Родится светлый на Востоке,
Его лучи как сонмы сил, —
И обнажится теплый ил,
И в берега войдут потоки
Под знаком благостных светил.

IV. Телец

Из волн морских Телец спасенный
Выходит на бугор земли, —
И снова взрежут корабли
Простор пучины усмиренной,
Играя в водяной пыли.

А в четких знаках манускрипта
Латинского всегда видна,
Всегда сквозит загадка сна —
В них гьероглифика Египта,
Как в зеркалах, отражена.

V. Близнецы

Сошлися майской ночью звездной
Заложники своей вины,
Единой волей сведены
Над узкой каменною бездной,
Отца единого сыны.

То Дионис-Загрей сладчайший
И Сребролукий Аполлон,
Кому удел определен
Вражды и дружбы величайшей
До истеченья всех времен.

VI. Рак

По каменным обломкам синий
Всползает светлой ночью Рак:
Со дна морей, быть может, враг
Посланца шлет, и хладный иней
В июне падает, как знак.

Таинственно преполовенье.
С глубоким трепетом глядим.
Голубоватый лунный дым,
Струясь, родит в сердцах волненье,
И снится нам Иерусалим.

VII. Лев

Изогнут знак на небе львиный,
Пять пальм на берегу морском,
В пустыне гор крутой излом.
Выходит Лев, и рык звериный
Со страхом слушают кругом.

Но ляжет кроткий и смиренный
Пред мудрой Девою, когда
На Океаны, города
И на поля свой свет нетленный
Прольет Пречистая Звезда.

VIII. Дева

Прекрасная выходит Дева,
Таинница моей Земли,
Ее, Святую, извели
Из Океана для засева,
Как жертву Божью. О, внемли:

Так в августе, плоды сбирая
И жизни темный бег стремя,
Вновь засеваем озимя
Для жатвы будущего Рая,
Себя предчувствием томя.

IX. Весы

Не над бездонною ль могилой,
В круговороте смертных ям,
Подобны призрачным Весам,
Что свешены Предвечной Силой,
Два корабля? — и к небесам

Уходят мачты. Вы ль, титаны,
Один грузили до краев
Тяжелым грузом, чтоб, под рев
Валов высоких, Океаны
Приняли дар в разверстый ров?

X. Скорпион

В аполлиническом виденьи
Встает деревьев строгих ряд,
И Скорпиона жгучий яд
И злобный бег, в ночном бореньи,
Предсмертном, сердце истомят.

Гуляет ветер по приволью,
И слышен в поле тихий звон,
Ужалит солнце Скорпион,
Да изболит тяжелой болью
И кротко примет смертный сон.

XI. Стрелец

В своем круговращенье время
Шлет за гонцом еще гонца,
И вот, как новый знак конца,
На это каменное темя
Возводит меткого Стрельца.

И тот, вознесши лик суровый,
Подъемлет свой упругий лук,
Слепая мощь узлистых рук
Стрелу пускает с силой новой,
И режет воздух смертный звук.

XII. Козерог

Из погребенной Атлантиды
Изыдет гордый Козерог,
И все пути земных дорог
Он, с блудной дочерью Киприды,
Пройдет как огнеликий бог.

О, братия, не соблазнитесь!
С незримого отсель холма,
Когда падет на долы тьма,
К нам съедет Божий Белый Витязь.
Покиньте, братия, дома!

1912

ПЕТЕРБУРГ

I

Вечерний час. Мигая, фонари
Возносят лики длинной чередою:

Над городом, под ясною звездою,
Фонарный свет как отблески зари.

Что ж, город мой, до времени цари:
Ничтожен ты в туманах, над водою,
И твой предсмертному подобен вою
Предсонный гул... О, Муза, посмотри!

Ты — мудрая. Когда умолкнут шумы,
Поведаешь о том, что было днем,
Мы в полночь вместе к солнцу воззовем,

Теперь же отдадим иному думы
И песен дар: зане совлек Господь
Покров дневной, — раскрыта наша плоть.

1912

II

Гляди. Решай, на что направим взоры:
Там, на скале, стал призрачен титан,
Покинули блудницы смрадный стан,
И за добычею выходят воры.

Дома стоят, как каменные горы,
Над маревом болотистых полян,
Осклизлые, но то не кровь из ран,
А гной, смертельный гной точат их поры.

Здесь тайна нам дана. Светильный газ,
Подобно этим трупам синегубым,
Зловонный, мерзостный течет по трубам,

Чтоб вспыхнуть радостно в последний час.
Покойникам воскресные одежды
Готовит смерть. Раскрой же шире вежды.

1912

АПОСТОЛЬСКИЙ ПИР

Другу

В Апостольском дому кипит работа:
Назначен пир для избранных гостей.
Там отроки, как пчелы возле сота,
Кружатся у столов и дар кистей,
Что к осени лелеял виноград,
С ломтями крупными подносят хлеба.

Весь в розах зал, как будто вешний сад,
И звезды ясные, мерцая с неба,
Им говорят о том, что нужно свечи
Уже возжечь: настал условный час,
Да в свете радостном польются речи
Сладчайшие, рекомые за нас.
Не знаменье ли тайное дано:
Зима суровая, трещат морозы,
А на столах пурпурное вино
И милые благоухают розы?
Держать совет за чашей круговою
Из гроба темного на белый свет
Идут, одеты дымкой голубою,
Философ, полководец и поэт.
Здесь Александр, Гомер и Гесиод,
Платон и Дант, и Пушкин с Соловьевым,
И многие еще, — венчанный род,
Победные, прославленные ловом
Сердец людских в божественные сети.
Их отроки встречают у дверей.
Сливаются уста в одном привете.
Апостолы с четой своих зверей,
С орлом и ангелом стоят и ждут,
Пока рассядутся. И мудрым словом,
Сжигающим, как раскаленный прут,
Прекрасный Иоанн к заботам новым
О мире страждущем и вечно ждущем
Своих гостей, поднявшись, призовет
И скажет так: «Пускай же к темным кущам,
К полям и городам направят лёт
Все девять Муз, — к рабочим, пастухам
И к воинам. И легкого Гермеса
Пошлем мы с ними в поиски, чтоб к нам
Из темного подвала, иль из леса,
Иль из дворца богатого поэтов,
Художников достойнейших вели
И мудрых воинов. Мы, в Розе Светов,
Издалека пришедших и в пыли,
Омывши прах земной с их лиц и ног,
Усталых уберем из роз венцами,
Да тяжкий труд благословят дорог
И, чистые, воссядут вместе с нами».

1912

ПРИТЧА О ЖАТВЕ

Другу

Еще одной высокой, важной песни...
А. Пушкин

О, братья-воины Господня Гроба,
Послушайте, что ныне скажет вам
Великий Мастер. Темная утроба
Земли-Владычицы прияла Семя
Святое в дар и рост. Приспело время
Людской страды. Се на потребу нам.

Припомните слова, что жатвы много —
Жнецов же мало. Ныне ваша длань
Да примет серп. Недалека дорога,
Еще прохлада утра нежит лики,
Цветы раскрыты белой повилики,
И вся в росе хлебов земная дань.

Вы станьте в ряд и, острыми серпами
Срезая злак, кладите сноп на сноп,
На верх горы идите за снопами
И снова вниз. Так до седьмого поту.
Я вам тяжелую даю работу,
Но каждому росой омою лоб.

Мы обмолотим хлеб. И для засева
Зерно свезут, быть может, в дальний край;
Оно взрастет, и вот Адам и Ева
Придут в поля... Ах, все еще сокрыто,
Куда ведет путей земных орбита!..
Что ж, первый жнец, скорее начинай!

1912

ПОЛДЕНЬ

Повиснут в воздухе орлы,
И остановятся волы,
        Ведущие тяжелый плуг.
И запоздалый в речке лед
Уж далее не поплывет,
        В волнах задержан кем-то вдруг.

Раскроет лес свои врата.
Смотри: за ними пустота
        Миров, неведомых досель.
А воздух станет так медвян...

Примолкните... Проходит Пан.
        Вот запоет его свирель.

Из вас никто не может знать,
Продлится ль путь дневной опять,
        Иль в даль иную потечет
Весь прежний мир... Безумца лик
Нам кажет Пан. Но ты поник:
        Безумствуй же, коль призовет.

1912

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЗНАМЕН

М. А. Кузмину

Колышутся победные знамена,
Крещенные в полях Бородина.
Музыкою вся улица полна,
И ровен шаг гудящий батальона.

Глухая и безмолвная страна.
Орлы побед у каменного трона.
Увидит ли вас трепетная Рона,
К Царьграду ли вас вынесет волна?

Так радостно под вашим знаком темным
По улицам шумливым проходить
И чувствовать, как связывает нить

Тебя, ведущего, со всем огромным,
Что сзади отбивает мерный шаг
И ваш блистательный возносит знак.

1912

ЭВРИДИКА

Пишу карандашом, пишу чернилами,
Пишу о тех, что сердцу стали милыми.

И заодно о тех, кого забыл давно:
Вот вспомнил, напишу и опущу на дно.

Бежит река, но тень одна над Летою
Кружит и ждет, да что ж ей присоветую?

Я весело пою, как юноша Давид,
Но знаю я, что все пути ведут в Аид.

Не минется никак: дорогой дикою
Пойду туда за ней, за Эвридикою.

1912

А. А. Блоку

Мне было тайно ваше Слово
Поведано, и ныне я,
Как год назад, касаюсь снова
Загадочного бытия.

Мое приемлющее сердце
В тиши подсказывает мне,
Что вижу в вас единоверца,
Но все же я смотрю извне.

Какое малое оконце!
И Слово все ушло в слова.
А за окном так ярко солнце,
И к солнцу тянется трава.

Еще томит глухое бремя,
Что налагают шум и толк.
Но вижу День: Иное Время
Преобразит наш сирый полк.

И в мудрой стае лебединой
Мы вместе поплывем туда,
С путеводительною льдиной,
Где блещет рдяная Звезда.

О, брат! Когда из вод просветит
Сокрытое на дне кольцо,
Каким сиянием ответит
Твое влюбленное лицо!

1912

Е. В.

Вы не роняйте темных слов:
Как жемчуг я сбираю их, —
Рожден поэтом и готов
Всегда ковать ответный стих.

А стих вдруг вспыхнет и зажжет,
И кто отмечен знаком тем,
От темной власти не уйдет
И будет глух и будет нем.

И в темной сердца немоте
Ответный вспыхнет сердцу свет...
Не подходите же к черте
И радуйтесь, что страха нет.

1912

В АЛЬБОМ

А. А.

Я Мнемозине доброй благодарен
И Дочерям ее служу по силам,
А все за то, что память о тебе
Богиня-Мать в мое вложила сердце,
Что Дочери ее так много песен
Мне спели про тебя. Благодари же
Старуху мудрую и Дочерей
Веселых, неустанных хороводниц.

1912

Л. Н.

Не знаю, как назвать: заказ, иль просьба,
Иль, может быть, совет прекрасный друга, —
Ну, словом, то, о чем вы мне сказали
Недели три назад и снова в прошлый,
Прощальный понедельник повторили, —
Так вот оно, признаюсь вам, покою
Мне не дает. Все думаю, желая
Хорошее в хорошие одежды,
Достойные вполне прекрасной девы,
Облечь. И не могу никак. Не знаю,
Что подошло бы к ней. Быть может, нужно
Здесь большее, чем то, на что способен
Неопытный поэт. Вы помогли бы
Ему, послушному. Скажите сами
Прекрасной то, о чем в посланьи этом
Дерзаю вам писать сейчас. Прибавьте,
Что нужным вы сочтете, — и довольно.
Она умна: без лишних объяснений
Поймет, что значит наше к ней вниманье,
И назовет: Любовь... Не ошибется...
Вы так сказали: колосу подобна;
Я повторил. Какой залог в согласьи
Двоих людей, душой весьма различных
И если схожих в чем, то в тайном только, —
В том тайном тайн, в котором слово «третий»,
Как спелое зерно, должно родиться...

Под утро вы ушли. Она осталась.
Стояла у стола. А мы сидели —
Мой друг и я. Смотрели. Свет мешался
От лампы меркнущей с рассветным светом,
И на лице ее, на платье желтом
Играло отраженье чуть заметно
От милого цветущего растенья,
Которым был украшен стол. Смотрели
И думали. «Как хорошо! — промолвил
Хозяин вдруг, — какое отраженье
Прекрасное!» Я молча согласился.
Мы близки с ним в одном служеньи Богу,
Но каждый раз, как новое согласье
Нас посетит, я радуюсь глубоко.
Об этой радости скажите тоже,
А в-третье, наконец, ей передайте,
Что радостней всего воспоминанья:
Они залог того, что в нашем прошлом
Начало и конец — все нити жизни,
Все будущее мира... Если вспомнит
Она когда-нибудь о нас, межою
По ниве проходя, колосья скажут
Ей то, что мы сказали. Улыбнется,
Подумав о письме. А мы узнаем
Без передачи: будущее в прошлом,
Я повторяю вновь, живет, как семя...
Писать ли что еще? Пора уж кончить,
Доверив слово вам, простой и верной.

1912

В. Ш.

I

Дана мне милая задача,
И окрыляю легкий ямб.
Не мадригал, не дифирамб
Пою, размер стиха означа.
Желая просто передать,
Что услыхал о вас недавно,
Петь не хочу я слишком плавно, —
Гоню стихов спокойных гладь.
Дифирамбического хмеля
Я, осторожный, не вкушу,
Хотя стиха не иссушу:
Прошла четвертая неделя,
Как это слышал я о вас, —
Для испытания не мало, —
Но хмеля нет и не бывало,

Огонь не вспыхивал, не гас.
В каком-то очень странном стиле,
Подобно скрытому ключу,
Я вам пою и так хочу,
Чтоб, наклонившись, вы испили.
Есть в Царском статуя. Кувшин
Разбив о камень ненароком,
За медленным прозрачным током
Давно-давно — не счесть годин, —
Поникши, каменная дева
Следит. Не также ль и поэт,
Бегущих не считая лет,
Свой водонос разбив, из зева
Неиссякающей струей
Живую воду льет и слышит,
Как возле жизнь согласно дышит
И кто-то властно молвит: пой!..
Вас уподобили златому
Ржаному колосу. Давно
Я это думал. Лишь одно —
Боязнь промолвить по-пустому,
Быть не услышанным никем
Из тех, кого вниманье ценно
(Я не о вас: вам неизменно
Я верил), и еще затем
Труды и мелкие заботы
(Так, между прочим, иногда)
Во тьме мое томили «да».
Теперь, свободный от работы
И с мыслью свежей, я пишу
Об этом вам. Хотя без спроса
Стихи я лью из водоноса,
Но извиненья не прошу...
Какое милое сравненье,
Какое верное! Зерно
В сем мире тайное звено.
Вы не поэт, но ваши звенья
Взрастают в сердце. Ток ключа,
Что там, в душе, немногим ведом,
Но ключевые слезы следом,
Не иссякая и шепча,
Бегут, бегут. В какие дали?
Вы знаете. К чему слова:
Ведь каждая слеза нова.
Таитесь, чтобы не сказали
Чего не нужно. Тот поймет,
Кто ясно видит тайну хлеба,
Кому в ночи открыто небо,
Чье сердце будто светлый лед.

4 Зак. 3178

II

Прошли два дня. Недолгий срок.
День пролетает, словно птица.
Но вот опять должны родиться
Ряды таких же быстрых строк.
Готовлю вам не поясненье.
Сокрыт и хладен, но кипуч,
Опять бурлит прозрачный ключ,
Опять услышите вы пенье.
Я так скажу: иного взор
Глядит спроста на звезды в небе,
На васильки в созревшем хлебе
И на верхи высоких гор.
А мир текуч. И где различье
Меж водами живой реки
И тайной хлеба? Васильки,
И лилии, и песня птичья
Давно слилися для меня
В один поток. Но в этом пестром
Для многих мире взором острым
Я вижу глуби. Оттеня
Прошедший день, приходит черный
Теней ночных безликий полк:
Кто говорил — давно умолк,
И ковачи, оставив горны,
Устало спят. Упал покров,
И, кто не слеп, гляди смелее:
Издалека, прохладой вея,
Рекой лияся, цепких ков
Земных заржавленные кольца —
Богов всезнающая Дочь —
Вдруг обнажает взору ночь.
Войди с душою богомольца,
Но не молись. Иной поре
Твоя назначена молитва.
В ночи охотнику — ловитва.
Готовься. Только на заре
Помолишься. Стрелою меткой
Ночную птицу подстрели.
Поставь алтарь и повели
Широкой пальмовою веткой
Его прислужнику прикрыть.
Под утро огнь зажги, гадая,
Что ждет в пути дневном. И, тая,
Подскажет дым, как нужно плыть.
Поэт — охотник. Песня — птица.
Так, отрешась от суеты,
Добыл ее стрелою ты.
Се благовонный дым курится...

Не удивляйтесь, если днем,
Когда роняет зерна колос,
Я вам скажу (как ровен голос!),
Что ключ и зерна об одном,
Струясь, поют. Водой живою
Напитан мир. И все течет.
Во влаге лебедь правит лёт...
Я тверд и сух, но я омою,
Склонясь, горящее лицо.
Я из воды возьму златое,
Глубоко скрытое, святое
Царево брачное кольцо...
Иной увидит, так взглянувши,
Густых и ржавых — древних лет —
Убор волос, глубокий свет
Прозрачных глаз и, потонувши
В неощутимой глубине,
Не подаривши слова даже,
Пройдет. А вы — душою та же,
Что прежде, — смерите извне
Мимоидущего. Привета
Достоин только тот, кому
Идти назначено во тьму.
Таким понятна тайна света.

1912

НА КРЕСТЕ

Глухая боль. Не стало муки.
Собрал остаток прежних сил
И говорю — кому, не знаю —
«Прости, Господь, а я простил».

В последний раз перед глазами
Войска пройдут и прозвенят,
И пробежит по тонкой жерди
Коза за парою козлят.

В последний раз ласкает солнце
Мне темя сладостным лучом.
Скажи, Господь, скажи скорее,
Чего желать? молить о чем?

Недолог солнца путь к закату.
Продлись, продлись! Хочу взглянуть
В последний раз туда, на солнце.
Но головы не повернуть.

1912

СКАЗАНИЕ О ГИБЕЛИ ГОРОДА

Алекс. Ник. Чеботаревской

К брегу песчаному волн среброкосмое буйное стадо
С шумом стремится; с разбегу взметаясь, весело плещет.
Тихо к воде подхожу и вижу, что видел и раньше:
Гладкие круглые камни, шипящую пену клубами.
Травы морские, щепа, отметенные прочь, окаймили
Берег широкий в два ряда: тот выше — этот пониже:
Ветер вчера был сильней — валы далеко забегали.
Слушаю шум бесконечный, и новые мысли, сияя
Ровным сияньем, рождаются где-то глубоко-глубоко
Или взлетают орлом сизокрылым под синее небо.
Мысли такие под спудом держать не грешно ли поэту?
Миру, поющему песнь, не послужит ли каждая песня?

Некогда город стоял у прибрежья грозного моря,
Славный торговлей своей, многолюдный, шумливый, веселый.
К гавани верной суда отовсюду с товарами плыли.
Сколько их в город везли, и сколько в далекие страны,
Старый на новый сменив, отвозили! Опять возвращались,
Снова сгружали и новый опять принимали, надеясь
Раз не единый приплыть и продать и купить на разживу.
Но ни богатство, ни слава к спасению нам не послужат,
Если судьбою предел неизменный начертан от века:
Город погиб, погребен. О гибели темная повесть
Нам в назиданье осталась. Прослушавши с толком, ищите
Сами значенье ее. Кто ищет — тот обретает.

В городе пышном, в зловонной темнице, прикованный цепью,
Старый, дряхлый на грязной соломе лежал чернокожий.
Был он рабыней рожден, привезенной купцами с Востока,
С родины дальней, еще в малолетстве, и, дома не зная,
Неба родного и рек не видавши, возрос. Провинившись
Тяжкой однажды виной, осужден был и ввергнут в темницу.
Многие годы в ней пробыл и, мучимый трудной болезнью,
Духом смирился: решил испросить грехам отпущенье.
Целыми днями подряд стоял на коленях, моляся.
К Деве Марии взывая, так говорил он: «О, Дева!
Ныне к Тебе прибегаю, Заступница Светлая мира.
Добрых мне дел не свершить, Благая, но сердце молитвой
Ночью и днем я готов очищать. Предстань же у Сына,
Слезы мои вознеси к Престолу Христову на небо,
Может быть, сжалится Он: пошлет старику облегченье».
Дева, молитве внимая, предстала за старца пред Сыном.
Сжалился Сын и сказал: «Тяжелый Я грех отпускаю».
Только сказал он, почувствовал старец, что в сердце иное,
Новое вовсе родилось, светом дрожащим светяся;
Тихо горело, сжигая старое, скверное, злое.

Кротко боли терпел он, подъемля к далекому небу
Очи больные. Казалося старцу, что небо он видит:
Небо святое прозрачно, а люди, закрывши темницу,
Были не в силах укрыть от него осветленные выси.
Дни проходили за днями — один другому подобный.
Душу спасая, забыл он о людях, думал о небе.

Город же рос, богател. Люди рождались, женились,
Сами рождали, готовились к смерти спокойной в постели.
Близилась страшная гибель, но кто мог поведать об этом?
Бог милосерд: посылает пророков призвать к покаянью
Или сказать, что гибель близка, и кто хочет — спасайся.
Только пророкам не внемлют: смеются, толкуя, что бабам,
Глупым торговкам на рынке, пристало внимать прорицаньям.
Бог в пророки избрал изможденного старца в темнице:
Судьбы грядущие города тайно ему Он поведал.

Старец однажды заснул на восходе и спал до заката.
Тихо со сном расставаясь, в кости вдруг почувствовал крепость;
Трепетность в мышцах; зренье и слух обострились. Не стало
Сумрака вовсе. Гул, тишину заменяя, из груди
Матери черной Земли загудел — сначала нестройно,
Дико, глухо; потом все стройней, спокойней, яснее.
Кладезь Земли растворился: бездна в нем засияла.
Мимо прозревшего старца метнулись могучие духи,
Мощно ширяя крылами, главы наклонивши, слетелись.
Круг замыкая, воскликнули: «Будет! Исполнились сроки:
Городу жить остается три дня и три ночи, а после
Землю под ним потрясем и воды морские направим
На берег. Город омоет вода и отхлынет обратно.
Божьих велений премудрость сокрыта от смертных и духов:
Бог повелел — мы исполним». Сказали. Метнувшись, исчезли.
Сумрак сгустился над старцем. Очи старца потухли,
Слух ослабел. Непонятными стали глухие отгулы.

Утром тюремщик раскрыл со скрипом тяжелые двери,
Старцу он хлеба принес и воды — пропитанье дневное.
«Слушай, — сказал ему старец, — виденье мне дивное было.
Городу гибель грозит. Поспеши на площадь, поведай».
Молча тюремщик глядел, дивяся старцевой речи:
Старец в тюрьме позабыл тот язык, на котором он с детства
В чуждой стране говорил, но познал изволением Божьим
Предков забытый язык, и гортанные дикие звуки,
С хрипом из уст исходя, пугали и тешили стража.
Вышел тюремщик. Старец остался один, изумленный.
После он понял, что Бог помутил его разум и отнял
Нужное слово за то, что, думая только о небе,
Вовсе забыл он людей и спасти потому их не может.
«Господи Боже, — взмолился тогда он, стеная, — на то ли
Сердце очистил Ты мне, чтоб в гордыню я впал и довольство

Сердцем моим. Прости! Возврати (да поведаю судьбы)
Мне разумение слов, понятных тюремному стражу».
Так помолившись, пободрствовал мало и вновь погрузился
В сон и виденье. Видел все ярче и глубже, что было.
Утром опять повторил — опять непонятным наречьем,
Диким. Стал на колени. Снова взмолился усердно.
Капали слезы обильно; стонал, ударяясь о камень;
Цепью в муке звенел и волосы рвал в исступленьи.
В третий увидел он раз и, восставши, понял, что нужный,
Стражу понятный, язык возвратил ему Бог милосердый.
Только тюремщик вошел, он воспрянул с соломы в волненье.
«Слушай. Не поздно еще, — он промолвил тюремщику, руку
К двери простерши, — беги на площадь, поведай народу:
Духи открыли мне гибели города близкие сроки».
Все рассказал по порядку. Со страхом тюремщик прослушал,
Выскочил за дверь, захлопнул ее, замка не замкнувши;
Улицу он пробежал, стремяся к площади людной.
Влез на перила дворца, закричал народу: «Спасайтесь,
Братья, скорее! Духи готовятся город разрушить».
Голос пресекся. Народ любопытный толпою прихлынул.
Слушали речь, головами качая. После решили:
«Видно, безумец какой». Кто прочь отошел, кто остался.
Духом тюремщик упал и сам себе не поверил.
Сел, склонившись, затих. Сидел так до гибели общей.
Слухи и толки росли и множились всюду, но верить
Слухам не верил никто, хотя пугались их втайне...
Ночь наступила последняя. Все по домам разбрелися.

Время текло неудержно, спокойно. Исполнились сроки.
Духи собралися в круг и пласт побережный качнули.
Будто волна прокатилась. Рухнули с грохотом стены.
Пыль поднялася. Люди метались, кричали, но поздно
Было спасаться: три мига до гибели страшной осталось.
Кратер вулкана раскрылся, изверглась кипящая лава.
Огненный пепел и каменный град уничтожили город...
В гавани вспыхнули вмиг все суда, словно ярые свечи:
Палубы, мачты горели. Люди кидалися в воду.
Новым ударом от моря закончили духи работу.
Море все медленно вспухло огромной горою и в город
Двинулось вместе с судами горящими, с шумом и ревом
В улицы хлынуло. Бросив суда, будто щепки, на бреге,
Вспять побежало, водой унося людей и товары.
Больше земля не тряслась, но лава текла еще долго,
Сыпался пепел дождем, и молнии грозно сверкали.
Всех погубили стихии — виновных и вместе безвинных.
Те же, кому благосклонные судьбы решили в открытый
Плыть океан иль, спеша издалека, не к этому часу
В гавань войти, — ужасаясь смотрели, но помощь какую,
Сердцем болея, могли оказать погибавшим на бреге.
Видели дымные тучи, молний сверканье и пламя,

Город пожравшее; поняли сразу, что больше не видеть
Милых родных и знакомых. Плакали слабые сердцем,
Крепкие сердцем молчали — их море молчать научило.

В городе мертвом один лишь остался в живых изволеньем
Строгой судьбы — изможденный старик-прорицатель в темнице.
Крыша, стены тюрьмы от тяжких ударов раздались;
Над головой старика повисли, сломавшися, балки;
Вырвалась цепь из стены, а двери тюремщик оставил,
В город когда побежал, без замка и засова... Свободу
Старец почувствовал. В горести трудной, с бьющимся сердцем,
Выйти он в город хотел, но горячие лава и пепел,
Лежа пластами, грозили спасенному страшною смертью.
К Деве тогда он воззвал, попомнив Ее заступленье.
Снова рукою всещедрой своею Она ниспослала
Мудрую милость ему — могучим, бушующем ливнем
К морю промыла меж пепла дороги. Старец, ведомый
Верной рукою, влача за собою тяжелые цепи,
К берегу утром спустился; нашел уцелевшую лодку,
Сел на скамью и, веслом двуперым работая, поплыл.
Скоро к селенью приплыл. Поведал, что видел и слышал.
Только никто не поверил. «Страх помутил его разум», —
Все говорили. И старец, в пустыню направясь, остаток
Жизни провел в посте и молитве. О праведном вскоре
Люди прослышали. Стали стекаться к нему за советом.
Кротко им старец твердил: «Молитесь, дети, Пречистой,
Чтобы очистила сердце и очи. Раскроются тайны,
Час придет, и Бога увидите, Имя познавши»...
Тихо скончал свою жизнь умудренный Девою старец.

1912

ПУТНИК

Роса всклубилася густым туманом,
Плывет, плывет в оврагах по ручьям,
И, путь обставши, простирают сосны,
Над головой моей концы ветвей

Пахучих и густых. Еще нескоро
Приду я к дому твоему, мой друг,
Но с каждым шагом все ясней и глубже
В душе моей звучит твой властный зов.

И кажется, что дом передо мною:
Вхожу к тебе, а ты сидишь, согбен,
И Первого к Коринфянам Посланья
Читаешь тихо третию главу.

Как вестник радостный, я на пороге
Остановлюся на единый миг,
Потом скажу приветливо и просто:
«Обороти лицо и гостя встреть».

1912

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Покрыта листьями земля.
Деревья тихи и суровы.
Спадают вечера покровы
На опустевшие поля.

Зажгутся звезды через час,
И Смерть придет стопою строгой:
За той широкою дорогой
Я встретил взгляд следящих глаз.

Она — как рыцарь: строен стан,
Все одеяние литое,
Блестит оплечье золотое,
И реет мертвенно султан.

Она идет на верный лов,
Не обнажит меча напрасно,
И потому так небо ясно,
Что я принять ее готов.

Покорный сердцем, тихо я
Тебя, Таинственную, встречу
И на лобзание отвечу
Лобзаньем крепким, Смерть моя!

1912

ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ И СМЕРТЬ

Каждый вечер Черный Рыцарь
На широкую дорогу
Выезжал и поджидал.
Стороною шли крестьяне,
Пропускал монахов сирых
И торговцев и бродяг.

Но, завидев на дороге
Паладина, ровным шагом
Направлял к нему коня;
Знак давал остановиться,
А потом снимал перчатку
И бросал тому к ногам.

Смело вызов принимая,
Паладин проезжий быстро
Обнажал широкий меч,
Но недолго длилась схватка,
И победа доставалась
Вызывавшему на бой.

Отделял главу и, спрятав
Под плащом добычу, в замок
Направлялся через лес.
Шли года, и стены замка
Покрывались черепами;
Был утрачен жертвам счет.

Но всему конец приходит:
Так, однажды Рыцарь Черный
Вызвал Белого на бой.
После ложных трех ударов
Неожиданным четвертым
Поразил того в лицо —

И отпрянул: сбив забрало,
Обнажил он голый череп,
Безволосый и слепой.
Вскрикнул в страхе, меч отбросил
И лицо закрыл руками,
Будто слабое дитя.

Тут коня пришпорил Белый
И копьем тяжеловесным
Безоружного сразил.
На песчаную дорогу,
Широко раскинув руки,
Черный Рыцарь мертвым пал.

На дороге у канавы
Много лет лежал он, тлея:
Обходили труп его,
Бормоча молитвы под нос.
Все лицо изъели черви,
Ворон выклевал глаза;

И шипели в шлеме змеи
И пугали свистом робких.
Но однажды проходил
Изможденный францисканец, —
Раздобыв в селе лопату,
Он могилу ископал;

Опустивши труп в могилу,
Прочитал над ним молитву
И поставил крест святой;
Отпуская прегрешенья,
На кресте простую надпись
По-латыни начертал.

И стоит тот крест доселе,
Сохранив святую надпись,
А прохожий селянин
Отдыхает в жаркий полдень
Или вечером прохладным
У подножия его.

В назиданье нам остались
Крест святой да вот сказанье,
Мной пропетое сейчас.
Сила что? и что победа?
Каждый будет в смрадном гробе
Ждать архангельской трубы.

1912

Р. Р. фон-Вальтеру

Море белесое спит. Округлые камни темнеют.
Там неподвижен корабль. Виснут на нем паруса.

Сосны и вереск в песках. Купальные будки и лодки.
Сядем же здесь. Отдохнем. Будем смотреть на восток.

Вести какие несу — глашатай и странник полночный?
Слушайте. Я передам. Весть неизменно одна.

Только принес я ее в обличии новом и чуждом.
Нужно приникнуть, понять. Очи и сердце раскрыть.

Весть же моя о любви — о любви неизбежной и смертной,
О воскресеньи моем, ныне грядущем в веках.

Что вы печальны всегда? Дарует нам светлые силы
Вместе с покровом святым чистая в Боге любовь.

Тот, кто дерзает любить, обрекается смерти прекрасной:
Силою нас одарив, меч заостряет Любовь.

Красная роза — Любовь, а белая — Смерть знаменует.
Обе — нетленно чисты, — благоухая, зовут.

1912

ВИНО

Вечер осенний пришел. Багряные тучи недвижны.
Тихо деревья стоят, яркой не сыпят листвы.

В сад я спускаюсь. Иду, не спеша, по дорожке убитой
Розово-желтым песком. Молча гляжу на закат.

И на ограду всхожу, обратив свой взор к луговинам.
Вижу — белеет тропа возле ограды в кустах.

Девушки мимо идут в одеждах широких и светлых,
В узких сосудах несут темное с пеной вино —

Дар виноградных кистей осеннего первого сбора, —
Влитое милой рукой в круглые горла амфор.

И, наклоняя лицо, вдыхаю я запах чуть слышный,
Нежно пьянящий меня. Так бы подольше стоять,

Запах бы этот вдыхать и глядеть бы на дев смуглолицых.
Но исчезают они за поворотом тропы

Быстро одна за другою. О, милые девы, прощайте,
Ждите веселых бесед, зимних шумливых пиров.

Вашим вином взыгравшим наполним широкие чаши,
Песню о розах споем вместе за длинным столом.

1912

ДИСТИХИ

Е. К. фон-Вальтер

I. Эрос

Эрос, в полуночи светлый и темный в полудне, разящий,
Грудь подставляю тебе: меткой стрелой порази.

II. Психея

Помни, Психея, о свете: если из темного сердца
Ярый огонь изведешь — будет светильник гореть.

III. Аполлон

С Эросом шествуя вместе, меткие стрелы несете.
Ты ли Антэроса лик в хладе своем совместил?

IV. Артемида

Рощей идет Артемида, и розы, склоняяся, шепчут:
«Дар благовонный любовь, если смертельна она».

1912

***

Прикованный к постели,
Лежу давным-давно.
Белеется окно,
А сбоку смотрят ели.

Припомнишь жизнь былую,
Лихие кутежи, —
Гулял напропалую,
Но будет: полежи.

Все думаю. А страх
Томит, и сердце бьется:
Вдруг смерть-то подберется
И станет в головах?

1912

ЭРАТО

К. И. Вейнбергу

Девушка стройная! Мне не забыть,
как я был обессилен,
Влагой живою вотще
рвался уста охладить...
Ю. Верховский

Иду осеннею порой
Тропою опустелой парка.
Оленей вижу под горой;
А солнце тихое не ярко.

И знаю, где конец тропам.
Скорей на светлую поляну,
К спокойным голубым прудам
И неустанному фонтану.

Лишь он не молкнет средь полян.
Кропит, кропит твои одежды,
А ты склонила тонкий стан
И робко опустила вежды.

Звонкопоющая струя
Из позлащенного сосуда
К твоим стопам бежит, поя
Дельфинов резвых... Ждать ли чуда?

Просить ли, дева, чтобы ты
Свое лицо оборотила,
Сошла в сияньи красоты
И чужеземца напоила?

О, как желанья изъяснить
И чувствам дать именованье?
Смотри: вот паутины нить
Неуловимая. Желанья

Подобны ей: коснись — порвешь,
И долго грусти не избудешь,
И утешенья не найдешь.
Зачем же ты, о сердце, нудишь?

1912

Стихотворения, опубликованные в журналах и альманахах

ОСЕНЬ

Здравствуй же, убогая всепетая отчизна!
Облака и просини осенним днем светлей.
Тяжкая таится укоризна
В немоте обветренных ветвей.
Порудели травы по дороге.
Вещее поет в пастушьем роге...

Кровию Христовых ран окроплена брусника,
Но — убогий — слов Твоих не слышу, Спасе мой,
Скорбного окрест не вижу Лика...
Гладь реки колышет лист сухой
И беззвучно стелется по брегу.
Песнь зовущую пою я снегу.

ПУТЕМ ДАЛЕКИМ

В рдяном отблеске светлое дерево
Наклонилось верхушкой курчавой.
Над заросшею темной канавой
Запыленное гибкое дерево.

Дальней тучей рожденное облако
В колее утонуло дорожной.
Как мечта о стране невозможной,
Светлым небом обронено облако.

Дальней рощи неясное марево
Колыхнулось завесою тонкой.
Просветлевшее каждой коронкой,
В красных отсветах синее марево.

ПЕСНЯ ВАНИ ДУМНОГО ИЗ ДЕРЕВНИ НИЖНЕГО ЗАКЛЕТЬЯ, А ВАНЕ ТОМУ ДУМНОМУ ОТ РОДУ 46 ЛЕТ

Уж задумал же я, Ваня, думушку.
Кабы мне ту думушку поведати,
Хоть не тем сказать, кто Руси набольший,
Лишь избенке бы моей неприбранной,
Да скотинушке моей некормленой,
Мужикам-соседям нижнезаклетским,
Бабам их — и старому, и малому, —
То-то б по миру округ галдеж пошел.

И сама избенка приубралась бы,
А в подызбице, где мыши бегают,
Завелись бы сундуки с богачеством,
А на них замки-запоры верные;
Да не два закрома хлебом-милостью —
Целых пять насыпал бы Иванушка.
И, прослышав слово мое думное,
Навострил бы Шарик уши длинные,
А буренушка их, глупая, развесила б,
А кобылка моя сивая — та в пляс пошла б.
Вот пришло бы миром Нижне-Заклетье,
Старики-то старые помаргивали б,
По полам руками-то похлопывали б,
Головами-то седатыми потряхивали б,
Да меня, Иванушку, похваливали б:
«А и думка ж у тебя, Иванушка, надумалась»...

Да нельзя ту думу сказывати:
На ту думушку зарок положён.

КАК БУДТО

Египетских письмен несобранные звенья
Украсили рабом взнесенный обелиск.
Под белой ношею февральского цветенья
Свисает в полукруг узлистый тамариск.

На тот же мудрый путь извечного теченья
Восходит мощный Ра. Янтарен утром диск.
И к западу — в Страну вечернего свершенья —
Стремит свой жадный взгляд небесный василиск...

Но то обман: стальное пушек тело
На камень от земли подъято смело,
И скрепу их замел намокший снег;

Лишь надписи, прикрытой снежной пылью,
Глагол простой о том, что стало былью,
Означил путь, как в поле крылья вех.

ПРИТЧА О ПОСЕЯННОМ

Не оживет, аще не умрет

Пропаханы борозды черные,
Разрыхлены глыбы земли.
И тяжко зарницы дозорные
Сверкают над лесом, в дали.

На пахоте, в тягости тления,
Иссохлые зерна лежат
И ждут благодати кропления,
Пока пламенеет закат.

А тучи, исполнены благости,
Дают огневую им весть,
Что должно, из тлена и тягости
Возросши, по смерти расцвесть.

НА ПОГОСТЕ

Меркнет красный свет лампады,
Нависают плачущие ветки,
Заплетая краем черной сетки
Кружево широкое ограды.

Темная глядится в воду,
Затаив стенания и пени,
Ива — сторож надмогильной сени,
И березы клонятся по сходу.

Церковь вся горит огнями.
Я один. А там Христа встречают.
Шитые хоругви помавают,
Шорохи относит над полями.

Ярче пламенников точки.
Замедленной, тяжкою стопою
Уж нисходят узкою тропою:
В речке талой тонут огонечки.

***

Воскуренные свечи леса соснового,
Медуницы цветы и осота.
Сладок дар озарения нового —
Белых дней золотая забота.

Я стезей потаенной, вглубь уводящею,
В лес иду поутру, до заката,
В синь хмельную за красною чащею:
Чаша с темным вином не почата.

ЦАРЬГРАД

Как судьбы выследить в лазурном небе!
        Дух ищет наугад.
Но бритт и галл кидают ныне жребий
        Твоей судьбы, Царьград.

Троянцев тени древние, смотрите:
        Вот режут грудь морей
Их корабли. Слетайтесь и зовите
        Отцов и матерей.

Заутра бой. Недолго ждать рассвета,
        Замреет моря гладь,
И вынесет вас медленная Лета
        На бреге пировать.

Елена — Мать! Царица! Будь желанной
        В последний час.
На этот пир последний, необманный,
        Благословляя нас.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Тихо в комнате моей.
Оплывающие свечи,
Свет неверный на стене.
Но за дверью слышны мне
Легкий шорох, чьи-то речи.
Кто же там? Входи скорей.
Полночь близко — час урочный!
Что толочься у дверей?

Дверь неясно проскрипела,
Растворилась. Гость полночный
Входит молча. Вслед за ним
Шасть другой. А за другим

Сразу два, и на пороге
Пятый. Лица странны: лев,
Три свиньи и змей трехрогий
Позади, раскрывши зев.

Ну и гости! Ждал иных.
Говорю им: скиньте хари,
Неразумные шуты,
И скорей свои хвосты
Уберите! Не в ударе
Вы сегодня. Видно, злых
Нет речей и глупы шутки —
Только я-то зол и лих.

Зашипели. Сразу злей
Стали рожи. Ветер жуткий
Дунул вдруг — и свет потух.
Но вдали запел петух, —
Свиньи в дверь, а лев кудлатый
За окно, и в печку змей.
Что же, бес иль сон проклятый
Были в комнате моей?

***

Песнь последняя моя,
Спета ты в ночном томленьи
И умолкнешь в отдаленьи,
Вместе с эхом погребенная.

Что же тайная судьба
Даст тебе? Когда ты снова
Прозвучишь в душе другого,
Сердцем чьим воскрешена?

***

Любовь ли искушает силу,
Иль сокровенной пустоты
Жестокий холод, — все же ты,
Певец, сойди в свою могилу.

Она раскрыла темный зев
Перед тобой. Но будешь славить
Ее и бег созвучий править,
Любовь и сон преодолев.

***

Кому нужна моя любовь?
Не спрашивай, но жди всечасно
И сердце в дар всегда готовь
Киприде мудрой и всевластной.

Поверь, благая наша Мать,
Любви не зная безымянной,
Найдет сама, кому отдать
Сыновний дар благоуханный.

СПб. 7 июля, Силламяги. 21 июля 1913

***

Как странно: все мои обиды
От сердца разом отлегли —
Ужели разрешить могли
Меня персты благой Киприды?

Но предо мною мир иной;
Дышу всей грудью, так свободно,
И знаю, вновь перо пригодно
Писать о жизни молодой.

ЗВЕЗДА

Горит звезда, и отражают воды
Далекую в недвижной глубине.
И облака проходят там, на дне,
И проплывают медленные годы.

Иного света нет нигде отныне.
Повсюду твой дрожащий, нежный свет.
Так вот к чему стремился столько лет:
Быть одному перед лицом богини!

Пусть навсегда продолжится молчанье.
Ты сердцу шлешь холодный свет любви
И тихо просишь: «Имя назови», —
Но я молчу. Нужны ль именованья,
Когда в душе ответное сиянье?

СНОВИДЕНИЕ

Виином согретый и любовью,
Ты звал, мой милый, к изголовью
        Пленительные сны.
Когда вино закрыло очи

И сон вошел, во мраке ночи,
        С дыханием весны —

Ты видел дев перед собою,
Что шли поутру, чередою,
        К источнику, от гор,
Наполнить узкие кувшины
И песней огласить равнины
        До крайних сикомор, —

Я неприметно, вместе с ними,
Пришла к тебе и золотыми
        Словами песнь пою,
Склоняясь тихо к изголовью...
Я подарю тебя любовью —
        Прими любовь мою.

СПб. 23 апреля 1913

Стихотворения, не публиковавшиеся при жизни
(Из первого собрания)

Аз орю и добре землю делаю, ты по ней посей,
яко да обогатееши.
Не угаси, молю, малыс искры, лежащие в тебе,
да не от Бога наказан имаши быти, яко погубив правду.
Иоанн Неронов

Не признавай того истинным мудрецом
Кто ради сей жизни подчиняет свой ум боязни и страху.
Авва Исаак Сириянин.
Слова подвижнические

ЛЕГЕНДА СТАРОГО КАМИНА

На старом камине ангел и мопсик.
Теперь-то уж мертвы — их Бог наказал, —
А жили когда-то, и будто недавно.

Вчера иль сегодня? — в памяти стерлось,
Но стрелки часов не успели уйти,
Стоят, чтобы старая сказка осталась.

У ангела с мопсом крепкая дружба
В то старое доброе время была:
Где ангел — там мопсик, в игре и проказах,

Где шалости каждой шумная радость!
Я ангелу ваксой усы рисовал,
А мопсу на хвостик навязывал бантик.

Мне няня-ворчунья шепчет, бывало:
«Да полно же, милый, шалить и шуметь,
Вот ангел-то ночью возьмет да и скажет...»

Я ангелу тихо: «Где ты бываешь?»
Он добрый, а хитрый. Не скажет никак,
Куда он летает. И только смеется.

Ходила к ним в гости черная Машка,
Им ведьмина кошка шептала слова
(Тогда-то я знал их, теперь же не помню).

Ну что ж? Нашептала! Бедненький мопсик:
Сшалил над ним ангел похуже меня —
Глаз бедному мопсику выколол ангел.

У серого мопса крепкие зубы.
Пред ангелом он не остался в долгу
И правое крылышко вовсе оттяпал.

Так кончилась дружба ангела с мопсом,
И кошка к ним в гости не стала ходить.
Когда же это было — вчера иль сегодня?

ПОЭТЫ

«Всё закаты да закаты, — проворчал редактор едко, —
И хотя бы кто случайно притащил один восход!
Да, живое дарованье можно встретить очень редко.
Нет! скажите мне, восходы разве раз бывают в год?»

Я молчу. Восходы часты. Каждый день поутру солнце
Вылезает из берлоги, потирая правый бок,
И, наверно, взглядом скосым через пыльное оконце,
Упираяся в лежанку, золотит обоев клок.

Под навесом по навозу бродит вместе с черной курой,
Ловит ухом, сколь цыплята жизнерадостно пищат,
Как стучит по загородке хвост коровы злобно-хмурой, —
Но не знает, что под утро все поэты крепко спят.

«Мне понятней ужас смерти, — отвечаю я тягуче, —
Час рожденья тайны светлой не моей душе объять...»
А редактор, покопавшись на столе в бумажной куче,
В чьей-то рукописи робкой переправил *е* на ѣ.

Георгию Иванову

Я, приносящий, пред вами, великие боги, склоняюсь.
Лик обрати, Аполлон. Артемида благая,
Строгая в сонме богинь, дар благовонный прими.

В тяжком бою одолев, воин добычу дарит,
Пахарь довольный — зерно полновесною мерой,
С выгодой торг завершивши, купец — многоценное злато.

Каждый, пришедший с дарами, стократ получает благие:
Пахарю дар — урожай, и купцу преизбыток,
Воин же в новом бою имя героя найдет.

Детям Латоны цветы — бедный поэт — приношу.
О, Артемида, пошли целомудрие сердцу!
О, Аполлон-Светодатель, возьми мое чистое сердце!

ИЗ ПИСЬМА

Вячеславу Иванову

I

Белою ночью
В раскрытые окна смотрю
На прозрачную
Дней нерожденных завесу.

Там, в отдаленьи,
На горизонте отшедшем,
В нежном венце заревом
Тихо маячат слова,
Еще непонятные,
Чуждому оку незримые,
Но светлые-светлые.

Шли облака ввечеру
По закатной тропе небосвода.
Их уже нет,
Но остались намеки:
Длинные пряди
Спутанных вместе
Нитей жемчужных.

Этими нитями,
Их осторожно распутав,
Я уловлю заревые слова.
Камни стоцветные
Слов заревых
Перенижу
Жемчугом матовым.

Что же, что будут рабами
Эти ночные слова?
Освобожденные
Чистой любовью,
Божьи рабы — не мои.

II

В окна мансарды,
Через красные крыши домов
С недымящими пастями труб,
Вижу убранство реки
Заревое.

Тихо ползет запоздавший буксир.
Нос засмоленный
Режет бездонное зеркало.
Медленно волны
Бегут к берегам,
Плещут в гранит,
Потемнелый от сырости.
Может быть, слышало ухо
Этот размеренный плеск, —
Может быть, ухо обмануто.

Но повернул колесо рулевой,
Ход направляя к каналу.
Лязгнула цепь приводная.
Снова спокойна река,
И в глубине отраженной
Ходят зеленые светы —
Вечных миражей игра?
Ты ли, Царица, глядишься?

Чащей лесною
В пасмурный день
Брел я однажды,
Дождик накрапывал.
Горькая сырость ползла
Из низины болотистой.
Вдруг из-за туч
Солнце взглянуло:
Луч, по верхушкам деревьев скользнув,
Веки и губы обжег мне.
Солнца не видел я
(Кто же на солнце умеет смотреть!),
Но поцелуя следы
Свято храню на лице.

В зеркало смотрит Царица.
В зеркале ходят полночные светы.
Горе блуждающим.
Горе отверженным.
Горе!

Белые волны покровов Твоих,
Легкие гроздья запястий жемчужных
В зеркале трепетном мира, —
Царица! —
Миру полночное солнце,
Солнце благое для добрых и злых.

III

Идут по темнеющим улицам
Тобою, Царица, на вечерю званные.
Все новые, новые — новым на смену.

Вижу: на Западе
Вечери Тайной Твоей уготована горница:
Ломти положены хлеба,
В чашах прозрачных играет вино,
И зажжены седмисвечники
Отроком нежным,
Одетым
В светлый хитон,
Опоясанным
Поясом красным.
Пламя колеблется тихо,
Тени рисуя на выступах стен.

Лишь сораспявшийся Сыну
В горницу внидет избранником,
Вкусит от сладости яств,
В чаше омочит уста пересохшие.

IV

Не освещенный закатом,
Смотрит на светлую улицу
Узкий, глухой переулок
(Вот коридор в неизвестность!),
Плиты панелей
То побелеют,
То голубыми становятся.
Гулки шаги...

Как и вчера,
Как и неделю назад,
Вот уж в течение месяца
В тот же условленный час
Из переулка
Медленным шагом выходит
Мой полуночный знакомец,
Тех, что навстречу ему попадутся,

<.....................>
Лик неприкрытый,
Ими непонятый,
Им неизвестный.

Прохожий обычный
Встретит, наверно, его на углу
И, вежливо шляпы касаясь рукою,
Спросит спокойно:
«Как пройти на Зеленую улицу?»
Он, неспешащий,
Ответит.
Длинно. Толково.

V

Считаю минуты,
Пока он по лестнице всходит...
Одна... и другая... и третья...
Четвертая...

Белая ночь,
Как белая Смерть,
К окну приникшая.

Порваны нити,
Концы и начала спутаны,
И те слова,
Что сказаны им,
В странном обличье,
Как птицы испуганные
И обезумевшие,
Взмывают и мечутся...
Падают...
Снова взмывают...

Он — победитель!
Он смеется.
И смех его темный
Подобен темным словам его.

Он победитель,
Но побежденного сердце свободно.

Сердце, усни
Сладостным сном,
Как Мир Младенец
Уснул.

Светлый спит,
И Царица Светлая —
Дева и Мать —
Над колыбелью склонилась.
Смотрит.

VI

Белые ночи коротки,
И, лишь петухи пропоют,
Он надо мной уж не властен.

Я поникаю, измученный,
Он же, свободный и пьяный,
Шагом неровным идет
На берег спящей широкой реки
И, прислонясь к парапету,
Смотрит на мелкую рябь
Посередине ее
И на прибрежные глади.

Знаю — увидит
Жемчуг небесный,
Жемчуг зари незакатной
В воде голубой отраженным, —
Но не завидую.

Он, охмеленный
Злобным бесстыдством,
Да не коснется
Чистейших покровов Твоих
И запястий жемчужных,
Царица!
Да не посмеет!

Се преклоняю колени,
Благоговеющий.
В сердце моем,
Просветленном тобою,
О Дева,
Зависти нет и не будет.

Стихотворения, не публиковавшиеся при жизни (Из второго собрания)

С. В. Троцкому

Свет неживой?.. Он — нерожденный...
Я дебрями бреду седыми,
И взор, слезою увлажненный,
В сиянье зарном небосклона
Не зрит ли там — в закатном дыме,
Таинность матерняго лона?

Вдали, где скован лес в ограду,
Зажжен высоко светоч смольный
Душе измученной в отраду.
Но сердце тлится темной раной.
Иду — быть может, враг невольный —
К Тебе, Христос, Тобою званный.

***

Поэзия! хочу твоей услады.
Стиху готова новая страница.
О Муза, пой, как радостная птица,
Звончее пой! И пусть бегут мэнады!

Они кипучей рдяной крови рады,
Их полк ведет безумная тигрица,
И как горят от пляски быстрой лица.
Не вырваться из их живой ограды.

Всегда я, верный, Дионису внемлю.
Но уподоблюсь юному Пентею.
Мне быть убитым матерью своею,

Родной рукой поверженным на землю.
О Муза, пой узывчивей и слаще,
И пусть мэнад мелькают ноги чаще.

***

Я издалека гляжу. Разделили нас море и сосны.
Только мне все нипочем: зоркие дал мне глаза

Нас сотворивший и дал разумение трепетной тайны:
В тайне готов я принять, в тайне готов возвратить.

Вижу я злые глаза и длинные светлые косы,
Тихо колышется грудь, грусть и любовь затаив.

Кто я? Откуда пришел? Какими путями? Смотрите.
Я же вам в очи гляжу — смело взгляните и вы.

Как обольщающий змей, приникаю все ближе и ближе.
Если боитесь вы чар, нужно скорее прочесть,

Вспомнив простые слова, заклинанье, и чары растают.
Верное средство дано: круг очертить и сомкнуть.

Только не сможете вы. Голубыми приплывший путями
Знает, как темных ловить, знает, что темные ждут

Метко разящей стрелы, приготовленной бедному сердцу.
Дара им сладостней нет. Сердце готово принять,

Сердце готово простить огненосной стрелы Аполлона
Смертную боль и печаль. Вижу: раскрыто оно.

1912

ГОЛГОФА

А. А. Блоку

У желтой будки водопойной
　　С текучим краном
Скучает сторож — парень стройный
　　В кафтане рваном.

Гудя, рыча, мотор стремится,
　　Спешит прохожий,
И еле на мост воз тащится
　　С дубленой кожей.

Бреду, понур, своей сторонкой
　　В ползущем гаме,
Кривлю уста усмешкой тонкой
　　Навстречу даме.

Готовность жертвы тайно тлится
И сердце ранит,
Пока душа в цепях влачится, —
Но час настанет!

Сплету я терн и незабудки,
Прикрою очи,
Дождусь у водопойной будки
Прихода ночи.

Закинет тень в глухой проулок
Кривые руки,
Усталый воздух станет гулок,
Прозрачны звуки;

Зевнет старик, просящий хлеба,
И съежит плечи.
Мольбу творя, затеплит небо
Живые свечи.

Блеснет соцветностью узора
Бесплотных Лира, —
И взор поймет глубинность взора
Святого клира.

Войду в сугроб холодный, мшистый,
Воздену длани,
Подъемля к небу скорбно-чистый
Сосуд страданий.

И разолью слова прозренья
Священным зовом.
А даль сокроет их значенье
Глухим покровом...

К утру родят небес глубины
Слепые блики,
Застелят свет святой Дружины
Иные лики.

Венка цветов голубооких
Повянут гроздья,
Больное тело слов высоких
Пронижут гвоздья.

Как сон, у трона Саваофа
Померкнет Вега.
И крест взнесет моя Голгофа
В сугробе снега!

АВГУСТ

А. С. Акимовой

Еще в полях не прозвучали
Осенней сладости слова,
Но никнет жесткая трава,
И сизы дымки легкой дали.

Еще о жизни лес мечтает,
Окутан мантией глухой,
Но часто с ветки лист сухой
Нарядной бабочкой слетает.

Еще струится смех зеленый,
Как прежде, шепчет близкий бук,
Но облетевший черный сук
Прорезал край небес червленый.

Еще в полях не прозвучали
Осенней сладости слова,
Но скорбно никнет голова:
Я слышу зов моей печали.

ЗАПИСКА

Тит долговязый и Главк, веселые братья-гуляки,
Полно, лентяи, вам спать. Встаньте, спешите ко мне.

Секст, возвратившись из стран, лежащих на юг от Египта,
Много диковин привез, хочет их нам показать.

Жемчугу разных цветов, камней драгоценных и злата, —
Трудно мне все перечесть: сильно болит голова.

Стол уж накрыли рабы. Жду вас, чтоб изгладить похмелье.
Будут рабыни плясать черные, словно смола.

Хочет рабынь раздарить друзьям сотрапезник веселый.
Нет! я бросаю писать. Лучше бегите скорей.

А. С. Акимовой

Любимую звезду сокроют небеса, —
Да будет радостным и легким расставанье! —
Прибрежных камышей певучее шептанье
Прорежет конский топ и ропот колеса
По колее засохшей и разбитой.

За синей полосой затеплится восток,
Неясных облаков в зените очертанья
Зажжет и расцветит зари ночной дыханье,
И, в ряби раздробив, их отразит проток,
Как рыбьей чешуи блестящие созвенья.

Весло мое скользнет чуть слышно по воде,
В недвижной заводи подъемля колыханье, —
И первое лучей горячих трепетанье,
И тени облаков, подобно той звезде,
В очах твоих и в сердце отразятся.

Лахта. 27 мая 1910

***

Я берегом реки иду неторопливо
За конским табуном по утренней заре.
У светлой заводи внизу поникла ива,
И сосны старые недвижны на горе.

У плеса жеребцы и матери с сосцами,
Набухшими к утру от ноши молока,
Срывая сочный злак, бренчат колокольцами,
Размеренно жуют и фыркают слегка.

За синею рекой, за дальними лесами
Возносит Аполлон свой блещущий колчан,
И тени длинными ложатся полосами
От кущ твоих священных, Пан!

Я встречу новый день игрою на свирели:
Дохнут уста мои, и верная рука,
Коснувшись прорезей, рассыпет звуки трели
Чистейшей и простой, как эти облака.

ПАМЯТИ М. А. ВРУБЕЛЯ

А. А. Блоку

О, время вещее предночных озарений!
Недвижимая рать вечерних облаков,
В отсветах пламенных края лиловых теней —
Ее святой покров.

И капли по траве и по ветвям березы,
На листьях, что в луче невидимом блестят,
И шепоты в полях — Ее слова и слезы,
Ее нездешний взгляд.

Не в пламени ль своем сгорят одежды Девы,
И розы, мертвые, осыпятся с чела? —
Как гидра хищная, клубясь, разъемлет зевы
Ночная злая мгла.

Грозы предвестников, над дальними лесами
Огни, зажженные, мгновенно гасит ночь,
Но вспыхивают вновь зарницы полосами,
В стремленье превозмочь.

Се жду! Последний час перед приходом срока.
Одежды бренные душе дано совлечь,
Когда над пажитью, до запада с востока,
Прострется Божий меч.

Ал. Ник. Чеботаревской

Когда бы Вы могли предречь,
С Песков веселая Кассандра,
Мои пути, о Александра,
И речью связною облечь

Прозренья Ваши, но, питая
Благоволение ко мне,
В своем пророческом огне
Солжете Вы, судьбу пытая.

17/18 мая 1912

***

Радостный тихий вечер.
Даль, золотяся, пышет,
Пруд, голубея, дремлет.
Старая клонит ива
Тонкие в воду ветви.
Ветер трепал их с полдня:
С шумом взлетали кверху,
Бело-зеленым роем
Дружно метались листья.
В небе спокойно было:
Небо дышало зноем.
Вот и улегся ветер.
Смотрит и видит око:
Вечер раздвинул небо,
Зорю зажег и движет
Отсветы алым роем,
Иве же дал усладу
Легкой, без снов, дремоты.
Пойте премудрый вечер,
Славьте негромкой песней.

1912

ПРЯХА

Старая пряха
Долгую-долгую нить
Сучит.
Давно-давно.
Скоро уж полночь.

Жужжит веретенце.
Лучина смолевая
В светце наклонилась,
И тонкая-длинная
Полоска дыму
Тянется кверху,
На потолке
Кругами стелется.

Тени пугливые
Ждут по углам.

Старая пряха,
Родимая!
Парке подобна ты:
Так же рукою умелой,
В трудной работе коснеющей,
Тянет та нить из кудели,
Чтобы обманщицы-Сестры
Пряжу ее подхватили.

Но не обманщицы-Сестры
Нить твою примут —
Суровая
Ляжет в основу,
Челн замелькает,
Плотно, ряд к ряду,
Вплетая ее.

На вешнем насте,
Под яблонным цветом,
На светлояром
Солнце ильинском
Холсты побелеют.

Яблонька розовый
Цвет пахучий,
По ветерку,
Обронит на них;
Красные маки
Свои головки
Над ними склонят;

Подсолнечник важный
Глянет сверху...

Древняя пряха
Долгую-долгую нить
Прядет.
Полночь близко.

***

На пыльном разлоге,
У четкой рябины с листвой розовеющей,
Скрестились дороги.

Осины двурогой
Багряные клочья на склоне желтеющей
Горбины отлогой.

Волнистое жито.
Вино золотое струей пламенеющей
На волны пролито.

Все капли играют. Так вот оно —
Ярилиной веси шальное вино!

В СНЕГУ

Сквозь рогожный верх моей повозки
Вдруг пробрался яркий лунный свет.
Выглянул в оконце: вправо чей-то след,
Там, где принагнулись тонкие березки.

Где же мой возница? Вьется снег сыпучий,
Синими огнями вспыхивает гладь.
Эй, вернися! Нечего искать:
Вон верхушки вех, как раз у кручи.

ЛУННОЙ НОЧЬЮ

От островерхого леса
Лунною стланью дорожки
Иззубрины теней легли.
Сук преклоненной березы
Сушит листву и сережки
В дорожной измятой пыли.

Ближней деревни задворки
Стелят капусту рядами

К низине, где стадо пасут.
Тряская едет телега
По полю яри, задами.
Отчетливо щелкает кнут.

1909

***

На лугу, на лужку, в хороводе,
Во кругу, во кружку ходит Дуня,
Ходит Дуня, ходит Дуня, платочиком машет,
Ай-люли, ай-люли, белым машет.

На лугу, по лужку, в хороводе,
Во кругу, во кружку ходит Ваня,
Поясок на нем шелковый, шапочка новенька,
Ай-люли, ай-люли, шапочка новенька.

Ах ты, девка, ах ты, девка, девка красна,
Что ты ходишь, что ты ходишь, назад не посмотришь,
Аль я парень не хороший, тебе не по сердцу.
Обернися, оглянися, посмотри-ка,
Обними-ка, поцелуй-ка, да покрепче,
Ай-люли, ай-люли, да покрепче.

Тропочка проторена,
Череда не путана,
Ай-люли, ай-люли, кому в круг выходить.

Выходить Татьянушке,
Свет-Татьяна, выходи,
Ай-люли, выходи.

***

Суровый бог!
Сегодня посетил ты наше становище.

В лесной глуши, пастух, давно забытый всеми,
Встречаю день с зарей, с зарею провожаю,
А ночью лунный луч слежу в зеленой чаще
И знаю каждый куст и каждую тропинку;
Давно я здесь брожу и научился слушать
Унылый рев зверей, и нежной птицы пенье,
И шелесты травы, и шум листвы древесной;
Дыханье тростника, размеренное мною,
Мне часто говорит мудрейшие слова;
Я стар уже и дряхл, но чистый взгляд мне верен,
Я знаю тайное, сокрытое от многих,
И потому узнал тебя, Великий Пан!

Когда вчера заря вечерняя потухла,
Направил я наш путь к ночному становищу
И в полночь с табуном добрался до поляны,
Оставив позади росистые кусты.

Под елью, у ручья, притихнув, стали кони.
Взошедшая луна слегка осеребрила
Их крупы сильные, и гривы, и хвосты,
И по траве легли от них косые тени.
Стояли рыжие, гнедые, вороные
И ждали все, водя внимательно ушами.

Ты вышел из лесу, медлительный и строгий,
Неслышно подошел и, руку протянув,
По шее выгнутой погладил вороного,
Покорного тебе, дрожавшего от страха.
Как вороной заржал, твою узнавши руку!
А эхо плавное откликнулось вдали...

И снова в сень ушел, мелькая меж кустов,
Качавшихся слегка, сребристых в лунном свете.
Был четок след ноги, но влажная трава
Под легкою стопой ложилась неизмятой.

Ах, ты уж далеко, но я еще смотрю,
Еще внимаю я, хотя умолкло эхо...
Уж белая заря над лесом занялась.

1911

А. С. Акимовой

Раным-рано,
Раным-рано в степь Татарскую
Из-под темных дубов, из-под вязовья
Выезжал на коне добрый молодец,
Добрый молодец — удалой казак.
Становил коня на песчаном бугру,
Он слезал с коня, снимал шапочку,
Снимал шапочку красноверхую,
На Восток глядел, на поклон вставал,
Клал широкий крест, земно кланялся,
Говорил казак таковы слова:
«Ты услышь, помоги, Христе Боже наш,
Одолеть Руси злых татаровей,
Из неволюшки братьев вызволить,
Слобонить сестер, дочерей и жен
От татарского поругания».
Говорил казак таковы слова,
От земи вставал, на коня влезал
И держал казак путь-дороженьку
В степь Татарскую, распроклятую.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Я в полдень жаркий и томящий
Стоял на берегу крутом.
Вдали гремел ильинский гром,
Мелькали молнии за чащей.

Кругом на выжженной равнине
Был тяжек воздух и струист;
Ракиты никли к сохлой тине,
Желтел повсюду мертвый лист.

Все потухавшими свечами
Там миру кто-то угрожал,
Но этот край во сне лежал,
И мечевидными лучами

Пересекало ширь равнины
Златое солнце из-за туч;
В листве колеблемой осины
Играл огнем вечерний луч...

Удара ждал. И вот дождался:
Меч белоогненный сверкнул,
Перекатился тяжкий гул
И там, за озером, прервался.

Взвихрилась пыль: круги за кругом...
Легла и вновь пошла, виясь.
А тучи над спаленным лугом
Плывут, плывут, рекой лиясь.

Бежать скорей. Но гладь дороги
Покрыли буйные ручьи...
Душа усталая, молчи:
Был светлый Кто-то на пороге.

1912

***

Морозное утро. Означились четко
Карнизы и выступы серых домов.
В проулок со скрипом въезжает пролетка,
И лязг раздается подков.

В ограде церковной встречает всегдашний
Знакомых деревьев черед круговой,
Но — чудо! — деревья под вечер вчерашний
Оделися белой листвой.

Где липы и тополь? — не вижу, не знаю,
Лишь помнится: осенью огненный клен
Стучал у окошка по острому краю,
Где смотрит с простенка святой Симеон.

И, кажется, здесь, у залома тропинок,
Где маки плели хоровод с резедой,
Однажды в июле про хлопья снежинок
Шепнул мне ивняк молодой.

Повисли завесы из блещущих тканей,
Но холодно светят мороза огни.
Грядущее тенью отшедших мечтаний
Предстало. Смешалися ночи и дни.

Неясною вязью сплетаются строки, —
Не тщетно ль пришельца желанье: прочесть?
Быть может, еще не исполнились сроки
И сердце не может расцвесть.

***

Рождается радость иная,
Чем дня пред закатом немое томление,
Иль глыбой гранита взметенный прилив,
Иная, чем в церкви вечернее пение, —

Нежданная радость, как в парке забытом
тропы уводящей извив,

Где, в запахе ландышей тая,
Возносятся запахи вешнего тления
И внятное молвит стареющий клен, —
То радость минувших веков откровения

В изорванном свитке, жрецом сребровласым
начертанных мудро письмен.

6 декабря 1909

***

Тугонько, вишь, ухо старцево,
Незрячи старцевы очи.
Обманчивы вешние звоны,
Роса ль по заре заалелася?

Не звоны гудут весенние,
Не птичьи сладкие песни,
Не в камени пенные волны
По взморию в полночи тихому, —

С востока молвь колокольная, —
Оттоле, где остров темен,
Где ель по воде зачернелась, —
Гудет заунывно поморием.

На том ли пустынном острове,
У той ли у черной ели
Не червье Иваново тлится,
Не зорька в росе умывается, —

Алеется церковь Божия,
Пылают ярые свечи,
И старцы седые, во схиме,
Идут с плащаницею посолонь...

ХОРОВОД

Журавли вы длинноноги,
Ни пути вам, ни дороги.
Уж мы шли стороной, стороной,
Боронили бороной, бороной.
Борона-то железная.
Поцелуй меня, любезная...
Хороводная песня

Ай-люли, ай-люли, во зеленых,
Во зеленых лугах, по траве шелковой
Вырастали, расцветали алые цветочки,
Ай-люли, ай-люли, алые цветочки.

Во зелены луга да к мосточку,
Да к мосточку, да к мосточку через быстру речку,
Собирались, прибегали красны девки,
Ай-люли, ай-люли, красны девки.

Кому в круг выходить,
Кому тропку торить,
Ай-люли, ай-люли, кому тропку торить.

Авдотьина череда.
Свет-Авдотья, выходи,
Бел платочек захвати,
Ай-люли, ай-люли, бел платочек захвати.

В ТЮРЬМУ

Эх, житье развеселое!
Погоняй же, ямщик, погоняй!
Не ворчи.
Много ль выпито! Нам нипочем.

Ах, подружка моя неразлучная!
Полно плакать. Сгубил я тебя,
Да зато тебе жизнь свою отдал я, —
Мне ли сказывать — знаешь сама.

Вся ты мной исцелована.
Только вспомнить... сегодня в ночи...
Эх, тоска!..
Что поделаешь. Так довелось.

ГОРОД

Дымится улиц даль на ветреном закате...
Ведут коня по мерзлой мостовой.
Весь черный конь. Какой задор и стати!
Но вдруг упал на ледяном раскате.

И бьется. И спешит зевак докучный рой...
В груди печаль все так же — об утрате.
Что скажет мне часов гудящий бой
Иль в темных окнах отсвет заревой?

Какой обман и кем сокрыт в закатном тлене?..
Зажглися фонари... Растут и никнут тени.
Лишь несколько шагов — и улицы глухой
Простор и сон, исполнен старой лени.

Один фонарь погас. А по стене зубчатой,
Из края в край, прошел зари оратай,
Смесивши кровь и чернь с землею золотой.
И вспыхнул круг часов над пихтою косматой.

У ВХОДА

Пришедшему со мной

Не забываю час отшедший:
В душе, двуликой чередой,
Взращен за днями день отцветший,
Но к ночи вспыхнувший звездой.

В разрыве туч, сквозь ветви ивы,
Звезда — как вход в додневный рай!
И озлатит колосья нивы
Июнь, в ночи сменивши май.

БЕССОННИЦА

Вскипает в чаше из агата
Густою пеной терпкий яд
(Дневным печалям — ночи плата), —
И я, как древле Митридат,
Касаюсь чаши из агата.

Гекаты шепот слышу я,
Как слышал прежде не однажды,
Но, знаю, мутная струя
Не утолит смертельной жажды.

На страже светлой, из кошницы
Рассеет севы Аполлон
(Предтечей бога — лик Денницы), —
И день, росою окроплен,
Воспримет дар златой кошницы.

АКРОСТИХ
Повествование

*А****

Посвящение

Ямбическим стихом, свободным и простым,
Хочу Вам рассказать о том, что было где-то
(Могло и невзначай присниться сном пустым), –
Когда и где? — забыл. Примите от поэта,
Как глупый акростих, повествованье это.

***

Лег тяжкий камень; рдеющий лишай
Прикрыл его. А возле волны проса
Вдоль желтого углаженного плеса
Прозолотил в полудне пьяный май.

Над пажитью простерлась тень колосса
Забытого. И слышен только лай
Гиен в ночи да хриплый вранов грай
Окрест тебя, поверженная Осса.

Но близок Град, куда влачусь, томим:
У кладезя — раба-Гефеста мим —
Стучит ковач. И мечет искры молот.

Взалкавший — утолю духовный глад,
Когда с горы, где кряж ее расколот,
Очам моим предстанет Белый Град.

В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

Весь в розовом цвету — горох мышиный,
По ели высохшей проворно в высь взбираясь,
Веселый разговор ведет с седой крушиной,
А мак заслушался, дремотно улыбаясь.

Мелькнув в луче, усталая ворона
На бревна серые спустилась близ овина.
Песчаная тропа сбежала в синь уклона,
На бурые овсы постлала тень рябина.

Кудрявых яблонь четкие вершины
Рядами строгими сомкнулись возле ската
И руки щедрые простерли в ширь равнины,
Осенние дары неся Царю заката.

По злату яблок нежными чертами
Огнистый сноп лучей кладет печать печали,
Чтоб чистые сердца украсились цветами
И с жаждой жертвенной закланию предстали.

Ряды волхвов. Пришли дорогой пыльной,
Как песнь вечерняя, торжественны и мирны.
Се дар златых плодов, их аромат кадильный
И в сладости плода земная горечь смирны.

Воздвигнув посохи, согнули выи
Пред светом благостным очей Отца и Бога,
Стоят лицом к лицу земли родной, слепые,
В бескрайности ловя глас ангельского рога...

Слежу высокий путь Царя немого,
И вдаль гляжу, и жду, подвластный наговору,
Что твердь неясная проронит тайны слово,
Закатная волшба доскажет что-то взору.

В огне святом вечерние руины.
Лесов молитвенных земле родное бремя.
Бездонная река. И Божие рубины,
Повисшие в ветвях... Почто же смолкло время?

О ИМЕНИ ТВОЕМ

Есть потаенные страницы
В душе раба пустых тревог —
В них несвершенного залог,
На них дрожат следы зарницы.

Когда же грохот колесницы,
Встревожив ночью мглистый лог,
Мне возвестит, что близок Бог,
И взмоют огненные птицы, —

И в озарении ином
Предстанут прежние сказанья,
Мгновений связь и боль желанья, —

Мой дух возносится над злом,
И сладок трепет упованья
О светлом Имени Твоем.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Ложится сумрак легкий. В час восхода
Я вышел в путь. Клонил вишневый куст
Концы ветвей. Плыл запах, прян и густ
Под солнечным лучом, из огорода.

Не разомкнуть певцу иссохших уст.
О, увлажни уста больные, ода! —
Уходит день медлительного года,
А путь дневной был немощен и пуст.

Я сирый волхв над каменной стремниной,
Но стражем встану я стези Змеиной,
Лишь Млечная проляжет Борозда.

И мудрому почто земная мзда:
Дан ключ ему от Книги Голубиной —
Блестящая Вечерняя Звезда!

ГРОЗА

Грянул гром радостный, и закружилися листья и пыль.
Грянул гром радостный.

Хлестки и веселы, севом живительным струи летят.
Хлестки и веселы.

Дождь напояющий, душу иссохшую мне освежи.
Дождь напояющий.

Ныне молитвенный, я преклоняюся, сердце раскрыв.
Ныне молитвен я.

Солнцу, спалившему очи и сердце мне, шлю я хвалу.
Солнцу спалившему.

Нива усталая дар освежающий с жадностью пьет.
Нива усталая.

Сердце страдавшее, ниве подобное, сладок ли дар?
Сердце страдавшее?

1912

ПАН

Похмельны сыростью поля,
И лику моему не рады зори.
Пурпурною струей истому утоля,
Таю тоску во взоре.

Предлесьем ржавым, вдоль ручья,
И тихими, туманными лугами
Бреду, сторожась. Жду, проплачет песня чья
В собачьем дальнем гаме.

На склоне, в солнечных лучах,
К отшедшим дням в свирель взываю звонко.
Внемлите мне и ей. Но жалостная — ах! —
Лишь радует ребенка.

ЛЕТОМ

О колосьях златоржавых
И о песнях птичьих в поле...
Я привстал на частоколе
И гляжу
На бегущую межу.

Близок полдень. Пахнут травы.
Тяжелеет озимое.
И, со мною рядом стоя,
Темный лик
Наклонил седой старик.

Ах, какой он, право, темный!
Молвит мне глухие речи.
Ничего я не отвечу.
Только жду.
Замолчит, а я сойду.

И спущуся в луг поемный,
И пойду вдоль озимого.
Все, что слышал, вспомню снова:
Так легка
Речь седого старика.

То же вновь мне рожь прошепчет.
Пропорхнут ли мимо птицы
Острокрылой вереницей,
Встречу ль вас
В этот душный, томный час, —

Все, что будет, свяжет крепче
С тем, что было. Я полями
Поднимуся к дому с вами
Ввечеру.
Тихо станет на юру.

***

Как по нашему селу
Шел захожий паренек.
Тень-тень-тень, потетень,
Шел захожий паренек.

И глазаст, и усаст,
Ноги ставил колесом.
Припев.

Правой ручкой загребал,
Левой путь себе казал.
Припев.

Из-под Кадникова шел,
Топорёнко с собой нес.
Припев.

По деревням промышлял
Топоровым ремеслом.
Припев.

Как во нашем во селе
Не признали паренька.
Припев.

Из косящатых окон
Разевали бабы рты.
Припев.

Воробушка-воробей
Прыгал, чвикал: «Чей такой?»
Припев.

А Аксиньюшка свинья
Почесалась у столба.
Припев.

Почесалась у столба,
Поспрошала: «Кто таков?»
Припев.

Ан парнишкина родня
Чуть не в каждом во дворе.
Припев.

У Ивана во хлеву
Пораспрыгался бычок.
Припев.

Он на улицу сбежал,
Парню хвостиком махал.
Припев.

Ножкой заднею дрягнул
И Аксиньюшку лягнул.
Припев.

Замычал, мол, наш идет,
Насмешил в селе народ.
Припев.

Услыхав телячий мык,
Разыгрался старый бык.
Припев.

У Силантья на дворе
Разбрыкалась телка то ж.
Припев.

Во Панкратьевом плетню
Взбеленилося теля.
Припев.

Парень шапочку снимал,
Знай поклоны отдавал.
Припев.

Стихи из других архивных фондов

***

Я ухожу и вижу вновь
Слезы хладеющей блистанье,
Даю последнее лобзанье,
Но как, Владычица Любовь,
Забыть твое именованье?

Пеннорожденная, пою
Тебя и в этот час печальный,
Тебе, молчащей, изначальной,
Я песен дар в душе таю.
И дар певца — как свет венчальный.

<Между 3 и 17 августа 1912>

***

«Поедете в далекий край,
Увидите иных людей,
А тех, кого встречали здесь,
Забудете до новой встречи».

Я помню, так сказали вы
Мне на прощанье у дверей
И улыбнулися тогда
Улыбкой горестной и робкой.

Да! Хорошо забыть себя,
Неопытным младенцем стать
И на прекрасный мир взглянуть
Недоуменными очами.

И вас забыть, кого любил.
Мне так легко: ведь я ни клятв,
Ни обещаний не давал.
Вы знаете: зачем же плакать?

<Август 1912>

***

I

Деревья свесили концы
Через ограду над каналом.
Зажглися бледные венцы
На облаках, в закате алом.
Усталый бег по мостовой
Коней заезженных и хмурых.
Идут и едут. Постовой,
Усатый страж в доспехах бурых,
Глядит, не видя, истомлен
Вечерним зноем... Пыль, туманы,
Дожди, стога и ветер пьяный —
Так день за днем, — и вовсе он
Закостенел. Стоит, не зная,
Что нынче день последний мая.

II

Идут часы, и ночь близка.
Чуть слышно опахала веют.
Как поступь в улицах резка!
Но очертания бледнеют —
Все неприметнее кресты
Собора: меркнет, меркнет злато.
Серее тополя листы.
Да, день уходит без возврата!
В канале темная вода
Тупые барки укачала.
Заснул рабочий у причала:
Торчком лохматым борода,
Усы седые, лоб широкий,
На черной шее шрам глубокий.

III

Влачится праздная толпа,
Ползет в дома и выползает.
Стремлений нет, и мысль тупа.
Куда идут? — никто не знает.
Никто не числит. Кто бы мог
В таком подвижном белом свете
Узлы распутывать дорог
И строго думать об ответе?
Не все ль равно, куда идти,
На всех углах одно и то же.
И все вокруг на ночь похоже —
Так бело, слепо. Нет пути!
И я молчу и за толпою
Ее же следую тропою.

АКТЕР

В. Э. Мейерхольду

Я за кулисой в коридоре,
Трагический, усталый мим,
Смеялся звонко в глупом споре,
Шутя с товарищем моим.

Но вышел к ним с большою верой,
Там были мрак и тишина,
И только отсвет смутно-серый
Лежал на полости сукна.

И, на помост взойдя высокий,
Я пред зиявшей пустотой
Остановился — ясноокий,
Душой спокойный и простой.

В молчанье навзничь лег, смиренно
Скрестивши руки на груди.
Лицо горело вдохновенно —
Не знал, что будет впереди.

О, что случилось! Ужас тайный
Еще сжимает сердце мне:
Я болью был необычайной
Вдруг поражен, и в вышине,

На потолке, во мгле предстало,
Светясь огнем, мое лицо,
И вкруг него затрепетало
Тройное яркое кольцо.

Кто ближе был — тот видел ясно
Мой отраженный строгий лик, —
А я без сил лежал, безгласно...
Вдруг резкий, исступленный крик,

Прерывистый, раздался в зале.
Весь всколыхнулся черный зал.
Там повскакали, побежали, —
И с шумом занавес упал...

Еще в ушах проклятья, крики
И вопль раздавленных людей, —
Но, Боже Правый и Великий,
В том не было вины моей.

***

На Александровской сидит один
И разбирает мирно негативы,
Движения его неторопливы,
То вождь музейный Алексей Скалдин.

Не потрясет своей кудрявой гривой
В стране разрушенной родных осин,
О тягости пережитых годин
Стекло пенсне поет нам сиротливо.

А рядом с ним жена Елизавет<а>
Шьет, печкою-буржуйкою согрета,
Ночные туфли дочери своей.

А он, не ведая, кладет угрюмо
К пластинке с Государственною Думой
Парламент оголенных дикарей.

<1920>

ПЕТЕРБУРГ

Евгению Павловичу Иванову

Что замедляет колесницы бег, —
Иль опускаешь ты бразды, возница?
На черноту ветвей ложится снег,
А призрачное небо не глядится.

Пространство все охлаждено, и мера
Уже не учит больше ничему,
И видится притихшему уму
За ними хитрая химера.

24 декабря 1923–4 января 1924
Петербург

СИБИРЬ

Это — не город и не деревня.
Два оврага, река и бор;
Мох в пазах, матерые бревна
У преддверия гор.

Булок нет, и нету изюма.
Только мясо и сено везут.
А возле из пара и дыма
Дорожный гуд.

И вдали, как царь Монтецума
Над золотом, где тайга и гнус,
Сидит, наряженный в пимы,
Седой тунгус.

Но на золото снова лопату
Через увалы, реки и лес
Несет, весь оборван, патлатый
И пьяный Кортес.

Что же, рой и греби, лопата!
Поработай, потом отдохнешь.
И Кортесу хмельное кстати.
Али, малый, не пьешь?

Ц<арское> С<ело>. 16 июня 1929

ПРОЗА

СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОДИМА СТАРШЕГО

роман

ВСТУПЛЕНИЕ

Старый ипатьевский дом, где обычно весною и летом жила их семья, стоял среди лесов и полей на горе, на берегу широкого озера, часах в десяти езды по железной дороге от Петербурга. Густой, запущенный лес укрывал дом и расположенные близ него службы; только к озеру светлело небольшое чистое пространство, да само озеро уходило широкою гладью, такою широкою, что другого берега его не было видно — как море.

Лес этот, древний и непроходимый, тянулся на большие пространства, но, подходя к озеру, прорезался пашнями и сенокосными полянами, становился все живописнее и живописнее и особенно был красив на крутых озерных берегах.

Имение устраивали деды понемногу, а дом усадебный был воздвигнут славным зодчим времен Александра Благословенного. Из прадедовских, впоследствии разломанных, хором перевезли в новые тогда разную мебель, и доселе она наполняла комнаты, рядом с более поздними вещами, поставленными сменявшимися поколениями.

Дом состоял из двухэтажной башни с большими окнами в первом этаже и малыми во втором и двух крыльев с колоннадой; крылья охватывали вершину холма с цветником, — будто огромная птица села на крутизне берега и глядела неподвижно за озеро. По вечерам ее грудь и крылья загорались рубинами: в окнах отражалось пламя заката.

Весною, к которой относится начало моего повествования, в доме переменили старые полусгнившие рамы и не успели еще окрасить новые. Поэтому большая часть портьер и занавесей была снята, а свежее сосновое дерево распространяло в комнатах сильный запах под горячими солнечными лучами, проникавшими в дом сквозь курчавые верхушки сосен и топившими по каплям смолу из рам.

Мебель и украшения в доме воскрешали времена всех царей и цариц, начиная с Петра Великого и кончая Николаем Павловичем: в одной комнате радовала глаз и удивляла вдруг обивка чудесной материи, в рисунок которой забытые люди вложили очарование не нашего времени; в другой неизменно звучали куранты, из года в год, уже более столетия, торжественно и повелительно, навсегда подчинив дом своему порядку; в вестибюле два бронзовых гения перед широкой мраморной лестницей взмахнули некогда длинными крыльями, затрубили в узкие длинногорлые трубы и, затрубив, так и застыли на восьмиугольных каменных постаментах; в столовой радужными огнями играл на горках хрусталь: в сквозной комнате дробилось на стекле и утреннее, и полуденное, и вечернее солнце и зайчики бегали по стенам; рдели розы и голубели незабудки на фарфоре; арапы в белых тюрбанах и желтых с красными цветочками одеждах выглядывали из-за китайской лягушки — желтоглазой, с зеленой спиной, покрытой звездообразными черными пятнышками и с белой грудью; лягушка, казалось, с удивле-

нием раскрывала свой розовый рот на целующуюся в углу пару: даму в голубом платье на розово-сиреневой подкладке и с желтыми отворотами и кавалера в красном кафтане при лиловом жилете и в черных панталонах; дальше китаянки, птицы, турчанки, звери, сатиры, собаки, дамы, мифологические лица смешивались в пеструю толпу, когда-то собранную, кем-то расставленную и, правда, немного скучающую за стеклами.

Тяжелые занавеси синего бархата висели на окнах столовой, — того синего цвета, который так близок к цвету неба в ясный и жаркий полдень; из-под них выступали на половине окна другие легкие занавески пенными волнами белого шелка.

В обширном зале издавна, по обычаю рода, плотный шелк наглухо закрывал окна и днем и ночью, чтобы солнце туда не проникало. Днем там горела одинокая лампа в углу и выступали в полутьме черные и лиловые полосы убранства зала — на мебели, на портьерах и на стенах; вечером, иногда, загорались многочисленные свечи в огромных люстрах из черной и светлой бронзы; эти необыкновенные люстры были гордостью рода: бронзовые чеканные кони обносили кругом их тяжкие колесницы, факелоносцы из колесниц пригибали долу факелы, и бронзовый дым от них клубился и стлался в причудливых завитках; виноградные гроздья, перевязанные лентами, свисали из-под широких разрезных листьев; кудрявые головы резвых эллинских мальчиков чередовались с переплетающимися парами змей, а на них сверху взирали глаза Горгоны и струили свет звезды; Зевесов же орел, когтя нетерпеливыми лапами черный камень, венчал все, напряженный, как бы готовящийся улететь прочь.

Вечером, при огнях, выступали в зале углы и выбегали оттуда тени и перебегали с места на место, будто стремясь от предмета к предмету.

В одном из уютных кабинетов, где покойный дедушка, бывало, просиживал за работой целыми месяцами, будто лукавя над призраком старика, заглядывали через спинку петровских кресел, мягких, с немного по-смешному разбегающимися ножками, два кудрявых бронзовых амура; детская улыбка чертилась на их неподвижных губах — старая, но все живая.

В доме было много комнат: их трудно перечислить и невозможно описать все. Однако нельзя забыть две комнаты Никодима: он жил во втором этаже башни; из вестибюля туда вели две легкие лестницы, а из комнат была дверь на крышу дома, куда Никодим выходил по вечерам часто и видел оттуда то, чего другие снизу видеть не могли.

Окна его кабинета были обращены к западу, на озеро, а окна спальни — на восток. В кабинете возвышался ряд полок с книгами; серебристо-серая материя, с пылающими по ней между венками из роз факелами, показывала из-под своих складок разноцветные корешки книг; за столом, перед окнами и в задних углах комнаты стояли четыре больших, в рост человека, подсвечника, и в каждом из них было по семи свечей желтого воску.

В спальне кровать на львиных лапах прикрывалась царским пурпурным покрывалом, а на окнах висел только сквозной шитый тюль, чтобы утреннее солнце могло будить Никодима на восходе.

От цветника перед домом каменные обломанные ступени уводили на желтый прибрежный песок, и по весне кудрявые кусты черемухи сыпали свои белые цветы на каменный путь.

На башне с ранней весны до поздней осени развевался флаг из двух фиолетовых полос, заключавших между собою третью — белую. На зиму его свертывали и убирали; обыкновенно, и то и другое делал сам хозяин.

Герб же рода был такой: на серебряном поле французского щита пурпуровый столб, а на нем в верхней части остановившаяся золотая пятиконечная звезда, бросающая свой свет снопом к подножию столба, где три геральдические золотые лилии образуют треугольник; шлем с пятью решетинами, простая дворянская корона с двумя черными крылами, выходящими из нее; намет акантовый, тоже пурпуровый, подложенный золотом, и девиз, гласящий: «Терпение и верность».

Из обитателей дома старшею была мать: отец не жил с семьею уже несколько лет. Между ним и матерью легло что-то тяжелое, но что именно — дети не знали. Изредка он писал детям, но скупо, немногословно, видимо, вполне довольный своим полумонастырским одиночеством.

Строгие сухие черты лица Евгении Александровны, ее черное шелковое платье, тихая речь, почти постоянное комканье платка в руках, гладко зачесанные волосы под широкополой шляпой, глаза, чаще всего глядящие в землю, узкая рука в старинных кольцах — все вместе создавало впечатление, что видишь очень родовитую барыню. Но внимательный взгляд открывал в ней что-то цыганское: действительно, бабушка Евгении Александровны родилась от цыганки и только на воспитание была принята дворянской семьей.

Никодим унаследовал от матери высокую стройную фигуру, тихую спокойную речь и узкую руку.

В лице у него цыганского не было: прозрачное, розовое, хотя и с черными глазами, оно напоминало скорее лицо англичанки.

Старшая в семье дочь — Евлалия — девушка лет двадцати трех, с большою темно-русой косой, сероглазая, пышнотелая, очень походила на отца и обликом и движениями.

Среди семьи она жила будто в лесу, грустная, задумчивая, не стремясь никому рассказать о том, что с нею и какие печали тревожат ее.

У нее были свои маленькие тайны. Если бы кто мог прочесть ее дневники — узнал, как ревниво она относилась к этим тайнам.

Волнение было ей не к лицу, и лицо даже иногда намеренно старалось выразить большое спокойствие; Евлалия носила особую прическу — будто венцом венчали ее лоб волнистые пряди темно-русых волос.

Вторая сестра, Алевтина, подросток, болезненная от рождения, черноволосая, казалась на первый взгляд будто подслеповатою, но была на редкость зорким человеком: то, мимо чего проходили десятки людей, не замечая, не могло ускользнуть от ее взгляда: постоянно находила она что-нибудь в траве, в кустах, в камнях, в прибрежном песке. Она любила зверей, букашек и постоянно нянчилась с ними.

Городской жизни она не переносила, но в лесу вдруг расцветала, без видимой радости, как простенький цветочек, и жила ровно, спокойно, благодарная своей жизни.

Второй сын Евгении Александровны — Валентин, сильный, коренастый юноша лет двадцати, смуглый, работая без устали, вел простой образ жизни хорошего сельского хозяина: вставал с петухами и уходил в лес, на покос, на пашню, а иногда оставался там и на ночь, греясь около костерка, разведенного где-нибудь под сосной, на опавшей скользкой хвое, или под камнем на песчаном бугре. Постоянно носил он ружье за плечами, но не для охоты (хотя иногда он настреливал дичи), и собака Трубадур обыкновенно сопровождала его.

Любя уединение, Валентин вместе с тем был и мастером повеселиться: пел сильным голосом деревенские песни и старинные романсы, плясал с задором в

кругу своих же рабочих, пил вместе с ними водку, после чего становился совсем мягким и приветливым.

Третий сын — тоже Никодим, мальчик лет десяти, выросший от старших детей отдельно, без игр, без дружбы, был изнежен, хрупок, бездеятелен и с трудом одолевал ученье. С младенчества его считали нежизнеспособным, а Никодим-старший даже как-то сказал о нем однажды, что он, в сущности, не сын Евгении Александровны, а племянник и лишь по ошибке родился от нее, а не от тетушки Александры Александровны и потому лишь его смогли назвать также Никодимом.

Никодим-старший сказал это в шутку, разумеется, но, однако, кличка «племянник» осталась за Никодимом-младшим навсегда.

ГЛАВА I
Французская новелла. — Подслушанные слова

Евгения Александровна и Евлалия были уже в столовой, когда Никодим-старший вошел туда поутру. Мать в задумчивости побрякивала ложечкой в стакане, а Евлалия, склонившись над пяльцами, быстро работала иглой. На сестре было легкое утреннее платье апельсинного цвета с широкими разрезными рукавами, спадавшими с рук; круглые ямочки на сгибах полных обнаженных рук ее привлекли внимание Никодима. Но, конечно, не о руках сестры думал он: они только напомнили ему другие, похожие руки и нежное имя — Ирина. Мысли его вдруг приняли довольно шаловливый оттенок, Ирина предстала пред ним еще яснее, но, поймав себя на своей шаловливости, он решительно застыдился, густо покраснел и отвернулся от сестры.

— А знаешь, мама, — вдруг прервала общее молчание Евлалия, — я сегодня во сне видела двух негров: они проехали мимо нашего дома в автомобиле и раскланялись с нами.

Евгения Александровна улыбнулась и переспросила:

— Негров?

В столовую с шумом вбежали Алевтина и младший Никодим, и сон остался нерассказанным. Однако Никодим не забыл о сне и решил напомнить о нем Евлалии, когда все разойдутся. Но Евлалия вышла из столовой, против своего обыкновения, первая. Никодим тотчас же направился за нею следом. Он нашел сестру уже в ее комнате, сидящею на диване у столика, в напряженной задумчивости. На столике в высокой и узкой вазе зеленого стекла стояла раскидистая ветка цветущей черемухи. Белые гроздья цветов повисали и сыпали белые лепестки на полированную зеркальность стола, отражавшую стеклянный блеск вазы, и на диван, и на пол, и на темные волосы Евлалии, и на ее яркое платье. Растение разветвлялось натрое, и все три ветви, разной длины, изгибались причудливо, глядя ввысь и поднимая пышные гроздья — будто три руки простерлись разбросать цвет, но медлили, а цвет не ждал и сыпался сам от избытка... Горький запах растения чувствовался в комнате остро и щекотал горло.

Евлалия сразу поняла, зачем пришел Никодим, и, поведя медленно взглядом, сказала:

— Как я тебя знаю! Как я хорошо тебя знаю! Но успокойся: рассказывать нечего — подробностей я не помню почти никаких. С неграми в автомобиле была еще дама в черном и только. И дама и негры появились из французской новеллы. Вот!

Она протянула ему раскрытую книжку французского журнала.

— Я прочитала ее на ночь. Посмотри.

Он взял книгу и пробежал новеллу глазами.

В ней рассказывалась история любовного похищения дамы — романтической Адриен, носившей черные платья и волновавшей всех окружающих своей загадочностью. Как и все в новелле — похищение было обставлено необыкновенными действиями: Адриен перед полуночью дремала у себя на террасе в широком спокойном кресле, закутавшись теплою шалью, а два негра, одетые по-европейски, подъехали к цветнику в автомобиле и бесшумно проскользнули ко входу; один из них появился на террасе, другой остался снаружи.

— Madame, — сказал негр негромко, — извольте следовать за мною.

После того между ними тянулся длинный разговор: она противилась и говорила, что не поедет; приехавший был невозмутим и настаивал на своем. Наконец ожидавшему у входа показалось, что разговор слишком затягивается; ухватившись за парапет террасы цепкими крючковатыми пальцами, он приподнялся на руках настолько, чтобы заглянуть на террасу, причем глаза его сверкнули белками (все это автор старался подчеркнуть), и сказал негромко, но решительно:

— Если сопротивляется — возьмите силой.

Первый подхватил женщину на руки и быстро вынес ее, уже потерявшую сознание от испуга. Приезжавших никто не заметил: они исчезли со своею добычею осторожно, как кошки.

Пока Никодим читал, Евлалия старалась что-то припомнить.

— Я в своей жизни видела однажды двух негров сразу, — сказала она, когда он кончил чтение, — мне почему-то кажется, что это было в Духов день... да... мы жили, помнишь, в городе, над озером, и мне было лет десять. Я не знаю, что случилось со мною тогда — будто праздник какой для меня, я надела светлое платье, новые чулки и туфли, которые мне так нравились, и пошла, совсем не зная куда и зачем. Просто пошла, как гулять: сначала по городу, потом мимо дач и к лесу. Мне было очень весело, я подпрыгивала на ходу, я пела и хотела танцевать. И вдруг вспомнила, что уже поздний час и я опоздала к обеду, что мама будет искать меня и беспокоиться, а я зашла очень далеко. И повернулась, чтобы бежать домой... И вижу, что на углу у забора стоят два негра и смотрят на меня. Я страшно перепугалась и просто ног под собой не чувствовала, пока бежала обратно.

— Ну что же такое... негры, — укоризненно заметил Никодим.

— Да, конечно, это было глупо. Но я не люблю негров, — ответила Евлалия.

Никодим постоял еще немного в раздумье и нерешительности и, сказав: «Я пойду», вышел. Но в голове у него осталось воспоминание о романтической «даме в черном», а новелла ему показалась глупой и неприятной. Именем «черной дамы» он привык называть для себя свою мать, иногда в шутку, но чаще вполне серьезно, вкладывая в это горький, ему одному понятный смысл.

Боковой дверью коридора Никодим вышел из дому и пошел по направлению к огороду, совершенно занятый своими мыслями. Между гряд он почти наткнулся на мать, но Евгения Александровна не заметила сына. Наклонившись над грядкой, она выщипывала редкую весеннюю траву и шептала что-то быстро и страстно. Никодим, как вор, подавшись всем корпусом вперед и стараясь не нашуметь, прислушался.

Она говорила:

— Я понимаю, что мне нужно уйти... я понимаю... Я уйду... все равно я уже ушла...

Никодим отшатнулся в испуге и изумлении и неслышно, за кустами орешника, через калитку, вышел из огорода в поле.

Он совершенно не знал, что думать о словах матери и как понимать их.

ГЛАВА II
Беспокойство Трубадура. — Тени над полями

Трубадур — любимая собака Валентина — был ирландским сеттером, хорошей крови. О замысловатых проделках его существовало в семье много рассказов. И вот этот проницательнейший и умнейший пес все утро перед кофе, затем во время разговоров между Евгенией Александровной, Евлалией и Никодимом и после, когда Никодим уже вышел из огорода и, пораженный до крайности словами матери, пробирался лесом, — проявлял сильное и все возрастающее беспокойство.

Беспокоился он не из-за разговоров. Трубадур сам не понимал, в чем дело, но его нос ощутил вблизи дома необыкновенные запахи; они то были еле заметны, то вдруг усиливались чрезвычайно. Наконец собака не выдержала и завыла от тоски и неопределенности. Конюх, стоявший в воротах, прикрикнул на нее, но Трубадур только укоризненно взглянул — он вообще презирал этого человека — и, проскочив мимо него, выбежал за ворота. Постояв несколько мгновений среди проезжей дороги, он молча повел носом сначала вправо, потом влево и затем резвой рысцой побежал напрямик от дома к засеянным полям.

Крутою тропинкой взобрался он на ближайший бугор. Светло-зеленая нежная озимь чуть-чуть волновалась от ветра. Тропинка ложилась по краю бугра, мимо ржи.

По ней бежал Трубадур, к молодому липняку, что поднимался густой нестройной купой рядом с тропинкой, там, где она поворачивала влево.

Здесь, между двух засеянных полей, пересекая бугор, оставалась неширокая полоса когда-то паханной, но потом заброшенной земли. И кто-то совсем недавно четыре раза прошел по ней плугом, взрезав дерн, развернувшийся свежими сочными пластами. Сначала, едва касаясь земли лезвием плуга, рука повела его наверх, по направлению к круглому камню, возвышавшемуся в конце полосы; чем дальше шел плуг, тем шире становился поднимаемый пласт, но у середины пути рука высвободила лезвие, — оно едва прочертило землю на расстоянии нескольких сажен, — и, не доходя камня, плуг круто повернули обратно. Новый пласт, такой же, как и первый, сначала узкий и торчащий на ребре, потом уширивающийся и снова суживающийся, протянулся книзу; выйдя на тропинку, пахарь еще раз повернул и, поднявшись опять к камню, откинул третий пласт в сторону от первых двух и, обогнув круглый камень, позади которого росли цепкие, колючие кусты шиповника, спустился к тропинке уже другою стороною.

На эти борозды и свернул Трубадур, пробежал вдоль их, все время фыркая и вскидывая тонкими ушами, остановился у камня, поднял нос кверху и опять взвыл. Видимо, след пропадал, будто уходя в воздух. Недовольный, медленным шагом направился Трубадур домой.

Никодим вскоре вернулся из лесу и, пообедав торопливо, опять ушел. Когда он возвращался вторично, вечером, Трубадур лежал подле курятника, вытянув передние лапы и положив на них голову. Потягиваясь, собака поднялась навстречу хозяину и ленивым шагом подошла к Никодиму; тот ласково погладил ее, но она не выказала радости. Никодим пошел к себе, наверх, — Трубадур за ним. Когда они поднимались по винтовой лестнице и в уровень с лицом Никодима оказался не задернутый занавесью верх башенного окна, Никодим увидел озеро, солнце, близкое к горизонту, гладкий песчаный берег, а на берегу высокого человека, в рейтузах, охотничьей куртке и шляпе с пером. Человек тот, заложив руки в карманы куртки и держа голову вперед, видимо, что-то наблюдая, боль-

шими шагами преодолевал пространство. Никодиму случайный гость показался и занимательным, и будто знакомым; тогда он поспешил к себе в кабинет, чтобы посмотреть, куда пойдет незнакомец и что он будет делать; Трубадур, потявкивая, тоже прибавил шагу. Но когда Никодим, отодвинув занавеску, распахнул свое окно — незнакомца на берегу уже не было. Это скорое исчезновение показалось Никодиму странным (на берегу не виднелось кустов или камней, за которыми мог бы укрыться прохожий), он постоял в нерешительности, потом прошел через кабинет и вместе с Трубадуром вышел на крышу дома. С крыши далеко и многое было видно: между бугром, по которому днем бегал Трубадур, и другими, далекими, тоже распаханными буграми, темнели лощины, заросшие густым сосновым лесом, но сверху, с крыши дома, стоявшего на холме, то был не лес, а казалось, что темно-зеленые с синью клубящиеся облака-тучи выходили из расщелин земли — только кудрявые верхушки — и синеватый, едва заметный дымок струился от них на поля и к озеру. Солнце красными лучами сияло на зелени, и где дымок пронизывался лучом — он становился багровым.

Никодим долго и сосредоточенно глядел на эти синеватые тучи: глазу становилось спокойно от них и радостно. Потом взор его медленно перешел от лощины к бугру, от леса к засеянному полю и уловил на нем медленно проходящие полосы, слева направо, — неясные тени. Вглядываясь, он заметил, что тени эти доходили сначала только до той полосы, которая оставалась среди бугра нераспаханной, вернее, до тех борозд, что прорезал на ней плуг. Здесь тени надламывались у круглого камня, обросшего шиповником, верхняя часть их исчезала, будто уходя ввысь, и вся тень как бы пропадала в земле, тонула в ней. Через четверть минуты, однако, она возникала вновь и, откатываясь, уходила за склон. И новые возникали слева, в строгой последовательности: одна, другая, третья... одна, другая, третья... и снова — на зелени поля будто проходящие ряды волн.

Трубадур вытянулся в струнку и, стоя на самом краю крыши, напряженно смотрел туда же.

Вдруг Никодиму припомнилось, что подобные тени он уже видел. Только не здесь, а в маленьком городке, где они живали иногда по зимам и о котором сегодня вспоминала Евлалия; пожалуй, когда ему было лет семь-восемь. Выздоравливая после долгой болезни, лежал он днем в своей постели, а рядом в комнате, где стояла рождественская елка, разговаривали отец с матерью: слова еле доносились, и разобрать их было нельзя. Возле Никодима сидела Евлалия и разбирала игрушки; он же глядел в потолок иссиня-белый — от дневного ли зимнего неба или от снега, запорошившего в ночь торговую площадь перед домом. А по потолку проходили непонятные тени, полосами — одна, другая, третья. Через минуту снова. Он сначала подумал: что это за тени? откуда? а потом, смеясь, стал называть их человеческими именами и сказал Евлалии: «Посмотри». Она тоже вскинула глаза к потолку и, как-то по догадке соглашаясь с Никодимом, заявила: «Это люди». После еще не раз они с Евлалией смотрели на эти дневные тени, играя в ту же игру, то есть превращая их в людей.

Мысли Никодима незаметно для него обратились к прошлому. Он понемногу вспоминал весь городок, в котором они жили, дом за домом, улицу за улицей, — их дом, сад над озером, озеро и кошку Машку: красивую, сухую, сильную, так привязанную к их семье, и даже вслух позвал ее:

— Машка! Машка!

Трубадур подпрыгнул при этих словах:

— Ну что, Трубадур, — вопросительно обратился к нему Никодим, — не пора ли тебе отправляться спать? Собака вильнула хвостом. — Ну иди, иди!

Трубадур подошел к двери и остановился, дожидаясь, чтобы ему отворили ее. Никодим отворил дверь, вошел вслед за собакой в кабинет и усмехнулся, глядя, с какой неохотой Трубадур стал спускаться по лестнице, виляя задом.

Когда же Никодим вторично вышел на крышу и взглянул опять на поле — он не увидел там теней. Солнце уже подошло тогда вплотную к дневной черте и своим горячим краем задевало воду, а вода, тихая и прозрачная, загоралась от горизонта.

Из низин выползали заволакивающие туманы. И в деревенском покое, в отдалении, погромыхивала крестьянская тележка.

ГЛАВА III
О двух афонских монахах и о трех тысячах чудовищ

Никодим почти не спал по ночам. Сон являлся к нему под утро, а до утра Никодим или работал, или ходил из комнаты в комнату, от окна к окну и научился быть тише мышей. Никого не беспокоя, возникал он в комнатах тенью и как тень исчезал.

Но в эту ночь, вернувшись к себе через полчаса после захода солнца, он, против обыкновения, лег рано и спал до утра крепко и спокойно. Проснулся же, услышав чужие шаги по лестнице к себе, наверх. Еще не придя в себя после прерванного сна, он увидел, что кто-то пытается отворить дверь в спальню. Она растворилась порывисто, и в комнату вошел монах, захлопнув створки за собой, но они сейчас же отскочили, будто на пружине, и вслед за первым монахом в спальне появился второй. Первый был чернобородый, а второй очень светловолосый.

Что он знал обоих монахов и не раз встречал их где-то — Никодим припомнил сразу, но от неожиданности и после сна никак не мог дать себе отчета, когда и где он их видел. Он хотел припомнить их имена, но тщетно.

В недоумении Никодим сел на кровати. Монахи же, войдя, сразу попали в полосу солнечного света, и Никодим мог разглядеть их хорошо. Чернобородый был силен, с крупным телом и резко очерченными линиями лица. Движения его были спокойны: он, видимо, знал свою силу и чувствовал ее. Второй — высокий, худой и даже костлявый, с клинообразной бородкой, редкой и раздерганной, с глазами бледными, совсем выцветшими, — был из числа тех, кого люди обыкновенно не замечают и кто даже при близком знакомстве с ними плохо остается в памяти, — лишь когда он стоит перед вами, можете составить себе понятие об его фигуре, цвете волос и глаз, о движениях.

Недоумение Никодима и молчание продолжались недолго: первый монах, осенив себя широким крестом и постукивая подкованными сапогами, подошел к Никодимовой кровати, откашлянул и заговорил тяжелым, но ласковым басом.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — сказал он, — мы потому осмелились зайти к вам в такое неурочное время, что знали ваш обычай не спать по ночам. Вы на нас частенько из окошечка поглядывали.

Только тогда Никодим припомнил, какие это монахи и что они действительно не раз проходили по утрам перед домом.

— Как вас зовут, братья? — спросил Никодим вместо ответа.

— Меня зовут Арсением, — ответил чернобородый, — а брата моего любезного Мисаилом. С Афона оба мы. Только изгнаны оттуда за правду, имени Христова ради. Блаженны есте, егда поносят вам...

Второй слабым голосом из-за спины первого отозвался:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И не даждь мне вознести хулу на врага...

— Так зачем же вы, братие, пожаловали? — спросил их Никодим.

— С просьбой к вам, Никодим Михайлович. Разрешите, когда понадобится, переночевать у вас в рабочей избе: она ведь все равно пустая стоит.

И с этими словами Арсений подошел к Никодимовой кровати и присел на краешек, не прося позволения, а Мисаил стал в изголовье.

Никодим почувствовал себя оттого очень неудобно: он знал их братское правило спать не раздеваясь, — сам же лежал без рубашки, только прикрывшись простынею. Поспешно натянул он простыню на себя и обернулся ею, отодвинувшись вместе с тем к стенке, подальше от монаха. Но тот, не обращая на все это и малейшего внимания, положил Никодиму на грудь свою загорелую коричневую руку и продолжал говорить ласково и увещательно:

— Жалко мне, Никодим Михайлович, вас. Томитесь вы все по ночам, и большой вам оттого душевный ущерб. Вы лучше молились бы. Спать-то, конечно, человеку немного надо. От распущенности душевной люди по десяти часов спят, но мучиться, не спавши, тоже нехорошо. Если уж не спишь, то молись.

— Будто маятник какой ходите, — добавил Мисаил голосом еще более слабым, чем в первый раз.

Но Никодим на их слова в глубине души обиделся и, покачав головою, возразил:

— Я знаю, что нужно. Но не хочется молиться. Все думаешь, думаешь без конца. И хочется только перестать думать.

— Умереть то есть? Да вы не обижайтесь, Никодим Михайлович, — попросил Арсений с кротостью.

— Нет, я не обижаюсь, — снова качая головою, ответил Никодим. — Избой же пользуйтесь, когда вам понадобится, и делайте в ней, что хотите.

Арсений помолчал с минуту, как бы раздумывая о чем-то, а потом, сказав: «Спасибо. Вы спите спокойно и простите, что мы вас побеспокоили и ваш сон прервали», — направился к выходу. Мисаил пошел за ним следом, опустив глаза долу.

Сон вернулся к Никодиму мгновенно, и он даже не слышал, как монахи сошли вниз.

Проснулся Никодим поздно — было не менее одиннадцати утра. Первая мысль его была о монахах. Прямо с постели он подскочил к окну, чтобы посмотреть на рабочую избу. День стоял жаркий, ярко солнечный, двери и окна в избе были растворены настежь так, что всю ее можно было видеть насквозь, но монахов там, по-видимому, не было.

За день он еще раз вспомнил их, но потом забыл совсем...

Мимо дома с западной стороны пролегала проезжая дорога, а рядом с нею бежала тропинка, то приближаясь почти вплотную к дороге, то уходя за кусты и деревья в лес; она раздваивалась там и тут, чтобы обогнуть кусты малины и ольхи, и вновь сходилась где-нибудь под сосной, на опавших сосновых иглах. По ней ходили немного, и она, оставаясь незатоптанной, выглядела не человеческой, а звериной осторожною тропой. Тонкая непримятая травка редкими кустиками прорастала по ней, и рядом черника розовела цветами или прятала под свои жесткие листья синеватые ягоды.

В одиннадцать часов ночи того же дня, стоя у раскрытого окна своей спальни, Никодим на этой тропинке увидел несколько странных человеческих фигур. Было

темно, и они мелькнули сперва тенями, но зрение его вдруг обострилось необычно, и он не только мог хорошо их рассмотреть, но и увидел, что из лесу за ними идут десятки и сотни во всем им подобных.

Он сразу назвал их чудовищами и мысленно определил их число. Сосчитать, разумеется, точно нельзя было, но определенно и настойчиво кто-то подсказывал ему, что их три тысячи.

Собственно, они не были чудовищами или уродами. Все члены их тела казались обыкновенными человеческими и обращали на себя внимание только будто нарочно подчеркнутые грубость форм и неслитость их: и нос, и уши, и голова, и ноги, и руки словно не срощены были, а сложены и склеены только: казалось, возьми нос или руку у одного из них и обмени с другим — никто этого не заметит и ничего оттого ни в одном не изменится.

Утром, на солнечном восходе, они прошли обратно. И тогда Никодим уже совсем хорошо рассмотрел их, и первое впечатление от появившихся у него осталось. Он только заметил еще, что у двоих, шедших впереди, были отметки на лицах, в виде черных пятен почти во всю правую щеку, — и эти-то отметки действительно уродовали их до жути. Более всего, однако, они походили на фабричных рабочих.

Появление их было для него совершенно необъяснимо. Можно было, конечно, выйти к ним и спросить их, куда они идут, но из гордости Никодим не сделал этого, сказав себе: «Какое мне дело спрашивать? Пусть идут куда хотят и зачем хотят».

И они стали проходить каждую ночь и каждое утро. Ночью шли, разговаривая шепотком, иногда чуть слышно подхихикивая, с неприятными ужимками; обратно — сосредоточенно, молчаливо, не глядя друг на друга, и в этом молчаливом прохождении (потому ли, что солнце, обыкновенно, по утрам проглядывало сквозь деревья) было похожее на то, как после ночного дождя по утреннему лазурному небу ветер, неощутимый внизу, угоняет вдаль отставшие обрывки туч.

Никодим всматривался и наблюдал за ними. Несколько раз с часами в руках пропускал он их мимо себя, и всегда выходило на это около часу.

Однажды, спустя, пожалуй, три недели, после ночного посещения монахов, утром Никодим увидел, что следом за чудовищами в отдалении не больше тридцати шагов появились те же два монаха. Он постучал им в окно, но они, делая знаки не шуметь, внимательно и осторожно прошли за чудовищами.

ГЛАВА IV
Головы монахов. — Тревожный день

Но и на этот раз он забыл о монахах. Однако смутное чувство необходимости что-то припомнить осталось в душе Никодима. Целый день он томился своим чувством. Уже наступила ночь, запахли в саду сильнее кусты жасмина и сирени, потянуло в раскрытые окна влажным разогретым воздухом; вот показались и прошли чудовища, как вчера, как третьего и четвертого дня; вот проиграли куранты полночь, и скоро первый час нового дня скатился; дальше побежали минуты, и ночное тепло сменилось уже утренней прохладой от остывших лугов и полей, — а Никодим все стоял в спальне перед окном и старался припомнить...

Потом медленно сошел вниз, в гостиную, и там на диване увидел мать. Сначала он не понял, зачем Евгения Александровна очутилась в гостиной в это не-

урочное время, но сейчас же заметил, что она спит полулежа и не раздевшись. Ее последнее время тоже мучила бессоница, и дремота только что пришла к ней.

Никодим остановился перед диваном и сосредоточенно принялся рассматривать черты лица Евгении Александровны — такие знакомые и такие чужие вместе (как он это разделение почувствовал в ту минуту!).

Губы ее, узкие, причудливо очерченные, были плотно сжаты, но в них затаилась как бы темная усмешка; тонкие ноздри даже и во сне оставались напряженными, а приподнятые брови, похожие на то, как писали их на древних русско-византийских иконах, придавали всему лицу вопросительное выражение. Но странно: лицо и руки, на фоне темного платья, настойчиво отделялись от их обладательницы, и от упорного рассматривания их все заколебалось в глазах Никодима и, заколебавшись, стало разделяться на вещи и вещи: платье Евгении Александровны, ее ботинки, диван, картина над диваном, два бра по сторонам картины, близстоящее кресло — смешиваясь беспорядочно, поплыли в сторону, в открывшийся провал, а лицо и руки матери стали приближаться, приближаться... Чтобы вывести себя из этого состояния, Никодим закрыл глаза рукой.

Когда через полминуты он открыл их — равновесие окружающего уже восстановилось и Никодим принялся мерить шагами комнату из угла в угол, без счету раз, бесшумно, плавно. Так расхаживая, обратился он бессознательно в сторону окон, задернутых занавесками. На одном из них, посредине, синий кусок материи, плохо пришпиленный, оторвался с угла и повис, пропуская в комнату солнечные лучи и открывая, вместе с частью проезжей дороги и тропинки, по которой ходили чудовища, вид на рабочий дом.

Дом был с мезонином, но, по причуде строителя, ход на мезонин был устроен не изнутри, а снаружи, по лестнице, для устойчивости прислоненной к старой, корявой, засохшей и с полуобрубленными сучьями сосне, торчавшей рядом с домом. В мезонине было только одно оконце.

Евгения Александровна проснулась от резкого и отрывистого крика Никодима, крика, полного ужаса. Приподнявшись на диване, она, испуганная и недоумевающая, принялась спрашивать Никодима: «Что? что?» — но Никодим не отвечал и, полуотшатнувшись от окна, упорно глядел за стекло, на рабочую избу.

Там, на лестнице, на ступеньке, приходившейся посредине, стояла голова отца Арсения, отрезанная от туловища, видимо, с одного удара; губы ее были плотно сжаты, а глаза зажмурены. Окно мезонина было растворено, и на подоконнике лежала голова отца Мисаила: у ней глаза были закачены, а от шеи свешивался кусок кожи, содранной углом с груди.

Евгения Александровна, подбежав к окну, тоже вскрикнула, но не потому, что увидела мертвые головы, — нет! Из-за куста, на повороте тропинки, показался первый из возвращающихся чудовищ.

По обыкновению, первый из них нес на своем лице странный и вместе простой знак — кусочек черного английского пластыря, наклеенный на нос, и казалось, что нос его был поражен дурной болезнью, — такой маленький, приплюснутый и смешной. На крик Евгении Александровны этот первый поднял глаза и посмотрел на нее упорно пустым и насквозь проходящим взглядом. Никодим заметил его взгляд сразу, и сердце Никодима вдруг сжалось от боли так, что он невольно ухватился рукой за грудь.

Но поднявший глаза опустил их и прошел мимо, вместе с другими. В комнате же появились разбуженные криками Евлалия и Валентин, и вместе с ними прислуга и еще несколько человек гостей, случайно остававшихся ночевать в имении. Странный и необычный вид проходящих захватил и их; вместе с Никоди-

мом и Евгенией Александровной стали они перед окном и смотрели неподвижно и долго (ведь на прохождение трех тысяч требовалось времени около часу).

Лишь когда прошли последние и необъяснимое впечатление от них стало рассеиваться — прибежавшие увидели головы монахов. Кой-кто вскрикнул тоже, но сейчас же побежали на улицу— кто из простого любопытства, а кто за тем, чтобы сделать нужное в таких случаях. Следователь Адольф Густавович Раух, приехавший через час, маленький, живой человечек, направляясь к письменному столу в конторе имения, на ходу столкнулся с Никодимом и снизу вверх заглянул в его помутившиеся глаза, будто стараясь поймать в них что-то. Никодим ответил взглядом безразличным: его томили дурные предчувствия, и он думал о матери. Того, как посмотрел на нее первый из проходивших, он никак не мог забыть. И движения и смех матери стали раздражать его до крайности. С Евгенией же Александровной будто что-то случилось: смех ее в тот день стал звучать моложе, щеки вспыхивали девическим румянцем. Два раза на глазах Никодима она резво сбегала в цветник по лестнице террасы, подхватывая свое черное шелковое платье милым, тоже совсем девическим движением руки. Он, раздраженный и злой, чуть не сказал ей при этом: «Да оставьте же, мама! Я не могу видеть вас, когда вы себя так ведете», но, конечно, не сказал, а только отошел в сторону, чтобы не смотреть на нее.

Проволновавшись весь день и ночь и пропустив мимо себя возвращавшихся опять поутру чудовищ, Никодим, наконец, заснул. Разбудила его довольно поздно Евлалия стуком в дверь и, заглядывая к нему, взволнованным, дрожащим голосом спросила:

— Ты не знаешь, куда могла уехать мама?

— Уехать? Разве она уехала?

— Я не знаю, уехала ли. Но ее нет нигде.

Никодим привскочил на кровати. То, как он изменился вдруг в лице и побледнел, испугало Евлалию больше, чем внезапное исчезновение матери.

— Что с тобой! — воскликнула она, но он, овладев собою, ответил уже спокойно, хотя и деревянным голосом:

— Уйди, пожалуйста, я встану и оденусь.

ГЛАВА V
Качель над обрывом. — Коляска незнакомца

Он вышел в столовую с твердым намерением не предполагать ничего дурного в происшедшем, но растерянный вид домашних сразу вернул его к действительности.

От прислуги не могли добиться ничего: за истекшую ночь никто не слышал ни шума, ни разговоров. Никодим даже рассердился на бестолковость лакеев и горничных и после кофе, злой и еще более встревоженный, вышел поспешно в сад. Никаких предположений не складывалось в его голове. Незаметно для себя вышел он из сада, и когда это увидел, то решительно направился прочь, подальше от дома. Быстро, в глубоком раздумье, дошел он до ближайшей деревни (версты четыре от дома), свернул в лес и окольным путем вышел к озеру. Постояв на берегу, он решил, что нужно все-таки пойти домой, но не захотел возвращаться прежней пыльной дорогой, а направился берегом озера.

День был, как и накануне, солнечный, яркий. Ходьба по солнцепеку, утомляя, успокаивала Никодима. Постепенно стала крепнуть в нем уверенность, что

ничего дурного с матерью случиться не могло, — ему припоминались ее слова, услышанные им на огороде; очевидно, она уехала, но даст же знать о себе детям: верно, ей все-таки трудно было оставаться в том доме, где она жила со своим мужем и с их отцом и откуда он ушел против ее желания, несмотря на все ее униженные просьбы и мольбы.

«Может быть, она поехала к папе?» Так рассуждая, совсем успокоенный, вернулся Никодим домой и сообщил свои мысли Евлалии и Валентину. Но на них они не подействовали благотворно. Евлалия даже сказала:

— Я не думаю.

— Как хотите, — ответил Никодим.

За столом они не разговаривали, и Никодима злили и смешили их растерянные лица. Вставая из-за стола, он заявил им:

— Да погодите убиваться: я же завтра поеду искать. Что вас беспокоит? Неприличие самого исчезновения, что ли?

Евлалия укоризненно взглянула на него и ответила:

— Да. Валентин ничего не сказал.

Но спокойствие совершенно исчезло у Никодима к вечеру, минутами ему казалось даже, что оно непристойно. Оставшись один, он несколько раз выбранил себя. Когда же ночью вновь появились чудовища, волнение и слабость охватили Никодима; тихонько забрался он к себе наверх, стараясь не глядеть в окна, достал Библию и раскрыл ее наугад. Первым попавшимся на глаза было изречение: «Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, — да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого».

Никодим перечитал все опять и опять. Ему хотелось видеть тайный в них смысл, говорящий только ему.

Перед окном беззвучно мелькнула ночная птица, бросив легкую мимолетную тень. Это вывело Никодима из его состояния. «Ангелы должны бросать такие тени», — подумал он.

И крадучись, будто боясь, чтобы кто не заметил, стал на колени и хотел помолиться. Но не молилось, слова путались и обрывались. Тогда он поднялся и произнес в пространство:

— Друг Никодим, сложи это оружие — Бог хочет иногда, чтобы человек был отвергнут от лица Его и испытывал свои силы сам за себя. Будет труд необычный и страшный, а если он против Бога — разве ты знаешь?

И тут же устыдился приподнятости своих слов (все-таки комната была их свидетелем) и потому поспешно сошел опять в сад.

Весенняя ночь становилась все глубже и тише. В лунном свете тени старых сосен вырисовывались все ярче и ярче. За кустами на скамье присел Никодим и стал глядеть на дорогу, но с дороги его не было видно.

Трубадур, услышав, что Никодим в саду, тихонько пробрался к нему сквозь кусты и лег под скамьей. Никодим его не заметил.

И ночь ушла, сначала тихая на ходу, потом стремительная. Чудовища вернулись с солнечным восходом, по-обычному, ни в чем не изменяя своим привычкам. Тою же гурьбою прошли они перед Никодимом. Когда последние из них исчезли за кустами, он хлопнул себя по лбу с вопросом: «А почему же ни Евлалия, ни Валентин, ни прислуга не подумали о них и не разузнали ничего?»

Этот вопрос в тот же миг сменился другим: «А почему же я не подумал и не разузнал?» — и сейчас же у Никодима явилось решение выследить чудовищ и разузнать, где и что они делают.

Перескочив через решетку сада, Никодим отправился следом за ними. Трубадур же не отставал от хозяина. Вскоре перед Никодимом в кустах замелькали спины чудовищ: он их нагнал.

Дорога (Никодим хорошо ее знал) вела в глухие места, подалеку от деревни, к оврагам и лесным покосам, и кончалась в лесу тупиком. «Куда же они идут?» — удивился Никодим.

На последнем повороте тропы задние ряды чудовищ вдруг замешкались, сгрудились, и Никодим, не желая, чтобы они его увидели, обежал их за деревьями. За поворотом, под крутым склоном, открывалось утреннее тихое озеро, а там, где тропа спускалась под кручу каменной лестницей, по сторонам ее росли две старые полузасохшие сосны, очень схожие между собою, и от обеих в сторону тропы торчало по сухому, узловатому суку. Сучья эти скрещивались, и на них, на толстой веревке, неведомо кем была подвешена качель — самая обыкновенная. Висела она там давно, но не знали, чтобы кто на ней качался.

Здесь, на тропинке и на поляне по сторонам ее, оставалось чудовищ уже не три тысячи, а, быть может, сотни две. Они стояли толпой, и из-за спин их Никодим увидел, как передние по одному подбегали к качели, легко вскакивали на доску и, делая по ней два шага, спрыгивали под склон. Один, другой, третий... И снова: один, другой, третий...

Их перескочило еще не более тридцати, когда Никодим вдруг заметил, что из двухсот чудовищ, увиденных им сначала на повороте, осталось теперь не более полутора десятков. От неожиданности Никодим сильно подался вперед и обнаружил чудовищам свое присутствие.

Как осенние листья под ветром, — тем самым легким танцующим движением, — бросились они тогда прочь от него, в сторону леса, перелетая, а не перепрыгивая через канавку, прорытую справа от тропинки, и побежали в кусты, вниз по склону. Никодим побежал вслед и за Никодимом Трубадур, с тихим заглушенным потявкиваньем.

Первую минуту бега чудовища были у Никодима перед глазами, мелькая сквозь кусты, но затем, необыкновенно быстрые и ловкие в беге, исчезли в зелени, — несколько мгновений он слышал еще удары их ног о попадавшиеся камни и шум с силой раскидываемых в стороны ветвей и по этим звукам следовал за ними. Высокая крапива больно обжигала ему руки, росистые кусты обрызгивали его с ног до головы, жирная земля налипала к подошвам; камень, подвернувшийся, наконец, под ногу, прекратил состязание: Никодим споткнулся и покатился вниз за камнем, больно ударился головой о дерево и на миг потерял ясность представлений. Холодный нос Трубадура привел его в чувство.

Поднявшись на ноги, Никодим все-таки еще осмотрел окружающие кусты и косогор, но нашел только следы своих собственных ног да лап Трубадура. Берегом озера, по тропинке под обрывом, отправился он домой и, когда уже был недалеко от дома, услышал шум от быстро катящегося экипажа. Шум шел сверху, где над обрывом, по самому его краю, пролегала проселочная дорога. Через минуту и сам экипаж, нагоняя Никодима, показался из-за кустов. В нем сидели мужчина и женщина под легким черным зонтиком с кружевным воланом. Мужчина, сидевший с той стороны, которая приходилась к обрыву, обернулся к Никодиму и, увидев его, что-то сказал кучеру. Кучер подхлестнул лошадей — экипаж стал быстро удаляться, но Никодим все же успел рассмотреть лицо незнакомца — его горбоносый профиль, черную бороду и упорно глядящие глаза. Даму же он не мог рассмотреть из-за ее спутника и увидел только линии ее спины и приподнятый локоть.

Всех проживающих в округе Никодим знал, знал и коляски их, но этот господин был положительно ему неизвестен. Дама же, хотя он и не увидел ее лица, показалась ему знакомой. Минуту спустя, постояв, он вдруг понял, что, собственно, было ему в ней знакомо. Быстро взобрался он наверх по крутому обрыву и бросился вслед удаляющемуся экипажу, но путники отъехали так далеко, что догнать их пешком было невозможно. Пробежав шагов двести, он понял бесполезность своих усилий и остановился.

Раздосадованный, усталый, выпачканный землей и со следами ожогов от крапивы на руках, вернулся Никодим домой без Трубадура: собака не могла взобраться за ним по отвесному обрыву на дорогу.

Не отвечая на обращенные к нему вопросы прислуги, Никодим прошел к себе наверх и лег спать.

ГЛАВА VI
Романтический плащ

За обедом Евлалия спросила Никодима:

— А ведь ты собирался сегодня ехать куда-то?

— Зачем?

— Ты сказал, что будешь искать маму.

— Я видел ее сегодня утром.

Евлалия с изумлением взглянула на Никодима, но он не поднял глаз от тарелки и, пережевывая кусок мяса, подумал: «А может быть, я и ошибся — нельзя же судить по одной спине и по локтю», — но Евлалии ответил:

— Я скажу потом. Ты не беспокойся.

Евлалия проводила его недоумевающими глазами, когда он вышел из столовой. Валентин же только усмехнулся.

Погода к вечеру резко изменилась. По временам с юго-запада задувал сильный ветер и, набегая порывами, пригибал со свистом кусты к земле, заворачивая листья, и вид кустов менялся: из зеленых они становились серыми и белыми. Обрывки проходивших туч то и дело сеяли дождем.

Никодим, сидя у себя наверху, свертывал и развертывал свой непромокаемый плащ и примерял новую широкополую кожаную шляпу. Лицо Никодима было хмуро, он поджимал губы и по временам хрустел пальцами.

Когда стемнело и пришло время показаться чудовищам, Никодим накинул плащ, надел шляпу и тихо спустился вниз. Он стал в кустах за калиткой — Трубадур присел около него.

Чудовища появились и прошли в урочное время. Выждав терпеливо время их прохождения, Никодим отпустил их вперед шагов на двести и пошел следом за ними. Трубадур побрел сзади, понурив голову.

Дорогу, избранную чудовищами, он опять знал: она вела к фабрике, отстоявшей от усадьбы верстах в восьми. Кому принадлежала эта фабрика — Никодиму, однако, не было известно: хозяин ее не жил при ней и никогда в тех местах не появлялся.

По пути должна была встретиться большая сырая луговина, прорезанная канавами для осушки, поле, засеянное овсом, — все места чистые и удобные для выслеживания. Но темная ночь и постоянно менявшееся, из-за проходивших туч, освещение мешали Никодиму: когда выглядывала луна, он боялся быть обнаруженным и либо отставал, либо прятался в придорожную канавку; если же набе-

гали на луну тучи и вновь и вновь моросил дождик, ему становилось трудно за полторы-две сотни шагов видеть уходивших и следить их направление — шума же от их ходьбы он не слышал и даже заметил сегодня, что, проходя, они не притаптывали травы.

Пройдя первые три версты, Никодим почувствовал, что отстает, что чудовища идут очень быстро. Прибавляя изо всех сил шагу, он, уже у самой луговины, расчищенной и изрытой канавами, увидел, что чудовища свернули со своей дороги на тропинку, шедшую через луговину на кладбище, расположенное на холме, в версте от дороги.

Плащ Никодима и его широкополая шляпа были темно-зеленого цвета, но во мраке ночи они казались черными. И лишь полная луна, вышедшая в ту минуту из-за зловещих туч, вернула им подобие их первоначального дневного цвета и самой фигуре Никодима несомненность бытия. Но при луне можно ли было идти за чудовищами по чистой луговине, где все отовсюду стало видно, будто на ладони? И как развевались складки Никодимова плаща, как рвались и колыхались они в воздухе темными провалами, как отгибались назад поля его шляпы, когда он, напрягая все усилия, бежал стороною от луговины в кустах, раздвигая хлещущие в лицо мокрые ветви, — в одном намерении прежде чудовищ добраться до кладбища. Но ему приходилось сворачивать то влево, то вправо: кусты будто нарочно вырастали в молочном свете луны на середине пути; густая трава охватывала ноги. Уже достигая кладбищенской ограды, Никодим с разочарованием и злостью убедился в том, что перед входом из всех шедших оставалось не более четырех десятков.

Задыхаясь от бега и придерживая рукой пульсы на висках, Никодим перескочил ограду. Он уже не хотел соблюдать осторожности, с треском и шумом спотыкался на могилах; ломал по пути одряхлевшие деревянные кресты и желал только не упустить чудовищ из виду. Но и они, кажется, на этот раз не обращали на него никакого внимания и мелькали перед ним в просветах деревьев быстро-быстро.

«Раз-два, раз-два», — произносил он вслух, отсчитывая свои большие шаги. «Раз-два, раз-два», — гулко отдавались впереди шаги их. Вот кладбищу конец, вот снова светло на поляне от лунного света, и уже не четыре десятка Никодим видит перед собой, а может быть, только полтора.

Никодим вскрикнул, как кричат пробудившиеся от страшного сна. Чудовища остановились. Остановился и он. Через мгновение до его слуха долетел их шепот: будто они о чем-то совещались. Он тщетно старался связать отрывистые звуки — человеческих слов не выходило. И вдруг, быстро повернувшись в разные стороны, тем же скорым шагом направились они кто куда — вперед, вправо, влево, наискось. Прямо от Никодима, к мелкому молодому леску, росшему за канавой, побежали семеро — Никодим снова за ними. Теперь уже он бежал быстрее и почти настигал их, когда они один за другим попрыгали в канаву, в густой, молодой малинник, росший с обоих ее краев и белевший при луне своими мелкими листьями.

Как отводят чары, так провел Никодим рукой перед глазами. Вот наваждение: ведь не на чудовищ смотрел он, пока бежал, а на эти белеющие в темной зелени разрезные листья. Вместе с Трубадуром спустился Никодим в канаву и прошел ее из конца в конец, но даже следов человеческих ног на мокрой траве там не было. Луна же в это время опять спряталась за тучи.

Раздосадованный еще более, чем в первый раз, Никодим вернулся домой и так сердился, что, когда чудовища утром проходили обратно, — он не захотел глядеть на них и отвернулся от окна.

Третий день Никодим провел с большим нетерпением в ожидании ночи. После непогодливого и сумрачного вечера наступила совсем жуткая ночь — бурная, дождливая. Ветер свистел и надрывался; тучи, нагромождаясь, тяжко проплывали по небу, опять то открывая лунный диск, то пряча его. Над землею стлались полосы света и мрака и уходили, уносимые в хаосе, — словно свет не находил места, где ему быть, и тьма не одолевала, но вновь и вновь зарождалась и выползала, колеблясь, из лесу, из оврагов, со стороны озера.

В одиннадцать часов свет с неба усилился и прозрачные облака побежали между темными тучами.

Никодим тогда опять накинул на себя плащ, надел широкополую шляпу и вышел на дорогу.

Пройдя немного, он остановился на холмике, а Трубадур тоскливо прижался к его ногам.

Никодим старался плотно держать края своего плаща, но налетавший ветер не раз с силой вырывал из его рук полы и подбрасывал плащ в воздух, развевая его тяжелыми темными складками и вытягивая прямыми полосами.

Тогда, при меняющемся лунном свете, виднелась на холмике странная фигура Никодима с наклоненной вперед головою (он подбородком придерживал воротник плаща и подставлял ветру верх шляпы, чтобы тот не сорвал ее), а под холмик убегали длинные причудливые тени от человека и собаки.

Но вот наплывший мрак в последний раз скрыл фигуру — будто превратилась она в растение и нельзя уже было отличить ее от соседних кустов, — и впереди Никодима, у тропинки, задвигались черные пятна, как кусты от ветра, но он знал, что это не кусты, а те — чудовища.

Они подошли потоком, и Никодим очутился между ними, будто камень среди набегающих волн: чудовища обтекали его, он ощущал их дыхание и касания развеваемых ветром одежд, но не чувствовал в себе силы пошевелиться или сказать хотя бы слово: язык прилипал к нёбу. Только простояв уже с полчаса и пропустив мимо себя половину чудовищ, он слабо, чуть слышно, сам не веря своим словам, сказал:

— Послушайте.

Никакого ответа! Только подняли на него двое хихикающих свои глаза и проскользнули мимо. Звук человеческой речи прозвучал так жалко и робко. И Никодиму стало стыдно за эту жалкость и за свою робость. Он высвободил руку из-под плаща (ветер снова подхватил полу и рванул в воздухе) и протянул ее к ближайшему, намереваясь схватить чудовище, но чудовище ловко и бесшумно уклонилось настолько, чтобы нельзя было коснуться его, — и прошло. Никодим к другому — другое то же самое. К третьему — также. Рука Никодима бессильно опустилась, и Трубадур с жалобным тихим воем облизал ее.

Простояв еще с минуту, Никодим закутался плотнее в плащ, нахлобучил на глаза шляпу и повернулся с намерением идти домой. Тогда подходившие чудовища задержались и дали ему свободно выйти из их рядов.

Вошедши к себе в комнату, Никодим со злобой скинул плащ и, скомкав его вместе со шляпой, швырнул в темный угол. После он зажег все свечи в подсвечниках и при ярких огнях сидел до утра за письменным столом, в задумчивости, иногда порывисто ударяя кулаком по ручке кресла.

ГЛАВА VII
Яков Савельич. — Сон в вагоне

Утром за кофе Никодим схитрил, сказав Евлалии и Валентину:

— Я еще не узнал, где мама. Но у меня есть кое-какие сведения. И я должен сегодня же вечером ехать в Петербург.

Он собирался туда с определенной целью: повидать Якова Савельича, и, как знает читатель, никаких сведений о местопребывании матери не имел. Ехал он к Якову Савельичу, как к гадалке, но ему стыдно было перед сестрой и братом сознаться в этом.

Яков Савельич жил почти безвыездно (с незапамятных времен) в глухом переулке на Крестовском острове, в собственном домике-особняке. Жизнь его протекла одиноко. Был он богат, но очень скромен и мало требователен к жизни. Всех комнат в его доме никто из его знакомых на знал. Прислуги при нем, обыкновенно, было лишь двое — старая кухарка и еще более старый дворник Вавила. Но по временам в доме появлялись новые люди в большом числе и, пробыв месяц-два, исчезали неожиданно, чтобы уже никогда не возвращаться. Через год, через два это повторялось, но каждый раз в новых лицах.

Яков Савельич и Никодим были знакомы между собою давно, но это знакомство плохо поддерживалось обеими сторонами, и Яков Савельич даже слегка иронически относился к Никодиму. К тому же по своему характеру старик был совсем малообщителен. В его фигуре и движениях как бы сквозило: «Я, мол, не для разговоров живу». А вместе с тем было в нем что-то тайно располагающее к его особе, вызывающее на исключительное доверие — понималось как-то с первой встречи с ним, что в самых важных случаях лучше всего прибегнуть за советом к нему, и тогда он будет вернейшим советчиком.

Сойдя с конки, Никодим свернул в знакомый переулок (а все-таки не был он в нем уже два года) и позвонил у садовой калитки. Вавила показался за решеткой на крылечке, крикнул: «Кто там?» — и, поглядев на Никодима из-под ладони, видимо, сразу признал гостя. Сказав: «Сейчас», он подошел, отодвинул засов и, приоткрыв калитку, остановился, не спрашивая, но ожидая, чтобы его спросили.

— Яков Савельич дома?

Старик помолчал с таким видом, будто он хотел сказать: «Дома или нет — это вас не касается. Если же он вам нужен, так это, как я захочу. Захочу, скажу — дома, захочу, скажу — нет», но, однако, сказал:

— Пожалуйте. — И добавил себе под нос (впрочем, так, что Никодим услышал): — Беспокойство от вас одно; видно, делать-то вам нечего — шляетесь по добрым людям.

Никодим промолчал.

Перейдя мосточки и пересчитав ступени высокого крыльца, они вошли в переднюю. Из соседней комнаты с любопытством выглянула старуха с подоткнутым подолом. Блюдя установленный Яковом Савельичем этикет, старик сказал ей: «Марфинька, проводила бы ты барина к барину», на что Марфинька не отозвалась, но, оправив платье и обтерев лицо и руки передником, скрылась.

Минут через пять она вернулась. Предводимый ею Никодим прошел через пять или шесть комнат (тоже знакомых: за два года в них ничего не изменилось). В гостиной с ярко-оранжевым крашеным полом Марфинька остановилась перед дверью кабинета и, ткнув пальцем в неопределенном направлении, сказала: «Вот», после чего скрылась куда-то. При этом Никодим еще раз подумал об

этикете, установленном Яковом Савельичем, и почувствовал, что он сам уже будто бы этому этикету невольно подчиняется.

Дверь в кабинет была неплотно притворена. Постояв перед нею немного, Никодим постучал по ней пальцем и услышал в ответ: «Войдите», но вошел не сразу, а просунул сперва в щель голову и осмотрел комнату.

— Да войдите, пожалуйста, — повторил старичок, не глядя на гостя.

Яков Савельич сидел у письменного стола, сгорбившись и сосредоточив все свое внимание на собственном халате — клетчатом, в три цвета: клетка белая, клетка черная, клетка желтая. Левой рукой он оттягивал полу халата, а в правой у него была кисточка, на какую обыкновенно берут гуммиарабик; эту кисточку он обмакивал в банку с синими чернилами и не спеша, деловито, перекрашивал белые клетки на халате в синий цвет.

— Яков Савельич, что вы делаете? — спросил Никодим удивленно.

— Незваных гостей жду, — ответил старик.

— Да нет: я спрашиваю, что вы с халатом делаете?

— Что ж! халату все равно срок вышел: завтра десять лет, как его ношу, — нужно же что-нибудь с ним сделать. Юбилейное торжество в своем роде и тому подобное... Садитесь — постоите где-нибудь в другом месте, а у меня больше сидят.

И отставил чернила, а кисточку бросил в мусорную корзину.

— Я с делом, Яков Савельич, — сказал Никодим, усаживаясь поудобнее в глубокое полосатое кресло.

— С делом? — удивленно переспросил старик. — С каких же это пор у вас дела завелись? Вот уже не думал не гадал. Какие там могут быть дела? Летал петушок по поднебесью, клевал петушок зернышки: небеса-то голубые — глубокие, зернышки-то жемчужные, гребешок у петушка золотой. Не ожидал я от вас этого, Никодим Михайлович, — заключил старик укоризненно.

Никодим сразу пожалел, что обратился к Якову Савельичу: манера старика разговаривать ему была хорошо известна, а все-таки чувство обиды от неожиданно неприятной встречи подсказывало ему встать и уйти под благовидным предлогом.

Но неловкое молчание прервал Яков Савельич.

— Как матушка ваша поживает? — спросил он.

— Никак! — отрезал Никодим.

— То есть почему никак? — с тревогой в голосе переспросил старик.

Глухим голосом Никодим сказал:

— Мама исчезла четыре дня тому назад, ночью. Мы не знаем куда. Я пришел к вам, Яков Савельич, спросить, что нам делать?

Старик в заметном волнении огладил свои седые волосы и поправил очки. Затем вынул фуляровый платок, провел им ото лба по бритому своему лицу, по отставшей нижней губе и вскинул голову.

— Однако как же это вышло? — спросил он.

Никодим принялся рассказывать. Сначала рассказ его был сбивчив, но затем он поуспокоился и передал Якову Савельичу со всеми подробностями о подслушанных им на огороде словах матери, и о двух убитых монахах, и о чудовищах, и о том, как он, кажется, видел мать над обрывом в коляске незнакомца, и как выслеживал чудовищ.

Окончив рассказ, Никодим встал и подошел вплотную к старику, ожидая ответа.

Яков Савельич сидел и думал долго. Потом тоже встал и спросил:

— А зачем вы ходили за этими чудовищами?

— Да как же? Может быть, они знают что-либо о матери? Даже наверное знают.

Старик рассердился.

— Глупости! — заявил он решительно. — Зачем им могла понадобиться ваша мать. Вы совсем не подумали, о чем нужно было подумать, и не там искали, где нужно. Вот тоже Шерлок Холмс нашелся. — И, помолчав, добавил: — Мне самому не под силу сейчас искать — стар стал и болею все. Но дорого я дал бы тому, Никодим Михайлович, кто поискал бы и сумел указать, как и почему все здесь произошло. Дорого. Помнил бы тот старика всю жизнь.

— Дайте совет, Яков Савельич.

— Совет дать трудно. Ключик нужно найти. Конечно, об этом ключике мы могли бы подумать и здесь, не выходя из моего кабинета, да боюсь попасть на ложный путь. Нет, уж лучше поезжайте обратно и дома подумайте. Да вот, кстати: смотрели ли вы переписку вашей матери? порылись ли в ее комнатах?

— Что вы, Яков Савельич! Это же неудобно.

— Какое там неудобно! Если вы сами не смеете — я вам разрешаю и даже приказываю. Я на себя беру ответственность за это.

Никодим посмотрел на него с изумлением, но старик перешел вдруг на мягкий, просительный тон:

— Какой вы странный. Ведь вам должны быть лучше известны последние годы жизни вашей матушки. Я не видел ее уже десять лет. А положение такое, что все должно быть использовано без смущения. Поезжайте и ищите. Если ничего не найдете — возвращайтесь, и мы еще посоветуемся.

Думая о том, где мать хранила свои ключи и не унесла ли она их с собою, Никодим пожал на прощанье руку Якова Савельича, и рука его в ту минуту показалась Никодиму особенно теплой и дружеской.

Старик проводил гостя до крылечка, а Вавила даже за калитку, оберегая его от собак, которых у Якова Савельича было много и все злые. После он остановился на мосточках и глядел Никодиму вслед из-под ладони долго, пока гость не скрылся из вида. На обратном пути мучило Никодима нетерпение. Он все отсчитывал версты по железнодорожным будкам. Вот проехали и половину пути, вот остается меньше трети. Скорее бы. Там у станции ждет уже лошадь, так как кучер Семен, старающийся делать все заблаговременно, наверное, выехал встречать хозяина часом раньше, чем следовало.

В полупустом вагоне только изредка проплывали тонкие струйки сизого папиросного дыма: соседи по вагону (их было лишь двое) курили. Вперебой жужжали запертые в вагоне три синие большие мухи, которым совершенно для них неожиданно пришлось совершить такое далекое путешествие из столицы в лесную глушь. Перед глазами надоедливо оставался полосатый чехол дивана. Глаза от жары и духоты слипались. И постепенно, сквозь полузакрытые веки, полосы на чехле стали вытягиваться — красные превращаясь в стволы деревьев, а белые — в сквозящее между ними и уходящее вдаль воздушное пространство. И вот видит Никодим себя в сосновом лесу: желтая песчаная дорожка пролегает среди высоких, стройных, густо растущих сосен, иногда сквозь красные их стволы проглянет небо, и чисты стволы снизу, как свечи, а где-то высоко-высоко зеленеют верхушки.

На дорожке показывается женская фигура. Да ведь это же его мать: на ней та самая шаль, в которой он видел ее последний раз, перед исчезновением. Мать смотрит вперед и идет не спеша прямо, но мимо него. «Мама, мама!» — хочет

закричать он, но слова остаются в горле. И вдруг она исчезает быстро за поворотом. На дорожке же показывается другая — незнакомая женщина — молодая, высокая, златоволосая, с тончайшими чертами лица и с гордо поднятой головой. Она идет так же медленно; глаза ее опущены — он их не видит. И на ней такая же шаль, как была на матери, а за нею в нескольких шагах бежит девочка, трехлетняя — не более, — с распущенными волосами, будто очень похожая на эту женщину, и кричит: «Мама, мама». И удивительно ему, что она кричит те самые слова, которые он хотел крикнуть и не мог. Мгновенный сон уходит. Опять только полосатый чехол на диване и не голубеющий воздух, а синеватый папиросный дым. И уже станция — нужно выходить. Никодим протирает уставшие глаза.

ГЛАВА VIII
Появление отца. — Благородный олень

Перед самым приходом поезда на станцию проплыла над нею туча и теплый дождь полил землю. Разгоряченный песок быстро впитал в себя влагу — только еще в колеях кой-где задержалась вода, и в них поблескивало солнце и голубело отраженное небо, уходя бездонною глубиной.

Отъезжая от станции, Никодим увидел рядом с дорогой, на прибитой дождем пыльной обочине, чью-то знакомую фигуру и через минуту догадался, что это его отец. Должно быть, он приехал с тем же поездом, но Никодим задержался на станции, а старик успел уже отойти от платформы и теперь, глядя в землю, отмеривал неспешные, но споркие шаги, опираясь на свою суковатую палку из вересины. Круглую шляпу он держал в руках, а лысина старика светилась на солнце, и кудреватые волосы его, седые и неподстриженные, слегка развевались по ветру. За плечами нес он дорожную ношу — кожаную суму. Все его обличье было будто бы дальнего Божьего странника.

— Нагони-ка того старичка, — сказал Никодим Семену.

Кучер подхлестнул лошадь и через минуту они поравнялись.

— Папа, — воскликнул Никодим, — садись, подвезу — ведь, наверное, к нам!

Старик обернулся, прищурил свои лучистые светло-серые глаза и ответил:

— Ах, здравствуй! Да, — к вам, собственно, и не к вам. Ну так и быть — подвези.

Никодим потеснился, и старик уселся рядком, положив свою ношу в ноги.

Семен не знал старого барина и сначала так и думал, что это Божий странник, а потом от недоумения принялся подхлестывать лошадей. На выбоинах дороги сильно встряхивало, и ободья колес стучали по камням. Поэтому Никодим и Михаил Онуфриевич не начинали разговора. Только Никодима не оставляла мысль, что если отец ничего не сказал о матери, то, значит, у него она не была, как Никодим предполагал раньше, и об исчезновении ее отец не мог знать. Уже подъезжая к дому, Никодим спросил:

— А ты знаешь, что мама исчезла куда-то? Целых пять дней прошло.

— Откуда же мне знать? Я прямо сюда приехал, никого еще не видал, и не писали мне.

С этими словами Михаил Онуфриевич опять взглянул на Никодима, прищуря глаза. Голос его звучал спокойно. Никодиму стало обидно от этого спокойствия — он понял, что отцу исчезновение матери безразлично, и решил не говорить больше о ней. «Даже, пожалуй, ему приятнее, — подумал он, — теперь он

может являться прямо к нам в дом, а не назначать свиданий на стороне, как было, пока мама жила с нами».

Отец не мог не уловить этой обиды и, очевидно желая отвести сына от мысли о ней, спросил:

— Что же, есть у вас теперь грибы?

— Не знаю. Да кажется, еще рано им быть.

— Нет, когда я уезжал из дому, у нас грибы уже были. Может быть, сходим завтра, посмотрим?

— Сходим. Посмотрим, — согласился Никодим.

Приехав домой, Никодим шепнул Евлалии и Валентину, что он уже спрашивал отца о матери. И ни Евлалия, ни Валентин за весь вечер не обмолвились о ней и словом.

Засыпая той ночью, Никодим решил встать утром часов в пять. Когда он проснулся, часовая стрелка действительно стояла на пяти. Отец был уже на ногах, и Никодим сверху слышал, как он спрашивал у прислуги корзинку. Кто-то отправился за корзинкой на погреб.

Живо умывшись и одевшись, Никодим спустился вниз, поздоровался с отцом, и они пошли.

Ночью была сильная и холодная роса. Вода, как от дождя, каплями стекала с деревьев и кустов. После такой росы по низким местам нечего и ждать грибов. Никодим сказал об этом отцу — тот уже согласился было и, повернувшись к дому, остановился, соображая, стоит ли идти или нет. Но Никодим не о грибах думал — у него были другие намерения. «Полно, — возразил он отцу на его раздумье, — если внизу нет, пойдем куда-либо на горку», — и указал при этом вправо: там в нескольких верстах от берега высилась гора, покрытая старым лесом, синеющая издали, — где, между прочим, Никодим за все прежние года не удосужился когда-либо побывать.

Они тронулись прямо через кусты и, поколесив порядком, вышли на песчаную тропинку: по их расчетам, тропинка эта должна была вести на гору. Они не ошиблись: место становилось все выше и выше, а лес красивее и красивее. Через час пути они поднялись на самую гору, и чувство восторга вдруг охватило Никодима. И было отчего явиться восторгу: открывшийся ландшафт был редко прекрасен. Старые сосны и осины — могучие, узловатые — росли там не часто, но необыкновенно величественно. Будто кто-то в стародавние времена насадил их по строгому замыслу или расчистил дикий лес, чтобы лучшие деревья могли вырасти во всей красоте и великолепии. Высокие кусты папортников, на оголенной земле, затеняя ее своими веерами, росли купами по обеим сторонам тропинки, то приближаясь к ней, то убегая в глубь леса. Влево от тропы древний, исчезнувший поток, унесший ныне все свои воды неведомо куда, под обнаженными, переплетающимися красноватыми корнями четырехсотлетних сосен промыл в земле отверстие. Земля повисла над ним, удерживаясь на корнях, — будто ворота открывались на восток, к солнцу. Ложе потока, уходя вдаль, стлалось каменистой дорогой. Камни лежали или грузно вдавленными в землю, или едва касаясь ее. Кусты калины и отцветавшего шиповника росли там и убегали бесконечной чередой, ярко освещаемые утренним солнцем. А воздух в лощине струился смолистый, голубоватый и словно холодный.

Никодим остановился, подавленный открывшимся, неподвижный. На старика все это, видимо, произвело мало впечатления (и должно быть, он бывал в этом месте и раньше): он принялся излагать какие-то свои хозяйственные соображения.

Никодим, однако, плохо его слушал и не отвечал ему.

— Лисья нора, — вдруг сказал Михаил Онуфриевич радостным голосом.

Никодим обернулся к нему. Старик своею палкой раскапывал подземный ход.

— А поискать, так, наверное, и другой ход найдется, — добавил он.

Никодим сделал два шага по направлению к отцу и, оглядываясь, заметил еще два хода рядом, хорошо укрытые кустами папоротника.

— Это не лисья нора, — возразил он, подумав, затем — палку бы длинную, — и стал искать ее глазами.

Но когда глаза его обратились опять к промоине, то он увидел там нечто уж вовсе необыкновенное: на выступе промоины, в густой траве, лежал мертвый благородный олень, полуопрокинутый на спину, — вскинутая пара ног его была согнута в коленях: он, видимо, упал сверху, так как один кудрявый рог его, покрытый бархатистой шерстью, совсем не страшный, а ласковый, зарылся в землю.

Олени в тех краях не водились: это был редчайший гость, никем там не виданный.

— Смотри, смотри! — закричал Никодим отцу, но отец уже сам заметил оленя и пристально рассматривал его из-под руки.

Никодим, не думая о том, что делает, живо спустился в промоину, цепляясь руками и ногами, по краю обрыва и быстро-быстро пополз к оленю. Путешествие его продолжалось недолго — один камень подался под его тяжестью, и он сорвался. Упав вниз, Никодим ушибся больно и не мог сразу подняться. Выбраться же назад, наверх, было невозможно — добираться к оленю снова по голому обрыву — тоже. Никодим стоял молча, глядя вверх.

— Ишь-ты, — сказал отец, наклоняясь над обрывом, — погоди, я тебе что-нибудь кину, и выберешься.

Но кинуть было нечего.

— Иди лучше дальше, за грибами, — посоветовал Никодим, — а я стороной выйду: все равно у меня нога распухла.

Старик постоял немного, но потом послушался и пошел в глубь леса, а Никодим, прихрамывая, стал спускаться по промоине ниже, все раздумывая: «Откуда взялся олень?» — и не находя ответа. Вскоре он выбрался на знакомую дорогу и, подходя к дому, решил завтра или послезавтра, как только опухоль на ноге опадет, непременно добраться к оленю. Этому не суждено было исполниться: на другой день Никодим был вовлечен в длинный ряд событий, о которых подробно рассказывается со следующей главы.

ГЛАВА IX
О десяти шкафах

На другой день утром, когда Никодим лежал еще в постели, в комнату его полуоткрылась дверь, в щель просунулась рука лакея и положила письмо на столике у входа.

Почерк на конверте был очень знакомый — одного из лучших друзей Никодима. Жил этот друг на Кавказе, и встречались они редко, но каждое свидание с ним и каждое письмо от него были для Никодима большою радостью.

Почта проштемпелевала конверт в Москве, но где письмо было написано, Никодим не понял. В письме кратко говорилось, что друг Никодимов остановился «здесь» (это и значило, вероятно, Москву) лишь проездом и дня через

два будет в Петербурге, очень хочет Никодима видеть, между прочим, по делу, и просит его хотя бы на день приехать в город.

Никодим собрался и поехал в тот же день к ночи (более удобного поезда не было). Дорогой он думал, что, приехав, застанет, вероятно, друга уже на их городской квартире. Однако вместо друга его ждало второе письмо.

В этом письме говорилось, что по непредвиденным обстоятельствам друг его мог пробыть в Петербурге лишь полчаса, и то на Николаевском вокзале, от поезда до поезда; теперь же возвращается в Москву, но надеется видеть Никодима скоро, — пока же целует заочно и желает всего доброго.

С чувством досады, держа прочитанное письмо в руках и думая: «Вот совершенно напрасно проехался», — остановился Никодим в передней. Уже решил он, не теряя времени, выехать в тот же день обратно, но, свертывая письмо, заметил, что в конверт вложена еще записочка, вынул ее и прочел. Она была написана также рукою друга, но почему-то осталась неподписанной (по рассеянности, как он подумал):

«Милый. Дело, о котором я писал тебе, собираясь просить в нем твоего содействия, я откладываю, по тем же непредвиденным обстоятельствам, которые помешали мне остаться в городе нужное время. Но к делу этому я вернусь и твоего содействия в нем еще попрошу, как только буду опять здесь. Пока же прошу тебя о другом: есть у меня в Царском Селе у знакомого (в скобках следовал адрес) на сохранении шкафик — знакомый держать его у себя больше не может — будь любезен взять его к себе теперь же. В шкафике этом ты найдешь наглухо упакованный и перевязанный деревянный ящик — почтовую посылку. Адрес на ящике написан — какой-то московской экспедиторской конторы (не помню какой), — отошли посылку по этому адресу, а шкафик подержи у себя».

Никодим взглянул на часы: был пока только девятый час утра, все еще можно было сделать в тот же день и выехать вечером в имение. Но ехать в Царское самому ему не захотелось, он позвал человека, остававшегося на лето при квартире, растолковал ему все, что было нужно, и отправил его туда. Сам же пошел на Острова, пробродил там часов до двух, позавтракал в ресторане, посетил в городе знакомых и только к шести часам вернулся домой.

Лакей уже ждал Никодима и встретил его с видом смущенным, как будто собираясь что-то спросить и не решаясь. Никодим это понял и сам спросил его, в чем дело.

— Дело, барин, такое, — ответил лакей, — что вы мне сказали про один шкафик, а их там оказалось целых десять.

— Но ты все-таки их привез?

— Да я уж решился. Нанял двух ломовых и отправил сюда. Скоро бы должны подъехать.

— Ну, а хозяин-то квартиры что-нибудь сказал?

— Хозяин-то все ворчали что-то и просили забрать их поскорее: мол, всю квартиру загромоздили.

— Странно. Ну подождем ломовиков... А ключи от шкафов у тебя?

— У меня, барин. Вот, извольте. Чудные ключи — все на один замок.

И с этими словами лакей подал связку в десяток ключей. Действительно, это были странные ключи — огромные, ржавые и все до одного совершенно схожие между собою.

Еще не скоро загромыхали на дворе ломовые телеги, и у Никодима было достаточно времени делать разные догадки, но, когда извозчики подъехали, он выглянул в окно на двор и, увидев на двух подводах все десять шкафов, по пяти на

каждой телеге, — не очень больших, не очень маленьких, старых и ни в чем один от другого не отличающихся, притом самых обыкновенных, рыночной работы, — он подумал, что друг его что-то перепутал.

Никодим стоял в кабинете, пока извозчики вносили шкафы и расставляли их по коридору. Выйдя из кабинета, он увидел скучный и противный их ряд, хотел уж было проскользнуть мимо, чтобы ехать на вокзал, но вспомнил, что друг писал ему о какой-то посылке, и сказал:

— Нужно же эту посылку отыскать.

И открыл первым попавшимся ключом первый шкаф. Открыв его, он увидел, что было в нем три полки, а на каждой полке стояло по три деревянных ящика, действительно упакованных так, как пакуются почтовые посылки.

Он взял в руки один, повертел, взвесил и поставил осторожно на место. Потом проделал то же с другим и с третьим. Все ящики были равной величины и одинакового веса, но адресованы они были разным лицам — часть в Москву, два в Одессу, один в Стокгольм и другие еще куда-то. Все адреса были написаны одним почерком — вытянутыми, неестественно длинными буквами; буквы оплывали будто жиром книзу; отправителем посылки на всех ящиках значилось одно и то же лицо — Феоктист Селиверстович Лобачев — Петербург, Надеждинская улица, №№ дома и квартиры.

Сперва имя Лобачева, произнесенное Никодимом вслух, прозвучало в его ушах чуждо, но он в ту же минуту припомнил, что слышал о Лобачеве от того же своего друга: Лобачев вел с ним торговые дела по имению, покупал у него лен, табак и еще что-то.

— Хлам! — сказал лакей, появившись в коридоре.

— Да, хлам, — согласился Никодим и в нерешительности от вопроса, что делать, открыл второй шкаф — ржавый замок опять прозвенел, скрипучие петли еще раз пропели; но увидел он за дверью те же три полки и на каждой из них по три ящика. На ящиках можно было прочесть адреса, написанные все теми же неестественными буквами: «Сидней, Чикаго» и еще что-то — с отправителем Феоктистом Селиверстовичем Лобачевым.

Чувство тоски охватило Никодима — будто он хотел уйти куда-то и нужно ему очень, а вот какие-то мелкие и глупые причины приковали его к месту.

Он открывал шкаф за шкафом — третий, четвертый и пятый, до последнего: все в них было одинаково — десять шкафов, тридцать полок, девяносто ящиков...

«Нужно телеграфировать другу, что все это значит».

Подобная мысль вспыхнула у Никодима, но и исчезла в то же мгновенье: «Лучше поехать к Лобачеву и предложить ему забрать всю эту дрянь. В самом деле, моя квартира ведь не склад, и я не экспедитор». С таким решением, справившись еще раз по ящикам об адресе Лобачева, Никодим оделся, вышел и нанял извозчика на Надеждинскую.

По дороге он сообразил, что час уже поздний и лучше было бы позвонить Лобачеву по телефону. «Ах, все равно, — добавил он к своему соображению, — не велик барин г. Лобачев».

На повороте с Невского на Надеждинскую сломалось у пролетки колесо. Падение было благополучным, но Никодим, встав, вслух заявил: «Дурная примета, и вообще всюду чертовщина».

Извозчик обиженно принялся возражать, но Никодим сунул ему монету и, нисколько его не слушая, поспешил отыскать нужный дом. Тот был недалеко. У дворника Никодим узнал, что квартира № 7 во дворе.

ГЛАВА X
О ведьме и о сером цилиндре

Перейдя широкий двор и поднявшись в третий этаж, Никодим увидел на дверях квартиры № 7 две медных дощечки: на одной, прибитой направо, черными жирными буквами стояло «Феоктист Селиверстович Лобачев», — дощечку эту кто-то принимался отвинчивать и вывернул уж из четырех винтов два. На другой дощечке, изящной, небольшой, опытный резец красивыми, но малозаметными буквами начертал: N. N. — имя и фамилию дамы. Я ставлю N. N. потому, что даму эту, и сейчас проживающую здесь, многие знают — называть ее считаю неудобным, а выдумывать другое, условное имя, взамен ее прекраснейшего и незаменимого, не хочу.

Необычное сочетание разнородных иностранного имени и фамилии госпожи N. N. заставило Никодима задать себе вопрос: француженка она или англичанка? И, раздумывая об этом, он простоял перед дверью минут пять, пока не вспомнил, зачем, собственно, пришел и что следует позвонить.

На звонок Никодима дверь отворилась сразу — будто звонка его там ждали. Отворила дверь высокая дама, молодая, стройная, светловолосая (сама г-жа N. N., как Никодим догадался). В первом приветствии ее человеку совершенно незнакомому, в легком изгибе и быстром, но плавном склонении фигуры было столько очаровательного, что Никодим не удержался и в восхищении воскликнул «ах!». Она лукаво и строго, но едва заметно улыбнулась с видом не обратившей и малейшего внимания на его неуместное восклицание. Он же почувствовал себя крайне неловко и, в смущении, вместо того чтобы спросить о Лобачеве, ждал первый вопроса от нее. Она помолчала, но не выдержала наконец и сказала:

— Что же вам нужно?

— Феоктист Селиверстович Лобачев дома? — отвечал Никодим вопросительно.

— Нет, Феоктист Селиверстович на днях отсюда выехал.

Голос ее звучал мягко, ласково, но с какой-то грустью. Говорила она по-русски весьма хорошо и с тем же неуловимым очарованием, с каким приветствовала Никодима. Лишь едва заметные оттенки произношения, некоторая мягкость согласных, изобличали в ней иностранку.

Все мысли и чувства Никодима устремились вдруг к ней. О Лобачеве он уже не думал и сразу почувствовал, что путается, когда начал было о нем:

— Позвольте вас спросить...

Она вывела Никодима из затруднения, уяснив себе, в чем дело, и быстро сказав:

— Вам нужен его адрес? Обождите, пожалуйста: он у меня записан — я сейчас поищу и скажу.

И отвернулась, движением руки показав, что он должен следовать за ней. Никодим вошел в переднюю.

Он сразу обратил внимание на две вещи в той комнате: на обыкновенную керосиновую лампу, в двадцать линий, стоявшую на столике перед зеркалом, и на необыкновенный мужской цилиндр: очень высокий, светло-серый и к тому же мохнатый, помещавшийся на стуле рядом со столиком.

Лампа горела, хотя освещение в квартире было электрическое, абажура на ней не было. На цилиндре же сверху была надета дамская шляпа со страусовыми перьями, но г-жа N. N. эту шляпу мимоходом сняла. «На что ей лампа?» — удивился Никодим. Но она не дала ему времени подыскать ответа, вдруг резко повернувшись и резко сказав:

— Собственно, что вам нужно? Адрес господина Лобачева вы можете узнать у дворника или швейцара. Оставьте мою квартиру, прошу вас.

Она была недовольна чувствами Никодима, а не его поведением: Никодим вел себя скромно и с достоинством.

Чувства Никодима ей было нетрудно угадать. Но он уже и сам понял, что влюблен в нее, и не повиновался ее приказанию. Ей же стало вдруг жалко, что резкостью своею она обидела его.

Опираясь обеими руками о край столика, на котором горела керосиновая лампа, она стояла и глядела на Никодима — пристально, совсем по-иному, чем первый и второй раз: в глазах ее светилась уже не любезность, а ненависть с плохо скрытой любовью. И эта двойственность выражения еще больше шла к ней, чем любезность, — ко всему, что сквозило в ней, изливалось из нее, к самому облику ее, к цвету волос и даже к прическе и платью.

Никодим сделал еще два-три шага, и только столик остался преградой между ними.

— Ведьма, — сказал Никодим вслух.

— Ведьма, — утвердительно повторила она за ним.

Он схватил ее с силой за правую руку, повыше кисти. Она рванулась в сторону, но вдруг стихла и спокойно сняла свободной левой рукой стекло с горящей лампы, совсем не боясь обжечься. Прежде чем Никодим успел что-либо сообразить, она этим стеклом неожиданно ловко ударила его по лицу. Он почувствовал острую боль и будто электрический разряд в себе вместе с противным запахом обожженной кожи. В нем сейчас же вспыхнула жгучая злоба; заскрипев зубами от боли, в первый миг он выпустил было ее правую руку, но тут же ухватился обеими руками за левую, пригибая противницу к столу.

Она тоже сжала зубы от боли, так как пальцы Никодима были цепки и давили все крепче и крепче. Пытаясь освободиться, она рванулась в сторону, но только кости ее хрустнули.

Тогда она перехватила стекло правой рукой, — Никодим вцепился и в правую руку: у него был один страх, что она опять ударит его стеклом.

— Оставьте, — сказала она повелительно, — уйдите.

— Я не уйду! — ответил он твердо.

— Не уходите, но отпустите руки.

— Положите стекло, тогда я отпущу руки.

Она злобно засмеялась и снова рванулась, стремясь ударить его еще раз. Он инстинктивно откинул голову назад, отпустил ее левую руку и со словами: «Вот я выжгу вам глаза» — схватил со стола горящую лампу.

Они еще метались по комнате с полминуты; раз или два она опять изловчилась ударить его по щеке; он же не сумел привести свое намерение в исполнение: каждый раз она угадывала его движения и ловко увертывалась, наконец быстрым движением вышибла лампу из его руки — свет погас, а фарфоровые черепки со звоном разлетелись по полу.

В наступившем полумраке Никодим вдруг почувствовал, что г-жа N. N. слабеет, но то длилось меньше мига. Когда ему показалось, что победа совсем на его стороне, что она упадет измученная, а он уйдет свободным, — острая режущая боль еще раз прожгла все его существо, и он, изгибаясь в судорогах, упал на ковер к ее ногам. Она отскочила в сторону, но судороги быстро прекратились.

— Цилиндр, цилиндр, — сказал Никодим слабым голосом.

И действительно, с цилиндром творилось необыкновенное: еще во время борьбы он начал вести себя странно: подпрыгивал, качаясь из стороны в сторону, то

вырастал, то умалялся; когда же Никодим упал на ковер — цилиндр подпрыгнул выше прежнего, вытянулся почти до потолка и затем с пружинным звоном пришлепнулся в лепешку.

Г-жа N. N. в ответ на последние Никодимовы слова подошла к нему, погладила его по голове и, при слабом свете, падавшем откуда-то из коридора, заглянула ему прямо в глаза — добрым-добрым, материнским взглядом, но он оттого только метнулся опять в страхе и протянул руки к цилиндру, намереваясь схватить его. Тогда столик вместе с цилиндром отшатнулся в сторону и, перевернувшись в воздухе колесом, полетел в раскрывшуюся пропасть. За ним последовала сама г-жа N. N. и все остальные предметы, бывшие в комнате.

ГЛАВА XI
Вынужденное решение. — Записка господина W

Когда Никодим пролежал неподвижно уже несколько минут, госпожа N. N. попробовала приподнять его, чтобы перенести на диван или на кровать, но это оказалось ей не под силу. Помедлив немного, она принесла из своей спальни подушку и подложила ее под голову Никодима, оправив ему волосы и отерев лицо платком.

Так прошел час и другой, и время уже давно перешло за полночь, а Никодим все лежал; дыхание его оставалось еле заметным; лицо осунулось сразу, побледнело; холодный пот выступил на лбу; рот был полуоткрыт, а зубы крепко стиснуты.

Госпожа N. N. начала беспокоиться, но, видимо, хотела заглушить свое беспокойство. Стоя у раскрытого на широкий двор окна, она запела звонкую французскую песенку, пропела ее раз, и другой, и третий, не замечая, что твердит одно и то же. Двое молодых людей, скучающих в городе, из окна напротив попробовали завести с нею разговор, но она презрительно захлопнула окно и, еще раз взглянув на Никодима, прошла к себе в спальню.

До утра два или три раза она, полуодетая, выходила из спальни, становилась на колени около Никодима, заботливо отирала холодный пот с его лба, согревала ему руки и дышала на веки, но он не приходил в сознание.

Утром довольно рано госпожа N. N. подошла к телефону, позвонила, назвала номер, но, когда оттуда ответили, она быстро повесила трубку, вернулась к Никодиму, села около него на пол и, склонив свою голову к его лицу, сидела так весьма долго.

В течение дня пыталась она позвонить еще раза два или три, но, отказываясь каждый раз от своего намерения, возвращалась к Никодиму, опять склонялась над ним и говорила ему на ухо ласковые слова; иногда она едва сдерживала рыдания, поводя плечами.

Наконец она решилась, вызвала кого-то по телефону и заговорила. Не называя своего собеседника по имени, она стала спрашивать, не знает ли тот, кто такой ее случайный посетитель, и просила взять Никодима из ее квартиры.

Через полчаса после разговора в квартире появились четверо молодых людей: трое так себе, в котелках, а четвертый в лощеном цилиндре, смуглый и с постоянной на почти негритянском лице улыбкой, от которой сверкали его белые крепкие зубы. Вежливо поклонившись госпоже N. N., они подняли Никодима и осторожно вынесли его. А еще через полчаса к дому на Надеждинской подъехал в автомобиле господин восточного типа, крепкий, жилистый, и прошел в квартиру госпожи N. N. Схватив ее за руку довольно неучтиво, он прошел с нею

в будуар и начал какое-то объяснение. Говорил он громко, резко — она отвечала спокойно и настойчиво. Через четверть часа он покинул ее квартиру явно раздосадованный.

Никодим же не слышал, как его вынесли из квартиры госпожи N. N. и как привезли домой.

Он пришел в сознание спустя очень много времени после описанного события.

Очнулся он на своей городской квартире. Глаза его открылись вдруг, и, лежа в широкой постели, он перед собою, на серой стене, окаймленной золотым бордюром, первым увидел бледное световое пятно, разделенное на четырехугольники тенью от переплета окна, — отражение солнца.

В комнате было тихо-тихо, и Никодиму показалось, что в квартире он только один. И еще долго, пока он думал в неподвижности, даже и малейший звук не нарушил тишины.

Думая, он старался припомнить, что случилось с ним после его отъезда из дома в лесу. История с десятью шкафами и то, как он появился в квартире госпожи N. N., вспомнились ему легко и просто, со всеми подробностями. Но о последующем остались весьма смутные воспоминания и даже скорее не воспоминания, а лишь ощущение чего-то происходившего и оставшегося для него закрытым. Из смутного начинало вдруг выделяться лицо отца, склоненное над Никодимом, но не из комнаты, а из пустоты, и лицо госпожи N. N., тоже над ним, — одно и рядом с лицом отца; потом еще лица незнакомые, с шевелящимися без звуков губами. Кроме того, столик около кровати и на нем, по временам, серый мохнатый цилиндр и прислоненная к столику отцовская суковатая палка. Затем собственные Никодимовы слова: «Я хочу такой серый цилиндр. Купите мне, пожалуйста, или закажите у Вотье». Кто-то отвечал ему согласием — кажется, г-жа N. N.

Но что же еще было? Было что-то, несомненно. Будто не все он лежал в постели, а вставал уже, что-то делал, куда-то торопился.

Волнуясь от бессилия вспомнить хотя бы малую часть происходившего, он приподнялся в кровати и обвел комнату медленным взглядом. В числе прочих вещей, занимавших свои знакомые места, он увидел новое: отцовскую вересовую палку у подоконника. «Значит, отец находится действительно здесь, — подумал Никодим, — и мои представления меня не обманывают». Едва он это подумал, как в комнату на цыпочках вошел отец и, увидев Никодима сидящим, вдруг бросился к нему стремительно. Стремительность движений к отцу совсем не шла, что Никодим особенно остро подметил тогда. Говорить отец ничего не мог от волнения, лицо его выражало тревогу (столь необыкновенное для него выражение) и похудело.

Никодим заговорил первым. Он спросил отца:

— А серый цилиндр уже готов?

Отец удивленно приподнял брови и даже испугался: ему показалось, что сын сошел с ума.

— Серый цилиндр?!

— Ну да, серый цилиндр, который обещала купить мне госпожа N. N. — В голосе Никодима прозвучала детская обида.

— Госпожа N. N.?!

— Ну да! Госпожа N. N. Разве она здесь не была, или ты ее не знаешь?

— Нет, я ее знаю. Она была здесь... Один раз...

— А где же она теперь?

— Она уехала куда-то.

— А куда уехала?

— Этого я не знаю. Да ты ляг, успокойся, я узнаю, куда она уехала, — сказал отец очень ласково и принялся укладывать Никодима обратно в постель.

Значит, не все в его воспоминаниях было правдой — серый цилиндр здесь, на столике около кровати, никогда не стоял? И, смущенный этим сомнением, Никодим прекратил разговор.

На другой день Никодим оправился настолько, что уже мог встать с постели. Входя в столовую, он столкнулся с отцом, и первым вопросом, обращенным к отцу, у Никодима было:

— Ну, папа, узнал ты, куда уехала госпожа N. N.?

Отец виновато взглянул на сына и сказал:

— Я забыл об этом.

— Так я сам узнаю, — ответил Никодим и направился было к выходу.

Но отец остановил его словами: «Тебе еще нельзя на улицу» — и, взяв Никодима под руку, отвел его обратно в спальню.

Никодим не стал спорить и даже сказал:

— Мне бы в деревню теперь хорошо, я там отдохну.

На другой день они выехали в имение. Всю дорогу Михаил Онуфриевич бережно смотрел за сыном, а когда тот заговорил о своей болезни, старался отвести Никодима от такого разговора. Никодим же не замечал, что теряет нити и разговора, и своих мыслей.

Лето подходило к концу. Уже много желтых листьев лежало на луговинах и дорожках; косили созревший овес и ходили в лес за грибами с большими корзинами.

Никодим больше сидел дома, в спокойном кресле, за книгами; иногда с террасы, откинувшись в кресле назад, глядел подолгу в лес или за озеро. Отец почти все время находился при нем; в Михаиле Онуфриевиче многое сильно изменилось за последнее время: одевался от теперь по-иному, — английский костюм, легкие ботинки, черная шляпа, круглая и мягкая, а по временам цилиндр и трость, также черная, с золотом, при молчаливой фигуре, спокойной складке рта и похудевшем лице, — таким представлялся его облик в те дни.

Никодим, тоже молчащий и ушедший в себя, вспоминал все время только одно — госпожу N. N. По временам он задавал себе вопрос о матери, но спросить о ней было не у кого: он знал, что с отцом не следовало даже пытаться заговорить об этом, а Евлалия и Валентин оставались в Петербурге, и на письмо Никодима об Евгении Александровне Евлалия ответила, что ей по-прежнему ничего неизвестно.

По временам заезжал старичок доктор, говорил с Никодимом по несколько минут, ощупывал его пульс, заглядывал осторожно в глаза и со словами: «Ничего, ничего! скоро все пройдет — опять будете молодцом, это лишь последствия нервной горячки» — переходил в кабинет к Михаилу Онуфриевичу играть в шахматы. Никодим старался быть любезным с доктором, никогда ему не возражал и безразлично отпускал его.

Как-то наскучив самому себе своим вынужденным бездействием, Никодим вспомнил совет Якова Савельича разобраться в письмах матери. Одну минуту он колебался — ему все же казалось, что Яков Савельич не подумал, на какое неприятное дело он посылал тогда Никодима. Однако мысль, что в настоящее время только и можно питать надежду найти нужные следы в переписке матери, превозмогла, и Никодим, встав, направился в ее комнату.

Комната Евгении Александровны оставалась неприкосновенной с того времени, как исчезла сама Евгения Александровна. Даже пыль там редко убирали.

Полуспущенные шторы позволяли проникать в нее слабому свету. Когда Никодим вошел туда, он явственно ощутил дуновение забытости и заброшенности, будто даже тления.

Откинув крышку бюро, за которым обыкновенно Евгения Александровна сидела с книгой или над письмом, Никодим попытался выдвинуть ящички, полагая, что свою переписку мать должна была хранить в них, но ящички оказались запертыми на ключ. Поискав ключи на бюро и не найдя их там, он зажег в комнате свет и принялся осматривать полочки, столики, этажерки и все те предметы, на которых ключи могли бы лежать или висеть. Наконец он нашел их между книгами на книжной полке и, подойдя к бюро, принялся открывать ящики.

Писем в ящиках было много; большая часть их, перевязанная шнурочками и ленточками, лежала в порядке, и Никодим, несмотря на принятое только что решение исполнить совет Якова Савельича, так и не посмел коснуться их; он лишь посмотрел каждую пачку сверху, по конвертам, и узнал несколько знакомых почерков: отца, тетушки Александры Александровны, покойной бабушки, детские письма свои, Евлалии и Валентина. Оказались, однако, между знакомыми письмами и незнакомые: особенно много было пачек, надписанных почерком с удлиненными буквами, вид которых напомнил Никодиму что-то уже встречавшееся ему, но что — он не мог восстановить в своей памяти. Подержав эти пачки в руках дольше, чем другие, он положил и их на прежнее место.

Только в самом крайнем ящике, внизу, лежали еще не разобранные письма и с ними вместе небольшая книжечка, переплетенная в красный сафьян, с золотой рамкой и буквой «Е» на переплете. Вероятно, это был дневник или книга для заметок, но Никодим не просмотрел и ее — он лишь раскрыл эту книгу там, где она была заложена листочком бумаги, и прочел на четной странице: «Иначе и быть не может: я давно должна бы понять это. Я должна, раз я решила так еще десять лет назад. И стоит ли думать, сомневаться?»

Это было написано матерью. Лоскуток же бумаги, служивший закладкой, оказался сложенной вчетверо запиской. И записка говорила следующее:

«Я вчера ждал Вас напрасно целых три часа. Не подумайте, что я хочу жаловаться Вам на неприятности столь долгого ожидания. Но, ради Бога, решайте вопрос скорее. К тому, что сказано, я могу прибавить лишь одно: *** знает Вашу историю, конечно, не в том виде и не с теми подробностями, с какими знаю я. Но для нее вопрос о моем друге решен окончательно, она упряма, когда принимает какое-либо решение. Итак, я жду Вас сегодня к 12 ночи над обрывом, у качели. Я не могу более терять времени. Любовь к *** меня мучит, и если Вы сегодня не будете — я застрелюсь. Это не шутка и не угроза — к сожалению, это необходимость. W.»

Из записки Никодим ничего не понял. Но там, где я дважды ставлю три звездочки, он прочел имя госпожи N. N., а прочитанное в книге напомнило ему сразу то, что он подслушал от матери когда-то на огороде.

ГЛАВА XII

Предмет, достойный удивления. — Два господина в окне третьего этажа

Мысли Никодима сразу приобрели особую прямолинейность. «Несомненно, — заключил он, — госпожа N. N. знает и господина, написавшего эту записку, и местопребывание мамы. Я должен поехать к ней и поговорить. И затем пора сказать себе прямо, что я люблю госпожу N. N.».

В тот же день вечером Никодим заявил отцу, что собирается ехать в Петербург. Михаил Онуфриевич ответил: «Да, поезжай», но все же спросил втихомолку доктора, заехавшего на другой день, как тот думает. Доктор наморщил лоб, вторично прошел к Никодиму и, пощупав еще раз у него пульс, сказал отцу, что ничего — можно и даже полезно проехаться, чтобы освежить голову.

Еще садясь в вагон, Никодим припомнил тот самый серый цилиндр, что он видел в передней у госпожи N. N., быстро подумал: «Без такого цилиндра к ней явиться нельзя», — и тут же решил, по приезде в город, немедленно купить или заказать себе у Вотье подобную вещь.

Выходя с вокзала на улицу, Никодим был оглушен давно не слышанным уличным гамом, и голова его слегка закружилась, но он сейчас же с собою справился и прямо с вокзала по солнечной стороне проспекта направился пешком к Вотье. Минутами чувство слабости возвращалось к нему, и тогда ему казалось, что он идет не по улице, а руслом реки, по дну, и все перед его глазами протекает, будто вода, — и люди, и лошади, и экипажи. Лишь отдельные лица иногда выскакивали из текущей массы — так проплывающая рыбка видит сквозь воду других встречных рыбок.

Но в городе для Никодима существовали только дом на Надеждинской и магазин Вотье. О другом он не думал.

В магазине такого цилиндра, какой Никодиму хотелось, не нашлось. Однако продавец любезно заявил, что подобный они возьмутся сделать на заказ, и, получив согласие Никодима, снял мерку, уже записал размер в книгу и только тогда спросил:

— А какой же вышины прикажете изготовить? и не пожелаете ли шапокляк?

Никодим, склонившись над прилавком, ответил полушепотом:

— Двенадцать вершков и, пожалуйста, шапокляк. Затем мне необходимо, чтобы пружина звенела в нем как можно явственнее.

Продавец сначала только отодвинулся, но затем вежливо и убедительно стал доказывать, что подобных уборов никто не носит и что невозможны они сами по себе.

— Подумайте, — говорил он, — в вас росту и так не менее девяти вершков, если же прибавить еще двенадцать, то будет уже три аршина пять вершков.

Никодим настаивал на своем. Наконец минут через десять они сошлись на шести вершках, и Никодим, очень довольный, направился домой. Продавец же, проводив его до дверей и посмотрев ему вслед, еще долго потом примеривал, прикидывал и покачивал головой.

По дороге, на Невском проспекте, Никодим купил себе еще серое пальто и серые же перчатки — совершенно под цвет цилиндру.

Два дня прошли в томительном ожидании: Никодим никак не хотел идти на Надеждинскую без нового цилиндра. Лишь на третий день он подумал, что сперва можно сходить туда и запросто, чтобы узнать, здесь ли госпожа N. N., а если нет, то где она теперь может находиться. Младший дворник у ворот заявил ему, что госпожа N. N. уехала уже давно, но не мог сказать, когда и куда. Никодим прошел к старшему дворнику.

Тот, степенный сибиряк и, по-видимому, старовер (в дворницкой сильно пахло ладаном), достал из-за печки книгу и начал ее перелистывать. Никодим, смотря тоже в нее через дворниково плечо, первый нашел запись о госпоже N. N.: в книге стояло, что 20 июля госпожа N. N. выехала, не дав сведений.

— Выехали, значит, — сказал и дворник, — однако если бы вы, господин, пожелали знать куда, — добавил он, — то вернее всего вам обратиться к господину Лобачеву.

— А где этот господин Лобачев проживает? — спросил Никодим.

— Это нам неизвестно. Они обыкновенно в автомобиле приезжают. Однако если вы адресок ваш оставите, то мы вам при первой возможности от Феоктиста Селиверстовича узнаем и сообщим. Они здесь обыкновенно по пятницам бывают, за квартирой присматривают. Хотя у нас все в порядке.

— Ну что же делать, — сказал Никодим, — обождем вашего Феоктиста Селиверстовича.

С этими словами он записал дворнику на клочке бумаги свой адрес и поехал домой.

Был пока только четверг. Он решил обождать: все равно цилиндр еще не был готов. Но ни в пятницу, ни в субботу никто с Надеждинской не пришел, и Никодим в воскресенье утром сам собрался съездить туда опять. В то время, когда он одевался в передней, вошел отец. Расцеловавшись со стариком, Никодим сказал ему, что должен уехать по делу. Михаил Онуфриевич в ответ заявил, что он тоже не прочь проехаться с ним, если не помешает, и хотя Никодим сначала подумал, что совсем не к чему посвящать старика в это дело, все же сказал ему:

— Поедем, я буду очень рад побыть с тобой.

При выходе из подъезда они столкнулись с дюжим молодцом, по виду подручным дворником. Никодим сперва не признал его. Тот также смотрел на Никодима, что-то соображая. В руках у молодца была записочка. Наконец он снял шапку и спросил Никодима:

— Не вы ли будете, барин, Никодим Михайлович? Кажись, я не обознался.

— Да, это я.

— Мы младшие с Надеждинской будем. Так господин Лобачев приказали вам сообщить, что адрес барыни N. N. вы сегодня можете узнать у их управляющего.

— А где же этого управляющего найти и как его зовут?

— Не могу знать.

— Так за каким же шутом ты пришел сюда?

— А мы так, значит, полагали... что вам самим это ведомо.

— Вот то-то и есть, что полагали.

Никодим обозлился. Дворник почесал в затылке.

— Может быть, старший ваш знает? — спросил Никодим.

Дворник молчал.

— Ну что же? — спросил Никодим.

— Уж вы простите меня, барин, — сказал наконец дворник, — а ежели хотите его отыскать, так поезжайте на Семеновскую площадь: они там сейчас в третьем этаже в растворенном окне чай с каким-то человеком пьют. Дома-то я номера не помню, а только вы управляющего сразу признаете: чернявый такой и с виду от других отметный.

— Послушай, — сказал Никодим, — ты дурака ломаешь. Тебе известно и кто управляющий, и где он живет, — я знаю. Просто тебя кто-то научил пороть эту чушь.

Но дворник принялся божиться, что никто его не учил, но что он сегодня ходил с управляющим по делу и оставил его на Семеновской площади. Что оставалось Никодиму? Он велел кучеру ехать на Семеновскую в надежде отыскать лобачевского управляющего.

По случаю праздничного дня на площади был утренний базар. Пахло луком и разными другими овощами, мясом; в воздухе стоял нестерпимый раздражающий галдеж; мелькали разноцветные кофты баб и рубахи торговцев. Всюду ожесточенно спорили, торговались; дети пищали, куры под плетенками кудахтали, а тощие петухи пытались петь.

Оставив кучера с лошадьми у водопойной будки, Никодим и Михаил Онуфриевич среди этого гама обошли базарную половину площади, заглядывая в растворенные окна третьих этажей; но ничего подобного указанному дворником, то есть ни чернявого человека в компании с другим, ни вообще пьющих чай, не увидели. Обойдя полукруг площади еще два раза, они через мост перешли на другую сторону. Здесь было растворено очень много окон во всех этажах, и в окна смотрели люди пô одному, и по двое, и по трое. Но все это было не то. Уже в раздражении Никодим забегал по дорожкам сквера, среди прогуливающихся степенных людей и ребят, занятых играми, под надзором нянюшек и без надзора; уже старик без прежней покорности следовал за Никодимом, и дивясь на сына, и немного браня его, когда к ним подошли два господина. Один из них был довольно неопределенных свойств и носил котелок, а другой, смуглый, почти негритянского типа, с приветливой улыбкой, не сходящей с толстых красных губ, одетый изысканно, имел на голове лощеный цилиндр.

Они появились действительно из окна третьего этажа. До прихода Никодима и Михаила Онуфриевича там сидели они с утра и пили чай, причем смуглый все время зорко посматривал на площадь, и было просто удивительно, как Никодим и Михаил Онуфриевич их не заметили. Взглянув на площадь раз, другой и третий, смуглый сказал своему собеседнику:

— Вот, кажется, те два господина, которые нас ищут.

Спустившись молча сию же минуту на площадь, они и направились к пришедшим. Смуглый, приподняв цилиндр, обратился к Никодиму:

— Осмеливаюсь вас спросить: не через господина ли Лобачева направлены вы сюда и не управляющего ли Феоктиста Селиверстовича изволите отыскивать?

— Да, через господина Лобачева.

Никодим припомнил, что управляющий должен был, по словам дворника, быть чернявым, и спросил в свою очередь:

— Так это вы, кого я ищу?

— Имею честь быть тем, кого вы ищете.

Они помолчали.

— И вы можете мне сообщить адрес госпожи N. N.? — вновь спросил Никодим с заметною радостью в голосе.

— Да, могу. Госпожа N. N. в июле выехала в Исакогорку и живет там до сего времени. Исакогорка — это около Архангельска.

— А господина Лобачева адрес могу я узнать от вас?

— Нет! Адреса господина Лобачева я не имею возможности вам сообщить, — отрезал управляющий, и притом так твердо, что переспрашивать об этом Никодиму не захотелось. Да и не понравился Никодиму его собеседник.

— Благодарю вас, — сказал Никодим напоследок и, кивнув головой, отвернулся, как бы давая тем понять, что разговаривать больше не о чем.

Но лобачевский управляющий снял свой цилиндр и отвесил вслед Никодиму почтительный поклон.

Михаил Онуфриевич, пока шел разговор, стоял в стороне с озабоченным лицом и, видимо, не слышал, о чем говорили.

ГЛАВА XIII
Досадная порча весьма нужной вещи

«Ну что же, поедем в Исакогорку!» — решил Никодим, переходя через мост на левую сторону набережной.

На другой день, в понедельник, серый цилиндр в сопровождении мальчика и счета на стоимость своего изготовления явился на квартиру Никодима. Никодим цилиндр примерил и остался им очень доволен: пружина звенела в нем мелодическим звоном, а мохнатая поверхность его такою приятною чувствовалась под гладящей рукой.

В тот же день Никодим купил себе билет до Исакогорки, а во вторник, облачившись в новое серое пальто, надев цилиндр и серые перчатки и захватив с собою отцовскую суковатую палку, поехал на вокзал. Необычайный вид его удивлял прохожих и проезжих, иные смеялись — Никодим делался центром общего внимания, не примечая этого. У него сильно болела голова, а по временам вертелись перед глазами темные пятна.

Длинный путь до Исакогорки был скучен, соседи по купе оказались малоразговорчивыми, да и Никодим не хотел заводить с ними знакомства. Их было двое: оба довольно неопределенные, в порыжелых котелках и серых пальто, потертых и помятых.

До Вологды путь еще был не так скучен, но дальше, по сторонам узкоколейной дороги, край стал совсем неприветливым: чувствовалась бедная, холодная осень с туманами и нескончаемыми дождями.

По временам Никодим начинал думать о госпоже N. N., но мысли все как-то очень быстро путались и обрывались. Было у него желание признаться госпоже N. N. в любви, но в мыслях он старался отдалить возможность этого признания.

Так прошел последний день пути. Ночью Никодим крепко спал, а утром доехали до Исакогорки. Выйдя на платформу, Никодим не спросил никого о госпоже N. N., ни о том, как и куда идти, а пошел наугад, той стороною полотна, где стояли домики железнодорожных служащих и пролегала хорошо наезженная дорога. Воздух был холодный, безветренный, и утренник крепко прохватил намоченную дождями землю: на крышах, на кустах, на траве белел иней, но солнце уже начинало пригревать, и первые натаявшие капли звонко падали с крыш.

Никодим шел, опустив глаза, и, пройдя несколько десятков шагов, наткнулся на двух старух, копошившихся у кочки под большим желтым кустом. «Вот еще вороны?» — подумал о них Никодим, но вслух спросил:

— Что вы здесь делаете, бабушки?

Старухи не ответили, даже не обернулись. Никодим с любопытством заглянул через их спины: под кустом, скорчившись и закрыв лицо руками, сидела молодая женщина; подол ее темного платья был плотно обернут кругом колен, а ноги в тонких чулках и совсем легких туфельках выставлялись через кочку. Никодим, взглянув пристальнее, почувствовал как бы укол в сердце: знакомое очарование сказалось сразу — перед ним была госпожа N. N.

Осторожно отодвинув одну из старух в сторону, почти как неодушевленный предмет, Никодим со словами: «Господи, что же это такое?» — опустился на одно колено и отвел руки госпожи N. N. от ее лица.

Она с изумлением взглянула на него и поспешно поднялась. Он же, сняв с себя пальто, накинул его на ее плечи, за что получил благодарный взгляд.

— Что с вами? — спросил Никодим тревожно.

— Право, ничего. Вы не беспокойтесь. Проводите меня, пожалуйста, до дому: я чувствую себя совершенно разбитой.

С этими словами она указала, где ее дом.

Никодим подал ей руку, и они пошли по узкой тропинке. Он все время приглядывался к госпоже N. N. — ничто в ней не изменилось: только на правой руке он заметил, чего не видел в первый раз, — два обручальных кольца. Так кольца носят вдовы, и Никодим спросил:

— Скажите, разве вы вдова?

— Нет! — сухо ответила она.

Старухи молчали и ковыляли сзади: до сего времени Никодим не услышал ни одного звука от них — будто старухи эти были немыми.

Подойдя к дому, госпожа N. N. легко вспорхнула на крылечко, обернувшись к Никодиму, сказала: «До свиданья, благодарю вас» — и скрылась, захлопнув дверь. Никодим постоял в нерешительности, потом поднялся на ступеньки и постучал. Ответа не последовало. Он постучал еще и еще, но с прежним результатом.

Наконец откуда-то со стороны появилась одна из старух, неся на руке его пальто. Подавая пальто Никодиму, она вдруг заговорила дробным говорком:

— Напрасно стараетесь, батюшка, — все равно не откроют. Шли бы лучше по своим делам.

— Да отчего же не откроют? У меня дело есть к вашей госпоже.

Старуха ошиблась. Едва Никодим успел ей сказать «к вашей госпоже» — дверь открылась и госпожа N. N. показалась на пороге.

— Извините, что я так невежливо обошлась с вами, — сказала она, — и даже заставила вас стоять здесь на крыльце без пальто почти полчаса. Я должна загладить мою вину перед вами: войдите, пожалуйста.

Он послушно вошел за нею, хотя подумал, что лучше было бы не идти, а спросить ее о записке господина W тут же на крыльце.

Комнаты дома были просто убраны, но на всем, что в них находилось, лежал отпечаток довольства, порядка, покоя. Гравюры на стенах в гладких рамах рядом с часами, совсем незатейливыми, но очень старинными, бра в две свечи, мягкая удобная мебель, белые занавески на окнах, множество живых цветов, открытый рояль очень располагали вошедшего к дому и к хозяйке его.

В гостиной госпожа N. N. усадила Никодима в кресло. Сказав несколько слов ради учтивости, он прямо перешел к делу.

— Вы ведь знаете, кто я? То есть знаете мое имя и мою фамилию? — спросил он, а сам в то же время подумал: «Нет, нужно сказать ей, что я люблю ее. Как глуп я буду, если не скажу ей этого сейчас же».

И почувствовал опять то уже знакомое ему очарование, как когда-то на Надеждинской улице.

Она утвердительно кивнула головой.

— Но вы знаете не только меня, а, вероятно, и мою семью. То есть, по крайней мере, мою мать и, кажется, знавали ее раньше, чем встретились в первый раз со мною, там... на Надеждинской.

Госпожа N. N. ответила не сразу. Подумав, она сказала:

— Кажется, нет.

— Неправда. Вы ошибаетесь. Взгляните, пожалуйста, вот на эту записку: здесь стоит ваше имя, — горячо возразил Никодим и протянул ей записку господина W.

Она взяла записку равнодушно, пробежала ее глазами два раза, перевернула и сказала:

— Я вижу здесь мое имя, но не могу сказать, кто писал эту записку, и не понимаю, почему вы относите ее к вашей матери.

И украдкой взглянула на Никодима.

Никодим же как-то плохо расслышал ее: он захватил с собою в комнату свой серый цилиндр и все старался незаметно для госпожи N. N. поставить его так, чтобы она обратила на него внимание.

— Почему же? — повторила она свой вопрос.

Он вздрогнул, вспомнив, что нужно слушать, и сказал:

— Да я не знаю.

И снова слегка подвинул цилиндр.

Госпожа N. N. тогда ударила его по руке и раздраженно заметила:

— Нужно быть внимательным, если хотите спрашивать.

— Я эту записку нашел в бюро, в комнате моей матушки.

— Значит, вы рылись в письмах матери? Да ведь это же стыдно так делать!

Он действительно почувствовал стыд, но тотчас же нашел себе и оправдание.

— Моя мать пропала неизвестно куда, еще весной, — пояснил он.

— Пропала?

— Да, пропала.

Госпожа N. N. поднялась, приложила палец к губам, подумала и сказала:

— Обождите минут пять: я вернусь и, может быть, сумею быть вам полезной.

С этими словами она вышла. Но прошло не пять, а добрых пятнадцать минут, и она все не возвращалась.

Никодим встал и принялся ходить из угла в угол, затем надел цилиндр на голову и попытался выйти в другую комнату, все время думая: «Вот она сейчас вернется, и я скажу ей, что люблю ее». Ждать было очень тоскливо, и когда он проходил в другую комнату, то ему вдруг до боли захотелось видеть госпожу N. N. перед собою, здесь, не дожидаясь, немедленно. Но случилось совершенно непредвиденное несчастие.

Проходя дверями, Никодим зацепился цилиндром за косяк. Цилиндр заплясал на голове от удара, упал на пол и покатился в сторону, причем скрытая в нем пружина зазвенела мелодичным звоном.

Догнав и поймав цилиндр, Никодим увидел, что тот с одного боку сильно помялся; шмыгнув за сундук и ящики, стоявшие один на другом в конце коридора под окном, Никодим там принялся исправлять попорченное, но тщетно — ему это решительно не давалось. Он постоял за сундуками еще немного, выглядывая из-за них и думая, не заметил ли кто, как напрасно он старался, и потом уже без чувства прежнего очарования, а даже с неловкостью и отвращением к себе вернулся в гостиную и столкнулся там с госпожой N. N.

Она посмотрела очень иронически и сразу заметила, что цилиндр попорчен, но будто не могла понять — отчего это произошло, то есть сам ли он сломался или Никодим проломил его намеренно.

— Знаете, — сказала она, — я могу быть вам полезной: я разыскала кое-какие следы.

— Да! — удивленно переспросил он и подумал: «Нужно уйти».

— О вашей матери, наверное, знает господин Лобачев.

— Господин Лобачев?

— Да! Почему вы удивляетесь?

— Нет, я не удивляюсь. Но где же мне этого господина искать?

— В Петербурге.

— В Петербурге?

— Да, через адресный стол. Напишите запрос: Феоктист Селиверстович Лобачев, сердобский второй гильдии купец.

— Почему же господин Лобачев может знать что-то о моей матери?

— Ах, это долго объяснять. И, пожалуйста, слушайтесь, когда вам говорят.

Никодим сказал: «Благодарю вас», распрощался и живо выскользнул на крыльцо. На крыльце он помедлил, подставляя свое лицо сиявшему солнцу, потом спрыгнул на дорожку и быстро зашагал по направлению к станции. Его тень бежала сперва за ним, но затем выскочила вперед и протянулась впереди неестественно длинно, через лужи и неровности дорожки — особенно был смешон на тени глупый цилиндр.

— Ну и цилиндр! — сказал себе Никодим. — И где ты только достал такой? Шут гороховый, — выругался он вслед, сорвал цилиндр с головы, ударил его оземь так, что тот зазвенел и пришлепнулся в лепешку, хватил его еще несколько раз палкой, добавив: — Ну и лежи здесь! — и пошел дальше уже с непокрытой головой.

На станции он купил у сторожа шапку и через несколько часов поехал обратно.

В висках у него ныло от постукивания колес, и в лад с этим постукиванием все время вертелось на языке: «ведьма, ведьма, ведьма!»

Подъезжая к Вологде, Никодим надумал было вернуться в Исакогорку, но не нашел тогда в себе решимости исполнить это намерение.

ГЛАВА XIV
Феоктист Селиверстович Лобачев

Потом он вспомнил о десяти шкафах, задал себе вопрос: «А куда же они исчезли?» — и, приехав домой, прежде всего позвал лакея, когда-то привезшего их из Царского Села.

Но лакей мог только рассказать, что через день после того, как Никодима привезли с квартиры госпожи N. N. домой, утром часов в шесть на квартиру к нему явился господин, назвавшийся Лобачевым, забрал все шкафы и просил передать Никодиму благодарность за его любезность.

Адресный стол сообщил Никодиму, что сердобский второй гильдии купец Феоктист Селиверстович Лобачев проживает на одной из глухих улиц за Обводным каналом. Едучи к Лобачеву, Никодим старался нарисовать себе его наружность по его имени и роду занятий, как часто пробуют делать. Уже и раньше от своего друга, имевшего дела с Лобачевым, он слышал, что тот откуда-то с Волги, а теперь это вместе с добавлением «сердобский второй гильдии купец» создавало перед глазами грузное тело, благообразное лицо с темно-русою окладистою бородой, широкую руку, а ухо заранее слышало неспешный густой голос и степенную речь.

Но Никодим ошибся. Когда за Обводным каналом он разыскал нужную ему квартиру, дверь отворил человек роста выше среднего, худощавый, с сухим жилистым лицом бронзового цвета, горбоносый, с глазами черными, быстрыми, навыкате, испещренными по белку красными жилками; зубы у незнакомца были хищные, борода до неприятного черная, даже с синим отливом, но элегантно подстриженная; фигура же вся точно кошачья, ногти на крючковатых пальцах остроконечные и отполированные; серенький летний костюм увенчивался пестрым галстуком, заколотым булавкою с огромным бриллиантом; толстая золо-

тая цепь от часов болталась по животу. Человек этот, прежде чем Никодим успел что-либо сказать, отрекомендовался ему Феоктистом Селиверстовичем Лобачевым.

«По подложному паспорту живет человек», — подумал Никодим и бессознательно решил быть осторожнее.

Комнаты лобачевской квартиры были убраны незатейливо или, вернее, совсем не были убраны: сборная мебель раздражала глаз; повсюду валялся мусор, потолки были закоптевшие; посередине письменного стола, над грудой рассыпанных бумаг, красовались счеты; окурки и обгоревшие спички лежали не в пепельнице, а рядом с нею, прямо на зеленом сукне стола.

— Чем могу быть полезен? — спросил Лобачев Никодима, вводя его в комнату, и изо рта Лобачева вместе со словами раздался легкий свист (вероятно, уж так были устроены зубы)...

«Подожду спрашивать его о маме, — подумал Никодим, — а сначала поговорю с ним о чем-нибудь другом».

Лобачев Никодиму казался очень неприятным.

— Вам, полагаю, известно мое имя, — сказал Никодим, — я то самое лицо, которое когда-то привезло для вас из Царского Села десять шкафов с посылками.

— Ах, это вы! очень приятно, и позвольте еще раз поблагодарить вас. Хотя я уже велел вашему лакею передать вам мою благодарность, но думаю, что, лишний раз сказанная, она никому не повредит.

— Напротив: она прямо полезна мне тем, что позволяет задать вам один вопрос. Я не люблю ходить в темноте, и объясните вы, пожалуйста, почему мой друг, а ваш знакомый писал мне в записке только об одном шкафе и об одной посылке, а их оказалось десять и столько посылок.

— Не знаю, — ответил Феоктист Селиверстович, стараясь не свистеть, — я заявил вашему другу, что шкафов десять, и вовсе не навязывал их ему. Это было в его интересах — отправить посылки скорее, и он сам вызвался послать их по назначению.

— Так, — протянул Никодим с некоторым разочарованием, — значит, в ящиках были только образцы товаров?

— А чего же вы хотели бы в них? Частей распотрошенных младенцев, мужей и жен, что ли?

— К чему вы говорите такое, Феоктист Селиверстович? Вы же можете извинить мое любопытство, раз оно касается близкого моего друга. Меня больше интересует, какие это были товары.

— Любопытство — дело святое. А мы — по человеческому нашему призванию — торгуем помаленьку, и притом товарами разными.

— Ну а все-таки чем? У меня, Феоктист Селиверстович, есть неплохонькое именьице, и, быть может, в малости какой я тоже пригодился бы вам в ваших торговых делах?

Вопрос был предложен явно насмешливо, и Лобачев поглядел на Никодима свысока и презрительно — будто поняв, что Никодим говорит совсем не о том, зачем пришел.

— Какая может быть от вас польза, молодой человек, — не знаю, — ответил он, — а торгуем мы льном, табаком, пенькою и чем Бог пошлет торгуем. Всякий товар прибыль дает.

Тут разговор их вынужденно прервался, так как из соседней комнаты вышел, по-видимому, сидевший там до того высокий молодой человек. Он даже не вошел — такое определение было бы неправильно совсем, — а надменно внес свою

красивую белокурую голову. Раскланявшись с Никодимом, вошедший сел на стул, но ноги господина были столь длинны, что стул под ним казался неудобно малым. Никодим усмехнулся этому и в то же время подумал: как вновь вошедший господин мог оказаться здесь, по-видимому, хорошо знакомым с Лобачевым и даже на короткой с ним ноге? Никодиму казалось, что он понял Лобачева вполне, — впечатление получалось отрицательное — много думающий о себе человек, не останавливающийся ни перед чем, чтобы только заработать деньгу, но не умный, а только хитрый человек. Вошедшего белокурого господина Никодим знал: это был англичанин (а может быть, и не англичанин), по имени Арчибальд Уокер: они встречались года два тому назад довольно часто на разных jour-fixe'ах.

«Чего здесь сидеть, — решил вдруг Никодим, — перейдем прямо к делу, а потом можно и ретироваться от этих подозрительных людей», — и, вынимая тут же из кармана заранее приготовленную записку господина W, Никодим сказал Лобачеву:

— Феоктист Селиверстович, я направлен к вам госпожою N. N. по интересующему меня делу.

При имени госпожи N. N. Уокер насторожился, и Никодим это заметил. Лобачев на миг обернулся к Уокеру и, видимо что-то сообразив, ответил вопросительно:

— Да?

— Госпожа N. N. сказала мне, что вам известно почти наверное, где сейчас находится моя мать.

— Госпожа N. N. мне действительно очень хорошо известна, но вашей матушки я не имею чести знать. И почему же вы, прежде чем направиться ко мне, не спросили госпожу N. N., на каком основании она считает, что мне что-то известно о вашей матери? И разве ваша матушка куда пропала, что ее приходится разыскивать?

— Да, пропала. А госпожу N. N. я спрашивал о том, о чем спрашиваете вы меня. Но она не пожелала пояснить мне это.

— Так будьте же любезны посетить ее опять и переспросить. Удивительны эти женщины — всегда болтают что только им придет в голову.

Никодим засмеялся.

— Легкое дело, — сказал он, — госпожа N. N. живет где-то под Архангельском, в Исакогорке, что ли. Съездить к ней не так просто — не то что проехаться на Надеждинскую.

— В Исакогорке? — переспросил Лобачев. — Да не может быть, она живет на Пушкинской улице: жила на Надеждинской, а переехала на Пушкинскую.

— Вы, должно быть, меня за дурака считаете, — обиделся Никодим, — я только что вернулся от нее из Исакогорки и знаю, где госпожа N. N., а вот это извольте прочесть.

И он протянул Лобачеву записку господина W. Лобачев взял ее, развернул, прочел и сказал:

— Да я ее уж, пожалуй, с месяц не видел и, право, точно не могу сказать, где она, может быть, и в Исакогорке.

А записку господина W протянул Уокеру со словами:

— Что вы скажете?

Тот прочел ее, но не сказал ни слова.

Разговор возобновил Феоктист Селиверстович:

— Ничегошеньки я не знаю. А есть здесь, в Петербурге, старичок один, Яков Савельич...

— Якова Савельича я знаю, — прервал Никодим.

— Тем лучше. Так вот он, пожалуй, может вам сказать о вашей матушке что-нибудь. Ему всякие дела известны.

— Да вы-то откуда знаете Якова Савельича?

— Отчего же мне не знать? Якова Савельича все знают. К нему и обратитесь. Да будьте еще любезны объяснить мне, как это у себя приняла вас госпожа N. N.?

— Позвольте, — сказал Никодим, приподнимаясь с кресла, — какое же вам до этого дело?

— Да нет, вы меня не поняли. За ревнивого любовника, прошу вас, меня не принимайте. Вы вот меня о шкафах спрашивали — так это было совсем неинтересно, а госпожа N. N. куда интереснее, и стоит о ней поговорить. Только будучи человеком в женских делах весьма опытным, предупреждаю вас: вы ей не доверяйтесь.

— Позвольте, — еще раз возразил Никодим, — я считаю такой разговор совершенно неуместным.

Но Феоктист Селиверстович был глух. С кривой усмешкой и прежним свистом он продолжал, не внимая Никодиму:

— И напрасно кипятитесь. Отчего же не поговорить. Она дама обольстительная во всех отношениях, и с такими особами иметь дело всегда бывает приятно. Только вы, к сожалению, как я вас понимаю, немного зазнавшийся молодой человек. И не пришлось бы вам поэтому самому плакать. Знаете ли, за такими особочками мужчины всегда вьются — а вдруг да вы в чужой огород полезли и у вас найдется соперник подостойнее, например, меня многогрешного? А?

— Прошу прекратить этот бессмысленный разговор! — сказал Никодим в третий раз и уже резко.

— Подостойнее, подостойнее, — продолжал Лобачев, все еще не слушая Никодима.

Но в разговор вмешался Уокер. Голос его прозвучал ровно, повелительно и как бы из некоторого далека:

— Я тоже прошу прекратить этот разговор, так как со своей стороны не могу допустить, чтобы кто-либо выражался о госпоже N. N. неподобающе.

Все трое обменялись взглядами. Лобачев взглянул на Уокера сперва немного виновато, но затем презрительно и высокомерно; Никодим поглядел на Уокера благодарно, но встретился с глазами, полными такой злобы, что не мог не заметить ее, и растерялся: он не сразу понял, почему Уокер зол на него. Но через минуту, когда уже все трое перестали смотреть друг на друга, — он вспомнил, что имя госпожи N. N. приходилось ему слышать и два года назад, причем произносилось оно обыкновенно в неразрывной связи с именем Арчибальда Уокера.

— Ах, вот что! — сказал себе Никодим и решительно поднялся с кресла. Оставаться долее в квартире Лобачева он не мог.

ГЛАВА XV
Потеря записки. — Какая была фабрика

Раскланявшись с Лобачевым и Уокером, но не подав руки ни тому, ни другому, Никодим вышел на улицу и тотчас же поехал к Якову Савельичу. Он, однако, не думал, что Яков Савельич может знать что-либо об Евгении Александровне, как уверял Лобачев, — даже напротив: Никодиму казалось, что Лобачев

советовал обратиться к Якову Савельичу только затем, чтобы прекратить разговор.

Доехав до знакомого угла на Крестовском острове, Никодим спрыгнул с конки и бегом направился к особняку Якова Савельича. У калитки его встретил Вавила и, не здороваясь, сказал Никодиму:

— А Яков Савельича дома нету. — В голосе Вавилы звучало нескрываемое торжество.

— А где же Яков Савельич?

— За границу уехали.

— За границу?

— Так точно — за границу. В Австралию, сказывали. И где эта Австралия — Бог ее знает.

— В Австралию, — повторил Никодим, повернулся и пошел прочь.

С Крестовского острова он поехал домой, думая по дороге: «И к чему все эти похождения и обходы: просто нужно съездить опять в имение, порыться в маминых письмах, и тогда, никого не спрашивая, найдешь следы», — и вдруг вспомнил, что записку господина W он оставил в руках Уокера.

Побледнев сперва от этой мысли, он тут же, на ближайшей остановке, выбежал из вагона, пересел в другой и направился опять к Лобачеву.

Запыхавшись, вбежал он в квартиру Лобачева, как только успел отворить ему заспанный лобачевский слуга. Лобачев сидел за письменным столом над бумагами, занятый делом, и, оборотив голову, с удивлением взглянул на Никодима.

— Феоктист Селиверстович, — сказал Никодим, задыхаясь, — вы не можете ли мне сказать, где сейчас господин Уокер.

— Не знаю.

— Он мне нужен.

— Так что же?

— Где он живет? Или, может быть, он куда уехал?

— Не знаю. Какое мне дело до того, где живут и куда ездят разные...

— Позвольте. Господина Уокера я видел здесь у вас сегодня, как вашего друга.

— Да что вам, собственно, нужно?

— Записку мою я оставил в руках у господина Уокера.

— Ту самую, которую дали мне и которую я ему передал?

— Да, ту самую.

— Напрасно дали. То есть напрасно оставили, хочу я сказать, — дал-то ему я... Нет, голубчик, ничего не могу сказать. Как сами знаете. Поищите его — не иголка, пропасть не может.

И Лобачев протянул руку, чтобы проститься.

Очутившись опять на улице, Никодим вышел к Обводному каналу и пошел вдоль его, не думая, куда идет. Набежала туча, и осенний дождь — пронизывающий, неприятный — напомнил Никодиму о действительности. Оглянувшись, Никодим увидел, что находится в местности уже за Балтийским вокзалом. Повернув сейчас же, он взял извозчика и направился на Николаевский вокзал, чтобы ехать домой в имение.

Купив билет, он в ожидании поезда прохаживался по темному помещению вокзала и на одном из поворотов заметил в уголку знакомую фигуру: в сером пальто, с поднятым воротником, держа руки в карманах и нахлобучив на глаза шляпу, с палкой под мышкой, стоял Уокер.

Не помня себя от радости, Никодим бросился к нему.

— Господин Уокер, — сказал он, — как я рад этой случайной встрече. Ради Бога, отдайте мне ту записку, что я сегодня давал прочесть господину Лобачеву и которую он передал вам.

Уокер всей фигуры к Никодиму не повернул, а, скривив в его сторону только свою голову и глядя на Никодима сверху вниз, молчал.

Никодима это обозлило.

— Если вы не умеете стоять вежливо, — сказал он, — то, по крайней мере, хоть отвечали бы.

— Не волнуйтесь. Записки у меня нет: я передал ее господину Лобачеву с просьбой возвратить вам.

— Что вы говорите: я сейчас только от господина Лобачева, и он мне сказал, что записка осталась у вас.

Уокер помолчал.

— Как хотите, — произнес он, — можете мне и не верить. Но судите беспристрастно: если поставить рядом меня и господина Лобачева — кому из нас можно будет оказать больше доверия?

— Так поедемте сейчас вместе к Лобачеву.

— Сейчас я не могу: я уже взял билет на ближайший московский поезд. Вернусь я через несколько дней и тогда буду к вашим услугам.

— Хорошо. А где же я вас найду?

— У господина Лобачева. Там всегда меня можно найти.

«Ну, как хочешь, — подумал Никодим, — а я все-таки поеду домой и посмотрю еще письма мамы, — быть может, найду что и поценнее, а в записке имя мамы ведь вовсе не упоминается; все равно, если бы ты стал ее показывать кому-либо — никто тебе не поверит, что это писано к маме».

И, поклонившись, отошел в сторону.

По рассеянности Никодим вышел двумя станциями раньше, чем следовало. Удлинило бы это путь всего часа на три, если бы Никодим сразу нашел лошадей. Но ему пришлось искать долго: все отказывались ехать, ссылаясь на работу и плохую осеннюю погоду. Только перед самыми сумерками удалось тронуться.

Первое время возница молчал и посвистывал. Потом вдруг, обернувшись, спросил:

— А не ехать ли нам, барин, через Селиверстовщину?

— Я, братец, дорог здешних не знаю, — ответил Никодим, — где хочешь поезжай, лишь бы дорога была поглаже.

— Нонеча какие дороги. Ишь размякло. А я к тому, барин, что с утра ничего еще не ел. Так у меня кум в Селиверстовщине — к нему и заехать: поесть чего-нибудь. Да и выпить у него всегда можно.

О Селиверстовщине Никодим слыхал: эта была очень длинная и грязная фабричная слобода, верстах в десяти или двенадцати от его имения. Фабрика, к которой он когда-то ночью ходил за чудовищами, находилась на полупути между слободой и имениями, и жители слободы работали именно на этой фабрике, но ни в слободе, ни на фабрике Никодиму не доводилось бывать.

Понял ли возница молчание Никодима как согласие ехать через Селиверстовщину, но через два часа пути они въехали в слободу. В полутьме, при слабом свете редко расставленных фонарей и огоньков, мелькавших в окнах, прошмыгивали то с одной стороны тарантаса, то с другой неопределенные тени — иногда человек вырастал рядом с тарантасом и с любопытством глядел на Никодима несколько мгновений, стараясь идти вровень с лошадью. Никодим все отворачивался от таких: казались они грязными, неумытыми, от них пахло и спиртом,

и потом, физиономии их были грубы — и мужские и женские одинаково, — точно их кто топором вырубал, и движения тяжеловесны и угловаты. Грубая, но не громкая, а скорее ворчливая ругань слышалась в полутьме из-под навесов и от колодцев, где звенели цепями журавли.

Чувство неопределенной жути стало забираться в душу Никодима, когда они остановились у одного из крылец.

Хозяин встретил гостей с фонарем. Он тоже не возбудил доверия в Никодиме, так как ничем не отличался от других обитателей слободы: грубая, грузная фигура, лицо со следами сажи на лбу и на щеках, непричесанные волосы, медная серьга в толстом ухе, рваная и грязная одежда, тот же запах спирта и, главное, провалившийся нос — все отталкивало в нем.

Пока возница что-то ел и пил водку, Никодим сидел на лавке в углу, отказавшись от угощения, и оглядывался по сторонам. Изба, как и обитатели ее, была очень грязна и неприветлива: несколько раз на Никодима набегал из угла любопытный таракан и, шевеля усами, подолгу смотрел на незнакомого гостя.

— Вы на фабрике служите? — спросил Никодим от скуки проходившего мимо хозяина.

Тот остановился и сказал:

— Так точно, у Феоктиста Селиверстовича Лобачева.

Никодима как громом поразило. Он даже привстал.

— Разве эта фабрика Лобачеву принадлежит?

— Так точно, Лобачеву. Мы по дереву работаем.

Никодим не захотел расспрашивать далее.

— Поедем-ка отсюда поскорее, — шепнул он вознице, улучив удобный случай.

Тот подтянул кушак и заявил, что пора ехать. Хозяин проводил их на крыльцо опять с фонарем и опять молча.

Когда они уже выехали за околицу и Никодим облегченно вздохнул, возница засмеялся:

— А нос-то у кума того... подгулял. И поделом. Все от веселой жизни, барин.

— Скажи ты мне вот что, — обратился Никодим к вознице, — кто такой этот самый Лобачев?

— А Бог его знает. Он здесь, кажись, давно не бывал. Сказывают, что не русский, а англичанин он.

— Послушай, как же это может быть — Лобачев и вдруг англичанин? Ведь фамилия-то русская.

— Вот подишь ты. Сказывают.

— А кто же фабрикой управляет?

— Арап какой-то управляющим.

— Настоящий арап?

— Нет, не настоящий, а так его называют. Он тоже редко здесь бывает — больше в Питере живет.

— Гм. А что же на этой фабрике делают?

— А черт их знает, что делают, — не к ночи будь сказано. Людей делают.

— Что ты говоришь. Виданное ли это дело?

— А взаправду, барин. Руки, ноги, головы, туловища делают из дерева, что ли. Не то из камня, а может, и из железа — я не знаю.

— Да, наверное, руки и ноги искусственные. Для уродов и калек?

— Какое там для уродов! За границу отправляют — вот что. И животных всяких делают. И коров. И еще делают такое — что и сказать-то не при всяком вслух скажешь. Разве к кому уважения у тебя нет.

И, наклонившись к уху Никодима, он что-то зашептал ему. Никодим не сразу понял, но когда понял, то удивился еще больше, только не стал расспрашивать. Молча проехали они остаток дороги.

Прощаясь с возницей, Никодим все-таки сказал ему:

— А подозрительные люди эти ваши слободские, и твой кум тоже.

— Да, у кума нос того... подгулял. Даром этого не случается. Ну, прощайте, барин. Покорно благодарим, — ответил возница и, нахлобучив шапку, принялся настегивать лошадь, как будто желая скорее скрыться с Никодимовых глаз.

Глава XVI
Столкновение у камня

Отпустив встретивших его слуг, Никодим остался один. Он обошел и осмотрел все комнаты дома, кроме черной залы и комнаты Евгении Александровны, а ночью, в одиннадцать часов, вышел к калитке посмотреть, не пройдут ли чудовища. Но они не показались.

Утром старый его дядька и когда-то камердинер покойного дедушки Онуфрия Никодимовича, бывший крепостной Павел Ерофеич, брея Никодима перед кофе, сказал:

— Не настоящею жизнью нынче живут господа. В бывалые-то годы, как барин куда поедет, так и собственного слугу берет с собою. За границу ли, в Москву там или в Питер — все равно. Тот его и выбреет, и вымоет, и одежду в порядке содержит, а нынче что?

— Значит, ты, Ерофеич, со мной вместе чудить хочешь? — спросил Никодим.

— Зачем чудить? Вы барин степенный. Маменьке-то в радость такие дети.

— А если барин влюбится — по-твоему, что тогда верный слуга должен делать?

— А вы разве влюбились, Никодим Михайлович?

— Да, влюбился.

— Ну вот, коли влюбились, так честным пирком да за свадебку.

— Ловко выдумал старик. Да как на ней женишься, если она уже замужем?

— Замужем? — (Тут лицо Ерофеича вытянулось и выразило определенно полное разочарование.) — Уж коли в чужемужнюю жену влюбились, так об этом, барин, не говорят. Молчать надо... Там как хотите: я вам не судья, а на людей выносить не полагается.

— А если она не чужемужняя жена, а так просто... ну, любовница, на содержании... что ли?

— Вот еще скажете, барин. Такая-то уж и вовсе в жены не годится — сегодня она с одним, завтра с другим. Будто настоящих барышень нет. Да и в роду у нас такого не водилось — Бог миловал.

— Нет, Ерофеич, она замужняя... А, послушай, ты не знаешь ли чего-нибудь о Лобачеве, Феоктисте Селиверстовиче?

— Господина Лобачева как не знать. Еще когда вы в гимназии были, они к вашему батюшке частенько наезжали по разным делам.

— К нам? сюда? сам Лобачев?

— Да недолго они заезжали — с полгодика.

— Послушай, так папа его должен знать?

— Разумеется, должны.

— А кто он такой — этот Лобачев?

— Да из себя видный такой. Только сомнительный человек. Говорили про них разное. Мало ли что говорят.

— Федосей из Бобылевки, что меня сюда привез, сказывал мне, что он не русский, а англичанин.

— Бобылевские-то его лучше знают, а здесь кто же его видал. Лет одиннадцать назад было — все поди забыли.

— А на фабрике у него ты бывал?

— Нет, не довелось. Да какая это фабрика — темное дело.

— Почему темное?

— Работают, можно сказать, большие тыщи народу, а что делают, неизвестно.

— Людей делают, мне Федосей говорил.

— И за границу отправляют, сказывали. Оттого-то у басурмана такая сила народу нынче и пошла. И чего наш царь смотрит?

— Заговорился, Ерофеич. Я-то с тобою как с путным, а ты ахинею понес. Разве можно людей делать на фабрике?

— Отчего нельзя? Хитрый человек все может. Впрочем, вам виднее. Мы люди темные. За что купил, по том и продаю.

— А что же еще про Лобачева говорили?

— Да так... разное.

Никодим поглядел на старика. Тому, видимо, и хотелось что-то сказать, но уж никак он не мог решиться и даже бровь почесал.

— Ну что же? Рассказывай.

— Да нет... лучше увольте... до другого раза...

— Тебе, может быть, обидно, что я над тобою посмеялся?

— Какое обидно, ничего не обидно... да не все говорить можно.

— Ну как хочешь.

— Увольте уж... до другого раза... Я старуху свою спрошу.

— А разве это так важно, что ты хочешь мне сказать.

— Не спрашивайте, барин. У меня от вас утайки нет, а не могу.

— Ну хорошо.

Разговор на том и кончился, но для Никодима прибавился еще один вопрос: зачем здесь бывал Лобачев одиннадцать лет назад и почему отец ничего о нем не сказал Никодиму, хотя и знал, что Никодим ездил к нему?

И еще никак не мог примириться Никодим с мыслью, что между Лобачевым и Уокером, с одной стороны, и госпожою N. N. — с другой, существует тайный союз, направленный, между прочим, и против него — Никодима, а мысль эта все время не оставляла его.

Днем он наконец решился опять войти в комнату матери, уже раскрыл бюро и принялся выдвигать ящики, как вспомнил, что ему говорили об этом не только госпожа N. N., но даже Лобачев. Чувство стыда кольнуло его душу; однако признаться себе, что он не в состоянии пересмотреть содержимое ящиков, Никодим не мог. Он совсем неопределенно, как иногда бывает, не словами, а чувством подумал: «Подожду еще, оттяну немного времени» — и, захлопнув бюро, вышел в столовую.

В столовой он просидел почти все три следующих дня перед широким окном, смотря на запад. Дни и вечера ранней осени были ясные, приветливые; солнце совсем чисто садилось каждый раз, золотило небурное озеро, стволы трех одиноких сосен, росших на берегу, против окна, и мебель, и бледные руки Никодима, исхудавшие за время долгого лежания в постели и от волнений и тревог.

Проснувшись утром на другой день после разговора с Ерофеичем, Никодим ощутил в себе неизъяснимое разделение: будто двое в нем переглядывались между собою и один лежал в постели, а другой был где-то под потолком и так хорошо понимал все, что делалось с тем, который оставался внизу. Чувство это длилось недолго — Никодим вскочил весьма возбужденный и поспешил умыться холодной водой.

До вечера он почти ничего не думал, только щемящее чувство беспомощности и бессилия что-то нужное сделать, как-либо выбраться из создавшегося ложного положения — томило и угнетало его. Вечером он опять почувствовал свое разделение: словно кто вышел из него и сел напротив в кресло, у другого окна столовой.

— Знаешь, — сказал Никодим, — нужно нам поговорить с тобою откровенно: если ты являешься самовольно — ты должен знать больше меня.

Собеседник молчал.

— И говорить должен ты, а не я, — продолжал Никодим, — я буду слушать.

— Если так — изволь, — глухо и неопределенно ответил другой.

— Я жду.

Некоторое время прошло в томительном молчании. Наконец другой заговорил:

— Свою мать ты не любишь. Ты постоянно путаешься, не зная, о ком думать: о ней или о госпоже N. N.

— Да.

— Это происходит потому, что ты любишь госпожу N. N.

— Ну разумеется. Иначе зачем я стал бы думать о ней.

— Да, но любить мать и госпожу N. N. одновременно — невозможно. Ты еще не знаешь госпожи N. N., но ты должен ее чувствовать. Она спросит так много, что ты не в силах будешь дать ей. И разве ты не догадываешься, что жизнь госпожи N. N. в чем-то сталкивается с жизнью твоей матери?

— Конечно, догадываюсь.

— Отчего же ты об этом не подумал?

— Во всяком случае, не думаю, чтобы столкновение было на романической почве. Правда, что-то есть темное — это темное нетрудно усмотреть из потерянной мною записки господина W, и, будь эта записка у меня под руками, — мы могли бы в ней поразобраться. Ведь не думать же мне, что мама и госпожа N. N. влюблены в одно лицо... в Уокера, например... или в Лобачева... ха-ха-ха!

Никодим громко рассмеялся.

Ерофеич заглянул в дверь.

— С кем это вы, барин, разговариваете, или мне попритчилось? — спросил он.

— Попритчилось, попритчилось, Ерофеич, — ответил Никодим, а может, и нет — всякие бывают гости.

— Упаси Бог от нечистой силы — как облюбует какое местечко, не скоро выведешь — ни крестом, ни пестом. Вот тоже по весне, как барыне уехать, — что за нечисть тут шаталась?

— А ты видел?

— Ну, нечисть — не нечисть, господин Раух объясняли потом, что просто тут лобачевские фабричные пошаливали — кто их разберет.

— А те, монахи-то, больше не показывались?

— Что вы, барин! Да я бы сбежал.

Старик опять не на шутку перепугался.

— Ну иди пока к себе, — попросил его Никодим и, когда старик ушел, вновь обратился к прежнему собеседнику: — Извини, нам помешали закончить разго-

вор. Даже и самые хорошие слуги не умеют быть достаточно воспитанными. И на чем мы остановились? Я забыл.

— На столкновении Евгении Александровны и госпожи N. N.

— Да, это нелепо. И трагедия моя в том заключается, что я не знаю, собственно, не только куда, но и почему могла исчезнуть моя мать.

— Трагедия. Стоит ли так значительно выражаться?

— А что же по-твоему?

— А так... скандальная история, как и определила Евлалия.

— Ну да, вообще-то скандальная история, но для меня лично — трагедия.

— Поухаживай за госпожою N. N. — пройдет. Займись. Право, стоит: она дама обольстительная во всех отношениях, как сказал Лобачев.

— Довольно. А то я буду просить тебя, как и господина Лобачева, прекратить этот бессмысленный разговор.

— Я не господин Лобачев, и тебе долго придется просить меня.

— Нет, не долго. Довольно!

Никодим встал, вышел из столовой, хлопнув дверью, и очутился на улице. Солнце было уже у самого горизонта — озеро чуть слышно плескалось. Никодим пошел к берегу.

Узкая тропинка вела к плоскому большому камню; около камня рос молодой ракитовый куст и стояла скамья. Сквозь полуоблетевшие ветви ракиты, рядом со скамьей, на тропинке виднелась высокая человеческая фигура. «Арчибальд Уокер», — узнал Никодим сразу.

И, узнав, пошел прямо на него: он помнил, что тропинка очень узка, что разойтись на ней невозможно, и думал — отступит Уокер с дороги или нет.

Уокер стоял неподвижно; на нем была охотничья шляпа с пером; теплая куртка и лакированные ботфорты; руки он заложил в карманы рейтуз (он эту вольность позволял себе редко — разве что в лесу).

Уокер не отступил, и Никодим столкнулся с ним вплотную, но, право, Никодим вовсе не хотел с ним встречаться.

Молча смерил Уокер Никодима после столкновения взглядом от головы до ног. Никодим ответил тем же. Но Никодим злился, а Уокер был спокоен совершенно.

Уокер поклонился первый, повернулся и пошел. Никодим — рядом с ним — все молча. Им не о чем было говорить. Никодим прекрасно понимал, что Уокер чувствует в нем соперника, и размышлял: «Сэр Уокер весьма счастлив тем, что может много о себе думать; я, напротив, глубоко несчастен потому, что думаю о себе крайне пренебрежительно».

Но в душе Никодим смеялся.

Так дошли они до большой груды камней на берегу, повернули обратно и пришли опять к скамье у ракитового куста. Раскланялись и разошлись.

Дома Никодим спросил Ерофеича:

— Что за долговязый здесь по берегу шатается?

— А это лобачевский управляющий.

— Арап?

— Ну да — сам-то Лобачев англичанин, а управляющий у него арап.

— Шутишь, старина.

— Шучу, шучу, Никодим Михайлович. Надо же на старости лет дурачка поломать.

— То-то. Будто я не вижу — какой арап.

ГЛАВА XVII
Принципиально злой человек

На другое утро Никодим проснулся с мыслью: «Как по-мальчишески вел я себя вчера. Вместо того чтобы спросить Уокера, зачем он здесь, и разузнать что-нибудь о Лобачеве, я устроил это столкновение. Фу!»

И, позвав Ерофеича, стал ему жаловаться на самого себя. Ерофеич, однако, посмотрел совсем иначе:

— Толкнули — и хорошо сделали: так ему, нечестивцу, и надо, — сказал старик.

— Да почему же нечестивцу? — удивился Никодим.

— Молоды вы еще, Никодим Михайлович; людей не различаете: кто из них есть добрый человек, а кто черта прислужник.

— И как это тебе, Ерофеич, не надоело с нечистью возиться? — постоянно она у тебя на уме. Ты лучше сделай мне одолжение — узнай, часто ли здесь бывает лобачевский управляющий и что он тут делает?

— И узнавать ходить не надо: сам знаю.

— Что же ты не сказал мне об этом раньше?

— Не изволили спрашивать, Никодим Михайлович. Да и полагал я, что вам через батюшку известно: ведь батюшка тоже с давних пор...

— Что с давних пор?

— То... убрать отсюда этого арапа хотели...

— Убрать? отсюда? — переспросил Никодим. — Послушай, Ерофеич, что ты хочешь сказать?

Старик взглянул искоса, потом, приподнявшись на цыпочки, спросил шепотом:

— А старому барину не скажете?

— Нет, не скажу.

— И барыне?

— Тоже не скажу.

— Ну вот. Чтоб не нагорело мне старому... около барыни все этот долговязый увивался, — Бог знает зачем — а только увивался.

— Что ты говоришь, Ерофеич! — возмущенно воскликнул Никодим. — Экой старый болтун! Иди к себе.

— Да я что же? — стал оправдываться старик. — Я ничего. Я ведь только про долговязого. Я про барыню не то что сам дурного не скажу — другому полсловечка не дам вымолвить.

— Ах, замолчи! Только этого еще недоставало, чтоб ты болтал: сегодня скажешь одно, завтра другое, а там, глядишь, уже пошла гулять сплетня. Иди!

Походив по комнате минут десять в большом раздражении, он все же опять позвонил Ерофеичу.

Старик явился не сразу, а когда вошел — робко стал у притолоки.

— Бывал здесь лобачевский управляющий раньше? — спросил его Никодим строго.

— Так точно, бывали, — ответил тот.

— А когда же он здесь бывал?

— Лет десять уж назад. С господином Лобачевым вместе.

— Сколько же ему лет? Ведь он совсем молодым выглядит.

— Никак нет — ему уж за тридцать.

— Что же тебе говорил отец о нем?

— Ничего не изволили говорить.

— Так откуда же ты взял всю эту чушь?

Старик молчал.

— Сам сообразил?

— Так точно: сам сообразил.

— Ну и сообразил. Иди теперь к себе и думай побольше. Но прежде скажи мне, как зовут лобачевского управляющего?

Старик мялся и молчал.

— Ну что же, запамятовал?

— Так точно: запамятовал. Мудрено очень, не по-русски.

— Даже и не знаешь, а тоже говоришь. Иди.

Старик опять ушел очень огорченный, но Никодиму стало немного стыдно, что он так обошелся с ним. «Впрочем, — утешил он себя, — как бы иначе я должен был поступить?»

Выйдя через полчаса из дому, Никодим распорядился оседлать для себя лошадь и поехал на лобачевскую фабрику. До нее было совсем недалеко. Стояла она на сырой луговине, недавно очищенной от леса: здесь и там торчали сосновые и березовые пни — одни уже засохшие, другие еще выпускающие каждую весну молодые побеги; обрубленные когда-то сучья догнивали в поблекшей осенней траве, высокой и густой, и по ним, цепляясь, перевивалась вика и чернела жесткими сухими стручками.

Фабрика состояла из нескольких высоких кирпичных корпусов, прямых, неоштукатуренных, с большими закоптевшими окнами; около корпусов ютились почерневшие избушки с крытыми переходами, погребами, навесами; все это было обнесено дощатым забором выше человеческого роста, и только через одни ворота можно было попасть внутрь. Но ворота были заперты, и на лавочке у калитки сидел сторож.

Подъехав к нему, Никодим спросил, находится ли здесь сейчас господин Уокер. Сторож не понял вопроса. Тогда Никодим спросил иначе:

— Нельзя ли повидать управляющего?

— Да их уж нету, — ответил сторож.

— Уехали уже?

— Уехали. Так точно.

— А когда опять будет, неизвестно?

— Неизвестно.

— Но фабрику можно осмотреть?

— Не приказано показывать. Обратитесь к управляющему.

— Я не знаю, где он живет.

— Нам тоже неизвестно...

Никодим повернул лошадь, взял с разбегу две канавы и, выехав на дорогу, быстро доскакал домой.

Он сел в столовой опять у окна и попытался вызвать вчерашнего своего собеседника. Сначала это не удавалось, но когда он почувствовал уже знакомое разделение — даже обрадовался.

— Вот так всегда, — сказал ему Никодим, — сердишься, бегаешь, спрашиваешь, бранишься, и все ни к чему.

— А ты попробуй не сердиться.

— Знаю. Затем ты скажешь — попробуй не бегать, попробуй не спрашивать и так далее и так далее.

— Нет, зачем же? Я никогда не пускаюсь в крайности. Из-за чего ты сердишься?

— Как из-за чего? Из-за мамы.
— Не верю.
— Послушай.
— И вовсе не из-за мамы, а из-за госпожи N. N.
— Вот выдумал. Откуда ты взял это?
— Очень просто: ты забыл маму.
— Извини, я обозлился из-за того, что Ерофеич стал говорить глупости о маме.
— Да, так. Но ты ведь и сразу не признал слов Ерофеича за достоверное, — чего же было злиться?
— Да я уже не злюсь. Но не упрекай меня госпожою N. N.
— И не думаю тебя упрекать ею. Я упрекаю тебя за то, что ты забыл маму и пустился в какие-то приключения.
— Маму я не забывал. Кто станет сомневаться в том, что она действительно мне мать? Было бы ведь глупо. А если это непреложно и действительно непреложно, тогда все, что бы я ни делал, что бы ни думал, — только через нее и для нее, — безразлично, помню я о ней или нет. Она живет во мне, как и я живу в ней. А о каких ты приключениях говоришь, что будто я в них пускался, — я не понимаю. Уж не то ли, что я ездил к Лобачеву или в Исакогорку к госпоже N. N.? На Надеждинскую я попал совершенно случайно — из-за десяти шкафов, а в Исакогорку ездил, чтобы узнать адрес мамы.
— Так, так...
— Да, так... Я еще ездил и к Якову Савельичу, но чтобы попросить у него совета и содействия. Яков Савельич добрый человек и всегда относился ко мне по-хорошему.
— Вот уж добрый: для него вся твоя история представляет не больше интереса, чем для любителя какая-нибудь табакерка с музыкой. Я вижу, ты опять волнуешься. Ну, ну! успокойся: о неразделимости ты очень хорошо рассудил — нет слов, но вот когда ты поехал на Надеждинскую, зачем же тебе нужно было хватать госпожу N. N. за руки?
Уязвленный последним вопросом, Никодим ничего не ответил.
— Не знаешь? — ядовито спросил собеседник. — Думаешь, что злишься на Ерофеича из-за мамы, но когда Ерофеич вошел к тебе — ты уже был зол. И все из-за госпожи N. N., то есть из-за того, что до сего времени ты не признался ей в любви.
— Не только из-за этого.
— Да, не только, но и потому еще, что и не можешь признаться ей в любви.
— А почему? Как ты думаешь?
— Вот вопрос!
— Я тебе могу сказать, если хочешь: я не знаю, любит ли она меня.
— И вовсе не потому: тебе мешают Лобачев и Уокер.
— Как мешают?
— Тебе все кажется, что они неотделимы от нее.
— Ну да, мне ясно... что госпожа N. N.... что же ты думаешь, так просто это... вот ведь дощечки-то на Надеждинской были прибиты рядом...
— Какие дощечки?
— Будто не знаешь: на дверях, именные... А разве об Уокере я не слышал раньше?
— Ах так! Ну, словом, то самое, о чем и я говорю: ты боишься, что госпожа N. N. кого-то уже любит.
— Да, да. Любит... Иди вон!
— Ха-ха-ха. Куда же?
— Куда хочешь.

— Я буду продолжать разговор, не затрагивая больных мест... Гадкий ты человек — своей любви не веришь. Самолюбивый ты человек — а хочешь быть добрым.

— Откуда ты взял, что я хочу быть добрым?

— Насквозь тебя вижу: к примеру, Ерофеича за сплетни выбранишь — и тут же расчувствуешься: ах, зачем я такой... злой.

— Пожалуйста, не навязывай мне доброты. Вот я возьму и убью обоих: Уокера и Лобачева. Пусть они не думают, что могут стать мне на дороге. Ты меня трусом сегодня обозвал — это они трусы, а не я. Они убить не посмеют.

— Не горячись. И давай сойдемся на том, что хотя дела твои и добры, но в глубине души ты ими недоволен — дух твой горд и зол.

— Да, я принципиально злой человек.

— Ты хорошо сказал. Но, к сожалению, эта принципиальность, будучи в постоянном разногласии с действительностью, только вредит тебе. Я охотно верю, что ты способен отправить на тот свет Лобачева и Уокера... а госпожу N. N. вымыть — в спирту. Но знаешь ли, о чем я еще сейчас догадываюсь: ты вот в глубине души держишь несколько совсем особенных слов — они-то и заставили тебя сказать: пойду и убью...

— Какие же это слова?

— Три слова всего: человека убить просто.

— Ты угадал.

— Еще бы не угадать. Но здесь-то и кроется твоя ошибка: человека убить не легко.

— Почему?

— Конечно, законы нравственности тут ни при чем; страх ответственности для тебя только привлекателен. Но кровь не простит... то есть мать не простит... ну в каждом человеке течет кровь, данная ему матерью... как сок в винограде... вино... впрочем, я путаться начинаю...

Заря опять догорела. Никодим занавесил окно в столовой и зажег лампу с синевато-золотистым светом: он любил зажигать ее...

ГЛАВА XVIII
Ряса отца Дамиана Хромого

Отец Дамиан, носивший прозвище «Хромой» и хорошо известный в округе каждому, был духовным отцом Евгении Александровны и старым другом Михаила Онуфриевича.

О нем вспомнил Никодим на другой день, сидя опять в столовой перед окном. Вспомнив, он сейчас же вскочил и пошел наверх, в башню, но не в кабинет и не в спальню.

Между кабинетом и спальней был узкий коридор, и в конце его лесенка вела на чердак. По этой лесенке взбежал Никодим и остановился перед запертой дверью.

«Кто же мог запереть дверь? Очевидно, отец, когда он жил здесь. Ни Евлалия, ни Валентин не сделали бы этого, не сказав мне».

Пришлось позвать снова Ерофеича. Но тот также ничего не знал.

— Вероятно, старый барин заперли — кому больше? — сказал он.

— А мне нужно попасть туда.

— Да как же попадете — сломать замок разве?

— Конечно, сломать.

— А старый барин что скажут?

— Не учи меня, пожалуйста. Я на тебя со вчерашнего дня сердит. Болтаешь тут всякий вздор. Неси лучше отвертку, что ли?

— Отверткой тут ничего не сделаешь, — ответил Ерофеич виновато и чуть не со слезой в голосе.

— Тогда принеси ключи, какие есть, — может быть, подойдет что.

Ерофеич побежал вниз и вернулся с большой связкой ключей. Они перепробовали все, но ни один из них не подошел к замку.

— Разве с крыши еще попытаться, — сказал Ерофеич, подумав.

Когда-то выход на крышу был проделан Михаилом Онуфриевичем.

— То есть с крыши на крышу? На башню? — спросил Никодим.

— Так точно, на башню.

— Ну позови людей, вели им принести стремянку.

Стремянку вскоре принесли, протащив ее через кабинет; отослав людей, Никодим вместе с Ерофеичем приставил лестницу к крыше башни.

Ерофеич забрался первым. Он сразу нашел лист с защелкой и, откинув ее, потянул лист кверху, но тот не подавался.

— Тоже заперто, — сказал старик виновато.

— Только путаешь меня напрасно, — ответил ему Никодим, — говорил я тебе, что надо сломать дверь.

— Где же ее сломаешь, этакую махину. Не по-нонешнему делана. Да и как будешь в своем-то доме ломать?

Никодим еще потыкал дверь пальцем. Конечно, ломать дверь в своем доме смешно — Ерофеич прав. И если действительно ее запер отец — неудобно будет перед ним.

А попасть на чердак Никодиму очень хотелось.

Недовольный, он сошел опять в столовую и, остановившись перед окном, мысленно представил себе ту комнату на чердаке.

Когда-то в ней жил Михаил Онуфриевич — первый раз еще до женитьбы, в молодости (он женился тридцати пяти лет), и второй раз два последних года перед тем, как расстаться с семьей.

Это была небольшая комната, выгороженная из чердака двойной стеной; низкий потолок шел накось к маленькому слуховому оконцу и спускался там так круто, что Никодим к оконцу мог подходить только согнувшись.

Посреди комнаты, у трубы, стояла, обмазанная глиною, кухонная плита, всего в аршин, с одной вьюшкой. На плите находились две медных кастрюльки, а на полочке, прикрепленной к потолку, разная мелкая утварь. Перед окном стоял столик и два кожаных стула; на столе лежала в старинном кожаном переплете Библия; когда-то мыши принялись отгрызать у нее угол, но потом их переловили.

Направо на стене висели три охотничьих ружья с патронташами и несколько старинных литографий в рамках: на литографиях изображены были романтические ландшафты. В углу за плитой приютилась деревянная кровать, сколоченная просто из досок и прибитая к стене.

Налево, уходя на три четверти в двойную стену, возвышался черный шкаф: он обыкновенно запирался на ключ, и ключ вешался за икону святого Михаила Архистратига Сил Небесных — в красном углу.

Никодим мысленно отпер шкаф. Там на гвоздике висело что-то черное, какая-то одежда. Никодим взял ее за рукава и развел их в стороны: черное оказалась рясой.

«Ряса отца Дамиана».

В молодости Михаил Онуфриевич провел три года в монастыре послушником, под началом у отца Дамиана. Ряса, висевшая в черном шкафу, была подарена Михаилу Онуфриевичу при выходе из монастыря отцом Дамианом на прощанье.

И вот Дамианова ряса теперь появилась перед Никодимом в кресле напротив. Появился, собственно, тот, уже знакомый нам собеседник, но он облачился сегодня в рясу.

— Видишь, — сказал он Никодиму, — совсем не нужно было ломать дверь на чердак. Стоило тебе захотеть видеть рясу, как я в ней явился.

— Да, удобно. Ты начинаешь отучивать меня постепенно от всякого труда.

— Отучивать? Нет. Ты никогда и не был привычен к труду. Трудился всегда я. И тебе будет действительно очень удобно, когда я начну все делать для тебя.

— Даже такие чудесные дела, как похищать рясу через две запертые двери?

— Даже.

— А может быть, мамины письма ты разберешь за меня?

— Что же, тебе очень стыдно сделать это самому?

— Очень стыдно.

— Ну если так, то я могу. Но видишь ли, хотя я и хитроумный, но еще малограмотный — сумею ли их теперь прочитать?

— То есть что это значит?

— А то — тебе придется, пожалуй, годик обождать, пока я смогу разобраться в них.

— Так ты думаешь, что мне лучше это самому сделать, по-обыкновенному?

— Да.

— Я не могу, — совсем беспомощно заключил Никодим.

Монах помолчал. Потом сказал как-то между прочим:

— Тебе же Яков Савельич разрешил.

Но Никодим за эту мысль ухватился:

— Да, разрешил. Я знаю. И я поступил бы так, как он сказал. Но ты мне решительно мешаешь. С тех пор как я начал чувствовать тебя, я не могу не считаться с тем, что говоришь и думаешь ты.

— А что я думаю?

— Не только что думаешь, но и как думаешь. Ты думаешь иронически, а волю мою взял себе.

— Послушай. Соберись с силами и поезжай к отцу Дамиану. Ведь он же духовный отец твоей матери — неужели он ничего не знает об ее жизни?

— Да он ничего не скажет. Разве он может и обязан?

— А ты возьми револьвер с собою. Приставь его ко лбу отца Дамиана и потребуй ответа.

— Фу! какие глупости ты говоришь.

— Ничего не глупости — револьвер ты захвати с собою: если не на отца Дамиана, то на кого-нибудь другого пригодится. А писем разобрать ты все равно не сможешь.

— И не надо. И отца Дамиана не о чем спрашивать.

— Послушай. Не ты ли уверял меня, что любишь свою мать?

— Хорошо, хорошо. Только прекрати излияние своих наставлений — у меня голова разболелась от твоих речей. А рясу отнеси на место — откуда взял.

Собеседник встал. Ряса упала к его ногам, он свернул ее, взял под мышку и пропал. Никодим не заметил, куда он исчез, но, когда прошло полчаса в молчании, Никодим сказал себе: «Довольно заниматься этою игрой. Конец!»

Наутро он поехал в монастырь. До него было недалеко — верст сорок, но еще десять верст нужно было проплыть озером, так как монастырь стоял на острове.

Из ближайшего уездного города каждый день в монастырь уходил пароход с богомольцами, только в неопределенные часы. И, приехав в город, Никодим уже не застал парохода, но не захотел дожидаться следующего дня и искать приюта где-либо в гостинице, а поблизости от пристани нанял до монастыря знакомого рыбака.

Погода была плохая: дождь, ветер, встречная волна сильно качала лодку, и только в сумерках, на огонек, добрались наконец Никодим и рыбак до острова. Рыбак уж хотел было вернуться, потеряв дорогу, и только настойчивые уговаривания Никодима убедили его продолжать путь. Совершенно измокшие и озябшие, вышли они на берег, довольно далеко от монастырской пристани, и, вытащив за собою лодку на песок, пошли размокшей тропинкой к воротам. Привратник впустил их, но сказал, что в церкви сейчас идет служба, а если им нужно когонибудь видеть, то придется обождать, так как, мол, в церковь-то неудобно идти мокрыми.

Они так и сделали — обождали, а потом, когда служба кончилась, доложили о Никодиме архимандриту отцу Иоасафу и провели Никодима к нему. В келье у отца архимандрита было жарко натоплено. Подали чай с вареньем, и отец Иоасаф — простой седенький старичок, ласковый, лукавый, хозяйственный, — принялся расспрашивать Никодима о всяких делах — о ценах на сено, на хлеб. Но Никодим за последнее время сильно отстал от всех хозяйственных забот и не знал, что и отвечать. Он сослался на нездоровье — «простудился, должно быть, плывучи по озеру», — а ему просто хотелось спать с дороги.

— Экий вы неосторожный да нетерпеливый, — сказал ему отец архимандрит, — не могли парохода обождать. Однако такому гостю мы всегда рады. Видно, у вас дело какое есть к нам или просто помолиться приехали?

— Да, есть дело, — ответил Никодим.

— Ко мне али к кому другому?

— Отца Дамиана хочу повидать.

— Прихварывать стал отец Дамиан: стар становится. Поди уж за восемьдесят перевалило. Вы его сегодня-то не тревожьте: завтра лучше, а теперь, я вижу, вы спать хотите — пожалуйте в гостиницу. Я распорядился: там келейку вам приготовили получше других.

Поблагодарив отца архимандрита за привет и ласку, Никодим прошел в отведенную ему комнату: свеча еле освещала ее, было в ней немного холодновато и неуютно, но действительно это была одна из лучших комнат в гостинице.

Когда он вошел, за печкой что-то зашуршало. Но Никодим не обратил внимания на шорох. «Может быть, бес», — равнодушно подумал он и от усталости скоро заснул очень крепко.

Ночью он проснулся и, чувствуя, что совсем больше не хочет спать, зажег свечу и огляделся. Комната ему показалась уютнее и лучше, чем в первый раз. Одев уже просушенное, хотя и помятое платье, он выглянул в коридор и при слабом свете огарка, выходившем из его комнаты, увидел в конце коридора старческую фигуру монаха. Монах сидел на скамье, склонившись немного в сторону, и упорно глядел куда-то. Заметив свет и Никодима, он поднялся и направился к Никодимовой келье, слегка прихрамывая: это и был отец Дамиан.

Видеть почтенного отца Дамиана в такое неурочное время в гостиничном коридоре, словно на каком послушании, — было странно, и Никодим с удивлением в голосе воскликнул:

— Отец Дамиан, что вы тут делаете? Ведь ночь глубокая.

Отец Дамиан взглянул на Никодима, но как-то поверх его головы. Он и всегда так смотрел или в сторону, только не из гордости и не от лживости: глаза у него были голубые, очень светлые и очень простые, но взгляду его было трудно, проходя по сторонам, останавливаться на человеческих лицах. Сам старец был высокого роста, прям и сух; седые волосы выбивались у него из-под клобука. Прихрамывал он слегка, но был слегка и глуховат.

— Да, да, ночь, сынок, ночь глубокая, — ответил он.

— Я к вам приехал, отец Дамиан.

— Ко мне... да... хорошо... ко мне... это ведь архимандрит наш все говорит, что я стар становлюсь да покой мне нужен, а мне ночью-то не спится — греховные чары одолевают: какой я старик... плеть мне нужна для усмирения ума и плоти, а не покой... вот и брожу по ночам. В церковь бы пойти, что ли? Помолиться.

— Что же вы, отец Дамиан, здесь стоите? Зашли бы ко мне.

— Зайти, говоришь? Да, да... зайду. Или здесь постоим... постоим.

— Я к вам по делу приехал, отец Дамиан.

— По делу... да, по делу, говоришь... поживешь тут, у нас, помолишься... люблю я тебя, сынок.

— Ох, отец, у меня душа ноет. Вы знаете, я вчера вашу рясу все хотел достать. Как вас вспомнил, сейчас же и ряса ваша на ум пришла...

— Рясу, ты говоришь... да, да... рясу... помню...

— Ту самую, что вы моему отцу подарили.

— Да, да... подарил...

— И подумал: к кому же мне и обратиться, как не к вам?

— Обратиться, говоришь... да, да... обратиться... хорошая ряса... Я всегда хорошие рясы любил... грех... ох, на старости-то все припомнишь и обо всем снова передумаешь... цветики... речка... Дуняша, голубушка... все в голове... бабочек мы с ней ловили... за речкой... у рощицы... не знаешь ты.

— Нет, не знаю. Детство свое вспоминаете?

— Детство, ты говоришь... да, да... детство.

— Отец Дамиан, мне страшно и вымолвить то, что нужно. Вы, может быть, сами слыхали: матушка наша пропала без вести.

— Да... пропала... пропала, сыночек, пропала... не вернулась... батюшка твой заезжал... сказывал, — кто же из нас без греха... простится, сынок, простится... я Богу молюсь денно и нощно...

— Батюшка тут был? А когда же?

— Заезжал, сынок, заезжал... Сказывал... жаловался... утешал я его... мудрый человек твой батюшка.

— Отец Дамиан, помогите мне... я хочу повидаться с матерью. Ведь она все вам говорила. Никто лучше вас ее дел и намерений не знал и не знает.

— Дел и намерений, говоришь... знаю, говоришь... да, да все говорила, все знаю... вернется, думаю, матушка... вернется...

— Так скажите мне, отец Дамиан, что знаете. Вы простите меня за дерзость.

— Сказать, говоришь... какой же ты, сынок, глупый да смешной... Ведь она же мне на духу говорила... как я скажу?

— Скажите. Мне некуда больше идти.

— Некуда, говоришь... Не проси лучше... все равно не скажу.

— Да как же мне быть?

— А что тебе быть, сынок?.. я подумаю... ты поживи тут денька три, обожди... я подумаю и скажу... ну прощай, сынок.

И, благословив Никодима, старец пошел на свое прежнее место.

Никодим не посмел идти за ним. Подумав, он уж решил было остаться в монастыре дня на три, как советовал Дамиан, и, постояв немного в коридоре, вернулся в келью и запер за собой дверь.

Но случай решил иначе.

ГЛАВА XIX
Облачение беса

Захлопнув за собою дверь в келью, Никодим снова услышал шорох за печкой, совершенно схожий с прежним, и сказал: «Неужели и вправду бес?» Он кликнул: «Кто там?» — но никто не отозвался.

Никодим придвинул кресло к окну, полуотдернул занавеску, но за окном было еще совсем темно и ни малейший свет не намечался. Однако он стал упорно смотреть наружу, приложив лоб к запотевшему стеклу. Его очень взволновал разговор с отцом Дамианом, и он был задет в душе словами старца: «Какой же ты глупый да смешной»...

Шорох за печкой снова повторился. Никодим обернулся, пристально посмотрел туда, подошел к печке, сунул за нее в отдушину руку — ничего. Отойдя назад к окну, он уселся в кресло и вдруг чрезвычайно остро почувствовал свое прежнее разделение. На кровати же, напротив от кресла, что-то неясно зашевелилось.

«Ах, вот оно что! — догадался Никодим. — Мне ли первому поздороваться или ждать, когда он заговорит?»

Но по направлению от кровати послышалось:

— Поздоровайся!

— Здравствуй, — сказал Никодим и понял, что сделал ошибку, поддавшись этому приказанию, но было уже поздно.

С кровати раздался придушенный смех.

— Здравствуй, мой милый, — ответил тот, давясь смехом, — знаешь, что я тебе скажу? Нет, конечно, не знаешь: я хочу пожить в свое удовольствие.

— Так живи, — отрезал Никодим сердито, — что же ты ко мне пристаешь? Только убирайся от меня подальше.

— Ох-хо-хо! Убирайся подальше. Как же я уберусь? Желание-то во мне, а соки-то в тебе.

— Какие соки?

— А те самые, без которых я и жить не могу. Без соков неинтересно. Одно развращение ума.

— Так ты высасывать меня, что ли, будешь?

— Ну да. Вроде этого.

— А я не хочу!

— Не хочешь? Это меня не касается. Я не привык спрашивать. Сам же ты мне сказал: «Здравствуй».

— Я с тобой поздоровался только.

— Прекрасно ты знаешь, что со мной здороваться нечего. А сказал «здравствуй», значит, и сказал: живи здоров, в свое удовольствие.

— Нет, нет, я ничего такого не думал.

— Не думал? Не понимаю, чего ради ты отнекиваешься: ведь тебе со мной вовсе неплохо будет.

Пальцы Никодима забегали по ручке кресла.

— Послушай, — сказал Никодим немного просительно, но вместе с тем и достаточно твердо, — послушай: я тебе тоже скажу такое, чего ты не знаешь.

Тот молчал. У Никодима мелькнула мысль: «Ну как не знает — все знает!», — но лицо его осталось неподвижным, а молчание собеседника заставило его продолжать:

— Так вот — есть что-то такое, чего ты не знаешь, и напрасно ты так мерзко хохочешь. Если бы ты был бес, ну самый настоящий бес (не объяснять же тебе, какой именно), а то ведь ты только мошенник. Вот, который раз ты со мной разговариваешь, а не сказал мне, кто ты таков и как тебя зовут, — разве поступают так порядочные существа?

Никодим в точности произнес: «существа», хотя не мог бы объяснить, что он думал сказать этим.

— Да, да! — продолжал он. — Вот, например, с рясой: разве я не видел, что ты меня обманул: ты вовсе не надевал рясу, ты только положил ее на себя сверху, прикрылся ею, и когда встал — она упала, потому что не была надета в рукава. Я видел.

— Ну так что ж?

— Как, ну так что ж? Как, ну так что ж? — вскипел Никодим, вскочив с кресла и с кулаками подступая к кровати. — Я не хочу вести разговоров с мошенниками. Так порядочные... не поступают.

Он опять хотел сказать «существа», но запнулся и сказал одно «порядочные».

— А если я бес? — вопросительно ответил собеседник.

— Ты бес? Прислужник Сатаны? — рассмеялся Никодим.

— Ну да, бес. Чего же тут смешного? А Сатана здесь ни при чем. Разве бес не может существовать сам по себе, без Сатаны?

— Конечно, не может.

— Много ты знаешь! А я вот существую.

— Хорошо! Существуй себе без Сатаны. Но рясу в рукава ты не мог надеть. Это я знаю.

— Я могу!

— Покажи! И не можешь показать, потому что рясы с тобой здесь нет.

— Ан есть!

На кровати действительно зашевелилось что-то черное. «В самом деле, ряса», — подумал Никодим, но, точно хватаясь за соломинку, сказал:

— Да это не та ряса: не отца Дамиана. Ты здесь у кого-нибудь, у какого-либо монаха ее стащил.

— Нет, это ряса отца Дамиана, смотри.

И черное взмахнуло рукавами: ряса была действительно надета в рукава. Но все же на постели ничего определенного не намечалось.

— Господи, что же это такое? — беспомощно и с тоской спросил Никодим, вынул часы и поглядел на них: был на исходе третий час.

— Ничего особенного, — ответило существо, — ты не беспокойся, я ведь умею и определиться. Только ты поговори со мною подобрее.

— Как же подобрее поговорить? Определяйся скорей. Право, я устал. Или уступи мне постель — я лягу спать.

— Нет, погоди! Как же я определюсь так, сразу. Ты лучше реши, каким я тебе больше понравлюсь?

— Ты смеешься надо мною, — пожаловался Никодим, — ты для меня во всех видах хорош.

— Ну тогда я тебе помогу, — сказало существо, — погладь меня по головке.

И темное сунулось Никодиму под руку, отчего Никодим опасливо отстранился. Но это что-то уже определенно приняло человекообразные очертания, — во всяком случае, сидело на кровати, подобрав к себе ноги и охватив колени руками. Лица сидевшего не было видно: монашеский клобук совсем затенял его, а руки белели неживой белизной.

— Да ты покойник! — воскликнул Никодим.

— Нет, — запротестовало существо, — я не покойник, я бес.

— Бесы или нечистые духи, — отступая два шага назад и поднимая правую руку для убедительного жеста, возразил Никодим, — бывают или мерзкого вида, или демонического: А таких бесов не бывает. Ты, голубчик, слишком прост, чтобы провести меня.

— Я проведу тебя, когда мне понадобится. Если же ты мне не веришь, что есть бесы несколько иные, чем ты полагаешь, то еще раз прошу тебя: погладь меня по головке.

— А что же у тебя там?

— Рожки, самые настоящие.

И существо скинуло с себя клобук (но лицо его от этого вовсе не определилось) и подставило опять голову Никодиму.

Никодим опасливо протянул руку и погладил череп сидевшего: действительно, там намечались рожки — маленькие, совсем телячьи.

— Вот как! — сказал он удивленно.

— А это что по-твоему? — хвастливо заявил бес и, спустив одну ногу с кровати, постучал ею по полу. — Видишь?

Никодим нагнулся, посмотрел: копытце, совсем козлиное.

Существо опять подобрало ногу.

— Теперь веришь? — спросило оно.

— Да, — убежденно ответил Никодим, — верю. Я не столь уж наивный человек, чтобы можно было поймать меня на неверии.

— Вот это мне нравится! — заявило существо, ударяя себя ладонью по колену. — Вот это мне нравится! Но, однако, я надул тебя самым бессовестным образом: рясу я в рукава не надевал, а только прикрылся ею: смотри!

И с этими словами существо подпрыгнуло на постели, а ряса упала к его ногам.

Никодим отскочил в сторону кресла, существо же повернулось, стоя в постели, три раза на одной ножке.

Если бы ряса, свалившись, открыла под собою какую-либо другую одежду, — Никодим, возможно, и не поразился бы до такой крайности, как он поразился тогда, увидев существо нагим. Но вместе с тем он разглядел его с головы до пяток.

Во-первых, у существа появилось лицо. Это было странное лицо, и странное от всей необыкновенной головы, суживающейся кверху, а не книзу, с сильно выпяченным и даже загнутым толстою кромкой подбородком; притом подбородок лиловел и багровел вместе, а нижняя челюсть составляла половину всего черепа; рот у существа расположился не поперек лица, а вдоль, под едва намечающимся носом и глазами без бровей, будто нарисованными только, — рот этот по временам старался придать себе законное положение и растягивался вправо и влево, но от этого становился только похожим до чрезвычайности, до смешного, на карточное очко бубновой масти; на голове у существа не было вовсе ни курчавых волос, ни рожек — лысина розовела и подпиралась тоже голым затылком, с двумя толстыми складками, шедшими от шеи и сходившимися углом на середине затылка; зато туловище было снизу густо покрыто волосами.

Собственно, туловище это особенно заслуживает описания; оно не было противно на вид — даже, напротив, довольно приятно: белого, свежего цвета, с лиловатыми жилками, просвечивающими сквозь кожу; сзади к нему, там, где начинались ноги, прицепился какой-то мешок, а может быть, и не прицепился, а составлял неотъемлемую принадлежность существа; и в этом мешке что-то болталось — словно арбузы какие, — будто весьма ценное для существа, но возможно, что и ужаснейшая дрянь. Ноги и руки существа были смешны — словно надутая гуттаперча, а не тело: совсем как те колбасы и шары, что продаются в Петербурге на вербном торге. Несомненно, конечности существа выдумал кто-то потом: они решительно не шли к своему хозяину.

В теле существа не чувствовалось костей: однако оно не было и дряблым, только совершенно свободно перегибалось во все стороны. Никодиму стоило большого труда не рассмеяться при виде всего этого. Но существо, повернувшись три раза, остановилось, плотно закрыло рукой свой рот и надуло щеки, а вместе со щеками надулось и само: стало прямым, высоким, твердым — словно кости в нем вдруг появились.

Надувшись, оно спрыгнуло с кровати и стало перед Никодимом в позу. Лицо существа сделалось совсем багровым.

«В разговорах с ним я, кажется, зашел слишком далеко?» — подумал Никодим, но существо крикливо спросило его:

— Каков я?

Никодим думал и молчал.

— Я тебе нравлюсь? — переспросило оно.

— Да... нравишься, — ответил Никодим робко, нерешительно.

— Я очень богат.

— Вот как!

— Да! И мне очень неудобно стоят перед тобой голеньким.

— Оденься. У тебя ряса лежит на постели.

— Я не хочу рясу, — закапризничало существо.

— А чего же ты хочешь? У меня ничего нет для тебя.

— Мне твоего и не нужно. Ты сунь руку под подушку.

Никодим послушно сунул руку под подушку и нащупал там какой-то сверток, но не решался его вытащить.

— Тащи! — скомандовало существо.

Никодим дернул. Упавшие концы выдернутого развернулись. Это были очень яркие одежды.

— Хороши тряпочки? — спросило существо. — А ну дай-ка мне прежде ту, красненькую.

Красненькая оказалась широчайшими шароварами, совсем прозрачными, перехваченными у щиколотки и повыше колена зелеными поясками с золотом и лазоревыми сердечками в золоте; шаровары были сшиты из материи двух оттенков красного цвета: нижняя часть, до поясков у колена, была пурпуровая с рисунком в виде золотых четырехугольников, заключавших зеленую сердцевину, — четырехугольников, очень схожих по очертанию — странно! — с недоумевающим ртом самого существа и расположенных так же, как его рот, — острыми углами кверху и книзу; верхняя часть шаровар от колен до пояса огневела киноварью, и рисунка на ней не было.

Никодим, развернув одежду, с изумлением рассматривал ее.

— Одевай! — снова скомандовало существо и, подняв свою правую ногу, протянуло ее к Никодиму.

Никодим покорно натянул штанину на ногу.

— Другую!

Никодим натянул и другую и завязал пояс.

— Теперь лиловенькую, — сказало существо уже более добрым голосом и почти просительно.

Никодим поднял лиловенькую: это была курточка-безрукавка с глубоко вырезанной грудью и спиной; золотые полоски, чередуясь с зелеными, расходились по ней концентрически от рук к середине спины и груди.

Облачив существо в курточку и застегнув ее на золотые пуговки, Никодим уже сам без приказания поднял и зеленые нарукавники — закрепил их, затем взялся за головной убор в виде лиловой чалмы с пурпуровым верхом, лиловым же свешивающимся концом и зелеными с золотом охватами, повертел ее в руках, прежде чем надеть на существо, и, надев, пошарил еще под подушкой: там нашлись туфли — также лиловые с зеленым узором.

Существо предстало облаченным. Наряд был замечательно хорош, но существо рассмеялось, прыгнуло на кровать, подхватив лежащую там рясу, накинуло ее на себя и чалму попыталось прикрыть клобуком; однако клобук был слишком мал, а чалма велика — тогда оно, спрятав чалму за пазуху, багровую лысину украсило скромным монашеским убором.

Никодим все это наблюдал молча, но вдруг ужасно рассердился и в яром гневе сделал шаг к кровати. Существо заметило то страшное, что загорелось вдруг в глазах Никодима, — оно жалобно пискнуло, перепрыгнуло за изголовье, в темный угол, и, присев, спряталось за кроватью. Никодим шагнул туда, заглянул в угол — там ничего не оказалось; заглянул под кровать — тоже; подошел к печке и пошарил в ней и за нею — никого!

ГЛАВА XX
Недоумевающий послушник. — Медный змий

Против двери Никодимовой кельи под утро появился монашек-послушник. Выйдя из бокового коридора, он дошел только до той комнаты, где спал Никодим, остановился и хотел заглянуть в комнату сквозь замочную скважину, что ему не удалось, так как скважина была закрыта вставленным изнутри ключом; вздохнул, повернулся раз-другой кругом и сел тут же у двери на низкую скамеечку.

Но его, видимо, что-то беспокоило, и ему плохо сиделось на месте. Не просидев и минуты, он опять встал и, пройдя несколько раз по коридору нелепой подпрыгивающей походкой, изобличавшей в обладателе ее человека нервного и раздерганного, — снова припал к двери Никодимовой кельи уже ухом и, вероятно, услышав за дверью шаги по направлению к ней, мячиком отскочил в сторону и скромненько прижался к притолоке другой двери, по левой стороне коридора.

Никодим толкнул дверь и, очутившись на пороге, увидел перед собою довольно странное существо. Послушник этот был высокого роста, с очень крупной головою, но узкоплечий и худосочный; слабые руки беспомощно повисали вдоль его туловища и белели неестественной белизной; лицо послушника было даже еще безусо, подбородок значительно выдавался вперед, глаза без бровей и маленький взернутый носик робко выглядывали исподлобья; жидкие светлые волосики, насквозь пропитанные лампадным маслом, слипшимися прядями выбивались из-под клобучка, прикрывая плоские приплюснутые уши, а рот, постоянно

полуоткрытый, придавал всему глупому и неприятному лицу с кожею, слегка сморщенной преждевременной старостью, вид недоумения. Затасканная ряска, облекавшая послушника, была порвана в нескольких местах, но тщательно заштопана, а ноги были обуты в невероятно большие сапоги, с острыми, длинными носками, надломленными и загнувшимися кверху; сапоги оставались давно не чищенными, и рыжие полосы вместе с неопределенными зелеными и синими пятнами покрывали их.

Послушник смотрел на Никодима, а Никодим внимательно разглядывал послушника. Никодим наконец спросил его:

— Вы — рясофорный?

— Да, рясофорный, — ответил послушник заискивающе, — под началом у отца Дамиана.

— Ах! — обрадовался Никодим, услышав имя старца. — Так, может быть, отец Дамиан вас за мною прислал?

— Нет, — переминаясь с ноги на ногу, сказал послушник, — я так...

— Войдите ко мне, пожалуйста, — пригласил его Никодим, отступая в келью.

— Да нет, благодарствуйте, — стал отнекиваться послушник, — зачем же...

— Я хочу поговорить с вами, — заявил ему Никодим.

Послушник вошел, но дверь за собою не притворил и опять скромно прислонился к притолоке.

Никодим молчал, не находя, как приступить к разговору. Первым заговорил послушник, но с большим трудом и, видимо, стесняясь говорить о том, о чем хотел спросить.

— Я вчера случайно ваш разговор слышал... с отцом Дамианом, — начал он.

— Как же вы могли его слышать?

— А я тут налево в коридорчике сидел... я за отцом Дамианом присматриваю... отец архимандрит приказали... стар отец-то Дамиан очень.

Никодиму это не понравилось.

— Разумеется, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — вы никому не будете говорить о том, что слышали.

— Разумеется, — подтвердил послушник.

— Действительно, отец Дамиан уже стар и многого не в состоянии понять, — продолжал Никодим, — например, думать, что, скрывая по долгу духовного лица известное ему о моей матери, он поступает хорошо, не следует. Он должен был открыть мне все, чтобы дать мне необходимые нити.

Никодим чувствовал, что говорит ужаснейший вздор и даже не то, о чем думает, и не так, как хочет. Но самый вид этого противного послушника толкал на невольную ложь.

Понял ли послушник отношение Никодима к нему (кажется, понял!), но он сказал:

— Вы вот, вероятно, думаете — извините за откровенность, — зачем отцу Дамиану понадобился подобный ученик?

— Почему же вы так решили? — горячо возразил Никодим. — Я, кажется, не давал повода полагать, что так думаю?

— Вы меня не совсем поняли, — поправился послушник, — отец Дамиан хотя и строгой жизни человек, однако предпочтение-то красивенькому отдает. А я-то куда же гожусь? Весьма невзрачен. — Он нерешительно ухмыльнулся.

— Ах, что вы! — горячее прежнего воскликнул Никодим. — Такие мысли меня совсем не занимали. Ведь мы же собирались с вами побеседовать — а разве это беседа выходит?

— Правда, об этом говорить не стоит, — согласился собеседник, опять нерешительно улыбаясь, — я вас о другом собирался спросить.

Никодим поглядел послушнику прямо в глаза, но в них ничего не увидел: они были будто стеклянные.

— Видите ли...— начал тот тихо и еще нерешительнее прежнего, — после того... как отец Дамиан отошел... вы пошли в комнату... и там что-то говорили...

— Я говорил? Вы ошибаетесь, — удивился Никодим, совершенно не помнивший, чтобы он говорил ночью с кем-либо, кроме отца Дамиана, и видел еще кого-нибудь.

— Правда, говорили.

— Может быть, во сне говорил? Я часто говорю во сне.

— Нет! Это не могло быть во сне. Я слышал два голоса.

— Вам, вероятно, почудилось. Ни во сне, ни наяву я не умею разговаривать в два голоса...

Послушник смотрел недоверчиво.

— Вы мне не верите? — добавил Никодим. — В комнате никого не было, кроме меня. И теперь только нас двое.

— Я не мог ошибиться, — возразил послушник хотя опять тихо, но твердо. — Говорят, что в этой келье живет бес, — добавил он.

Никодима эти слова будто ударили: он вдруг вспомнил вчерашний шорох за печкой и свое предположение, что там шуршит не иначе как бес.

— Живет бес! — повторил он за послушником.

— И меня это крайне интересует, — продолжал послушник, — я потому к вам и обратился, что полагал...

— Полагали, что я с бесом разговаривал и видел его?

— Да.

— Вы ошиблись: беса я не видел и с ним не разговаривал, но почему-то безотчетно думал о нем, когда вошел в келью. И кроме того, слышал за печкой дважды шорох.

— Ну вот видите, шорох! Значит, это правда, — заторжествовал послушник. — Нет, вы скажите мне, — он приблизился к Никодиму и зашептал ему на ухо: — Правда, что вы говорили с бесом?

— Зачем вам это?

— Так... я вам потом объясню...

— Вам не придется объяснять: я беса не видел.

Послушник отодвинулся к той же притолоке и, приняв вид безразличный, сказал уже по-иному, бахвально и нагло:

— Весело у нас в монастыре. Особенно когда исповедуются.

— Почему же весело? — спросил Никодим с гадливостью.

— Я ведь все слышу. Слух у меня отменно развит. В одном конце церкви исповедуются, а я с другого слышу. Ну, конечно, когда мужчины исповедуются, так это не очень интересно: мужчина ведь известен со всех сторон, он как на ладони — всякому виден. А женщины — дело другое, особенно когда из города дамы приезжают. Вкусно! — И даже языком прищелкнул.

Никодим сурово молчал.

Послушник еще попереминался с ноги на ногу и, уже увлекаясь своей новой ролью лихого и бывалого человека, причмокнул и заявил:

— Пикантно! Вы тут пожили бы — я вас многому научу. Я знаю, откуда хорошо подслушивать. Такие вещи приходится слышать, что просто диву даешься; знаете ли, есть крылатое слово: век живи — век учись, я, как попал в монастырь, особенно глубоко стал эту пословицу чувствовать.

— Послушайте, — задал ему Никодим вопрос, — откуда вы такой, что у вас вот эти слова: пикантно, дамы?..

— Я из дворянской семьи. Наш род древний и хороший, — не без гордости ответил послушник.

— По вашей наружности судить трудно, и я думал как раз наоборот, — горестно и тоскливо заметил Никодим сквозь зубы, но собеседник его не обиделся. — Знаете что, — заявил Никодим через минуту, чтобы выйти из глупого и нудного положения, в которое он попал, пригласив к себе этого наглеца, — пойдем на улицу: я хочу подышать свежим воздухом, у меня болит голова.

Они вышли задним крыльцом на монастырский двор, к кузнице и бочарне, и прошли к голубятне. Никодим шел впереди, послушник в расстоянии одного шага от Никодима, внимательно рассматривая спину своего спутника. Никодим это рассматривание отлично чувствовал, и на душе у него становилось все гадливее и гадливее, но он не находил в себе силы отогнать или даже просто отшвырнуть от себя этого человека. Он надеялся на одно — что сейчас где-нибудь встретит отца Дамиана и пожалуется тому на его ученика. Поэтому он колесил по двору: то шел к голубятне, то сворачивал опять к бочарне или к конюшне и сеновалам и снова возвращался к голубятне. Послушник не отставал ни на шаг, и отец Дамиан нигде не показывался. Никодим, наконец, не выдержал и, круто повернувшись, столкнулся со своим спутником.

Тот, охнув, спросил по-старому робко, нерешительно:

— Я вам надоел?

— Да! надоели, — закричал на него Никодим, — оставьте меня одного — я хочу ходить без вас!

Послушник поклонился и покорно отошел в сторону. Никодим же повернулся, взял прежнее направление и в четвертый раз очутился перед голубятней. Как раз один из монастырских служек перед тем взобрался на голубятню по лесенке и с диким криком, на глазах Никодима, махнул по голубям тряпкой, привязанной к палке; ворковавшие до того голуби с шумом снялись и, взмывая к небу, красивой стаей залетали.

Никодим остановился, чтобы поглядеть на них, и опять почувствовал, что кто-то за его спиной снова рассматривает его.

«Опять этот проклятый», — подумал он и обернулся, чтобы отогнать назойливого послушника. Послушник действительно стоял еще здесь, но в сторонке и не глядя на Никодима; приподнятое лицо его было безразлично, а полураскрытый рот придавал ему все то же недоумевающее выражение. За спиной же Никодима оказался русокудрый молодец, в синей поддевке, подпоясанной пестрым кушаком, в плисовых шароварах и пахучих смазных сапогах, — словом, человек вида совсем не монастырского. В правой руке он держал письмо и, кланяясь, протягивал его Никодиму, а левой придерживал у пояса фуражку-московку.

Конверт был надписан женской рукой, и почерк Никодиму нетрудно было узнать. В записке было немного слов: «Наконец-то я узнала, где вы находитесь. Приезжайте. У меня сегодня праздник. Посылаю за вами автомобиль. Ирина».

Случаю поскорее уехать из монастыря Никодим был рад. Прочитав записку, он сказал:

— Здравствуй, Ларион. Как живешь? — и, не дожидаясь ответа, добавил: — Поедем, надень фуражку.

Быстро сбежали они под горку, к пароходной пристани, и пробрались сквозь густую толпу богомольцев на пароход, готовившийся к отходу в город.

Когда, через час с чем-нибудь пути, они вышли в городе и молодец махнул фуражкой, из-за гущи народа к ним навстречу, рявкнув в изогнутую медную трубу, подкатил черный автомобиль.

— Медный змий, — услышал рядом с собою Никодим знакомый голос и, оглянувшись, увидел, что на сиденье к шоферу забирается знакомый послушник.

Шофер протягивал ему руку, чтобы помочь сесть.

— А вы зачем здесь? — удивился Никодим.

Послушник поставил на землю занесенную уже было ногу и, обернувшись к Никодиму, вытянул руки по швам, опустив глаза.

Никодим продолжал глядеть на него вопросительно.

Послушник помялся с видом уже знакомым Никодиму и сказал:

— Да я так... я думал, что вы ничего не скажете... мне, право, очень нужно...

Никодим до крайности смутился от этой сцены и, чтобы замять ее перед Ларионом и шофером, сказал неотвязчивому послушнику:

— Конечно, если вам нужно... Я рад... и о каком это медном змие вы говорили?

— А вот об этом, — радуясь тому, что положение разрешилось столь благоприятно для него, ответил послушник и, указывая на медный автомобильный гудок, погладил его ласково рукой. Гудок был сделан в виде змеи с широко раскрытой пастью.

ГЛАВА XXI
Странная встреча под холмом

Автомобиль тронулся. Выбравшись на дорогу и прибавив ходу, путники проскочили две-три городские улицы и скоро очутились на пыльном шоссе. Имение Ирины находилось от города верстах в ста с лишним, но машина была сильная и легко давала хороший ход.

Молодца в поддевке Никодим посадил с собою рядом. И Ларион всю дорогу старался занимать Никодима, рассказывая ему о том о сем, передавая всякие сплетни, слухи и новости. Но Никодим плохо его слушал, а больше глядел на шофера, который, весь отдавшись своей работе, сидел наклонившись вперед и не сводил глаз со стелющейся перед ним дороги. Сидевший рядом с шофером послушник также молчал и тоже глядел вперед. Иногда правая рука его зачем-то поднималась и каждый раз повторяла одно движение, будто он хотел ускорить ход машины, прибавить ей силы.

Ларион сыпал словами без умолку; поговорить с новым человеком было его слабостью: обо всем рассказывал он, что ни встречалось по дороге, — где кто живет, как живет и что делает. У Лариона было достаточно остроумия, кроме того, была в нем и особая благовоспитанность, прикрывавшая природное ухарство, — благовоспитанность, свойственная всем людям, служившим у Ирины.

Уже подъезжая к имению Ирины, Ларион указал рукой вправо на разные сгрудившиеся за леском постройки и сказал:

— Здесь генерал Краснов живет. Богатое имение. И голубятни у генерала — страсть!

Автомобиль в ту минуту шел тихо — здесь по дороге все попадались горки, и без осторожности легко можно было скатиться в канаву.

— Эвона, сколько голубей на дороге, — сказал шофер, указывая перед собою, когда автомобиль только что взобрался на одну из таких горок.

Никодим заметил, что послушник наклонился к шоферу и что-то сказал ему.

— Что вы говорите? — спросил Никодим.

— Да они, — ответил шофер за послушника, — говорят, что хорошо бы этих голубей пугнуть машиной с разбегу.

— Зачем же? — взмолился Никодим.

Но было уже поздно. Шофер дал полный ход, и резкой руладой загудел гудок. Автомобиль дико врезался в голубиную стаю, и она, поднявшись с дороги, испуганно метнулась в разные стороны. Один миг — и автомобиль проскочил, но резкая рулада оборвалась на середине. Шофер застопорил машину, так что все подпрыгнули на местах, и, остановив ее на перекрестке дороги, у проселка, соскочил прочь.

— В чем дело? — спросил Никодим.

— С гудком что-то неладно, — ответил шофер, сунул в змеиную пасть руку и голосом, полным сожаления, добавил: — Ах, вот оно что! И дернула же его нелегкая. Надо было.

На руке у него в последних содроганиях трепыхался белый голубь, закинув головку и раскрыв клюв; распростертые крылья его беспомощно упадали.

— В трубу попал! — удивленно и с досадою в голосе пояснил Ларион.

Шофер подержал птицу в руке и откинул ее в сторону. Но человек в поддевке сказал: «Нехорошо, не полагается так!» — соскочил прочь, бережно поднял голубиный труп, поправил крылышки и подул голубю в раскрытый клюв.

Никодим тоже почувствовал, что нехорошо.

— Не поеду я с вами, — заявил он, слезая на дорогу.

Вместе с ним вышел и послушник.

Ларион и шофер воззрились на Никодима.

— Да как же так, барин, — обиделся Ларион, — мы тут непричинны. Скверную штуку выкинули — верно. А все он.

И злобно ткнул пальцем в сторону послушника.

— Чем же я виноват! — попытался тот оправдаться.

— Тем! Советчик нашелся. Забавляй его на свою шею, — выругался шофер. — Кабы вы, барин, — обратился он к Никодиму, — сразу сказали, что не след, — разве я погнал бы? А этот — черт! Еще монахом вырядился.

— Я не поеду с вами, — еще раз повторил Никодим.

— Куда же вы теперь одни-то? — спросил Ларион, боясь, что поручение, данное ему Ириной, он уже не выполнит.

— Я пешком пойду, — ответил Никодим, — отсюда недалеко осталось — укажите мне только дорогу: направо или налево.

— Налево, барин, — сказал шофер, — вот проселком и пойдете — никуда не сворачивайте. Дорога-то хорошая — живо доберетесь.

Никодим махнул им шляпой, и они отъехали. Он же свернул на проселок и, отойдя немного, оглянулся: автомобиль остановился опять на пригорке, но Никодим еще раз помахал шляпой, чтобы не дожидались и ехали; шофер дал ходу; послушник попытался вскочить в автомобиль — Ларион с силой оттолкнул монашка, и монашек растянулся на дороге. Никодим, не оглядываясь более, пошел своим путем.

Раздумывая о прошедших днях, всходил он на пригорки и спускался в лощинки. И с одного из пригорков открылись перед ним большие пространства. Вся местность была холмистая и песчаная. Солнце заливало ее теплым светом — быть может, последний раз в том году, — но таким чудесным светом из необыкновенно голубого и глубокого неба. Перед глазами, над обрывами и скатами яркожелтых промоин и овражков, синели и рдели рощицы молодого сосняка и койгде поднимались старые могучие деревья; светло-зеленая озимь коврами ложилась в полях уже поблекшей травы, на припеке; редкие, круглые, ослепительно-бе-

лые облачка проплывали по небу. Воздух был неизъяснимо чист, прозрачен и спокоен: каждое дерево, каждый кустик можно было рассмотреть за версту — и голубели и трепетали открывавшиеся пространства.

Но дорога оказалась очень длинной: перебегая с горки в лощинку, из лощинки на горку, между засеянных полей и журчавших ручейков, она ложилась многими извилинами, и, казалось, конца-краю ей не будет. И только одно утешало путника: вся она, до горизонта, виднелась глазу.

И за многими ее поворотами Никодим увидел вдали человеческую фигуру, одиноко и неподвижно стоявшую на дороге, у сосновой рощи. Он не мог разобрать — мужчина это или женщина, но проходил пригорок за пригорком, лощинку за лощинкой, а фигура все оставалась в одном положении, как он сперва увидал ее, — немного запрокинув голову и забросив руки на затылок.

«Кто же там? — подумал Никодим. — Наверное, кто-то ждет меня. Да не может быть!»

И у него уже не хватило терпения идти этою далекой, причудливо ложащейся дорогой, — он бросился почти бегом, напрямик, через пески и вспаханные поля, думая только об одном: как бы не потерять из глаз увиденную вдали фигуру. Пробежав больше половины расстояния, он выбился из сил в глубоких песках и волей-неволей должен был вернуться на прежний путь. Последняя часть пути ложилась сплошь через бугры, Никодим то и дело нырял между ними и, когда оказывался наверху, опять перед ним вставала фигура в неменяющемся положении — с головою, запрокинутой ввысь, и руками, заброшенными на затылок.

Расстояние все уменьшалось. Последний раз Никодим сбежал в заросший лозняком овражек и, когда поднялся наверх, очутился с фигурой уже лицом к лицу и вскрикнул от изумления.

Перед ним оказался вовсе не живой человек, а фигура нагой женщины, вырезанная из дерева, и нельзя было сомневаться в том, что образцом для нее послужила госпожа N. N.

Вырезана же она была из желтоватого, хорошо полирующегося дерева: слои древесины то расходились по ней частыми ровными полосками, то разнообразно и причудливо уширялись на сгибах; нельзя было и подумать, что это не скульптурное произведение, — глаз не замечал шарниров или скреплений, — все казалось сделанным из одного куска, и только сквозь искусно проделанные отверстия выдавались и дышали живые женские груди, но дерево было так хорошо пригнано к ним, что не каждый раз при выдохе показывались щели между деревом и живым телом.

В молчании, чувствуя, что колени у него подгибаются, слабея, Никодим простер руки к фигуре — как бы желая осязать ее и вместе боясь притронуться к ней. Но тут он заметил в фигуре движение и жизнь.

Тогда Никодим вскрикнул и опустился на одно колено — фигура же переступила на месте, но не изменила положения головы.

И в тот же миг Никодим услышал за своей спиной отвратительный визг. Темное и нескладное вылетело (именно вылетело) из-за его спины и бросилось к ногам фигуры, обнимая их. Это был не кто иной, как послушник.

— Madame, madame! — визжал он, захлебываясь в зверином восторге. — Если бы вы меня поняли! Если бы позволили мне высказаться, излить перед вами мою душу!.. Нет! Нет! Нет! Вы способны, но вы не хотите!.. А я хочу вам сказать...

— Оставьте, — сказал Никодим брезгливо, поднимаясь с колена. — Я еще не знал, что вы такая дрянь и притом решили неотступно следовать за мной.

Но послушник не обратил на него внимания и по-прежнему лобызал деревянные ноги.

Голова фигуры в ту минуту склонилась, и руки фигуры высвободились. Досадливо она отстранила послушника, пошевелила деревянными губами и, повернувшись, пошла к лесу. Низко свисающий сосновый сук загородил ей дорогу — она отвела его в сторону и скрылась. Послушник кинулся за ней следом.

Никодим же с мучительным криком бросился на землю и принялся колотить по ней в озлоблении кулаками. Долго ли длилось его исступление, он впоследствии не мог представить себе, но, когда он, измученный, затих и лег прямо в дорожную пыль, полузакрыв глаза, — поблизости от себя он услышал чей-то шорох.

Подняв голову, Никодим увидел все того же послушника, сидевшего на кочке под кустом и старательно очищавшего от паутины, сосновых игл и сухих листьев свою потертую ряску.

Никодим, лежа, еще долго глядел ввысь, потом поднялся, подошел к послушнику вплотную и сдернул с него клобук.

Послушник недоумевающе поднял голову.

— Я не знал, что вы такая дрянь, — еще раз сказал Никодим и озлобленно швырнул клобук на землю.

Послушник встал, подобрал клобук и отряхнул с него пыль — все молча.

Никодим пошел дальше — послушник за ним. Никодим обернулся и сказал:

— Исчезните совсем!

Послушник немного отстал, но потом опять нагнал Никодима. Никодим это почувствовал и сказал снова, не оборачиваясь:

— Еще раз говорю вам: пропадите!

Послушник не слушался.

Тогда Никодим изловчился и лягнул его назад, именно как лягаются лошади — прямо в живот. Послушник вскрикнул и упал, но сию же минуту опять вскочил на ноги и бросился вслед за убегающим Никодимом.

Никодиму стало стыдно своего бегства, он остановился, обернулся и спросил неотвязчивого спутника:

— Что вам нужно?

— Ничего. Нам предстоят еще некоторые интересные встречи. Я эти места знаю. Вы думаете, что здесь обыкновенные места, — и ошибаетесь. Я вас очень люблю — иначе я не пошел бы с вами. Без меня вам здесь не пройти.

— Я одно думаю, — ответил Никодим, — что вы большой наглец.

Послушник ничего не сказал и только пожал плечами.

ГЛАВА XXII
Дом желтых

Когда, идучи уже рядом, Никодим и послушник отошли от места встречи со странною фигурою и сердце Никодима успокоилось, Никодим обратился к своему спутнику с вопросом:

— Что вы обо всем этом думаете?

— О случившемся-то? Видите ли, я, разумеется, не вправе иметь какое-либо свое мнение или суждение, не говоря уже...

— Я вас не понимаю. К чему все это вы говорите — о мнениях и суждениях?

— Как к чему? Вы человек вспыльчивый, и должен же я знать наперед, как думаете вы в данном случае, чтобы не получить опять в спину или живот ногой. Приходится в обществе подобных людей оберегать себя.

— Ах так! — рассмеялся Никодим. — Вы ждете, чтобы я извинился перед вами за мой недавний поступок? Я этого не сделаю. Лучше скажите мне, что вы думаете, — я обещаю не бить вас больше.

Послушник помолчал, как бы раздумывая, сорвал две-три желтых травинки и ощипал их. По лицу у него пробегало что-то неопределенное: будто он и колебался, и смеялся в душе вместе.

— А показать вам синяк? — спросил он вдруг Никодима.

— Зачем? Ваш синяк на животе? — удивился Никодим. — Нет: мне он неинтересен.

— Вам ужасно неловко передо мной, — заметил послушник, — только вы не хотите в том признаться.

Никодим продолжал идти молча. Послушник понял, что нить разговора порвалась, и постарался исправить положение.

— Как вы думаете, — спросил он, — действительно это была только деревянная фигура?

— Нет! — ответил Никодим, не оборачиваясь к собеседнику, смотревшему на него. — Это была госпожа N. N.

— Я догнал ее в лесу, — возразил послушник, — и ущипнул — настоящее дерево.

— Вы что же, из любопытства ущипнули? И разве я просил вас догонять ее?

Послушник остановился, удивленный. Остановился и Никодим, но по-прежнему не оборачиваясь к послушнику.

— Почему же, — спросил послушник, выделяя каждое слово, — вы полагаете, что я обязан спрашивать вас о всех моих поступках и действиях? Вы, должно быть, не в полном уме, милостивый государь.

Никодим усмехнулся, не меняя положения.

— Госпожу N. N. я так же хорошо знаю, как и вы. Даже лучше. Притом она оказывает мне более предпочтения, чем вам.

Никодим вздрогнул и повернулся всем телом.

— Как? — сказал он, задыхаясь. — Вы смеете здесь, в моем присутствии, упоминать вашим дрянным языком имя госпожи N. N.! И откуда вы ее можете знать? Я вас побью еще раз.

— Вы же обещали меня не бить, — возразил послушник, опасливо отстраняясь и загораживая лицо рукой.

— Успокойтесь. Бить вас я не буду. Идем дальше — мне нужно торопиться.

И, сказав это, Никодим решительно зашагал. Послушник снова засеменил с ним рядом.

Через сто шагов он опять заговорил:

— Я обещал вам интересную встречу.

— Мне некогда, — отрезал Никодим, — еще засветло я должен добраться до имения.

— Мы не задержимся. Это совсем рядом. Тут при дороге — стоит только отойти пятьдесят сажен, и вы увидите.

Никодим вынул часы, поглядел на них и сказал:

— Ну если действительно пятьдесят сажен — я могу доставить вам удовольствие провести меня до места. Ведите.

— Вы не бойтесь. Я вам ничего дурного не намерен сделать и не собираюсь вовсе отплачивать за тот удар ногой и за непочтительное обхождение со мною.

— Я не боюсь. Откуда вы взяли, что я мог бы вас бояться?

— Из собственного опыта. Ах, я всего боюсь.

— Что же за диковина там, которую вы собираетесь мне показать?

— А вот увидите. Вы не будете жалеть.

— Ведите! — окончательно решился Никодим.

— Сюда! — указал послушник на тропинку, уходившую влево, в старый лес.

Они перепрыгнули через канаву и вошли в чащу старых и молодых елей, там едва можно было пробраться. Но действительно, пройдя с полсотни сажен, они очутились на поляне; дальше пути не было — тропинка обрывалась на берегу пруда, заливавшего почти всю поляну.

Пруд по краям зарос высоким и частым камышом, а посередине его возвышался островок, и на нем стояла хижина в одно окно, крытая еловыми лапами, перевязанными веревками и в нескольких местах придавленными осколками кирпича. Из трубы выходил сизый дымок. Все это вместе с окружающим старым лесом, разукрашенным разнообразными красками осени, отражалось в синей поверхности пруда, между плавающими по его глади желтыми листьями, снесенными ветром. Но людей на островке, мостика к нему или челна на пруде не было видно.

— Нам нужно попасть туда, — пояснил послушник.

— Как же мы туда попадем — вброд или вплавь? — спросил Никодим.

— Я знаю как! — досадливо ответил послушник и пошел в обход пруда; Никодим последовал за ним. Перейдя на другую сторону, послушник вошел в камыши; там, осторожно их раздвигая, он очутился у самой воды, взглянул вправо, влево и, высмотрев чурбанчик, прыгнул на него; с чурбанчика перескочил на кочку и затем уже на какую-то мостовину, уходившую под ногой в жидкую грязь и в воду. Никодим не отставал от своего спутника ни на шаг.

Шаг за шагом они прошли камыши до чистой воды и здесь увидели вбитые сваи: вероятно, там все же был когда-то мостик, но остались только сваи, и теперь осенняя вода покрывала их с верхом.

Переступая по ним с одной на другую и расплескивая воду, путники переправились через узкий проток и снова оказались в камышах, росших уже по берегу островка; через десяток прыжков они оказались и на самом острове.

— Недурное упражнение, — заметил послушник, — прямо испытание на ловкость. Вы промочили ноги?

— Ничего! — буркнул Никодим.

Послушник направился к хижине. Тут заметили они на острове первое живое существо: огромную, совершенно черную кошку с большими желтыми глазами, лениво гревшуюся на припеке. Но она не обратила на пришедших внимания.

Постучав в дверь дома и не получив ответа, послушник сам отворил дверь в хижину. Через его плечо Никодим увидел на полу хижины человека, сидевшего, поджав под себя ноги калачиком. За человеком возвышалась, перегораживая хижину пополам, огромная, высокая ширма, почти до потолка. В хижине было довольно светло — все можно было рассмотреть.

На семи створках ширмы по светло-коричневому шелку было изображено одно и то же в точном повторении: пушистая кошка, белая, в оранжево-коричневых пятнах, сидела с четырьмя котятами под кустом темно-красных шток-роз и любовно смотрела на игру двоих котят — одного совсем черного, другого белого, с коричневыми и черными пятнами; третий, в стороне, весь оранжево-коричневый, чесал лапкой за ухом, а четвертый, белый с черными пятнами, смирно сидел рядом с матерью. За ширмой кто-то шевелился и шуршал, должно быть, соломой.

Рядом с человеком на полу стояла пара фарфоровых сосудов и корзинка, плетенная из лучины, прикрытая куском китайской материи, очень красивой, но грязной и затасканной: темно-синие цветы ложились на ней по голубому полю. Сосуды же были весьма замечательны: первый в виде вазы, с горлом, расписан-

ным по бледно-синему полю оранжевыми цветами, с выпуклым изображением внизу, у самого основания, многочисленной группы людей: там, впереди всех, по темно-зеленой траве выступал чернобородый китаец, обнаженный до пояса; воздевая правую руку, он нес в ней голубовато-зеленый плод; на китайце была надета светло-зеленая широкая одежда, из-под нее выставлялась красная юбка и белые башмаки; дальше выступали в разноцветных одеждах другие, но всех их Никодим не мог рассмотреть; над группой сияло зеленоватое небо, желтое к краю; по нему плыло драконообразное синее облако с ободком, переходящим в разные цвета, и летела длинношеяя красноклювая птица. Второй сосуд был светло-голубой на черном основании и с черной крышкой над узким горлом; белые цветы покрывали его поверхность, а черный дракон силился выползти из его стенки.

— Интересно? — спросил послушник Никодима.

Только при этом слове сидевший на полу человек поднял навстречу гостям свою голову. На Никодима глянуло хитро улыбающееся китайское лицо. Одет хозяин хижины был в синюю грязную курму и очень чистую белую юбку, черная жирная коса обвивалась вкруг его шеи, на ногах у него были китайские башмаки на толстых подошвах, в руках он держал плетенье из соломы, над которым перед тем работал.

Китаец на лице отобразил большую любезность. Отложив плетенье в сторону и покопавшись в корзине, он вытянул вертушку из пестрой бумаги, протянул ее Никодиму и заговорил, очевидно, предлагая вертушку купить. Но заговорил он на таком ломаном русском языке, что его нельзя было понять. Никодим досадливо отмахнулся.

Одну минуту Никодим из вежливости готов был эту вертушку купить, но почему-то внутренне не мог решиться на такой поступок.

Китаец же, видя, что его не понимают, вдруг заговорил по-французски, и довольно сносно. С первым французским словом противная любезность сошла с его лица — Никодим же изумленно раскрыл на него глаза.

— Где вы научились по-французски? — спросил его Никодим.

— Я жил долгое время в Париже, — ответил китаец.

— Откуда вы? из Китая?

— Нет, я с островов.

— Из Японии?

— Нет, я с островов.

— Но с каких же? С Курильских? с Формозы? из Индокитая? Ведь все острова имеют названия.

— Нет, я с островов, — упорствовал китаец и добавил: — Вы не смейтесь, пожалуйста, над моим товаром.

— Я не смеюсь.

— Нет, вы не хотели купить. Китайский товар — очень хороший товар. Я бедный человек и живу торговлей. Надо мной не надо смеяться.

— Я не смеялся над вами, — постарался убедить его Никодим.

— Я предложил вам купить эту вещицу, а вы не хотите. — Китаец снова показал пеструю вертушку.

— На что же мне эта детская вертушка, — возразил Никодим, — вы лучше продайте мне вот эти сосуды.

— Сосуды я продать не могу — это мои сосуды.

— Тогда ширму.

— И ширму не могу — это также моя ширма...

— Вот видите: мне у вас купить нечего.

— Купите у меня жену.

— Вашу жену? — переспросил Никодим, не веря своим ушам и пятясь к выходу. — Вашу жену? Нет... мне, право, не надо... извините.

И выскочил наружу, раскланявшись. Послушник вышел за ним и притворил дверь в хижину.

— Купите! — крикнул им китаец еще вдогонку. — Моя жена — ваша жена. Вы хотите думать. Вы не будете думать. Вам не надо!

Никодим живо перебрался с островка на берег — тем же путем. Теперь уже послушник шел сзади него.

Дойдя до тропинки, Никодим еще раз взглянул на остров и на хижину. Китаец из хижины не вышел, а черная кошка, потягиваясь, пробиралась домой.

ГЛАВА XXIII
Китайское растение

— Зачем вы повели меня к этому китайцу? — спросил Никодим послушника уже на дороге.

— Он, во-первых, не китаец, а во-вторых, как вам не надоело самому постоянно обо всех вещах спрашивать: почему и зачем?

Никодим ничего не ответил. Ему показалось забавным, что послушник начинает его учить. Послушник же опять почувствовал, что нить разговора оборвалась, и, как и тогда, попробовал исправить свою ошибку.

— А разве не было интересно? — сказал он. — Я вас и еще свел бы в одно место, да вам ведь некогда — боюсь задержать.

— Да, действительно некогда, — согласился Никодим.

Разговор решительно не завязывался.

— И еще, — начал опять послушник, — напрасно, по-моему, вы отказались от покупки его жены. Мне, конечно, это не по средствам, а на вашем месте я непременно купил бы.

— Благодарю покорно, — отрезал Никодим, — не хотите ли — я снабжу вас деньгами?

— Вы знаете, — нисколько не смущаясь, продолжал послушник, — в этом есть что-то пикантное, а я очень слаб к пикантному. Ни одного удобного случая не мог пропустить. И, по-моему, он глубоко прав: моя жена — ваша жена. Совершенно безразлично. Я всегда чувствовал тяготение к их восточной мудрости. Восточная мудрость — моя стихия.

Никодим по-прежнему молчал.

— Кроме того, — начал послушник в третий раз, — вы, кажется, не в состоянии видеть важность многого из того, с чем вам приходится сталкиваться.

Самолюбие Никодима было задето.

— Да, — сказал он, — у меня много недостатков, и тот самый, который только что назван вами, — один из досаднейших. А скажите мне — давно этот китаец живет здесь на острове?

— Он не китаец. Он же утверждает совсем другое: вы забыли, что он повторял о своем происхождении?

— А разве вы знакомы с французским языком? Я не предполагал.

— О да! Французский язык я очень люблю. Французский язык — это моя стихия.

— Много же у вас стихий. Но скажите мне, наконец, если знаете, — давно здесь живет этот человек?

— Давно. Лет пятнадцать. Я еще в детстве бывал на этом острове у него. И тогда еще дал этому месту название «Дом желтых» — не правда ли, красиво?

— Красиво. Романтическое название, — криво усмехнулся Никодим.

— О да, романтическое. Вы верно заметили. Я всегда любил романтическое. Романтическое — это моя родная стихия.

— Послушайте, сколько же стихий в родстве с вами?

— Все, все. Очень много. И говорят, что под домом этого человека есть еще подземелье. Я, конечно, сам не спускался туда и входа не видел, но мне передавали достоверные люди...

Так беседуя, Никодим и послушник незаметно для себя подошли к имению Ирины. Когда они взобрались на последнюю горку, перед ними, среди распаханных полей, из-за густо посаженных лип и дубов, совсем близко от дороги, показалась красная крыша большого помещичьего дома; садовая ограда выбежала к самой дороге, и на валу ограды за живою изгородью они увидели Ирину, махавшую путникам платком; Ларион, конечно, раньше Никодима добрался до имения и успел сказать, какою дорогою пошел Никодим.

Несколько слов об Ирине. Из предыдущего складывалось, что будто бы Никодим был влюблен в Ирину и что она, со своей стороны, также питала к нему некоторые нежные чувства, — но возможность подобного предположения необходимо рассеять.

Ирина была полутора-двумя годами моложе Никодима; их все считали большими друзьями с детства, и Никодим часто поверял Ирине такие свои мысли и чувства, которые он другим бы не поверил. Виделись они друг с другом довольно редко. Правда, Никодим иногда, что вполне понятно в людях его возраста и притом еще не любивших, считал себя способным влюбиться именно в Ирину и подчас думал, что он, в сущности, уже влюблен в нее, — на самом деле все это было лишь игрою праздного ума.

Ирина выросла высокой и красивой девушкой, она заплетала в две косы свои темно-русые волосы; одевалась просто, держалась прямо и строго. За год до описываемых событий она потеряла в один месяц отца и мать и, будучи от природы решительной и вместе с тем старшею в семье, смело взялась за ведение хозяйства в имении и повела его хорошо; Ирину окрестные помещики хвалили; иногда, не считаясь с ее молодостью, заезжали к ней даже советоваться.

— Я хотела видеть вас непременно сегодня, — сказала она Никодиму, — у меня праздник, — и покосилась при этом на Никодимова спутника, взглядом спрашивая: кто он такой?

— Извините, — ответил Никодим, — я должен вам представить моего случайного спутника и попросить вас приютить его на ночь, — и вдруг он вспомнил, что не знает, как послушника зовут, что послушник до той минуты, кажется, вовсе и не собирался где-либо останавливаться с Никодимом и не говорил, куда идет.

Но было уже поздно поправляться. Послушник, подбоченясь слегка левой рукой, а в правой держа свой клобучок, принял вид независимый, поклонился и представился:

— Феодул Иванович! — (Перед вторым словом он остановился на короткое время; слово «Феодул» произнес несколько растягивая, а «Иванович» — очень подчеркивая, причем вся его фигура и тон, казалось, говорили о желании выразить одну определенную мысль, что вот, мол, другой на его месте, может быть, сказал бы, и даже наверное, просто «Иванов», но что он с такою устарелою манерой произносить отчество не считается и легко позволяет себе говорить «Иванович».) Помолчав, он добавил: — Марфушин, — и после второй паузы: — Он же Муфточкин.

Сначала Никодим заметил только одно: что буква «ф» входила и в имя и в фамилию послушника, но, вспомнив утренний с ним разговор, вдруг громко рассмеялся.

— Что с вами? — спросила его Ирина строгим и недовольным голосом. Конечно, это казалось ей невоспитанностью.

— Ох! Я не могу! — отвечал Никодим, давясь смехом. — Ох... он мне... сегодня... этот самый... утром... говорил, что он хорошей и древней дворянской семьи... ох... я не могу... вот так семья: Марфушины — Муфточкины!

Послушник поглядел на Никодима скоса и обиженным голосом заметил:

— Не утруждайте себя, господин Ипатьев, смехом: моя фамилия нисколько не хуже вашей.

Смех Никодима сухо и неловко оборвался. Он замолчал.

— Пожалуйста, взбирайтесь сюда, — указала им Ирина на садовый вал, — и пойдемте к гостям.

Когда они очутились в саду, Ирина пошла впереди рядом с Никодимом; послушник шел сзади.

— Что за дрянь вы привели с собою? — спросила Ирина Никодима полушепотом.

— Ах, не говорите! — отмахнулся Никодим. — Привязался на дороге. Со мною сегодня все несчастья, — добавил он печальным голосом.

— Что такое? — участливо спросила Ирина.

— Ларион, вероятно, вам уже рассказал, почему я не поехал дальше с ними.

— Да! Ларион рассказывал, — ответила Ирина. Она, видимо, не хотела придавать случаю сколько-либо значения, и Никодим уловил это.

— Какой у вас праздник? — спросил он, меняя разговор.

— Сегодня я досаживаю новый сад; осталось посадить всего три куста, но я хочу посадить их непременно с вами; у меня нынче много гостей, и все уже потрудились — теперь ваша очередь.

Они вышли на площадку, обсаженную молодыми кустами: это был новый сад, он выходил не на дорогу, а в поле и был тоже окопан валом с канавой.

На площадке собрались гости; их было много, и между ними несколько знакомых Никодиму, но увидел он также и неизвестных ему; все с любопытством посматривали на его спутника. Здороваясь с гостями, Никодим подошел к одному человеку, стоявшему совсем в стороне, и вдруг неприятное чувство охватило его при виде нового знакомого: в нем он не мог не увидеть несомненного сходства с Лобачевым.

— Вы не родственник ли Феоктиста Селиверстовича Лобачева? — спросил Никодим.

— Нет, — ответил господин брезгливо, — но господина Лобачева я знаю.

Ремесло господина было актерское.

Это Никодиму стало вдруг ясно.

— Вот последние три куста, — указала Ирина Никодиму на садовников, стоявших у вала и державших кусты наготове.

Посадить кусты было делом нескольких минут. Окончив работу и радостно вздохнув, Ирина сказала:

— А здесь моя пещера. Только вход в нее не из сада, а с поля. — И, сказав, взобралась на вал и резво спрыгнула в канаву.

Никодим спрыгнул за нею.

— Знаете, — заметил он деловито, заглядывая в пещеру, — мне кажется, что верх вашей пещеры скоро обвалится — особенно если будут много ходить по валу. Отчего вы не сделали в пещере свод из кирпичей?

— Глупый! — ответила весело Ирина. — Какая же это будет пещера, если потолок в ней сделан кирпичный: ведь будет похоже тогда на погреб. Лучше посадить сверху каких нибудь кустов, и через кусты уже никто не будет ходить.

Никодим смутился от своей несообразительности. В ту же минуту за его спиной кто-то заговорил на ломаном русском языке: по голосу Никодим сразу узнал китайца, с которым только что виделся.

Обернувшись, Никодим сказал:

— Ах это вы!

Китаец, признав Никодима, перестал говорить. В руках он держал пеструю бумажную вертушку, снова предлагая ее купить.

— Спрячьте вашу вертушку, — сказал ему Никодим по-французски, — лучше дайте нам совет — вы, я вижу, толковый человек, — что нам посадить над этой пещерой, а то верх ее обвалится?

Вопрос был предложен в шутку, но китаец принял его всерьез и сказал:

— Китайское растение.

И при этом покачал головою, спрятал пеструю вертушку в свою корзинку, затем покопался в корзине и вытащил оттуда расписанную яркими красками маленькую китайскую коробочку.

— Такое растение вы можете найти только у меня, или вам придется ехать за ним в Китай, — сказал он, не без важности раскрыл коробочку и вытряхнул содержимое ее себе на ладонь.

Ирина и Никодим с любопытством нагнулись, чтобы рассмотреть растение: оно было очень маленькое — в половину обыкновенной булавки, с белым прозрачным корешком, и два сизых листочка на нем уже распустились чашечкой, а два других, еще не распустившихся, были свернуты в забавный шарик.

— Это растение у нас не будет расти: оно совсем игрушечное, — сказал Никодим с сожалением.

— Будет, — убежденно ответил китаец, — я честный купец, я никогда не обманывал; оно скоро разрастется и будет большое-большое.

Он показал руками, какое большое будет растение.

Но Ирина уже завладела растением и сказала Никодиму:

— Заплатите ему.

Никодим бросил китайцу монету, и тот, поклонившись, пошел через поле к дороге.

Земля над пещерой была сухая и рассыпчатая. Взобравшись на вал, Ирина разгребла руками маленькую ямку в земле и сунула растеньице в пыль. Затем она позвала садовника и приказала ему принести немного воды и стакан, чтобы прикрыть растение, но когда обернулась — растения уже не увидела. Куда оно могло пропасть — трудно сказать, но оно было таким маленьким, что даже ветерок мог легко унести его.

— Я потеряла растение, — сказала Ирина Никодиму дрожащим голосом: ей до слез было жалко растения.

— Не плачьте, — утешил ее Никодим, — я, быть может, еще найду его, — и стал искать повсюду: на валу, в канаве, около вала, на площадке. Но становилось уже довольно темно, и трудно было что-либо отыскать.

— Догоните китайца, — приказала Ирина, — у него, наверное, есть еще такие растения.

Никодим выбежал за вал, поглядел в поле, вышел на дорогу, дошел до пригорка и посмотрел во все стороны: китайца нигде не было видно.

— Не знаю, куда он мог так скоро уйти, — сказал Никодим Ирине, вернувшись.

ГЛАВА XXIV
Неистовый танцор. — Лобачевские фабрикаты

После вечернего чая, сидя на крыльце и охватив колени руками, Никодим рассказывал Ирине о прошедшем дне.

Гости поразъехались; только что за домом простучала по мосту коляска последних, запоздавших. Ночь темнела, и лишь огни из окон дома бросали малый свет на окружавшие дом деревья и на дорожки сада. Луны не было. В воздухе, еще теплом, несмотря на восьмое сентября — день Рождества Богородицы, — не раздавалось уже ничьих голосов, замолкших с уходом лета.

Никодим говорил о китайце, о неотвязчивом и загадочном китайце, когда вдруг, на половине рассказа, из мрака знакомый голос произнес:

— Я люблю Китай: в нем есть что-то родное нам, и я всегда это родственное чувствовал.

— Опять вы здесь! — с досадой воскликнул Никодим. — Как вам не стыдно подслушивать?

Послушник не ответил и не показался из мрака. Но по звуку шагов можно было догадаться, что он поспешно и боязливо отошел прочь.

— Вы сегодня, кажется, очень устали? — заботливо спросила Ирина Никодима. — Вам нужно раньше лечь спать. Я скажу Лариону.

Когда через полчаса Никодим, распрощавшись со всеми, собирался уже раздеться и лечь, в дверь к нему постучали.

Он ответил. Дверь отворилась, и на пороге показалась Ирина. Она не вошла в комнату, но только спросила Никодима раздраженным полушепотом:

— Скажите, пожалуйста, кого вы привели с собой? Какого послушника — разве это послушник?

— Почему же не послушник?

— Пойдите и посмотрите еще раз, если вы его забыли. Прошу вас.

— Я тут ни при чем, — равнодушно ответил Никодим.

— Но ведь вы же его привели? — ответила Ирина возмущенно.

— Я не мог его отогнать.

— Никодим! Как вам не стыдно? — Она говорила так, будто ей было не двадцать три, а шестьдесят три года.

— Ирина, — ответил Никодим, попадая в ее тон, — мне нисколько не стыдно. Все на свете делается само по себе и к лучшему.

— Зачем же вы передразниваете меня, — ответила она обиженно, — что же, по-вашему, это хорошо и должно быть для меня безразлично?

За полурастворенным окном на тропинке в это время промелькнуло что-то темное в белом переднике: должно быть, горничная. Сзади за нею кто-то пробежал, и через минуту за кустами раздался визг и смех двоих людей. Пробежавший сзади был, несомненно, послушник.

Ирина с досадой захлопнув дверь, сказала Никодиму «спокойной ночи» и ушла, явно рассерженная и возмущенная.

«Действительно неприятно, — подумал Никодим, оставшись один, — как это я не мог отделаться от него? Привести такое чучело к своим друзьям и знакомым — прямо неприлично».

Он, мучаясь этим, еще долго не мог заснуть.

А Ирине не спалось. Постель казалась ей жаркой и неуютной, и все чудилось, что по комнате кто-то ходит. Зажегши свечу и накинув на себя платье, Ирина с огнем вышла из спальни, чтобы осмотреть дом. Проходя мимо зала, она услышала там шорох и заглянула в зал.

При слабом свете свечи, потерявшемся в огромной, высокой с антресолями комнате, Ирина увидела перед собой фантастическое существо. Полуголый человек, одетый в красные шаровары, которые только и выделялись своим цветом в полумраке, в курточку-безрукавку и в темной чалме со свешивающимся концом, неистово, но бесшумно выплясывал по залу совсем особенный танец.

В его танце не было легкости или того, что привычно называют грацией, но тем не менее танец зажигал, подчинял себе, и Ирина сама не заметила, как она, в лад танцу, начала слегка покачиваться.

Танцор откидывал назад туловище и выставлял вперед то одну, то другую ногу, сгибая их в колене, а голову запрокидывал и руки свешивал бессильно позади туловища, с каждым шагом корпус его подкидывался и вздрагивал; так он шел быстро и доходил до стены зала; затем пятился назад уже медленнее, перегибая туловище вперед и руки опять свесив, пятки же высоко подбрасывая в воздух; иногда он хлопал в ладоши, но беззвучно; чалма на его голове тряслась, и свешивающийся конец ее развевался в воздухе.

Ирину танцор сперва не заметил, но когда она, смертельно перепуганная, бросилась к себе в комнату и, вместо того чтобы скрыться прежним путем, по коридору побежала через залу, — он увидел ее и, не прерывая танца, стремительно пошел прямо на нее и загнал ее в угол. Ирина, пятясь в страхе, оказалась припертой к стене.

Танцор теперь уже поднял руки; стоя перед Ириной и перепрыгивая с одной ноги на другую, он поочередно тыкал в воздухе указательными пальцами и в такт этому пел:

Кит-Кит-Кит-Китай,
Превосходный край!
Что ни шаг — масса благ,
Всюду чудеса!

Словом, как в известной оперетке. Но оттого это было и жутко и смешно вместе — и вдруг он стремительно схватил Ирину за руки. Она вскрикнула и уронила свечу — свеча потухла, и в тот же миг Ирина почувствовала губы танцора на своей шее, и у нее мелькнула мысль, что танцор укусит ее, но она ощутила только мерзкий и липкий поцелуй, обжегший ее с головы до ног всю. Танцор вдруг так же стремительно отскочил и выбежал из зала.

Ирина, дрожа от страха, на полу отыскала спички и зажгла свечу. Еле ступая, будто ушибленными ногами, пошла она из залы и на пороге запнулась за грязные сапоги с изломанными носками; сверху их прикрывала черная ряса, но Ирина побоялась тронуть это. С трудом добралась она до своей спальни и до утра не могла заснуть, но никого не позвала и никому ничего не сказала. Она считала, что рассказать об этом можно будет только Никодиму, и потому ждала утра.

Никодим, быть может, в ту же минуту, когда Ирина выбежала из зала, проснулся, и первое чувство, которое охватило его, — было чувство неловкости и раскаяния за все сделанное. Ему казалось, что Ирина завтра предложит ему оставить ее дом навсегда, заказав в него вход.

Никодим сел в постели и отер со лба холодный пот.

Он вместе боялся, что послушник теперь ни за что его не оставит и будет везде преследовать.

Одновременно он вспомнил Уокера. Подумал, что Уокер теперь должен уже быть в Петербурге и что следует, не откладывая, ехать туда, чтобы уличить или Лобачева, или самого Уокера во лжи и отобрать у них записку господина W.

Он вспомнил еще отца Дамиана и подумал, сколь он глупо приступал к старцу; затем встал, оделся, собрал свои немногочисленные вещи, сел к столу и с торжеством представил себе, как обозлится послушник, когда не найдет его завтра здесь. Стоит уйти только сию же минуту.

Никодим написал Ирине записку: «Извините, что я уезжаю совсем по-особенному: я вспомнил, что мне необходимо как можно скорее повидать одного из моих знакомых. Каждый час дорог — приходится уйти среди ночи. Я скоро буду обратно, через несколько дней заеду к вам. Никодим».

После этого, пересмотрев еще раз свои вещи, он открыл окно и выскочил на дорожку сада. Где-то залаяла собака, но Никодим с необыкновенной легкостью пробежал пространство до живой изгороди и выбрался в поле. Собака взбежала на вал и принялась лаять ему вслед.

Никодим быстро уходил, не общая на нее внимания. Он направлялся проселком к ближайшей железнодорожной станции. Дорога была сухая, хорошая; идти было легко.

Утром он вышел к станции. Она приходилась около большого торгового села, расположенного при судоходной реке, заставленной баржами с хлебом и другими товарами. В селе были две церкви — каменная и деревянная, или новая и старая, как их называли, — много лавок и два или три трактира. До поезда было довольно долго. Никодим посидел на станции, но утренняя свежесть давала себя чувствовать, и он пошел в открывшийся трактир.

Людей, сидевших в трактире за столиками и пивших чай, кто с ситным, кто с баранками, было немного числом, но они были разнообразны: в темном углу перешептывались две загорелые, черноволосые бабы, снявшие платки и остававшиеся только в повойниках: одна в зеленом, другая в красном; посередине большой комнаты сидело пять или шесть извозчиков в одних жилетках, вполголоса разговаривавших и усиленно дувших на блюдечки; были между ними и молодые и старые; за отдельными столиками поодиночке сидели: какой-то странник с котомкой и собственным жестяным чайником; он все время перемигивался со странницею, притаившейся в противоположном углу; неподалеку от странника почесывал безволосый подбородок молодой пономарь с двумя жидкими косицами; у окна читал газету базарный торговец-мясник, а через стол за ним поеживался совсем захудалый мужичонка, козлобородый, в продранном и заплатанном сермяжном армяке.

Сам трактирщик за стойкой перетирал стаканы, ради чистоты, но окна трактира были грязны, с потоками пыли на них от дождя и с радужными пятнами, а углы комнат пауки сплошь заткали паутиной.

Двое половых сидели рядком у стены и подремывали. Когда Никодим вошел в трактир — все сидевшие в комнате обернулись к нему и пристально посмотрели на него, но он проскользнул в меньшую комнату и уселся там в уголок.

Потребовав чаю, Никодим заметил на окне несколько номеров затрепанного журнала. Журнал этот все знают, и где его не встретишь, — это был «Огонек».

Никодим скоро пересмотрел все рисунки и перечитал все рассказы и стихотворения. Чай был тоже допит. Никодим взглянул на часы: до поезда оставалось не так долго, но все же идти из тепла на холодную, открытую ветру платформу

не хотелось, и можно было еще подождать. Никодим, чтобы убить время, стал читать объявления в журнале. Почти первое, что ему попалось на глаза, было:

ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНО ДЛЯ МУЖЧИН.

Каталог разнообразных и действительно интересных и полезных предметов собственной фабрики высылается всем желающим в закрытом конверте за 2 семикопеечные марки. Спешите сообщить ваши адреса: Ф. С. Лобачеву. С.-Петербург, Пушкинская ул., д. № —, кв. № —.

По бокам объявления были изображены длинноногие молодые люди в шляпах, высоких воротничках и белых манжетах.

— Черт знает что такое! — выругался Никодим от всего сердца и так громко, что все сидевшие в трактире невольно к нему обернулись.

Бросив деньги на стол, Никодим поспешно вышел: он не терпел, когда любопытство людей обращалось на него.

«Положительно нужно побить Лобачева; я не в состоянии более переносить все это», — подумал Никодим уже на улице.

ГЛАВА XXV
Второе объяснение с Лобачевым

У станции Никодим уже явно весь переменился: лицо его, до того хмурое, прояснилось, спина, сгорбившаяся за последнюю неделю, опять выпрямилась, на душе стало просто и приветливо: намерение побить Лобачева отпало само собою, и теперь хотелось только поговорить с ним настойчиво и строго. Никодим последнее время не сомневался относительно местонахождения записки господина W — он был убежден, что записка в руках Лобачева, а не у Уокера.

Дверь в квартиру Лобачева в городе утром 10 сентября ему отворил тот же самый слуга, что и в прошлый раз. Ничего ему не говоря, Никодим прошел прямо в кабинет к Лобачеву.

Лобачев сидел за письменным столом, боком к двери, из которой Никодим показался, и, хотя он слышал, что в комнату вошли, — не повернул лица, и первое время Никодим только и заметил его профиль.

Никодим в ту же минуту отлично вспомнил, где он этот профиль однажды уже видел, — утром, когда после выслеживания чудовищ он возвращался с Трубадуром домой и его нагнал ехавший над обрывом экипаж, — в экипаже сидел господин, несомненно, с этим профилем.

— А-а! — сказал Никодим себе почти вслух, но Лобачев этого не заметил, хотя уже обернулся к Никодиму.

— Здравствуйте, — приветствовал его Лобачев, сметая рукой со стола разный сор прямо на пол, — я знал, что вы сегодня ко мне придете. Садитесь.

«Лжет, что знал», — подумал Никодим, но приглашению сесть повиновался и, подавшись к стенке, присел на стул, выставив вперед руки и положив кисти их на колени, шляпу же свою придерживая двумя пальцами.

— Здравствуйте, Феоктист Селиверстович, — сказал Никодим, немного подождав (он тогда нарочно сделал так), — скажите мне, пожалуйста, не намерен ли сегодня у вас быть господин Уокер?

— Нет, не намерен, — ответил Лобачев совсем просто, — а впрочем, не знаю, — он является и непрошеным и без предупреждения.

— Феоктист Селиверстович! — сказал Никодим, придавая своему лицу определенное выражение непреклонности, — я не стал бы вас беспокоить; поверьте,

у меня нет никакой охоты посещать вас не только так часто, как я посещаю последнее время, но и вообще; однако кой-какие вопросы заставляют меня вас беспокоить.

Лобачев отрывисто спросил:

— Какие же это вопросы? Говорите.

— Да вот, например, о записочке. Записочка-то у вас, а не у господина Уокера, — заявил Никодим очень утвердительно, думая этой утвердительностью поразить Лобачева и тем самым поймать его, и добавил: — В прошлый раз вы мне просто-напросто солгали.

— Это вам Уокер сказал, на вокзале, — я знаю, — ответил Лобачев, нисколько не поражаясь.

— Откуда вы знаете? — удивился Никодим и даже привстал на стуле.

— Откуда? Сам Уокер мне сказал. Вы же, молодой человек, не знаете, как люди живут, а они живут по-разному. Может быть, Уокер ко мне сегодня приходил, а я его хорошенько приструнил, да и давай спрашивать: где ты, такой-сякой, был, что поделывал? Ну он, приструненный-то, все мне чистосердечно и рассказал.

Никодим совсем растерялся: он никак не мог уяснить себе происшедшего.

— Он больше того мне сказал, — продолжал Лобачев, — он мне до тонкости все передал, и как сам меня на вокзале обозвал, и еще как с собою сравнивал.

Никодим почувствовал, что ведется тонкая игра, что главный козырь его уже бит и что, пожалуй, ему у такого игрока, как Лобачев, не отыграться.

— Ловко! — произнес он вслух, действительно желая похвалить Лобачева.

— Ничего не ловко — весьма обыкновенно, — ответил Лобачев, вставая из-за стола и переходя на другой конец комнаты, к диванчику. Он догадался, что Никодим скрыл под своим восклицанием. — Записку тогда спрятал Уокер, и я вам не солгал, — продолжал Лобачев, — где она теперь — другое дело, а я вам в тот раз указал правильно, и если вы не сумели отобрать ее от Уокера — сами виноваты.

— Все, что я слышу от вас и от Уокера, — только глумление надо мною, — сказал Никодим.

— Как хотите считайте, — ответил Лобачев.

Никодим очень чувствовал всю безнадежность своего положения, но не хотел сдаваться. Упорство в нем загорелось, и в ту минуту он действительно мог убить Лобачева, как обещал когда-то.

— Господин Лобачев, вы знали мою мать? — спросил Никодим с твердостью и сильнейшей настойчивостью.

Лобачев подумал с полминуты и ответил, но так, что Никодим сразу почувствовал лживость ответа.

— Нет, к сожалению, не знал, но много слышал о ней хорошего.

Что Никодим понял ложь — почувствовал и сам Лобачев.

— Вы лжете опять, — сказал Никодим хладнокровно, но еще с большей силой, — лжецом по глупости или глупцом просто я вас считать не могу — скажите мне, зачем вы лжете?

— Как хотите считайте, — повторил Лобачев, но теперь уже он счел себя проигрывающим и вдруг как будто загорелся от боязни быть побежденным в этой игре.

Он вскочил и прошелся по комнате. Наступило неловкое молчание.

— Никодим Михайлович! Никодим Михайлович! — повторил Лобачев дважды слегка задрожавшим голосом и уселся опять на диван.

Никодим поглядел на него, ожидая продолжения. Но Лобачев молчал и только вдруг заулыбался-заулыбался чрезвычайно доброй улыбкой, совсем по-ста-

риковски: морщинки от его глаз разбежались в обе стороны. Никодим эту улыбку заметил, но не поверил своим глазам: «Играет, все то же», — подумал он.

— Никодим Михайлович, будьте моим другом, — сказал наконец Лобачев.

Никодим опять от неожиданности привстал со стула.

— Не удивляйтесь, — успокоил его Лобачев, — вы-то меня не знаете, а я вас знаю. Кроме того, я вас люблю.

Никодим попятился: он почувствовал, что лучше уйти, но вспомнил о записке, и необходимость остаться превозмогла первое чувство.

— Кроме того, я перед вами глубоко виноват, — заговорил опять Лобачев, — записка у меня (теперь: раньше она была у другого лица); вы не волнуйтесь; вы скоро ее получите, а пока погодите; вам ведь известно только то, что в записке стоит, а то, что таится в ее словах и за ними, — для вас остается закрытым. И я должен вам кое-что пояснить.

Голос Лобачева в начале речи опять дрогнул и затем зазвучал вдруг особенно глубоко и задушевно. Кроме того, вместе со словами из груди говорившего что-то запело (этого Никодим не мог не заметить) — сначала как флейта, а затем подобно медной трубе.

— Что, что с вами? — спросил Никодим удивленно.

Феоктист Селиверстович застыдился вдруг, будто его поймали на чем-то нехорошем, и смущенно принялся мять концы носового платка.

— Не обращайте внимания, — произнес Лобачев наконец через силу, — иногда у меня все меняется. К сожалению, я не могу вам рассказать полностью что хочу и что следовало бы! Мне очень трудно, вы не поверите; вам покажется, что Лобачев — дерзкий и наглый человек, не привыкший где бы то ни было и когда бы то ни было стесняться, — и вдруг смущен, мнется, будто красная девушка, — что в этом несообразность. Но я вот мучусь, я смущен, я виноватым себя чувствую не только перед вами, но и перед всею вашей семьей.

Лобачев опять сел к столу, охватив голову руками. Теперь уже Никодим стал ходить по комнате. Он не мог понять, что с Лобачевым: к Лобачеву все то, что он сейчас проделал и сказал, решительно не шло.

Никодим очутился у двери, остановился и опять взглянул на Лобачева — Лобачев сидел уже в иной позе, слегка склонившись над письменным столом; левою рукой он подпирал подбородок, а правую вытянул по столу и время от времени постукивал по доске стола ногтями пальцев попеременно — то указательного, то среднего; грудь его вздымалась высоко и прерывисто, лицо же выражало глубочайшее, нечеловеческое страдание, но вместе с тем стало и неузнаваемым: тонкие ноздри горбатого носа раздувались и вздрагивали; скулы, лоб и подбородок в окружении черных вьющихся волос запечатлевались огромною силой, крепостью и вместе телесной свежестью, казалось неспособной когда-либо увянуть; глаз не было видно, перед Никодимом чертился только профиль Лобачева, но эти, и невидимые, глаза струили такой свет, что его нельзя было не заметить: подобным огнем горят редкостные черные алмазы; складка ярко-алых и тонких губ Феоктиста Селиверстовича ложилась мужественнейшим очертанием.

Никодим глядел-глядел и терялся все более и более; потом сел совсем смирно у двери, боясь пошевельнуться, чтобы не обеспокоить Лобачева. У него уже не было никаких вопросов к Феоктисту Селиверстовичу — только на мгновенье мелькнуло в голове сравнение Уокера с Лобачевым, о котором Лобачев недавно упоминал, и Никодим даже чуть не вскрикнул: «Да как Уокер смел говорить подобное!», но удержался и зажал себе рот рукой.

Лобачев медленно повернул голову в сторону Никодима и так просидел довольно долго; если бы не этот изумительный свет, исходивший из его глаз, можно было бы подумать, что он любуется впечатлением, произведенным на Никодима. Просидев минут пять, Лобачев так же медленно поднялся и, положив руки на спинку кресла, стал неподвижно.

Никодим тогда ничего не видел, кроме Лобачева; у него вертелось на языке слово «горящее, горящее» — он так хотел объяснить великолепие Лобачева: оно действительно поглощало все вокруг себя, всю обстановку, преображало ее, подчиняло себе; уже не было неприглядной комнаты, мусора, разбросанного на полу и на столах, — все стало нужным, неизбежным, и все только служило этому лицу — Лобачеву, и везде во всем был он — Лобачев.

— Что мне делать! — простонал Никодим, хватаясь руками за голову.

Лобачев любезно протянул ему руку и пересадил Никодима со стула в кресло.

— Не беспокойтесь, — сказал он Никодиму, — и простите меня. Я — плохой человек, но из всех сил стараюсь стать лучше. Вот теперь... ах нет! не сочтите за гордость: я не рисовался перед вами, но я не всегда умею придерживать ту маску, которую на себя надеваю. Я распустил себя, я позволил себе быть добрым.

— Что вы, что вы! — прошептал Никодим смущенно. — Я никогда не мог и подумать, что в вас столько добра и красоты. Я еще не видел таких людей, как вы, Феоктист Селиверстович.

Тут уже смутился Лобачев. На глазах у него заблистали слезы — ему, очевидно, было понятно, каким он предстал перед Никодимом, и словно ему не хотелось, чтобы именно это Никодиму запомнилось.

— О госпоже N. N. должен вам сказать, — начал он, запинаясь, — она вас любит, она жива и здорова. И матушку вашу я хорошо знаю. И знаю, где она.

— Знаете? — радостно вырвалось у Никодима.

— Да, знаю. Но погодите: я еще не могу вам сказать сейчас.

Никодим приуныл.

— Почему? — спросил он.

— Не спрашивайте, ради Бога; я сам хотел бы сказать как можно скорее. Вот за госпожу N. N. я очень беспокоился. Но теперь спокоен: она вышла замуж.

— Вышла замуж?! — с горечью в голосе воскликнул Никодим.

— Да, вышла. Хотя уже в третий раз, но по-настоящему. Я за нее спокоен. То есть должен пояснить: я за нее не так беспокоился, как обыкновенно за женщин боятся, а дело в том, что она ведьма.

— Ведьма? Я тоже сразу так определил ее. А за кого она вышла?

— Вы же знаете. Еще подумаете, что я смеюсь над вами. Что за комедия!

— Нет, я не знаю, — ответил Никодим.

Лобачев походил по комнате, остановился перед Никодимом и спросил:

— Ну, теперь хотите быть моим другом?

Никодим ужасно заколебался, и к тому же весть о выходе госпожи N. N. замуж больно ранила его сердце, но ему уже ничего не оставалось, как ответить согласием, и он тихо сказал:

— Хочу.

Лобачев улыбнулся и потер руки. Жест вышел у него неожиданно неприятным, и Никодим это подметил.

ГЛАВА XXVI
Переписка Ираклия с неизвестным

— У меня есть сын, — сказал Лобачев, присаживаясь опять к столу. — Его зовут тем же именем, что и вас: Никодим. Вы мне очень напоминаете его. Но я давно не видел своего сына и не знаю, когда увижу.

По лицу Лобачева прошло облачко грусти.

— А почему госпожа N. N. ведьма? — вместо ответа спросил его Никодим. — Разве вы заметили за ней что-нибудь такое... колдовское?

Лобачев поглядел на Никодима, улыбнулся опять стариковской улыбкой, отчего глаза его снова стали добрыми и от глаз снова побежали морщинки.

— Вот, — сказал он, — наивный человек, не ведающий, каким колдовским знанием владеет любая женщина, а женщины, подобные госпоже N. N., в особенности.

— Ах, вы это подразумевали! — протянул Никодим с явным разочарованием. — Но почему же у нее был серый цилиндр?

— Какой серый цилиндр? — с затаенным волнением переспросил Лобачев.

— Мохнатый серый цилиндр. Он стоял у нее на столике в передней.

— Ну, милый, вы перепутали. Квартира принадлежала не госпоже N. N., а мне, и цилиндр на столике был мой. Госпожа N. N. находилась у меня временно, по просьбе одного господина.

— Ее жениха?

— Нет, не жениха. Жених появился значительно позже.

Никодим вдруг вспомнил, что у него в кармане пальто лежит номер «Огонька», купленный вчера на вокзале, с известным объявлением и покраснел: ему было неловко спросить Лобачева про это объявление — уже очень невероятным казалось теперь, после всего, что было за последние четверть часа, чтобы Лобачев мог печатать подобные объявления или на самом деле заниматься подобным производством. Лобачев заметил смущение Никодима.

— Что с вами? — спросил Феоктист Селиверстович заботливо.

Никодим вытащил журнал.

— Вот тут, — сказал он, запинаясь, — объявление — так я не знаю... как понимать... уже очень оно меня поразило тогда... в трактире.

— В каком трактире? Ах, это! — взглянув мельком, догадался Лобачев. — Я сам уже видел. Странное совпадение. Я здесь ни при чем.

— Ни при чем? — переспросил Никодим (но от сердца у него отлегло, и он облегченно вздохнул).

Однако, помолчав, он вдруг вспомнил еще, что когда-то говорил ему на ухо Федосей из Бобылевки, отвозя его домой со станции. Сомнение закралось в душу Никодима. Он искоса взглянул на Лобачева.

— Послушайте, Феоктист Селиверстович, — спросил он осторожно, а у вас нет фабрики в N-ском уезде?

— Фабрики, вы говорите? Фабрики у меня нет, — ответил Лобачев, явно не подозревая, зачем этот вопрос был задан.

— Как нет фабрики? А чья же там фабрика? — удивленно воскликнул Никодим.

— Не знаю чья, — опять спокойно ответил Лобачев, — я в N-ском уезде никогда не был.

— Послушайте! — убедительно возразил Никодим, как бы взывая к совести и памяти своего собеседника. — Мне же говорили про ту фабрику, что она принадлежит Феоктисту Селиверстовичу Лобачеву.

Лобачев покачал головой.

— У меня нет фабрики и не было, — повторил он.

Никодим ущипнул себя — неужели это во сне?

— Так, может быть, вы не тот господин Лобачев, которого мне нужно? — спросил он в удивлении очень медленно и останавливаясь после каждого слова.

— Почему не тот? — удивился уже Лобачев.

— Мне нужен владелец фабрики в нашем уезде.

— Да, в таком случае я не тот. Впрочем, меня смешивали уже несколько раз с каким-то Лобачевым. Вот хотя бы с этим объявлением — оно появляется не первый раз и для меня очень неудобно: многим я известен ведь совсем с другой стороны. Но если вы поедете по указанному адресу на Пушкинскую — выйдет к вам навстречу в приемную неопределенный тип и скажет, что это только фирма прежнего владельца Федота Савельича Лобачева, а владельцем фирмы является некий Вексельман из Белостока.

— Вексельман? — засмеялся Никодим. — Недурная фамилия.

— Да, Вексельман. А зачем вам нужен другой Лобачев?

Никодим молчал, не зная, что ответить, — ему, собственно, оба Лобачевы особенно не были нужны и, пожалуй, больше все-таки стоявший перед ним, чтобы получить от него записку господина W и узнать через него, где находится Евгения Александровна.

— Нет — вы мне нужны, — подумав, ответил Никодим твердо. В нем опять заговорило сильное чувство симпатии к Лобачеву.

Лобачев открыл ящик стола, порылся там и достал сложенную вчетверо бумажку.

— Вот ваша записка! — сказал он, протягивая бумажку Никодиму. — Возьмите.

Никодим взял, развернул, посмотрел: действительно, это была записка господина W.

— Я должен раскрыть вам еще и смысл записки, как обещал, — произнес Лобачев, продолжая рыться в столе, — то есть пояснить, чем было вызвано ее написание и к чему она привела. И потому возьмите еще вот этот пакет.

Он подал Никодиму конверт с несколькими вложенными туда письмами.

— Присядьте к столу, — продолжал Лобачев, указывая на маленький столик, — прочитайте письма и возвратите мне. Кто эти господа, что писали их, — я не могу вам сказать. Быть может, вы сами догадаетесь об одном из них. Видите ли, письма Ираклия (так один подписывался) я могу получить только в копиях, переписанными, а письма другого — неизвестного, попали ко мне в подлиннике.

Никодим вынул письма, посмотрел на пачку сверху: подлинники были написаны от руки, — копии переписаны на пишущей машинке.

Вот что прочел Никодим:

«Тверь, 28 февраля 191* года.

Дорогой друг. Вчера по твоему указанию, проезжая через Вышний Волочок, я завернул к Мейстерзингеру, но сперва не застал его дома и только вечером мог свидеться с ним. Он объяснил мне, что это Валентин его задержал на охоте, в лесу. Он едва поспел к 27 числу в город, хотя очень торопился, так как заранее знал, что я у него буду.

Я должен с глубоким сожалением сообщить тебе, что господин Мейстерзингер непреклонен: деньги его, кажется, не прельщают, даже крупные. При том образе жизни, который он ведет сейчас, будучи на полном иждивении Валентина, денег ему совершенно не нужно, а на лучшее будущее он мало надеется и

говорит, что глубоко обижен тобою, так как давно заслужил сумму, которую мы ему теперь предлагаем, другими, уже забытыми тобою делами и услугами.

Если ты действительно перед ним виноват — нельзя ли как-нибудь исправить столь неопределенное положение. Пиши мне в Тверь, до востребования. В Волочке я не хотел оставаться по известным тебе причинам.

Твой сын здоров, но я не мог передать ему привет от тебя».

Под письмом вместо подписи был поставлен знак. Воображение могло бы в этом знаке увидеть букву «Д», но одинаково и «R» и «А». Несомненно было только одно: как это письмо, так и записка, подписанная господином W, исходили, если судить по почерку, от одного лица.

Ответ на первое письмо. Переписан на пишущей машинке.

«С.-Петербург, Марта 2-го дня 191* года.

Думаю, что увеличение назначенной мною суммы нужно более для тебя, чем для Мейстерзингера. За ним я никогда не замечал жадности. Но, не желая предпринимать поездку лично, — увеличиваю сумму на 30%. Рассчитай сам, сколько это будет. Только помни, что у меня проценты особенные.

Ираклий».

Ответ на предыдущее (от руки).

«В. Волочок, 8 марта 191* года.

Ираклий, вы меня обижаете. Все-таки не понимаю, как вы осмеливаетесь оскорблять меня: буду ли я — потомок славнейших крестоносцев — заискивать перед вами, хотя вы и очень сильный человек? 30%, как я рассчитал, слишком мало, и с ними я к Мейстерзингеру решительно не пойду. Право, не стоит даром терять время».

Следующее письмо, переписанное на машинке, без числа.

«Твое происхождение мне давно известно. Одно меня утешает, что только там, где-нибудь в Твери или Рязани, ты способен проявлять свой чванливый характер, а по приезде в Петербург сразу становишься шелковым. Итак, кончим вопрос о процентах — для меня денег не существует — ну 70%. Довольно? Напиши лучше скорее, как обстоят дела. Твой Ираклий».

Ответ.

«9 марта 191* года, Тверь.

Очень благодарен тебе, мой друг, за привет и ласку. При 70% прибавки дело наше выгорит безусловно. Расскажу по порядку, что было.

Получив твое письмо от 2 марта, я опять посетил Мейстерзингера и еще раз подивился тому, как он мог при столь скромных средствах, что ты всегда отпускал ему, так прекрасно и богато обставить свою квартиру. Она не велика, правда, но чего там нет. Однако к делу.

Мейстерзингера я не застал. Прислуга мне сказала, что он снова отправился на охоту, и объяснила, как его можно найти. Я поехал следом.

В лесу, над озером, я приметил Мейстерзингера и Валентина, шествующих вместе, но не хотел выдать своего присутствия Валентину, а верный пес на меня не залаял. Я долго шел в некотором отдалении, но не упуская их с глаз.

Походивши час-полтора, Валентин сел на камень; Мейстерзингер уселся рядом; скоро Валентин задремал — тогда я подал Мейстерзингеру условный знак. Мейстерзингер подошел ко мне почему-то нехотя. «Ничего не выходит», — ска-

зал он, но я понял, что нужно ему обещать больше. Обещание сразу возымело свое действие.

Он мне сейчас же принялся рассказывать, что говорил с Евгенией Александровной уже не один раз, но что она колеблется. Я стал объяснять ему, как лучше было бы вести дело, но нас прервали: Валентин проснулся и позвал Мейстерзингера. Я спрятался в кусты, однако все же успев сказать Мейстерзингеру, где нам лучше увидеться. Жди моего следующего письма».

Следующее письмо — продолжение предыдущего.

«10 марта 191* года, Волочок.

Видел сегодня почти одновременно Евгению Александровну и госпожу N. N. N. N сказала мне, что вы хотя и великий человек, но старый гриб, а меня нежно поцеловала на прощанье. Она утверждает, что не хочет тебя более видеть.

Но зато какова Евгения Александровна! — сколько в ней благородства и достоинства, даже величия, — только она, именно она и могла любить столь самозабвенно. Я еще не видел подобных женщин.

Мейстерзингер прибежал ко мне, весело прыгая. „Готовьте деньги, — сказал он, — все принимает благоприятный оборот, все нам на руку: она получила письмо от мужа и очень раздосадована его грубостью и непонятливостью. Она первый раз после десяти лет обратилась к нему за советом, а он ответил ей насмешками“».

Продолжение предыдущего.

«Тверь, 29 марта 191* года.

Дорогой мой, не сердись, что не писал тебе так долго. Евгения Александровна приезжала на три дня из города, и Мейстерзингер взялся провести меня к ней, но Ерофеич помешал нам, сунувшись совсем не вовремя.

Однако я поймал ее на вокзале, когда она уезжала обратно в город, и говорил с нею. Она просила передать тебе, что помнит и любит тебя, но на мой вопрос, согласна ли повидаться с тобой — отрицательно покачала головой.

Спрашивается, что же делал Мейстерзингер? Он водит нас за нос.

Однако, мой милый, ты видишь, сколько я трудился. Неужели, если Евгения Александровна не поедет, ты не войдешь в мое положение и не постараешься повлиять на госпожу N. N.?»

Ответ:

«С.-Петербург, 31 марта 191* г.

Конечно, не постараюсь. Если ты до конца не достараешься, то есть пока Евгения Александровна не будет здесь, я всячески буду отстранять госпожу N. N. Пойми, что во мне говорит не только любовь, но это является вместе и вопросом моего самолюбия. Мейстерзингеру передай от меня, что он куда как плоховат, и если доведется мне его когда-либо погладить, то уж поглажу его непременно против шерстки. Ираклий».

Написано от руки.

«26 мая 191* года.

Ура! Евгения Александровна будет: она мне сама сказала сегодня, у качели. Мейстерзингеру заплатил. Ура».

Больше ничего не было. Никодим, прочитывая одно письмо за другим, бледнел все больше и больше, потом встал, с лицом ужасно изменившимся, подошел к письменному столу, взял с него электрическую лампу с зеленым абажуром,

повертел ее в руках и ударил ею о край стола, — абажур разлетелся на мелкие куски, лампа же искривилась.

Лобачев глядел прямо в глаза Никодиму. Никодим протянул руку к тяжелому пресс-папье — но тут Лобачев цепко ухватил Никодима за руки.

В комнату вбежал слуга, привлеченный шумом. Лобачев сделал ему знак удалиться.

Никодим дрожал, как в лихорадке.

— Бедный мальчик, — сказал наконец Лобачев с трудом, — теперь видите, как не просто было для меня объяснить, где ваша мать. Но неужели вы думали, что какая угодно женщина, хотя бы она была и вашей матерью, не променяет всего в жизни на любимого человека?

— Нет, — ответил Никодим криво и жалко улыбаясь (на лбу у него выступил пот), — нет, я думал проще: я смел думать, что моя мать никого не любила, кроме моего отца.

И, шатаясь, вышел вон.

ГЛАВА XXVII
Господин Марфушин в действии

Читатель, вероятно, не забыл, что Никодим, скрываясь ночью из дома Ирины, с торжеством представлял себе озлобление и негодование господина Марфушина, когда тот утром обнаружил бы исчезновение Никодима.

Вышло совсем не так, и Никодим ошибся в своих предположениях. В то время когда Никодим, выскочив из окна, направлялся к дороге, господина Марфушина в доме Ирины уже не было.

Господин Марфушин вовсе не ложился тогда спать. Набегавшись по саду, веселый и возбужденный, вернулся он в свою каморку под лестницей, пренебрежительно отведенную Ларионом. Там он терпеливо выждал, пока улеглись в доме, и около полуночи вышел в зал танцевать.

Встреча Ирины с ним читателю уже известна. Убежав из зала после поцелуя, ошеломившего Ирину, господин Марфушин спрятался опять в каморку и, приоткрыв ее дверь, стал прислушиваться, чтобы определить, куда пойдет Ирина. Убедившись, что она прошла к себе в спальню, Феодул Иванович беззвучно выскочил из каморки, добежал опять до зала и, забрав оттуда свои сапоги и рясу, снова вернулся к себе.

Зажегши свечу и приняв прежний монашеский вид, господин Марфушин стал в позу и принялся рассуждать, или, как он определял обыкновенно, философствовать.

— Зачем нужен мне этот глупый Никодим? — спросил он. — Разве я обязан его сопровождать всюду и нянчиться с ним, будто связанный? Я могу идти куда мне захочется.

— Правда могу.

— Пойдем, милюсенький мой, пойдем.

— Куда же мы пойдем-то? Аль к горничным?

— Хотя бы и к горничным. Чем же они плохи?

— Я хочу арбуза. И груши.

— Да где же здесь отыскать грушу?

— Аграфену, так и быть, отыщешь. Даже скорехонько, а грушу — нет!

— Какое интересное столкновение мыслей?

— Да! Интересное. Только этим и живу. Постоянно возбуждаюсь такими столкновениями и побуждаюсь к деятельности.

— Слаб и немощен становлюсь от неумеренной жизни.

— А вот Никодим тебя умерит и починит как раз.

— Нашел мальчика. Никодиму я больше не товарищ. Фюить!

— Почему же он тебе не нравится?

— Блаженненький. Хи-хи.

Господин Марфушин повернулся на одной ножке три раза кругом, обычной своей манерой, и снова стал в позу.

— Не обязан я, — сказал он, — быть всегда с Никодимом. Пойду куда хочу. Прощайте, Никодим Михайлыч, дорогой. Посмотрим, как это еще вы сможете без нас обойтись.

И, надвинув на голову клобук поплотнее, господин Марфушин ловко выскользнул из дома.

Постояв в саду, он прошел к беседке, достал из кармана большой складной нож и вырезал на стене беседки на ощупь несколько слов, весьма неприличных; потом вздохнул, спрятал разогретый от работы нож в карман и скрылся во мраке.

Нельзя было уследить, где и как он провел время до рассвета, но первые проблески утра застали его еще недалеко от имения Ирины, на полусгнившем мостике через речку с крутыми берегами.

Обрисовавшись на мостике, господин Марфушин сказал в пространство:

— Мейстерзингер, скоро ли вы будете?

Голос как будто из подземелья ответил:

— Буду скоро.

— Не копайтесь, — произнес Марфушин наставительно.

Из-под моста показалась рыжая растрепанная голова Мейстерзингера.

— Не могу разговаривать с вами здесь, — сказал Мейстерзингер, — приезжайте лучше ко мне в Волочок. — И снова спрятался под мост.

— Почему не можете? Отлично можете, — возразил послушник и, перегнувшись через перила, спрыгнул вниз.

Он попал прямо в воду, но это ему оказалось словно нипочем. Выбравшись на сушу и отряхнувшись, как собака, Марфушин полез под настил моста и уткнулся руками в живое существо.

— Это вы, Мейстерзингер? — спросил он.

— Я. Что вам нужно? — раздался голос из мрака.

— Зачем вы забрались сюда?

— Я жду сэра Арчибальда.

— Почему же под мостом?

— Утром по мосту поедут мужики с горохом. Вот почему, и перестаньте задавать глупые вопросы не ко времени.

Марфушин помолчал.

— Господин Мейстерзингер, как вы поживаете? — спросил он через минуту шепотом.

— Ничего, благодарю вас. Работаю понемножку.

— Скажите, сколько вам платит Лобачев.

— Какое несносное любопытство! Зачем вам знать? Я работаю на процентах. Только проценты у Лобачева особенные.

— Представьте себе, какое совпадение: я тоже на процентах. Но вы плохо осведомлены в деле: у господина Лобачева проценты обыкновенные. Это у Ираклия — особенные.

— Господин Марфушин, где вы были? — спросил уже Мейстерзингер.
— Ах, я-то? Я работал. В монастыре был.
— Здесь ли вы, Мейстерзингер? — прервал их сверху голос Уокера.
— Здесь, — ответил за Мейстерзингера Марфушин, — сэр Арчибальд, полезайте скорее под мост, пока вас не заметили.
Длинные ноги Уокера мелькнули в полумраке, и он также очутился под мостом.
— Тсс! — сказал он. — Тише: там едет кто-то.
Все трое примолкли.
Несколько тяжело нагруженных возов проехали через мост. Когда звук колес отдалился, Уокер спросил:
— Господин Марфушин, откуда вы?
— Ах, не говорите! — с досадой ответил послушник. — Меня просто загоняли на работе. Я скоро протяну ноги.
Они опять помолчали.
— Господин Марфушин, вы нам немного мешаете, — вежливо сказал Уокер.
— Я уйду сию минуту, сэр, — еще вежливее ответил послушник, — но раньше я должен сообщить вам свои наблюдения: по-моему, в нашем сообществе стали образовываться прорехи. Я не сомневаюсь в вас, сэр, и в вас, мой милейший ирландец, но что вы скажете о госпоже N. N.? Китаец же положительно гнет, что называется, свою линию.
— Вы ошибаетесь, — сказал Мейстерзингер, — госпожа N. N. настолько сознательно действует, настолько необходима в деле, что мы без нее были бы как без рук. Уже почти обеспечено, что Никодим благодаря ее стараниям станет для нас своим. О, поверьте, Лобачев сумеет обласкать его.
— Я не сомневался никогда в способностях Лобачева и очень уважаю Ираклия, но... все-таки опасаюсь женской слабости госпожи N. N., с одной стороны, и глупого благородства Никодима — с другой, и считаю нужным поговорить с нею, — произнес Марфушин рассудительно.
Ему никто не ответил.
— Мейстерзингер, вы ирландец? — спросил он, помолчав.
— Да, — ответил Мейстерзингер, — хотя мои предки и получили эту немецкую фамилию, но я чистокровный ирландец.
— Хорошо быть чистокровным, — со вздохом и сентенциозно одобрил послушник, — мое дело другое. Ни рыба ни мясо. Потому и понукают мною, как хотят.
— Господин Марфушин, вы хотели идти, — напомнил ему Уокер.
— Да, пойду. Нужно повидать госпожу N. N. Ведь она у вас? — спросил послушник Мейстерзингера.
— Она у меня, — ответил ирландец, — господин Марфушин, отправляйтесь скорее: время уходит — оно нам дорого.
Послушник пожал своим собеседникам руки и выбрался из-под моста.
Становилось уже совсем светло. Тянуло дымком; из ближнего овина раздавались постукивания цепов. Послушник быстро зашагал прочь.
Господин Марфушин в тот же день появился в Вышнем Волочке на квартире Мейстерзингера.
Госпожа N. N. встретила послушника, сидя в глубоком и удобном кресле; на ней был еще утренний туалет из легчайшего шелку большими цветами. Легкие туфельки, расшитые золотом, спадывали с ее маленьких ножек, а волосы еще не были до конца убраны и локонами окружали высокий лоб и щеки и рассыпались по плечам; плечи госпожа N. N. зябко кутала в темно-красный платок.

При виде госпожи N. N. послушник весьма оживился и пришел в такое возбуждение, что во время разговора с нею не мог уже стоять спокойно: он то и дело подпрыгивал на месте — туловище его будто пружинилось и, подаваясь вперед, вздрагивало; клобучок сам собою слетел с его головы, и розово-синеватая лысина, покрытая совсем тонкой кожицей, то и дело мелькала перед глазами госпожи N. N.: Марфушин изгибался.

— Блистательная госпожа, — начал послушник высокопарно, — во-первых, позвольте вам сообщить, что я совершенно пьян от распространяемых вами духов, и потому многое мне будет простительно; во-вторых, хотя я весьма невзрачен, но очень желаю вам понравиться.

— Что вы говорите, Марфушин, — остановила его госпожа N. N., — если вам я нужна — говорите как следует, а не кривляйтесь.

— Я не буду кривляться, — пообещал послушник и продолжал: — В-третьих, я за вас опасаюсь, madame, — любовь к Никодиму сводит вас с ума. Вы взяли на себя непосильное и сделали неверный шаг, так приблизив Никодима к себе. Короче говоря — я боюсь измены с вашей стороны.

Госпожа N. N. весело и звонко рассмеялась.

— Милый и глупый Федул Иванович, — сказала она сквозь смех, — ваши подозрения неосновательны, но чего же вы хотите?

— Я хочу быть посредником между вами. То есть хочу, чтобы между Никодимом и госпожою N. N. ничего не было общего без моего в том участия, — ответил Марфушин очень веско и серьезно.

— Я понимаю вашу мысль, — сказала госпожа N. N., глядя через плечо Марфушина в окно, — но все же я хочу сохранить за собою свободу действий. Я не маленькая.

— Вы маленькая. Это вам только кажется, что вы большая, — с раздражением ответил Марфушин, — вся суть человека в его сердцевине, а в вашей сердцевине я со своею едва умещаюсь. Я же очень маленький человек.

— Когда вы мерили мою сердцевину! — возразила госпожа N. N.

— Вот и не знаете когда, а я мерил не раз.

— Может быть. Я ведь такая... никогда ничего не помню из того, что было. Но все же несмотря на это я хочу сохранить за собою свободу действий.

— Даже тогда, когда Ираклий распорядится подчинить вас моему наблюдению?

— Даже тогда.

— Ну, значит, я не ошибался. Мне здесь более нечего делать: мои подозрения мало-помалу начинают оправдываться. Адью-с.

И Марфушин повернулся, чтобы уходить.

Дойдя до двери, он вполоборота, через плечо посмотрел на госпожу N. N. и спросил:

— Может быть, здесь, в Волочке, вы говорите так, а в Петербурге будете говорить иначе?

— Нисколько не иначе — так же, — убежденно подтвердила госпожа N. N.

— Поставим точку над i! — воскликнул послушник. — Сам Ираклий прислал меня сюда с приказанием передать вам все, что я говорил, но в повелительной форме.

— Сам Ираклий! — повторила она испуганно.

Послушник стоял и ждал, что будет дальше.

— Конечно, — сказала она, волнуясь и кусая губы. — Если сам Ираклий — то мне ничего не остается, как подчиниться вам.

— Ну вот! — обрадовался господин Марфушин. — Давно бы так.

И, повернувшись на одной ножке, стал лицом к госпоже N. N. и сказал:

— Madame, я вас люблю! — Руки его протянулись к ней.

— Оставьте, господин Марфушин! — брезгливо отстраняясь, ответила она и вышла в другую комнату.

— Не понимаю женщин! Знаю их сколько угодно, а не понимаю! Вот подишь ты! — воскликнул послушник, покидая квартиру Мейстерзингера несколько минут спустя.

ГЛАВА XXVIII
Поступок Арчибальда Уокера

Никодим плохо помнил, как он, выйдя от Лобачева, дошел до вокзала, как получил билет и поехал. Пришел в себя он только на половине пути и вдруг почувствовал, что у него в сердце и в голове больно переплетаются две мысли: о матери и о выходе госпожи N. N. замуж, — обе одинаково мучительные и не дающие возможности в себе разобраться.

По приезде в имение Никодим прошел к себе наверх, заперся и просидел там сутки с утра до утра, не заснув ни на минуту.

Под руку ему попалась большая штопальная игла; он вяло и тупо исколол ею несколько листов бумаги, несколько картонных коробок, стоявших на столе, а потом спрятал ее в жилетный карман.

Утром Никодим вышел осунувшийся, побледневший; под глазами у него легли темные пятна; по временам он вдруг вздрагивал, может быть от усталости.

Ерофеич предложил кофе, но Никодим отказался.

— После. Успеется, — сказал он.

— Валентин Михайлыч здесь, — сообщил ему вслед Ерофеич, выходя за ним на крыльцо.

— Где же он? — спросил Никодим, не оборачиваясь и сумрачно глядя на землю.

— Они в лес пошли, да не одни, а с двумя господами.

— С какими господами?

— Одних-то я знаю, а других не могу знать.

— Ну хорошо. Я скоро вернусь.

И Никодим зашагал к лесу. Вид его был печален и не блестящ: он уже неделю не менял белья, оставался, почти не раздеваясь, все в том же платье, в котором поехал шесть дней назад в монастырь; столько же дней не брился.

В голове у него мелькали отрывки из писем Ираклия и неизвестного. Ему по временам вдруг казалось, что он знает, кто автор записки, найденной им в дневнике матери, и, следовательно, тот самый неизвестный, аноним которого Лобачев не нашел возможным раскрыть. А кто Ираклий, даже в малейшей степени не поддавалось определению.

Никодим шел лесом по дорожке; осень сбрасывала листву с деревьев. Дул весьма слабый ветер, но листья — бурые, красные, оранжевые, желтые, палевые и бледно-зеленые — срывались с ветвей, пролетали, кружась в воздухе, среди черных сучьев и беззвучно падали на траву и на песчаную дорожку. Рдеющие гроздья рябины и калины, прохваченные первым морозом, свешивались справа и слева в изобилии, еще более украшая холодеющий лес; по временам острый запах поздних грибов чувствовался в воздухе.

«Спросить разве Ерофеича об Ираклии — не знает ли он?» — подумал было Никодим, но тут же услышал поблизости от себя, за деревьями, громкий говор в несколько голосов и веселый смех. Среди других голосов он узнал голос Валентина.

Никодим пошел на них прямо лесом, продираясь через молодой ельник и пахучие кусты черной смородины. Миновав глубокую канаву, он сквозь сеть полуоголенных сучьев увидел на прогалине три человеческих фигуры: Валентина, Уокера и третьего человека, ему неизвестного.

Валентин сидел на скамье, держа между ног ружье. Он был возбужден и весел, и, видимо, разговор велся главным образом им. Уокер и неизвестный ограничивались более краткими восклицаниями. Они стояли перед Валентином. Все трое были одеты в охотничьи костюмы.

Никодим подошел. Они обернулись. Никодим молча подал Валентину руку, молча поклонился Уокеру (ему он руки подавать не хотел), а по отношению к третьему ограничился тем, что поглядел на него. Валентин понял, что третий не знаком с Никодимом, и представил его:

— Господин Певцов.

Череп господина Певцова был украшен копной волос ярко-огненного цвета, росших густо и могуче; борода и усы у него были тоже рыжие и даже брови и ресницы такие же. Но это был не тот обыкновенный рыжий волос, который чем ярче, тем жестче и грубее, — напротив, он был мягок, нежен, волнист. Сам Певцов был преисполнен изящества, но изящество это было совершенно животным, не походя нисколько на человеческое. Никодиму он решительно не понравился.

Против обыкновения, с Валентином не было его собаки.

— А где же Трубадур? — спросил Никодим, заметив это.

— Ах да, где же? — удивился сам Валентин, но, припомнив что-то, пояснил: — Его не могли отыскать сегодня.

— Валентин, скажи мне, кто такой господин Мейстерзингер? — спросил Никодим.

Валентин поглядел с удивлением.

— Я не знаю господина Мейстерзингера, — ответил он.

— А я знаю, — заявил Никодим, — и господин Уокер тоже знает его. Господин Уокер, объясните нам, пожалуйста.

— Извините, вы ошибаетесь. Я не знаю господина Мейстерзингера, — сказал Уокер; в голосе его было заметно дрожание.

— Мейстерзингер — он же господин Певцов, — пояснил Никодим.

Господин Певцов рассмеялся.

— Если сделать очень вольный перевод — пожалуй, будет и так, — подтвердил он.

— Да, конечно, если сделать вольный перевод, — согласился Никодим и добавил: — Это не более чем шутка. Я люблю пошутить.

— Ты болен, Никодим? — спросил его Валентин, заметив у него пятна под глазами.

— Я здоров. Ничего! — ответил Никодим.

— Нам пора идти. Идем, господа, — вмешался Уокер.

— Сэр Арчибальд, мне нужно с вами переговорить, — заявил Никодим, очень подчеркнув слово «нужно».

— Пожалуйста, я к вашим услугам, — надменно ответил Уокер, слегка поднимая свою голову, и, обратившись к своим спутникам, сказал им: — Я догоню вас через пять минут.

13 Зак 3178

— У меня разговора не на пять минут, — заметил Никодим.

— Ну хорошо, через десять, — поправился Уокер.

Валентин и Певцов пошли в одну сторону, Никодим и Уокер — в другую. Когда они скрылись друг у друга из виду, Никодим спросил Уокера:

— Отчего так много лживых людей я встречаю за последнее время?

Уокер поглядел на Никодима сверху вниз: он не понял, что Никодиму нужно.

— Господин Уокер, — продолжал Никодим, — справедлива ли моя догадка, что Певцов и Мейстерзингер одно и то же лицо?

Уокер молчал.

— Господин Уокер, — сказал Никодим уже гораздо тверже: умеете ли вы писать по-русски?

— Что за вопрос? Конечно, умею.

— Нет, господин Уокер, вы не умеете писать по-русски.

— Дерзости вашей не понимаю, или вы не в своем уме? Может быть, вы желаете, чтобы я вам доказал свое умение?

— Да, хочу.

— Но я-то не вижу в этом смысла.

— Господин Уокер, — начал Никодим совсем другим голосом, мягким и волнующимся, — неужели вы откажете мне в этом даже тогда, когда от нескольких слов, написанных вами по-русски, будет зависеть почти все в моей жизни.

— Странно, — сказал Уокер, — этого не может быть, я думаю.

— Нет, нет, может! — воскликнул Никодим.

— Если вы так уверяете...— лениво произнес Уокер.— Что же вам, сейчас это необходимо? — спросил он.

— Да, сейчас.

— Но ведь тут нет бумаги и чернил?

— Нам не нужна бумага, — спеша сказал Никодим, — мы отдерем кусок бересты, и вы напишете на ней карандашом. Или у меня есть записная книжка.

— Нет, нет! — произнес Уокер вдруг очень решительно. — Я не стану писать. Поэтому и не трудитесь измышлять, как и на чем.

— Почему? — спросил Никодим, опять останавливаясь и меряя Уокера взглядом.

— Видите ли, — ответил Уокер тихо и раздумчиво, но не глядя на Никодима, — мне кажется, что в вашей просьбе кроется тайный умысел. Я не люблю этого. Если вам что нужно — говорите прямо. Я устал от всяких ухищрений в жизни.

— Правда, я могу получить от вас что мне нужно и другим путем, — решил Никодим, — видите ли, Феоктист Селиверстович Лобачев показал мне несколько писем: одни из них были подписаны именем «Ираклий», а под другими стоял только знак — так вот вторые-то, со знаком, не вами ли были написаны?

Уокер побледнел.

— Сам Лобачев показал вам письма? — сказал он упавшим голосом, даже как будто не спрашивая Никодима, а лишь сознавая с ужасом, что Лобачев решил от него отделаться и выдал его с головой. Но он в ту же минуту оправился.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что Ираклий это не кто иной, как сам Феоктист Селиверстович? — спросил он насмешливо.

— Нет, не скажу, — ответил Никодим, — но я еще должен спросить вас: не вы ли писали и записку к моей матери, ту самую, что я показывал вам на квартире у Лобачева?

— Прекратим этот пустой разговор, — попросил Уокер, — вы, кажется, серьезно больны, и в голове у вас полная путаница.

— Значит, вы мне не дадите ответа? Тогда я добьюсь его от господина Мейстерзингера.

— Пожалуйста. Я не знаю господина Мейстерзингера и повертываю обратно.

Они повернули оба. Но прошло уже гораздо больше десяти минут с того времени, как они расстались с Валентином и Певцовым.

— Никогда я не встречал человека, которого мне пришлось бы ненавидеть так, как я ненавижу вас, — сказал Уокер Никодиму голосом, в котором звучали вместе отчаяние, ненависть и сожаление.

— За что? — удивился Никодим. — Вы мне сделали много дурного, но что я сделал вам?

— Вы — счастливейший из людей и уж тем передо мной виноваты. Другие теряют полжизни на то, чтобы получить хотя бы только возможность прикоснуться к предмету своих вожделений. А вы? Приходите и берете себе все, без остатка. А потом еще оправдываетесь! Вы догадываетесь, конечно, о ком я говорю?

— Я?.. нет... я не могу догадаться...

— О госпоже N. N.— вот о ком.

— Постойте, постойте, вы что-то путаете, — загорячился Никодим (но втайне ему было неприятно услыхать имя госпожи N. N. из уст Уокера), — госпожа N. N., как мне сказал Феоктист Селиверстович, вышла замуж. Если вы хотите сводить счеты со своими соперниками — обратитесь прежде всего к ее мужу. Если же вы желаете со мною драться — я к вашим услугам всегда, а если не желаете, то знайте, что я желаю.

Уокер произнес сквозь зубы:

— Или я рехнулся, или вы? Я перестаю понимать решительно все.

И, оглядевшись кругом, вытащил из кармана рейтуз револьвер.

— Встаньте туда, к дереву, — указал он Никодиму властно, обращая револьвер дулом к нему.

— Ах, вы так! Помните, как мы столкнулись с вами у камня, что из этого вышло? — засмеялся Никодим, но очень спокойно, и, прежде чем Уокер успел нажать спуск, ударил его по руке.

Выстрел раздался, но пуля полетела к лесу и, сорвав по дороге несколько сухих листьев, плавно упавших на землю, ударила в дерево.

Схватив Уокера руками за горло, Никодим одним рывком повалил его на землю и отнял у него револьвер.

Отступив на шаг-другой с торжествующим видом, но вместе дрожа от волнения всем телом, Никодим сказал поднимавшемуся Уокеру:

— Теперь я мог бы вас попросить... Вот ваш револьвер.

Подал револьвер Уокеру и пошел прочь.

Уокер повертел револьвер, обтер его полою куртки, постоял как бы в раздумье, потом медленно поднес револьвер ко рту. На лице его мгновенно отразились и большая тоска, и утомление, и презрение к себе, сознание безвыходности и невозможности восстановить свою честь, и обида и пристыженность за дикую выходку против Никодима. Уокер спустил курок.

На выстрел Никодим обернулся, подошел, постоял над трупом, вынул из кармана жилета штопальную иглу и, Бог знает зачем, попробовал воткнуть ее в грудь Уокеру, но игла встретила что-то твердое и остановилась. Тогда Никодим воткнул ее в торчавший рядом гнилой пень — всю, без остатка, и очень быстрыми шагами скрылся в лесу.

ГЛАВА XXIX
Тень за рубежом

Валентин и Певцов прибежали на выстрел к трупу Уокера, когда Никодим был уже в лесу, далеко от места происшествия. Вся обстановка и положение сэра Арчибальда показывали, что он сам покончил с собою, но тем не менее Валентин и Певцов в два слова сговорились не упоминать о том, что Уокер ушел от них вместе с Никодимом.

Никодим проблуждал по лесу несколько часов, как оглушенный, не разбирая дороги, и вновь очутился на той же поляне, где он оставил труп Уокера. Тело сэра Арчибальда было уже покрыто рогожей; неподалеку от него сидел на корточках понятой из соседней деревни и разводил костер, чтобы согреть чаю, — прилаживал козлы и подкладывал сухие прутья. В ту минуту, когда Никодим показался на поляне, из лесу вышел и другой понятой: он, набрав где-то в закоптелый чайник воды, нес ее; вода расплескивалась ему на штаны и на сапоги.

— Гараська, поторопись, — сказал первый понятой.

— Еле набрал — черпал, черпал, — ответил второй.

— Это что же, братцы? — спросил их Никодим, подходя. Он хотел спросить, зачем они здесь и что станут делать с телом Уокера, но у него вышло так, будто он не знал, что с Уокером случилось.

— А лобачевскому управляющему жить надоело, или попался в чем — приперло! Бывает, — ответил первый понятой, веселый и разбитной малый лет двадцати пяти.

— Бывает, — повторил сокрушенно второй понятой.— Присядьте с нами, барин, а то жутко что-то, — попросил он Никодима. Этот понятой был мужик уже в почтенных летах и, должно быть, богобоязненный.

Никодим присел на обрубок дерева, валявшийся тут же.

— И что это люди, — сказал опять второй понятой, — не пойму их никак. Живут, живут — и готово!

— Вот видишь ли, — заметил Никодим ровным голосом, — а я еще за минуту до смерти с ним говорил. Гордился человек.

— Нечистый всегда гордого подтолкнет, — пояснил первый понятой. — Навесь чайничек-то, — напомнил он второму.

Едкий синий дымок от костра щипал Никодиму глаза; Никодим, захватив несколько сухих сучьев с поблекшими, но еще плотно державшимися листьями, отрывал лист за листом и бросал их в огонь; на огне листья быстро свертывались, краснея, превращались в пепел и пеплом уносились в воздух; покружившись в воздухе, пепел ложился тут же, рядом с костром.

Уже понятые напились чаю, а Никодим сидел все неподвижно и молчал.

— Барин, а барин, — сказал первый понятой, — а правда ли, что душа человечья еще будет к телу приходить?

— Будет, — ответил Никодим убежденно, но не думая о том, что говорит.

— Ну вот видишь: я тебе говорил, что будет, — радостно подтвердил второй.

— Прощайте, братцы, — сказал Никодим, вставая, — пойду.

Он снова пошел в лес, опять не разбирая дороги; побродил там и через полчаса вышел на ту же поляну.

Понятые как будто встревожились.

— Что это, барин, — спросили оба они в один голос, — вас все сюда манит?

— Не знаю, — ответил Никодим равнодушно и присел на тот же обрубок.

Посидев, он встал, повторил свое «прощайте» и пошел по дорожке, ведущей к дому.

Валентин приблизительно через полчаса после этого, очень растревоженный самоубийством Уокера и не находя ему объяснений, прошел наверх к Никодиму, думая, что брат сидит у себя. Он не нашел там Никодима и вышел через дверь кабинета на крышу дома.

С крыши дома Валентин прежде всего увидел тот распаханный бугор, по которому когда-то бегал Трубадур, а на бугре, как раз на полосе посередине него, — Никодима. Кроме того, в конце полосы, у камня, прислонившись к нему, сидел еще человек и, видимо, спал.

Никодим шел полосою по бугру вверх, но шел необыкновенно. То он делал несколько шагов вперед, высоко поднимая ноги, будто опоенный дурманом, то отступал назад, все время озираясь и балансируя руками, точно он двигался не по земле, а по канату.

«Никодим сошел с ума!» — решил Валентин.

Но Валентин ошибся: с Никодимом произошло совершенно иное: он случайно очутился у бугра и случайно пошел по нему вверх.

Едва он сделал несколько шагов, как ему бросилась в глаза собственная тень. Тень была необыкновенно черная и густая, но легла она, вопреки порядку, не от света, а против света, вслед уходящему солнцу.

Никодим тогда не поверил своим глазам и отступил на несколько шагов, наблюдая за тенью. Тень отступила вместе с ним. Он сделал несколько шагов вперед — она подалась тоже.

Никодим сошел с борозды влево — тень отделилась от него, цепляясь за рубеж, но не переходя его; он пошел вперед — тень вместе с ним, по борозде.

«Полно! Моя ли это тень? — подумал он. — Может быть, это душа Арчибальда? Но где же тогда моя тень?»

Никодим посмотрел вокруг: другой тени от него не ложилось, черная — легшая вправо — была единственной.

Тут, очень смело и очень радостно размахивая руками, Никодим пошел вверх по бугру. Идти было необыкновенно легко, грудь глубоко вдыхала свежий воздух, а сердце билось сильно и неизъяснимо сладко.

Особенное чувство наполняло сердце — совсем телесное. Ему казалось, что сердце — этот маленький кусок мяса, напоенный кровью, ширится, ширится бесконечно, захватывает своими краями вот те деревья, растет еще дальше и вдруг — одним своим краем — подступает к горлу.

Слезы хлынули из глаз Никодима, и Никодим, тихо склонившись, лег на землю, лицом прямо в борозду.

Он плакал долго; вся мука последних дней выходила слезами, выкипала.

Когда же он наплакался вволю — чья-то рука коснулась его плеча.

Никодим поднял голову: рядом с ним сидел Марфушин, вытянув ноги вдоль Никодимова туловища, и гладил Никодима по плечу.

— Измучились, Никодим Михайлович? — спросил его Марфушин участливо.

— Нет! Теперь мне уж хорошо, а как трудно было, если бы вы знали.

Марфушин продолжал его гладить.

— Господин Марфушин, скажите, — спросил Никодим, — чья это тень шла со мною рядом?

— А где она?

— Да теперь уж нет ее. Исчезла.

— Арчибальда тень, наверное, — пояснил Марфушин, — впрочем, на этом месте всегда тени ходят. Здесь ведь рубеж земли: по одну сторону мертвые ходят, по другую — живые.

На лице Никодима изобразилось, что он не понимает сказанного; послушник это заметил.

— Знаете, одна есть черта, — пояснил он, — если только за эту черту ступишь — ты уж неживой человек. Но мы всегда рядом с чертою и не чувствуем, что тут же, за чертою проходят мертвые, заботясь о своих делах по-своему, а не по-нашему.

Никодим теперь понял — и то, что говорил послушник, ему понравилось, и захотелось еще спрашивать его.

— Скажите, Марфушин, — спросил он, — как относится к вам отец Дамиан?

— Отец Дамиан меня не любит, — просто ответил послушник, — а почему — не знаю. Говорит, что я весь из греха и нет для меня спасения.

— Но ведь это страшно. Отец Дамиан святой человек. Он даром говорить не будет.

— Да, страшно.

— А нельзя ли умилостивить отца Дамиана? Я к нему поеду и попрошу за вас: пусть он помолится крепче — его молитву Бог слушает.

— Бесполезно. Бог меня никогда не любил. Он меня без числа наказывал.

— Да нет же! Бог не такой, — сказал Никодим, словно он знал, какой именно Бог. — Неужели вы действительно столь грешны? — спросил опять Никодим.

— Очень грешен. Зато я землю чувствую и люблю. Вот как люблю.

Жест Марфушина был убедителен.

— И я землю люблю, — сказал Никодим, — только не знаю, как ее следует любить. Вы как любите?

— Я-то? — Послушник улыбнулся, подыскивая сравнение. — Ну вот так, как вы любите госпожу N. N.

При упоминании о госпоже N. N. сердце Никодима и удивилось, и заныло. Никодим поднялся и сел рядом с послушником.

Только теперь у него явился вопрос, откуда послушник знал Арчибальда.

— Вы давно знаете Арчибальда? — спросил его Никодим.

— Очень давно.

— А вы видели его... труп?

— Нет, еще не видел. Мне сказали, что он застрелился.

— Я был свидетелем этого.

— Вы? — Лицо послушника выразило испуг и удивление.

— Да, я. Что же в этом удивительного? Так естественно.

— Я ничего не говорю. Но все-таки для меня это было немного неожиданно. Я видел сэра Арчибальда всего только вчера и никак не мог бы подумать, что он сегодня разочтется с жизнью.

— А я не удивился, — сказал Никодим, — я не любил сэра Арчибальда — быть может, потому и не удивился?

— Никодим Михайлович, за что вы так возненавидели меня и так гнали — там, на дороге и в монастыре? — спросил послушник.

— Не знаю. Вероятно, потому, что вы мне очень не понравились тогда.

— А теперь нравлюсь?

— Не то чтобы нравились. А так... После того как я побывал еще раз у Лобачева и поговорил с ним — многое стало мне безразличным.

— И госпожа N. N.? — спросил послушник.

— Нет, — ответил Никодим твердо, — она-то не безразлична. То есть чувство мое к ней выросло.

— Она заманчива — госпожа N. N., но она страшна.

— Ничего, — уверенно и еще тверже сказал Никодим, — я не боюсь: моя мать еще страшнее.

— Я слышал о вашей матушке.

— От кого слышали?

— От Лобачева же. Была у нее тяжелая, трудная жизнь.

— Вы знаете? — тревожно спросил Никодим.

— Нет, слышал.

— Слышали только — ну это другое дело.

Никодим успокоился. Время от времени он поглядывал на своего соседа. Послушник сидел, опустив лицо к земле и раскапывая землю прутиком.

— Никодим, ты нездоров! Пошел бы ты лучше домой, — сказал Валентин, подходя к ним. (Он с крыши дома видел, как Никодим грохнулся лицом в землю.)

— Нет, — ответил Никодим совсем ласково, — я совершенно здоров. Садись лучше с нами. Вот мы с Федулом Иванычем о тенях разговаривали. Здесь, знаешь ли, по рубежу тени мертвых ходят.

— Ну конечно, ты нездоров. Какие тени? — тревожно спросил Валентин и взял брата за руку.

Никодим отстранил эту руку очень любовно, поднялся и пошел опять к лесу. Валентин хотел было пойти за ним вслед, но послушник удержал его.

— Не ходите, — сказал он, — ваш брат совершенно здоров — только ему нужно успокоиться.

ГЛАВА XXX
Лестница Актеона

«Что это со мной? — думал Никодим, уходя от послушника и Валентина, — спрашиваю всех без конца, а спросить не умею. Ведь Марфушин знает что-то и про Лобачева, и про маму, и про Арчибальда; гораздо больше про Арчибальда знает, чем сказал мне».

Никодим сошел с бугра вниз и остановился.

«Это все потому, что прямоты и твердости во мне мало, — продолжал он размышлять, — просто неприятно мне, когда Марфушин говорит о маме или Уокер о госпоже N. N., — неприятно, что это они говорят, сами неприятные мне. Другой на моем месте давно бы выспросил обо всем — а я не могу: язык не слушается. И зачем около меня вертятся все эти Лобачевы, Марфушины, Певцовы, Уокеры и прочие?

Мне трудно. Но неужели я на самом деле болен и Валентин прав? Нет, я не болен. Я только устал очень и потому еще больше устал и разбит, что сегодня так много плакал. Мне просто нужно выспаться хорошенько, и тогда все пройдет. Вот и пойду спать».

Чтобы привести последнее намерение в исполнение, следовало бы идти к дому, однако Никодим опять направился в лес.

Уже немного оставалось до вечера, хотя было еще светло. Но Никодиму казалось, что стемнеться может каждую минуту и лишь только стемнеется — он сейчас же встретит Уокера. Уокер будет глядеть на него из-за веток, как в тот день, когда они столкнулись на берегу озера у камня, но будет стоять неподвижно и лицо его — бледное, с пятнами крови — покажется очень страшным.

«Не нужно бояться. Только не нужно бояться, — думал Никодим, — может быть, покойники и действительно ходят, но всякий страх можно стерпеть, вся-

кую неожиданность признать, нисколько не подчиняясь ей притом. Ну хорошо: ты, мертвец, стой там, держи свою голову неподвижно или кивай ею, а я пройду мимо. Со страшным напряжением воли над своим страхом, но пройду. Потому что если я не сделаю этого напряжения над собою, то не смогу идти, упаду. А мертвец-то на тебя тут и насядет».

Сердце Никодима от таких мыслей и смутного ожидания холодело и учащенно билось: он придерживал его рукою.

Лес становился гуще и темнее; Никодим шел очень знакомою и памятною ему дорогою — только не замечал этого.

«Где я?» — спросил он себя.

Осмотрелся. Да ведь это та самая лощина, в которой он когда-то с отцом увидел мертвого благородного оленя, и он идет по ней, но идет тропинкой, которую в прошлый раз почему-то не заметил.

Тропинка проложена не по дну лощины, а с краю ее и густо обросла папортником и другими высокими сочными травами; потому, когда станешь посреди лощины, тропинки не видно. Кроме того, она стелется все на аршин-полтора выше, чем проходит дно потока, и оно с тропинки кажется где-то далеко внизу.

А вот и благородный олень. Он лежит все такой же с самой весны, и даже смраду от него нет; глаза не помутнели, хотя смотрела из них смерть.

«Может быть, и олень лобачевского изделия? Деревянный, — спросил себя Никодим, — оттого и не портится?»

Морда оленя пришлась в уровень с лицом Никодима, когда тропинка кончилась, и Никодим должен был остановиться.

Он потрогал рукою шерсть оленя: шерсть была настоящая.

В лесу в это время что-то зашуршало и треснуло сухим надломленным треском.

«Идет! — отозвалось в Никодимовом сердце; сердце сжалось от боли, и холод пробежал по поджилкам.— Спрятаться бы куда-нибудь», — было второй его мыслью, или, вернее, желанием сердца. «Подземелье дайте, подземелье мне нужно! — закричало сердце, забеспокоилось, заметалось. — Здесь должно быть подземелье!» Однако подземелья не было.

Но никто не вышел из лесу. Никодим постоял, прижавшись к отвесной стене обрыва, и осторожно отодвинулся.

Прямо перед ним, в траве, переплетшейся с кустами, виднелись полусгнившие ступени лестницы; она вела на дно лощины. Никодим насчитал семь ступеней.

«Семь ступеней — семь цветов радуги, — сказал Никодим, и вместе ему стало холодно и лихорадочная дрожь пробежала по его телу, — красный цвет, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый», — пересчитал Никодим сначала в уме, потом по пальцам — будто и выходило, а как-то недостаточно верно, и нельзя было себя проверить. От этой невозможности проверить стало немного досадно.

«Если проходить одну ступень за другою, — думал Никодим, — что будет? Еще и вначале увидишь весь мир, но он будет красным. То есть не совсем красным; особенно: не по-красному красным — то есть так, как представляется мне с самого начала, — это и будет красным; ступень дальше — станет оранжевым, совсем по-новому. Еще дальше — желтый, опять новее прежнего, — и так далее: зеленым, голубым, синим, фиолетовым. Потом, когда станешь на землю, — мир будет настоящим, белым. Тогда можно будет торжествовать. Никто не знает, а эта лестница особенная. И не нужно, чтобы знали. Я один буду ходить сюда.

Потом дальше будет колодец, круглый, но такой, что только человек может влезть. Если бросить камень, через долгое время раздастся всплеск воды. Колодец очень глубокий, и в нем темно.

Колодцы? Что такое колодцы? Насилие над землей. Она нужную часть воды несет открыто, на поверхности, а часть скрывает, таит, потому что нужно так. Но человек не довольствуется открытым. Он насильно докапывается до воды. Разве земля любит и может любить это?

Нет, это колодец без воды, сухой. Если бросить камень — раздастся стук, а не всплеск. И туда, на дно, можно спуститься. Только не стоит. Лучше сидеть смирно. Ах, надоело мне все!»

Никакого колодца под лестницей не было: его рисовало воображение Никодима, но зато над головой Никодима по гладкому краю обрыва виднелась надпись, сделанная размашисто синим карандашом. Часть слов была смыта дождями, а часть еще сохранилась, и хотя с трудом, но можно было разобрать следующие слова:

«...подобно... Актеону: он... моей жене... после... смысл и присутствие собственного сознания... представил... терпи...»

Дальнейшие три строчки окончательно стерлись: только синие пятна от нажимов карандашом обозначали еще их путь.

Надпись была сделана рукою Никодимова отца, но Никодим надписи не заметил.

Сидя на камне и думая, он смотрел на большой кленовой лист, снесенный ветром на дорожку, из-под листа все старалась выбраться запоздалая гусеница, но не могла никак: ее что-то приклеило к листу. Пушистая, жирная — она извивалась, напрягала свои членики, поднимала желтую головку с черными пятнышками и своими усилиями даже шевелила тяжелый лист. Никодим безотчетно поднял ее вместе с листом, отделил от листа и посадил на куст; лист, выпущенный Никодимом из рук, полетел на дно лощины, кружась в воздухе.

Темнота быстро надвигалась, и становилось холодно. Никодим встал и пошел домой.

Он выбрал дорогу напрямик через лес и в темноте сбился с пути. Проблуждав час по меньшей мере, он заметил приветливо мелькнувший огонек и пошел на него.

Огонек вывел его на прогалину, все на ту же прогалину, на которой он был сегодня уже три раза, — к телу Уокера.

Понятые сидели у костра; лица их ярко освещались огнем, но Никодима в темноте они не могли заметить. Ступал же он по земле очень тихо.

Понятые разговаривали. Младший говорил старшему:

— Что ты думаешь — все эти ипатьевские испокон веку с нечистой силой возились. Сам знаешь, она-то сама к таким напрашивается спервоначалу, а потом свяжутся и так понравится, так понравится — водой не разлить.

— Полно к ночи-то говорить всякое, — зевнув и крестя рот, ответил второй понятой.

— А вот наши видели на покосе прошлым летом, как лобачевский-то управляющий ее гнал. Она бежит-бежит, присядет, да потом, как заяц, и сиганет с одного маху через поляну.

— Полно тебе! — сказал опять второй усовещивающим голосом. — Никто как Бог один.

— Перекрещусь — не вру, — заговорил первый, горячась.

Но в это время из мрака перед понятыми выросла фигура Никодима. Они вскочили испуганные, дрожащие. Может быть, им показалось, что это была и душа покойника.

Но они тут же признали Никодима. Однако появление его их опять и удивило и устрашило, должно быть. Они перестали разговаривать.

Старый понятой потом сказал Никодиму, стоявшему молча:

— Не к добру это, барин, что вас все сюда ведет. Нехороша примета.

— Я заблудился, — ответил Никодим, — и вышел на огонек. Теперь пойду к дому. Пора спать.

Он говорил спокойно, немного усталым голосом, но словно ему не было никакого дела, что здесь, рядом, лежит труп Уокера.

— Страшновато, — заметил молодой, — я не пошел бы один. Кто его знает: за каким кустом стоит. А вдруг схватит.

— И что ты, Федор, сам на себя страх наводишь, — сказал старый понятой, но таким голосом, что чувствовалось, что он боится еще пуще, чем его товарищ.

— Ничего не страх, — ответил тот излишне бойко и развязно, — а только барину хороший совет даю.

При последних словах и у молодого застучали зубы.

Никодим знал, что ему нужно торопиться домой, но от всех этих слов на сердце и у него стало жутко. Он стоял и не решался пойти.

Только сделав очень большое усилие, он шагнул в сторону и скрылся во мраке.

Дома было весело и уютно. В столовой, при спущенных шторах, зажегши всюду огни, сидели за кипящим самоваром Валентин, Евлалия и Алевтина, только что приехавшие из города, и господин в черном, по наружности и одеянию актер.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — сказал актер громко.

Никодим поглядел на него со старанием припомнить, где он этого актера уже встречал, еще совсем недавно.

— Мы познакомились на днях с вами в одном имении на празднике, — пояснил актер. Это был тот самый актер, что походил на Лобачева. Однако Никодиму присутствие актера стало уже безразличным.

Потом пили чай. В середине чаепития актер обратился к Никодиму.

— Я к вам по делу, — сказал он, — не хотите ли вы вступить в мою труппу на всю зиму?

Предложение было чрезвычайно неожиданно для Никодима, особенно оно не связывалось у него со всем тем, чему он был сегодня свидетелем и что сам делал и думал. Ему стало смешно от сознания всей нелепости предложения.

Он подумал-подумал и ответил:

— Как же так? Я никогда не играл. И почему вы обращаетесь ко мне?

— После того как я встретил вас там — вы не выходили из моей головы.

— Нет, — сказал Никодим, — так прямо я не могу. Я поеду с вами, посмотрю, попривыкну и решу впоследствии. Необходим некоторый опыт.

А через минуту Никодим уже не мог бы объяснить, почему он так легко согласился на предложение актера или что подтолкнуло его на это.

ГЛАВА XXXI
Происшествие в театре

Через месяц Никодим уже свыкся с кулисами; он еще ни разу не выступал перед публикой, но уже разучил две роли в новых драмах и подготовлял третью, которой окружающие придавали особое значение; в ней же он собирался и выступить на суд публики.

Бывает так, что входишь в новое дело и в новое место — и в деле и в месте все кажется немного страшным, потому что и то и другое неизвестно. Но проходят дни, и человек мало-помалу привыкает. Также и Никодим, привыкнув видеть перед собою каждый день и каждый вечер пьяненького, но добросовестного суфлера, щеголеватого театрального парикмахера с чересчур нафабренной и слегка подкрашенной эспаньолкой, театральных плотников — одного очень рыжего, другого очень черного, в грязных бумазейных рубахах с постоянно вываливающеюся подоплекою, — первого любовника труппы, примадонну и прочих и прочих, вместе с оборотною стороной декораций и смешною вблизи бутафорией, — стал этому всему своим человеком, зажил одною с ним жизнью.

Проходя между уборными артистов, он готов был подмигнуть встречной хорошенькой актрисочке на выходных ролях — так ведь делали все! — хотя и не подмигивал. Но важно то, что готов был подмигнуть. С комиком Ивановым-Деркольским собирался вместе брать уроки игры на гитаре, а с резонером Никулаш-Недвигайловым как-то сыграл даже семь партий на биллиарде в трактире «Памятник Славы» и заслужил от актерской братии немалое одобрение за эту игру.

В противоположность всем остальным членам труппы у Никодима всегда были деньги; новоявленные товарищи и приятели Никодима это знали и дорожили его дружбой.

Он пробовал сначала открещиваться от них, но начал постепенно сдавать, стал больше думать о своих ролях, чем о себе, и у него выработалось сносное и простое отношение к товарищам: он привык или не замечать, или прощать им их грешки.

Накануне своего первого выступления Никодим сильно волновался, быть может, сильнее, чем кому-либо доводилось из всей труппы когда-либо. Весь спектакль накануне дебюта он просидел в первом ряду, внимательно ловя каждый жест, каждое движение своих товарищей, чтобы в последний раз поучиться: себе он не совсем доверял; ему казалось, что на сцене он будет чужим человеком и публика это сразу заметит.

Первое выступление Никодима ознаменовалось необыкновенным и ужасным происшествием. Происшествие это было описано в местных газетах (я забыл сказать, что труппа, в которой участвовал Никодим, играла в одном из больших поволжских городов), но, во-первых, газетам не позволили напечатать точное описание события, а во-вторых, даже если бы им и позволили говорить правду, то редакторы их ни за что не рискнули бы предать тиснению все те рассказы, которые от очевидцев пошли по городу, так как коллеги их из других городов упрекнули бы редакторов местных газет в легковерии, а их органы (вполне серьезные) — в пристрастии к сплетням, которыми позволительно пробавляться только желтой прессе. Во всяком случае солидности и просвещенности их газет пришлось бы выдержать очень строгий искус с плохими шансами за благополучный выход из положения. Итак, редакторы не рискнули бы.

Публика же, которая гораздо неосмотрительнее редакторов, потому что не чувствует за собою обязанности давать отчет в своих поступках и словах, — говорила о происшествии, освещая его подробно, и хотя среди публики также встречались скептики, но они терялись в общей массе, и возражения таких скептиков выходили негромкими.

Когда рассказы о происшествии дошли до базарной площади, один старичок, торговавший книгами и картинами духовно-нравственного содержания и давно ожидавший светопреставления, сказал: «Не иначе, как Антихрист народился» — и заплакал горькими слезами.

В газетах же можно было прочесть только приблизительно следующее:

«Вчера, 15 октября, в нашем городском театре, во время представления новой пьесы „Приговоренный к казни", о которой подробный отзыв дает специальный наш сотрудник в театральном отделе, после выхода в последнем акте на сцену малоизвестного гастролера Александровского, выступавшего в нашем городе впервые, среди публики произошла паника, вызванная внезапным появлением огня над авансценой. Появление огня было следствием плохого устройства топки, как впоследствии выяснилось. Но небрежность эта дороже всего обошлась публике, которая пострадала и без пожара, во-первых, своими боками во время давки, а во-вторых, и кошельками, так как, не увидев пьесу до конца, денег за билеты обратно не получила, несмотря на предъявленные некоторыми лицами из публики требования.

Число пострадавших приводится в известность».

Я обязан изложить происшествие в точности, откинув все дошедшие до меня сплетни и слухи.

Никодим в тот день с последней репетиции пьесы направился к себе в номер гостиницы, чтобы отдохнуть до спектакля и в тишине еще раз обдумать свою роль.

На площади у гостиницы его кто-то окликнул. Никодим осмотрелся, но не приметил никого, кто мог бы издать возглас, обращенный к нему. Зато на другой стороне площади он увидел Феоктиста Селиверстовича Лобачева. Лобачев шел быстро, нахлобучив каракулевую шапку и подняв воротник пальто; руки он заложил в карманы и под мышкой нес палку; смотрел в землю, никуда не оборачиваясь. За Феоктистом Селиверстовичем шли четыре молодца; по всему было видно, что они сопровождали Лобачева, но за дальностью расстояния Никодим не мог рассмотреть их хорошо.

Увидев Лобачева, Никодим обрадовался (он уже давно скучал по нему и даже хотел писать Феоктисту Селиверстовичу письмо); обрадовавшись, побежал через площадь за ним вдогонку, но, когда перебежал на другую сторону, Лобачев успел свернуть за угол в ближайшую улицу. Никодим тоже свернул туда, но на улице уже ни Лобачева, ни спутников его не увидел. Никодим подумал тогда, что он обознался.

Явившись вечером в театр, Никодим перед началом спектакля успокоился и, только когда ему уже нужно было идти на сцену, снова очень заволновался. Комик Иванов-Деркольский попробовал успокоить его словами, но из того ничего не вышло, и комик махнул рукой.

Быть одному на сцене, в полумраке, среди свешивающихся серых сукон, перед совершенно черным и неразличимым залом, как перед пропастью, — очень нелегко. Нужно на то иметь особенную душу и большую веру. Когда Никодим вышел — зрительный зал жутко молчал.

Но вера к Никодиму явилась быстро: он твердо провел первые акты и в третьем получил в награду аплодисменты, еще не очень дружные, но явно одобрительные: очевидно, его игра понравилась.

Нужно было начинать последний акт. По ходу пьесы Никодим должен был появиться на сцене один, перед помостом из досок, приготовленным для казни. Герой трагедии убежал из тюрьмы, но невольно ночью, пробираясь по городу, сам пришел на площадь к возведенному для него эшафоту. Измученный душевными страданиями, он в ту минуту понял, что единственный исход для него — смерть, и добровольно взошел на помост, чтобы ждать палача. Все это было натянуто и нелепо, конечно, но так было: актер обязан подчиняться драматургу всецело, иначе взаимодействия между ними не будет.

Всходя на помост, Никодим скрестил руки на груди (ему казалось, что так будет лучше всего) и, взойдя, лег навзничь, весьма смиренно, чем на публику произвел большое впечатление. В публике пронесся едва различимый шорох.

Никодим так бы и пролежал сколько требовалось, а потом произнес бы несколько слов. Но только что он лег — мучительная боль, начавшись в голове у затылка, пронизала все его существо до кончиков пальцев на ногах и отняла у него язык.

Двое или трое из публики вдруг крикнули тогда резко и исступленно на весь зал. Что они крикнули, разобрать было нельзя, но их крик подхватили еще некоторые, и тут же он перешел в общий вопль.

Все, оставив свои места, бросились к выходам, не оглядываясь на сцену. Многие не знали, в чем дело, но бежали не разбираясь. Произошла давка. Несколько человек были раздавлены насмерть, другие изувечены, но большинство только кричало от страха; груды тел, свиваясь, бились в проходах в темноте, и никто не мог дать огня, потому что ведь это был не пожар, а совсем особенное.

Никодим же продолжал лежать неподвижно, и то, от чего люди бежали, приковывало его к себе. В ту минуту это было для него очень небольшим и незначительным — тогда он был способен на гораздо большее, — только огненное отражение его лица и скрещенных кистей рук, то есть того, что из его тела было не прикрыто одеждой, — появилось и стало в черном воздухе над авансценой. Отражение лица было неподвижным, руки не шевелились; глаза же в огневом сиянии самого лица не могли светить.

Через пять минут, уже при зажженном свете, когда смятение немного улеглось и отражение исчезло в электрическом освещении, несколько человек явились на авансцену и отнесли молчавшего и неподвижного Никодима к нему в уборную.

Лежа в уборной на диванчике, Никодим за стеною слышал разговор двух актрис: комической старухи Подорезовой и примадонны Грацианской (он их признал по голосам).

Примадонна говорила:

— Вы понимаете, что я не деревенская баба, чтобы верить всему, что мне скажут, но знаете ли, когда мне сказали сейчас об этом, то я невольно поверила. Он не только может вводить в заблуждение всех своим видом — он способен создавать двойников по собственной воле и отпускать их в люди.

— Что вы, матушка, говорите! — со страхом в голосе воскликнула старуха.

— Если это вы обо мне рассказываете, — закричал Никодим сквозь стенку, — вы говорите сущую правду. Двойника своего я уже показал одного — с вас хватит. Но я вам еще и не то покажу. Вот я вас!!!

И застучал с силой кулаком в стену.

Дамы взвизгнули в ужасе и выбежали из соседней уборной вон. Одновременно с ними выбежал и из уборной Никодима театральный парикмахер, приставленный к нему для наблюдения: он перепугался едва ли не больше дам.

В дверь, оставленную парикмахером открытой настежь, вошел вдруг Феоктист Селиверстович Лобачев. Он был во фраке, с белой розой в петлице и с серым цилиндром в руках; лицо его сияло радостью.

— Я вам раньше говорил, что ничего для вас нет лучше, как идти на сцену, — обратился он к Никодиму, — смотрите, какого успеха вы достигли при первом же выступлении.

— Очень рад вас видеть, Феоктист Селиверстович, — ответил ему Никодим во весь голос, в то же время стараясь вспомнить: когда Лобачев давал ему такой совет? И протянул по направлению к Лобачеву руку, но Феоктист Селиверстович попятился, поклонился и вышел вон, держа цилиндр в руке.

Тут в уборную явились два врача в сопровождении антрепренера и нескольких артистов. Врачи отдали распоряжение отвезти Никодима домой в гостиницу, а сами все время в его присутствии советовались, не отправить ли его прямо в больницу.

Но Никодима свезли все-таки в гостиницу и оставили в номере с сиделкой. Уже успокоившись совершенно и попросив себе горячего чаю, Никодим подумал: «Все это пустяки. А нужно мне съездить в Палестину непременно, — и, повернувшись на другой бок, почувствовал легкую дрему. Засыпая, он повторял в мыслях: — В Палестину, в Палестину».

Через день в местных газетах появилась заметка: «Невольный виновник паники, происшедшей в городском театре на спектакле третьего дня, господин А., заболел нервным расстройством в тяжелой форме».

Почему господин А. стал «невольным» виновником паники — из предыдущих газетных заметок нельзя было усмотреть. И что газеты подразумевали под этим — до сего времени остается неизвестным. Но Никодим ничем не заболел.

ГЛАВА XXXII
Содомская долина

У Никодима понемногу сглаживалось впечатление от прибытия в Яффу, от пути в Иерусалим, от посещения Гроба Господня и других святых мест. Многое из увиденного начинало забываться, некоторые частности в воспоминаниях принимали уже иной вид, чем получили его впервые. Никодим ехал на муле к Мертвому морю.

Дорога подходила к концу, но становилась все угрюмее и неприветливее: громоздились камни, раскаленные солнцем, не видно было птиц, людей, животных, и очень скудно произрастали растения.

Сопровождавший Никодима слуга-сириец подремывал, свесив с мула свои длинные ноги — настолько длинные, что, когда в дремоте он опускал их невольно, они цеплялись за камни. Тогда он, ворча, поддергивал их.

Сириец этот явился к Никодиму с предложением своих услуг еще в Яффе. Он немного говорил по-русски и очень хорошо по-английски, но в лице его и в облике сирийского было весьма мало — скорее он напоминал англичанина, и Никодим даже подумал: не отпрыск ли крестоносцев этот сириец? Однако сам сириец, спрошенный Никодимом о том, отговорился полным незнанием, и действительно, по выражению его лица в ту минуту можно было думать, что крестоносцы для него звук пустой.

Он мало разговаривал и чаще всего мурлыкал песенку, но за Никодимом присматривал очень внимательно и оказался добросовестным слугой.

К Мертвому морю Никодим ехал не только по собственному желанию: в Яффе ему подали письмо от Якова Савельича, который извещал его, что он сейчас живет в Иерусалиме, но оттуда предполагает ехать к Мертвому морю, и если Никодим свободен, пусть придет туда же, чтобы непременно повидаться с ним.

Дорога в письме была указана. Сириец уверил Никодима, что он также знает дорогу. Но теперь, задремав, он, по-видимому, сбился с настоящего направления, и, когда Никодим, наскучив некончающейся ездой, окликнул его — сириец, вздрогнув от неожиданности, протер глаза, осмотрелся кругом и сказал с досадой:

— Мы не туда попали: напрасно я понадеялся на мулов.

— Что же будем делать? — спросил Никодим.

— Мы можем ехать наугад в сторону, хотя это очень трудно, — пояснил сириец, — лучше нам ехать тою же дорогой — наверное, куда-нибудь приедем и спросим там. Я не местный житель. Я знаю только одну дорогу.

Никодим согласился. Они тронулись дальше и к вечеру заметили у дороги одинокое строение обыкновенного в тех местах типа, белое с плоскою кровлей.

У порога жилища находились двое: очень старый еврей с седой бородою до пояса, одетый в черное, и молодой человек, тоже еврейского типа, но в клетчатом европейском костюме коричневого цвета.

Старый еврей сидел на пороге, закрыв глаза, и нараспев произносил молитву, а молодой с веселым и приветливым видом покуривал папироску и посматривал по сторонам.

За домом, запирая проход между двумя скалами, возвышались тяжелые железные ворота, утыканные по верху зазубренными железными остриями. Ни одного растения не было видно около дома — голый камень и песок повсюду.

Сириец, ехавший впереди, слез с мула и, ведя его в поводу, направился к молодому еврею.

—Даст ли господин путникам совет и ночлег? — спросил его сириец.

Еврей ответил утвердительным кивком головы и сказал:

— Прошу пожаловать к нам. — Затем, обратившись к старому еврею, добавил: — Ты бы, Янкель, прекратил на время свое пение — не всякому оно понравится. К нам приехал просвещенный господин.

Старый еврей открыл свои глаза, посмотрел на Никодима одно мгновение, снова закрыл их и продолжал петь.

— Войдите, господа! — сказал молодой еврей, отворяя дверь в жилище.

Никодим передал повод своего мула сирийцу и вошел в дом. Посередине первой комнаты стоял большой некрашеный стол, на нем находились два высоких глиняных сосуда с узкими горлами, лежал нарезанный белый хлеб, а кругом стола стояли скамейки. В углу возвышалась конторка американского типа с промокательной бумагой, густо закапанной чернилами; на ней были поставлены письменные принадлежности.

— Вы из России? — спросил еврей, пытливо глядя на Никодима и уже по-русски.

— Да! — ответил Никодим радостно. — А вы тоже из России?

— Нет, я из Берлина. Я раньше жил в России и был русским подданным. Теперь уже нет. Но родители мои и сейчас живут в Белостоке.

— Что же вы здесь делаете?

— Я состою на службе.

— У кого же?

— Нет, это не лицо. Это акционерная компания.

— Как же называется ваша компания?

— Она не имеет названия. Это аноним в полном смысле слова. Но мы обслуживаем, главным образом, государственную власть почти всего мира. То есть те правительства, разумеется, которые располагают деньгами.

— Почему же вы здесь?

— Здесь находится одно из наших учреждений.

— Какое?

— Я не могу сказать. Не имею, собственно, права. Но я вижу, что вы человек порядочный и можете дать мне слово никому не рассказывать об этом в течение двух лет.

— Хорошо. Я дам вам это слово.

— Слушайте. Я бедный еврей Лейзер Шмеркович Вексельман из города Белостока, но я делаю важное дело, потому что я еврей. Только еврею компания могла доверить такое дело.

Он остановился на минуту, опять пытливо глядя на Никодима.

— В чем же дело? — удивленно спросил Никодим.

— Есть разные женщины, — почти шепотом заговорил снова еврей, — но только еврей может знать, что такое женщина. И вот мне поручили...

Он, очевидно, с трудом находил соответствующие важности его положения слова. Глаза еврея бегали по сторонам.

— Да, — продолжал он, — здесь за воротами находятся на полном моем попечении (не думайте, что тот старый Янкель мне начальник, он должен только за определенную сумму справлять за меня все необходимые обряды: мне самому некогда тем заниматься, у меня по горло работы), — так вот, несколько женщин, которых нельзя было посадить в тюрьму, но и нельзя было оставить на свободе. Они мужеубийцы...

Еврей запнулся, будто соображая, что он рассказал Никодиму так скоро все.

Никодим на его слова ответил, желая помочь ему выйти из неудобного положения:

— Мне же это неинтересно — пусть акционерная компания. Мы ищем только отдыха и ночлега.

— Ах нет, вовсе нет! — засуетился еврей. — Вы меня не понимаете, это очень важно: ведь здесь находится также и ваша жена.

— Действительно не могу понять, — сказал Никодим, широко раскрывая глаза, — я не женат, а кроме того, если здесь мужеубийцы, то почему я жив?

— Ах да! — сказал еврей, почесывая подбородок. — Я забыл вам сказать — ваша жена особенная. Она тоже мужеубийца, как остальные, но по-другому.

— Все же я решительно ничего не понимаю, — возразил Никодим, — но если моя жена особенная, как вы говорите, то нельзя ли, во внимание к этой особенности, позволить мне взглянуть на нее хотя раз? Где же она, в другой комнате, что ли?

— Нет, она вместе со всеми остальными за воротами. Там долина и они живут.

— Какая же долина?

— Хорошая долина. Все, что осталось от Содомской. Растения, фрукты, плодородная земля — нельзя и сравнить с тем, что у нас. Я думаю, женщины там хорошо устроились — вы знаете, как умеют устраиваться женщины.

— Да, я знаю, — ответил Никодим, — но, голубчик, нельзя ли мне попасть туда к ним?

Еврей заколебался.

— Ну, прошу вас, — повторил Никодим.

— Господин Ипатьев, — сказал еврей, называя Никодима по фамилии, хотя до того в его присутствии Никодим еще не называл себя, — вы поняли меня, вероятно? Мне очень хотелось передать вам все, что я знаю, ведь так трудно знать и не иметь права кому-либо рассказать об этом. Я рассказал, но не сочтите, что я болтлив. Янкель не должен знать ничего; слугу вашего я вижу первый раз — но кто он? как же я могу?

— Вы боитесь, что я расскажу. Но ведь вы же просили меня никому не говорить? И я дал слово. Пожалуйста, успокойтесь.

— Я уже успокоился. Но душа моя будет больна, если я вас пущу туда. Еще третьего дня один из нас, местный житель, из любопытства, а может, и по другому чему, прошел к ним (я не заметил как) и больше не возвращался. Ай-ай, что с ним?

— Что же с ним могло случиться?

— Ах, вы не знаете этих женщин. Они так ненавидят мужчин. Только дурного и жди от них. Они его замучили до смерти, наверное, а потом съедят.
— Полно вам! Разве эти женщины людоедки?
— О, вы не знаете их!
— Но все же пустите меня к ним, — просительно повторил Никодим.
— Я не могу вас пустить! — сказал еврей с жаром, как бы сердясь на то, что Никодим не хочет его понять. — Разве можно это — вы не вернетесь.
— Слушайте, вы умный человек, — сказал Никодим, желая польстить еврею, так как видел, что прямым путем от него трудно добиться чего-либо, — обсудим же положение.
— Хорошо, обсудим, — сказал еврей, садясь за стол и приглашая Никодима сесть возле.
Никодим сел.
— Вот, — начал Никодим, — вы боитесь Янкеля. Но вы скажете ему, что провели меня в другую комнату, что я очень хорошо заплатил и просил меня не беспокоить, то есть не входить ко мне. Янкель поверит.
— Янкель поверит? Может быть. Но ведь это же до утра только. А когда утром он спросит?
— Я к утру вернусь.
— А если не вернетесь?
— Тогда еще проще, вы скажете Янкелю, что я пропал неизвестно куда.
— Ай-ай, Янкель этому не поверит.
— Почему же он не поверит?
— Потому. Янкель видит на аршин сквозь землю.
— Ну нет, не беспокойтесь — я вернусь к утру. Скажите, есть у вас бритва? Я оставил свою в Иерусалиме.
— Я вас понял, — воскликнул еврей, радуясь, что он действительно постиг намерение Никодима, — но ведь если вы пробудете дольше, чем до утра, — борода отрастет. Но не подумали вы и о другом — где же мы достанем платье?
— Да, не подумал, — сказал Никодим, разочаровываясь в своем плане.
— Не горюйте, — с самодовольной улыбкой ответил еврей, — у меня есть платья — я кое-что припас: этим женщинам присылают их много, а я припрятал — будто знал, что вы приедете сюда. О, недаром бедного Лейзера всегда считали проницательным человеком. Еще папаша, когда я жил в Белостоке, говорил мне каждый день: «Ты, Лейзер, будешь у меня самый умный и полезный ребенок». Садитесь, господин Ипатьев, — я вас побрею. Я люблю помянуть старое — когда-то в Белостоке — там папаша имеет две собственных парикмахерских — мне часто приходилось бривать.
Через короткое время Никодим преобразился совершенно. Вексельман его начисто выбрил, подзавил ему пряди волос, перерядил в женскую одежду, выбрал очень шедшую Никодиму шляпу — повертел его, повертел и, удовлетворенный результатами своей работы, сказал: «Готово!»
— Теперь пойдемте! — попросил он, вывел Никодима другой дверью через вторую комнату наружу, провел узким каменным коридорчиком к калитке, проделанной в скале рядом с воротами, и остановился около нее.
— Я... я боюсь за вас, — сказал он, глядя Никодиму в лицо, причем нижняя губа у него задрожала, — вы не вернетесь.
— Вернусь, — уверенно ответил Никодим.
— Всю ночь я не буду спать и буду стеречь у калитки. Когда вам придется вернуться, вы стукните два раза — я открою сейчас же. Но пусть женщины этого

не видят. Если встретите там нашего слугу — молчите, чтобы он не выдал вас. Берегите себя. Я открываю.

Он щелкнул замком калитки с таким видом, будто показывал замысловатый фокус. Калитка отошла небольшою щелью. Никодим ухватил калитку за край, потянул к себе и прошел туда, в сумрак; дальше нужно было идти ходом, прорубленным в сплошном камне; ход заворачивал влево.

Калитка за Никодимом защелкнулась. Первые шаги Никодим шагнул неуверенно, весьма колеблясь, но потом оправился и смело пошел вперед.

Коридор кончился. У самого выхода росли большими кустами розы. Они были в полном цвету. Над ними колыхались пальмы, и тут же легкою струйкою падала из утеса холодная вода, убегая по каменному желобку вдоль дорожки. Никодим набрал воды в горсти и напился ею, она весьма освежила его.

Солнца Никодим за скалами не видел — оно, вероятно, было уже недалеко от горизонта. Но в воздухе не чувствовалось приближения холода. А за кустами, у дорожки, невдалеке, склоняясь над куртинами и срывая цветы, стояла женщина в белом и пела песенку. Еще дальше Никодим увидел другую в голубом. Долина же, расширяясь постепенно, уходила к смутно различимым граням.

ГЛАВА XXXIII
Ночь в долине. — Мертвый город и деревянная башня

Никодим подошел к первой женщине и поклонился. Его поклон выдавал в нем мужчину, но женщина, должно быть, этого не заметила. Никодим же почувствовал, что сделал неловкость, стал извиняться, еще больше смутился и замолчал.

Первая женщина была очень молода, стройна и высока ростом, одета в белое легкое платье с нежно-голубым воротником, такими же обшлагами и поясом; она испуганно взглянула на Никодима светлыми большими глазами. Рот у нее был маленький, красивый, щеки покрыты слабым румянцем, белокурые букольки выбивались из-под соломенной шляпы, а чулки и туфли были тоже белые.

— Вы... сегодня только попали сюда? — спросила она по-французски и запинаясь от неожиданности.

— Да только сегодня... приехала, — ответил Никодим, тоже запинаясь. Он положительно не знал, куда девать руки и, право, никогда не предполагал, что так трудно будет держаться в женском одеянии.

Собеседница его оживилась.

— А здесь найдется для вас очень хорошая комната. Вы англичанка? — защебетала она.

— Да, англичанка, — ответил Никодим, пользуясь тем, что он сносно изъяснялся по-английски.

— Пойдемте же, пойдемте, — сказала она, беря его за руку, и потащила за собою. — Я познакомлю вас со всеми.

И она побежала. Никодим побежал рядом с нею.

Она вывела Никодима на обширную площадку, обсаженную разнообразнейшими, но искусно подобранными цветами. Посередине многими струями, загорающимися в последних лучах солнца, бил фонтан, далеко разбрасывая брызги и освежая ими воздух. На скамьях, расставленных повсюду, сидели женщины. Их было до тридцати, они или читали, или занимались рукоделием. При появлении Никодима и его спутницы головы всех повернулись в сторону пришедших не без любопытства.

— Наша цветочница привела кого-то, — сказала одна дама, уже почтенная, вставая и направляясь к пришедшим. Глаза всех сидевших при этих словах загорелись, и все заговорили разом свои приветствия.

Но взор Никодима был привлечен только глазами одной из них, сидевшей у фонтана и глядевшей на него молча. Это была госпожа N. N. Никодим понял, что она узнала его, и со страхом ждал, что будет дальше.

Госпожа N. N. вдруг воскликнула веселым голосом:

— Ах, я знаю, кто это. Это госпожа Ипатьева из России. Ведь мы встречались, Нина Михайловна, — обратилась она к Никодиму.

Никодим только тогда вспомнил, что он не подумал найти себе новое имя. Но к восклицанию госпожи N. N. отнесся недоверчиво. Бог знает, может быть, она хочет посмеяться над ним сначала и потом выдаст его, подумал он.

Но она совсем не собиралась поступить так. Напротив, подошла к Никодиму, приняла его из рук той, которую называли цветочницей, и, крепко пожав ему руку, быстро сказала, но так, чтобы другие не заметили:

— Пожалуйста, твердо ведите вашу роль.

— Да, мы встречались, — ответил он ей.

— Мы скоро будем ужинать. Вы разделите с нами первый ужин, а потом устроитесь здесь, — сказала она и начала знакомить Никодима со всеми остальными.

Никодим не мог запомнить их имен и через минуту уже всех спутал. В голове у него осталось только, что здесь были и француженки, и американки, и англичанки, две или три испанки, две итальянки, одна индуска и одна японка.

Делая реверансы, Никодим все же не переставал думать о том, что его ждет дальше.

Дамы, сидевшие на площадке, вскоре стали собираться, чтобы идти к ужину. Они еще не успели привыкнуть к Никодиму и не знали, как лучше обходиться с ним.

Госпожа N. N., уже не оставлявшая Никодима, подхватила его под руку и повела в столовую. Дом, куда они вошли, оказался очень обширным. Столовая, убранная цветами, была в два света, с расписным потолком. Гул шагов и голосов терялся в комнате где-то вверху и в углах.

Но обитательницы этого радующего, богатого дома стали почему-то невеселы и малоразговорчивы. Молча сели они за стол, уставленный различными яствами и напитками в красивой и не виданной Никодимом посуде, и молча принялись кушать.

— Здесь всегда так... тихо и скучно? — робко спросил Никодим.

— Нет, — сказала госпожа N. N., стараясь предупредить чей-либо ответ.

Пожилая дама, назвавшая первую женщину, увиденную Никодимом в долине, цветочницей, играла за столом роль хозяйки: угощала, напоминала то одной, то другой из сидевших о различных кушаньях, хвалила их.

Когда подали какое-то мясное блюдо, она сказала, обращаясь к Никодиму:

— Так как вы только сегодня прибыли и, вероятно, никогда не имели, в противоположность нам, возможности отведать этого редчайшего кушанья, — я положу первый кусок вам. Через него вы войдете в нашу дружную семью.

— Ну не очень-то дружную, — заметила госпожа N. N. вполголоса.

— А... что же это за блюдо?... это не человеческое мясо? — опять очень робко спросил Никодим, вспомнив, что ему говорил Вексельман о пропавшем слуге. В ту минуту он слова Вексельмана принимал всерьез.

— Зачем вам знать? — сердито ответила ему почтенная госпожа. — Или вы хотите заводить здесь новые порядки?

Госпожа N. N. дернула Никодима за рукав, но он почувствовал, что, если возьмет кусок в рот, кусок этот непременно станет ему поперек горла.

— Я, право, не знаю... я не могу, — трясясь как лист, пробормотал Никодим.

— Вы, должно быть, страдаете вегетарианством? — гневно спросила его почтенная госпожа.

— Нет... нет... я не страдаю вегетарианством, — попробовал оправдаться Никодим, но куска все-таки не решился взять.

Его выручила госпожа N. N.

— Madame, прошу вас, — сказала она, обращаясь к почтенной даме, — моя знакомая вовсе не вегетарианка, но она очень устала с дороги и не совсем здорова.

— Как хотите, — отвечала почтенная госпожа, — можете не есть, только знайте, что завтра этого блюда я уже не могу вам дать.

И положила приготовленный кусок на другую тарелку.

— Я налью вам вина лучше, — сказала госпожа N. N. и налила ему красного.

Никодим, отпивая глоток за глотком, успел шепнуть своей собеседнице:

— После ужина мы поговорим?

— Да! — ответила она, но так громко, что многие на нее посмотрели.

Когда ужин кончился и застучали отодвигаемые стулья, госпожа N. N. отвела Никодима в темный угол.

— Разве можно вам здесь с вашей бородой? — воскликнула она шепотом и провела по его подбородку рукой, как бы желая знать, насколько борода отросла и не представляет ли она уже теперь опасности. — Еще ничего, — сказала госпожа N. N., — но ждать безумно. Милый мой, бегите, если знаете дорогу. — И, сжав страстно его руку, добавила: — И меня возьмите с собой, — вкладывая в последние слова все свое очарование.

— Да, я не могу здесь оставаться, — сказал Никодим, — я обещал вернуться к утру. Вексельман и слуга ждут меня. Я должен торопиться. И здесь страшно.

— Торопитесь, торопитесь, — повторила госпожа N. N., — если вы не хотите разделить печальную участь попавшего сюда на днях слуги.

— Идем, — сказал Никодим, — я знаю дорогу.

Они вышли из столовой никем не замеченные. Никодим отыскал знакомую дорожку и быстро, быстро пошел. Госпожа N. N. едва поспевала за ним. Она сильно волновалась.

В наступившей темноте, по звуку падающей воды и сильному запаху роз, Никодим отыскал вход в каменный темный коридор и ощупью нашел калитку. Отыскав ее, он стукнул два раза.

Калитка раскрылась и выпустила их на площадку. Но ничего не было в этой площадке схожего с тою, на которой Никодим вечером оставил Вексельмана.

Эта площадка находилась в конце широкой городской улицы, обставленной белыми домами и освещенной большими фонарями с молочным светом. Калитку за Никодимом и госпожою N. N. запер молодой человек — негр в высоком белом тюрбане, вооруженный холодным богатым оружием.

— Мы не туда вышли, — с досадой сказал Никодим, отступая к калитке, но негр загородил ему дорогу с красноречивым жестом, который говорил одно: нельзя.

— Мы пропали, — сказала госпожа N. N. упавшим голосом, — наверное, войдя в долину, вы напились воды из источника у розовых кустов? Зачем вы мне не сказали? Теперь нам нет выхода.

— Не волнуйтесь, я знаю, как спастись, — ответил Никодим твердо, уверенный в ту минуту, что он непременно найдет выход и для себя, и для своей спутницы.

Они пошли вдоль улицы совершенно пустынной, не встретив ни одного живого существа, и на пути заметили дом, освещенный особенно ярко, и доску, прибитую на нем у подъезда, где золотыми буквами по черному было написано: «Hotel».

— До утра нам лучше обождать в городе. Я устал, и вы тоже. Остановимся здесь, — сказал Никодим госпоже N. N.

Она кивнула головой, соглашаясь. Он раскрыл дверь и, пропустив госпожу N. N. в вестибюль, прошел за нею следом.

Оба они боялись погони и уговорились, откинув излишнюю стеснительность, ради безопасности переночевать в одной комнате, но Никодим так и не мог заснуть до утра, а госпожа N. N. немного поспала.

Как только стало вполне светло, Никодим разбудил свою спутницу и сказал ей усталым от бессонной ночи голосом:

— Больше нельзя спать. Одевайтесь. У меня дурные предчувствия: я боюсь опоздать.

Госпожа N. N. быстро оделась. Позвав слугу, Никодим, уже переодевшийся в мужское платье, которое он ночью достал от слуги, расплатился и через минуту был с госпожой N. N. опять на улице. Они пошли дальше от отеля, надеясь выйти к городским воротам. Улица была так же пуста, как и ночью, и очень скоро кончилась; конец ее как раз пришелся у ворот. Там стояли двое стражей. Путники весело поспешили к ним в уверенности, что те сейчас же откроют им ворота.

Но, подойдя к воротам, и госпожа N. N., и Никодим вскрикнули разом от неожиданности и ужаса: оба сторожа были изуродованы проказой до последней степени безобразия. Гнусавыми голосами закричали они, двинувшись путникам навстречу и размахивая алебардами. Намерения их были ясные: они хотели отогнать путников прочь или схватить их.

Госпожа N. N. и Никодим побежали от них вдоль городской стены.

— Я не могу. Я упаду! — задыхаясь на бегу, повторяла госпожа N. N. — Отсюда нет выхода — я слыхала про этот город... в нем только одни ворота, а за стеною еще стена. Остановись... Милый... милый... я больше не могу бежать.

И, заливаясь слезами, прижалась к стене.

Никодим остановился, но в ту же минуту услышал крик людей и увидел, что несколько человек бегут им наперерез. Между бежавшими были европейцы, но большая часть их была похожа на арабов в своих белых одеждах и чалмах. Они размахивали ружьями и палками и кричали все, но что — нельзя было разобрать.

Никодим с растерянною, блуждающей улыбкой озирался по сторонам и смотрел на плачущую госпожу N. N. И вдруг он решился на последнее, но единственное средство спасения. Бежать назад было бессмысленно — там ждали двое прокаженных стражей и ворота были заперты. Но между Никодимом и госпожою N. N. и приближающейся вдоль стены толпой находилась каменная лестница, ведущая на стену. Следовало достигнуть этой лестницы раньше, чем толпа приблизится к ней.

Схватив госпожу N. N. за руку и молча указав ей на лестницу, Никодим бросился вперед изо всех сил. Госпожа N. N. бежала не отставая — надежда уйти вернула ей силы.

Путники достигли лестницы, может быть, полминутой раньше бежавшей толпы и, под проклятия преследователей, взбежали на высокую стену. Часовой, расхаживавший по стене, выскочил им навстречу, пытаясь копьем загородить путь, но Никодим, схватив копье за конец, с такою силою откинул его в сторону, что

часовой не сдержал равновесия и полетел со стены в город. Никодим же и госпожа N. N., взбежав на стену, не раздумывая, бросились с нее в ров с водою. Воды во рву было немного, но она помогла им, так как, падая со столь высокой стены, они могли бы разбиться. Преследователи тоже взбежали на стену, но не решились соскакивать вниз и, побегав по стене, покричавши и помахав своим оружием, побежали обратно, может быть, намереваясь выйти воротами и вновь догнать беглецов.

Выбравшись из рва, Никодим и госпожа N. N., совершенно мокрые, но весьма радуясь своему спасению, побежали дальше, правда уж не так спеша, как прежде. Они оказались в обширном саду, среди зеленых лужаек с посаженными на них пальмами и каштанами. Каштаны были в цвету, и белые шапки их красовались везде — и справа, и слева, и у рва, только что оставленного позади, и у садовой ограды, возвышавшейся невдалеке.

Никодиму и госпоже N. N. так легко было бежать по этому саду, точно они не бежали, а летели. Их сердца наполнило чувство, совсем схожее с тем, какое испытывает человек, когда он летит во сне.

— Как хорошо! — сказал Никодим, крепко пожимая руку своей спутницы.

Она звонко и радостно засмеялась, видимо, очень довольная тем, что Никодиму хорошо. Никодим с любовью поглядел на нее.

Они быстро добежали до садовой ограды. За оградой возвышалась высокая деревянная башня, суживающаяся кверху. Остановившись у ее подножия, госпожа N. N. сказала:

— Дальше не стоит бежать. Эти арабы не смеют выходить из города — я знаю. Я бежала по саду только потому, что боялась их ружей, но теперь хочу отдохнуть. Пойдемте в башню.

Никодим стоял в нерешительности. На лице его ясно изображалось, что он не доверяет ни здешним постройкам, ни их обитателям. Госпожа N. N. это увидела, усмехнулась и потянула его за руку. Лестница шла в башне винтом, и было в ней ступеней триста. Признаков жизни в башне никто не подавал.

Верх башни представлял собою открытую площадку с четырьмя столбами по углам для поддержки крыши; между столбами шла резная деревянная решетка, она же огораживала и отверстие на полу, через которое выходила лестница. Тут же стоял длинный рассохшийся деревянный стол, скамейки — две у решетки и одна у стола, а на столе в стеклянной маленькой вазочке, наполненной водою, были посажены полевые цветы на длинных стеблях.

Все деревянное — стол, скамьи, решетка, половицы, столбы — почернело от дождей, подгнило. Доски мочалились, мочала отдиралась с пола длинными полосами. Но, несмотря на запущенность, вид площадки был уютен и приветлив: особенно красили ее простые цветы, поставленные на стол.

— Как я устала и вся мокрая, — сказала госпожа N. N., усаживаясь к столу и кладя руки на колени. И взглянула при этом на Никодима веселым и лукавым взглядом.

— А правда это, — спросил Никодим, стоя перед нею, — что слугу, попавшего в долину... замучили и съели?

— Если вы будете спрашивать о таких вещах, я перекушу вам горло, — ответила она. Нельзя было понять, в шутку или серьезно были сказаны эти слова. Но вслед она засмеялась и, пугая Никодима, оскалила свои зубы.

Никодим тоже засмеялся.

— Мне Вексельман сказал, — начал он, — такое, что я подивился... он мне сказал, что я... женат... и моя жена будто с вами... которая же была моя жена?..

Госпожа N. N. порывисто встала, положила свои руки на плечи Никодима и, приблизив свое лицо к его лицу, сказала полушепотом:

— Милый! ты очень глупый человек. Неужели ты до сего времени не догадался, что я... твоя жена. Ты не подумай, что я в любви признаюсь... нет... я правду говорю.

ГЛАВА XXXIV
Черный вечер.— Ключ на горе

Никодим возвратился в имение только в августе следующего года, а перед тем заехал в Петербург, чтобы получить из градоначальства свой русский паспорт. Когда ему вернули его, он внимательно перелистал все странички, чтобы удостовериться — действительно ли он женат. С одной стороны, было смешно не помнить об этом, но с другой — Никодим давно перестал верить своей памяти и действительности и недействительности происходящего.

Однако в паспорте не было никаких пометок. Усмехнувшись и не зная, что об этом думать, Никодим отправился на городскую квартиру, где еще не был; он ведь так торопился получить паспорт, что поехал в градоначальство прямо с вокзала, а вещи отослал домой с посыльным. Дома Никодим застал отца и, поздоровавшись с ним наскоро, прошел к себе в кабинет; открыл бюро и достал свое метрическое свидетельство; на обороте свидетельства он прочел:

«Означенный в сем документе Никодим Михайлович Ипатьев сего 191* года июля 5-го дня повенчан первым браком с вдовою полковника английской службы Вильяма-Роберта Уокера, графа N, графинею N. N., вероисповедания англиканского, третьим браком в С.-Петербургской ... церкви 191* года июля 5 дня.

Означенной церкви настоятель протоиерей (подпись). Псаломщик (подпись)».

Тут же стояли печать церкви и номер бумаги — 348.

Он не всплеснул и не развел руками: госпожа N. N. говорила ему о свадьбе не раз и смеялась над ним, когда он не хотел верить тому, но, смеясь, вместе с тем не желала и указать времени их венчания. Теперь же Никодиму стало ясно, почему когда-то, очнувшись на своей квартире после долго беспамятства, он так упорно старался восстановить в памяти, что с ним было между потерей сознания у госпожи N. N. и приходом в него у себя на квартире. Это что-то, значит, и было венчанием, значит, просто-напросто он болел горячкой дважды и только теперь не мог отдать себе отчета, когда заболел ею вторично. Не мог он вспомнить и обряда венчания и с сожалением думал о том.

Войдя в столовую, он встретился с отцом совсем так, как тогда, после своей болезни. И сходство этих двух встреч очень остро почувствовал. Подойдя к отцу и взяв его за руки, Никодим спросил:

— Папа! отчего ты мне не сказал о моей свадьбе с госпожой N. N.?

Отец ответил не сразу, будто он хотел сперва обстоятельно подумать, как следует ответить, потом сказал:

— Я не люблю госпожу N. N. Она очень привлекательна, но я не люблю ее.

— Ты, наверное, не хотел сказать мне о свадьбе, опасаясь, что я опять заболею?

— Нет, нисколько, но я не желал и не желаю считаться с нею.

— Почему же? — спросил Никодим с обидой и возмущением.

Отец вспыхнул до корней волос и ответил резко:

— О чем спрашиваешь? Ты еще, пожалуй, спросишь, почему я не люблю твою мать?

Но Никодиму стало жаль отца: он поглядел на старика с болью в сердце и сказал:

— Я знаю твои несчастия и неудачи. Но по отношению к госпоже N. N. ты ошибаешься.

— Нет, — настойчиво заявил отец, — она тебя не любит и только сводит с ума на свою потеху. Оставим этот разговор. Ну не сказал — и ладно. Значит, так нужно было.

Старик повернулся и пошел к двери.

— Папа! — сказал Никодим. — Я любил и люблю госпожу N. N., какая бы они ни была. И тебе, знаешь ли, сейчас не верю. Или ты никогда не любил маму и она, покинув тебя, поступила правильно. Тогда ты просто не знаешь чувства любви.

Отец, не отвечая и не оборачиваясь, затворил за собою дверь.

— Папа, папа, — закричал Никодим ему вслед, — я знаю почему — ты просто влюблен в госпожу N. N. и ревнуешь ее ко мне.

Дверь приоткрылась, отец показался на минуту на пороге, сказал: «Глупец» и снова захлопнул дверь.

По звуку отцовского голоса Никодим понял, что предположение его было не так уж безосновательно, но тут же вспомнил о госпоже N. N., о том, как она покинула его — неожиданно и обманно, — и сердцу стало грустно.

С душою, вдруг почувствовавшей свою пустоту, и с пустым взором Никодим стал собираться в имение. Ему было уже известно через Евлалию, что Евгения Александровна вернулась и снова живет в имении.

Выходя под вечер на платформу, он, как бывало и раньше, увидел на платформе кучера Семена, поджидавшего барина. По выражению глаз слуги Никодим понял, что тому и хочется сказать о возвращении Евгении Алексадровны, и боязно вместе — как бы Никодим не рассердился.

В воздухе было душно и тревожно — перед грозой. Пыльные столбы пробегали по дороге. Мрачная туча тяжело поднималась из-за леса, а навстречу ей шла другая — мрачнее первой. Обе они клубились огромными клубами — черно-синими, бурыми и совсем черными — в три слоя; проглядывавшее между ними голубое небо смотрело тяжело и зловеще. Стадо коров, предчувствуя бурю, жалобно мычало и жалось в кучку. Мальчишка пастух еще беззаботно посвистывал, но, когда Никодим проезжал мимо него, сказал:

— Будет грозишка маленькая, да еще с градом.

— В сарай заберешься, — ответил ему Никодим.

— В сарай — не в сарай, а под стог — как раз. Пастухова спальня! — бойко досказал пастух.

— Вот я покажу тебе стоги разворачивать, — погрозился Семен.

Но пастух, заложив руки в карманы и покачиваясь, сказал:

— За показ деньги платят, а пастуху разве только уворовать. Других доходов у нас нет. — И засмеялся вслед удалявшемуся экипажу.

Дождь настиг Никодима недалеко от дома. Сначала, как и всегда, он капал крупными каплями — по одной, по одной то на поднятый верх экипажа, то на спину Семену, и на руку Никодима, и в дорожную пыль, а потом, учащаясь, сразу перешел в ливень. Семен, съежившись, принялся погонять лошадей, чтобы как можно скорее доскакать до дому. В это время мелькнула ослепительная молния и раздался первый потрясающий удар грома.

Коляска проезжала по бугру, по тому самому бугру, на котором когда-то Никодим и Марфушин сидели вместе у камня и еще раньше Трубадур выслеживал проходившие тени.

Молния зигзагом ударила в бугор, у камня, — и Никодим и Семен явственно видели, как стрела ее уткнулась в землю. Лошади рванули от испуга и понесли; Семен, вскочив на козлах, из всех сил старался их успокоить, но тщетно. Только доскакав домой и ударившись с разгону в ворота двора, они сразу остановились и присмирели, дрожа от страха всем телом.

— Ну-ну, будет, — сказал им Семен, гладя коренника по морде, боязливо дергавшейся.

Совсем мокрый, Никодим пробежал в комнаты. Его первой встретила мать. Никодим сразу заметил в ней несомненную перемену, и эта перемена ему не понравилась. «Старуха!» — сказал он себе, определяя свою мысль о матери.

Мать встретила его просто и радушно, но в своем отношении к ней Никодим почувствовал вдруг необъяснимый холодок, словно он потерял часть уважения к Евгении Александровне.

Как только он прошел к себе наверх — поднялась туда же и она.

— Никодим, — сказала она, — я хочу с тобою поговорить.

И совсем по-старушечьи стала ему рассказывать, что денежные дела их плохи, что она затеяла различные улучшения и нововведения в хозяйстве, начала каменные постройки, но должна все это бросить, так как у нее нет денег, или же придется заложить имение и что об этом следует переговорить с отцом.

— Что вы, мама, беспокоитесь, — усмехнулся Никодим, глядя в сторону, — я дам вам денег сколько угодно — их у меня много. Миллионы.

Мысли его были всецело заняты переменой, происшедшей в Евгении Александровне.

Потом, повернувшись к замолчавшей матери, он спросил:

— Мама! Ты знаешь госпожу N. N.?

— Как же, — сказала мать возбужденно, — она здесь жила месяц, дожидаясь тебя. А потом ушла к Феоктисту Селиверстовичу Лобачеву.

Последние слова были произнесены так, что Никодим пристально заглянул матери в глаза и подумал: «Что с тобою, голубушка? Почему тебе это так больно?»

Мать поднялась с кресла, в котором сидела, и добавила раздраженно и укоризненно:

— Уходя, она сказала мне, что не может жить без... мужчины.

— Неправда, — спокойно и твердо возразил Никодим, — она не могла так сказать, она иначе сказала — подумайте.

— Да, — виновато поправилась мать, — она сказала «без мужа». Я ошиблась.

— Это совсем другое, — заметил Никодим и добавил: — Бог с нею. Я никому не судья — тем более госпоже N. N.

— Ты, может быть, на улицу пойдешь, сад и хозяйство посмотришь — дождь, кажется, перестал, — сказала мать, желая переменить разговор.

— Пойду, — ответил ей Никодим и, поцеловав ее руку, сошел вниз.

На выходе его встретил Семен и сказал:

— Барин, а знаете, где тогда молния-то ударила? На Бабьей меже, у круглого камня. Говорят, ключ там открылся — девки с грибами бежали, так видели. Не хотите ли посмотреть сходить?

Бабья межа и была та самая, на бугре.

— Хочу, — сказал Никодим.

Но тут снова начался ливень и лил, лил без конца, весь вечер. И весь вечер прошел оттого черным и невеселым, и в природе и в душе Никодима.

Только наутро, когда солнце снова ярко и тепло заблистало, Никодим вышел на двор и встретился с Семеном.

— Пойдем, Семен, на Бабью межу, посмотрим ключ, — предложил ему Никодим.

— Сейчас соберусь, хомут положу на место, — сказал Семен, чинивший в ту минуту хомут.

Живо сбегал в кучерскую и вернулся готовый. Они пошли.

Повсюду сбегали бесчисленные ручейки от вчерашнего дождя и журчали, журчали. Бежал ручеек и по Бабьей меже, по бороздам, но не от дождя: ключ действительно там пробился — прозрачная вода веселой струйкой выходила из-под камня и бежала вниз, размывая землю, чтобы затем потеряться в кустах.

Никодим и Семен постояли, поглядели. «Как бы назвать этот ключ?» — подумал Никодим, но не подыскал названия, хотя оно и вертелось у него на языке.

ГЛАВА XXXV
У Праматери

Прожив до половины сентября в имении, Никодим захотел повидать Феоктиста Селиверстовича и в один прекрасный день собрался опять в Петербург. Втайне он надеялся встретить и госпожу N. N., хотя наружно даже самому себе показывал, что встречаться с нею ему более незачем. «Все, все исчерпано до конца и без возврата!» — говорил он.

Дверь в квартиру Лобачева за Обводным каналом отворил Никодиму старичок в сильно разношенных, но чистых полосатых панталонах, клетчатом легком пиджачке и с шелковым клетчатым же платочком, обмотанным вокруг шеи, — может быть, слуга, а по виду словно и нет. Откуда-то по всей квартире разносился шум — говорило сразу несколько человек, но что, нельзя было разобрать.

— Здравствуйте, здравствуйте, — зашамкал старичок (во рту у него не было многих зубов), — разденьтесь, позвольте я вам помогу, — и снял с Никодима пальто. — Почитай уж все собрались — вас, должно быть, ждут? — сказал он еще.

— Как меня ждут? — спросил Никодим. — Да ведь я так...

— Ах! так, — ответил старичок, — ну тогда извините: обознался я, да и много сегодня народу.

«А может быть, и в самом деле ждут — кто знает этого Лобачева? Необъяснимый человек», — подумал Никодим.

— К кому же вы изволите? — спросил старичок.

— А я к Феоктисту Селиверстовичу Лобачеву — что, нет его?

— Батюшки, нет еще, нет пока, — ответил старичок, — и не знаю, будет ли. Вам, может быть, сестрицу его повидать?

— А разве у него сестрица есть? Я не знал.

— Как же, как же! Глафирой Селиверстовной величают красавицу нашу, — сказал старичок, берясь за ручку двери, ведущей в следующую комнату.

— Постойте, — удержал его Никодим, — на что мне, собственно, сестрица Феоктиста Селиверстовича? Я его хотел видеть. Вы лучше скажите мне, когда он сегодня может быть, — я еще раз зайду.

— Никак невозможно-с, — ответил старичок, — порядок у нас такой, кому хоть и невзначай сказали про Глафиру Селиверстовну — должон человек ее повидать. Пойду доложу.

И вышел в соседнюю комнату. Шум, ворвавшись в переднюю через растворенную дверь, донес до Никодимовых ушей одну фразу: «Ничего-то вы не зна-

те, милостивый государь», и тут же она оборвалась, как только старик дверь захлопнул. Через минуту старичок вернулся и сказал:

— Выйдут сейчас, красавица-то наша. Просили обождать. Да что вам тут стоять — прошли бы в залу.

Залой и оказалась та комната, в которую только что старичок выходил. В ней возвышался у стены громоздкий очень старый рояль, по внешнему виду совершенно негодный к употреблению; крашеные полы были застланы свежими половиками; в плетеных корзинах-вазах стояли фикусы, латании, виноград, завивавшийся вверх по стене, по направлению к старомодному купеческому трюмо. Перед трюмо Никодим увидел два очень красивых бронзовых подсвечника, ярко начищенных, со вставленными стеариновыми свечами; стулья были простые, плетеные; тут же за столом, покрытым скатертью красной с белыми цветами и со спутанной бахромой, приютился мягкий диван с продавленным сиденьем. На столе была поставлена большая керосиновая лампа с зеленым бумажным абажуром; окна были плотно занавешены темными шторами.

Никодим походил немного по комнате и сел на продавленный диван, который все-таки был там единственной мягкой мебелью.

Из залы шум и разговоры были слышны явственнее. Можно было понять, что говорят и мужчины и женщины и не в одной комнате. В комнате же рядом двое заговорили вдруг так, что каждое слово их стало слышно Никодиму.

— И совершенно напрасно вы так рассуждаете, — сказал визгливый тенорок, — если Марфушин не мужчина, то кто же вы тогда?

— Меня прошу не рассматривать, — ответил диаконский хрипящий бас, — вы сами еще не лупа и не фотографический аппарат. Что же касается господина Марфушина — то мнение мое было, есть и будет о нем непреклонно.

— Не понимаю, не изволю понимать, — возразил первый, — говорим с вами мы чуть ли не полчаса, а вы так и не можете мне объяснить. Уперлись на своем: не мужчина да не мужчина.

— Потому что и объяснять нечего. История сия всякому очевидна.

Дальше Никодим ничего не услышал, так как собеседники, должно быть, вышли в другую комнату. Но следом за ними впорхнули двое других, именно впорхнули, судя по шелесту шелковой юбки и сдержанному смешку.

— Хи-хи, — засмеялся женский голосок, — а ты купишь мне, Ванечка, синие шелковые подвязки?

Вместо ответа послышался поцелуй.

— Бесстыдник. Не хапайте, где не следует, — сказала она, — вот я вас по рукам...

И снова:

— Ванечка, а Ванечка, ты купишь мне...

Дальше не было слышно: должно быть, она сказала ему что-то на ушко.

Тут уже захихикал он и сказал:

— Куплю.

Опять прозвучал поцелуй, и затем птички выпорхнули.

Тяжелой поступью вошли снова двое. Один говорил медленно и рассудительно, другой только слушал.

— По зрелом рассуждении, дочери Лота, конечно, греховные девицы. Но посмотрите, как сказано о них в Библии. Нельзя не восхищаться той простотой, с какою написатели сей священной книги решали сложнейшие вопросы. Поэтому...

Двери в зал распахнулись, и на пороге показалась женщина.

Она была очень высока ростом — не ниже Уокера, полная, только не безобразной, а красивой полнотой; белотелая, румяная, с алыми губами, голубыми

глазами и русою пышной косой, убранной очень скромно. На ней было серое простое, но шелковое платье и накинутый на плечи шерстяной платок; грудь на ходу под платком сильно колыхалась, бедра были круты и мощны, а руки она держала скрещенными на груди; пальцы были украшены множеством перстней.

Сколько ей было лет — трудно было определить. Может быть, двадцать пять, может, сорок, но возможно, что и пятьдесят. Так, вероятно, выглядела Ева в своей долгой жизни.

Она была бесспорно красива — ленивой, положительной красотой. И добра. И нисколько не походила на своего брата, если только она действительно была ему сестрой.

— Здравствуй, сынок, — сказала она Никодиму немного нараспев, — мне Федосеич доложил о твоей милости. Что же, прошу покорно гостем быть. У нас каждому гостю свое место.

— Здравствуйте, Глафира Селиверстовна, — ответил Никодим, припомнив ее имя, — благодарствуйте. Я к Феоктисту Селиверстовичу, собственно. Неудобно мне к людям незнакомым.

— Ничего, батюшка, не стесняйся. Я по глазам твоим вижу, что ты хороший человек, а то я не позвала бы. Пойдем уж, не отговаривайся.

— Нет, Глафира Селиверстовна, — возразил Никодим крепко (ему вовсе не хотелось идти, куда она звала, после того что он слышал за стеной), — я лучше посижу и подожду вашего брата.

Она рассердилась и вместе не хотела показать этого.

— Как знаешь, сынок, — сказала она, — только у русских людей не принято от соли-хлеба уходить. Али не русский ты?

— Почему не русский? Русский, разумеется.

— А если русский, чего ж в преткновение идешь?

— Не знаю, право, — ответил Никодим смущенно, — я посидел бы тут... обождал... если нельзя — я пойду.

— Можно-то можно, — сказала она уже несомненно сердясь, — а только неуч ты. Ко мне и не такие люди подходят, чтобы ручку поцеловать, а я их на троне принимаю. Я тебе уважение оказываю. На-кось — навстречу вышла. Сиди уж, коли дурень неотпетый.

Повернулась и хлопнула в сердцах дверью.

Никодим остался один в преглупом положении: сидеть и ждать Лобачева, не зная, когда он придет и придет ли вообще, было делом не из особенно приятных. Уйти — казалось еще нелепее. Что же лучше: разыскать Глафиру Селиверстовну, извиниться перед нею и остаться?

Он направился к той двери, куда она вышла, приотворил дверь и увидел за нею Глафиру Селиверстовну и еще двоих — мужчину и женщину.

Женщина сидела на полу, вполоборота к двери, поджав под себя ноги, немного запрокинув голову и закрыв глаза с очень длинными черными ресницами. Блузки на ней вовсе не было, а рубашка у нее была спущена до пояса. Мужчина стоял сзади нее, на одном колене; около него были расставлены баночки с разными красками и кистями. Приблизив лицо свое к обнаженной спине женщины почти вплотную (должно быть, по близорукости), он расписывал ей спину сложнейшим цветным узором, весь поглощенный этой работой. Ни он, ни женщина к Никодиму не обернулись.

Глафира Селиверстовна сидела в дальнем конце комнаты, на возвышении, под пурпуровым балдахином, положив кисти рук на ручки кресла с богатою резь-

бой. Она молчала и глядела перед собою неподвижно. В комнате больше ничего и не было.

— Глафира Селиверстовна! — сказал Никодим.

Она молчала по-прежнему, глядя на него в упор немигающими глазами.

— Глафира Селиверстовна, извините меня великодушно.

Она не шевельнулась, несомненно, живая, но будто каменная и не желающая отвечать.

— Глафира Селиверстовна!

Никодим попятился к выходу. Дверь за ним захлопнулась. В досаде и в удивлении, но и с обидой на сердце походил он опять по залу и снова сел на диван.

Вошел Федосеич.

— Красавица-то наша изволят на вас гневаться и говорят, что соли-хлеба водить с вами не желают. Не хорошо-с. Провинились очень, — сказал он.

— Ну и что же! — ответил Никодим раздраженно. — Пойду к себе домой.

— Нет, — заявил Федосеич, — домой вам еще рано. Вы же хотели еще монашков посмотреть.

— Каких монашков?

— Афонских монашков.

— Ничего я не хотел. Кто вам сказал?

— Феоктист Селиверстович сказали. Наш-то батюшка все знает. Уж если сказал, значит, верно. Отговариваетесь, вижу.

— Ошибается ваш батюшка, — противился Никодим, но любопытство уже подталкивало его согласиться.

— Нечего разговаривать, — заявил старичок, — пойдемте — я проведу вас. Черным ходом нужно.

И провел Никодима через грязную и темную кухню на черную лестницу. Покорно сойдя вниз, Никодим спросил:

— На двор?

— Нет, вот сюда, — указал старик на подвал, зажигая взятый с собою фонарик, свел Никодима еще на десять ступеней вниз, закрутил-закрутил его по разным переходам и коридорчикам и привел, наконец, в большую, без окон, но ярко освещенную комнату. За нею виднелась еще такая же.

По обеим сторонам и той и другой комнат были сделаны двойные широкие нары: проход посередине оставался очень узкий, и на нарах грудами были навалены отдельные части человеческих тел — руки, ноги, головы, туловища, грубо сделанные из дерева и еще грубее раскрашенные. Между ними были и некрашеные — более тонкой работы.

— Вот, — сказал Федосеич, беря из груды две головы и поднося их к самому носу Никодима, — узнаете?

— Узнаю, — прошептал Никодим, бледнея и не двигаясь: эти головы были так похожи на головы монахов, убитых прошлою весною в их имении.

«Ну конечно! Вот голова отца Арсения с резко очерченным носом, тяжелой складкой губ, пристальными глазами; борода черная, густая, подбородок крупный, говорящий о силе характера; и вторая голова, без сомнения, Мисаилова, о ней ничего не скажешь: все в ней белесо, светловолосо, костляво и невзрачно».

— Да ведь это же головы тех... убитых, — прошептал Никодим — у него не хватило голоса.

— Ничего не убитых, — рассердился старик, отбрасывая головы обратно в груду. — Нешто мы убивцы? Понадобилось — и сделали. — Потом сменил гнев на милость и сказал: — Феоктист Селиверстович приказали вам передать, чтоб из

всех этих, — он указал на части тел, — выбрали, что вам понравится, если переменить себя хотите. Сносу вам не будет. Душа прежняя останется, а тело новое.

— Да ведь это же все деревянное? — рассмеялся Никодим.

— Какое деревянное, — вскипел старик, — закройте-ка глаза — я вам покажу, деревянное или нет.

— Вот так? — спросил Никодим, закрывая глаза.

— Нет уж, мы вас для верности платочком повяжем, — сказал старик, смотал со своей шеи шелковый платочек и завязал им Никодиму глаза. — Теперь вашу ручку позвольте, — попросил он, взял Никодима за правую руку и ткнул ею во что-то живое.

Никодим ощупал это и ощутил настоящую человеческую голову, отделенную от туловища. Никодим в страхе отдернул руку, а старичок в тот же миг стащил с него повязку. Перед Никодимом снова лежали только деревянные части. Он не знал, что думать.

— Выбирайте, — повторил старичок мрачно.

— Выберу, — решился Никодим.

И принялся разрывать груду. Перерыв все, он выбрал самую лучшую голову, очень сильное туловище и хорошие руки и ноги. Выбрав, отложил в сторону и сказал старику:

— Вот это!

Федосеич посмотрел, повертел отобранное и сказал:

— Нельзя вам этого брать. Не думал я, что вы такое выберете. Да и Феоктист Селиверстович не позволят.

— Я другого не хочу, — заявил Никодим.

— Тогда позвольте вас вывести вон, — сказал Федосеич, взял Никодима под руку, закрутил-закрутил его опять по коридорчикам и переходам и вывел в глубокий и обширный погреб с земляным полом. Дверь из погреба во двор была полуотворена, а к двери вела очень шаткая и длинная деревянная лестница. Сверху пробивался свет бледного утра.

Никодим пошел на свет, а старик, исчезая во мраке, сказал:

— Прощенья просим, не обессудьте на угощеньи.

ГЛАВА XXXVI
Туман, солнце и автомобиль

Из дверной щели показалась женская голова и спряталась. Ступеньки под ногами Никодима заскрипели.

Поднявшись наверх, Никодим оттолкнул дверь и увидел перед собою госпожу N. N.

Она стояла у входа в погреб, одетая в черный английский костюм, показывавший стройность ее фигуры, на светлых волосах у нее была темная шляпа с черным пером, в правой руке она держала кожаную сумочку, а левой придерживала юбку, так как было сыро и грязно.

Над двором висел довольно сильный туман.

— Я знала, что вы отсюда выйдете, — сказала она Никодиму, — выводят всегда отсюда. И я вижу, вы с пустыми руками. Неужели вы отказались выбрать что-либо из предложенного?

— Не отказался, а выбрал самое лучшее, и мне не дали его, — ответил Никодим.

— Самое лучшее — это я, — заявила она, — если же вы думаете, что я убежала от вас, то это неправда. Кто мог не дать?

— К сожалению, правда, — сказал Никодим.

— Не будем спорить. Я сегодня очень настойчива и решительна. Уж не хотите ли вы, чтобы я доказала вам это поцелуем. Евгения Александровна хороший человек, но мы с нею никогда не сойдемся и не сможем жить вместе. Она слишком русский человек... А мне очень нравится, что вы отобрали самое лучшее, — я знаю вас, — добавила она вдруг.

— Может быть, и так, — согласился Никодим, — но Феоктист Селиверстович влечет ваше внимание больше, чем я.

— Ошибаетесь, — возразила госпожа N. N., — вероятно, вы восприняли мнение Евгении Александровны?

Никодим почувствовал, что она говорит не совсем правду, но ничего не ответил.

— Я сегодня очень своя, — сказала она опять, — я вышла сюда затем, чтобы встретить вас и более уже не отпускать никогда. Если вы будете меня гнать — я не уйду. Это потому, что я вас люблю.

Он сощурился, глядя на нее, взял ее за руки, поочередно поднес их к своим губам и поцеловал.

— Что же мы стоим здесь? — спросил он. — Не лучше ли идти?

И они вышли через раскрытые ворота на улицу.

Туман молочно-белый клубился над мостовой, но там, где в улицу входили другие улицы и переулки и лучи восходящего солнца, пробегая вдоль их, врезывались в туман, — молочно-парные его облака превращались в синие и прозрачные. На тротуарах, начинавших уже оттаивать, выступали мокрые пятна. Было свежо, пахло чистым воздухом, и шаги гулко отдавались всюду.

— Идти далеко, — сказал Никодим, — извозчиков тоже нет.

На перекрестке стоял автомобиль.

— Шофер! — крикнул Никодим. — Я давно тебя ищу. Нужно скорее ехать.

— Нельзя, — сумрачно ответил шофер, — приказано ждать.

У Никодима явилось непреодолимое желание подшутить над ним и ввести его в заблуждение.

— Кого же ты ждешь? — спросил Никодим.

— Не знаю кого — господин Лобачев приказали.

— Ах! — восклицание у Никодима вырвалось невольно. — Послушай, да ведь господин Лобачев и приказал тебе ждать именно нас. Это тот Лобачев, что живет на N-ской улице в доме № 13—15?

— Тот самый.

— Ну и подавай.

Шофер подал. Подсадив госпожу N. N. и усевшись сам, Никодим захлопнул дверцу.

— На Сергиевскую, — сказал Никодим.

Всю дорогу госпожа N. N. молчала и только жадно прижималась к Никодиму. Молчал и Никодим.

У подъезда второго ипатьевского дома на Сергиевской они вышли.

Тумана уже не было; солнце светило ярко и радостно, но еще не успело согреть воздух.

Живо взбежали Никодим и госпожа N. N. наверх. Скинув жакет, госпожа N. N. проскользнула в кабинет Никодима. Когда Никодим вошел, она уже сидела на греческом ложе, возвышавшемся посередине комнаты и покрытом серосиним бархатным покрывалом с тяжелыми золотыми кистями.

Одну ногу госпожа N. N. подобрала под себя; другую, в черном чулке, сквозь который просвечивало тело, она охватила руками и, слегка покачиваясь, улыбалась. Так садиться непринужденно и дерзко-кокетливо было неотъемлемой ее манерой.

— Вот я и дома, — сказала она, — мы будем хорошо жить и не станем больше ссориться друг с другом.

— Разве мы ссорились когда? — спросил Никодим и незаметно отвернулся. Красота и легкость движений этой женщины дразнили его воображение, волновали его, но ему трудно было слушать ее совсем неожиданную и непонятную болтовню, под которой бог знает что могло таиться — несознаваемое ею, но страстное и безумное.

Что я могу добавить? Кой-кто говорил в обществе, что Яков Савельич умер, оставив свои богатства Никодиму, и что поэтому у Никодима появились столь крупные средства. Но я не советую верить этому — Яков Савельич весьма выдающаяся личность и не может уйти из жизни незаметно, не сыграв крупной роли в надвигающихся событиях. Думаю, что он еще жив, хотя мне известно, что Никодим действительно получил возможность располагать капиталами чудаковатого старика.

1916

РАССКАЗ О ГОСПОДИНЕ ПРОСТО

<I>

Нужно представить себе с самого начала несколько предметов и положений, причем город, где произошло рассказываемое, может быть принят и как предмет, и как положение. Далее, к числу предметов относятся: дамская юбка, голова ее обладательницы (собственно, золотистые завитки на ней — ни глаз, ни носа нет — может быть, еще виден рот, но зубы неизвестно какие, а губы совсем слегка подкрашены — это скорее игра, чем тактическая потребность, — впрочем, что я говорю: это тогда, в 1917 году (не в России), еще могло быть так — теперь это ясно, потому что само по себе и никакого стыда в том нет: это не обман, это открытое действие, как причесывание, и я не огорчен).

И кроме живого — мостовые. Или из неровного булыжника, или же из плоских камней, плитками. Улицы пустынны.

Квартира Господина Просто в бельэтаже. Против окон стена ботанического сада — старая монастырская стена нерусского монастыря. Улица узка, и из-за ограды, пересекая ее до противоположного дома, тянется толстый сук многосотлетнего дерева. Иногда на нем виден легкий абрис качающегося человека — повешенного, крестьянина в грубых башмаках на деревянной подошве, и тень рыцарской лошади — звона шпор или цоканье копыт пока еще нельзя слышать, но, возможно, потом они будут слышны.

Впрочем, все это повторяется в «Повести о ходячих свойствах»*. Там оно связано с развитием темы — здесь создает только атмосферу.

Господин Просто — он так и есть Господин Просто — у него нет отличительных признаков, кроме его положения. И вряд ли даже он был в России. Это тем более удивительно, что старушка — а она должна появиться — сидит на своей несомненно русской веранде, и ее сын, военный, служит в русской армии. Армия еще не делится по признакам цвета.

Конечно, нельзя уличить при помощи веранды и военной службы, но кот говорит только по-русски. За границей это невозможно, если бы он был даже эмигрантским котом: национальных принципов у котов нет, соседство с немцами, французами или чехами и сербами всегда сказалось бы на развитии у животного способности речи.

Господин Просто встает поутру не очень рано. Заботы его нетревожны; головная щетка блестит полированной черепаховой поверхностью. В комнате, где он одевается и причесывается, на полу совершенно чисто и паркетные ромбы натерты воском. Запах смешанный, но ненастойчивый и потому приятный.

---

* Название заключительной главы того же романа.

15 Зак. 3178

Кофе подан осторожно и выпит так, что ни одной капли неловкости не оказывается (т. е. нет ни одной капли на блюдечке).

Ладонь руки, мягкая и холодноватая, проходится по откинутым назад недлинным темно-русым волосам; нижняя губа поджата; подбородок выражает тихую, но твердую волю.

Еще в постели мысли и предположения начинают образовываться. Господину Просто около тридцати лет — той, которая носит юбку и слегка подкрашивает губы, девятнадцать. Возрасту свойственна эластичность всей фигуры и упругость очертаний. Вначале мысли, собственно, останавливаются на юбке. Она вот такая: повседневная, из бумажной материи в крупную полоску, причем красноватые и синеватые тона полос по основному темно-серому полю, мешаясь, не дают впечатления определенного цвета. Особенность юбки не в цвете и не в рисунке материи, но в покрое, хотя я не знаю, как она кроилась (впрочем, еще могу узнать — Господин же Просто не знал и уже не узнает, так как время его прошло).

Итак, последняя и самая важная особенность юбки в том подобии буфов справа и слева, как на рисунке, — подобии, в котором могут быть спрятаны совершенно реальные пустоты — карманы вместительности достаточной не только для батистового платка и любовной записки, но и для портпапироса и коробки спичек.

Сверхважная особенность покроя в том, что руки могут опускаться в карманы (я не думаю ни о чем предосудительном — я говорю о руках обладательницы юбки), руки могут браться и за уголки платья там, где линия кармана переходит в линию, образующую с ней угол, и увеличивать произвольно первоначальную площадь юбки (не уменьшать) или приподымать ее так, что ноги из-под подола будут выглядывать больше и пропорции изменятся, — меняться же они готовы бесконечно.

Возможность изменения пропорций тоже чрезвычайно важна, и если несколько опустившихся волосков могут нарушить гармонию целого (не поднявшихся, нет! — последнее менее ощутительно), то тем более значат аршины юбочной материи. Впрочем, это гипербола — если принять оборот всерьез, вы подумаете, чего доброго, о бесстыдстве молодой особы, т. е. о готовности поднимать юбку выше положенного. Молодая же особа только весела, но не бесстыдна.

Потом стыд защищается тайным смыслом — мысль о кармане сбоку к 1923 году уйдет, сменившись мыслью о кармане на груди, совсем около сердца. Отвлеченное, идеализированное, романтическое представление о сердце станет другим, более ощутительным и пахучим (это не аромат цветов — нет — довольно: уже не существует альбомов для записывания стихов).

Идею кармана в непосредственном соприкосновении с сердцем парижане выразят так: <...> но Господин Просто в 1917 году этой идеи выразить, конечно, еще не умел.

Мягкая шляпа Господина Просто и его коричнево-серое пальто в передней. Они только недавно отразились в полированной дверце шкафа — момент этот ненаблюдаем — способа перехода неясности в ясность никто никогда не улавливал, но дневной свет приходит в переднюю позже, чем в другие комнаты.

Пальто и шляпа сочетаются с тугими лайковыми перчатками; ладонь правой руки поглощает кабошон трости; нога занимает всю поперечину ступеньки. Ступенек двадцать, затем площадка, снова дверь, опять ступеньки, а после — плиты тротуара; тротуар вместе с улицей ползет к горе, но конца его не видно — улица заворачивает в сторону.

Какой город? Имя его к чему? Но улицы его не прямолинейны, а между влюбленными существуют только воздушные пути. (Впрочем, еще не время говорить о влюбленных — правильнее об одном влюбленном, — в тридцать лет нужно знать, как и кого любить, но в девятнадцать приходится об этом думать, и когда думаешь — можно жестоко ошибиться, т. е. вообразить.)

Непрямолинейность улиц — углы ассоциируются с углами юбки — ассоциация почти как в сновидении доходит до представления — углы улиц мешают быть скоро, юбка с ее углами мешает непосредственности.

Чувство досады входит в сознание Господина Просто сначала острым углом, но затем, когда, шагая по тротуару к горе, он видит, что ближайший угол тупой, и чувство превращается в тупое.

Свидание почти назначено, и назначено нехитро: он — двоюродный дядя, она — такая же племянница, около нее маленькие братья и сестры, а старший брат на военной службе, и видеть его нельзя.

Она проходит где-то там, по коридору, слегка покачиваясь или, может быть, даже подпрыгивая: возраст и упругость тела допускают подобные движения — юбка шевелится, полосы пересекаются и меняют общий рисунок ткани. Может быть, она напевает — не ткань, а «она» (в любовных отношениях слово «она» полноправно).

Досада на непрямолинейность растет, рука Господина Просто из кармана жилета достает часы, глаз смотрит, голова соображает — воздушный путь равен версте — 10–15 минут ходьбы; углы домов и улиц выстраивают его в полчаса. В городе очень тихо — извозчиков нет.

Но полчаса преодолимы — непреодолимы досада и ассоциации: правда, карманы не ассоциированы еще ни с чем, кроме текучей изменчивости общей композиции, несмотря на то, что Господину Просто тридцать лет и он может быть распространителен в своих представлениях, т. е., попросту говоря, уже испорчен нравственно.

Решающим моментом могло быть появление в воспоминаниях золотящихся кудрей надо лбом и над ушами — встряхивание головы встряхивает и их; губы, слегка накрашенные, не успели появиться и не должны были появляться, так как Господин Просто уже заблудился — в городе незнакомом и находящемся в неизвестно какой стране, хотя и с признаками европейского комфорта, — это возможно.

II

Если бы все знание сводилось к точному счету! Но рябой узор булыжника не обнаруживает графического замысла создателя, и хотя бы приближенных о нем вычислений сделать нельзя. И даже пусть там были бы сплошь четырехугольники, уложенные рядами правильными и успокаивающими представление, — все равно большая часть домов отштукатурена, дома разных форм и величин — как сочтешь их кирпичи?

Разумнее всего было бы спросить прохожих, чтобы они указали дорогу (ведь адрес записан в коричневой маленькой книжке на известной странице, под точной буквой алфавита — алфавит же затвержен с детства). И прохожие были спрошены, но сказанное ими спуталось. Уже нельзя сейчас установить — почему. Осталось одно, как оправдание: быть может, именно в тот момент, когда встреченный господин в котелке и рыжеватом пальто объяснял с точностью геометра

отношения углов и площадей и рисовал в представлении фигуры, ими образуемые, — и это было как старый школьный урок восемнадцать лет тому назад, — впервые появились ноги. Не те, что толклись тогда на этих несчетных камнях, но неизвестно где находящиеся и все же совершенно ясно видимые: они выставлялись из-под юбки менее чем по колена, но и выше под тонкой тканью обозначались как при ходьбе — упругими, округлыми и соединенными меняющимся углом. И главное было в счете и пропорциях — это уже не было скучным уроком школьного геометра — это светилось как второе, позднее знание — ноги не только отливались прекрасной щиколоткой и красивой ступней с высоким подъемом — они создавались как правильно отнесенные к корпусу.

Несомненно, несомненно это было так. Господину Просто не довелось стать практическим художником, и не все мускулы живота он уловил бы в формах движения, — и потому не погрозила тогда возможность разочарования: торжество было, так как была ограниченная полнота мгновенного знания.

Геометр — последователь Эвклида — ушел, но мысли Господина Просто остались. Улица еще раз поползла в гору и завернула в каких-нибудь двухстах пятидесяти шагах влево тупым углом — там на острой железной стреле, укрепленной в кованом кронштейне, качался коронованный, но незажигаемый фонарь, а напротив по тротуару прогуливался булочник в белом колпаке, в белом фартуке и в башмаках с остроконечными носками. Лицо его было склонено к тротуару — он думал непрерывно, а ходил, все поворачиваясь — от тумбы к тумбе, — как маятник.

Еще ближе, направо от Господина Просто, оказался дом с магазином. Магазин был неопределенный, т. е. товар там был совершенно разный, и любой геометр в нем запутался бы: щеточки, платки, одеколон, домашние туфли, кошельки, яблоки, гвоздики для мелких поделок, канцелярские принадлежности, ветчина и прошивки. Товар сосредоточивался отчасти в окнах совсем не магазинного типа, двери были такие же, как и окна, — будто в квартиру: три узенькие ступеньки, вверху фигурный скребок для подошв и звонок на проволоке. Но дверь была отперта и полуотворена — когда Господин Просто подошел к этой двери — календарь обозначал 22 июля 1917 года.

Слепая дверь не могла привлекать внимание прохожих — на улицу глядели окна и то, что было выставлено в них. От двери Господин Просто сделал к ближайшему окну два шага и на высоте своего подбородка у нижнего края покатого выставочного щита увидел щеточку для стирания записей с карточного стола. Она была из белесой щетины с верхом карельской березы с резным и замысловатым венчающим украшением.

Господин Просто не играл в карты, его друзья и знакомые тоже. Щеточка была не нужна для своей прямой цели, но фигура на ней была такая же, как на старых медных кастрюлях, стоявших в буфетной у Господина Просто: львиная голова с сильно высунутым и загибающимся языком — львиная голова в венке из роз.

Господин Просто вошел в магазин.

Он сказал приказчику:

— Дайте мне, пожалуйста, ту щеточку для стола, которая у вас выставлена в первом окне.

И приказчик, как автомат, отшагнул от прилавка к окну, отодвинул щит и нагнулся под ним: для него там щеточек было много — это Господин Просто увидел только одну.

— Которую прикажете? — спросил приказчик.

— Вот эту, — ответил Господин Просто и тоже нагнулся — он увидел ту, которая ему была нужна, но и не увидел вдруг, так как ее там не оказалось.

Приказчик и Господин Просто, оба совершенно уверенные в успехе своих поисков, прорылись на щите минуты три.

— Куда же она могла пропасть? — громко спросил Господин Просто. — Я видел ее собственными глазами на выставке: быть может, ошибся окном?

Сказал, и выпрямился, и обернулся, потому что уловил постороннее движение за своею спиной: в магазин вошел новый человек — Неизвестный.

Вновь вошедший был брюнет, передняя плоскость его фигуры была слегка вогнута, руки длинноваты и с отполированными ногтями, причем пальцы на них сгибались, как готовые скрючиться, и почти казались очень крепкими и сильными. В походке примечался резкий удар — не то каблука, не то самой пятки.

Привлекал внимание и костюм вошедшего: в рисунчатую полоску, на шевиоте искры — две синие отгоняли третью — красную; первые будто дули изо всех сил — вторая, пыжась, старалась удержаться на месте, затем шляпа с седловиной, с линией верха, падающей назад, как начало бесконечного головного шлейфа.

Господин Просто смутился от своей неудачи, а вошедший сразу уловил его смущение. Он ничего не произнес, но глаза его уже выразили свое «что?».

— Посмотрите, пожалуйста, на другом окне, — вновь обратился Господин Просто к приказчику, — быть может, я ошибся окном — щеточка была с львиной головой из карельской березы.

— Там ее не может быть, на том окне нет щеточек, — возразил второй приказчик, до сего времени стоявший молча у шкафа.— Но если вы интересуетесь вещами из карельской березы — я могу предложить вам прекрасную шкатулку такого же дерева.

Рука приказчика протянулась к полке и из-за мотка прошивок вытянула небольшую шкатулку вершков шести на четыре; интересно в ней было только поделочное дерево, густого рисунка, темного тона, — сама же форма была чисто геометрическая и даже с пропорциями не совсем удачными.

— Нет, на что же мне шкатулка, — ответил Господин Просто, — мне была нужна щеточка.

Повернулся и пошел к двери, но у самого входа его остановил посетитель, стукающий каблуком.

— Знаете, — сказал тот, — вы напрасно заставляли приказчика искать щеточку: она у вас в кармане пальто.

Сказано это было вовсе не враждебно и даже негромко, но в магазине в тот момент было так тихо, как на большом неподвижном озере в час заката, — и приказчики услышали эти слова — они выступили из-за прилавка по направлению к двери.

Господин Просто густо покраснел от неожиданности.

— Вы изволите шутить, — произнес он строго, отступил шаг назад, сунул руку в карман пальто и нащупал там только носовой платок. Рука дернула платок, из платка выскочила щеточка и покатилась к прилавку.

Человек сам себя уважал столько лет и всеми был уважаем — можно было на его месте смутиться и растеряться. Он сначала забормотал несвязное, потом вдруг пришел в ярость.

— Это гнусная проделка, — закричал он, — меня в городе все знают; я не мог украсть щеточки, это не вяжется со всей моей прежней жизнью; вы никогда никому не сможете доказать, что я способен на кражу.

— Напрасно вы кричите, — возразил Неизвестный Человек, — в городе вас никто не знает, разбираться в ваших способностях вряд ли кто будет, но я удивляюсь, почему вы отказались купить шкатулку карельской березы, раз вам предложили эту вещь?

Последняя, вопросительная, часть фразы была Неизвестным Человеком очень подчеркнута, но Господин Просто этого не уловил или, вернее, не обратил внимания на подчеркивание. Смысл же был ясен — в нем было требование отступного. Приказчики молчали.

— Дайте мне эту шкатулку, — сказал Неизвестный Человек.

Старший приказчик подал.

— Смотрите, — сказал Неизвестный, приподымая крышку, — отделка добросовестная, середина из отполированного ясеня — такая вещь всегда может пригодиться; обратите внимание и на дерево — нет никаких причин отказываться. Берите скорее и уходите с миром. Предоставьте нам самим здесь разобраться — вор вы или нет?

Слово «вор» снова бросило Господину Просто в лицо краску стыда и бессильного негодования — он кончил университет по юридическому факультету и знал правовые нормы.

— Сколько? — спросил Господин Просто негромко, неспешно и очень естественно.

— Пятнадцать, — ответили враз все трое противников: Неизвестный Человек, старший приказчик и младший.

«Шантажисты», — подумал Господин Просто, извлек бумажник, отсчитал пятнадцать не рублей, а бумажек, забрал шкатулку, уже завернутую в старую газету, и вышел с чувством человека, счастливо отделавшегося от крупной неприятности.

Улица ему сразу оказалась знакомой не в лицо, а по плану. Он вспомнил, что если идти домой кратчайшей дорогой, то придется перейти реку через мост, подумал, что шкатулку следовало бы бросить туда, в реку, но сообразил, что это может привлечь внимание прохожих и создаст новую историю, и решил снести покупку домой, чтобы там сжечь ее в камине, не распаковывая.

Булочник на углу (идти приходилось мимо него) все еще шагал в задумчивости; иногда он бормотал: «У меня товар первый сорт», но иной раз вставлял неожиданно: «А все-таки я этот фонарь когда-нибудь зажгу».

Булочник уступил дорогу Господину Просто.

Собственно, слова булочника к дальнейшему развитию рассказа не относятся, но они связаны с улицей, на которой произошло с Господином Простом досадное для него событие. Булочника никто отдельный не слушал — слышали его бормотание частями спешившие прохожие. Чтобы слышать все, нужно было остановиться перед булочной, но торговал булочник плохо и только по утрам — у его лавки никто не останавливался, — Господин же Просто редко выходил из дому ранее десяти-одиннадцати часов, т. е. уже около полудня.

III

Старая газета, приняв форму шкатулки, перегнула на углах свои тексты: «Назначаются, — говорила она, — испр. д. экстраго профессора императорского тета св. Владимира, доктор сов Егоров — ординарный пр. того же университета по кафегеской химии, с 1 января; докцицы, прозекторы и приват императорских...

и т. д.», бумага уже в дороге обтерлась, а когда Господин Просто, поднимаясь к себе по лестнице, ударил случайно шкатулку о перила — ветхая обертка прорвалась и часть дерева выглянула из-под бумаги наружу, та часть, где к нему была прикреплена гладкая, тонкая и узкая медная пластинка с гравированной надписью «Мачхен».

Но все-таки ценность шкатулки была не в этой надписи — что могло значить имя, может быть, прежнего владельца шкатулки в новых и чужих руках? — на что оно указывало: на неравенство судеб вещей, на переход одних к любимым и близким, несущим в своей крови, в своем мозгу все оттенки обличий предшественников владения и их сущностей, и на бездомность других, путешествующих в неизвестность, ищущих себе нового родства? Им, вещам, конечно, известны некоторые особенности человеческого общежития, они все же не ошибаются в поисках, так как знают, что родство образуется из свойства, — здесь шкатулка втиралась недаром — потеряв родство, она готова была терпеть новые отношения не год и не два, а десятилетия, чтобы от людей, стремящихся соединиться в свойстве, перейти к их прямым родственникам, к детям и внукам, чтобы можно было величаться «шкатулка бабушки или дедушки» и пользоваться уважением и заботой.

О хотении вещей что же говорить? Хотений у них нет, да если б они и были, люди отвергли бы эти хотения — так неудобна была бы из-за того жизнь: пришлось бы выдумывать новые ряды сентенций. И однако, о чем бы ни думал Господин Просто, когда прикоснулся к крышке шкатулки еще в магазине, — рассматривал ли он в воображении поперечные проекции юбки и видимых сквозь нее ног или что другое, соединял ли упругую полированность крышки и ребер с другими представлениями — неизвестно (он и сам не все мог вспомнить), — все же этот момент первого прикосновения оказался решающим.

Шкатулку уже нельзя было уничтожить. Господин Просто освободил ее от бумаги и поставил на стол. Напряжение ее было большим — чтобы войти в свойство, она должна была приглянуться, иначе ее история все же могла кончиться плачевно, как история прекрасной девушки с железнодорожной станции, девушки, влюбившейся в человека, который за свою жизнь только один раз проехал по той линии. Узоры любви неописуемы — но потемневшая желтизна была несомненно изобретательна — вправо и влево все настойчивее и настойчивее росли неправильных очертаний полулуния, переходили в стремительность, образуя в каждую сторону по одному большому темному выгибу, вверху они клубились почти как недосягаемые облачка — это не рисунок — нет! — это чувство.

Шкатулка понравилась. И снова появились аршины юбки, здесь уже можно сказать, потому что определение найдено, — это были не аршины плоскостей, а горизонтальные, и горизонтальность свидетельствует, что бесстыдного не было.

Господин Просто еще не знал, во что должно было бы превратиться лучше тело — в металл или в дерево, — он не был, однако, изысканным и не думал ни о фарфоре, ни о мраморе. Потом, он не хотел ничего разбивать.

Фразы его — то, чем он общался с людьми, — были слегка неправильны — не всегда мысль предугадывала возможности, — значит, разбить чужое было легко. Дерево и металл были спокойнее — к ним следовало бы применить силу, чтобы сломать их, — он мог и не применять силы — это было в его власти.

Шкатулка оказалась в правильной пропорции к доске стола, на который он поставил ее. Персидский орех середины доски принял соображение новой гостьи. Ключа у шкатулки не было.

Господин Просто вышел в другую комнату: нужно было решить — идти ему или не идти туда, к тетушке, куда он не дошел в первый раз. В гостиной он не принимал таких решений — портрет в темной рамке стоял на столе в кабинете.

Но портрет не был возбудителем чувств — он был успокоителем их. Неудача была такою явной, что успокоиться следовало.

На портрете же были и глаза и нос — он был еще больше представления. Он, наконец, таил в себе под отображениями отображения того, что Господину Просто пока не было известно, — он относился прямо к личности и не беспокоился о ногах, как бы уверенный, что ноги есть только продолжение главного.

Господин Просто смотрел на портрет минут десять — каждый завиток волос был вновь исследован, каждому закруглению формы было найдено уже знакомое определение, когда вновь предстали быстро идущие ноги, так быстро, что уловить их взглядом и разделить на имена частей было невозможно.

Он только знал, что в ногах напряжения и стремительности больше, чем в остальном. Но стремительность и напряжение раздражали. Господин Просто встал и вернулся в гостиную.

На горшке, в котором перед итальянским окном в плетеной корзине росла пальма, лежала перечная банка: это был уже беспорядок не потому только, что такие вещи должны находиться на кухне, но и потому, что надпись:

Черный
Чистый [ПЕРЕЦЪ] Сингапуръ
молотый

с твердыми знаками, скучная, и рамка около надписи в желтых завитках на поле цвета вороненой стали ничто собою не представляли.

«Перец — молотый перец» и только. Это слишком просто, чтобы лежать в гостиной под пальмами.

Прежде чем выбросить банку вон, Господин Просто обернулся к ореховому столу. Шкатулка стояла на прежнем месте, но крышка ее вздрагивала, и слабый человеческий писк раздавался из-под нее. Интонации и общее построение писка, не связанное в речь, были необыкновенны для уха только мгновение — Господин Просто шагнул к столу и приподнял крышку шкатулки: из середины, как на пружинке, выскочил маленький человечек в жакетном костюме и с лорнетом в руке. Человечек сел на ребро своего невольного, очевидно, помещения.

Борода у него была широкая, седая и большая; брюки неправильно ношенные, ноги очень короткие в сравнении с туловищем, лицо гномика с красноватым носом, брюшко несколько преувеличенное.

Говорил он непонятное. Если бы факт его появления можно было взять сам по себе — он остался бы безразличным; но Господин Просто вспомнил приключение со шкатулкой в магазине, сказал вслух: «Вот еще новая гадость!» — схватил человечка поперек талии и поднес к себе поближе, чтобы рассмотреть лучше. Человечек запищал явственнее.

Но разве было равенство, чтобы с ним разговаривать? Необходимой для равенства Господин Просто полагал душу — здесь же искать ее было невозможно. Он только вспомнил вдруг о банке из-под перца, протянул руку к цветочной корзине, взял оттуда банку и посадил в нее человечка — «чтобы не задохся» (на внутренней крышке банки были проделаны отверстия, чтобы сыпать перец, — так всегда делается!).

Банка была положена на прежнее место, беспорядок ее водворения туда был, так сказать, утвержден. Господин Просто, презрительный и успокоенный, на-

дел вновь пальто и шляпу, взял трость с кабошоном, черепаховый портпапирос, посмотрел в записную книжку и вышел.

Здесь роль его кончается, и не только в рассказе, но и в пределах мировой истории. Презрительное действие, человечек, его писк, движение руки Господина Просто и перечная банка — соединившись вместе, привели к тому, что Господин Просто уже никогда не сможет узнать, как была скроена юбка с карманами и подобиями буфов на боках.

Я не собираюсь утверждать, что Господин Просто, выйдя на улицу, опять потерялся, и уже окончательно. Вернее другое: должно быть, он очень быстро добрался до места по адресу, внесенному в записную книжку, он мог несколько часов смотреть и на золотые завитки волос и на ноги, выставляющиеся из-под юбки, несколькими месяцами позже он мог гладить и обнимать эти ноги, как хотел, — так бывает почти всегда! — он ездил в вагонах Международного Общества, отрезал купоны процентных бумаг, покупал снова и шкатулки и щеточки, — но улицы становились все путанее и путанее, булочник, с рассуждением о товаре и повадкою маятника, ходил все быстрее и быстрее, носки его башмаков делались остроконечнее и длинней; фонарь на стреле начал покачиваться, не однажды звякнули его стекла, — и путь Господина Просто наконец определился.

Действие переходит в руки младших. Тем же, которые были старше Господина Просто, приходится вспоминать, а сам Господин Просто, если он даже существует, еще вспоминать не может: это большая наука, которой он пока не прошел.

Господин Просто! Я прошу вас выйти в эту дверь — вы мешаете мне закончить рассказ.

IV

Едва Господин Просто свернул за угол своей улицы, в дверь его дома позвонили. Отперла парадную дверь горничная и увидела на пороге девочку лет десяти, белокурую и длинноногую, в чистом переднике на синеватом платьице, девочку с двумя недлинными косичками и с голубыми глазами.

— Дядя дома? — спросила девочка.

— Никак нет, они ушли, — ответила горничная и добавила: — Войдите, Ниночка, быть может, они скоро вернутся.

Девочка вошла в подъезд и шагнула на ступеньку, затем на вторую.

Если бы можно было описать только косички девочки и ее косоплетки — поверьте, я ограничился бы тем: тугие скрещения собранных волос и индиговая окраска ленточек, немного выгоревших по краям и концам, но еще совсем темных там, где складки лучатся из узлов, — вот и все: это почти гениально, как у Гомера — описание не Елены, а впечатления, произведенного ею на старцев. Но мы уже связаны другим: описанием ног. И здесь детская ножка, узкая, в черной туфельке, не занимает всей поперечины ступенек, голень в тонком чулке худа — лицевая кость ее торчит остро, и то, что выше колен, не намечается в складках платья. Но общее впечатление приводит к образу все той же, о которой речь была вначале: это ее сестра.

Девочка уже в гостиной, под синеватым свеженьким платьицем, под передничком с воланами спрятано хрупкое тельце с сидящим в сердце бесенком, руки ищут, что зацепить, в голове одно желание — напроказить.

Внимание привлекается перечной банкой в цветочном горшке и слабым человеческим писком: «Выпустите меня, выпустите». Сквозь крышку банки из пробитых в ней для крупинок перца отверстий торчат бледненькие пальчики.

Взять банку нетрудно и недолго, но испуг оглушает сознание настолько, что нельзя сообразить, где находишься. Испуг может сжать сердце и бросить его сразу в четыре угла комнаты — в свет, под потолок, или во мрак, на пол, — он может одновременно погрузить как бы с головой в воду: шум в ушах и совсем другой зазеркальный мир. Зрение тогда не делит событий, оно воспринимает их итоги. И здесь оказались только: грохот да огромная чугунная труба на полу между круглым ореховым столом и пальмой, как водосточная, но с одной стороны заделанная наглухо и с решеткой на другом конце — из решетки высовывались длинные скрюченные пальцы, и старческий хриплый голос произнес оттуда:

— Нагнись ко мне, я тебе скажу два слова: не кричать же мне.

Испуга у девочки уже не было, было опять только любопытство, и она нагнулась. Она никак не могла знать заранее, что ее косички упадут через плечи прямо в пальцы спрятанного в трубе человека.

— Ай! — с чувством боли вскрикнула девочка.

— Не кричи, — посоветовал человек, — это совсем не страшно, я никогда не подумал бы притянуть тебя за волоса, если бы у меня не было спешных дел.

О, милые люди, — у вас милые характеры. Если сказано простое и рассудительное слово — может ли быть после него страшно или больно?

Девочка спросила:

— Чего же тебе надо?

— Мне нужно, чтобы ты донесла меня к своей бабушке, — ответил человек.

Тон его снова был убедителен вполне, но девочка засмеялась и посмотрела сначала на свои ручки, а потом на всю себя в зеркало — на трубу она не взглянула — она знала, какая большая эта труба.

— Разве я смогу вас снести: бабушка живет далеко, а вы больше меня, — сказала она.

— Не бойся, — снова ответил человек, — ты только иди, мы еще посмотрим, кто кого понесет.

И вместе с трубой вспрыгнул на голову к девочке: он не придавил ее, а повис вертикально над нею и даже не прикоснулся к голове, но заделанный конец трубы стукнулся при этом о потолок так, что посыпалась штукатурка.

Девочка же заплакала: страшного все еще не было, но как пойти с такою трубой по улице? Это было свыше ее представлений о допустимом. И одно — шалить, но другое — быть замеченной в шалости.

Маленькое сердце ее знало, что уже нельзя убежать и спрятаться, и плач был особенный, не в голос: только одна за другой крупные слезинки побежали через щечки к губам и на воланы передничка.

На улице оказалось на самом деле очень просто: мы всегда преувеличиваем степень внимания к себе других. Скорее даже было такое впечатление от взглядов немногих прохожих: «в этом нет ничего удивительного — мы все носим на головах какие-нибудь трубы или другие вещи».

Больше внимания оказали просто подстриженные и неподстриженные тополя и липы, растущие вдоль тротуаров: они хотели, безусловно, скрасить или изменить очертания этой нелепой фигуры — девочки с чугунной трубой на голове, трубой вдвое ее длиннее.

Но попробуйте сами поставить на свою голову такую трубу: вы увидите, как изменится ваш шаг — он будет неверен, и корпус потребует ускорения движения. Годы здесь не помогут. «Десять лет, десять лет!» — не восклицайте. Сорок так же беззащитны, как и пять, и двадцать. Скорее, скорее!

С горки в ложбинку, из ложбинки на горку, по узкому тротуару, по широкому, мимо сада, мимо булочной, мимо колбасной, мимо церкви, мимо кондитерской даже и магазина игрушек — нигде не остановиться, ни о чем не подумать — скорее!

Коронованный фонарь на стреле, торчащий из кронштейна, не зацепи за трубу. Вы, приказчики из лавочки, где была куплена шкатулка, — что вы смотрите? Или вы думаете, что это эмблема и что вы сами торговцы эмблемами? Не потому ли и щеточка с львиной головой в венке из роз все еще лежит у вас на щите?

Булочник вежливо посторонился — он посмотрел, какое клеймо на трубе. Клеймо было ясно видно, и запах перца плыл рядом с ним.

Клеймо было:

«Перец»

в окружении четырех последовательных слов:

«Черный
Молотый
Чистый
Сингапур»

Причем главное было начертано крупнее окружения, но то, что окружало, было яснее видно, так как старалось объяснить главное.

«Черный Сингапур!»

Не угодно ли, Господин белый булочник, вам запомнить.

Что это? что? Вы затянулись понюшкой табаку?

***

Два-три поворота, и открывается широкая, прямая дорога, обсаженная кленами и каштанами. Бабушка живет в садовой части города, где нет ни докучных ремесел, ни веселых торговцев.

Фонарные столбы перемежаются с кленами и каштанами; утрамбованная галька проезда пестрит — изредка лужи после вчерашнего дождя и влажность песчаной посыпки. Травой обросли пешеходные дорожки — розетки просвирника и ланцеты подорожника. Неприятно!

Бич кучера английского экипажа, тонко свистящий, изгибающийся; четыре глаза из окна кареты.

Воробей прыгает у самых ног. Скорее! Ноги уже не чувствуют твердости тропы. И в пустоте ее опять немного жутко, хотя слезы уже высохли.

***

Бабушкин дом с верандой над прудом. Планы нельзя описывать, их нужно чертить, вот хотя бы так:

План сада и пруда

Как изображен пруд и дом — всем понятно; очертания двух кустов по сторонам веранды — это попытка передать вид жасминника сверху (конечно, неудачная попытка), узкие четырехугольники рядом с ними — садовые скамейки; кружки — фонтанчики; дальше идет путаница сада; бабушкин стол на веранде и ее кресло обозначены так же; напротив бабушкина кресла другое — серого толстого кота (тигровой масти) Филиберта. Но кот сейчас не сидит в кресле — он дремлет на балюстраде веранды, и во сне ему снится, что он должен свалиться за край,

прямо в воду. Это неприятно. Кот хочет проснуться, но не может. Усы его вздрагивают, нос морщится.

Бабушка оставила вязанье и думает. Можно ли в нашем сломленном веке изобразить мысли старых, но еще не ушедших людей? Ее мысли — о непонимании.

Шестьдесят пять лет прожиты, и такие мысли в голове впервые. Шестьдесят пять лет стучатся в виски каменными молоточками — это начало склероза — и выговаривают:

«Куда ушла Ниночка?

Почему Мэри не хочет сказать, что у нее на сердце? Или у нее нет сердца?»

Каменные молоточки выстукивают глупости. Сердце у Мэри есть, и оно отдано, но не бабушке. Бабушка не умеет целовать, а если и умела, то забыла. У бабушки не поцелуи, у нее две фабрики.

Но у бабушки все же и мысли. Мысль может жить десять, двадцать, тридцать лет и ничего не уметь, а потом сверкнет, как молния, или вопьется в человеческое сердце, как боль в зуб. Правда, у бабушки мысли другого рода. У нее испуг и растерянность.

Они, внуки, милые: дочка умерла, и бабушка им была вместо матери. Кажется, так просто соединить концы, как у ее вязанья, но почему Павел (Павел на военной службе) ничего не пишет? Мэри в кого влюблена? где Ниночка? Эта непослушная девчонка, у которой только шалости на уме.

Сам мир очень прост, так прост, что в нем нет иной фразы, как только «шалости на уме».

В мире нет булочника в башмаках с острыми и длинными носками.

Седые букли из-под черной кружевной косынки не для поцелуев.

— Филиберт!

Но Филиберт не ведет ухом — он желает видеть сны — не беспокойте его, бабушка.

Побеспокойте лучше телеграмму на столе. Вы уже прочли ее, но побеспокойте. Ведь она от управляющего с фабрики и о том, что фабрика беспокоится. Беспокоятся и машины, и топки, развеваются на ветру передники фабричных, гудок гудит сам по себе — управляющий в том неповинен. Управляющий говорит: «Перестаньте гудеть», но высокий рыжий человек с четырьмя пальцами на правой руке стоит против него и улыбается весело.

Бабушка не хочет беспокоить телеграмму. Она не верит в бумажки, она верит в людей — управляющий, усатый и седовласый человек.

«А Ниночка человек?

А у Мэри есть сердце?»

— Филиберт, я тебя зову.

Филиберт поводит ухом и спит.

Когда девочка быстро подошла, почти даже подбежала к берегу пруда и увидела за ним на веранде бабушку и кота, она вспомнила, что нужно было идти по другой дороге, так как через пруд на веранду не попадали.

— Ведь здесь не пройти. Надо кругом — я забыла, — сказала она в трубу.

— Иди прямо, через воду, — ответил человек.

Девочка знала, что пруд неглубок, всего ей по грудь, но кто же так ходил?

— Нет, нельзя, — возразила она.

Труба дернулась к пруду и дернула за собой на воду и девочку. Девочка не замочила даже туфелек — ноги переставлялись прямо в воздухе, на вершок от воды; дно золотилось песком от солнца, песок был рябой, а поверхность воды

совсем гладкая. Мелкая рыбешка крутилась в воде — неизвестно зачем — ведь она же могла там вырасти.

Бабушка подняла голову, увидела Ниночку над водой и вскрикнула, вскочив:

— Ах!

Филиберт проснулся, взглянул прямо и просто сначала, но потом выгорбил спину, ощерился и сказал:

— Фырр, фырр! Я не люблю глупостей.

И когда сказал — труба вдруг брякнулась в воду, разбрызгивая ее, а освобожденная Ниночка — бултых!

Ее вытащили сразу — было же так неглубоко.

Я не знаю, искали ли в воде трубу и следовало ли ее там искать.

***

— Лука Лукич! У вас трубка погасла, — сказал Мастер Ха, закончив свой рассказ.

— Трубка-то что, — ответил Лука Лукич, выколачивая ее о ружейный ствол, — скажу я вам, что вы и говорили, как «Хороший рассказчик доброго старого времени»*, *но тенденций ваших скрыть не могли и никакими художественными подходами их не искупили.*

Все у вас очень слажено и оттого даже неприятно. Не понимаю, к чему это? Символика — не символика. Господин Просто, конечно, пораженный насмерть буржуй или, по-вашему, проприэтер. Небрежение его к Марксу довело вас до того, что вы фамилию вашего гномика вывели из одного корня с Марксом; затем, старые, мол, не понимают, а молодые очень даже свободно разговаривают. Пошел покупать щеточку — значит, украл ее, потому что «собственность есть кража». И солидный управляющий, и бабушка из другого мира — все налицо. Любовь же или ни к чему, или вы хотели показать, что от нее никак не уйдешь и она появляется везде, где ее не ждут. И труба — это не Маркс, а любовь. Крепкая, как перец. Сингапурский. Кстати, вы же знаете индусскую скульптуру? Вот откуда эта труба и этот Сингапур. Потом, воззвания к народам Востока...

— Не спорю, — перебил Мастер, — конечно, вам виднее, но что бы вы заговорили, если б вам пришлось в самой настоящей жизни встретиться с булочником из булочной против фонаря?

— А это что же, Хронос? — спросил Лука Лукич.

— Как хотите понимайте, — закончил свои мысли Мастер.

Но Лука Лукич еще добавил с сердцем:

— Вы даже газету и ту не забыли: «Кафегеская химия» у вас от ваших взглядов, что революция не только экономический сдвиг, но и химико-физиологический процесс.

Потом набил две трубки, и они закурили. Из-за стога сена, под которым лежал пикет, показался лунный серпик. Часовые за оврагом перекликнулись.

Март 1919–октябрь 1924

---

*Так называется еще одна глава все того же романа.

УЛИКА

Весна в неурожайный год на Волге была засушливая, и к Троицыну дню вся степь покрылась пылью, посерела. Городишко, где жил Иван Еремеевич Вяхирев, тоже просох и стал серее обыкновенного. Пыль лежала повсюду — на домах, на церковных крышах, на каждой травинке и каждом листочке, в желобах водосточных труб, под мостиками, перекинутыми через канавы, и даже на поверхности воды в глубоких колодцах. «Пыльное нашествие», — говорил согражданам соборный протопоп отец Василий. И жена Ивана Еремеевича — Марьюшка — жаловалась: «Ишь, пылища. Окошко отворить нельзя. Нашел где дом построить». — «Полно тебе, — отвечал ей Иван Еремеевич глубокомысленно, — кабы тут не эта пылища — много б мы с тобой добра нажили? Не пылища, а золото». Жили они на базарной площади, и в том же доме была у них лавка со всяким товаром.

Говорил так Иван Еремеевич, но сам думал, особенно когда в степь выходил к арендованному яблоневому саду и видел в степи все ту же пыль: «Откуда ее столько сыплется? То ли из степи в город, то ли из города в степь? А вернее всего, по ночам с неба — пыльные росы».

Иван Еремеевич любил рассуждать. В Троицын день он вместе с Марьюшкой пошел к обедне в собор. Служили долго, и протопоп отец Василий говорил проповедь.

Отец Василий был крутой к прихожанам. «Этих фиглей-миглей — что да от чего — я не признаю, — говаривал он, — в семинарии учили, да не испортили меня: дело простое — сказано тебе: верь и больше никаких. И между прочим копеечку мне приготовь. Политические там экономии — одно, а тут другое: твоя копеечка у меня целее будет, и оттого капитал произрастает и государство крепнет. Большевикам тоже денежки ой как понадобятся. Обомнутся, до дела дойдут и спросят: граждане, которые получше, нет ли у нас денежек? — нам на обзаведение, на то да на се надо. А мы им тут с нашим почтением — извольте». Впрочем, жалел протопоп, что под сводами церкви больше не гремело — «благочестивейшего, самодержавнейшего...» Уж больно хорошо выходило это — с перекатами. А так вообще прошлого не жалел — слишком в себя и в крепость свою верил.

От духоты в церкви собралось на его лысине прямо озеро пота. Кивал протопоп головой, и особенно отсвечивала вспышками одна костяная грань на маковке. Проповедь была длинная. Он уже к середине забыл, о чем говорил сначала, и от божественного ушел. Слова вертелись около одной мысли: «Ты там что ни делай, а за дела свои дурные получишь сколько полагается», причем отец Василий посматривал на Ивана Еремеевича, но о нем не думал — об Иване Еремеевиче он знал: «Этот что? — разве только попу гривенника не додаст да на пятак за пуд дешевле мужику заплатит...» Протопоп думал о тех, которые советским духом пропитывались, но и в церковь еще ходили. К ним обращался протопоп. Был все-таки протопоп мистиком и думал, что все должны рано или поздно к церкви об-

ратиться, хоть через милицию. «А от кого получишь — от Бога или от милиции, — мне все равно», — подумал протопоп и на этом кончил ни к селу ни к городу свою проповедь. Пора было кончать: знал, что попадья на клиросе стоит и думает, как бы обед не перепрел. Повадки попадьи он за тридцать лет хорошо запомнил. «Ее благолепием не проймешь — сама она благолепие», — говаривал протопоп.

Иван Еремеевич вместе с Марьюшкой вернулся из церкви и, пока Марьюшка возилась у печки да накрывала стол, решил пройти в свою лавочку, посмотреть — в порядке ли? Все было в порядке. Уходя обратно, он, у дверей, сильно втянул в себя лавочный запах, состоявший из смеси запахов муки, кожи, керосина, рогож, конфет, мыла душистого и мануфактуры. Запахи были неустоявшиеся, чувствовались по временам сильнее — то один, то другой. Иван Еремеевич всегда умел определять, чем сегодня больше пахнет, и любил это делать. Пахло крепко рогожами — только вчера привезли их свежих пять кип. И однако, отмечал Иван Еремеич, не так приятен запах товара теперь, как был прежде. «Товар, что ли, другой стал?» — спрашивал он себя.

Марьюшка кликнула его обедать. Уселись на табуретки чин чином. Пообедали. Была баранина во щах, пирог с рисом и яйцами, пирог с сушеными яблоками; выпили по стопке самогончику — муж с женой наравне, — это к первому пирогу. Пирог с яблоками сдобрили пшеничным белым квасом. «Ну, пока убираешься да самоварчик ставишь, я сосну», — сказал Иван Еремеевич и пошел в зальцу. Она же была и парадной спаленкой. В зальце стояла деревянная широкая кровать, с пуховиками и подушками, накрытая пикейным розовым одеялом, как полагается. Спали на самом деле в чулане на сундуках с купеческим добром.

Окна в зальце были изнутри затворены ставнями, чтобы солнце не нажарило комнату; в простенке висело зеркало без рамы, стоял подзеркальник; перед окнами большие фикусы и латании; направо сосновый комодик, налево в углу большой кованый сундук; полдюжины венских стульев, стол овальный тоже сосновный, крашенный черной краской; лампа висячая, керосиновая, да образа в углу — вот, кажется, и все. На комоде, под подушками, на сундуке, на подзеркальнике и на большом столе еще белые, вязанные из кроше салфеточки. Обои без затей — голубые, бледные.

Иван Еремеич вошел со свечкой — маленьким огарком; взял с сундука чистый свернутый половичок, раскинул его у кровати на крашеном полу, вынул изпод горы подушек самую нижнюю, погасил свет и улегся.

Заснул он скоро и увидел нехороший сон.

Иван Еремеевич был человек уже немолодой — на своих на двоих не спеша перекатил недавно за пятьдесят. А в молодости служил в солдатах, в Приморском драгунском полку. Человек серьезный по характеру и виду, он как раз пригодился в тяжелую кавалерию.

Вместе с полком усмирял он в 1900 году китайцев. Был такой случай. Ехал разъезд драгун в десяток людей да казаков двое. Повстречали они в деревне отряд китайцев, набросились на них и перерубили до одного человека. Оно, правда, и нетрудно было это сделать — были китайцы все пешие и почти без оружия, у трех или четырех дрянные ружья, а остальные с чем попало, у одного даже было весло. Притом они думали сдаться в плен. И рубили их как придется — кто всерьез, а кто только шашкой махал. Однако Вяхирев рубил по-настоящему, и, когда потом стали считать убитых для реляции, на долю Вяхирева пришлось восемнадцать человек, на долю одного казака — семь, а другим — как кому. Казачий урядник, которому пришлось быть за начальника, даже ахнул после подсчета от удивления: «Да когда ты, Вяхирев, это успел?» Но реляцию соста-

вили и на основании ее дали Вяхиреву Георгиевский крест, а казаку — Георгиевскую медаль. О подвиге же напечатали в газете.

Газету, где об его подвиге говорилось, Вяхирев бережно сохранял и сейчас, но о самом деле не любил рассказывать. Выдумать он ничего не мог, чтобы добавить для красоты, а по правде выходило смешно: будто не крест следовало давать за такое дело, а матом покрыть. Но так как Иван Еремеевич был человеком с рассуждением, то себе он часто говорил и другое: «Оно, конечно, — ежели со стороны посмотреть — крест как будто и ни за что дали. Но китаец человек особый — он как вошь или муравей. Его только пусти, он живо расплодится и тебя без сумления съест. У меня вот, к примеру сказать, ни одного детища не народилось, а у тех-то восемнадцати китайцев, может быть, у каждого стало бы по пяти. Целая деревня. Сосчитать — так через сто лет им уж и податься было бы некуда — разве только к нам в Тамбовскую или в Саратовскую. Вот какой это враг. Не за то дали крест, что рубил, а за то, что от китайского нашествия Россию спасал. У других кишка была слаба — махали шашками что кнутом, а я как следует поработал».

И на таких словах Иван Еремеевич успокаивался за правильностью полученного им креста. Но так как в Китае он простоял довольно долго и по молодости с китаянками в любовь играл, то приходили к нему и другие мысли.

Во-первых, он китаянок никак не мог забыть. «Чудно это у них, — говорил он, — не по-нашему. Наша баба не такая; будто и не на земле, а на другой планете».

Во-вторых, рассуждал так: «Ерунда все это, что крест я за истребление врага получил. Какое же тут истребление, когда я с китаянками путался и, может, каждой по сыну аль по девчонке оставил? Сколько убил — столько и прибавилось. Неправильное это дело — война».

И вот ему приснилось в Троицын день старое, как на ладони. Въехали они разъездом с урядником Шарошкиным в деревню, ничего не опасаясь. Деревня была большая; доехали до середины — глядь, из боковой улицы китайцы толпой высыпали. Урядник Шарошкин только пикнул, и они без команды, подшпорив лошадей, смяли китайскую толпу. Когда уж все китайцы лежали — увидел Вяхирев, что бежит один молодой длинноногий китаец (может быть, и не из этого отряда, а так — случайно) вдоль по улице — хочет спрятаться. Вяхирев догнал его в два счета и рубанул шашкой под затылок — так что коса отлетела прочь, а китаец упал ничком, и только один раз свело его судорогой — подкинул ноги.

Как было в действительности — все так Вяхирев и видел во сне, но не совсем — испортил дело конец сна. Упал молодой китаец — дрыгнул ногами раз, а потом вдруг второй, третий и еще, и еще — и смешно — будто сам на земле животом лежит, а ноги пляшут.

Стоит над ним Вяхирев, шашку вдоль лошадиного бока опустил. Дергал, дергал китаец ногами, потом как вскочит да и на самом деле в пляс, по-русски, вприсядку и пальцами пощелкивает, а полуотрубленная голова мотается: вперед-назад, вперед-назад.

Вяхирев проснулся — не мог больше выдержать. «Вот те и китаец», — подумал он и, не зажигая свечи, не убрав с пола половика и подушки, пошел на кухню — пить чай.

В кухонной духоте, под равномерное мушиное жужжание самовар уже посвистывал на столе. Марьюшка перетирала посуду вышитым полотенцем, отгоняя другим его концом мух от варенья и сахара. Иван Еремеич мрачно и грузно опустился к столу, но не <на> табуретку, как обыкновенно, а на пристенную скамейку под образа.

— Налей! — сказал он.

И не успела еще тонкая струйка воды из крана наполнить стакан до краев — как в дверь стукнули.

— Войди, кто там? — спросил хозяин.

Дверь приотворилась, и из-за нее выглянула знакомая Ивану Еремеевичу голова.

— Я не один, Иван Еремеевич, — сказала голова.

Видно, повадка у нее была не обыкновенная, не мужицкая. Мужик прежде вошел бы, перекрестился, поклон отвесил да потом заговорил бы. Этот не так!

— Входи, Родивоныч, — ответил хозяин.— Кто еще там с тобой?

— Своих двое, — пояснил гость, дверь распахнул и ступил в комнату. Был он чернобородый, могучий, во всю дверь. А за ним виднелись двое обыкновенных людей — небольшие, рыжеватые. Вошли уже честь честью, покрестились, поклоны отвесили. Сели за стол чай пить.

Родивоныч был старый, известный на всю округу конокрад. Знал его Вяхирев давным-давно и делал с ним дела. Не то чтобы по конскому делу — этим Иван Еремеевич не занимался, — но и Родивоныч промышлял не одним конокрадством: где с лошадью, бывало, хомут или шлею прихватит, где овчину, а то овсеца или мешок с мукой, особенно в голодные годы. Все это по дешевке шло Вяхиреву, и тот за позор такую торговлишку не считал: думал, что без нее купцу невозможно; если с мужиком о пятачке поспоришь и пятачок лишний с него вытянешь — этим не шибко разживешься.

Но пришедших Родивоныча гостей Вяхирев увидел впервые и даже никогда, может быть, не слышал о них. Он, впрочем, и не спросил об их именах или прозвищах. Не в обычае это по крестьянству.

Родивоныч, выпив первый стакан, сказал:

— Свои люди-то. Одним делом занимаемся.

— Что, — спросил Вяхирев, — к нам пожаловали? Али у наших попоп гривы поотрезать собираются?

Не на людях-то этак и не нужно было бы говорить. Слова-то не совсем понятные сказал Еремеич, но особенного в них ничего не было: просто конокрадские слова.

— Нет, — ответил за Родивоныча один из рыжих гостей с косящим глазом и поплотнее второго, — у нас дело другое, и, между прочим, к тебе за советом, гражданин Вяхирев.

— Какой совет?

— Потом скажем.

— Ладно.

На этом «ладно» пока и закончился разговор. Хотел один из гостей закурить трубку, но Вяхирев сам не курил и другим в избе не позволял.

— Нет уж, товарищ дорогой, за этим делом пожалуйте на крылечко, — сказал он курильщику.

— Оно нам и кстати — на крылечко-то, — ответил гость.

И все поднялись и вышли на крыльцо, кроме Марьюшки.

Городское праздничное гулянье шумело в стороне от базарной площади — у городского сада и на мосту через речку. На крыльце было тихо. Выкурил рыжий, что был поплотнее, свою трубку, поколотил ее о перильце и сказал, обращаясь к Ивану Еремеевичу:

— Скажи-ка ты нам, хозяин дорогой, — как по-твоему. Вместе мы обстряпали дело по двум скамейкам, — (слово опять конокрадское и значит: свели двух ло-

16 Зак 3178

шадей), — спустили товар цыганам, получил Родивоныч двадцать червяков, а как стали делиться — он нам по сорока, а себе сотельную с гаком. Разве это справедливо, когда вместе работали?

— Вместе-то вместе, да какие вы работники, чтобы с вами поровну делиться? — вмешался Родивоныч.

— Вот на, — сказал первый, немного горячась, — какие работники? Такие ж, как и не ты. Без тебя лошадей не угоняли, что ли?

— Оно, конечно, и без меня угоняли. Да только тут ни в жисть без меня не угнали бы.

Стали они спорить — угнали бы без Родивоныча или нет. По их выходило — да, а по его — не смогли бы. Вяхирев сидел на перильцах и слушал, но ничего не говорил. Видит рыжий, что не идет спор на лад, — достал верное средство — бутылку самогону из кармана, — предложил всем отведать. Выпил и Родивоныч — был он на водку слабоват, — смяк немного, понял, что неправильно спорит, а деньги страсть как не хочет отдавать, вот и говорит:

— По-моему так выходит — деньги эти вы мне должны полюбовно оставить. Я, может, своей воровской жизнью наскучил и на честную дорогу хочу податься. Теперь это не прежнее время при господах, что нет тебе иного пути, как в купцы идти или воровать. Я человек грамотный и советской власти нужный. Может, меня председателем волисполкома сделают. А вам все равно — еще наворуете.

Говорил это Родивоныч, но знал, что опять неправильно, что не пойдет на честную дорогу, а только нужно что-то выдумать, чтоб деньги не отдавать.

Но как сказал он только, что его, может, председателем волисполкома сделают, — Вяхирев струхнул. «Сделается Родивоныч советским человеком, — подумал хозяин, — и узнает советская власть, какой я темный человек. Не будет тогда житья».

Товарищи Родивоныча и с этим не согласились. Еще больше на него насели. Он спорил-спорил, видит, что спор никак не выходит, и сказал:

— Ну, ин так и быть — я подумаю. А только ты, Еремеич, дай мне сперва соснуть маленько: ночь мы не спали, и самогон меня сморил.

Рыжие остались на крыльце, а Родивоныча хозяин свел в спаленку и уложил на тот половик, на котором сам спал после обеда. Уложив гостя, Вяхирев вошел на кухню и видит, что Марьюшка в чулане за кухней из праздничного платья переодевается.

— Ты что это, Марьюшка, — спросил он, — аль отпраздновала?

— Корову хочу подоить пораньше, к шабрам в гости пойду: звала Аксинья Тимофеевна.

Звякнула Марьюшка подойником, а Иван Еремеич опять на крыльцо. Рыжие сидят и снова самогон пьют.

— Ты что ж, хозяин, — спросил его тот, который был поплотнее, — своего хозяйского слова не сказал?

Вяхирев подумал сначала ответить, что не его это дело, но вспомнил, что Родивоныч собирается на советскую службу, и сказал:

— Таких стервецов учить надо.

— Оно и правда, — поддержал плотный рыжий, — мы сами его проучить решили, да только нам вдвоем не справиться. Он дюжий. Ты нам помоги.

— Что ж, я помогу, — ответил Вяхирев, — вот только баба сейчас уйдет — при бабе шуметь не хочу.

— Подождем, — согласился второй рыжий, — он ведь жила — все равно не отдаст. Напрасно с ним спутались.

Марьюшка вернулась из хлева, снова принарядилась и за ворота.

— Ну, теперь можно, — решил Вяхирев, — только там темно в горнице — свечку надо зажечь.

Сказал и вспомнил, что свечку он оставил в спальне на сундуке. «Эка незадача, — подумал он, — еще разбудишь, а он приготовится».

Но идти было нужно. Осторожно ступая, пошел через кухню к зальце. Сапоги заскрипели. Прикоснулся к двери, и дверь скрипнула.

— Услышит, — сказал боязливо рыжий потоньше.

Вяхирев вернулся, скинул сапоги, смотал подтяжки и, бросив то и другое под лавку, вспомнил, что за образом спрятана толстая восковая свеча.

Он вынул ее, зажег и на цыпочках опять подошел к зальце. Рыжие — за ним.

Вяхирев отворил дверь, просунул в темноту голову и правую руку со свечой. Родивоныч лежал лицом кверху и присвистывал носом. Вяхирев ступил в комнату. Родивоныч вдруг как вскочит прямо на ноги, да с такой силой, что оба каблука у него отлетели. Рыжие из-за Вяхирева будто кошки к нему — один за руку и другой за руку; один за горло и другой за горло.

Родивоныч тряхнулся — оба они отлетели. Родивоныч сунул руку за голенище, и в руке у него блеснул нож.

Вяхирев тут вспомнил старую драгунскую ухватку — вышиб одним ударом нож из руки Родивоныча, свечу в сторону, и сам на него навалился уж вместе с рыжими. Рыжие руки назад крутят, а он за горло ловит.

Возились, возились — видят, не одолеть Родивоныча. Действительно, был он очень дюжий. Стул один сломали, половик и подушку загнали под кровать.

Попал тонкому рыжему под ногу вышибленный Родивонычев нож. Забыл рыжий, что они только побить хотели Родивоныча, подхватил нож и уже занес его над противником.

— Не надо ножом, — крикнул Вяхирев, — я его по-китайскому за такое место хвачу, что он сразу смирится.

Освободил правую руку и действительно как хватит Родивоныча, даже хрупнуло, — дернулся старый конокрад и, словно былинка, повалился на пол.

Тонкий рыжий сгоряча все-таки ударил его ножом в шею. Кровь потекла на крашеный пол.

— Не надо было ножом-то, — укоризненно сказал опять Вяхирев и тут только сообразил, что конокрад лежит мертвый и что это он — Вяхирев — его убил.

Потемнел хозяин с лица и говорит:

— Вместе убивали, вместе и концы в воду хоронить должны.

Ответили оба рыжие в один голос:

— А мы не отказываемся.

— Вот что, — сказал плотный рыжий, — по мясниковскому делу, как я это дело произошел, мне и распоряжаться. Тащи, хозяин, две рогожки и два мешка.

Побежал Вяхирев в лавку, взял два мешка новых и две рогожи, но подумал: «Протечет кровь через две-то» — и взял еще две.

— Ты их в подполье положи и мешок туда же, а одну рогожу здесь оставь, — скомандовал рыжий мясник.

Вяхирев спустился в подполье со свечой, три рогожи расстелил по земле, а мешки бросил в угол на ящик с морковью.

В это время рыжие положили покойника на четвертую рогожку, взялись за концы и спустили тело в подполье.

— Теперь, хозяин, неси два ведра воды в залу, — говорит мясник.

Сбегал Вяхирев в сени, зачерпнул из кадки в ведро и притащил.

— Лей все на пол сразу и тащи второе, — распоряжается рыжий.

— Да ведь потоп устроишь, — возражает Вяхирев и подумал: «Придет Марьюшка, увидит, что мокро, спросит».

— Потоп и надо устроить, — поясняет мясник, — улик чтоб не было, ежели мильтоны придут. Мильтон — будто и человек: ходит и ничего не видит, пока его на дело не напустишь. А напустишь, как собака сделается: такое тебе сыщет, что ты ни в жисть не найдешь.

Выплеснул Вяхирев воду на пол, побежал опять в сени. Принес еще. Устроили потоп, взяли все трое тряпки и стали воду снова загонять в ведро. Забыл Вяхирев, что ведро чистое, а рыжим что — чужие, из этого ведра не пить.

Вынес первую воду Иван Еремеевич во двор, вылил в канавку; вынес второе, выплеснул и ведро поставил под водосточную трубу. Прислушался во дворе, запер калитку и дверь в кухню. Быстро сделали дело.

— Ну, — говорит мясник, — теперь мне его освежевать надо и в мешки распределить.

— Не режь, — возражает Вяхирев, — снова крови напустишь.

— И-и, вот выдумал, — усмехается мясник, — дело привычное — я его так обработаю, что и капельки не выпустит. Свети в подполье.

Зажег хозяин вместо свечи лампу-семилинейку. Подняли крышку над лестницей. Вяхирев на брюхо у дырки лег и руку с лампой спустил, а рыжий с ножом вниз.

Смотрит Вяхирев и видит, как рыжий орудует Родивонычевым ножом, — впрямь мясник. Вышелушил ноги — принялся за руки, а крови не видать.

Ну крови-то немного натекло. Только он сразу и в темноте не заметил.

Сложил рыжий руки и ноги в один мешок, голову с туловищем сунул в другой. Лезет обратно.

— Рогожку-то потом сожжешь, — говорит, — дело пустое.

Закрыли подполицу, уселись на лавки под образа; лампа на столе при дневном свете горит, стекло на ней закоптело — наклонил хозяин лампу, когда светил в подполье.

Сидят, молчат, тяжело дышат: все-таки человека убили, да и повозились.

— Теперь, когда стемнеет, его снести нужно куда ни на есть, — говорит мясник.

— Мое дело сделано, — Вяхирев ему в ответ, — мое дело хозяйское — хоронить — было, а понесете вы, да несите подальше, чтоб в городе не осталось.

— Снесем, как стемнеет. Только ты нам самогону поставь.

Вяхирев мотнул головой — согласился.

— Ну, так ставь на стол.

— Да нет у меня дома-то.

— Денег тогда давай. Найдем в городе. Нужно для храбрости выпить.

Отсчитал им Вяхирев, сколько было нужно, выпустил за калитку, снова заперся. Идет в кухню и думает: «Напрасно выпустил. Не придут теперь — самому придется возиться. Только я за город не потащу — в хлеву ночью зарою. Под домом нельзя — стуки по ночам будут».

Кухню во второй раз не запер. Лампу загасил и поставил на припечек.

Посидел минут пять — слышит: стучат в калитку.

Пошел, отпер. Видит, Марьюшка вернулась.

— Ты что босиком? — спрашивает жена.

— Ноги сопрели, — отвечает Вяхирев, — а ты что вернулась скоро?

— Так обернулось: Аксинья на хутора поедет, а я в слободку к сестре пойду до вечера. Вот только гостинцев из лавки возьму для ребят.

Отлегло у Вяхирева от сердца. Впустил Марьюшку во двор и сам провел в лавку, чтобы чего не заметила. Отобрала хозяйка пряников, карамели, маковников, завязала в платок. Ушла. Вяхирев калитку снова на запор.

Сидит на крыльце — посиживает. В кухню идти боязно. Ждет. Прошел час, другой. Снова стучат.

Отпер калитку — стоят оба рыжие, пьяные вдрызг.

— Ишь, черти, набрались, — сказал Вяхирев. — Да куда вы в таком виде годитесь: вы еще по дороге мешки-то оброните.

— Сажай, хозяин, на лавку — очухаемся, — говорит плотный.

Ввел их в избу, посадил. Сели, посидели. Головы у рыжих мотаются, ко сну их клонит.

«Вот грех, — думает Вяхирев, — не убраться до Марьюшки».

— Я вам спирту нашатырного дам понюхать, — говорит он гостям, — только уносите скорее. Скоро хозяйка вернется — нельзя темноты ждать.

А второй рыжий вдруг и заплакал.

— Не понесу я никуда, — говорит сквозь плач, — не хотел я его убивать — только поучить собирался. Хорони под избой.

Вяхирев с лица опять потемнел и спрашивает:

— Как не понесешь? Самогон пил, а не понесешь?

Первый рыжий его поддерживает.

Говорили, говорили — только нет. Плачет второй рыжий: «Не понесу и не понесу».

— Подожди, — говорит первый, — он в себя придет, а я пока свою половину вынесу, спрячу и, как только буду из города уходить, с собой захвачу в дорогу — брошу где-нибудь в оврагах. Только теперь светло — нужно сначала сходить посмотреть, где удобнее пронести.

Выпустил Вяхирев рыжего на площадь, вернулся и вдруг сообразил: «Как же я его опять выпустил — ведь он не вернется. Куда мне деваться: там покойник — здесь пьяный».

Забыл о своем купеческом добре, что его на неизвестного человека оставляет, выскочил без шапки за калитку и бегом за рыжим.

Рыжий по улицам, а Вяхирев по закоулкам и переулкам ему наперерез. Только тот на главную улицу вышел и дралки дать хотел к Московскому шоссе — Вяхирев его из-за плетня за рукав цап.

— Нечего, — говорят Вяхирев, — на Москву смотреть. Пойдем обратно — я уж не отпущу.

Вернулись в избу. Сидит второй рыжий, плачет. Говорит: «Пойду повинюсь». Погрозил ему мясник кулаком, достал из подполья мешок с туловищем, перевязал ремешком, взвалил на плечо и пошел к калитке.

Вяхирев ему опять калитку отпер, а за калиткой стоит Марьюшка. Пропустила рыжего, вошла во двор и спрашивает мужа:

— Что это гостек-то наш понес?

— А мясо, — отвечает Вяхирев, — мяса купил — мясник он.

«Какое в Троицу мясо», — подумала Марьюшка и пошла в чулан переодеваться; дверь за собой затворила, потому что в избе второй рыжий сидел. Он уже не плакал — только носом клевал.

Подошел к нему Вяхирев, потряс его за плечо, говорит тихо:

— Уходи ты, Христа ради. Не до тебя уж.

Встал рыжий, как встрепанный, и ушел. Картуз унес в руке.

Еще прошел час. Не возвращается первый рыжий.

А Вяхирев думает: «Вернется и возьмет второй мешок — скажу Марьюшке, что тоже мясо. Рогожку потом спрячу, если нельзя будет сжечь».

Проходит второй час. Не возвращается рыжий. Вяхирев не то что сумрачный стал, а просто почернел.

Рыжий так со своей ношей поступил. Пронес ее через весь город по главной улице, перешел мост и на Куракинской дороге, у кладбища, остановился. Думал бросить туловище между могил. Но на кладбище девки и парни гуляли — хоть и рано, еще не Духов день, чтобы по кладбищам ходить, да им все равно где гулять. А потом рыжему и деревья на кладбище не понравились: хоть и курчавые, а редкие. Между кладбищем и дорогой шла глубокая канава. Заросла она сплошь лопухом, у каждого лист величиной с солнце; крапива густая; конский щавель выше человеческого роста.

Шваркнул рыжий свою ношу под лопухи и под щавель — только пыль дорожная, густая столбом встала. Шваркнул, а сам по Куракинской дороге. Только его и видели.

Чуть темнеть стало. Вяхирев понял, что рыжий не вернется. А Марьюшка надумала самовар ставить. Пошла в сени за водой. Видит, ведра нет. Где ведро?

Вспомнил Вяхирев, что ведро стоит под водосточной трубой. Говорит Марьюшке:

— Нельзя этим ведром больше воду брать.

— Почему нельзя?

Тут он все ей и рассказал в два слова. Села Марьюшка на пол, где стояла, — прямо на дверцу в подполье.

— Нечего уж, — говорит ей Вяхирев, — ты самовар ставь, а с этого места сойди: я ноги и руки сейчас унесу.

Спустился в подполье. Берет мешок, а ноги в сапогах, подметками кверху, из него торчат, и каблуков нет. Попробовал Вяхирев умять их — не уминаются: длинный был Родивоныч. Взял Вяхирев мешок как есть — и за ворота.

До главной улицы дошел — навстречу ему парни с гармошками и девки.

— Эй, дядя, — кричит один, — где же ты каблуки-то потерял?

Что каблуков нет — видит, а кто мешок несет — того с пьяных глаз не заметил.

Идет Вяхирев через мост, на мосту опять девки и парни. Пляшут, потому что на мосту пыли меньше, а что была — смели метлой в речку. Парни смотрят на девок, а девки на парней — не заметили Вяхирева. Вяхирев шагу прибавил — и к кладбищу. Думает: «Брошу руки и ноги меж могил».

А на кладбище опять девки и парни — нельзя. Тогда он от кладбища взял влево, в кустики. Только кустики обманчивые: идешь к ним — они будто стеной стоят. Войдешь — оглянешься: все назад видно. Еще дальше пойдешь — опять то же. Не спрятаться.

Вышел Вяхирев к краю кустарника, где проходит железная дорога, посмотрел за дорогу. По другую сторону в ключевом тупике картофель рос. И хоть весна была засушливая, но на влажном месте картофель ботву поднял, и большую. «Туда и положу», — решил Вяхирев. Перешел через дорогу, забрался в картофель, да только напрасно: издали смотреть — земли под ботвой не видно, а войдешь в середину — со всех сторон глядит на тебя серая земля.

Вытряхнул Вяхирев руки и ноги из мешка, разбросал их под ботву в разные стороны. Мешок свернул и домой почти бегом. Не задерживался.

Рогожку и мешок они с Марьюшкой поутру сожгли в печке. Марьюшка золу размешала, выгребла и в мусорную яму снесла. Сверху прикидала навозом.

Вяхирев всю ночь думал, что ему за убийство будет — от Бога ли, от милиции — все равно; вспоминал утрешнюю проповедь отца Василия.

На рассвете, перед тем как задремать, решил, что будет страшное. Очень страшное. И сильно испугался. Но заснул.

В Духов день Еремеич и Марьюшка опять сходили в церковь, но на кладбище не пошли — никого у них на кладбище не было.

Пообедали, но Вяхирев не прилег отдыхать. Вышел в город — послушать: не говорят ли чего о трупе.

Вернулся сумрачный. Сказал Марьюшке:

— Нашли труп-то; не сумел подлец рыжий спрятать.

А о себе подумал: «Руки и ноги я хорошо спрятал».

Следователя в городе не было — находился в волости где-то и только во вторник вернулся домой. Во вторник же нашли и руки, и ноги.

Посмотрели врач и следователь труп. Врач покопался и не мог понять, отчего умер Родивоныч. Рана на шее была пустяшная. Врач-то только недавно приехал из Харьковского университета. Трудно ему было понять, что Родивоныч помер от вяхиревской хватки. Родивоныча в городе никто не опознал: он бывал только у Вяхирева, и то ночью.

Следователь продержал труп трое суток и велел захоронить.

Когда пошли хоронить, Вяхирев вместе с другими тоже отправился на кладбище.

Когда уж хотели зарывать — молодой чернявый парень из любопытства протискался к могиле.

— Да это никак наш, куракинский, — сказал он.

Родивонычева жена знала, что покойник в город только к Вяхиреву ездил, больше ни к кому.

Следователь с милицией пришел к Вяхиреву.

— Что вы знаете по этому делу? — спрашивает следователь.

— Знать я ничего не знаю, — отвечает Вяхирев, — и спрашивать вам меня нечего, потому как против меня улик нету.

— Ан улики-то и есть, — сказал старший милиционер, — вот тут на ножке кровати, кажись, кровяное пятно.

Ну, конечно, если б наперед знать, Вяхирев велел бы Марьюшке, чтоб она и ножки у кровати поскоблила. А против улики ничего не сделаешь. Пошел милиционер во двор и там ведро под водосточной трубой нашел, а на дужке у ведра тоже кровь. В подпечке нашлись оба каблука от Родивонычевых сапог.

Глядит следователь на Вяхирева, а Вяхирев на следователя.

Следователь человек еще молодой — из путиловских рабочих, по фамилии Мешковатов. Тонкий и красивый, лицо смуглое и задумчивое. Но здоровьем слабый, оттого и с завода ушел на политическую работу. По свету походил, людей послушал и подначитался.

А Вяхирев — столб столбом и будто весь из чурочек и столбиков — прямой совсем, даже смотреть неприятно: нос валиком — тупой, ноги что внизу, что вверху — будто одной толщины, и даже брюхо отросло не арбузом, а ящиком. Лицо в веснушках, глаза маленькие, пальцы короткие.

— А зачем же вы это, гражданин Вяхирев, сделали и знаете ли вы, что вам за это будет? — спросил наконец следователь.

— Мы его убивать не хотели, а поучить малость, — отвечает Иван Еремеич.

— Кто это — мы?

— Двое товарищей с ним было.
— Где ж они?
— Да разве я их знаю. Я их в первый раз видел.
— Ну, а за что вы его все-таки убили?
Подумал Иван Еремеич и говорит:
— Он же известный конокрад был — от него вся округа двадцать пять лет плакала.
— Конокрад-конокрад, а к вам в гости ездил.
— У меня с ним не воровские дела были.
— Какие ж у конокрада могут быть дела, кроме воровских? Богу, что ли, вместе молились? А накажут за это строго.
Помолчал Вяхирев. Любил он рассуждать.
— Что вы о наказании — это я сам понимаю, — говорит он, — но только это несправедливо. Самый большой злодей — вор: он человека разоряет. А если я от вора обчество избавил — оно, конечно, грех мой, но это понимать надо и не очень строго наказывать. Вот воров — я бы всех перестрелял.
— Я и сам так раньше думал, пока в следователи не попал, — отвечает Мешковатов, — но теперь понял, что неправильно рассуждал.
Повели Еремеича и Марьюшку в тюрьму. Марьюшка только голову опустила, да просила, чтобы корову ее не забыли — а то молоко перегорит.
Рухнуло вяхиревское хозяйство. Рыжих отыскать не могли — судили только Еремеича и Марьюшку. Их рассказам о рыжих не поверили, но решили, что один Еремеич такого дела сделать не мог, — его приговорили на десять лет со строгой изоляцией, а Марьюшку за соучастие на шесть.
Судьям Еремеич показался страшным человеком. Отбывать наказание перевели его в губернский город. Уездная тюрьма — неподходящее место для таких серьезных людей. А Марьюшку оставили где жила.
Это все пустяки — много людей в тюрьме сидело и сидеть будет, но Еремеич никак понять не может, почему теперь тюрьма такая.
Еремеичу уже за пятьдесят — свои мысли и думы он накопил до революции, вместе с капитальцем. Но старым его мыслям и думам в тюрьме нужно наставление. Попу, конечно, ход в тюрьму заказан, но Вяхиреву очень понравился следователь Мешковатов за спокойствие и рассудительность. Он сначала все ждал, что к нему кто-нибудь такой, вроде Мешковатова, и придет. Но никто не пришел. Говорят только: работай и в театр ходи.
И живет рядом стража: курят, по коридорам ходят, промеж собой разговаривают обо всем, баб вспоминают, но Еремеича не видят. Забыли, как вещь забывают, а не человека.
Не может этого понять Вяхирев.
Никогда и не поймет.
И все еще отца Василия вспоминает с его проповедью. Говорил тот: «Если не от Бога — от милиции наказание получишь».
Но ведь нет никакого наказания: работай и в театр ходи. Вот только хозяйство разорили.
Но и хозяйства ему не жалко. Он понял, что не то важно человеку, что в сундуках лежит, а чтоб хлеб на сегодня был.
Без хлеба же он никогда не сидел. Руки у него были рабочие.

Ц<арское> С<ело> 22–23 мая 1928

КОЛДУН И УЧЕНЫЙ

НОВЫЙ БЫК

— Быки ушли!

Кар взмахнул копьеметалкой. Копье, пролетев семьдесят шагов, с силой вонзилось в дно лужи, полузатянутой льдом. Брызги и грязь полетели в стороны. Кару стало легче — пусть все видят, что он сделал свое дело и что он умеет бросать копье дальше всех.

Еще с утра, когда Гву повел взрослых охотников, подростков и женщин от теплых костров в холодную тундру, Кар уже сердился, зная, что охота будет неудачна: старый Гву все делал не так, как хотелось Кару.

Кар с досадой ударил копьеметалкой по земле. Конечно, не стоило бросать копье, когда между охотниками и последним отставшим быком было расстояние в полтораста шагов.

Быки-бизоны уходили к морскому берегу совсем не спеша. Но у них были такие сильные ноги и до них было так далеко, что гнаться за ними снова не стоило.

Гву поднялся из зарослей карликовой сосны, где он лежал плашмя, поджидая быков. Он также держал в руках костяную копьеметалку и три копья. Кар с презрением посмотрел на оружие старика: ведь Гву уже не мог своею одряхлевшей рукой бросить копье даже на те пятьдесят шагов, на которые бросает его всякий, самый обыкновенный охотник. Зачем же он называет себя колдуном и ходит в засаду? Пусть бы уж лучше вместе с женщинами кричал и гнал быков к охотникам.

Но Гву думал иначе.

— Ты поторопился, Кар, — сказал он, — быки пришли бы к нам. Я вчера хорошо плясал.

Кар сначала ничего не ответил. Он дошел до лужи, куда воткнулось его копье, вытащил его, обтер мхом и потом, вернувшись к Гву, сказал:

— Ты плохой колдун. Ты вчера плохо плясал. Тебе больше не нужно плясать. Я лучше колдун.

Кар говорил со злостью. Ему нужно было так много сказать, а слов он знал мало.

Он помогал своим словам руками. Он знал, как сказать «колдун», но трудно было объяснить «плохой» и «лучше». Для этого пришлось воткнуть в землю все три копья и копьеметалку положить возле, а свободными руками показать, какой один из них маленький и согнутый, а другой большой и прямой.

Гву был добрый старик. Он не рассердился на Кара, но покачал головой, и у него это значило: «Что ты знаешь, Кар? Ты еще молодой. Я убил столько быков и оленей».

Другие охотники подошли. Гел, тоже молодой и сильный, спросил:

— Кто их испугал?

— Они увидели, — ответил Кар, — у Гву плохие глаза. Гву не знает, где нужно спрятаться. Гву плохой колдун.

Когда все вернулись в пещеру, к кострам, наломав по дороге сучьев березы и сосны, Кара между ними не оказалось. Никто не видел, как он отстал, но его уходу не удивились.

Кар часто уходил в горы один.

Войдя в пещеру, Гву взял каменную лампу, стоявшую на выступе стены в углу, подлил в углубление жира, оправил скрученную из длинного мха светильню, зажег ее от костра и надел свой колдовской убор: на голову — морду бизона с острыми рогами, а на бедра — заднюю часть шкуры с хвостом. Нарядившись, Гву пошел в глубь пещеры.

Туда нельзя было ходить женщинам и детям, и охотники могли идти лишь тогда, когда их звал с собою Гву.

Отверстие пещеры постепенно суживалось и поворачивало влево. Там пещера снова расширялась, и ход опять шел в глубину. Но Гву дальше не пошел: он поднял свою лампу над головой, поставил ее на выступ стены, опять оправил светильню и, когда прибавилось свету, огляделся. Из-под маски Гву плохо видел; он повертел ее, чтобы она удобнее села на плечи и чтобы прорези в коже пришлись прямо против глаз. Когда это удалось, старик при неколеблющемся свете совсем ясно увидел на стене фигуры, нарисованные и раскрашенные то черной, то красной краской. Красных было больше. Их рисовал давно-давно старый Ут, когда сам Гву только стал охотником и вместе с другими молодыми охотниками в первый раз вошел в пещеру к быкам. Черные же и тогда уже были нарисованы, и Ут рисовал своих красных прямо по ним. А кто и когда нарисовал черных, не только Ут, но и давно умершие до Ута старики не помнили.

— Нет, я хорошо плясал, — сказал Гву.

Он отошел в угол и опустил голову так, как опускает ее бизон; потом повернул ее вбок так же, как поворачивает бизон; нагнулся вперед и пошел на пятках, совсем не касаясь носками земли. Голова его моталась вместе с маской, свисающая со шкуры шерсть тряслась. Гву обошел пещеру дважды, остановился, боднул головой вперед и стал рыть пяткой землю.

Все было так, как он знал.

— Я хорошо плясал, — сказал Гву еще раз.

Кар отстал от других охотников при переходе небольшой реки. Он шел последним и на повороте пригнулся за камни и траву, чтобы не заметили, куда он пойдет. Когда за поворотом дороги исчез последний охотник, Кар выпрямился, огляделся, сорвал два пучка высокой травы, скрутил их в жгуты и, связав ими копья и копьеметалку, прислонил связку на дороге у высокого торчавшего камня. Это значило: оружие не потеряно и не брошено, но оставлено на видном месте, чтобы потом его легче было найти. Затем Кар пошел в сторону, ощупывая заткнутый за пояс кремневый клинок и скребок, болтавшийся в мешочке на том же поясе.

Тропинка была протоптана вдоль берега реки, к горам. Изломанные пласты известняка выступали из земли острыми ребрами, а иногда ярусами нависали над головой. Вскоре ложе речки расширялось в луговину, пестревшую каменистыми выступами, поросшими мхом. На мху паслись олени. Завидев человека, олень-вожак сразу собрал свое стадо и пустился с ним наутек. Но человек даже и не по-

смотрел на убегавших животных. Кар думал о другом. Он шел к ручью, быстро сбегавшему к речке с правой стороны и издалека видному. У ручья на небольшом пространстве, защищенном от холодных ветров ледяного моря, трава была выше и гуще и росли лиственницы — маленькие, изогнутые и с густо насаженными и переплетающимися ветвями, — настоящие деревья, из стволов которых можно сделать дубину или рукоять топора. Они были совсем не такие, как сосны или березки на побережье. Те больше походили на росшие рядом с ними кусты брусники.

Однако Кару не нужны были и лиственницы. Он шел за другим.

На выступе берега, под обнаженными корнями деревьев, желтело пятно. Это была желтая краска пуу — охра.

Сняв с плеча кожаный сверток и вынув из мешочка скребок, Кар разостлал кожу под выступ, а скребком стал сковыривать краску на подстилку. Подмерзшие куски пуу валились один за другим, не разбиваясь. Кар работал долго. Ему нужно было много краски.

Когда солнце почти село, Кар решил, что пора идти домой.

— Довольно, — сказал он движением руки. Самого слова «довольно» ни он, ни другие охотники еще не знали.

Кар свернул свою ношу. Сверток был большой. Нести его было неудобно — он не мог удержаться на плече и все сползал. Когда Кар дошел до пещеры, его тело покрылось потом. Кар положил сверток в угол, на выступ стены, и сел к костру обсохнуть.

Ночь прошла спокойно. Было только голодно, и даже костер не мог согреть людей, у которых холод стоял внутри, в желудке: уже три дня подряд Гву напрасно водил их на охоту, олени и быки каждый раз уходили.

Едва взошло солнце, Кар поднялся. Вместе с ним поднялся и Гел. Кар позвал Гела, и они вместе пошли в угол, где у своего костра лежал Гву.

Старик не спал всю ночь. Он знал, что и сегодня еще придется голодать, что нельзя прямо пойти на охоту, так как всем охотникам нужно еще раз плясать в пещере перед быками.

Кар опустился на колени перед лежащим стариком.

— Ты плохой колдун. Они не такие, — сказал Кар.

Гву не понял, что хотел сказать Кар.

— Они не такие, — еще раз повторил Кар, — пойдем, я покажу.

И указал в глубь пещеры, чтобы старик понял, о ком говорится и куда нужно идти.

Бизонов-гат нельзя было называть по имени — о них можно было только думать. Если их назовешь, они могут услышать и прийти, как приходят всякий, кого зовут.

А если гат придут всем стадом, их не остановит костер у входа. Они растопчут огонь и передавят женщин и детей.

Так думали Гву, Кар, Гел. Так думали все другие.

Кар взял с собою свою желтую краску, взял черную и красную, которые лежали над головой у Гву. Старик и Гел захватили по две лампы и все трое пошли в глубь пещеры.

Когда лампы осветили нарисованных быков, Кар опустил свои свертки на землю и замотал головой.

— Не такие, не такие, — сказал он еще раз.

Потом схватил один из каменных скребков, лежавших в углу кучей, подскочил к стене и ударил самого большого из красных бизонов по голове.

Осколки камня посыпались со стены вместе с краской.

Гву рванулся к Кару, взмахнув над его головой дубиной, но Гел ждал этого. Ударом своей дубины он вышиб оружие из слабых рук колдуна и оттолкнул его в угол пещеры.

— Стой, — сказал Гел, — смотри.

Но старик еще раз попробовал броситься на Кара. Кар погрозил ему каменным ножом, а Гел снова оттолкнул Гву в тот же угол.

Кар уселся, подвинул к себе сверток с желтой и черной краской; высыпал желтую на лопатку быка и стал растирать краску другой круглой костью; потом взял третью кость — трубчатую, с мозгом, выколотил из нее мозг, смешал его с краской и снова все перетер. Но и на этом он не кончил: придвинув к себе вторую бычью лопатку, Кар положил на нее красной и черной краски и старательно перемешал их — получилась коричневая краска.

А Гву в это время стоял в углу пещеры, все порываясь броситься на Кара. Глаза Гву сверкали, голова его дергалась, руки с скрюченными пальцами то поднимались, то опускались. Гву не мог броситься на Кара — между ними стоял Гел вполоборота, глядя то на одного, то на другого, а на плече он держал дубину.

Когда Кар кончил свою работу, он подошел к стене, взял черной краски на маленькую плоскую кость и мазнул ею по самому большому красному быку. Линия пошла отлого вверх, потом прервалась и упала, сделав выгиб; снова прервалась и круто полудугой опустилась книзу.

Кар нарисовал горб, спину и зад бизона.

Набрав еще черной краски, он провел ею несколько новых линий.

Гву увидел, что делает Кар. Старик снова рванулся к молодому охотнику. Как! Этот юнец не только колотит быков, которых рисовал когда-то Ут, но еще и замазывает их? Если Ут в свое время рисовал красных быков по черным, то ведь их рисовали до Ута и другие, а кто рисовал черных — даже Ут не знал: их нарисовали неизвестные люди давно. Быки его сородичей всегда были красными. Как же Кар снова кладет на них чужую черную краску?

— Кар, Кар, не смей! — закричал Гву.

Гел шагнул навстречу Гву, бросил дубину наземь и схватил старика за плечо. Потом сорвал с себя пояс и, накинув его старику на шею, потащил колдуна в сторону. Гву, упираясь и цепляясь руками за душивший его ремень, все же должен был идти за Гелом в глубь пещеры. Гел привел старика к яме и столкнул его туда.

— Сиди, — сказал Гел.

Яма была не очень глубокая, но выбраться из нее без помощи других Гву не мог.

Гел вернулся к Кару. Они стали работать вместе. Гел растирал краски и подавал их Кару. Кар рисовал.

К утру работа была окончена.

Новый бизон совсем не походил на старых: спина, горб и грудь черные, бока — красные, брюхо — рыжеватое, как и на самом деле.

— Такой, такой, — сказал Кар радостно, когда в последний раз мазнул лопаткой по копыту, чтобы добавить желтой краски.

Кар и Гел пошли к своим. Гву они оставили в яме.

Охотники, женщины и дети сидели у костров и доедали последние остатки скудных запасов, сохранившиеся от прежних охот.

Кар остановился между двумя самыми большими кострами. Кругом них сидели старики и пожилые охотники.

— Гву больше не колдун, — сказал им Кар. — Гву в яме. У нас новый бык.

Охотники сразу поняли, о чем говорит Кар. О настоящем живом бизоне они не говорили «новый» или «старый», — так можно было говорить лишь об изображенных на стене и потолке пещеры. Но они поняли не все: «старый бык» — это значило «черный», а «новый» — «красный». О каком же говорил Кар? И почему Гву больше не колдун?

Старики недовольно заворчали.

Кар показал, что нужно идти в глубь пещеры.

Впереди пошел сам Кар, за ним старики, потом пожилые и сзади молодые охотники. Все взяли с собой зажженные лампы. Пещера ярко осветилась.

Когда старики увидели «нового быка», они вдруг остановились. Они не знали, можно ли к нему подойти. Для них этот бык был «чужим». Они подумали, что кто-то из другой орды пробрался в их пещеру и нарисовал в ней своего быка.

А Гву кричал из своей ямы. Он кричал не словами, но выл, повышая и понижая голос. Слов он знал немного, он все их выкричал еще ночью, и ему уже трудно было их повторять.

Но Гву был самый старший и колдун. Только он мог объяснить, откуда появился новый бык. И старики побежали к яме, чтобы вытащить оттуда Гву.

Гву с яростью схватился за конец опущенного в яму ремня и выскочил из черного отверстия. Задыхаясь и скрежеща зубами, старик прямо налетел на Кара и вцепился ему ногтями в щеки. Кар оторвал цепкие руки Гву от своего лица и отступил в сторону, к новому быку.

Теперь уже рассердился Кар. Размахивая каменным клинком на окруживших его со всех сторон стариков, он закричал:

— Такой! Такой! Я лучше колдун!

Но никто еще не мог понять, почему он «такой». Знал один Гел. А Гела никто не стал бы слушать — Гел был самый молодой из охотников. Он сделался охотником только весной.

Кара схватили и повели обратно к кострам. Гву шел впереди орды. Он был самый старый и знал все.

Гву и все охотники считали, что нельзя убивать молодых людей. Гву посоветовал прогнать Кара совсем, а по «новому быку» нарисовать опять «красного». Так и решили сделать. Кару сказали: «Уходи», Кар пошел. Гел ушел вместе с Каром. Они должны были найти себе другую пещеру.

Гву сказал: «Я сделаю красного быка» — и отправился рисовать. За ним понесли несколько ламп.

Много-много лет назад старый Ут учил Гву рисовать. Много-много лет назад Гву видел, как Ут рисовал красных быков. Это была рука и два пальца. Раз по две руки лет тому назад (так они считали).

Охотники встали полукругом у стены, светя Гву своими лампами. Гву набрал на лопатку красной краски и провел лопаткой по стене. Пока линия шла по камню, она была видна, но когда она сошлась с красной краской, наложенной Каром, она в ней потерялась. Очертание быка не вышло.

Гву попробовал провести линию еще раз, но снова неудачно.

Тогда он отступил в сторону и начал новую линию уже на другом месте. Рука Гву дрожала, его линия была неверная — ни горба, ни спины не выходило.

Гву стер начатое и попробовал в четвертый раз.

В четвертый вышло. Но какой плохой был этот бык! Маленький, с поджарым животом, с головой, совсем непохожей на настоящую; и рога у него не изгибались, а торчали, как сломанные. И зад был толще, чем перед, — совсем не такой, как на самом деле.

Молодые охотники засмеялись:

— Мы не хотим есть такого быка. Пусть его ест сам Гву.

Гву перестал работать и оглянулся. Он понял, что за много-много лет он разучился рисовать.

— Гву теперь плохой колдун. Его надо убить, — сказали молодые.

Гву выронил свою лопатку. Она упала на землю. Гву знал, что плохих колдунов, которые не умеют делать свое дело, нужно убивать. Он помнил, как Кру убил старого Ута, он помнит, как за то же убили Кру и многих других. Гву ведь был стар. Последнего из старых колдунов, Тара, убил он и сам стал колдуном.

— Гву больше не умеет охотиться, Гву плохо пляшет. Гву не умеет сделать «нового быка», — заговорили кругом.

Старика взяли под руки и повели обратно.

Молодые побежали разыскивать Кара. Кар был хорошим колдуном — он умел рисовать.

Когда Кара привели в пещеру, ему сказали, что он хороший колдун и что он должен убить Гву.

Кар подошел к Гву, положил свои руки ему на плечи и сказал:

— Пойдем!

Они прошли в глубь пещеры. Кар нес лампу. Гел шел сзади и тоже светил. Кар в глубине подвел старика к выступу у стены и указал Гву, что нужно сесть. Гву повиновался. Гел остался стеречь старика, а Кар пошел обратно.

Вернувшись к кострам, Кар сказал охотникам:

— Сделаем хыр.

Двенадцать охотников из тридцати поднялись от своих костров и перешли к двум кострам в углу, перед которыми никто не сидел. Каждый из двенадцати взял с собой кусок оленьего рога, красной и коричневой краски, костяную иглу и оленью жилу.

Все куски рога были одинаковой длины — от локтя до конца пальцев руки. На каждом из них в одном и том же месте была просверлена дыра, и вся поверхность была покрыта перекрещивающимися линиями с остатками красной краски в углублениях нарезов.

Охотники сели вокруг костров по шести человек к каждому и принялись за работу. Нужно было иглой выковырять остатки красной краски из углублений, натереть весь кусок коричневой краской и передать хыр Кару.

Первым кончил свою работу молодой охотник От. Кар взял хыр Ота и тонким кремневым резцом начал насекать на нем рисунок. Под ударами резца постепенно появлялись: голова, грудь, спина, ноги бизона и пятна его окраски. Доделав глаза и рога, Кар отнес рукой изображение в сторону, посмотрел, сделал еще два-три удара кремнем, счистил с изображения остатки коричневой краски и закрасил его красной, снова посмотрел и, решив, что красный бизон на коричневом поле очень хорош, вернул хыр Оту.

От взял кость, продел в ее отверстие жилу, связал концы жилы вместе и закрутил их.

Кар сделал двенадцать хыр.

Давно уже охотники не видели новых хороших хыр. Последний раз их делали, когда Кар стал охотником и Тар нарисовал на хыр оленей. Уже много раз охотники говорили, что добыча становится все хуже потому, что хыр испортились, что на них ничего не видно и что, когда собираешься охотиться на бизонов, нельзя брать с собой хыр с изображением оленей. Гву, однако, качал недовольно головой. Гву ведь помнил, что рисовать очень трудно.

Получив все двенадцать хыр и сравнив их, охотники сказали:
— Го.
Это значило: «Хорошо, верно; Кар настоящий колдун».

Хыр делали долго. Гву и Гел все это время сидели в дальней пещере одни, молча. Гву, откинув голову назад, прислонился к холодной стене и закрыл глаза. Казалось, что он спит или даже умер. А Гел сидел на земле около своей лампы и, нагнувшись, кремневым острием резал фигуры, как и Кар, на небольших кусках кости. Гел хотел научиться рисовать.

Дело у него плохо ладилось. Просто было нарисовать мох и ветки брусники, но олени и быки не выходили. Гел начинал сердиться.

Он встал, потер затекшие ноги и, подняв лампу, пошел в угол, где были нарисованы быки и среди них новый бык Кара.

Отставив лампу, Гел взял большой кусок кости и стал углем срисовывать быка Кара.

Сперва тоже не выходило. Пришлось несколько раз стирать уже нарисованное. Но наконец рука пошла верно — голова и грудь бизона оказались совсем похожими. Гел вскрикнул от радости. Повернувшись, он шагнул в угол, где сидел Гву, чтобы показать старику свой рисунок.

Но Гву в углу не было. Гву исчез.

Гел бросил свою кость с рисунком и побежал наружу, к кострам.

Самые старые старики из орды, которые только на год или на два были моложе Гву, и женщина Каа, которая была старше его на две руки лет, ничего не могли сказать. Они знали, что колдун, ставший плохим, должен умереть и всегда умирал, что новый колдун должен съесть сердце старого и что вместе с сердцем убитого старого колдуна его ум и храбрость перейдут к новому.

Старый колдун не мог убежать. Старые колдуны никогда не убегали.

Старики сказали:

— Гву не убежал. Гву нельзя убивать. Кар не настоящий колдун. Гву настоящий колдун. Пойдем звать Гву.

Но молодые охотники закричали:

— Мы хотим есть. Мы пойдем на охоту. Пусть Кар пляшет перед быком.

Кар подал знак. Двенадцать охотников с хыр в руках пошли впереди. Вместо оружия каждый из них взял с собой переднюю часть бизоньей шкуры — с рогами и ногами и заднюю — с хвостом. Восемнадцать охотников и Кар захватили оружие: Кар дубину, копье и нож; остальные по копью и ножу.

И каждый взял свою лампу. Лампа была глазом во тьме — каждый должен был видеть, и потому нужно было взять тридцать одну.

Но Кар взял также тридцать вторую, которая была больше всех. «Новый бык» тоже должен был видеть, и эта большая лампа считалась его глазом.

Когда дошли до места плясок, люди с масками отделились от вооруженных. Кар подошел к «новому быку» и черной краской нарисовал над его шеей пять черточек, соединив их внизу шестой. Это значило: пять охотников вместе занесут свои копья над быком, когда увидят его.

Фоо — один из старших — воскликнул:

— Го!

И все повторили:

— Го! Го!

Фоо медленно приподнял свою бизонью шкуру и надел ее себе через голову на плечи, а хвост подвязал сзади. И остальные одиннадцать сделали то же.

Фоо начал танцевать первым. Нагнув туловище вперед, так что бизоньи ноги, свешивавшиеся со шкуры, почти касались земли, Фоо приподнял носки своих ног и, ступая только пятками, медленно пошел вперед по кругу. За ним, надев маску, двинулся второй охотник, потом третий и один за другим все двенадцать.

А вооруженные встали по сторонам по пяти вместе. Лишь там, где встал Кар, было не пятеро, а только четверо. Но считалось, что и там было пять: ведь Кар был и охотник, и колдун.

Фоо прошел три круга и поравнялся с Каром. Кар поднял копье. Фоо ударил пяткой в землю и недовольно фыркнул.

Остальные одиннадцать тоже фыркнули.

Фоо пошел быстрее.

Охотники подняли копья и, стоя на месте, начали раскачиваться. Потом Кар медленно и осторожно приподнялся на носках, повернулся и, держа копье над головой, пошел вдоль стены по кругу, навстречу Фоо и тем, кто шел за ним.

Вооруженные охотники повернулись и пошли за Каром.

Обошли десять кругов. Когда в десятый раз Кар и Фоо поравнялись, Кар взмахнул копьем над головой Фоо. Фоо фыркнул, вскинул свой хыр, держа его за связанные концы жил, и закрутил над головой.

Хыр завыл и затрещал.

Другие, шедшие за Фоо, сделали то же и вместе с Фоо ускорили шаг.

Кар и его охотники нагнулись вперед и пошли быстро-быстро.

Когда прошли еще десять кругов, Кар и трое шедших с ним на ходу враз взметнули свои копья над Фоо и крикнули:

— Го!

И каждые пять из остальных сделали то же над другими, шедшими за Фоо.

Фоо и шедшие за ним ответили им диким воем трещоток и топаньем пяток о землю и заглушили крик «го!».

Кар и охотники побежали по кругу.

На новом десятом круге они все вместе взметнули копьями и все одновременно закричали: «Го!»

Трещотки снова ответили им страшным воем и треском.

Охотники в масках свернули с круга. Они запрыгали по середине пещеры, бросаясь в разные стороны, а вооруженные с четырех углов подскакивали к ним, кричали свое «го!» и все вместе взмахивали копьями.

Ноги плясунов мелькали все быстрее и быстрее, трещотки выли уже не переставая, а Фоо вертелся на месте, и вокруг него вертелись остальные.

Но Фоо было трудно плясать в шкуре и на пятках. Фоо упал.

Кар, тряхнув головой и закричав «го!» так, что казалось, будто грудь у него лопнет от крика, одним прыжком перескочил через лежащего Фоо и через всю пещеру к «новому быку» и ударил его копьем в шею.

И с диким криком «го!», заглушившим на мгновение вой трещоток, охотники бросились к большой лампе. Гел раньше других успел ударить по ней копьем. Лампа опрокинулась. Свет ее потух. Охотники в масках остановились.

Фоо поднялся и снял с себя шкуру.

Легкий отблеск рассвета через длинный коридор пещеры проникал в святилище, мешаясь со светом ламп.

Кар откинул со лба свои длинные волосы и отер пот рукой.

Вместе с новым днем нужно было начинать жизнь без старого и хитрого Гву. Кар должен был вести охотников на охоту.

Охотники гуськом вернулись к кострам, у которых на шкурах спали женщины и дети. Костры потухали, и сырой холод вместе с туманом вползал в пещеру с равнины. Усталые охотники прилегли около огня, подбросив топлива: мху, травы и сучьев.

Охотники отдыхали недолго, а Кар почти вовсе не отдохнул. Он несколько раз, пока другие лежали, поднимался от костра и выходил наружу, чтобы посмотреть, до какого места на небе дошло солнце. Когда оно миновало первую четверть своего дневного пути, Кар, вернувшись в пещеру, сказал:

— Нужно идти.

Охотники шумно поднялись. За ними еще шумливее вскочили старики, женщины и дети. Старухи с младенцами остались у костров. Орда вышла из пещеры. До перехода через речку дошли вместе, но потом охотники отделились и ушли вперед. Кар, Гел и еще двое пошли на разведку через предгорья.

Поднявшись на гребень, они осмотрелись: в долине ходило большое стадо бизонов.

Кар сказал Гелу:

— Крикунов сегодня поведешь ты.

Гел вернулся к старикам и женщинам и повел их в обход долины, по ложу ручья, скрытого высокими, крутыми берегами. Дети побежали впереди толпы, но без крика и шума: все знали, что бизоны могут услышать шум и уйти.

Кар с охотниками направился к засаде. Он очень хорошо знал место охоты. План Кара был прост: засаду он назначил на узком месте между двух пропастей, куда бизоны не могли броситься, а долина, подходя к этим пропастям, постепенно суживалась. Старики и женщины должны были гнать бизонов по этому пути.

Кар и охотники легли между камней в высокой траве. Ждать нужно было долго: обходный путь Гела пролегал далеко.

Когда солнце достигло половины своего пути, Кар первый услышал вдали крик одного человека:

— У-у-а-а-а!

Кар приподнял голову из-за камней и увидел, что стадо бизонов шло к засаде, ускоряя шаг.

Кар засмеялся — добыча становилась верной.

Вслед за первым криком раздался второй, более сильный: это уже был крик многих людей, его услышали все. Но никто не поднял головы из-за камней. Только Кар мог глядеть. Все ждали.

Кар посмотрел еще раз.

Бизоны находились уже в пяти полетах копья от засады. Но вожак замедлял ход и обнюхивал воздух. Женщины и старики шли вдалеке цепью. Они еще только подходили к тому месту, где долина начинала суживаться.

Кар подтянул к себе свои копья, осмотрел копьеметалку и, стараясь успокоиться, отвернул лицо от бизонов. «Пусть идут, — сказал он себе, — я подожду». Одно ему не нравилось, что вожак слишком рано начал обнюхивать воздух. Отвернувшись, Кар вдруг спросил себя: «Неужели все еще обнюхивает?», не удер-

жался и выглянул за камень. И в тот же миг вожак, не дошедший до камней еще на три полета копья, тревожно замычал, повернул обратно и побежал прочь со всем стадом.

Он испугался не Кара — охотников он не видел и не слышал, — из-за пропасти, слева между скал, совсем близко к быку поднялся человек и взмахнул руками. Это был Гву.

Дорога для стада обратно была широкая и безопасная, загонщики перегораживали ее едва-едва наполовину.

Кар стоял, опершись на свои копья, и тяжело дышал. Гву смотрел на него из-за пропасти. Кругом поднялись и встали другие охотники.

Когда подошли старики, они увидели Гву.

— Кар не настоящий колдун, — сказали старики, — он не съел сердце Гву. Настоящий колдун — Гву. Он знал, куда Кар поведет охотников, и встретил его, чтобы прогнать быков. Гву сказал быкам, чтобы они уходили.

Молодые молчали. Им нечего было ответить. Они тоже знали, что новый колдун должен съесть сердце старого колдуна, и только тогда он может сделаться настоящим колдуном.

Кар отскочил в сторону, потрясая копьями и копьеметалкой.

— Пойдем, Гел! — крикнул он.

Гел отделился от других и поспешил за Каром. Они не пошли, а побежали, и не по дороге, а на гору.

Через несколько минут оба охотника скрылись за выступами горы.

Кар на одном из поворотов пути сказал Гелу:

— Поползем.

Оба опустились на карачки и поползли, потом совсем пластом приникли к земле. Кар полз к обрыву.

— Смотри, — подал он знак Гелу, когда они очутились над самым обрывом.

Гел взглянул через край. Обрыв был не высок — третья часть полета копья; внизу была зеленая лощинка, и в ней паслись олени.

В оленей легко было добросить копьем, но копье, падая сверху, могло ударить легко и только ранить зверя. Лучше было сбросить камень.

Отложив копья в сторону, Кар сдвинул большой осколок скалы и бросил его в самого близкого оленя, прямо ему на голову.

Гел бросил камень в другого.

Два оленя упали. Остальные побежали вдоль горы.

Кар и Гел спустились вниз и прикончили свою добычу.

Спрятав туши в расселину скалы, они забрали с собой оленьи рога и пошли в пещеру.

— Мы убили двух оленей, — сказали Кар и Гел старикам и молодым, — подите возьмите.

А Гву в это время собирался снова плясать перед быком. Он только не знал, можно ли плясать перед новым изображением, которое сделал Кар. С того времени, как он встретился с охотниками, он все молчал и теперь сидел, глубоко задумавшись.

Молодые сказали:

— Мы не будем опять плясать. Зачем нам плясать, когда Кар убил двух оленей? Мы пойдем за ними.

Старики смутились.

— Ты должен сказать им, Гву, что они должны делать, — обратились старики к колдуну. — Или ты будешь молчать?

Тогда Гву поднялся и сказал, чего не ждали старики:

— Гву — плохой колдун. Гву убежал. Гву боялся умереть, но теперь он не боится, теперь сердце его настоящее, и пусть Кар съест сердце колдуна.

Все замолчали и стояли неподвижно несколько минут. Потом молодые пошли вместе с Гелом. А Кар взял Гву за плечо, отвел его опять на прежнее место в пещеру и стерег его там, пока не вернулся Гел с другими.

И когда те вернулись, Кар увел Гву в глубь пещеры, в самый дальний ее конец. Там была другая яма. В эту яму когда-то сбросили Ута, Кру, Тара и других колдунов, ставших плохими.

Гву наклонился над ямой. Кар ударил его клинком в шею. Гву упал в яму и перестал жить. Кар спустился за ним, вырезал из груди старика сердце и съел его. И все стали думать, что сила Гву перешла теперь к Кару и Кар сделался совсем настоящим колдуном.

Историю о колдуне Гву и о художнике Каре, ставшем колдуном, мне рассказал старый профессор, француз Абс, тридцать лет тому назад, когда я вместе с ним плыл на лодке по Бискайскому заливу вдоль испанского берега, от города Санадер к Сантильяна-дель-Мар.

Профессор изучал жизнь давно исчезнувших человеческих племен, не оставивших нам никаких записей о своих делах. Абс умел читать без записей по обломкам вещей, сохранившихся от прошлых времен.

Я был еще школьником. Мне нравилась работа Абса, и он рассказывал мне много интересных историй из жизни древних людей.

— Вы эту историю выдумали, — сказал я ему укоризненно.

— Да, выдумал, — ответил старик, — но в ней очень много правды. К тому же она произошла почти в этих местах, около которых мы плывем. С того времени здесь немного осталось прежнего, разве вот Кантабрийские горы и морская вода. Впрочем, и Кантабрийские горы постепенно оседают, а море из холодного сделалось теплым, и по нему уже не плавают ледяные глыбы.

— Когда же это было? — снова спросил я.

— Недавно, — усмехнулся профессор, — может быть, двадцать пять тысяч лет назад, а может быть, и пятьдесят.

— Ого, — воскликнул я. — Какая разница и как вы плохо считаете: двадцать пять тысяч и пятьдесят лет.

— Да не пятьдесят лет, а пятьдесят тысяч, — возразил старик, — а считаю я действительно плохо — календари и книги издаются с очень недавних пор. Приходится только догадываться о таких старых временах.

Земля растет, не раз говорил мне Абс, но растет не так, как мы или все живое на земле. У нас растет каждая часть тела, и мы из маленьких делаемся большими. У земли же нарастает поверхность там, куда вода сносит с гор песок и другие размытые породы или где растения, умирая, оставляют после себя новый слой рыхлой земли. Иногда водные потоки заносят его снова песком, глиной или илом. Так меняются очертания земли.

А время считают так: измерят нанесенный водою слой земли и разделят его на другую меру, о которой мы можем приблизительно судить, что она верная. Мы, например, знаем уже по записям в книгах, что древняя Римская империя существовала 1500—2000 лет назад. Если в песке, на глубине полуметра, мы найдем следы древнеримских построек, значит, полметра песку вода здесь нанесла за 2000 лет, а за 25000 лет она должна была бы нанести двенадцать метров. Но это

не очень достоверно — могли быть разные времена, может быть, и вода-то здесь несколько тысяч лет не текла, а потом побежала снова. Считая на миллиарды и миллионы единиц, небольшая важность просчитаться на двадцать пять тысяч лет. Важно вообще знать, что охотники, о которых я рассказывал, существовали. Существовали до нас на земле. Мы знаем, что они не умели пахать и сеять, не умели печь хлеб или ткать, у них не было глиняных горшков и металлических изделий, что они не строили никаких жилищ, а жили в пещерах, без всякого убранства, спали на звериных шкурах и в них же одевались, свое оружие и орудия делали из камня, кости и дерева. Гву, Кар, Гел и другие охотники жили в Испании в то время, когда почти вся Европа была покрыта ледяными полями. И на испанском берегу, вместо лавров, миндальных и фиговых деревьев и винограда, росли ивы и березки в двадцать сантиметров высоты, брусника, мох, клюква, морошка... И только где-нибудь за горой, куда не проникал свирепый северный ветер, стояли однобокие лиственницы ростом в полтора-два метра. Жить было трудно.

Когда мы вышли на берег, Абс узкой тропинкой, пролегавшей между садов и засеянных полей, повел нас в горы. Мы шли около часа, пока море не скрылось от нас. Кантабрийские предгорья выступали здесь из почвы известковыми холмами, и один из них на повороте тропинки загородил от нас морской горизонт. Тропинка у холма раздваивалась, один конец уводил к полям и садам, а другой поднимался по сухому склону. Мы пошли наверх.

За небольшой грядой обточенных дождями камней Абс указал нам вход в пещеру. Эта была знаменитая Альтамирская пещера. Мы вынули электрические фонари, зажгли их и вошли вглубь. Легкий сумрак передней части пещеры сменился густым мраком, как только мы повернули влево за груду осыпавшихся с потолка камней. Абс поднял свой фонарь и сказал:

— Взгляните на потолок.

Мы взглянули и на низком свисающем потолке увидели нарисованных быков, оленя и кабана.

— Ну, — спросил меня Абс, — сумеешь ты так хорошо нарисовать?

Я рисовал хорошо, но так, как было нарисовано в пещере, не сумел бы. Рисунки были очень простые, и художник раскрасил их только четырьмя красками: красной, желтой, коричневой и черной...

У меня в ящике было тридцать красок, среди них много красивых. Но эти четыре мне показались тогда красивее моих тридцати.

Абс сказал:

— Сюда, после того как ушли древние люди, человек не входил, быть может, пятьдесят тысяч лет; здесь было сухо; воздух был недвижен, ветер не заносил сюда пыли. И вот картины сохранились так хорошо, будто их написали только вчера. Пещеру открыл охотник тридцать пять лет назад. В нее отправились археологи. Пять лет они копались в ней и не видели этих быков. Как ты думаешь, кто их увидел первый?

Я молчал. Я этого не знал.

— Их увидела маленькая девочка, пришедшая в пещеру вместе с отцом-археологом. Пока отец копался в земле, отыскивая следы древних людей, девочка от скуки глядела по сторонам и на потолке увидела эти рисунки.

Смотреть их потом приезжали многие. Но двадцать лет никто не хотел верить, что они могли быть нарисованы так давно художником-дикарем. Слишком уж хороши они. Потом пришлось поверить, когда такие же рисунки откры-

ли еще и в других испанских и французских пещерах и сличили их с изображениями на костях и роге, которые находили здесь же, в земле, вместе с остатками каменных и костяных орудий первобытного человека.

Осмотрев всю пещеру, мы вернулись к лодке. Все, что показал нам Абс, было интересно, но еще о многом он рассказал нам на обратном пути.

О том, что древние танцевали танец бизона на пятках, не касаясь пальцами земли, — узнал не Абс, а другой археолог, Бегуан. Он во французской пещере Тюк д'Одубер нашел следы человеческих ног, сохранившиеся под натекшим с потолка тонким слоем извести тоже пятьдесят тысяч лет. Там были следы целых ступней и следы только пяток. Следы пяток отпечатались перед изображениями бизонов, потому что перед ними танцевали бизоньи танцы.

Еще и в наше время первобытные люди, живущие в Африке, Америке и Австралии, пляшут охотничьи танцы, отправляясь на охоту: изображают действия охотника и подражают виду и движениям тех животных, на которых они собираются охотиться.

Тело Гву, убитого Каром, не осталось лежать в яме. Мы не знаем, как хоронили умерших, когда жили Гву и Кар. Но, наверное, их хоронили, а на могилы приносили им пищу. Древний человек не понимал, что мертвому уже ничего не нужно. Напротив, думали, что покойник будет где-то жить, только по-иному, будет и есть и пить и станет приходить в гости к своим сородичам. Невозможно объяснить, откуда взялась такая вера. Может быть, она создалась потому, что умершие снились оставшимся в живых как живые, а первобытный человек еще не мог понять разницы между сновидением и действительностью.

Странное выражение: «рука и два пальца, раз по две руки лет». Оно появилось потому, что первые люди учились считать по пальцам. Рука — пять; две руки — десять; рука и два пальца — семь. Помножь десять на семь и получишь семьдесят. Так многие дикие народы считают и теперь.

У первобытных людей были, наверное, односложные имена: человек еще только учился говорить. Многого он не умел объяснить словами и помогал себе в разговоре рукой. Кар в очень древних языках и значит рука.

Красок первобытные люди знали только три: красную, желтую и черную. Коричневую они делали из красной и черной. О том, как первобытные люди находили краски, Абс рассказал нам еще одну историю. Недалеко от места, где жил Кар и его род, находилась другая пещера. В ней тоже жили люди, и у них был свой колдун-художник, но у него не было красной краски, и он мог рисовать быков только желтой и черной, пока случайно не нашел красную краску в желтой. Однажды он составил свою желтую краску у костра. Ребенок, игравший возле, бросил кусок желтой глины в огонь. Достать его оттуда он не мог. Когда художник вернулся к костру, желтая краска на огне превратилась в красную.

— Так могло быть? — спросил я Абса.

— Да, могло.

— Но и эту историю вы выдумали?

— Конечно, выдумал, хотя почти наверное это было так.

— И значит, вначале человек знал только две краски — желтую и черную?

— Да, может быть.

— Но кто же их все-таки нашел?

— Их нашли задолго до Кара. Прежде чем люди стали рисовать на стенах и на костяных и роговых изделиях, они раскрашивали самих себя, чтобы походить

на тех зверей, за которыми охотились, — так было легче подбираться к животным.

— Неужели Кар должен был непременно сделаться колдуном? — спросил я Абса, когда мы вернулись в Сантандер. — Ведь это скверно: колдуны — обманщики.

— Кар помог своим сородичам, — сказал Абс, — не потому, что он хорошо нарисовал бизонов. Кар был умный охотник. Когда он повел остальных на охоту, он уже знал, откуда можно будет загнать стадо бизонов. А когда Гву испугал бизонов и они убежали, Кар в ту же минуту вспомнил о выслеженных им оленях и побежал за новой добычей, чтобы не дать торжествовать Гву. Олени были убиты, и охотники поверили, что Кар хороший, настоящий колдун. Впрочем, в помощь сверхъестественной силы поверил и сам Кар. Он думал так же, как и его сородичи, думал так, как учили старики. Своим способностям и уменью он не придавал особой цены, и, когда действовал удачно, ему казалось, что причина удачи лежит не в том, что он опытен и умен, а в той помощи, которую ему оказывают предки или какая-то таинственная сила, которую позже люди стали называть богом.

В те времена профессия колдуна была действительно полезной. Тогдашний колдун не походил на нынешних колдунов-обманщиков, которые еще живут по деревням и обманывают односельчан гаданиями и наговорами, беря с них за это деньги. Конечно, и Кар знал, что, когда он встанет во главе рода, ему всегда будет доставаться лучший кусок, что все ему будут оказывать уважение, но главное было не в этом: Кар был тем полезен своему роду в его трудной и полной опасностей и лишений жизни, что был самым ловким, умным и предприимчивым из старых и молодых. Короче сказать, он был хорошим вождем.

Как-то недавно, вспоминая рассказы Абса, я спросил себя: «Сколько же красок теперь известно человеку?»

Я начал их считать и не сосчитал. Но зато мне припомнилось несколько других очень интересных историй о колдунах и художниках.

НОВАЯ КРАСКА

Египетский царь — фараон Южного Египта Аха-Мен — за 5200 лет до нашего времени, после долгих войн с другими властителями, объединил всю страну под своею властью. Но с самым сильным из своих врагов, фараоном Северного Египта, или Дельты, по имени Теш, Аха-Мен кончил войну миром: Аха-Мен женился на дочери Теш и получил в приданое за нею все земли и имущество Теш — дворцы, людей, животных, возделанные поля и запасы хлеба.

Подданные царя Теш — земледельцы и ремесленники — не противились этому. Дочь царя Ато была его единственной наследницей, и после смерти отца Ато царство должно было перейти к ней. К тому же земледельцы и ремесленники из царства Теш устали от долгих войн с царством Аха-Мена и давно ждали мира. Но жрецы и чиновники царя Теш остались недовольны миром — после мира они должны были подчиниться жрецам и чиновникам Аха-Мена.

— Лучше бы, — говорили они, — Ато выбрала себе мужа из числа родственников нашего царя, и не нужно было бы ей покидать свое царство и отдавать его чужеземцам.

Но Ато покинула родной город Буто, стоявший близ устья реки Нила, и отправилась на юг по реке к главному городу Аха-Мена, называвшемуся Нехебт.

Ато недолго прожила в новом городе. Она заболела и умерла.

Когда старший врач фараона сказал ему, что Ато находится при смерти, фараон призвал к себе своего главного чиновника и одного из двух главных жрецов.

— Ато умрет, — сказал им фараон, — часы ее здешней жизни протекли, и никто не сможет продлить их.

Египтяне думали, что после смерти человек будет жить в другой стране, лежащей на Западе, где каждый день скрывается солнце.

— Если Ато умрет, — ответил главный чиновник, — нам снова придется воевать с Северным царством. Племянники Теш скажут, что ты, великий Аха-Мен, утратил свои права на их царство со смертью Ато, и восстанут против нас.

— Пусть восстанут, — возразил главный жрец, — мы запрем опять воду Верхнего Нила и пустим излишки в пустыню, но не станем разговаривать с племянниками Теш. Пусть страна его погибнет от голода, пусть матери его страны съедят своих маленьких детей, пусть песок занесет его поля...

Фараон сделал знак рукой, чтобы жрец остановился. Он сказал:

— У нас на Юге — источники воды, но у них на Севере — лучшие поля и лучшие виноградники; на Севере у них лучшие ремесленники. Я не хочу, чтобы поля Северного царства заносил песок. Пусть богатства Севера притекают в мой «Белый дом», и пусть потеряется им счет. Подумай лучше, как помочь мне.

Жрец вспомнил, сколько сокровищ привезла с собою Ато в «Белый дом» — сокровищницу Аха-Мена, и вспомнил, как много еще осталось их в хранилище царя Теш — «Красном доме» на Севере. Многое из сокровищ, отданных отцом Ато, перешло в кладовые жрецов и чиновников Аха-Мена. Жрец подумал: «Хорошо бы еще раз запереть воду Нила, чтобы лишить ее жителей Севера и заставить их отдать за нее сокровища царя Теш». Но сказал фараону:

— Устами царя нашего Аха-Мена всегда говорит покровитель нашего царства бог Гор. Слова нашего государя истинно мудры. Мы, жрецы и чиновники, рождены для того, чтобы помогать царю и прославлять его. О светило мудрости, — обратился жрец к главному чиновнику, — о ты, правитель царства, с умом, подобным глазу коршуна, который с высоты видит все, что делается на земле, — чем думаешь ты помочь величайшему из фараонов Аха-Мену?

Чиновник ничего не ответил жрецу. Он обратился к фараону и сказал ему:

— О мудрейший из владык, пойди в свои покои, отдохни немного, а мы подумаем за тебя.

Когда фараон удалился, главный чиновник подошел к главном жрецу, положил ему руки на плечи и сказал тихо:

— Старый дурак! Пусть бы скорее подыхала эта Ато. Пусть бы скорее племянники Теша восстали против Аха-Мена. Сокровищница «Красный дом» еще полна золотых и каменных сосудов, еще много в ней разных украшений... Мы добрались бы до голов племянников Теш, мы порылись бы в его сокровищнице, когда стали бы принимать ее для нашего мудрого владыки Аха-Мена.

Жрец вздохнул.

— Аха-Мен, — ответил он чиновнику, — больше не хочет воевать. И не будет, если его заставить. Но, заставляя царя воевать, мы можем рассердить его, и он нас прогонит. Нет, уж лучше сохраним мир и будем прославлять Аха-Мена, чтобы укрепилось его царство. Будем прославлять его, как сумеем.

— Ты сказал верно, — решил главный чиновник, — будем прославлять его. Я обещаю во славу его уменьшить налоги, я прогоню во славу фараона несколько самых жадных и корыстолюбивых управителей царских имений на Юге, я во славу его посещу Север и в северных царских имениях посажу самых жадных и корыстолюбивых управителей, чтобы они сеяли смуту среди землевладельцев

Севера и прославляли фараона Юга, дающего им возможность увеличивать свои богатства. С этих управителей я получу богатые дары и на них закажу ремесленникам Севера ценнейшие украшения и дорогую утварь для фараона Аха-Мена. Пусть ремесленники Севера прославляют фараона Юга. Я многое могу сделать, но что ты сделаешь, старый дурак?

— Послушай, пожилой дурак, — ответил чиновнику жрец, — во-первых, я буду молиться о прославлении фараона, и со мною вместе будут молиться тысячи жрецов, во-вторых, кроме молитв я сумею тоже сделать что-нибудь. Прощай.

Жрец поклонился чиновнику и вышел из царских покоев.

За городской стеной Нехебта, на склоне холма, у берега Нила стояли хижины стеклоделов и горшечников. Они были сложены из необожженного кирпича и покрыты плоскими кровлями из соломы и пальмовых листьев. Перед каждой хижиной была небольшая площадка с обжигательным горном или с плавильной печью, а над хижинами зеленели ветви финиковых пальм, акаций и олив. В хижине, стоявшей дальше всех от стены Нехебта, жил старый мастер-стеклодел Теку со своим сыном Теку-Нен.

Теку работал целый день. По утрам он уходил вместе с сыном в пустыню собирать кварцевые голыши или же спускался к реке, чтобы взять там на берегу чистого кварцевого песку. Из голышей и песку он готовил свои изделия. Стекло из голышей выходило прозрачное, и если Теку во время плавки прибавлял к нему медной окиси (купороса), то оно окрашивалось в синевато-голубой цвет; стекло же из речного песку было мутное, а медная окись в нем зеленела: в речном песке было много железа; смешиваясь с медной окисью, оно придавало изделиям зеленоватый цвет.

Набрав песку или голышей, Теку и Теку-Нен приносили их домой, сваливали из корзины около печи и шли в свои кладовые за домом. Оттуда старик брал запасы извести, соды и медной окиси, сколько ему было нужно для сегодняшней работы. Теку-Нен в это же время подтаскивал к печи несколько мешков с углем, приготовлял плавильные сосуды, просеивал песок, если отец собирался делать зеленое стекло, и принимался за обработку голышей, если требовалось стекло голубое. Для этого Теку-Нен сгребал голыши, принесенные несколькими днями раньше и лежавшие слоем на площадке у печи. Эти голыши подходили для работы больше, так как они нагревались уже несколько раз — когда он засыпал их после работы на ночь в печку и когда старик-отец ставил на них горячие горшки (тигли), вынутые из печки. От этого под ударами каменного молотка Теку-Нен они крошились в мелкую песчаную пыль легче и быстрее. Отец, отмерив сколько ему было нужно других материалов, тоже брал каменный молоток и спешил к сыну на помощь. Молотки стучали дружно, куча песку росла. Когда Теку находил, что материала заготовлено достаточно, он говорил сыну: «Теперь затопи печь». Сын вскакивал и в две-три минуты разжигал огонь в печи, прилаживая в ней меха. А Теку мешал составы, приговаривая заклинания. Он думал, что в горшки могут забраться злые духи и испортить все дело. Заклинания были такие:

— Скверный Ломака, пойди прочь, пока я не позвал Гора, Пта и Тота. Дрянной Пузырник, не смей подходить к моим горшкам. Или ты не знаешь, как зовут богов, которые творят суд и расправу? Плюю на вас! Дую на вас! Лягаю вас! Отгоняю вас! Идите в другие страны. Идите туда, где не нужно хорошее стекло. Тьфу вам! Тьфу вам!

И он действительно плевал по сторонам, дул, отмахивался то одною рукой, то другою и даже лягался. Потом начинал снова:

— Великий Пта, бог мастеров и художников, наклади им хорошенько по шее. Великий Тот, бог письма и света, исчисли на своей дощечке мои составы и скажи Гору, что они правильны. Пусть Гор покажет дурным духам свои крепкие кулаки. Они боятся их! Они боятся их! Они уходят к Западу. Они будут западными.

«Стать западным» у египтян значило умереть.

Этим заклинаниям научил Теку его отец Фа. А Фа получил их в наследство от своего отца Ку-Те. От кого их узнал Ку-Те, уже не помнили.

Составленной смесью Теку наполнял плавильные горшки, не высокие, но широкие, похожие больше на сковороды, чем на горшки. Поддев эти сковороды на лопату, он тащил их в печь. Туда входило четыре сковороды. Теку-Нен сейчас же принимался работать мехом, чтобы дать больше жару. Смесь на жару быстро начинала плавиться.

Теку похаживал около печи и посматривал на солнце. Оно служило ему вместо часов. Мастер по солнцу определял, сколько стеклу следует сидеть в печи. Но все же одного счета времени было недостаточно. Чтобы проверить, готов ли сплав (уголь иногда давал жар лучше, иногда хуже), приходилось пробовать самый состав подобно тому, как повара пробуют варево. Теку пробовал не поварешкой. Старик носил за поясом медные щипцы с плоскими концами. Этими щипцами он через небольшие промежутки времени захватывал со сковород немного сплава и рассматривал его на свет.

Когда ему казалось, что сплав готов, он кричал Теку-Нен:

— Готово! Давай маленькие горшки.

А сам хватал уже большие щипцы-клещи и тащил ими из печки накаленные сковороды.

Теку-Нен расставлял в ряд другие горшки. Они были такой же высоты, но в поперечнике в четыре раза меньше первых. Расставив их, он брал вторые клещи и помогал отцу перелить сплав в новые сосуды.

Затем стеклоделы тащили маленькие горшки опять в печь, чтобы проплавить стекло еще раз. В маленьких сосудах сплав перекипал лучше. Снова старик ходил около печки, смотрел на солнышко и ковырял в горшках медными щипцами.

Потом маленькие горшки выставлялись на пласт голышей и остывали. Стекло затвердевало кусками. Когда оно становилось совсем твердым, старик и сын разбивали глиняные горшки ударами молотков и счищали теми же молотками со стекла осадки. Готовые куски стекла дробили молотками на части, крупные осколки клали на жаровню около печи и через длинные паяльные трубки, сделанные из меди, дули на огонь, подогревая стекло, чтобы оно сделалось похожим на тесто; тогда его вываливали на плоский камень, каменным валиком растягивали в прутья, а из прутьев плющили ленты. Ленты еще раз размягчали на жаровне и резали их кремневыми ножами на узоры или скатывали в трубки, которые тут же рубили на бусы.

Работы хватало до позднего вечера. Кончив ее, Теку-Нен складывал нарезанные узоры, обрезки и мелкие осколки стекла в корзину, относил их к работавшим рядом горшечникам и говорил:

— Вот вам новое стекло. Приготовьте к утру еще маленьких горшков.

Горшечники вынимали товар из корзины, рассматривали его на свету и говорили:

— Хорошее стекло. Старый Теку знает свое дело.

А Теку-Нен отправлялся домой. Прежде чем лечь спать, он сгребал с площадки голыши и набивал ими еще не остывшую печь.

У фараона Аха-Мена было два главных жреца — Топи, служитель солнечного бога Ра, живший не в Нехебте, а в другом городе, и Реку, главный жрец бога Пта, бога мастеров, ремесленников и художников. Реку назывался Великим начальником мастеров; он постоянно находился при особе фараона, если только не служил своему Пта или, как и все люди, не отправлялся поспать.

Реку, выйдя из дворца после разговора с фараоном о смерти Ато, пошел по берегу Нила к храму Пта. Храм этот мало чем отличался от хижин стеклоделов и горшечников: стены его были сделаны из жердей и сучьев и заплетены нильским камышом, крыша тоже была камышовая, но храм был больше хижин в шестнадцать раз. Изображение бога находилось в храме лишь ночью, днем его выставляли на возвышении перед храмом. Возле храма стоял дом Реку, размером вполовину меньше храма, а жилища младших жрецов, окружавшие его, ничем не отличались от хижин ремесленников, построенных за стенами города. Жрецов у Пта было много: каждый старый мастер был жрецом; но мастера работали у себя дома и лишь во время общенародных молебствий приходили к храму Пта. У храма жили только те, кто умел писать, они записывали поступавшие со всей страны приношения богу.

Реку, подойдя к храму, нашел своих жрецов на площадке перед входом в святилище. Писцы сидели на земле вокруг сосудов с вином и зерном, перед свернутыми полосами ткани и всякими украшениями из камней, меди, стекла и другими предметами. Все это нужно было записать. Старый жрец брал в руку вещь за вещью или притрагивался к ним, если они были очень тяжелы, и говорил, обращаясь к младшим по очереди:

— Тате, пиши! «Якопу, главный управитель имения фараона, называемого Томен-хо, находящегося от божественного жилища нашего пресветлого, премудрого царя в двух днях пути вверх по реке, приносит Великому богу мастеров Пта...»

И называл, что именно было прислано Якопу.

Реку дал рукою знак остановить работу.

— Ато умирает, — сказал он, — наш повелитель Аха-Мен опечален. Если Ато умрет, Север снова восстанет. Нужно помочь фараону. Будем молиться о возвращении здоровья Ато и чтобы боги запретили начальникам Севера брать оружие в руки.

Все жрецы ответили в один голос: «Помолимся».

Они поднялись и стали готовиться к служению. А Реку подманил к себе одного из жрецов и сказал ему на ухо:

— Мы будем молиться, но нужно прославлять и возвеличивать фараона такою славою, чтобы племянники Теш не осмелились восстать на Аха-Мена. Чем мы можем прославить нашего повелителя? Подумай!

Хитрый жрец подумал и ответил:

— Прославлять нужно всем, чем можно. Прославлять нужно утром, днем, вечером и ночью. Пусть каждый делает свое дело, а я сделаю свое.

Жрецы уже успели зажечь курильницы с благовониями, и Реку вместе с хитрым жрецом подошел к подножию божества, чтобы начать служение.

После молений хитрый жрец отправился к горшечникам, жившим рядом со стеклоделами. Лучший из горшечников ко времени прихода жреца только что вставил нарезанные Теку стеклянные узоры в бока горшков и готовился отнести свою работу в печь для обжига. Другие мастера, измельчив в порошок мелкие куски и обрезки стекла, принесенные им Теку-Нен, обсыпали этим порошком сырые стенки новых глиняных сосудов и тоже разжигали печи, чтобы обжечь горшки и приплавить стекло к глине.

— Я слышал от тебя, — сказал хитрый жрец лучшему горшечнику, — о молодом художнике, у которого есть удивительные краски, не известные другим.

— Да, — ответил мастер, — этот художник живет рядом, он сын старого Теку. Его зовут Теку-Нен.

— Позови его сюда, — распорядился жрец.

Когда Теку-Нен пришел, хитрый жрец сказал ему:

— Покажи свои краски. Если этими красками ты сумеешь оказать услугу фараону, мы сделаем тебя жрецом, дадим тебе хорошую долю наших доходов и после, к старости, ты станешь Великим начальником мастеров.

Теку-Нен не хотел быть жрецом. Он ответил только:

— Поди ко мне и посмотри.

Хитрый жрец прошел с Теку-Нен в хижину старого Теку. Теку-Нен отдернул занавеску с окна, снял покрывало с двух известковых плит, лежащих в углу, и сказал жрецу, указывая на них:

— Смотри.

На плитах были вырезаны изображения охотников в нильских зарослях и мастеров, работавших над изготовлением горшков и стекла. Изображения были раскрашены и обведены каймой из красной и желтой красок, разделенных узкой черной полоской. Люди на изображениях были коричневые, повязки на их бедрах белые, украшения на повязках темно-розовые, а тростники и хижины — мутно-зеленого цвета.

Все эти краски жрец видел и раньше.

— А где же твои новые краски? — спросил жрец.

Теку-Нен взял из угла, из-под скамьи, горшок с краской и кисть, набрал из него краски и провел кистью по нижнему белому краю той плиты, на которой была изображена охота. Край стал голубым. Теку-Нен изобразил воду.

Поставив горшок обратно в угол, Теку-Нен взял оттуда же другой и новую кисть. Краской из этого горшка он окрасил в голубовато-зеленый цвет пальмы и оливы возле хижины горшечника на другой плите.

— Твои краски хороши, — сказал жрец. — Я знал белую и черную краски, я знал красную и желтую, я знал коричневую, которую мастера составляют из красной и черной, я знал темно-розовую краску красильщиков: они вываривают ее из растения. Я знал и зеленую краску: ее делают из мела и зеленой глины. Но этих я не знал. Одна из них как небо или как нильская вода; другая как деревья. — Но потом, подумав и вздохнув, добавил: — Ты художник и достоин звания жреца. Но твои краски не удивительны. Художники не красят этими красками, но горшечники делают горшки такого же цвета. Нет ли у тебя еще какой-нибудь краски, более удивительной?

— Есть, — ответил Теку-Нен, — а что нужно сделать?

— Нужно расписать гробницу Ато. Она умерла. Покажи мне твою удивительную краску.

— Ты ее увидишь в гробнице Ато, — ответил Теку-Нен.

Гробницу для Ато устроили у склона известкового холма, на каменном выступе. Каменщики вырубили в скале четырехугольную яму и выровняли ее пол. Ученый жрец-архитектор разделил дно ямы на несколько частей: середину предназначили для гроба с телом царицы, по бокам наметили ряд покоев, куда должны были поставить все нужное для нее. Следом за архитектором мастера спустились в могилу, чтобы обложить ее стены кирпичом и отделить кирпичными перегородками боковые комнаты от средней.

Кирпич подвозили пять повозок — гробница была большая. Другие пять повозок привезли срубленные деревья, сучья и стебли папируса, чтобы после, когда будут совершены все обряды, накрыть ими крышу усыпальницы.

Прежде всего каменщики вывели из могилы лестницу, подняв ее ступени к восточному краю ямы. Как только лестница была готова, пришел Великий начальник мастеров и с ним пять художников. Они и архитектор спустились по лестнице, чтобы осмотреть яму и начатую каменщиками кладку. Художникам нужно было знать, где что изобразить. Архитектор им объяснил расположение комнат. Впрочем, они и сами знали это — уже не первую гробницу украшали эти художники. Но по обычаю требовалось, чтобы все было торжественно рассказано архитектором и так же торжественно повторено художниками.

Выйдя обратно, художники отошли в сторону, к небольшой пальмовой роще. Там было приготовлено десять подставок, и на каждой из них лежала сглаженная известковая плита — каждому художнику по две плиты. Художники принялись за работу.

Нанеся на плиты углем очертания будущих изображений, художники стали высекать их медными остриями, осторожно ударяя по своему орудию небольшим каменным молотком. Один изображал сцены из сельской жизни — прогулки по воде и виноградарей за работой, другой — сборщиков папируса, третий — танцующих женщин, четвертый — мастеров, готовящих украшения, пятый — покойную Ато и служанок царицы, одевающих ее в роскошные одежды.

Потом пришел Теку-Нен. За спиной он принес ящик с несколькими горшками красок.

Когда работавшие художники и стоящие возле них жрецы и чиновники увидели идущего по дороге Теку-Нена, некоторые стали говорить вполголоса:

— Вот он, вот он, которому фараон оказал величайшую из милостей. Имя его Теку-Нен, и ему фараон доверил свою величайшую тайну.

Теку-Нен спросил:

— Что, готово у вас?

Они ответили:

— Готово будет завтра в полдень.

Теку-Нен знал об этом раньше. Но был обычай прийти и спросить. А краски Теку-Нен захватил с собой потому, что боялся оставить их дома: там их могли выкрасть жрецы.

На другой день в полдень Теку-Нен начал свою работу. Он не вынул красок из ящика, потому что не хотел их показывать никому. Когда ему нужно было взять краску на кисть, он просовывал руку под крышку и брал оттуда то, что ему было нужно.

Чиновники и жрецы столпились вокруг него. Каждый хотел видеть новые замечательные краски. Младшие стояли позади старших, приподымаясь на цыпочках, и тянули шеи и головы через плечи стоявших впереди. Когда Теку-Нен положил на первую плиту красную, желтую, коричневую, розовую и мутно-зеленую краску, он отодвинулся от своей работы, посмотрел и сказал:

— Верно.

И пошел к другой плите, оставив первую незаконченной.

Жрецы и чиновники рассердились.

— Фараон доверил тебе свою тайну не затем, чтобы ты смеялся над нами, — сказал живописцу Великий начальник мастеров. — Мы, люди, убеленные сединами, храним мудрость отцов, дедов и прадедов наших и почитаем их. Тебе, как новому жрецу Пта, надлежит также оказывать им почтение, — вернись к первому камню и доделай начатое, чтобы мудрые могли видеть, что ты задумал.

Теку-Нен не посмел ослушаться главного жреца. Он вернулся к первому камню, достал из-под крышки ящика зеленовато-голубую краску и покрасил ею где надо. Потом, немного погодя, покрасил синевато-голубой.

— Это хорошо, это очень хорошо, — сказали жрецы и чиновники, но не удивились: они уже знали, что две новые краски будут похожи на краски стеклоделов и горшечников.

Изображение на первой плите было готово — только половина зубцов окаймлявшей рисунок полосы оставалась непокрашенной. Теку-Нен взял чистую кисть, достал новой краски из угла ящика и провел кистью по первому зубцу каймы.

— Ах! — вскрикнули жрецы и чиновники.

Краска была ярко-синяя.

— Это хама, — сказал Теку-Нен.

В день похорон Ато густые толпы народа наполнили тесные улицы и небольшие площади города Нехебта. Они шли к переправам через Нил, к пустынному месту за царским жилищем на западном берегу Нила. Там была приготовлена для царицы усыпальница.

Среди народа было много жрецов и чиновников, возглашавших славу фараону. Они нараспев кричали:

— Да будет вознесено имя владыки нашего Аха-Мена. Кто сравнится с ним? Или вы не слышали о делах его? Не он ли послал свои войска против кочевников на Восток, чтобы смирить их и отобрать у них медные копи для обогащения своих подданных? Не он ли открыл новую страну вверх по Реке, изобилующую золотом, слоновой костью и черным деревом? Что стали бы делать ремесленники Севера, если бы он не согласился посылать им для работы эти драгоценные материалы? Славен, славен фараон Аха-Мен, и нет ему равных. Все трепещут при произнесении только имени его и несут ему дань!

Аха-Мен стоял на особо устроенном возвышении, рядом с приготовленной могилой. Возле него находились чины многочисленной свиты.

Для Великого начальника мастеров рядом с царским помостом было сооружено другое возвышение, ниже царского.

А на ступенях, ведших к возвышениям царя и главного жреца, стояли жрецы и чиновники всяких рангов.

Недалеко от хитрого жреца находился Теку-Нен. Хитрый жрец был одним из старших, а Теку-Нен все еще оставался стеклоделом и не мог стоять рядом со жрецом.

Великий начальник мастеров поднял руку. Это значило, что он будет говорить и чтобы люди замолчали. Но кругом и так молчали: народ не смел говорить в присутствии царя, пока сам царь не спросит его.

Великий начальник мастеров сказал:

— Многие славные дела позволили великие боги совершить мудрейшему из фараонов Аха-Мену. Мудрость его неизмерима. Он наставляет великих жрецов, он научает чиновников, он руководит художниками; ремесленники без него не могли бы делать горшков и других сосудов, ибо великие предки фараона выдумали их, и знание о том, как их делать, они передали величайшему Аха-Мену. — Помолчав немного, чтобы перевести дух, Великий начальник мастеров продолжал: — Несравнимая ни с кем по доброте, красоте и мудрости Ато отошла на Запад, и опечалился величайший из владык Аха-Мен. Но и в печали мудрость не оставила его. Премудрый, он решил прославить и возвеличить Ато и украсить ее гробницу столь великолепно, как никто и никогда не украшал ничьей гробницы. И молился фараон великим богам три дня и три ночи, чтобы боги помогли ему и наставили его. И ниспослали ему боги великое откровение — три новых краски открыли они фараону, чтобы украсить ими могилу Ато. Взял фараон земную воду из благословенного Нила и сделал из нее новую краску — зеленую, как Нил; взял фараон небесную воду — дождь и сделал из нее новую краску — голубую, как небо; взял фараон воду из Великого Круга — Моря и сделал из нее новую краску — синюю, как Великий Круг. Подойдите и взгляните на приготовленную для Ато могилу.

Как только произнес это Великий начальник мастеров, Теку-Нен выхватил изпод передника кремневый клинок, подскочил к стоявшему недалеко от него хитрому жрецу, крикнул: «Негодяй, обманщик!» — и всадил ему нож между лопаток.

Хитрый жрец упал, а Теку-Нен, сбежав со ступеней помоста, скрылся между деревьями.

Жрецы и чиновники вскрикнули, заволновались и обступили упавшего жреца. Но в народе не видели, что произошло, и не узнали об этом.

Фараон Аха-Мен через несколько дней после похорон Ато призвал Великого начальника мастеров и сказал ему:

— Я хочу видеть художника, нашедшего удивительную краску.

Но Теку-Нен исчез, его не могли найти. Великий начальник мастеров и младшие жрецы три недели молитвенными заклинаниями вызывали Теку-Нена обратно со всех сторон света: с юга, с севера, с востока и запада. Слуги храма в то же время осмотрели все пещеры и расщелины в горах по обоим берегам Нила, но не нашли даже и следов исчезнувшего стеклодела.

Потом Великий начальник мастеров призвал с верховьев Нила черных колдунов — негров. Они долго варили в больших круглых котлах свои волшебные варева, плясали у костров и выкрикивали непонятные египтянам слова. Но и волшебство черных колдунов не помогло.

Хитрый жрец не умер. Рана его была очень тяжела, но не смертельна. Он медленно выздоравливал. А Великий начальник мастеров приходил к нему и спрашивал:

— Что же делать нам? Не говорил ли тебе Теку-Нен, откуда он достал свою краску?

Вопрос этот Великий начальник мастеров задавал много раз, думая, что раненый жрец не понимает его. Но жрец понимал и, не открывая глаз, только отрицательно качал головой, будто лишенный языка.

И когда Реку уже не думал получить от него ответа, хитрый жрец сказал:

— Возьмите старого Теку и посадите его в тюрьму. Не может быть, чтобы отец не знал, где скрывается его сын.

Стражи пошли в слободу ремесленников, взяли старого Теку и отвели его в тюрьму.

Великий начальник сам посетил Теку в тюрьме. Он спрашивал старика долго о сыне и об его красках, грозил побоями и дважды ударил стеклодела по лицу, но ничего не добился. Старик не знал, где его сын, и думал, что он уже погиб в пустыне.

А с сыном было вот что.

Теку-Нен, убежав прочь, спрятался до вечера под скалой на западном берегу Нила; ночью в тростниковом челне он переплыл на восточный берег и ушел к востоку по дороге, которая еще и теперь ведет из города Коптоса к Левкосу, стоящему на берегу Красного моря; идя берегом моря на север, Теку-Нен дошел до перешейка, соединяющего Африку с Азией, и по нему перебрался на Синайский полуостров, где вместе с другими кочевниками водили свои стада дед и дядя Теку-Нена, то есть отец и брат его матери, которая была из бедуинского племени.

Долго искал их Теку-Нен в пустыне. Пустыня была велика, а кочевников в ней немного, и караваны их редко встречались. Примкнув к одному из караванов, Теку-Нен переходил с пути на путь, со стоянки на стоянку. Прошло уже несколько месяцев. Миновали зима и весна. И вновь наступило лето. Караван спутников Теку-Нена шел медленно. Вожак, склонив усталую от жары голову, почти не глядел на дорогу, но вдруг остановился, когда из-за камня навстречу ему вышел отдыхавший там человек. Поговорив с ним, вожак крикнул, чтобы Теку-Нен поспешил вперед. Обогнув спутников, Теку-Нен подошел. Вожак сказал:

— Вот кто знает, где дед твой, твой дядя и братья твои. Он сведет тебя.

И путник повел Теку-Нена. Очень обрадовались родственники Теку-Нена, когда, увидев его, они узнали, кто он. Абу, дед его, сказал ему:

— Будь с нами.

Двоюродные братья Теку-Нена стали учить его ходить за скотом и охотиться. Теку-Нен быстро научился бросать дротики в цель без промаха и наносил страшные удары копьем.

А по ночам, когда оставался один, думал об отце и беспокоился о нем.

Отец же все сидел и сидел в тюрьме. Посадившие его туда уже стали забывать о нем, но старый Теку вдруг сам напомнил о себе.

Он послал сказать Великому начальнику мастеров, что знает, где его сын.

Когда Великий начальник мастеров пришел в тюрьму, Теку сказал:

— Пошли своих послов на восток, туда, где медные копи. Могущественно племя Абу, близкого моего. Под покровительством великого Абу сын мой Теку-Нен проводит свои дни.

Великий начальник рассердился.

— Шакалы близкие твои, — закричал он, — и Абу вместе с ними. Я пошлю туда людей, и они на веревке приведут Абу и Теку-Нена.

Но приказал послать к Абу послов с богатыми дарами, а старого стеклодела пока оставить в тюрьме.

Когда Абу рассмотрел присланные ему из Египта подарки и остался доволен ими, он сказал:

— Пусть Теку-Нен идет обратно в Египет.

Услышав слова своего деда, опечалился молодой Хадер, младший двоюродный брат Теку-Нена. Он очень сдружился с Теку-Неном.

И на другой день после отъезда Теку-Нена и послов подошел с деду и спросил его:

— Почему такой почет оказал фараон моему брату?

— Теку-Нен — мастер-художник, — ответил Абу, — фараон прислал за ним потому, что он умеет работать над хама.

— Я тоже мастер, — сказал Хадер, — я тоже умею работать над хама. Я пойду в Египет, увижу там Теку-Нена и буду работать с ним.

Старый Абу подумал и решил:

— Иди. Не оставляй Теку-Нена одного. Люди фараона могут его обмануть.

Хадер пошел вслед за Теку-Неном, но не догнал его на пути и не нашел в Нехебте, когда добрался туда.

Теку-Нен по дороге скрылся от слуг Великого начальника мастеров; он подслушал от них ночью, что Великий начальник собирается посадить его в тюрьму и держать его там, пока он не скажет, как добывается синяя краска хама, а когда узнает, то убьет его.

Великий начальник мастеров приказал объявить по городам и селениям Египта:

Всем, кто знает Теку-Нена, и самому Теку-Нену:
Пусть он явится к Великому начальнику мастеров бесстрашно: он не будет наказан, но, наоборот, почтен доверием фараона. А если не явится, отца его удавят в тюрьме через месяц.

И когда Теку-Нен, испугавшись за жизнь отца, пришел в Нехебт к святилищу Пта, Великий начальник мастеров приказал отвести художника в темницу.

Великий начальник хотел узнать, как делается хама, чтобы самому писать этой краской.

Две недели просидел Теку-Нен в тюрьме; стражи каждый день били его в присутствии Великого начальника, и начальник спрашивал его:

— Скажи, где можно достать хама и как ее делают?

Теку-Нен кричал от злобы и боли, но ничего не говорил.

Однажды утром пришел к нему начальник тюремной стражи и сказал:

— Ты был неразумен и упорствовал в своем неразумии. Поэтому Великий начальник велел посадить тебя в подземелье на вечные времена.

Он взял Теку-Нена за руку, свел его в подземелье без окон и запер там, сказав: «Иди только вправо, если не хочешь провалиться».

Теку-Нен долго стоял во мраке, ничего не видя. Потом добрался до стены и осторожно пошел вдоль нее, ощупывая ее каменные выступы, холодные и покрытые слизью.

Много шагов он уже сделал, и казалось, что подземелью не будет конца. Но вдруг стена повернула вправо под углом, будто открывая ход в другое помещение. Теку-Нен пошел туда; через двадцать шагов он очутился у нового поворота, через двадцать — еще у третьего, и так до семи раз. Когда он повернул в седьмой раз, вдали забрезжил слабый свет.

Через четверть часа Теку-Нен был уже на воле и, прячась между зарослей олив и акаций, пробирался к Нилу.

А начальник тюремной стражи шел к себе домой, в усадьбу, и думал:

«Я скажу Великому начальнику, что Теку-Нен по его приказанию был посажен мною в подземный лабиринт, но пошел, должно быть, вправо и добрался до выхода».

А о том, что он поставил Теку-Нена на такое место, откуда можно было выйти, начальник стражи не думал никому рассказывать.

Когда начальник стражи пришел к себе домой, Хадер встретил его на пороге дома.

— Вот, — сказал начальник, — я исполнил свое обещание — выпустил брата твоего Теку-Нена. Теперь исполни ты свое — отдай мне хама и получишь свободу.

Хадер обрадовался, весело засмеялся, снял со своего пояса мешочек и высыпал из него несколько синих камешков.

— Вот хама, — сказал он.

— Разве это краска, — горестно ответил ему начальник стражи, — это камни. Ты обманул меня. Я не могу посадить тебя в темницу, но из моей усадьбы ты не уйдешь — через ров не перебраться, и у выхода стоит стража. Подумай и скажи, как делается хама.

Начальник стражи мог посадить его в тюрьму, только не хотел этого делать: он думал, что лучше оставить Хадера в усадьбе, что бедуин скоро соскучится по свободе и скажет, что такое хама, и тогда он, начальник стражи, сам пойдет к фараону и принесет с собой чудесную краску, а фараон наградит его.

Начальник стражи не боялся, что Хадер будет долго скрывать тайну, — он считал, что молодой дикарь не может знать ей цены.

Хадер растерялся и огорчился. Он честно сделал, что мог, — принес те камни, которые были у него, и такие, какие когда-то он и братья его послали в подарок Теку-Нену. Почему же рассердился начальник стражи?

В волнении Хадер обежал усадьбу тюремщика и увидел, что выхода из нее действительно не было, — она была окружена рвом, не глубоким и с небольшим количеством воды, но с отвесными стенками — спрыгнуть в ров было легко, но выбраться оттуда трудно. Единственный мостик через ров был подъемный, и за ним, на другом берегу рва, стояли два воина.

Хадер вошел в дом тюремщика — нужно было найти что-нибудь, что могло бы помочь. Самую большую комнату дома перегораживал полог перед ложем хозяина. Он висел на длинном шесте. Хадер выдернул шест, выбежал с ним наружу и с разбегу, воткнув шест в дно рва, перепрыгнул на другой берег. Так прыгали его сородичи через расщелины у себя, в пустыне, но начальник стражи не знал об этом способе.

Мешочек с хама Хадер оставил начальнику стражи: Хадер был честный человек и не думал обманывать тюремщика.

Когда Хадер добрался к своим, он увидел там и Теку-Нена.

Стеклодел сидел неподвижно перед остатками костра, и вид у Теку-Нена был грустный.

18 Зак. 3178

— О чем ты грустишь? — спросил его Хадер.

— Я грущу о том, что больше мне не придется работать над хама. Я художник, а должен пасти стада и охотиться.

— Старый Харим работает над хама, — сказал Хадер. — Пойдем к нему, ты можешь работать с ним.

Он взял Теку-Нена за руку и повел к Хариму. Старый Харим сидел перед большим плоским камнем; возле него лежал мех с водой. Старик тонким слоем сыпал на камень песчаную пыль, лил воду из меха и по мокрому месту, чтобы было легче, с терпением обтирал мелкие камешки хама. Он делал чудесные синие бусы. Старику помогал мальчик — просверливал кремневым сверлом отверстия в бусах, тоже смачивая их водою. Работа мальчика была трудна, орудием ему служило кремневое сверло со струной, которая то закручивалась, то раскручивалась и пела.

Теку-Нен покачал головой. Он понял, что Хадер не мог знать, как и для чего в Египте Теку-Нен сделал из хама краску.

— У Харима много терпения, — сказал Теку-Нен, — а у меня его не хватает. И я не сумею делать бусы.

Начальник стражи, вернувшись к себе домой и не найдя там Хадера, увидел брошенный им во рву шест, а в комнате у себя нашел мешочек с хама. Уже по дороге к себе начальник стражи подумал, что синие хама Хадера, так похожие на краску Теку-Нена, можно растолочь в порошок, а из него сделать краску. Схватив мешочек Хадера, он высыпал оттуда синие камешки и стал разбивать их молотком на мелкие части, но когда разбил и растер куски в порошок, они превратились в серую пыль.

В Египте о Теку-Нене скоро забыли. А историю о том, как фараон Аха-Мен сделал три новые краски, писцы вырезали на шиферных пластинках на память будущим поколениям.

Зеленовато-голубую и синевато-голубую краски другие египетские художники научились делать при том же фараоне Аха-Мене. Как и Теку-Нен, они, взяв осколки зеленоватого стекла из речного песку и голубого из кварцевых голышей, разбивали их каменными молотками и перетирали каменными же валиками в мельчайший порошок, после чего, смешав этот порошок с соком акации, получали прекрасные краски. Но чистую синюю краску египетские мастера научились делать только через 800 лет после смерти Аха-Мена, при фараоне Атоти II или, может быть, даже немного позднее, при его преемниках.

Синюю краску древние добывали из лазуревого камня — лазурита. В Египет его привозили с Востока через Месопотамию и Синайский полуостров. Теку-Нен его получил тоже из Синайской пустыни от родственников. Разглядывая куски камня и любуясь ими, он решил, что из камня можно сделать синюю краску, и попытался ее сделать. Сначала у него, как и у начальника стражи, когда он раздробил камень, вместо синей краски получился серый песок. Но постепенно Теку-Нен додумался до того, как нужно поступать, чтобы действительно получилась краска.

Теку-Нен прожил в пустыне у своих родственников очень долго. Он не писал больше картин — кочевникам они были не нужны; из лазурита он стал делать

для них вместо кругляшек другие, более замысловатые украшения, а из других камней научился резать фигурки животных и людей.

Старого Теку из тюрьмы выпустили: он был очень хорошим мастером, и без него горшечники не могли выполнять заказы фараона. Вместо сына Теку взял себе в помощники другого человека. Тот хотел стать хорошим стеклоделом, усердно работал и не думал рисовать и красить...

СИНЕЕ ЛЕКАРСТВО

Джованни Фосколо, флорентийский монах из ордена бенедиктинцев, самого богатого в Италии, летом 1470 года сидел у своего приятеля нотариуса и говорил ему:

— Знаешь, мой брат аптекарь Джакопо несомненно сумасшедший. Он все свое состояние завещал племянникам, сыновьям нашей младшей сестры. Суди сам, разумно ли это? Не лучше ли было бы, если б Джакопо оставил имущество мне, человеку хозяйственному и бережливому? Племянники наши — добрые малые, но они очень молоды, любят наряды, удовольствия, шатаются по кабачкам, ищут в товарищи таких же неразумных людей, как и они сами. Все, что попадает в их руки, немедленно уплывает к другим. Они уже истратили все, что осталось им после отца, разорили и сестру. Если действительно имущество брата Джакопо достанется этим беспутным людям — оно обогатит чужих.

— Ты жаден, Фосколо, — ответил нотариус, — мне, как нотариусу, известны состояния твое и твоего брата. Ты в три раза богаче, чем Джакопо. Зачем же ты заришься на имущество, обещанное им двум молодым людям, ничего не имеющим?

— Нет, синьор Николо, — возразил монах, — я не жаден. Но Джакопо болен трепетанием сердца и меланхолией, и я думаю, что только вследствие своей болезни он мог подписать подобное завещание, а ты, составляя его, совершил необдуманный поступок. Тебе следовало отговорить Джакопо от такого дела. Суди сам, будет ли он радоваться в загробной жизни, когда узнает, что его деньги, дома, земельные угодья и все остальное разнес ветер? Не будет ли он упрекать тебя? Не скажет ли он господу богу: накажи этого неразумного нотариуса, — я был болен меланхолией, а он был здоров и не отсоветовал мне сделать глупое дело.

Нотариус усмехнулся: уж очень просто изобразил Фосколо, как аптекарь Джакопо будет разговаривать с богом о нем, нотариусе.

— Чего же ты хочешь, Джованни? — спросил нотариус.

— Чего я хочу? — переспросил монах. — Я ничего дурного не хочу. Я не желаю, чтобы племянники мои умерли или исчезли в далеких чужих странах. Я хочу, чтобы брат мой выздоровел и написал новое завещание на мое имя. Я хочу, чтобы деньги брата соединились с моими и я мог бы предоставить их в распоряжение торговцев сукном, ювелирными изделиями и картинами. Я хочу, чтобы в руках этих почтенных людей деньги брата выросли в три, четыре, в пять раз. Я хочу, чтобы и племянники мои за это время поумнели во столько же раз. Пусть тогда деньги Джакопо достанутся им вместе с моими — вот чего я хочу.

— Ты искусно говоришь, Джованни, — сказал нотариус, — пойди же к брату и уговори его переписать завещание.

— Я уже сделал это, — грустно ответил монах, — но даже собственное его согласие теперь бесполезно: весь город знает, что мой брат болен меланхолией, и потому новое его завещание ты не сможешь подтвердить.

— Так вылечи брата. Разве среди вас, бенедиктинцев, мало искусных врачей? Или у тебя мало денег на то, чтобы эти врачи признали твоего брата здоровым?

— Врачи не помогут, — еще грустнее ответил монах, — все знают, что врачи не вылечивают от меланхолии.

Нотариус перед приходом монаха читал доставленную ему тайно рукопись о колдунах и волшебниках. Ему скучно было говорить о завещании Джакопо. Все мысли нотариуса были обращены к только что прочитанной книге. И тут он подумал: «Если не могут помочь врачи, следует обратиться к колдунам».

Но нотариус не верил в колдунов и в силу волшебства, как, впрочем, не верил и в силу молитв. Он захотел посмеяться над монахом.

— Святой отец, — сказал он, — зачем ты впадаешь в уныние? Если бессильны врачи телесные, должны помочь врачи духовные. Великая наша мать — церковь повелевает в таких случаях молиться и обещает чудесные исцеления. Разве я должен тебе об этом говорить?

Монах встал, смерил нотариуса одним взглядом от головы до ног и сказал:

— Нечестивец! Церковь говорит истину, и кто посмеет смеяться над ней! Я верный слуга церкви, и я пойду молиться о восстановлении здоровья моего брата, а ты увидишь, чего можно достигнуть молитвой.

Пока Джованни прошел ряд узких и кривых флорентийских улочек от дома нотариуса до стен монастыря, солнце успело спуститься за горизонт. Постояв в полумраке перед монастырскими воротами, он раздумал возвращаться к себе и повернул в другую сторону, к площади, на которой жил другой его приятель, торговец картинами, мебелью, расшитыми тканями и кружевами, — Себастиано Гвиччиоло.

Постучав в двери дверным молотком и услышав на лестнице шаги самого Гвиччиоло, монах сказал:

— Отворяй скорее, друг. Имею к тебе большую нужду.

Гвиччиоло тоже узнал монаха по голосу и отпер дверь без опаски, осветив порог и входные ступеньки слабым светом масляного светильника.

Гвиччиоло был смешон на вид — маленький и слишком широкий для своего роста, с большим носом, оседланным еще бóльшими круглыми очками. Светильник он держал высоко над головой.

— Запирай скорее, — сказал Гвиччиоло, — пока не подскочили какие-нибудь темные молодцы.

Во Флоренции было много воров и грабителей. Они сидели по трактирам только до наступления темноты, а потом выходили на добычу. Они искали незапертых дверей и вовсе не смущались присутствием хозяев на пороге. Заткнуть хозяину рот и скрутить ему руки за спиной было делом нескольких секунд. Но ломать запоры грабители не любили — шум мог привлечь отряды городской стражи, ходившие по улицам.

Поднявшись наверх к Гвиччиоло, монах не спеша погладил свой большой живот, уселся в кресло и заговорил:

— Гвиччиоло, ты человек, знающий многих. Твое торговое ремесло заставляет тебя сталкиваться с различными людьми из разных стран. Скажи, не знаешь ли ты во Флоренции какого-нибудь мага, умеющего наколдовывать и расколдовывать болезни?

Гвиччиоло ответил уклончиво:

— Настоящих магов немного. Большинство из них просто обманщики. Маги живут в Болонье, Милане, Мантуе и Павии. Флоренцию они не очень любят.

Кроме того, они не любят встречаться с отцами святой церкви. Их нелюбовь к ней понятна: церковь сажает их в темницы и сжигает на кострах.

— Гвиччиоло, — прервал монах купца с нетерпением, — к тебе пришел не отец церкви, а твой заимодавец. Не ты ли взял у меня всего только на прошлой неделе кругленькую сумму для покупки картин из мастерской Бартоломео?

— Брат Джованни, — смиренно ответил купец, — конечно, следует сказать заимодавцу, где живет нужный ему человек: если за пользование деньгами платят проценты монетой, то за отсрочку к процентам следует добавлять добрые услуги. Итак, скажи, для чего тебе маг нужен? Магов много, но каждый хорошо знает только что-нибудь свое: один предсказывает будущее, другой отыскивает похищенные вещи, третий делает золото, четвертый лечит болезни...

— Я уже сказал: мне нужен врачеватель, — ответил монах, — я хочу вылечить моего брата Джакопо от его меланхолии.

— Тогда тебе следует обратиться к левантинцу Исидоро. Он живет против дворца Вителли, в доме Асколи. Он недавно вернулся с Леванта и привез новое средство от меланхолии, какого здесь еще никто не знает.

— Я иду, — сказал монах, вставая, — я не могу ждать ни одной минуты, чтобы Исидоро не израсходовал запасы своего средства на других.

— Куда ты пойдешь, — возразил Гвиччиоло, — теперь ночь, на улице тебя оберут и побьют грабители, а Исидоро тебя к себе не пустит — он ночью никому дверей не отпирает, даже самому сатане, если тот является к нему в образе человека. Оставайся у меня до утра.

Утром, когда монах еще спал, Гвиччиоло послал к левантинцу своего слугу с запиской.

В записке было сказано:

«К тебе придет монах Джованни Фосколо. Он человек богатый и поддерживает купцов, его не бойся. Но если он будет просить у тебя средства от меланхолии, не давай ему настоящего. Все, что у тебя осталось, я уже продал в Венецию и Лион за настоящую цену. Количество проданного обозначено в договоре, и обмануть нельзя. Монах все равно скуп — мы на нем не наживем и дуката».

Отправив записку с посланцем, Гвиччиоло сам пошел к Бартоломео.

В мастерской Бартоломео работало много людей разных возрастов — пожилые, молодые, подростки. Сам Бартоломео, высокий плечистый человек, одетый в пестрый восточный халат, на который у него спускалась длинная черная борода, ходил по мастерской от одного живописца к другому, осматривал их работу, брал иногда кисть, поправлял уже сделанное или добавлял к нему что-либо.

Из мастеров, служивших у Бартоломео, лучше всех работал Донато. На его картинах Бартоломео с особой охотой ставил свою подпись. Гвиччиоло, заходя к Бартоломео, потихоньку советовал Донато завести свою мастерскую. Купец рассчитывал, что молодой художник будет уступать ему свои картины за меньшую цену, чем старый Бартоломео, и что сам Бартоломео, когда Донато от него уйдет, должен будет ценить дешевле картины других мастеров, так как без работ Донато ему уже нечем будет похвастаться. Но старые мастера флорентийского цеха живописцев не хотели давать Донато звания мастера-художника. У него не было денег, чтобы заплатить цеховым судьям, а Гвиччиоло пока не собирался платить за Донато. И приходилось Донато оставаться в подмастерьях.

— Бартоломео, — спросил Гвиччиоло хозяина, — получил ли ты вчера от Исидоро обещанный ультрамарин?

— Да, получил, — ответил художник, — ультрамарин у Донато. Сегодня Донато пустит его в дело.

Донато раскрыл один из ящиков, стоявших около него.

— Вот ультрамарин, синьор Себастьяно, — сказал живописец, пересыпая краску с руки на руку — это чудесная краска, какой нет ни у кого в городе, и я с нею напишу вам десять прекраснейших картин.

— Как ты думаешь, Бартоломео, — спросил Гвиччиоло, — сколько французы и немцы дадут мне за картины, написанные с ультрамарином?

Бартоломео задумался.

— Французы, — сказал он, — заплатят за них вдвое против того, что они платят за обыкновенные картины, а немцы — втрое.

— Ты лжешь, Бартоломео, — возразил купец, — французы заплатят только в полтора раза дороже, а немцы в два. Ты считаешь так, чтобы содрать с меня побольше.

И они еще постояли над краской, любуясь ею. Остальные мастера и ученики тоже бросили свою работу — всем хотелось посмотреть на чудесную и редкую краску, работать которой хозяин разрешил только Донато. Некоторые живописцы вздыхали от зависти. Да, у них было много красок — у одних двадцать, у других двадцать пять, но все это множество не стоило одной такой.

Джованни Фосколо отправился к левантинцу Исидоро около девяти часов утра. Едва он вышел от Гвиччиоло, как повстречал монаха другого ордена, из числа нищенствующих монахов, — францисканца Агостино.

Агостино был бос и подпоясан по рясе веревкой. В левой руке он нес книгу, завернутую в кусок мягкой кожи. Зоркий глаз Фосколо сразу заметил, что у францисканца вместе с книгой завернуто в кожу еще что-то.

— Что это там у тебя? — спросил бенедиктинец.

— Видишь, книга, — ответил францисканец.

— Кроме книги вижу еще что-то, — сказал бенедиктинец.

— Эге, — рассмеялся францисканец, — глаза у тебя приделаны хорошо. Уж так и быть — взгляни.

Францисканец вытащил из свертка довольно тощую тетрадь. На обертке ее было написано:

рецепты лечебные
собранные
и
дополненные
его королевского величества
альфонса неаполитанского
главным врачом
и
и профессором философии
и
врачебной науки
падуанского университета
иоанном амазиусом

— А-а, — протянул бенедиктинец, — ну, покажи.

Джованни Фосколо взял тетрадь из рук францисканца, перелистал ее и остановился на выбранном месте. Там было написано:

«Когда мудрому врачу при душевных заболеваниях придется убедиться, что вышеперечисленные обыкновенные и общеупотребительные средства не помогают, он должен обратиться к редким и трудно добываемым. Из числа этих последних особенно ценим и полезен бывает ультрамарин, введенный в употребление опытнейшими и разумнейшими врачами Востока, хотя и неверными, лживо вместо Христа поклоняющимися Магомету, но при помощи темных сил сатаны отыскавшими сие чудодейственное средство.

Ультрамарин есть краска. Как блистает и ценится алмаз среди других камней, так и ультрамарин среди красок. Природа наделила его стойкостью, равной стойкости и крепости алмаза. Поэтому ультрамарин никогда не линяет и не выцветает на солнце, а введенный вовнутрь в указанных ниже дозах полезен против бешенства, головокружения, трепетания сердца, меланхолии и других душевных болезней...»

Дальше было указано, в каких количествах, кому, при каких болезнях и на какие сроки следует прописывать ультрамарин.

— Гм, гм, — многозначительно произнес Джованни, вернул тетрадь Агостино, сказал ему: — Прощай, брат, — и пошел немедленно дальше, к Исидоро.

Исидоро сперва испугался, увидев у себя монаха, но вспомнил записку Бартоломео, успокоился и приготовился выслушать пришельца.

— Достопочтенный синьор Исидоро, — сказал монах, — я слышал, что вы, как человек, часто бывающий на Леванте, располагаете некоторыми медицинскими средствами, неизвестными у нас.

— Да, святой отец, располагаю, — скромно ответил Исидоро, — против каких болезней вам нужны средства?

— Против меланхолии и трепетания сердца.

— Тогда осмелюсь вам предложить очень сильное и быстродействующее, — ответил левантинец, отворив один из своих шкафчиков и вынув оттуда склянку со снадобьем темно-коричневого цвета. — Не скрою от вас состава этого средства: в нем смешаны высушенные и истолченные в порошок языки ста попугаев самых веселых пород, так как попугаи умеют отгонять причину всякой меланхолии — тоску, и сердце орла, так как оно не знает трепетания.

— Гм, гм, — сказал Джованни немного недовольно.

— Если вам не нравится это средство, — продолжал колдун, заметив недовольство монаха и доставая другую банку из того же шкафа, — то осмелюсь предложить иное. Сказать по правде, первое больше годится для людей воинственных, а не для монахов и не для купцов. В этом составе сердце орла заменено сердцем гиены. Сердце ее, конечно, не храброе, но гиена все умеет обратить в свою пользу и берет там, где другие ничего не умеют взять. Однако это лекарство было бы несовершенным, если бы к нему не примешивали еще растертых в порошок шерстяных тряпок, которыми ювелиры и золотых дел мастера обтирают обыкновенно попадающие к ним золотые вещи, чтобы собрать с них немного золота в свою пользу.

— Слушай, дурак, — закричал рассерженный Джованни, — брось свои сказки. Эти средства можно достать в Италии у каждого шарлатана, занимающегося лечением людей. Давай мне ультрамарину.

— Ультрамарину? — переспросил Исидоро. — У меня нет ультрамарину, а потом, он стоит очень дорого.

— У тебя есть ультрамарин, — еще громче заорал Джованни, — и мне все равно, сколько он стоит: разве ты слышал, чтобы когда-либо монахи платили шарлатанам и колдунам? Всегда колдуны и шарлатаны платят монахам.

— У меня был ультрамарин, — ответил Исидоро, — но я его купил на средства уважаемого Гвиччиоло и по его же распоряжению отдал Бартоломео да Сиена.

— Ах он жулик, этот твой уважаемый Гвиччиоло, — сказал Джованни, еще больше разъярясь и размахивая кулаком, — он меня обманул. Побегу к Бартоломео.

С Бартоломео монах столкнулся на пороге живописной мастерской.

— У тебя ультрамарин, который достал Исидоро? — спросил монах художника.

— Разве твое дело знать об этом? — спросил в свою очередь художник.

— Я заплачу за него, — возразил монах.

— Мне уже заплатили за него.

— Дай мне ультрамарину, — настойчиво сказал монах.

У художника на поясе, под халатом, висел кинжал в кожаных ножнах. Бартоломео распахнул халат, взял кинжал за свободный конец его ножен, приподнял оружие и упер его концом в брюхо монаха.

— Не напирай, — сказал художник, — а то наколешься. Брюхо и сердце монаха, — добавил он, — защищены жиром, однако жир защищает только от голода, холода и от добрых чувств. Ультрамарин у меня был еще вчера, но Донато израсходовал сегодня последние запасы.

Рассерженный монах отвернулся и пошел прочь. Отойдя каких-нибудь тридцать шагов, он встретил Донато. Молодой художник возвращался из кабачка, позавтракав и изрядно выпив.

— А, здравствуй, — протянул ему свои руки монах, — я слышал, что Бартоломео тебе оказывает большую честь: он отдал тебе весь ультрамарин, который получил от Исидоро.

— А как же ты думаешь, — заносчиво ответил полупьяный Донато, — разве Бартоломео дурак? Только мне он и мог доверить столь дорогую и редкую краску. Я применил ее уже в трех картинах и надеюсь написать с ультрамарином еще десять.

— Еще десять, неужели? — переспросил монах.

— А как бы ты думал? Может быть, и двенадцать.

— А-а. Ну, прощай. Мне некогда. Я тороплюсь. Впрочем, стой. Знаешь что — я тебе хорошо заплачу. Спрячь немного этой краски и продай мне...

— Продать? Шиш с маслом! Дурак я, что ли? Бартоломео мне обещал, что если я сумею написать этим запасом ровно двенадцать картин и так, чтобы покупатели могли видеть, что мы не пожалели ультрамарину... Да, что он мне обещал? — заплетающимся языком сам себя спросил Донато и остановился.

Потом качнулся, провел рукою перед глазами и добавил:

— В цех провести обещал. Я не дурак. Не продам.

И пошел в мастерскую, не попрощавшись с монахом.

Кончался двадцать четвертый час. Приближалась середина ночи. Почти вся Флоренция уснула. Лишь в некоторых кабачках еще светились огни и шумели поздние гуляки. И в одном из таких кабачков за разными столами сидели три одинаково одетых человека: на них были дворянские плащи с капюшонами и шляпы, надвинутые на лоб; из-под плащей выставлялись концы шпаг.

Ровно в полночь самый высокий из них, уже пожилой и толстый, поднялся из-за стола и вышел, но не на улицу, а во двор. Следом за ним постарались незаметно выскользнуть и двое других.

Они сошлись во дворе под навесом. Там каждый из самого темного угла взял маленькую железную лестницу и спрятал ее под плащом. Потом поочередно они вышли на улицу, перешли мост через Арно, послушали, как журчит бегущая под ним вода, и направились к самым темным и узким улицам. Намеченная дорога им была хорошо известна, но они боялись попасться на глаза ночным обходам и шли кривыми путями, держась всяких закоулков и углов, где можно было бы в случае нужды спрятаться.

Через четверть часа они дошли до большого дома с садом, перелезли через ограду и по песчаной дорожке подкрались к стене дома. Двое тонких сняли шпаги и воткнули их в мягкую землю у стены, а три лестницы связали в одну и подставили ее к окошку. Один из тонких взобрался наверх и принялся вынимать раму.

Дело для него было привычным. Без шума и возни он вытащил раму из окна и передал другому тонкому, стоявшему под лестницей. Тот поставил раму к стене, рядом со шпагами.

— Твоя очередь, отец, — сказали тонкие толстому.

Толстый также отвязал шпагу, воткнул ее в землю рядом с первыми двумя, скинул свой плащ, повесил его на угол вынутой рамы, зажег маленький фонарик и, спрятав его под платком, полез в окно.

Очутившись в комнате, он пошел в угол к сундуку, нащупывая в мешочке у пояса нужный для взлома инструмент. Но сундук не был заперт.

— Эге, — сказал толстый, — вино иногда может принести пользу. Пьяный хозяин забыл запереть свое добро.

Подняв крышку сундука, толстый скинул туда фонарик. В сундуке лежали и стояли разные мешочки и ящички.

Толстый взял только один из них, приподнялся и сунул ящичек в сумку у пояса, но добыча туда не совсем входила и плохо держалась.

— Ладно, донесу, — сказал себе толстый, повернул обратно, сделал шаг, зацепил правой ногой за какую-то перекладину, споткнулся и наделал шуму.

Фонарь у него упал и погас.

Когда Донато после встречи с монахом пришел домой, Бартоломео, посмотрев на него, сказал:

— Опять напился! Какой ты теперь работник? Иди проспись.

И отправил художника в каморку за мастерской.

К ночи Донато выспался, лежал и думал. Когда толстый зацепился за перекладину и загремел табуретками и подставками для картин, Донато подумал: «Это, наверное, Джустино свалился во сне с сундука».

Джустино был мальчуган, помогавший Донато в работе, — он спал обыкновенно в мастерской.

— Джустино, что с тобой? — окрикнул его Донато.

Никто не ответил.

«Беда, — сообразил Донато, — кто-то забрался в мастерскую».

Донато не принадлежал к числу храбрецов. Он ни за что один и в темноте не сунулся бы в мастерскую, но ему в голову вдруг пришла мысль: «Это монах влез за моим ультрамарином!»

И, забыв свой страх перед темнотой, Донато бросился в мастерскую.

Через окно шел свежий воздух. Донато понял, что воры уже ушли, и с маху выскочил за окно. На дорожке он настиг толстого человека. Тот не мог бежать быстро.

Донато ударил беглеца ногой сзади. Толстяк упал, ткнувшись лицом в землю. Донато оседлал упавшего в один миг.

— Отдай мой ультрамарин, — закричал Донато, колотя лежащего кулаками по голове.

— Уронил, уронил! — завопил толстый.

— Знаю, что уронил, — сказал Донато, бросив колотить и схватив монаха обеими руками за жирную шею, — я знаю, как нужно поддать ногой, — сразу свалишься!

— Да не то, — ответил толстый, — слезь и пусти — я ультрамарин уронил.

— Ах ты дьявол, — выругался Донато, — проваливай подобру-поздорову.

Он слез с монаха. Тот поднялся и побежал к ограде. Крупные капли дождя в это время заколотили по листьям.

Донато вернулся с фонарем. На половине дорожки он нашел свою коробку. Ультрамарина в ней не было, — видно, он высыпался еще раньше, когда монах вылезал или побежал.

«Соберу, когда рассветет», — решил Донато.

На рассвете он снова спустился в сад. Следы просыпанной краски шли от самой лестницы до места, где Донато сбил монаха с ног и потом нашел коробку. Следы были синие, размытые ночным дождем, но это были следы не ультрамарина, а другой краски — кобальта. Донато вернулся в мастерскую. Найденная им ночью коробка валялась на сундуке. Художник заглянул в сундук — ультрамарину не было и там. Донато опять бросился к окну и осмотрел сад сверху, но ничего не увидел, кроме трех воткнутых рядом шпаг, вынутой рамы и плаща, накинутого на ее угол.

«А где же Джустино? — спросил себя Донато. — Может быть, он знает?»

И он стал звать мальчика:

— Джустино, Джустино.

Но мальчик не откликался. Он тоже исчез.

А Джованни в это время, обнажив свою спину и показывая ее приятелю-монаху, говорил:

— Видишь, каких прекрасных синяков мне сегодня наставили. Замечательные синяки, из них прямо можно делать ультрамарин.

— Старый шутник, — засмеялся приятель. — А скажи, — добавил он, — почему этот ультрамарин так ценится?

— Почему? Потому что он заколдован и достать его из земли может только хороший колдун.

— Вот на, — возразил Алессандро, — уж непременно и колдун. А если за дело возьмется монах, помолившись святому Мартину?

Джованни вместо ответа только свистнул, а про себя подумал: «Черт возьми, ведь этот ультрамарин Гвиччиоло и Исидоро купили на мои же деньги».

Джустино был сирота, отец и мать его умерли несколько лет тому назад в один день. Единственная оставшаяся у мальчика родственница-тетка отдала его в ученье к Бартоломео, но сказала:

— Когда будешь свободен, приходи ко мне в гости. От Флоренции до нас недалеко.

Она жила в деревушке на реке Арно, ниже Флоренции, по дороге в Пизу, и была тоже человеком одиноким.

Джустино приходил к ней на праздники. В каморке на чердаке своего дома старушка отвела мальчику комнату. Там Джустино мог делать то, что запрещал ему Бартоломео.

А Бартоломео говорил:

— Нечего мудрить. Искусство только тогда хорошо, когда оно всем понятно и приходится по мыслям желающим купить картину. Посмотри: вот здесь изображена мадонна — оба младенца, Иисус и Иоанн, тянутся к ней; ангелы тоже слетаются со всех сторон, чтобы окружить ее, деревья простирают ветви над нею. Не так ли и в нашей жизни, как на этой картине? Если бог захочет дать тебе благосостояние, то он прежде всего научит тебя все собирать в одно место, как бы в свой кошелек. А ты что делаешь, Джустино?

Джустино молчал. Он не умел отвечать на хитрые и складные речи Бартоломео. Но писать он хотел по-другому.

Он начал пять картин.

На первой Джустино изобразил Цереру, богиню земледелия и плодородия, и не в центре холста, а наверху в углу; она неслась по воздуху и из рога изобилия сыпала на землю плоды и цветы.

На другой — Фортуну, богиню удачи и счастия, с завязанными глазами катившуюся на колесе и пригоршнями бросавшую на землю золотые деньги; горсти золота, ударяясь о землю, взлетали фейерверком, как огненные.

На третьей — водопад с рыбами: вода свергалась со стремнины и разбивалась в брызги у ее подножия; рыбы, снесенные водой, выпрыгивали из ручья, описывая в воздухе дуги, и падали опять в поток, чтобы умчаться вместе с ним.

Четвертая картина была совсем странная: на широком мрачном поле Джустино изобразил плавильные горны, полные огня; между ними стояли наковальни с раскаленным железом; по нему тяжелыми молотами били кузнецы, и снопы искр вылетали из металла под их ударами.

Еще страннее была пятая: она изображала взрыв горной мины в ущелье. Рудокопы бежали от места взрыва в полумраке, и вслед им ураганом неслось пламя.

— Кому это нужно? — спрашивал Бартоломео. — Кто это купит?

И в негодовании бросал картины Джустино на пол.

Джустино, сверкая глазами, подбирал брошенное, но молчал.

Рано утром Джустино пришел в деревню к тетке. Старуха еще спала. Под кудахтанье кур и воркованье голубей мальчик взобрался к себе на чердак, взглянул на свои старые неоконченные картины, которые он перетащил сюда от Бартоломео, подумал, что он мог бы их лучше написать, если бы начал снова, разложил около окна краски и кисти и стал работать.

Он писал долго, не отрываясь; уже время шло к вечеру, когда он остановился, чтобы поглядеть на свою новую работу и дать ей имя.

Он хотел назвать картину «Краски». Но написанное нельзя было назвать картиной: на холсте переливались полосами краски разных оттенков, гармонично подобранные. Казалось, они текли от одного конца холста к другому — красные, розовые, лиловые, желтые, зеленоватые. В центре же холста был изображен си-

ний круг, ярко-синий, и ярко-синие лучи разбегались от него во все стороны, своим цветом затмевая все остальное.

— Нет, не «Краски», — сказал себе Джустино, — лучше я назову: «Ультрамарин».

И вдруг услышал снизу голоса своей тетки, Донато и другого мальчика из учеников Бартоломео.

— Джустино здесь? — спросил Донато.

Старуха еще не видела, что Джустино пришел.

— Он украл у хозяина ультрамарин, — сказал Донато.

Тетка горестно закричала:

— Украл?! О, беда мне, о, наказание, я так любила мальчика. Теперь его посадят в тюрьму.

Джустино через второе окно чердака выскочил на соседнюю крышу и убежал.

Донато, поднявшись наверх, кроме новой картины, нашел там и остатки ультрамарина. Работу мальчика он презрительно бросил в пыльный угол, а чудесную краску спрятал за пазуху.

— Не говори хозяину, что мы нашли ультрамарин, — сказал Донато своему спутнику, — краска мне пригодится. Когда я открою свою мастерскую, я дам тебе два золотых и возьму к себе в подмастерья.

Бартоломео и Гвиччиоло скоро утешились: Исидоро через две недели получил с Леванта новую партию ультрамарина. Вместо предполагавшихся двенадцати картин с ультрамарином Донато написал пятнадцать и продал их Гвиччиоло за хорошие деньги. После этого Донато признали мастером, он ушел от Бартоломео и открыл свою мастерскую.

Джустино бежал в Испанию и странствовал долго. До тридцати пяти лет он был художником и писал много картин, но картины его не нравились, и никто их не покупал; поэтому он поступил во флот пушкарем, а в 1592 году оказался вместе с Христофором Колумбом в числе тех, кто открыл Америку.

Из того, что Джованни говорил приятелю-монаху об ультрамарине и колдунах, не все было выдумкой. В то время ультрамарин (лазуревый камень — ляпис-лазури) привозили в Европу издалека, из Тибета и Бухары, где его считали священным и добывали в горах с разными колдовскими обрядами.

Краску из этого камня в Италии делали так же, как ее когда-то, много-много лет тому назад, делал в Египте Теку-Нен, т. е. толкли камень в порошок. Лазуревый камень обыкновенно лучше окрашен с поверхности, чем внутри. Если его растолочь, получится не синяя краска, а куча серого песку. Песок долго промывают — серое, более легкое, вещество уходит с водой, а тяжелая по весу и прекрасная синь остается.

Лазуревого камня долгое время находили очень мало, и он дорого ценился. В первой половине XIX века в Сибири, около Байкала, обнаружили большие его залежи; тогда цена на камень упала. Почти одновременно с этой находкой в 1827 году французский химик Гиме открыл способ приготовления искусственного ультрамарина путем химического соединения.

ЗИНИН И ПЕРКИН

В 1856 году Вильям Генри Перкин, восемнадцатилетний студент королевского химического колледжа в Лондоне, получил длинное письмо от своего приятеля, тоже молодого химика, русского, жившего в Казани.

Русский корреспондент писал:

«Тебя интересует, как Николай Николаевич Зинин открыл свой бензидам, т. е. собственно не как он открыл его — это знают уже все, но что он думал о нем и чего он хотел, когда работал над ним. Ты говоришь, что для тебя мой ответ будет иметь практическое значение, так как ты чувствуешь себя еще очень молодым и не умеющим думать по-настоящему. Да, мыслить вполне логически и извлекать из своих мыслей практическую пользу не так-то просто, и у людей, подобных Зинину, есть чему в этом поучиться. Итак, слушай.

Мне не удалось самому говорить с Николаем Николаевичем. Где уж об этом думать: он знаменитый ученый и пожилой человек, занятый по горло работой, а я молодой студент, лентяй и мечтатель. Но я спрашивал о Николае Николаевиче у людей, близко его знающих. Они рассказали мне много интересного. Я не знаю, сколько в рассказанном правды и сколько собственной выдумки. Поэтому слушай все и разбирайся сам.

По рассказам выходит так, что Николай Николаевич, когда работал над открытием бензидама, будто вовсе и не держал в уме практических целей, а скорее занимался мечтаниями.

Все началось с Вёлера, который в 1828 году доказал, что органическая и неорганическая химия — одно и то же, что неорганические вещества можно превращать в органические.

Зинин об открытии Вёлера узнал очень скоро, очевидно, еще до поступления в университет (в 1828 году ему было 16 лет). Но тогда Зинин не очень интересовался химией. Его больше, кажется, занимала естественная история вообще. Однако открытие Вёлера ему хорошо запомнилось и произвело на него большое впечатление.

О чем же Николай Николаевич мечтал в те годы? Он думал, как бы сделаться колдуном, умеющим превращать вещи, т. е. из одного делать другое, совсем непохожее на первое. Открытие Вёлера дало ему мысль, что секрет колдовства — в химии и что недаром колдуны в прежние времена занимались алхимией.

Ты пойми, как дорога была эта мечта для Зинина, — он думал, ставши колдуном, переделать весь мир по-новому. Сам сирота и бедняк, Николай Николаевич хотел уничтожить силу богатых, нищету и бессилие бедных, заменить несправедливость благом и др.

Я вижу, как ты усмехаешься, дорогой Вильям, и думаешь: „Вот эти русские — даже их знаменитые ученые вместо дела занимаются мечтаниями, и каким оболтусом нужно быть в шестнадцать или восемнадцать лет, чтобы верить в колдунов“.

Усмехайся сколько хочешь — к Зинину это не относится: он и в десять лет в колдунов не верил, но, когда еще был маленьким гимназистиком в Саратове, старуха-нянька рассказала ему интересную сказку о колдуне. Она запомнилась ему на всю жизнь, он стал думать о колдунах и додумался до того, что решил сам заняться колдовством, только уж не на припечке, как русские деревенские колдуны, а в научной лаборатории.

Вот эта сказка, послушай. В английском переводе она не будет такою интересной, как на русском языке, но я приведу ее тебе полностью.

В одной деревне жил-поживал хитрый колдун; все больше на печке лежал, сладко ел, сладко пил, сладко спал. И приходили к колдуну разные люди: один просит поколдовать, другой — рассказать, что да как. Один принесет лукошко яиц, другой — горшочек маслица, третий — отрез холста, четвертый — денег медных. Чего колдуну не жить — хорошее житье, и работать не надо.

Вот по малости времени приходит к нему перед самой ночью какой-то неизвестный человек, в шубе и в шапке бобровой, а лица не видно: воротник поднят, и борода и усы большие из воротника торчат.

— Ты ли, — спрашивает, — колдун Афиноген Петров?

— Я колдун Афиноген Петров, — отвечает колдун с печки.

— Давно ли колдуешь?

— Да лет сорок, как батюшка помер. Тоже колдуном был и мне велел колдуном быть.

— А много ли наколдовал?

— На счет не пересчитаешь, на меру не перемеряешь. Пожалуй, и много.

— А себе много ли наколдовал?

— Себе-то? — почесал колдун в затылке. — Да разве себе колдуют? Мне бога гневить нечего — сыт, обут, одет и работать не надо.

— Значит, всем доволен?

— Всем.

— Тогда дело другое, — сказал неизвестный человек, — я думал, что ты недоволен чем, чего-нибудь хочешь. А доволен, так и прощай.

Повернулся и вышел. И сказал еще из сеней:

— Недоволен чем будешь или захочется чего, поищи тогда Петра Афиногенова на девятой версте у Кривого моста.

Как услышал колдун эти слова, закричал вдруг: „Да ведь этак моего батюшку звали!“ С печки соскочил, в сени выбежал и на крыльцо. Только неизвестного человека и след простыл. Месяц светит, мороз крепкий, из труб по всей деревне дым валит, а по дороге клубочек какой-то вьется. Не разобрать, что за клубочек. Только и всего.

Пошел колдун к себе в избу, и запала ему с той поры на сердце грусть-тоска. Не ест, не пьет, на детей не смотрит, даже бороду расчесывать бросил, а если кто к нему с просьбой придет, он и того гонит.

— Приходи, — говорит, — завтра. Мне сегодня некогда.

Уж народ к нему и ходить бросил. Какой это колдун, если ему все некогда? Что попу, что колдуну так говорить нельзя — им всегда время должно быть.

Пожил-пожил Афиноген Петров и пошел искать Петра Афиногенова. Снарядился по весне — котомку за плечи, палку в руки. Подходит к околице. У околицы на бревнах свои мужики деревенские сидят, разговаривают. Афиноген Петров к ним.

— Скажите, старички почтенные, — спрашивает колдун, — где такой Кривой мост?

А мужичкам откуда знать? У них в деревне и никакого моста не было — ни кривого, ни прямого.

— Не знаем, — отвечают мужички.

— Ну, не знаете, так дальше пойду, — говорит колдун, — других поспрашиваю.

И пошел. И все спрашивал у встречных: где Кривой мост?

Шло время по малости, а прошло времени много. Не то месяц, не то год. Повстречалась колдуну горбатенькая старушка.

— Бабушка, — спрашивает он, — не знаешь ли ты, где Кривой мост?

— А вот, батюшка, — говорит, — он совсем тут близехонько. Прямиком иди, не сворачивай. Только не забудь: как станешь через него переходить, плюнь три раза в речку и трижды скажи: „Чтоб тебе ни ума, ни радости“.

Дошел колдун до мостика, плюнул в речку, сказал: „Чтоб тебе ни ума, ни радости“ — глядь, а перед ним за речкой постоялый двор стоит и на воротах вывеска: „Постоялый двор Петра Афиногенова“.

Колдун постучал, собаки залаяли. Выходит сам хозяин, без шубы, в кафтане хорошего сукна и в шапке; на поясе ключи висят, борода и усы расчесаны.

— А, — говорит, — пришел все-таки! Пожалуйте в горницу. — В горницу ввел, на лавку посадил и спрашивает: — Говори, чего надумал?

Тут ему колдун и повинился, что запала ему на сердце грусть-тоска, что захотелось ему быть из всех колдунов колдуном, чтоб не только другим, а и себе колдовать.

Подумал-подумал неизвестный человек и говорит:

— Чего же ты хочешь? Есть у меня три силы — каждую могу тебе дать. Одна сила — куда хочешь, туда и полетишь легче пуха и скорей птицы. Другая сила — скатерть-самобранка, — ее только раскинь, она тебе и жареного, и вареного, и пареного предоставит. Третья сила — волшебное кольцо, на палец его наденешь и чего первого пожелаешь, то тебе всегда будет.

— Летать мне некуда, — сказал колдун, — скатерть-самобранка тоже не диво — у меня и без нее дом полная чаша. А вот кольцо твое — удивительное. Сделай милость, отдай мне кольцо.

Усмехнулся неизвестный человек, снял с пальца кольцо, отдал колдуну и говорит:

— Помни, чего первый раз с ним пожелаешь, то тебе всегда и будет. Да когда речку по Кривому мосту будешь переходить, плюнь в воду трижды и трижды скажи: „Идет дурак, не знамо по что“.

Перешел колдун через речку, трижды в нее плюнул и трижды сказал:

— Идет дурак, не знамо по что.

Поднялся колдун на бугорок — глядь, а перед ним его деревня, будто никуда он и не ходил: те же мужички на бревнах у околицы сидят, разговаривают.

— Ну что, — спрашивают, — нашел Кривой мост?

— Нашел, — отвечает колдун.

И везет ему навстречу мужик Силантий Евстигнеев воз навозу.

Колдун-то его и спрашивает:

— Чего везешь?

— Не видишь чего — золото.

— Эх, — говорит колдун, — кабы правда золото было, а то дерьмо.

Только он это сказал, навоз-то в золото и превратился.

Ахнули мужики — и к возу. Силантий их кнутом: „Мое, — говорит, — золото“. Мужики как начали его под бока тузить, с ног сбили в канаву и золото по домам растащили.

А колдун со страху ни жив ни мертв к себе побежал. „Ох, — думает, — хоть бы водички испить, дух перевести“.

В сени вбежал — и к кадке, где вода стояла. Ковшичком воды почерпнул, а в ковшичке не вода, а золото переливается.

Колдун ковш бряк об пол — и в избу: ребята с невестками и внуками за столом сидят, полдничают.

„Эх, щи-то жирные, — думает колдун, — похлебать бы. Смерть есть хочется“.

Ложку взял и тянет к корчаге. А в корчаге наместо жиру золото плавает.

Так и умер колдун, не евши, не пивши. Он за яблочко — а яблочко золотое. Хлеба отрежет — и хлеб золотой. Всю еду ребятам перепортил, они его даже и поколотили с сердцов. А все от жадности. Тут и сказке конец.

Не сердись, Вильям, что я занимаю тебя такой длинной сказкой, тем более что у вас, на Западе, есть свои сказки о людях, превращавших все в золото своим прикосновением. Золото — это иносказание. Дело не в золоте, а в человеческой мечте переделать все по-своему, чтобы было не так, как устроено или устроилось в мире, а по-другому. Это давнишняя мечта, старинное желание.

Знаешь, я понял эту мечту в прошлом году летом, когда был с отцом в Италии. Мы видели там много замечательного — построек, статуй и особенно картин.

Над картинами я много думал; они, конечно, великолепны и замечательны, но, знаешь, в них есть что-то утомительное. Они все неподвижны даже тогда, если изображенные на них люди и животные движутся. Многие художники передавали движение хорошо, но это движение всегда было направлено в одну точку, к центру картины, чтобы там остановиться. Глядя на эти картины, думаешь, какими собирателями были их творцы и покупатели. Непременно все к одному месту, в свой кошелек. И мне захотелось вдруг, чтобы ангелы на картинах не слетались к мадоннам, а улетали от них прочь, чтобы ветви деревьев и цветы не окружали их рамками, а рассыпались во все стороны или бились и клонились под жестким ветром.

И я не находил таких картин, почти не находил, если не считать изображений нескольких битв, где люди безжалостно избивали друг друга.

И вдруг мир передо мной перевернулся.

Мы поехали с отцом вдоль Арно из Флоренции в Пизу и, остановившись по дороге в маленькой деревушке, попросили у хозяина харчевни пить. Налив нам вина, он сказал:

— Не хотят ли синьоры купить несколько старинных картин? У меня есть запас.

Он притащил картины с чердака. Знаешь, я упросил отца купить пять из них. Вот когда я увидел мир в движении! Оказывается, и в XV и XVI веках в Европе были люди, подобные Зинину, — они хотели вывести мир из его неподвижности, расколдовать.

Все картины подписаны одним неизвестным именем — Джустино. Видна неопытная ученическая кисть — картины даже просто не закончены. На них изображены: Церера, Фортуна, водопад с рыбами, кузнецы в чистом поле, рудокопы, взрывающие породу порохом.

Прежде чем описывать эти картины и сказать тебе свои мысли о них, я должен напомнить тебе еще раз о сказке.

Я думаю, что имена — Афиноген Петров и Петр Афиногенов — в сказке были придуманы недаром. Отец и сын. Дед и внук. Прадед и правнук. От одного к другому передается все та же мечта — переделать мир...»

Перкин с досадой отбросил письмо, не дочитав его. Он надел пальто, шляпу и перчатки, вышел из дому и поехал в омнибусе к газовому заводу.

Приехав к месту, Перкин спросил директора завода. Сторож сказал молодому человеку, что директор ходит по двору, за главным корпусом.

Обогнув корпус, Перкин увидел директора и пошел ему наперерез.

Директор круто повернул. Перкин тоже. Наконец он догнал директора.

— Мне нужно переговорить с вами, — сказал Перкин.

— Об игре в мяч? — спросил директор. — Лучше было бы в другой раз.

— Нет, — ответил Перкин, — я хочу спросить вас кое-что о вашем заводе.

— Ну что же, спрашивайте, — разрешил директор, — только я буду ходить и смотреть.

И он принялся почти бегать.

Перкин стал говорить с директором совсем не о том, для чего приехал. Нельзя было выдать свои мысли сразу.

Собеседникам приходилось лавировать по двору между загромождавшими его кучами каменноугольной смолы. Это были отбросы производства.

— Черт бы побрал этот мусор, — крикнул сердито на ходу директор, — скоро от него некуда будет деваться!

— Стойте, — сказал Перкин директору, беря его за рукав, — сколько вы дадите, если я найду человека, который согласится вывезти от вас этот мусор?

— Где же вы найдете такого дурака? — спросил директор.

— Да уж найду.

— Не говорите глупостей. Кому этот мусор нужен, пусть тот его забирает даром. С удовольствием уступим. А платить за его уборку, конечно, не станем. Достаточно с нас, что мы платим за выбрасывание его на двор.

— Итак, даром?

— Да, даром.

— Хорошо, — сказал Перкин, — завтра я забираю у вас этот мусор, но одновременно вы должны будете подписать договор, что вы мне всю эту смолу всегда будете отдавать даром.

Директор понял, что сделал ошибку, что Перкин нашел какое-то применение для смолы. Но было уже поздно отказываться.

— В коммерческих делах не бывает таких договоров, — сказал директор, — чтобы навсегда. Хотите на пять лет?

— На десять.

— Нет, на пять.

Сговорились на восьми.

Перкин ехал домой опять в омнибусе. Теперь голова уже была менее занята — он смотрел на окружающих и по сторонам улиц и думал о разных вещах.

«Лаборатория — хорошее учреждение, — сказал он себе, — если она находится при университете или колледже, но еще лучше, если при фабрике. Чудак этот Джустино — он написал кузнецов в чистом поле! Разве так бывает? Кто пишет так, тот ничего не видит. Когда человеку захочется обработать кусок железа, он должен найти, на что его положить, — это верно. Но еще раньше он должен где-нибудь жить. И это жилье у него уже всегда имеется к тому времени, когда он берется за железо. Как будто всегда бывало так? Да ну! Глупости».

Перкин досадливо отмахнулся.

«Сидят в лабораториях, — продолжал он, — а лаборатории эти будто наковальни в чистом поле. Нет, извините. Можно выдумывать разные идеи, в том числе и о переустройстве мира при помощи химии, но золото всегда будет иметь цену. Вся соль этих сказок о золоте в том, что человек своим прикосновением к вещам превращает их в золото, а не во что другое. При помощи одних лабораторий не переделаешь мир: нужно, чтобы всюду были фабрики и заводы, чтобы они делали таким людям, как я, деньги, золото. Вот тогда с золотом уж мы перестроим мир».

Мысли Перкина оборвались потому, что он доехал до дому. На этот раз он так и не успел договорить себе, как он думает перестраивать мир при помощи денег, фабрик и заводов.

Вильям прошел к отцу. Перкин-старший сидел в раздумье, отдыхая. Поздоровавшись с отцом, сын просто спросил:

— Отец, есть у тебя свободные деньги?

Перкин-старший, не шевельнувшись и не выпуская изо рта сигары, ответил:

— Смотря на что и сколько? Если ты наделал небольших долгов, я уплачу их, а если долги окажутся велики, подумаю.

Сын рассердился.

— Мне нужны деньги на игру в мяч, — грубо сказал он.

Но когда отец в недоумении поднял на сына глаза, тот уже спокойно и лукаво-вкрадчиво спросил:

— Что бы ты сказал о небольшой, но очень доходной химической фирме «Перкин и сын».

Отец подумал и ответил:

— Ты сам выбрал химический колледж, но ведь и я тебе не препятствовал в осуществлении выбора.

Однако Перкин-старший еще не знал, в чем дело.

За четырнадцать лет до разговора Перкина с директором газового завода и с отцом русский химик Николай Николаевич Зинин, делая в лаборатории Казанского университета опыты над превращениями бензола, получил особое вещество, которое назвал бензидам. Бензидам сам по себе не был новостью в химии — уже в 1826 году немецкий химик Унфердорбен получил такое же вещество, соединив растительную краску индиго с едким кали, а другой русский химик, Фричше, работавший в Петербурге, получил его тоже из индиго. Унфердорбен назвал свою находку кристаллином, Фричше — анилином*. После открытия Зинина знаменитые немецкие химики Юстус Либих и Август Гофман, исследуя открытия Унфердорбена, Фричше и Зинина, убедились, что кристаллин, анилин и бензидам — одно и то же вещество, открытое при разных обстоятельствах и под разными названиями.

Практически самым важным было открытие Зинина — он добыл свой бензидам не из дорогого индиго, а из малоценного нитробензола действием на него тоже дешевого сернистого аммония.

Нитробензол получается из бензола. Нитробензол был открыт немецким химиком Митчерлихом в 1834 году, а в 1841 году тот же Август Гофман нашел способ выделения бензола из каменноугольной смолы путем ее перегонки. Открытие Гофмана было столь же практически важно, как и открытие Зинина.

Каменноугольной смолы в то время на газовом производстве после выгонки газа оставалось сколько угодно. Ее-то у директора Лондонского газового завода и купил Перкин-младший.

А кристаллин, бензидам и анилин со временем привыкли называть одним общим именем — анилин.

---

* По-испански краска индиго называется аниль, отсюда и название препарата.

Когда Зинин открыл бензидам-анилин, никто не думал, какое назначение в промышленности получит этот препарат впоследствии. Бензидаму предрекали другое будущее — думали, что он даст ключ к добыванию алкалоидов: стрихнина, хинина и других веществ, имеющих лекарственное значение.

Молодым двадцативосьмилетним ученым Август Гофман был приглашен из Германии в Лондон для работы в специальном химическом институте — Королевском химическом колледже. В числе его учеников через несколько лет оказался и Перкин-младший.

Перкин, работая под руководством Гофмана, задумал добыть искусственный хинин по способу, над разрешением которого работал Зинин.

Однажды раствор сернокислого анилина он стал окислять хромовокислым калием и получил черный осадок. Взяв осадок, Перкин растворил его в спирту и увидел, что жидкость окрасилась в красивый цвет. Он попробовал раствор, как краску, на шелке. Краска оказалась превосходной. Красильщик Пулкер подтвердил ее достоинства. Перкин взял на краску патент, назвав ее мовеином.

Фирма по производству искусственной краски «Перкин и сын», после разговора о ней Перкина-младшего с Перкиным-старшим, открылась в Лондоне вскоре.

В день ее открытия Вильям Перкин дочитал письмо своего русского приятеля. В этом письме он не нашел ничего, о чем стоило бы подумать, и только сказал:

— Старуха рассудила верно: колдун погиб не потому, что стал все превращать в золото, но из-за своей жадности. Недаром незнакомый человек велел ему при переходе через мост трижды произнести: «Идет дурак, не знамо по что». Нужно знать, куда и зачем идешь.

Вильям Перкин через некоторое время после открытия мовеина нашел в том же анилине другую краску — сафранин (шафрановую); Верген нашел фуксин (розово-красную), Лайтфут — черную, Никольсон — хризанилин (прозрачно-зеленую). Начало химическо-красочной промышленности положили англичане, но развили ее и придали ей мировое значение немцы. Они сейчас знают самые лучшие и выгодные способы химического изготовления красок, и на рынках всего мира их искусственные краски имеют самый большой сбыт.

До открытия искусственных анилиновых красок в красильном деле и в живописи применяли только естественные краски, выделанные из растений и минералов. Лучшие из этих красок были дороги и добывались в небольшом количестве. Настоящий ультрамарин, например, стоил до 3500–4000 руб. за килограмм, потому что лазуревый камень (ляпис-лазури) в природе встречается очень редко, а добыть из него синей краски можно не более 2% общего веса камня, так как все остальные в нем — ненужные вещества. Когда Гиме открыл в 1829 году способ добывания искусственного ультрамарина, казалось, что ультрамарин, добываемый по его способу, сможет заменить настоящий. Однако краска Гиме была по качеству гораздо хуже естественного ультрамарина, и, кроме того, секрет ее изготовления, вследствие смерти Гиме, скоро утратили. Позже немецкие химики вновь открыли способ приготовления искусственного ультрамарина, но и новое открытие не дало промышленности дешевой краски.

А в первой половине XIX века западноевропейская промышленность развивалась быстро и требовала во всех производствах открытия новых способов добычи и обработки, более дешевых и выгодных, чем старые.

Открытие дешевых анилиновых красок пришлось для промышленности как раз кстати. Вот в этом Перкин был прав, когда осуждал Зинина и своего русско-

го приятеля-корреспондента за излишнее пристрастие к отвлеченным лабораторным опытам. Перкин был экономист хотя и капиталистического склада, но прекрасно понимавший, что общественные отношения нужно переделывать под экономическим воздействием на фабриках и заводах. Как только молодой студент увидел, что вместо проблематического хинина в реторте оказалась реальная краска, столь нужная для развития промышленности, он бросил отвлеченные опыты с добыванием алкалоидов и занялся исследованием нового препарата.

Однако и Зинин был прав. Его мечта делать из ненужного нужное осуществилась в значительной степени и будет осуществляться дальше. Человек все больше и больше научается переделывать природу.

Уже давно искусственные краски приготовляют не только из анилина, но также из нафталина, антрацена (ализариновые краски), азотсоединений, фенола. Но за всеми этими красками по старой привычке сохраняется общее название анилиновых. Оттенки же таких красок считаются тысячами.

Анилин получил применение кроме красочной промышленности и в других производствах; из него приготовляют лекарственные вещества, взрывчатые, фотопроявители и т. п. Добывают анилин по способу Зинина, но несколько упрощенному и еще более дешевому: в этом способе сернистый аммоний заменен железными стружками, обработанными уксусной или соляной кислотой.

Но почему же главная роль в мировой промышленности по производству искусственных красок принадлежит германским химическим заводам? Каменноугольная смола и другие нужные препараты есть везде, способы добывания анилина, нафталина, фетина, азосоединений и прочего известны всем.

Да, рецепты изготовления искусственных красок как будто известны всем. Вот, например, способ изготовления красной краски — фуксина.

Работа производится в плавильном котле емкостью в 2500–3000 литров; в него помещают определенное количество смеси, составленной по расчету: на 100 частей анилина 150 частей 75%-го раствора мышьяковой кислоты; перемешивая состав, нагревают его до 180° и начинают перегонку паров из котла в холодильник, рассчитывая процесс так, чтобы в течение часа перегонялось десять литров жидкости; проработав двадцать часов и перегнав двести литров, температуру повышают и начинают перегонять в час двадцать литров, причем в этой стадии процесса мастер должен определить, когда процесс нужно прекратить, так как состав уже будет готов. Улавливается момент, нужный для выпуска состава из котла, и масса выпускается.

Полученный состав, застыв, представляет собой не красную, а зеленоватую массу. Его измельчают, выщелачивают, нагревают паром и проделывают над ним еще много манипуляций, пока он не станет действительно фуксином. Вот в этих-то действиях и в знании, когда и как следует кипящий состав выпустить из котла, и заключается секрет производства.

В СССР существует Анилтрест — Государственный трест анилиново-красочной промышленности. Красок он выпускает сравнительно немного, и по качеству они не могут равняться с немецкими. Но в лабораториях СССР все время ведутся опыты по изучению способов изготовления искусственных красящих веществ. Весной 1929 года в Ленинграде химики Ассман и Горловский открыли способ изготовления искусственной лиловой краски (метил-виолета) и вместе

с тем, проанализировав свой метод, получили практический подход к опытам над изготовлением других таких же красок. Метод Ассмана и Горловского уже достаточно проверен, необходимо его еще несколько усовершенствовать, чтобы применить в фабричном производстве. Если это удастся, нам уже не нужны будут германские краски — наоборот, мы сами сможем вывозить за границу краски нашего производства по цене более дешевой, чем вывозят немцы.

Для германского капиталистического хозяйства производство искусственных красок — одно из важнейших. Германские промышленники боятся наших опытов: они грозят им потерей советского рынка и конкуренцией по вывозу в другие страны.

Поэтому среди злейших врагов СССР за границей оказалось и самое мощное немецкое красочно-промышленное объединение — Фарбен Индустри Акциен Гезельшафт во Франкфурте-на-Майне. Оно неустанно ведет против нас пропаганду.

В живописи и в настоящее время применяют растительные и различные минеральные краски. Растительные добывают, вываривая или выпаривая красящее вещество из растений, а иногда просто растирая их части. Минеральные приготовляются химическими способами. Для изготовления их пользуются железом, медью, свинцом, цинком, кадмием, кремнием, алюминием, кобальтом, хромом и др.

Естественные краски применять в живописи удобнее, потому что ее техника писания картин требует красок различных по составу и по строению своих частей. Соединение естественных красок на холсте или на дереве и на других материалах дает живописные эффекты, недостижимые при пользовании анилиновыми красками.

Но для окраски тканей, металлов, деревянных изделий и т. п. искусственные краски — самые удобные и выгодные. Вначале, после их изобретения, к ним относились с недоверием и пренебрежением потому, что хотя они и ярко окрашивали, но быстро выцветали и линяли. Однако химики постепенно научились изготовлять прочные сорта, и если вам придется услышать об искусственных красках, что они не прочны, — не верьте: это старый предрассудок, распространенный теми промышленниками, которым было невыгодно введение новых дешевых красок.

Но сколько же всего красок в распоряжении человека в настоящее время? У Кара их было четыре, и оттенков в них он не различал.

Недавно я спросил у мастера-мозаичиста, т. е. делающего картины из смальты — разноцветных стеклянных кусочков, сколько оттенков красок он применяет в своем деле.

— Семнадцать тысяч, — сказал мастер.

— А можно еще изобрести новые?

— Конечно, можно. Да что новые — мы еще не все старые умеем делать. В XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов на своем заводе изготовлял смальту красного и зеленого цвета таких оттенков, какие мы все еще не можем восстановить. Удивительно прекрасные оттенки. Но, наверное, найдем.

Говорят, что мастера-мозаичисты Ватикана (папской резиденции в Риме) располагают 27000 оттенков красок. Пожалуй, это число преувеличено, но недалеко от истины. Если даже таким числом они еще не располагают, то дойти до него вполне возможно.

ХОРОШИЕ ХОЗЯЕВА

Глава I
Лазарь рассказывает о том, как воспитывали его родители

Я человек неученый, но рассказать многое могу. Не понимаю я, правда, как это открывают Индию то одни, то другие и почему индейцы, если плыть к ним с запада на восток, оказываются белыми, а если с востока на запад — красными? Кроме того, убей меня все святые, каких только сможет самый ученый падре разыскать в своих святцах, — не возьму я в толк, почему нужно стремиться за море, когда и в Испании у нас живется весело?

Святые отцы говорят, что у нас теперь XVI век по Рождестве Христовом. Конечно, если усомниться в этом — святые отцы здорово всыпят. Но я, ей-богу, и не сомневаюсь. Я только думаю, что время идет без толку, и сейчас в моей родной Саламанке мальчишки прыгают по Тормесу без штанов, как я тридцать лет назад. Вы скажете, что и вода там прыгает без штанов, но то вода. Вы спрашиваете, хорошая ли река Тормес и водится ли в ней рыба? Рыба водится. Но она прыгает, как и вода, и ее не так-то просто поймать. Поэтому на Тормесе лучше молоть зерно, чем ловить рыбу. Конечно, можно еще полоскать белье, но за это очень плохо платят. Хотя кто знает, что лучше? Мой отец вот тоже молол, но путного из этого не вышло.

И не потому, что он несправедливо брал за помол или плохо ставил свои жернова. Разве можно быть несправедливым в расчетах, когда шагни от мельницы Хульянито два шага в сторону, и тут тебе будет мельница Мельгорехо? А если расставленные жернова мелют скорее, то когда часть крупноразмолотого будет высыпана на голову мельника — выбрать ее из волос так же трудно, как и размолотое мелко, — особенно если волосы еще полить водой из Тормеса. К слову сказать, вода эта дрянная: она и без муки клеится. Ленивым он тоже не был, то есть, как говорится, времени не выгадывал. Позже он действительно потерял двенадцать лет на галерах, но то было позже — когда же он еще молол, ему не приходило в ум рассчитывать часы и дни. Его несчастие постигло потому лишь, что однажды он вздумал сказать правду.

Когда у человека мало денег, он должен искать, где бы подзаработать еще. Это правило золотое, и мой отец узнал его раньше меня. Он скоро нашел себе подходящий заработок около той же мельницы. Ему не только не нужно было отлучаться с нее — напротив, пришлось бывать там как можно чаще, даже по ночам.

Работа была нехитрая. Она не требовала особых приспособлений, кроме ножика да настила из досок под мостками, которые вели с берега на мельницу.

Вот так: тут берег — тут мельница у плотины; от берега к мельнице идут мостки. Они старые, и между половицами большие щели. Ближе к мельнице, как будто так и надо, еще мостки под мостками: в них уже щелок нет.

Как шьются мешки для зерна, вы знаете, и объяснять это нечего — берут кусок ткани, складывают и соединяют концы, где нужно, ниткой. Но нитки бывают и гнилые, а ножики у нас в Испании острые.

Посмотрите вот на этот ножик. Он достался мне от отца, на память: те, кто работает на галерах, не нуждаются в таких ножиках. Если человека отправляют туда, ему прежде всего говорят, чтобы он оставил дома все ненужные вещи.

Так однажды он работал ночью, и все шло хорошо: ночь была темноватая, потому что луна тоненьким серпиком еле-еле светила из-за домов; лягушки квакали в лужах, кавалеры пели серенады, вода журчала под мостками, а зерно сыпалось совсем неслышно.

Но к отцу подошел вдруг человек, положил ему на плечо руку и спросил:

— Ты что здесь делаешь, дружище?

Отец ответил:

— Да ничего не делаю.

Но рука его дрогнула и сделала прорез, только уже не по шву, а по целому месту. Затем, подумав немного, правда, так немного, что за это время ничего путного выдумать было нельзя, отец добавил:

— Я тут только грязь налипшую почистил и ничего больше.

Тогда пришедший плюнул в свою правую ладонь, сжал руку в кулак и, сказав: «Ты не дружище, а плут», так хлопнул отца кулаком по тому месту головы, где сзади на ней перестают расти волосы, что, должно быть, этим самым ударом отшиб у отца всякую способность соображения.

Вы разберитесь сами: судья его спрашивает:

— А много вы делали порезов?

Вопрос для судьи смешной: разве брюхо скажет, сколько оно пропустило через себя хлеба? И брюхо молчало, но глупая голова призналась:

— Да.

Судья спрашивает еще:

— Давно?

Голова опять:

— Лет пятнадцать.

Но судья был еще скуп — он решил, что за каждый год работы не стоит вознаграждать равным количеством времени на морские прогулки.

Все остальное, что было приложено к приговору, он дал бесплатно. Известно, что чем больше статей в приговоре, тем он милее судье.

Простившись с отцом в тюрьме последний раз и наплакавшись вволю, мы возвращались с матерью домой, чтобы начать жизнь совсем новую. И тут-то мы встретили падре Антонио.

Не стал бы я упоминать о нем, если бы он не утешил нас так хорошо. Остановив мать, он сказал:

— Не плачьте, дети мои. Слышал я о том, что говорил Хульянито на суде, и понял, что душа у него благочестивая, ибо он говорил только правду и за нее теперь изгнан. В писании же сказано: «Блаженны изгнанные за правду — в царствие небесное идут они».

Потом он стал уговаривать мать идти к нему в услужение. Но мать отказалась. Не знаю, хорошо ли она поступила: падре Антонио и сейчас благополучно живет в Саламанке — правда, нос у него стал кривой. Когда дерево вырастает — оно может скривиться, спина старого человека горбится сама по себе, но если нос в середине жизни становится кривым, то, наверное, не без чужой помощи.

Как бы там ни было, она решила жить самостоятельно: переехала из Тормесского предместья ближе к университету, обзавелась квартиркой, пустила в лишние комнаты студентов, кормила их, стирала и штопала им белье.

Но за такую работу платят плохо. Саламанкские же студенты и вообще думают, что не платить лучше, чем платить. Как тут проживешь?

Должно быть, с горя и лишений мать решила снова выйти замуж.

<Глава II>

Увидев этого слепого, я рассмеялся. Он был толстый, пузатый, на коротеньких ножках и всем ростом немного больше меня. Особенно же веселый был у него нос, и уж если я упомянул о носе падре Антонио, то грешно было бы не рассказать об этом. Вот если взять мой нос и, наставив его на три пальца, сжать так, чтобы он стал наполовину тоньше, затем ноздри подвернуть вот так и так — чтоб одна была ближе к щеке, а другая как бы гуляла на свободе по всему белому свету, пожалуй, получилась бы точная копия того носа. Глаз у него не было — недаром же он был слепцом, — просто две ямки под бровями, по обе стороны носа, и такие, что будто кто наплевал туда не чистой слюной, а после не особенно вкусного завтрака.

Слепой услышал, как я засмеялся, и спросил:

— Кто это у вас тут — мальчик?

— Да, мальчик, — ответила мать.

— А-а! — сказал слепой и ни о чем больше не спросил.

Прожил он у нас несколько дней. Первые два дня никуда не выходил — все разговаривал с постояльцами да читал им разные молитвы. На третьи сутки, сидя на кухне, где он и ночевал, слепой спросил мою мать:

— А этот мальчик твой?

Ему уж и в то время было известно, чей я мальчик, но ведь всякий разговор начинается или с приветствия, или с иных осторожных слов.

— Да, — ответила мать, — я вдова, и отец этого бедного ребенка умер в сражении с маврами, дабы возвеличить истинную веру. Горе мне — я не знаю, как воспитать сироту и к какому ремеслу пристроить.

— Вот, — сказал слепой, — мне как раз нужен такой смышленый мальчик. У меня был недавно один, но решил плыть за золотом в Индию, — я же хозяин хороший и дурному ничему не учу: только молитвам да тому, как знать, что нужно другим людям и чего они желают.

— Правда, — ответила мать, — бедному человеку нужно знать, чего желают другие люди; о молитвах же я ничего не скажу, но уж если ты научишь его и молитвам — он сам поймет, на что молитвы могут пригодиться.

После этого разговора так и вышло, что я взялся за один конец палки, а новый мой хозяин — за другой, и мы отправились на саламанкский рынок.

Ходили мы туда с неделю. Потом слепой сказал:

— Плохой город Саламанка. Разговаривают здесь много, а подают мало. Это потому, что тут много студентов и им нужно учиться говорить. Иди к своей матери — простись: мы найдем город попроще.

Оставив слепого у городских весов, я побежал в гостиницу и простился с матерью. Она поплакала, и я тоже.

— Чует мое сердце, — сказала она, — что больше уж не увижу я тебя. Но иди, иди. Я тебя воспитала, пристроила к хорошему хозяину, теперь ты должен сам зарабатывать себе хлеб.

Я вернулся на рынок, разыскал хозяина, сказал «пойдем», и мы тронулись.

Выходя из города, мы спустились к каменному мосту, а на нем, как известно, стоит каменный же зверь, вроде быка. Не пришлось бы мне вспоминать об этом чучеле, если бы не слепой.

— Вот мы и у моста, — сказал хозяин, — видишь ли ты, Лазарильо, каменного зверя?

— Вижу, — ответил я.

— Этот зверь, Лазарильо, замечательный, — продолжал слепец, — днем и ночью в нем разговаривают духи. Если хочешь услышать, как и что они говорят, — приложи к зверю свое ухо.

Я поверил и приложил. Но прежде чем услышал что-либо — почувствовал такой удар, будто зверь меня лягнул, — искры из глаз разлетелись во все стороны, и на голове сразу вздулась огромная шишка.

И я заплакал. А слепой, стоя на мосту, хватался руками за свое брюхо и хохотал без конца. Потом, нахохотавшись, должно быть, вдосталь, сказал мне, тоже сквозь слезы:

— Учись, мальчик, учись. Поводырь у слепого должен знать больше самого черта. Золота и серебра я тебе дать не могу, но умных советов дам сколько угодно, и с ними ты не пропадешь.

Вечером мы остановились перед одной деревней. Наверное, она была уж так бедна, что слепой не захотел идти туда и расположился на ночлег у пустых построек в поле. Снял он со спины свой холщовый мешок, положил его около себя, пощупал и вздохнул. Потом, погодя немного, вытащил из-за пазухи ключ на ремешке, отпер замочек у мешка, достал оттуда два ломтика хлеба и, передавая их мне, сказал:

— Ешь. Это твоя порция. Мы люди благочестивые, и много есть нам не полагается.

Чтобы съесть немногое, и времени нужно немного. Так было и на этот раз. Когда мы со слепым ходили на саламанкский рынок — он мне давал так же мало, как и теперь, но я кормился у матери на кухне. Но в этот день, не поев ничего с утра, я нашел ужин очень скудным.

Слепой же через маленькую дырочку таскал из своего мешка кусочек за кусочком: то колбасы, то ветчины, то еще чего-нибудь неплохого. Я присмотрелся, подумав: «Нельзя ли и мне получше познакомиться с содержимым мешка?» Но увы! Как только рука хозяина вытаскивала что-либо оттуда — отверстие замыкалось. Да и, пропуская еду, оно было столь малым, что ничья другая рука, кроме хозяйской, не могла туда пробраться вместе.

Слепой понял, что я смотрю на него.

— Напрасно смотришь, — сказал он, — ничего больше не получишь. Разве ты это заработал? Только тот думает, что другие едят много, кто сам жаден. Жадность — смертный грех: запомни это, мальчик.

Я и пообещал запомнить. Что же мне было еще можно сделать? Подложив мешок под голову, слепой вскоре захрапел, а мне долго не спалось на голодный желудок.

Утром он выдал из своего мешка не больше, чем вечером. Позавтракав, мы отправились на работу, как он называл свое дело.

Как только мы дошли до другой, более зажиточной деревни — а она оказалась недалеко, — работы пришло столько, что хоть отбавляй. У моего хозяина был ей-ей дьявольский нюх на наживу. Едва мы поравнялись с общественным фонтаном, где стояла кучка женщин, пришедших набрать воды и обменяться деревенскими новостями, слепой остановился и сказал:

— Не прикажете ли убогому слепому прочесть молитву на благополучное разрешение от бремени?

Одна женщина попросила:

— Прочти.

Слепой начал произносить слова молитвы громким и зычным голосом. Чтение, должно быть, понравилось, и вознаграждение было вручено немедленно. Доведя первую сделку до конца, слепой стал предлагать другие. Он говорил:

— А от зубной боли?

И уже какая-нибудь набожная хозяйка кричала:

— Да!

Причем тут же ее перебивала другая, прося:

— Нет, сперва мне, против болей в желудке.

Теперь уж мне и не пересчитать тех молитв, какие знал мой хозяин и на какие был спрос. От молитв перешли к лекарствам. Одна говорила, что у нее стреляет в бок, другая жаловалась, что ее колени в сырую погоду не хотят сгибаться. И против этого у слепого оказались средства.

— Возьмите такой-то травы, настойте ее на красном вине и принимайте по утрам, — советовал он одной болящей; для другой находил какие-нибудь плоды или корешки, для третьей — чудодейственные камни, для четвертой — воду из благословенного источника. Так продолжалось почти до заката солнца. Когда мы расположились на ночлег в той же деревне, слепой подсчитал свои барыши и остался доволен.

— Да, — сказал он, — если бы я родился в древности, я превзошел бы славою самого Галена.

— А кто был этот Гален? — спросил я, но хозяин не счел нужным ответить. Вместо ответа вытянул он из своего мешка кусочек хлеба, протянул мне и сказал:

— Ешь, вознося благодарения всевышнему за то, что он дает мне обильную жатву и сохраняет тебя от голодной смерти.

Съел я поданный кусок и, погладив свой живот, не обнаружил в этой части моего бренного тела никаких изменений против того, чем была она минуту назад.

Я разозлился. «Ладно, — решил я, — благодари сам всевышнего в меру наполнения твоего желудка, а я поищу себе пропитание где сумею».

И когда слепой, снова положив мешок под голову, заснул — я вытащил из укромного местечка отцовский ножик.

— Ну, приятель, — сказал я ему, — отправляйся на работу. Тебе не впервой, и твоя помощь мне очень нужна.

Подобрался я к суме и, подпоров у нее нижний шов, повытаскал через дыру все, что мне понравилось, — уж конечно, не два или три ломтика черствого хлеба, а колбасы, ветчинки, пару луковиц.

Грехом было бы сказать, что в эту ночь я спал плохо. Шов же на мешке я зашить не забыл.

Утром слепой, вскидывая свой мешок за плечи, подозрительно покосился в мою сторону и ощупал швы, но ничего не сказал.

Так ходили мы дня три или четыре из села в село, всюду находя многих доброжелателей и людей, нуждавшихся в наших услугах. Утром и днем по-прежнему я благодарил бога за еду больше, чем следовало, так как еды не прибавлялось. Зато по ночам обходился без лишних просьб и благодарностей и спал хорошо.

И уже совсем успокоился за свою судьбу, но разве можно было провести такого хитреца, как мой слепой?

Однажды, когда вечером мы подходили к большому селу, возвращалось впереди нас к своим хлевам стадо коров. Известно, что после принятия обильной пищи коровы оставляют за собой на дороге многие вещественные следы житейского своего благополучия. Слепой шел, шел и вдруг попал ногой в такой след. Я уже ожидал брани и колотушек, на которые был так щедр мой хозяин, но он вместо того схватил меня за шиворот, как ястреб цыпленка, и не успел я опомниться, как лицо мое уже было в той же куче, где и нога хозяина.

— Что, — сказал он, — теперь ты будешь знать, как пахнет хлеб, никогда не предназначавшийся для твоего желудка?

«Ах, проклятый слепой», — подумал я, отплевываясь и обтираясь, но делать было нечего — нужно было выдумывать новые способы сытно обедать или ужинать.

Да и то сказать: если бы человек сразу находил, как ему лучше жить, — скоро все сделались бы дураками.

Дня через два я уже наловчился другому. Не всякий благотворитель вручает даяние прямо слепому — часто оно проходит и через руки поводыря.

Еще легче с деньгами — их не нужно ни ломать, ни резать: даже и очень небольшая монета делится на другие, меньшие. Если за правой щекой держать полубланки, очень просто поданную бланку отправить за левую, а слепому вручить только половину даяния.

Уже мой слепой и из-за этого стал ругаться.

— Что за дьявол, — говорил он, — с тех пор как ты ходишь со мною, мне почти вовсе не подают бланок, а все полубланки; раньше, бывало, подавали и мараведи. Нет, мне из-за тебя не везет.

И сердито обрывал молитвы на полуслове, когда убеждался, что опять пришла только самая мелкая монета.

Редко найдешь такого человека, который бы брезговал вином, — мой же хозяин от него никогда не отказывался.

Признаться, я тоже думал, что в вине понимаю не хуже слепого. Кроме того, знаю, что человеку на его жизнь отпускается определенная порция хмельного, — никогда не выпьешь больше того, что выпьешь. К чему же мне было отказываться от своей порции?

Сперва я добывал ее очень просто: стоило только слепому отвернуться от кувшина, как около него уже оказывался я. Однако хозяин по количеству глотков скоро догадался о недостаче.

— Этот дьяволенок думает надуть меня с вином, — сказал он как-то однажды.

Никакого дьяволенка с нами не было, и потому я подумал: «Нужно быть осторожнее». Однако проявить осторожность мне не пришлось — слепой при остановках стал кувшин помещать между своих ног. Дня два я утолял жажду только из придорожных источников. Но вода у нас в Испании не всегда вкусна, и, кроме того, столь простой напиток не может радовать сердце.

К концу второго дня остановились мы у харчевни. На ее крыльце сидела девочка и грызла длинную ржаную соломину. Много такой же соломы было разбросано рядом.

«Эге!» — сказал я себе и стал отбирать самые крупные и толстые стебли. Когда странствуешь от деревни к деревне — солома попадается на каждом шагу, и здесь она не была находкой. Но все же подобранные стебли служили мне хорошую службу почти неделю, и слепой опять ругался, что вино убывает.

И когда рука его однажды поймала соломинку — он стал прикрывать кувшин тряпкой, оставляя только такой краешек, который был нужен для его губ.

Напрасно я клялся и божился, что соломинка попала в кувшин случайно и что я не пью вина, предпочитая воду, — слепой отмалчивался.

После долгих хождений кривыми дорогами взяли мы прямой путь на Толедо. Слепой сказал:

— Народ там не щедр, но богаче, чем в Саламанке, и со скупого возьмешь больше, чем с голого.

Идя в Толедо, остановились мы у местечка Сельмород, где шел сбор винограда. Один сборщик подал нам милостыню большой кистью спелых ягод. Слепой ощупал ее со всех сторон, убедился в том, что такое даяние в суму не спрячешь, и сказал:

— Садись. Мы с тобою по-братски поделимся этой кистью. Делить мы станем так — я сорву раз, ты — другой; потом опять я и снова ты. Но обещай мне не брать каждый раз больше одной ягоды. Я буду делать то же, пока не кончим.

Я обещал. Начали мы есть, но уже на втором разе хозяин нарушил свое обещание, взяв две ягоды. Я последовал его примеру и потом брал сколько приходилось. Кисть была очищена скоро, слепой ощупал ее длинные стебли, покачал сокрушенно головой и сказал:

— Лазарь, ты надул меня. Клянусь животворящим Крестом Христовым, что ты ел по три ягоды.

— Нет, не ел, — горячо возразил я, — и почему вы так думаете?

— Потому что ты ничего не говорил, когда я ел по две.

Я рассмеялся и ответил:

— Ваша правда. Вы очень догадливый человек. Только вы на меня не сердитесь — я обещаю вам впредь слушаться всех ваших советов.

Моя похвала пришлась слепому по вкусу, и на этот раз он не отпустил мне очередной порции колотушек.

Ох уж эти колотушки! Если бы не иссякло из-за них мое терпение — долго ходил бы я со слепым, и еще многому он научил бы меня.

В Эскалоне остановились мы, как часто и в других местах, в харчевне, среди двора. Слепой достал из своего мешка толстый кусок колбасы и велел мне надеть его на вертел и поджарить на огне, что был разведен погонщиками. Мясо уже зашипело, когда он вспомнил, что у него все вино вышло. Достав мараведи и сунув мне монету вместе с кувшином, он послал меня за вином; вертел же отобрал и сам принялся дожаривать свою снедь.

Но когда он еще доставал деньги, я заметил совсем рядом с нами у канавки в куче мусора гнилую репу — достаточно длинную, чтобы походить на кусок колбасы. Жареная колбаса — неплохое кушанье. Она одинаково приятна и для старого, и для молодого желудка. Короче говоря, я оставил слепого за жареньем репы, а сам, пока продавец цедил мне вино из бочки, основательно закусил мясным.

Вернулся я в тот момент, когда слепой, положив обгорелую репу между двумя ломтями хлеба, собирался отправить кушанье в свой рот.

Но едва он откусил и жевнул, как тут же выбрал откушенное на ладонь и закричал:

— Что это, Лазарь?

— Вот еще, — ответил я с досадой, — опять вы хотите чего-нибудь на меня свалить. Ведь я же бегал сейчас за вином: кто-нибудь посмеялся над вами, благо меня здесь не было.

— Врешь, — еще яростнее закричал он, — я не выпускал вертела из рук. Ну, на этот раз ты получишь от меня даже больше, чем следует.

Я продолжал клясться и божиться, что ничего не знаю и ни в чем не повинен, но слепой, не слушая этих клятв, вскочил, схватил меня за голову и, раскрывши мой рот, засунул в него свой длинный нос, желая удостовериться, чем от меня пахнет. Не знаю, действительно ли эта колбаса так пахла, что он мог изобличить меня, — но тут случилось другое: его нос от злости удлинился вдвое и пролез мне прямо в глотку, откуда и вылетел тотчас же вместе с фонтаном разных съедобных вещей, поглощенных мною за день. Плохо разжеванная колбаса вылетела раньше всего.

Прежде чем меня вырвали из его рук дремавшие тут же погонщики и люди с кухни, он успел выдрать достаточно волос из моей головы, расцарапал щеки, шею и горло.

Сердобольная женщина, вступившись за меня, стала укорять слепого за жестокое обращение с ребенком.

— Хо-хо, — сказал слепой, — это не ребенок. Это по меньшей мере внучатый племянник самого дьявола.

И в свое оправдание стал рассказывать о моих хитроумных проделках.

— Такого мальчика нужно учить с утра до вечера, тогда из него выйдет толк, — закончил он свои рассуждения.

Толстый рыжий погонщик засмеялся во все горло — должно быть, рассказ слепого ему показался забавным. А когда засмеется один — в подражателях не бывает нехватки.

Слепой промыл мои раны принесенным вином, закусил уже не колбасой, а сыром и лег отдохнуть.

Я же, поплакав втихомолку, решил уйти от слепого, но прежде с ним рассчитаться.

Не сразу я надумал, как это сделать. Еще с неделю водил я его по дорогам, правда выбирая самые худшие, так что он то и дело зашибал ноги о камни или купал их в грязных лужах. Но и мне от того было не легко. Я говорил, что лучших дорог не нахожу, а слепой все тыкал меня своей палкой в затылок и в спину, набивая шишки и ставя синяки.

И разлучить меня с ним было суждено не колбасе, а вину. Вышло это так.

Я нашел новый способ к удобному пользованию содержимым его кувшина. Зима стояла дождливая, одежды на мне было гораздо меньше, чем полагается для этого времени года, и вот, водя слепого, я все похныкивал, что мне холодно. Сердце его разжалобилось, и как-то, присев отдохнуть, он сказал мне:

— Иди ты, погрейся хоть у моих колен, а то надоели мне твои жалобы.

Мне же только это и было нужно: ведь кувшин-то с вином он оставил между ног. Очень скоро я проковырял в кувшине дырочку и залепил ее воском, чтобы пользоваться ею, когда мне захочется.

На другой день слепой уже пожимал плечами: должно быть, желудок его снова ощущал ежедневную порцию вина не в полной мере; на второй день он ругался так, что даже мне становилось страшно; на третий же, в полдень, едва я примостился между его колен и, отковырнув воск, пустил темную струю прямо себе в рот, — кувшин в руках слепого вдруг привскочил и, прежде чем я успел вскрикнуть, с треском разбился о мою голову.

Очнулся я не сразу, а когда открыл глаза, увидел, что слепой промывает мою разбитую голову вином, но уже из другого кувшина.

— Как нравится тебе, Лазарильо, — спросил он, — лечиться тем же, чем ты ушибся? Но клянусь всеми святыми, ты изводишь у меня на промывание в месяц вина больше, чем я выпиваю в два. Если есть на свете человек, которому вино приносит счастье, — так это ты.

Слушал я его глупые речи и понял, что он не на шутку был испуган тем, что рука не рассчитала удара. Поэтому я и сказал с сердцем:

— Может быть, оно и приносит мне счастье, но я любезнее разговаривал бы с ним, если бы оно лилось мне не на голову, а в рот.

— Хорошо, — ответил слепой примирительно, — ты становишься все сметливее и, по правде сказать, заслужил добрый глоток вина.

Заслуженное я получил тут же, но тогда же и решил, что слепец может меня убить, если мы опять чего-либо не поделим. Нужно было удирать.

Ночью пошел дождь. С трудом добрались мы до города. Поутру солнце выглянуло на час, но потом снова затянуло тучами все небо, и дождь продолжался. Мы укрылись в портале собора и простояли там до вечера в надежде переждать дождь; но он все лил и лил. Слепой стал беспокоиться.

— Нам нужно заблаговременно забраться в харчевню. Пойдем, Лазарь,—сказал он.

К харчевне можно было дойти, только перейдя ручей. В сухое время года его переходят вброд, но теперь вода в нем бурлила вовсю, и я сказал хозяину:

— Дяденька, мы тут не перейдем — широко и глубоко. Выше есть место поуже. Там можно перепрыгнуть, если хорошенько разбежаться.

Совет мой ему понравился. Он ответил:

— Ты догадливый парень. Люблю тебя за это. Действительно, в зимнее время нужно беречь ноги — как раз простудишься.

Я вывел слепого из-под портала, перевел через площадь к большому дому, своды которого стояли на толстых каменных столбах и где по желобу в земле стекала к ручью дождевая вода.

— Вот, — сказал я, — сейчас я прыгну, а вы уж по слуху за мной. — И прыгнул за каменный столб.

Слепой отступил шаг назад, подскочил, как козел, и бросился вперед. Столб зазвенел от удара, будто тыквенная бутыль, а слепой рухнул в канаву без чувств.

— Что? Каково? — спросил я, выбежав из-за столба. — Вы нюхали вино, вы нюхали колбасу, вы заставляли меня нюхать, как пахнет чужой хлеб. Теперь вам было угодно понюхать столб. Прощайте.

Тут уже стали сбегаться люди. Но еще раньше ночи мои ноги принесли меня в Торрихо.

Глава III
Лазарь рассказывает, что церковники злее и скупее бродяг

В Торрихо я не задержался: мне казалось, что слепой там может меня найти. Я перешел в Македу, где утром встал у церкви, чтобы просить милостыню.

Перед началом службы прошел, как всегда бывает, поп. Он был рослый, жирный, и подо ртом я насчитал у него четыре подбородка.

Когда служба кончилась, он, проходя по паперти, остановился вдруг передо мной и сказал:

— Мальчик, не умеешь ли ты прислуживать при богослужении?

— Да, ваше преподобие, — ответил я, — умею, и достаточно хорошо.

Я не очень солгал, сказав так: слепой действительно обучил меня молитвам и многому другому, что касается церковных дел.

— Ну, тогда пойдем со мной, — решил поп, — видно, сам бог привел тебя ко мне.

Не могу сказать, вправду ли бог привел меня к нему, но, не прожив у него и недели, я уж понял, что к такому человеку по доброй воле сам никто не придет.

Во всем доме у него только и было обстановки, что кровать да ларь. На кровати он спал, а в ларе под замком хранил провизию; ключ же от этого замка носил на ремешке у пояса. Получая хлеб из церкви, он сам укладывал его в ларь; туда же прятал и остававшееся от богослужения вино, никогда не прикупая лишнего.

В первые дни я облазил все закоулки дома, но не нашел ничего такого, что бывает в других домах: ни сала, подвешенного в срубу для копчения, ни кусочка сыру, ни даже хлебных объедков. Через окошечко я мог заглянуть в запертый чулан под крышей, но и тот был пуст, если не считать двух десятков луковиц, висевших в нем у потолка.

Хозяин в тот же день, когда нанял меня, принес порцию супа, в котором плавало мяса по меньшей мере на пять бланк. Я сначала было облизнулся от удовольствия, вспомнив рассказы о том, что церковники живут без нужды, но когда увидел, что суп быстро убывает и мяса в нем почти не остается, — у меня засосало под ложечкой.

Уже когда в миске осталось не больше пяти ложек жижи, а мяса столько, сколько в глазу белка, хозяин придвинул миску ко мне, подал недоеденную им корочку хлеба и сказал:

— Ну, ешь. Священники должны быть умеренны в пище и питье. Вот почему я не распускаю себя и советую тебе следовать моему примеру.

В той местности каждую субботу едят бараньи головки. Первая суббота пришлась дня через три после моего прихода, и один благочестивый прихожанин принес подарить к ней моему хозяину баранью голову, большую и жирную. Поп сварил приношение, съел глаза, язык, затылок, мозги, мясо, которое было на щеках, и, передавая мне остатки вместе с тарелкой, сказал:

— Ну, кушай и радуйся, что ты живешь на свете, — жизнь твоя лучше, чем жизнь самого папы.

Было у него положение еще давать мне из чулана одну луковицу на четыре дня.

Сидел у него однажды очень почтенный прихожанин, как раз в день, когда мне следовало получить свою порцию лука. Голод меня мучил, а разговор у них был длинный, и я осмелился напомнить хозяину о луковице. Он отвязал ключ от пояса, подал мне и сказал важно:

— Возьми и принеси его сейчас же. Ты только и делаешь, что лакомишься.

Если бы он не считал свои луковицы, я осмелился бы тогда взять две. Но я уже знал, что поп дерется не хуже слепого.

И даже во время церковных служб я не мог стащить у него ни одной бланки: хозяин мой умел смотреть одним глазом на народ — другим на меня; его глаза бегали в своих впадинах, как ртуть, и, едва кончалась служба, он схватывал тарелку, чтобы поставить ее на жертвенник.

Уж если где и везло мне — так это на похоронах: хотя мой хозяин там ел и пил за пятерых, но мне все же кой-что перепадало.

Первое время я даже молился и утром и вечером о том, чтобы умирал каждый день кто-либо. Но я увидел скоро, что мои молитвы в том помочь не могут.

Прожив у попа три недели, я почувствовал, что вскоре перестану таскать ноги. Я уже стал укорять себя за то, что так жестоко расправился со слепым. «Это мне поделом, — думал я, — сделав зло хозяину, плохо меня кормившему, я попал в наказание к такому, который вовсе не кормит меня; если же я уйду от этого —

попаду, пожалуй, еще к худшему и окажусь там, откуда уже не будет слышно о Лазарильо».

И однако, не сумев сделать так, чтобы каждый день умирал кто-либо на мою пользу, я догадался наконец, как помочь себе в этой беде.

Хорошие мысли приходят к нам, будто сваливаясь с неба. Сидел я однажды у порога хозяйского дома и увидел идущего мимо человека, по одежде слесаря.

— Сделай милость, дяденька, — сказал я ему, — зайди к нам. Я потерял ключ от ларя и боюсь, что хозяин будет меня бить. Может быть, из тех ключей, что вы носите на поясе, который и подойдет.

Он вошел по моему приглашению и очень скоро подобрал новый ключ.

— Заплатить вам деньгами я не могу, — сказал я ему, — возьмите в уплату из ларя тот хлеб, который вам понравится.

Он так и сделал, а мне передал ключ, сняв его со своего пояса. Но в его присутствии я ничего не тронул, боясь быть заподозренным.

Тут же вскоре пришел и хозяин. Он отпер ларь, чтобы положить туда новое приношение, но не заметил пропажи.

На другой день, как только он ушел в церковь, я отпер ларь, выбрал себе хлеб повкуснее, съел его с такою быстротой, что и представить ее невозможно, и принялся весело подметать комнаты.

На следующий день я повторил свое дело. И опять все сошло благополучно.

Но на четвертый день хозяин, подняв крышку ларя, посмотрел туда с большим недоумением; потом стал что-то считать по пальцам, отчего сердце мое похолодело и поджилки затряслися. Я принялся молиться святому Хуану, чтобы он затмил глаза хозяина, но и этой беды не отвратил своей молитвой.

Пересчитав хлеба раз, другой и третий, хозяин сказал:

— Если бы ларь не запирался так надежно — приходилось бы думать, что хлебы из него у меня крадут. С сегодняшнего числа буду вести им счет. Осталось девять целых и один початый.

Мне показалось, что слова его были словно стрелы, я почувствовал, как они вонзились в мой желудок.

«Девять несчастий тебе, святой отец, — подумал я, — и еще одно сверх того».

А когда он ушел из дома, мне осталось только, приподняв крышку ларя, посмотреть на лежавшие под ней хлебы да отрезать самый тоненький ломтик от початого.

Дня через два желудок стал мучить меня невыносимо. Тогда я подумал: «Хозяйский ларь стар и в нескольких местах поломан: хотя и не большие в нем дырки, но они есть, и мыши или крысы туда пролезть могут. Если нельзя утащить целый хлеб — можно выкрошить их так, как они это делают. Когда же они уходят — кто может сосчитать, сколько их было?»

Подумав, я так и сделал. Накрошив от трех или четырех хлебов достаточно мякоти, я съел крошки и запил их водой.

Хорошее расположение духа снова пришло ко мне, и, если бы не вернулся вскоре хозяин, я отнес бы тот день моей жизни к радостным дням.

Но он не заставил себя ждать и, войдя, направился прямо к ларю.

....

Окончив непривычную для него работу и довольный ее результатами, хозяин мой сказал:

— Ну, вероломные господа крысы, напрасно вы забрели сюда в расчете на легкую поживу: у хорошего хозяина ничто не пропадет.

И уже тогда, успокоенный, отправился к своей постели.

Едва он захрапел, я, осторожно приблизившись к ларю, осмотрел хранилище со всех сторон, ища хоть какой-нибудь дырки, но увы! — не было даже щели, через которую смог бы пролезть комар.

Ночью голод снова стал меня мучить, я вертелся на своей соломе и все думал: как же мне быть?

Но правду говорят, что голод — первый изобретатель в мире. Лишь вспомнил я о моем ноже и о том, что у крыс очень острые зубы, как уже знал, что нужно мне делать.

Я прислушался сперва — спит ли хозяин? Он храпел вовсю. Ночь была темная, за окном накрапывал дождик, а нож лежал у меня под подушкой.

Ползком я подобрался к ларю и, отыскав на нем место потемнее, стал вертеть в доске дырочку ножом, как буравчиком. Ларь был стар и изъеден червями — он недолго сопротивлялся. Снова я повыкрошил хлеба, сколько мог, а оставшуюся часть ночи проспал спокойно.

Утром хозяин увидел следы нового набега и в ларе, и около него. Он вздохнул так, будто вспомнил о потере самого дорого для него человека, и произнес сокрушенно и недоумевающе:

— Кто бы это сказал? В этом доме никогда не было ни крыс, ни мышей.

И он сказал, без сомнения, истину: где живет церковник — там нечего делать крысе.

Снова он заделал дырки. Но я ночью своим нехитрым прибором проковырял две рядом, а после не оставил себя внакладе. Так продолжалось с неделю — мы работали много: он — днем, я — ночью. К концу недели ларь уже не походил на ларь. На нем было столько заплат и разных гвоздиков, что он скорее напоминал кирасу, с честью послужившую какому-нибудь воину.

Видя, что придуманное им средство не помогает, хозяин осмотрел ларь еще раз со всех сторон.

— Конечно, — сказал он, — этот ларь так стар и испорчен, что крысам с ним просто нечего делать. Но как он ни плох — новый будет стоить несколько реалов, а этот не продашь и не выменяешь. Придется пытаться поймать вора, раз нельзя от него оградиться.

От пошел к соседям, выпросил у них крысоловку, достал там же кусочек старого, засохшего сыра и поставил ловушку с приманкой вовнутрь ларя. Сыр, как я уже сказал, был стар и сух, но все же в течение трех ночей я не без удовольствия добавлял его к своему однообразному ужину. Хозяин же по утрам восклицал:

— Как это может быть, что сыр съеден, защелка захлопнута, а вора в ловушке нет?

Соседи уверяли, что так быть не может, что, наверное, это не крыса. Один же из соседей сказал:

— Ваше преподобие, это, должно быть, змея. Они иногда заводятся в домах и поедают съестное с большой ловкостью. Змее ничего не стоит выползти из мышеловки. К тому же я вспоминаю, что в доме, где вы живете, змея когда-то водилась.

С тех пор мой хозяин уже не спал по ночам, так как змей он боялся. Если случалось в ларе заскрестись червяку или древоточцу, а их в гнилом дереве было достаточно, поп вскакивал с постели, хватал палку и принимался колотить ею по ларю с такой силой, что я просыпался.

Впрочем, я скоро привык бы к этому шуму и он перестал бы меня беспокоить (для работы же я выбрал другое время — день, когда хозяин уходил в церковь),

если б хозяин не стал будить меня каждую ночь два-три раза, чтоб перевернуть мой тюфяк и посмотреть, не спряталась ли змея там. Он говорил, что это животное любит тепло и всегда готово пригреться к человеку.

Хорошо еще, что, когда он первый раз подошел ко мне за этим делом, я не спал и успел выхватить ключ из-под подушки, чтобы спрятать его тотчас же за щеку. Тут вспомнил я с благодарностью своего учителя-слепого: это ходючи с ним сумел я переделать свой рот в кошелек и ухитрялся держать в нем до пятнадцати монет сразу, не мешая себе ни есть, ни разговаривать. Будь иначе — слепой отбирал бы мои бланки: он часто обшаривал все швы и прорехи моего платья.

Мой хозяин заболел, пожелтел, стал худеть и умер бы от огорчения, если бы не случай, которому было суждено спасти его от неминуемой смерти.

Раз, когда я уснул особенно сладко, ключ высунулся у меня изо рта, и мое дыхание, проходя через отверстие, превратилось в свист. Хозяин проснулся в страхе — ему приходилось слышать, что змеи свистят.

Вооружившись палкой, он пошел на звук, и свист привел его в мой угол. Тут он решил, что змея действительно забралась в солому и, размахнувшись что было силы, ударил палкой, но не по змее, конечно, а по моей голове. Свист прекратился, но я застонал, и хозяин, нагнувшись, ощутил под рукой кровь. Сбегав за огнем, обнаружил он странное зрелище, о котором не стоит рассказывать, ибо оно было и печальным: увидев, что ключ торчит из моего рта, поп сразу догадался, в чем было дело. Не знаю, что он сказал, так как был я все время совершенно без чувств, но, зная его за человека жестокого, думаю, что не иначе, как такое:

— Ага! Нашел я наконец и крыс и змею, которые воевали со мной, портя и уничтожая мое добро.

Очнувшись через несколько дней, увидел я, что вся голова моя залеплена пластырем.

— Что это такое? — воскликнул я испуганно.

— Ей-богу, — ответил хозяин, — я только охотился за крысами и змеями, которые меня разоряли!

Дня через два я встал. Хозяин велел мне собрать мои пожитки, сам вывел меня за дверь и сказал:

— Лазарь, с этого дня ты уже не мой слуга, а сам себе хозяин. Ступай с богом, ищи себе работы. Мне не нужен такой ревностный слуга — тебе только и быть поводырем у слепого.

И стал меня крестить вслед, как закрещивают одержимых бесами.

Глава IV

Лазарь рассказывает, как дворянская гордость с успехом может заменить злость и скупость бродяг и церковников

В Толедо я удачно просил милостыни две недели, пока не зажила моя рана на голове. После же люди стали мне говорить:

— Ты, бездельник! Поискал бы лучше работы. Найди себе хозяина.

Но если бы спросить говоривших, где его найти, вряд ли бы кто-нибудь из них ответил. Поэтому мне приходилось, обратившись к всевышнему, уверять его, что он хорошо поступил бы, если бы создал хозяина из ничего, как некогда создал мир.

И вот, должно быть, молитвы мои были услышаны. Однажды, стоя на углу двух улиц, увидел я идущего мимо высокого, стройного дворянина, под плащом и широкополой шляпой. Я знал, что дворяне не большие любители подаяний, и потому не особенно заинтересовался им. Но он сам остановился, поравнявшись со мною, и посмотрел на меня.

— Мальчик, — сказал он, — ты, наверное, ищешь хозяина.

— Да, господин, — ответил я.

— Значит, ты сегодня хорошо помолился, — продолжал он, — сам всевышний оказал тебе великую услугу, поставив тебя там, где мне пришлось проходить. Пойдем со мною.

Я обрадовался. Господин по своей внешности и по своему платью показался мне именно таким, каким должен быть хороший и богатый хозяин.

Было часов восемь утра, когда мы встретились. Он повел меня через весь город, мимо рынков, где продавались хлеб и всякая провизия. Мне сначала показалось, что он избрал этот путь, чтобы купить необходимое и навьючить на меня, но, когда мы миновали рынки, нигде не остановившись, я подумал: «Должно быть, он не находит здесь ничего по своему вкусу и покупает в других местах».

Пробило одиннадцать часов. Господин вошел в большую церковь, а я последовал за ним. Там с благоговейным видом прослушал он обедню и другие службы, пока не кончились все и народ не стал расходиться.

Быстрым шагом и мы двинулись в обратный путь, опять через рынки, но опять не остановились там. Однако я бежал за своим новым хозяином превесело и уже не думал о покупках — мне казалось, что господин мой принадлежит к знатным лицам, у которых всегда достаточно припасов дома, что ему незачем ходить по рынкам в поисках подходящей еды и обед, приготовленный хорошей стряпухой, если не поваром, уже ждет нас.

В два часа дня мы остановились перед входом в старый, мрачный дом с огромным гербом над дверьми. Господин, откинув левую полу плаща, достал оттуда ключ таких размеров, что, уж наверное, я не сумел бы спрятать его за щеку, щелкнул замком, и мы вошли. За входом, внушавшим страх, оказались: сперва небольшой светлый дворик, потом комнаты весьма приличной отделки.

Войдя вовнутрь, господин скинул свой плащ и спросил меня, достаточно ли чисты мои руки, чтобы сложить его одеяние. Когда я ответил ему, что за целый день мне не привелось в чем-либо выпачкаться, он передал мне плащ и сам принялся показывать, как нужно складывать плащи; потом господин приказал мне сдуть пыль с единственной скамейки, стоявшей в комнате, где мы находились; когда я исполнил и это, он сказал:

— Положи плащ на скамейку.

Я положил. Он сел и принялся расспрашивать меня подробно, кто я, откуда, кто мои родители, у кого я служил и что умею делать.

Мой рассказ вышел длиннее, чем мне хотелось, потому что хозяин не раз переспрашивал об одном и том же. Мне казалось, что лучше накрыть на стол, чем заниматься разговорами: я полагал, что для них найдется еще сколько угодно времени, но обед может пригореть или иначе испортиться.

Разговор сам по себе наконец исчерпался; хозяин же все продолжал сидеть, не отдавая никаких приказаний. Я уже стал беспокоиться за него: мне казалось странным, что человек ведет себя в отношении пищи как мертвец. Свободное время дало мне возможность обследовать глазами комнату, где мы находились, и следующие, вид в которые открывался из первой: дом казался заколдованным — ни звука, ни вещей; одна скамейка; не было даже ларя и кровати, как у церковника.

Просидев еще некоторое время молча, господин наконец спросил меня:
— Ты ел, мальчик?
— Нет, господин, — ответил я, — когда мы с вами повстречались, был еще только восьмой час утра, и я не мог нигде перекусить.
— Да, действительно, было рано, — согласился он, — но несмотря на это, я успел позавтракать до встречи с тобою. Во всяком случае предупреждаю тебя, что не буду сегодня есть до вечера. Поэтому устраивайся как хочешь, а после мы поужинаем.
Услышав такие слова, я почувствовал себя дурно и чуть не упал. Тут снова вспомнил я о наказании, преследующем меня за жестокую расправу со слепым. «Вот, — подумал я, — теперь уж попал к такому хозяину, который сам не ест и слуг своих не кормит».
Но я сумел притвориться, что мне не страшно, и ответил:
— Господин, я ведь еще мальчик и не очень нуждаюсь в пище. Кроме того, все мои прежние хозяева хвалили меня за скромность и неразборчивость в еде.
— Это большое достоинство, — решил господин, — за это я буду любить тебя больше, чем твои прежние хозяева. Обжираться пристало только свиньям. Люди, а тем более благородного происхождения, должны во всем знать меру.
После этого мне ничего не оставалось, как забиться в угол и, вытащив из-за пазухи оставшиеся от вчерашних подаяний три куска хлеба, попробовать утолить голод ими.
Господин, увидев меня за едой, сказал вдруг очень живо:
— Поди сюда, мальчик. Что ты ешь?
Я подошел к нему и показал свой завалявшийся хлеб. Он выбрал из трех кусков тот, который был посвежее и почище, и произнес:
— Ей-богу, это, кажется, недурной хлеб?
— Ну уж не такой, чтобы можно было назвать хорошим, — возразил я.
— Нет, нет, — продолжал он.— И откуда он у тебя? Чистыми ли руками он сделан?
— Этого я не знаю, — отвечал я, — но не прочь его съесть. Я никогда не питал отвращения к хлебу.
(Ну уж какой он был чистый, говоря между нами, когда я его сутки таскал за пазухой, а когда перед тем была последний раз моя рубашка — вряд ли определил бы самый догадливый человек.)
— Ну, однако, я его попробую, — сказал господин, — мне кажется, что он очень хорошей выпечки. Он вышел, должно быть, из рук замечательной хозяйки.
И прежде чем я успел сообразить, в чем дело, он принялся уписывать этот кусок с большим ожесточением, приговаривая:
— Да, да! Я не ошибся. Этот хлеб печен по особому рецепту, известному очень немногим. Если бы ты мог мне сказать, где живет та хозяйка, которая его пекла, — можно было бы договориться с ней, чтобы она каждодневно снабжала нас свежим хлебом своей выпечки.
Я ничего не отвечал, боясь, что свой один кусок он съест скорее, чем я два моих, и тогда примется помогать мне. Однако мы кончили еду совсем одновременно — никто не отстал. Господин, смахнув со своей груди на ладонь несколько крошек, упавших на платье, отправил и их тоже в рот. Затем сказал:
— Поди в соседнюю комнату: там стоит накрытый кувшин — принеси его, пожалуйста, сюда.
Я исполнил приказание, по дороге заглянув в горлышко кувшина и увидев там самую обыкновенную воду.

Хозяин отпил из кувшина несколько глотков, а потом предложил мне.

— Господин, — сказал я, — вина я не пью.

— Это не вино — вода, — ответил он, — можешь пить смело.

Пришлось мне отпить немного, хотя я вовсе не чувствовал жажды.

После этого сидели мы опять до ночи, разговаривая о разных вещах. Затем он прошел со мною в другую комнату, откуда я раньше брал кувшин, и приказал мне:

— Постели здесь, мальчик, мою постель, а я тебе укажу, как это следует сделать.

Новое дело не отняло у нас много времени, так как с этой несчастной постелью решительно нечего было делать. Она состояла из трех частей: очень грубой камышовой циновки, весьма тонкого матраса, набитого шерстью, и простыни неопределенного цвета и неизвестной ткани. В матрасе шерсти было гораздо меньше, чем требуется для этого предмета. Жесткое, конечно, невозможно превратить в мягкое, сколько ни колоти его и ни встряхивай, и мы напрасно делали это. Еще один, сам по себе, матрас был туда-сюда, но, положенный на циновку, он походил на ребра свиньи, подохшей с голоду.

Устроив постель, господин сказал мне:

— Знаешь, Лазарь, следовало бы сходить на рынок, чтобы купить чего-нибудь на ужин. Но, пожалуй, рынки уже закрыты: мы не заметили, что проговорили так долго. Кроме того, здесь, около рынков, по ночам шатаются всякие бродяги, занимающиеся грабежом. Лучше будет потерпеть до утра — тогда мы вознаградим себя с лихвой. После ухода моего предыдущего слуги я был один, и для меня не было смысла запасаться провизией, так как я обедал не дома. Но теперь необходимо устраиваться иначе.

— Ваша милость, не извольте заботиться обо мне, — отвечал я, — если понадобится, я сумею провести без пищи не одну ночь, а гораздо больше.

— И ты будешь здоровее, — заключил он, раздеваясь при моей помощи, — мудрецы и врачи говорят, что кто хочет прожит долго — тот должен есть как можно меньше и реже.

Я не знал тогда, как говорят мудрецы и врачи, но подумал: «Если секрет долголетия только в этом, видно, мне никогда не придется умереть: я не только до сего времени должен был исполнять это правило, но, должно быть, и впредь мне не избавиться от него».

Но мысли о долголетии меня не очень развеселили.

Господин же улегся на своей постели, подложив куртку и панталоны себе под голову и прикрывшись плащом. Мне он приказал лечь у него в ногах, что я и сделал с большим для себя неудобством, ибо только верхняя часть моего тела нашла себе подстилку — нижняя же должна была разместиться на голом полу. Хотя я не знаю, что было покойнее — подстилка или пол, я так и не мог заснуть до утра: мои кости, на которых уж вряд ли оставался фунт мяса, воевали всю ночь с тростником циновки да и между собою ссорились.

Как только рассвело — мы встали. Хозяин приказал мне тщательно вытрясти и выколотить принадлежности его одежды и потом умылся при моей помощи. За неимением утиральника вытерся он полою собственной одежды; затем причесался, подвязал шпагу и сказал, указывая на нее:

— Вот вещь, которую нельзя купить за все золото в мире. Из всех шпаг, сделанных знаменитым Антонио, это лучшая — нет прекраснее ее.

И, вытянув шпагу из ножен, он дал мне пощупать ее пальцами, причем добавил:

— Посмотри, какое лезвие! Им можно перерезать пук шерсти.

«Что же, может быть, и так, — подумал я про себя, — мои зубы и не из стали, но я сумею перекусить ими хлеб в четыре фунта».

Он вложил свою шпагу опять в ножны, надел широкополую шляпу и, накинув плащ, прямой и приосанившийся, направился к дверям. По дороге же сказал:

— Лазарь, пока я буду у обедни — присмотри за домом, прибери комнаты и принеси воды с реки — она здесь недалеко. Если вздумаешь уйти — ключ повесь вот сюда, чтобы мне, в случае моего возвращения, тебя не дожидаться.

Едва он скрылся за поворотом улицы, я вернулся вовнутрь дома, обегал все комнаты и внизу и наверху, но не нашел ничего. Привести в порядок немудреную постель стоило немногого труда, подметать было нечего и нечем. Оставалось принести воды. Взяв кувшин, я отправился на реку. Там, на одном огороде, увидел я своего господина, узнав его сразу издалека по высокому росту и гордому виду. Он беседовал с двумя нарядными женщинами, каких в тех местах много и у которых все имущество, подобно моему господину, заключается в единственном платье. Женщины эти выходят на склон берега в огороды неспроста: обмениваясь любезностями со встречными кавалерами, они ищут счастливцев, располагающих возможностью угостить другого человека завтраком. Так было и здесь: когда эти две, о которых я говорю, увидели, что мой господин достаточно разнежен их милыми разговорами и ласковыми взглядами, они прямо перешли к делу, найдя, что дальнейший разговор, обещавший быть интересным, вести на огороде неудобно и что лучше поискать подходящую таверну. Господин мой, услышав это, задрожал от волнения — у него сбежала краска с лица, и он стал путаться в словах, приводя совершенно неуважительные извинения. Женщины же, должно быть, поняв, что у него в кошельке так же холодно, как жарко в желудке, сумели совершенно безобидно с ним расстаться, и господин мой, не заметив меня, благородным шагом пошел в сторону.

Я, набрав на огороде кочерыжек и пожевав их, не замедлил вернуться домой, где и ждал своего господина до двух часов в надежде, что он принесет мне чего-нибудь поесть. Но к двум часам я потерял эту надежду и решил отправиться на добычу, собрав в памяти все свои познания по этому делу, приобретенные еще у слепого.

Работа моя была удачна: еще не пробило и четырех часов, а желудок мой уже был полон доверху; кроме того, порядочная порция лишнего хлеба была рассована в рукавах и за пазухой. Подходя к дому, я в ряду, где продают мясную требуху, очень умильно попросил милостыни у одной женщины: торговка расщедрилась, дав мне вареного рубца и часть коровьей ноги.

Когда я пришел домой, господин мой уже был там, но плащ его не был сложен: очевидно, он ждал меня. И потому господин не сидел, а ходил. Я боялся, что он станет бранить меня за продолжительное отсутствие, и потому прежде, чем он успел что-либо произнести, я поспешил сказать ему в свое оправдание:

— Господин, я был тут до двух часов, но ваша милость не приходили, и я пошел по городу, чтобы обратиться к добрым людям. И посмотрите — вот что они мне дали.

Я отвернул полу своего платья, чтобы показать принесенное. Господин мой взглянул и снисходительно сказал:

— Ты поступил как порядочный человек — попросить лучше, чем украсть. Я ждал тебя обедать, но так как ты долго не приходил, то я подумал, что ты, должно быть, сыт — иначе не стал бы так долго отсутствовать, — и пообедал без тебя. —

Потом, помолчав, добавил: — Ну так ешь, бедняга. Скоро мы перестанем нуждаться и терпеть недостатки. Как только переселимся из этого дома. Он, должно быть, построен в недобрый час и на недоброй земле и входящим в него приносит несчастье. Лишь бы кончился месяц, на который я снял его, — больше я не останусь здесь, пусть даже предлагают мне это помещение даром.

Я сел с краю скамейки и стал покусывать хлеб и рубцы понемногу, чтобы господин не счел меня за обжору.

Он же, еще посмотрев, сказал:

— Ты можешь ходить к добрым людям, когда тебе понадобится, и просить все, что они смогут дать. Но ты не должен никому говорить, что живешь у меня: это касается моей чести. Хотя здесь никто меня не знает — все же соблюдай это правило.

— Не извольте беспокоиться, ваша милость, — ответил я, — никто меня об этом не спросит, а мне нет надобности рассказывать.

Я видел, что господину моему не совсем по себе. Он поднялся со скамейки и стал расхаживать вдоль комнаты, стараясь не глядеть на меня.

Наконец он не вытерпел и сказал:

— Скажу тебе, Лазарильо: первый раз в жизни вижу я человека, который ел бы так аппетитно, как ты. Даже тот, кто только что поел, глядя на тебя, сразу захочет есть снова.

— Господин, по делу и мастер, — ответил я, — хлеб этот до того вкусен, а нога так в меру сварена, что они у любого возбудят аппетит и видом и запахом.

— Это коровья нога?

— Да, господин.

— Мне пришлось однажды есть коровью ногу, которая была приготовлена лучше, чем фазан к королевскому обеду.

— Пожалуйста, господин, — посоветовал я, — мне кажется, что женщина, варившая ее, училась своему искусству не иначе как у королевского повара.

Я поднес ему ногу и четыре лучших куска хлеба. Господин сел тогда рядом со мной и принялся за еду; косточки он обгладывал лучше, чем это сделала бы любая собака.

— Да, — сказал он в середине еды, — несомненно, эта женщина постигла тайны поварского искусства: если бы еще соус — нельзя было бы найти подходящих сравнений в похвалу твоему кушанью; я ем его с таким аппетитом, будто у меня сегодня во рту не было еще и крошки.

На последнее я ничего не ответил, но о соусе подумал, что тот был налицо и господин лишь не хотел обратить на него мое внимание.

Когда же он попросил принести кувшин с водой — я увидел, что из сосуда еще ничего не было отлито, — значит, мои предположения о соусе оказались верными.

Следующие восемь–десять дней своим течением не принесли нам никаких изменений. По-прежнему господин ходил в церковь, а я за пропитанием и для себя, и для него. Не скажу, чтобы жизнь у нового господина казалась мне более тяжелой, чем служба падре или слепому. Правда, денег здесь было еще меньше (если уж возможны сравнения), но не было и колотушек, и кто бы сказал, что у своего нового господина я не пользовался полным доверием?

Мне уже казалось, что в дружбе и согласии мы с новым хозяином сможем прожить очень долго, как вдруг несчастие свалилось на наши головы: городской совет Толедо, по случаю неурожайного года, постановил изгнать из города всех пришлых бедняков с угрозою, что неподчинившиеся этому приказанию будут

наказываться палочными ударами. Вскоре же мне пришлось видеть, как толпу нищих прогнали из города именно таким способом. После этого печального зрелища я уже не осмеливался ходить по домам, и лишь две добросердечные женщины, жившие напротив нас, решили подкармливать меня. Но их подаяний было мало и на меня, и на хозяина — за несколько дней новой голодовки его тело вытянулось больше, чем у борзой собаки. Чтобы утешить себя, ему по временам ничего не оставалось, как только ковырять в зубах подобранной где-либо соломинкой. Сердце мое, когда я глядел на господина, прямо разрывалось от сожаления. Он же повторял:

— Ты видишь, что все мои неудачи от этого дома. Он мрачен, уныл, и, очевидно, прежний хозяин наложил на него такое заклятие, чтобы здесь никогда не ели и не пили.

Однако пришел он как-то домой очень веселый и, подавая мне реал, сказал:

— Вот, Лазарь, возьми и пойди сейчас же на рынок. Купи хлеба, мяса, вина. Нужно утереть нос черту. Сегодня — день радости: я нанял новый дом, куда мы и перейдем, как только доживем свой срок в этом. Беги скорее — пообедаем сегодня по-царски.

Я, схватив реал и кувшин, бросился к рынку опрометью. Но едва я оказался на углу ближайшей большой улицы, дорогу мне загородила, сворачивая в сторону нашего дома, длинная похоронная процессия со множеством духовенства. За гробом шла женщина, и, рыдая, она восклицала:

— О, супруг и господин мой! Куда вас уносят от меня? В дом несчастий, мрака и печали, в дом уныния, где никогда не пьют и не едят!

Услышав эти слова, я похолодел от страха, потому что вспомнил слова моего господина о заклятии нашего дома.

Стремглав, опережая процессию, я пустился домой, вскочил во двор и запер тяжелую наружную дверь на крюк.

— Что с тобою, Лазарь? — спросил меня хозяин.

— Несчастье, господин, — ответил я, — помогите мне удержать дверь: сюда несут покойника. Женщина, идущая за гробом, кричит, что его несут в дом, где не пьют и не едят. Ах, господин, сюда несут его!

Господин мой смеялся очень долго, я же, вцепившись руками в дверной крюк, никак не хотел расстаться с ним. Уже процессия миновала наш дом, и господину моему силой пришлось стащить меня с моей позиции. Кончив смеяться, он сказал:

— Наполовину ты прав, Лазарь, но раз они уже прошли, то все же лучше сходить на рынок.

И когда я, исполнив его распоряжение, вернулся домой, он смеялся снова. В тот день он пообедал действительно в хорошем расположении духа. Мой же аппетит был основательно испорчен.

А когда он выпил вина — напиток сразу ударил ему в голову, как это часто бывает с людьми, долго воздерживавшимися от хмельного, — и господин мой стал говорить:

— Вино моей родины — Старой Кастильи, — начал он, — не хуже, а лучше этого. Я всегда вспоминаю его, когда пью здешнее.

— Почему же, господин, нам не поехать на вашу родину? — спросил я его.

— Я покинул свою родину, — отвечал господин, — из-за соседа, который, пользуясь тем, что был богаче меня, не стал мне кланяться первый.

— Не понимаю, — сказал я, — что тут дурного? Если он был, как вы говорите, богаче вас, не обидно снять перед ним шляпу первым, тем более что он ведь отвечал на ваши поклоны.

— Ты еще ребенок, Лазарь, и ничего не понимаешь в вопросах чести, — возразил господин, — конечно, он отвечал на поклоны, но так как я много раз кланялся первым, то недурно было бы и ему подумать об этом. Я в правилах вежливости очень строг, и у себя на родине как-то оконфузил одного человека так, что он, наверное, и сейчас этого не забыл. Встречаясь со мною, он обыкновенно говорил: «Да поможет господь вашей милости». — «Вы, господин, дурно воспитаны, — сказал я однажды мужлану, — разве ваше пожелание кому-либо нужно?»

С тех пор он каждый раз при встречах снимал первый передо мною шляпу и говорил как следовало.

— А разве не хорошо так говорить? — спросил я.

— Только людям низкого происхождения можно так говорить, — пояснил мне господин, — таким же, как я, нужно говорить: «Целую руки вашей милости», а если тот, кто обращается ко мне, сам кабальеро, то: «Целую вам руки, господин». Лишь от короля я могу принять пожелание мне божьей помощи. Притом я вовсе не так беден, как может показаться с первого раза: в шестнадцати милях от моей родины, среди прекрасных холмов Вальядолида, у меня есть кусок земли, на котором можно построить такие дома, что они будут стоить не меньше двухсот тысяч мараведи. Разумеется, если их пышно отделать. Кроме того, старая голубятня давала бы мне ежегодно не менее двухсот голубей приплоду, если бы не была разрушена. Я о многом другом уже не говорю. Но все это я бросил потому, что честь моя была затронута. В Толедо я думал устроиться, но это оказалось не так-то просто. Здесь много служителей церкви, но что у них делать? Они живут в уединении. Кабальеро средней руки, приглашая к себе, думают обратить вас во вьючное животное. Притом в плату предлагают только пропитание, а если захотят подарить вам что-либо, то дарят то, в чем сами не нуждаются или что уже не носят: засаленную принадлежность одежды. И однако, попадись мне хороший кабальеро, я сумел бы угодить ему не хуже другого — смеялся бы одобрительно над всеми его действиями, даже если б они были не вполне удачны; никогда я не рассказал бы ему ничего такого, что могло бы его рассердить; я не стал бы очень убиваться над тем, что он не мог бы видеть, но я бранился бы за его интересы с его прислугой, когда бы он тут же присутствовал; я подливал бы масла в огонь, если бы ему самому пришлось напасть на кого-либо с бранью.

Так разглагольствовал он о своих достоинствах и талантах, и не знаю, чего бы наговорил мне еще, если бы в дверь не постучали. Я снял крюк. Вошла к нам старая женщина, за нею пожилой мужчина. Они без предисловий стали требовать с господина моего денег — мужчина за наем дома, а женщина — за постель. Всего было насчитано с добрую дюжину реалов — сумма, которую моему бедному господину нечего было рассчитывать собрать и в год.

Выслушав терпеливо их требования и неуважительные возгласы, господин мой сказал:

— Напрасно вы волнуетесь и ведете себя перед кабальеро неподобающим образом. Я только сегодня получил деньги от своего управляющего. Побудьте здесь — я сейчас разменяю крупную монету. Хотя уже поздний час и это не так легко будет сделать. Но я пойду, а ты, Лазарь, останься: постереги дом.

Сказав это, господин вышел, захватив с собою свое имущество, то есть шпагу, шляпу и плащ. Немного погодя ушли и кредиторы, обещав явиться снова через час, но господин мой не вернулся и через два — кредиторы должны были отправиться ни с чем восвояси; я же, боясь остаться на одинокую ночевку в нашем

мрачном доме, пошел к соседкам и, рассказав им об исчезновении моего господина, нашел там себе приют до утра.

Утром кредиторы опять появились, но уже в сопровождении альгвазила и писца и потребовали меня с ключом. Я пошел в дом вместе с добрыми соседками.

Когда кредиторы с представителями власти обошли покои моего господина и не нашли в них ничего, кроме скамейки и глиняного кувшина, они набросились на меня с криками.

— Это ты, — кричали они, — вместе с господином попрятал ночью все имущество куда-нибудь! Признавайся!

Альгвазил схватил меня за шиворот и, угрожая арестом, потребовал, чтобы я сказал всю правду. С испуга я решил ничего не скрывать и не щадить чести своего господина.

— Мебели и другого имущества, — сказал я, — у моего господина не было, но он говорил мне, что у него есть старая голубятня и кусок земли, годный под постройки.

— Хорошо, — ответил альгвазил, — этого вполне достаточно, чтобы получить долг.

Писец записал мое показание и спросил меня в свою очередь:

— А где же, в какой части города находится вышезаписанное имущество твоего господина?

— Оно находится не в Толедо, — возразил я, — а на его родине.

— А где его родина?

— В Старой Кастилье.

— Гм, — сказали враз альгвазил и его писец, — не правда ли, этого вполне достаточно, чтобы покрыть его долг?

Тут соседки вступились за меня, говоря, что я во всей этой истории ни при чем и что господин мой даже не кормил меня, так что мне приходилось питаться у них, а всю эту ночь я — после ухода моего господина — провел там же и никаких вещей никуда не таскал.

Альгвазил и писец охотно поверили словам соседок и отпустили меня, но принялись за старуху и пожилого человека, требуя с них платы за потраченное время. Напрасно те возражали, что опись не состоялась и потому платить не за что. Кончилось тем, что альгвазил с писцом захватили матрас и пошли прочь, и хотя старуха и пожилой человек побежали сзади их с проклятиями и держась за тот же матрас, но не думаю, чтобы из этого что-либо вышло: матрасу пришлось расплатиться за все.

Так кончилась моя служба третьему господину. Обыкновенно слуги покидают своих хозяев, но в этой истории вышло наоборот: мой господин покинул меня.

Глава V

Лазарь рассказывает, как ему, при содействии одного ловкого человека, удалось собрать долги почти со всех своих хозяев

Не буду рассказывать о тех многих хозяевах, которым я служил еще: все они были не хуже и не лучше первых трех. И чем старательнее я работал, тем больше копилось у меня обид и все чаще и чаще приходилось мне заносить в книгу моей памяти, кто сколько недоплатил за мою работу.

Однако я теперь уже долгов ни за кем не считаю: случай помирил меня со всеми моими хозяевами, и если что осталось за ними, то такие пустяки, о которых не стоит и говорить.

Я был уже достаточно взрослым парнем, когда в город, где я служил у альгвазила, пришел итальянец, продававший папские индульгенции по сходным ценам.

Итальянец был человек обходительный и, являясь куда-либо, всегда умел расположить к себе местный клир подарками. Дарил он недорогое — пару лимонов или апельсинов, мурсийский салат, когда на него была пора, иногда персики. Кроме того, каждый раз он справлялся о том, каковы познания местного духовенства в высоких науках: если оказывалось, что оно говорит по-латыни, он предпочитал при всех сношениях не менее благородный испанский язык, но когда убеждался, что расположение к деньгам у него преобладало над расположением к науке, — сразу вспоминал всю ученость Фомы Аквинского и с успехом заменял его в живом образе.

В нашем городке его постигла неудача. Почти никто индульгенций у него не покупал.

Проходя однажды с удрученным видом по улице, он приметил меня и зазвал в таверну.

— Послушай, малый, — сказал он мне негромко, — я вижу — ты не дурак и видал виды; мне нужен именно такой человек.

Он мне о многом говорил, я его о многом спрашивал. Наконец мы ударили по рукам, а вечером того же дня сошлись опять в таверне, когда там было много праздных и отдыхающих людей.

Я предложил ему сыграть в кости и немного выпить. Сначала все у нас шло хорошо и мирно, но потом он заподозрил меня в излишней ловкости рук и назвал обманщиком.

Я не стерпел обиды и обозвал его разбойником, постаравшись при этом подтвердить правоту своих слов, то есть заехал ему в ухо. Дело становилось серьезным — мы уже успели и вооружиться: я отцовским ножом — он стулом. Но сбежались люди и растащили нас в разные стороны. Видя, что рукам больше нет работы, мы пустили в ход языки: он кричал, что я служу не короне, а своему карману; я не менее деликатно доказывал, что он торгует поддельными индульгенциями и кончит тем, что его или повесят, или сожгут.

Наконец нас все же развели, решив, должно быть, что нашими дерзкими словами мы приносим вред и церкви, и государству одновременно.

На другой день итальянец с очень раннего времени отправился в церковь и, проповедуя, вновь предлагал покупать у него индульгенции. Однако проповедь его никого не трогала, а многие говорили, что индульгенции фальшивые, что это вчера служитель альгвазила доказал в таверне.

Продавец, уловив этот ропот, взошел опять на кафедру и стал говорить проповедь об обманщике-диаволе, который приходит под разными личинами, чтобы смущать верующих, и тем лишает их возможности войти в царствие небесное. Заключая свою проповедь, продавец советовал покупать у него индульгенции, чтобы таким способом ослабить силу диавольских козней.

Но когда он стал особенно красно говорить об этом, я, слушавший из притвора, более не утерпел и, войдя в самый храм, тоже поднялся на скамью.

— Добрые люди, — сказал я, — выслушайте меня сначала и тогда судите. Уже давно я знаю этого человека — раньше, пока не поступил я на службу к нашему альгвазилу, мы вместе обошли много местечек и городов, торгуя его фальшивыми индульгенциями и деля барыши пополам. Не буду рассказывать вам, как мы обманывали людей. Но теперь обратил внимание на мои прегрешения сам господь и вразумил меня, показав мне, какой вред приносит эта ложь и моей душе и вашему имуществу. Каюсь и объявляю, что больше не принимаю никакого

участия в его деле ни прямо, ни косвенно. Пусть он один несет наказание за свои прегрешения, так как он совратил меня и не хочет покаяться.

Некоторые почтенные люди, стоявшие рядом со мной, пытались прекратить мою речь, то есть, попросту говоря, сдернуть меня со скамьи на пол и зажать рот. Но итальянец, подняв свою правую руку, остановил их и сказал:

— Не трогайте его, братия. Дайте ему высказаться.

Но так как я уже все сказал, что можно было, то ответил лишь:

— И еще, служитель диавола, о многих мошенничествах твоих я мог бы повествовать, но пока довольно: об остальном ты будешь говорить сам перед судом.

Тогда итальянец, встав на колени и обратившись к главному алтарю, воздел руки к небу и произнес голосом столь сладким и вдохновенным, какого мне не пришлось слышать ни до, ни после, следующие слова:

— Святый Господи. Ты видишь все и от тебя ничто не может укрыться. Ты всемогущ — для тебя нет ничего невозможного. Ты знаешь правду, и только ты можешь видеть, сколь незаслуженно я несу поругание. Я прощаю свою обиду сему сосуду диавольскому, чтобы и ты простил меня. Но я молю о тех, кто стоял здесь и прельстительными словами диавола был введен в заблуждение и отвращен от близости царствия твоего. Воззри на них, ибо, усомнившись в святости этих индульгенций, не усомнятся ли они в возможности самого счастия по слабости ума и сердца? Я молю тебя, господи, яви себя сим соблазненным: если я виновен во лжи и обмане, то пусть своды сего храма рухнут надо мною и погребут меня — остальных же рука ангела твоего да выведет вон невредимыми. Если же не я, а он обманщик — пусть перст твой укажет на него и изобличит его.

Не успел он еще и закончить своей молитвы, как я упал со скамьи на пол столь непритворно, что грохот и звон от падения пошли по всей церкви; пена заклубилась на моих губах, я утратил способность человеческой речи и стал мычать наподобие разъяренного быка. В толпе, стоявшей около меня, одни как вытянулись молча, так и остались стоять, пораженные и изумленные, — другие же, напротив, бросились ко мне, стремясь вынести меня вон, но это было не так-то просто: они действовали, как подобает действовать в святом месте, с осторожностью — я же, наоборот, не только лягался и кусался, но норовил каждого зазевавшегося ударить почувствительнее, что мне и удавалось. Проповедник же стоял неподвижно с воздетыми очами и руками, и уста его все еще вдохновенно продолжали молитву, хотя уже и не вслух.

Наконец те же добрые люди, которые пытались вытащить меня на свежий воздух, обратились к молящемуся с просьбами, чтобы силу своих молитв он перенес на помощь мне. Вначале проповедник как бы не слышал этих просьб, но потом, выйдя из молитвенного экстаза и обратившись в мою сторону, сказал:

— Добрые люди. Не следовало бы вам и просить за этого человека. Сами вы видите, сколь велик его грех. Но Иисус Христос, господин неба и земли, учил молиться за обижающих нас. Я готов молиться и лишь опасаюсь, что моей слабой молитвы недостанет, чтобы помочь этому человеку. Помолимтесь же о нем вместе — быть может, всевышний и услышит нас.

Сказав так, он стал читать молитву об изгнании беса. Из присутствующих кто мог повторял за ним некоторые слова. Закончив чтение, он взял крест и кропило и подошел ко мне, чтобы уже надо мной прочесть другую молитву, одинаковую и по длине и по благочестию, чем растрогал присутствовавших до слез. Он просил, чтобы бог не наказывал грешника, соблазненного вошедшим в него диаволом, но чтобы очистил его, указал ему путь к спасению и поддержал на этом пути.

Окончив молитву, продавец окропил меня святой водой и возложил на меня свою не менее святую бумажку. И как только он возложил ее — я совершенно стих, конвульсии мои прекратились, и через минуту я открыл глаза, чтобы обвести взглядом присутствующих и изобразить, что я не понимаю происшедшего со мной. Тогда мне рассказали, что я проделал по наущению вошедшего в меня диавола. Я с плачем бросился к ногам проповедника и горестно упрашивал его простить меня. Он, возложив на меня руки, сказал:

— Не я, а всевышний простил тебя, явив здесь всенародно свою милость; я же такой же грешник, как и ты.

В последнем, признаться, он не покривил душой, а я вскоре, воспользовавшись общим движением, выскользнул из церкви с видом человека весьма смущенного, что и подобало кающемуся.

В течение следующих нескольких дней мы продали несколько тысяч индульгенций. Приходили из всех прилегающих местностей, приходили покупать все, у кого были свободные деньги, а у кого <...>

МУЗЕЙ «ЧИЖА»



ВОРОТА НА ОЗЕРЕ. В Северной Америке на Верхнем Озере есть каменный остров. Он называется «Ворота» потому, что под островом в середине есть проход. Раньше остров был сплошною скалой, но вода постепенно проделала в ней сквозное отверстие. Солнце и ветер помогали ей. Теперь под остров может проплыть большая лодка.

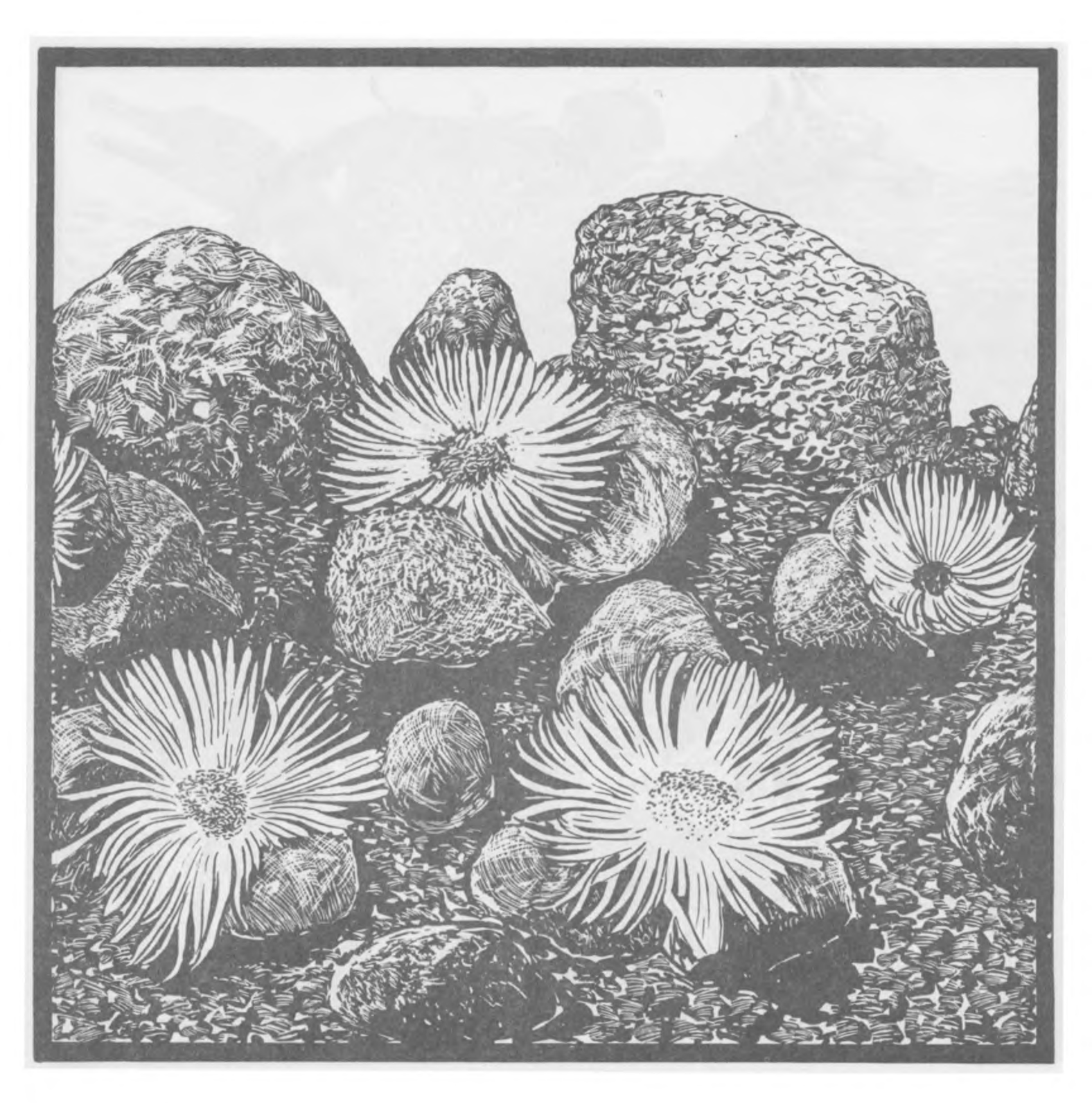


ВОРОТА В ГОРАХ. Большая гора в Южной Америке около города Койята на границе двух государств, Боливии и Перу, раньше тоже стояла сплошной стеной. И так же, как в скале на Верхнем Озере, вода нашла в ней путь и постепенно проделала широкие ворота из одной страны в другую.

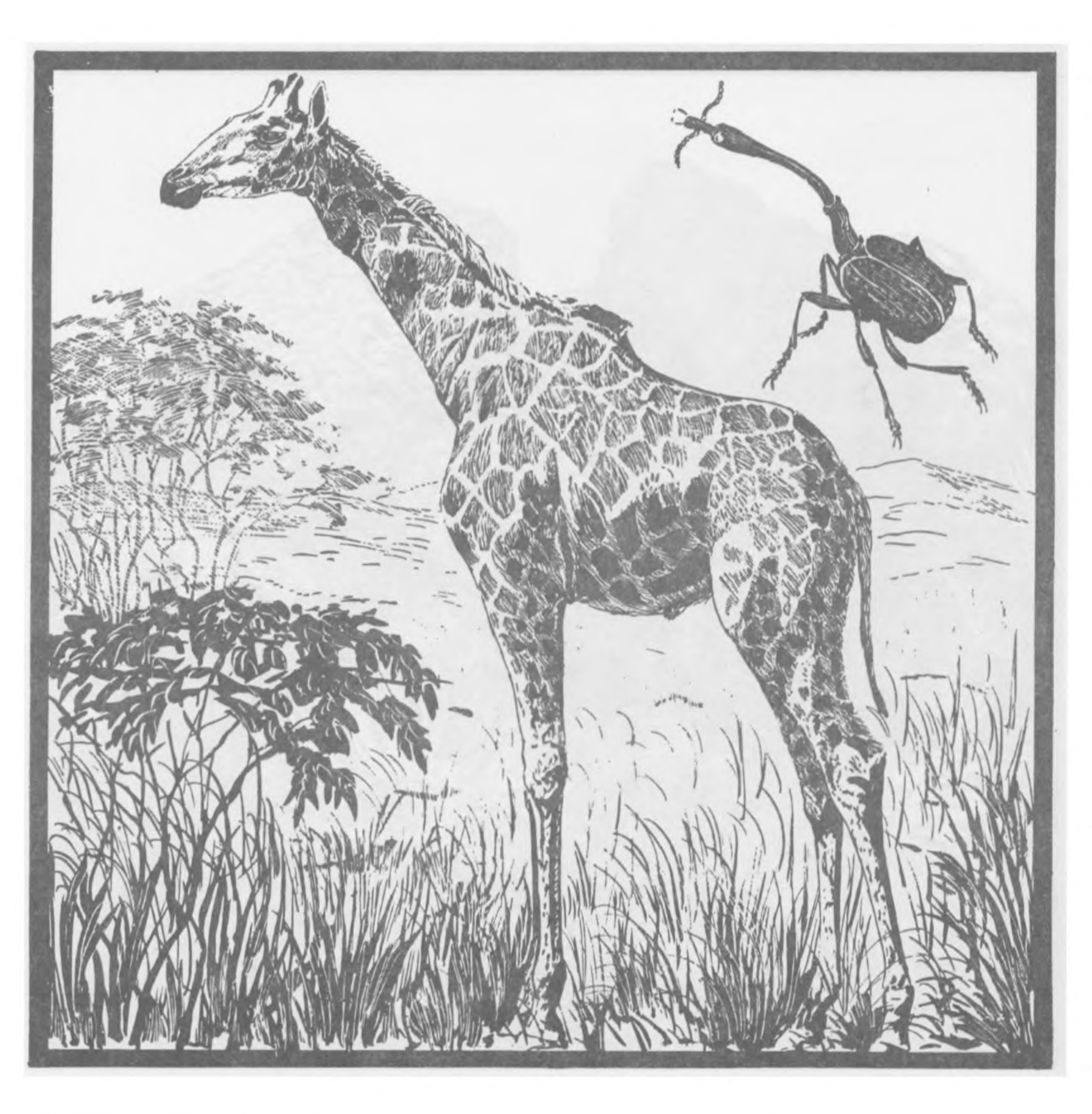
21 Зак 3178



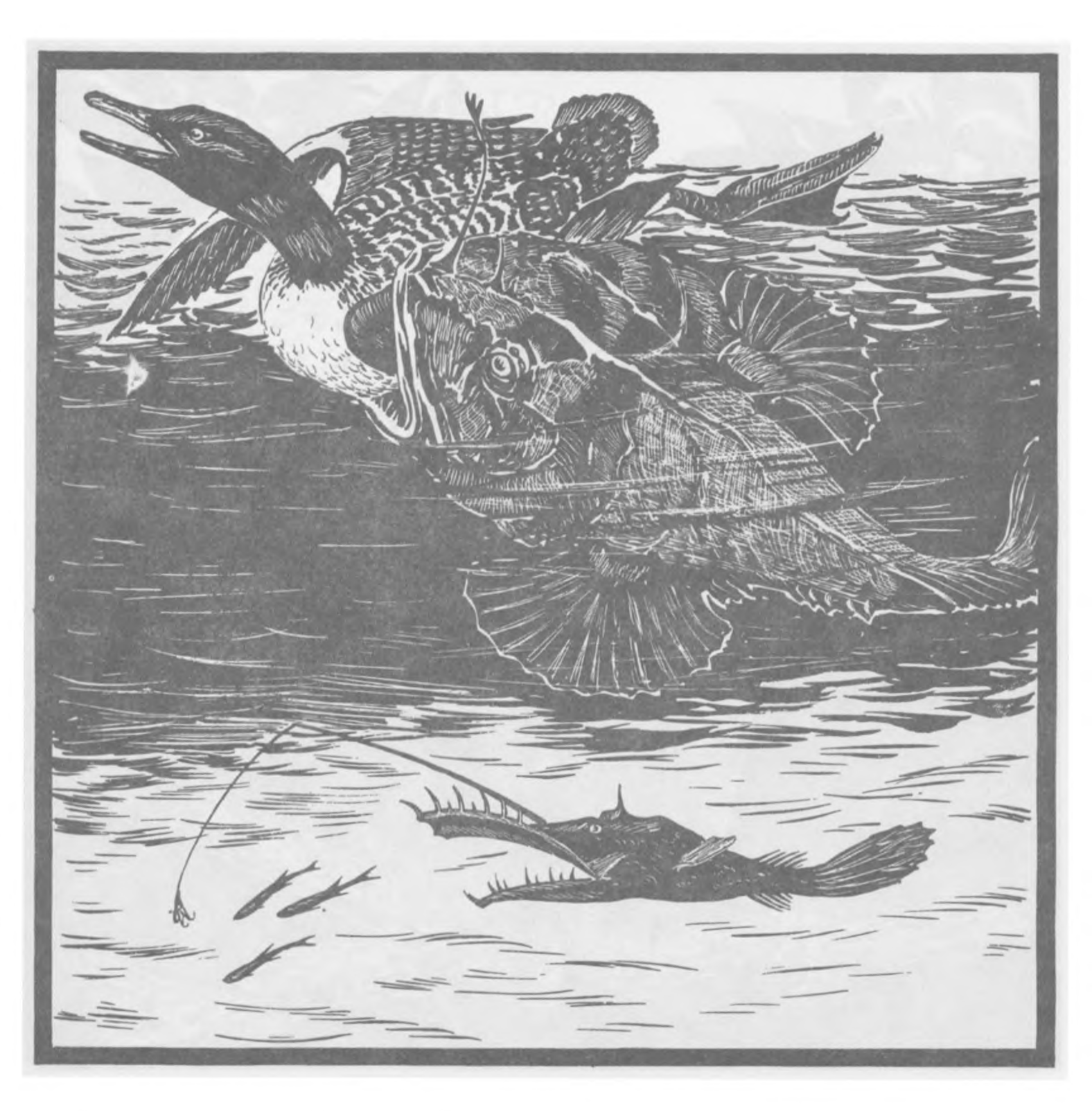
КАЧАЮЩАЯСЯ СКАЛА. В Северной Америке, в Колорадо, есть скала. При сильном ветре она качается и скрипит, но не падает. Скала прочно укреплена в каменистой почве тем же способом, каким у человека и у животных соединены в суставах кости: угол скалы снизу закруглился и сидит в круглой яме, похожей на чашку. Эту работу также сделали вода, солнце и ветер. Таких скал в горных странах много.



ЦВЕТУЩИЕ КАМНИ. В южноафриканских пустынях летом в полуденный час распускаются большие красивые цветы. Листьев у них не видно, кажется, что цветут камни. Это цветы болюзии, или полуденника. У болюзии только два листка: они плотно лежат на земле, а по виду совершенно похожи на те камни, между которыми растение живет.



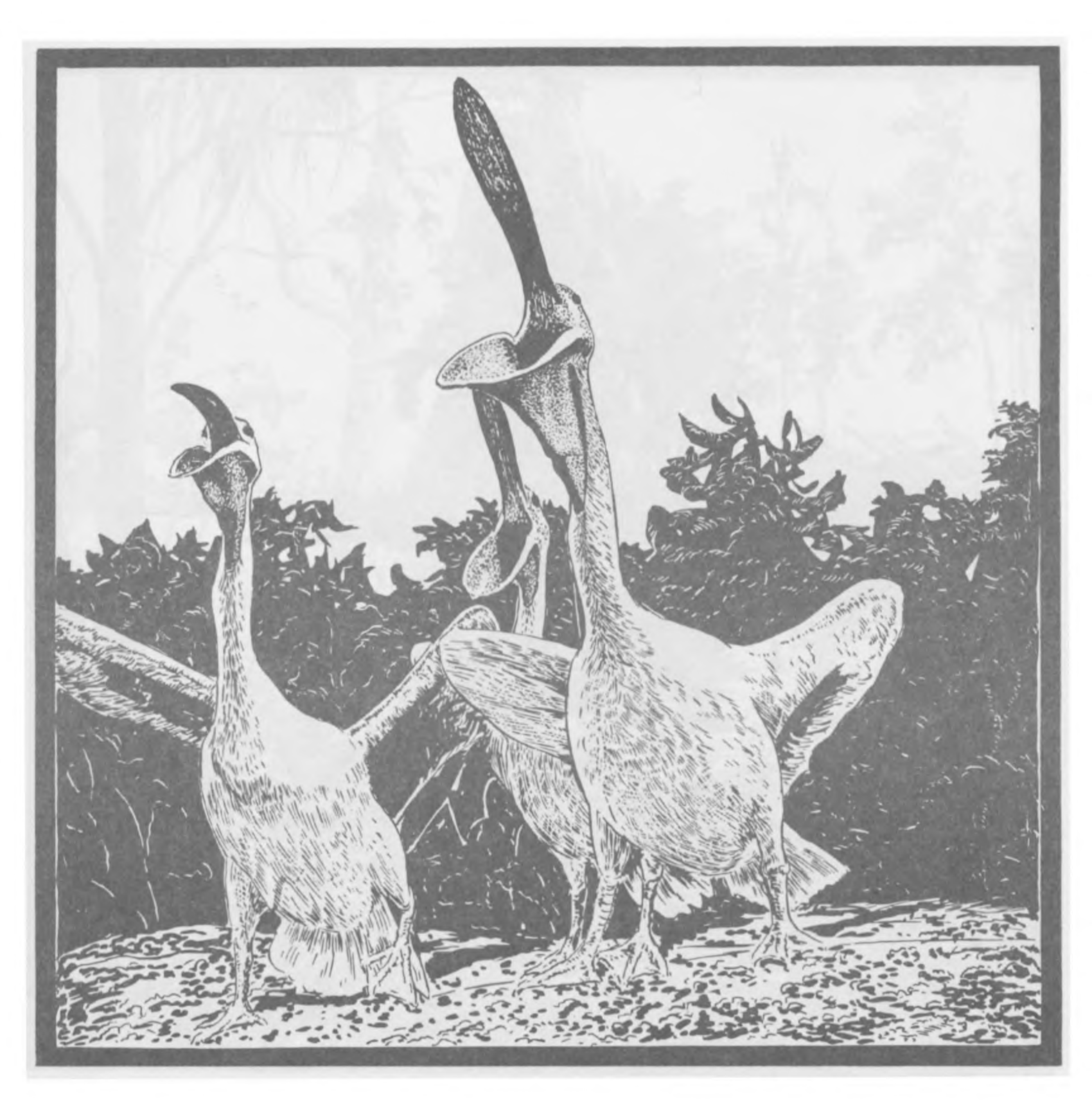
НАСЕКОМОЕ-ЖИРАФ. У жирафа очень длинные ноги. Шея у него почти такой же длины, как туловище. Жираф — самое высокое животное. Он выше слона. А на острове Ява есть насекомое, похожее на жирафа. Жирафу его ноги и шея нужны, чтоб доставать молодые побеги с высоких деревьев. На что нужна длинная шея яванскому вертолисту — [еще не разузнали.] Он — небольшое насекомое — длиной с ту черточку, которая проведена рядом с его изображением.



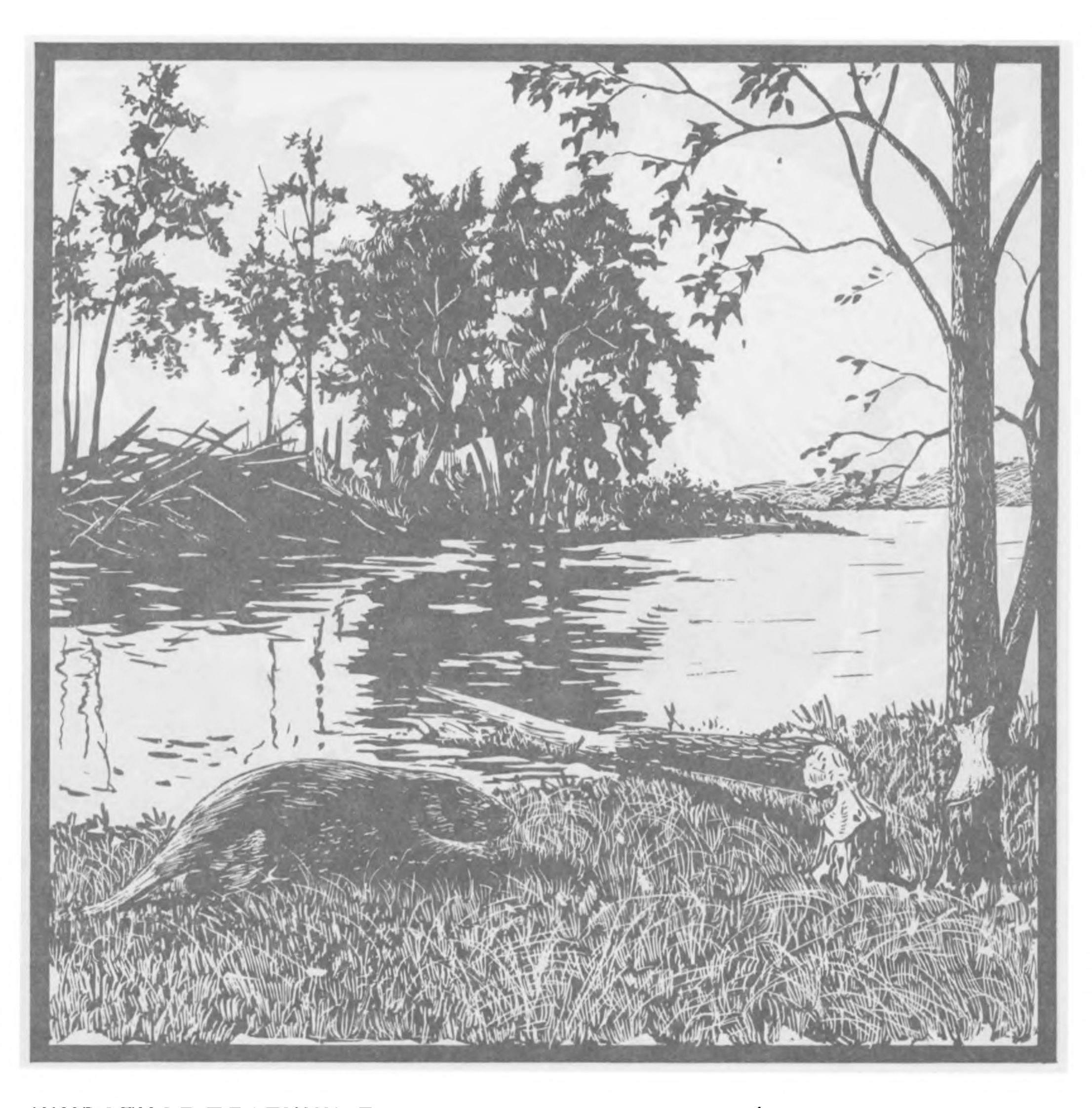
РЫБЫ — РЫБОЛОВЫ, ПТИЦЕЛОВЫ И АСТРОНОМЫ. [В глубине океана живет хищная рыба — глазиогнатус. У ней к голове приделана удочка с приманкой, похожей на светящегося червяка. Под приманкой шесть острых крючков. Должно быть, на эту удочку глазиогнатус ловит других рыб.] Морская рыба гуз, или «большерот», на удочку с приманкой ловит стрижей и даже уток. У глубоководной рыбы аргиропилекус глаза похожи на телескопы. Они прикреплены снаружи и свободно вращаются. Кроме того, они и светятся.



ПЕРЕОДЕВАЮЩИЙСЯ ПОПУГАЙ. Серо-коричневый африканский попугай, переезжая в Европу, меняет свою одежду. У него выпадают все старые перья, а новые вырастают другого цвета — чисто-белые. Один из таких попугаев тоже потерял свое старое оперенье, но взамен прежнего у него выросло только одно маленькое перо в виде хохолка на голове. Теперь этот попугай живет в Берлинском Зоологическом саду без перьев.



ПТИЦЫ С МЕШКАМИ ДЛЯ ПРОВИЗИИ. Пеликаны в Зоологическом парке громко кричат, широко раскрывая свои огромные рты. Они требуют корма. У каждого пеликана под клювом кожастый мешок. В эти мешки птицы соберут брошенную им рыбу и понесут ее своим птенцам в гнезда. [Птенцы будут доставать добычу изо рта родителей. Гнезда недалеко. Они торчат на болотных кочках за]



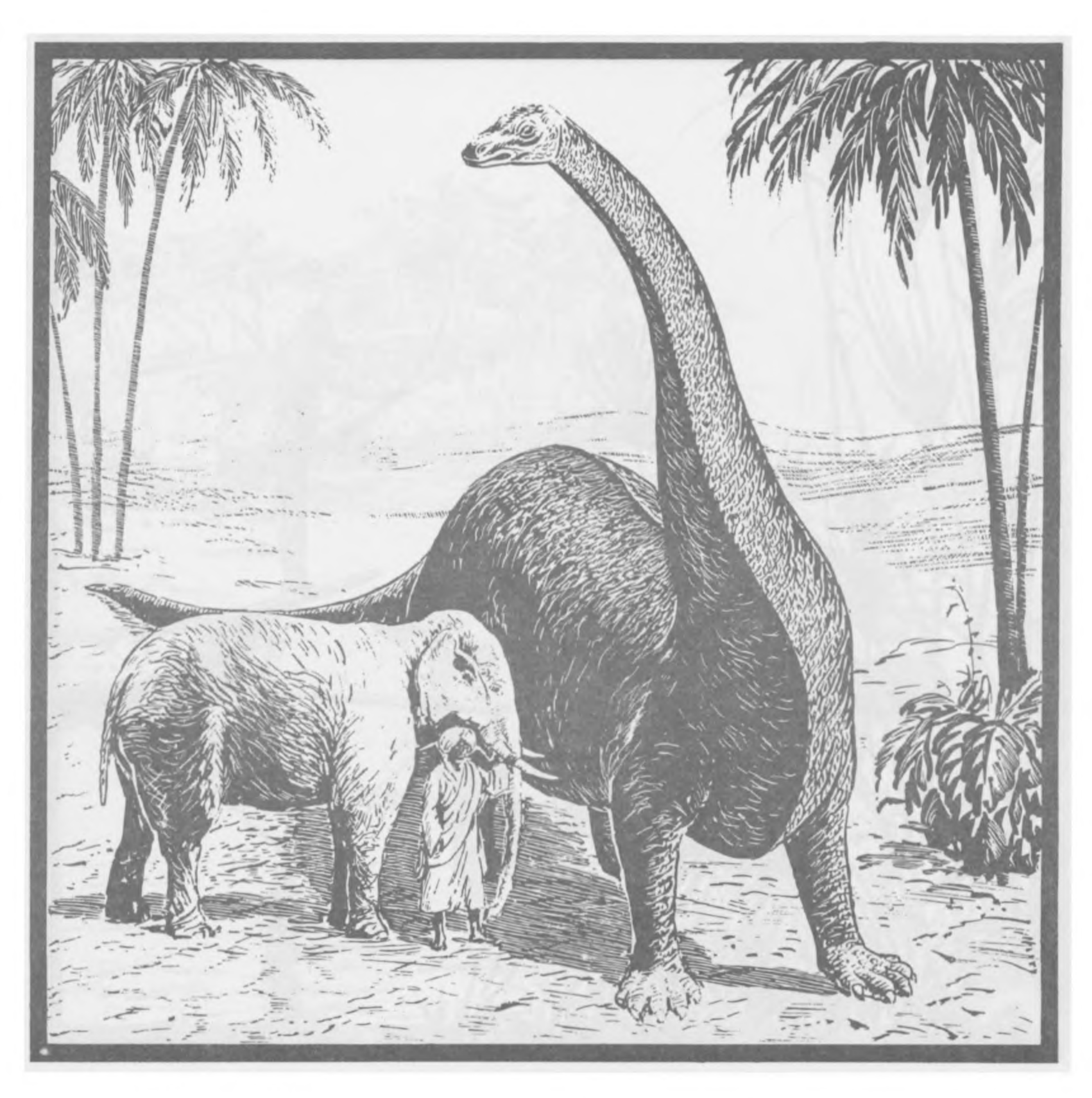
ЖИВОТНОЕ-ПЛОТНИК. Под кучей хвороста на другом берегу спрятано логовище бобра. Река, на которой поселилась их стая, мелководна. Бобры устроят на ней плотину, чтобы за запрудой в глубокой воде можно было прятаться от врагов. Одно дерево уже свалено. Другое подгрызено. Бобры умеют подгрызать деревья так, что они валятся в ту сторону, куда бобрам нужно.



ГОРОД ИЗ ЗЕМЛИ. Этот город построен крепко. Его высота семь метров. Он находится в Австралии и населен термитами. Его обитателей зовут также белыми муравьями, но это неверное имя. Термиты не муравьи. Они только строят гнезда, похожие на муравейники. В этих гнездах-городах большой порядок: рабочие работают, а солдаты — большеголовые и с крепкими челюстями — стерегут жилище, защищают его от врагов и подают рабочим разные сигналы.



КТО СИЛЬНЕЕ ВСЕХ? На суше всех сильнее слон. Рост его три метра с лишним. У него длинный и сильный хобот, острые клыки-бивни, тяжелыми ногами он может растоптать любого врага. От рогов, зубов и когтей других животных слона защищает толстая кожа. И только одного зверя боится слон — мыши. Мыши ходят неслышно и, бывает, забираются слону в уши.



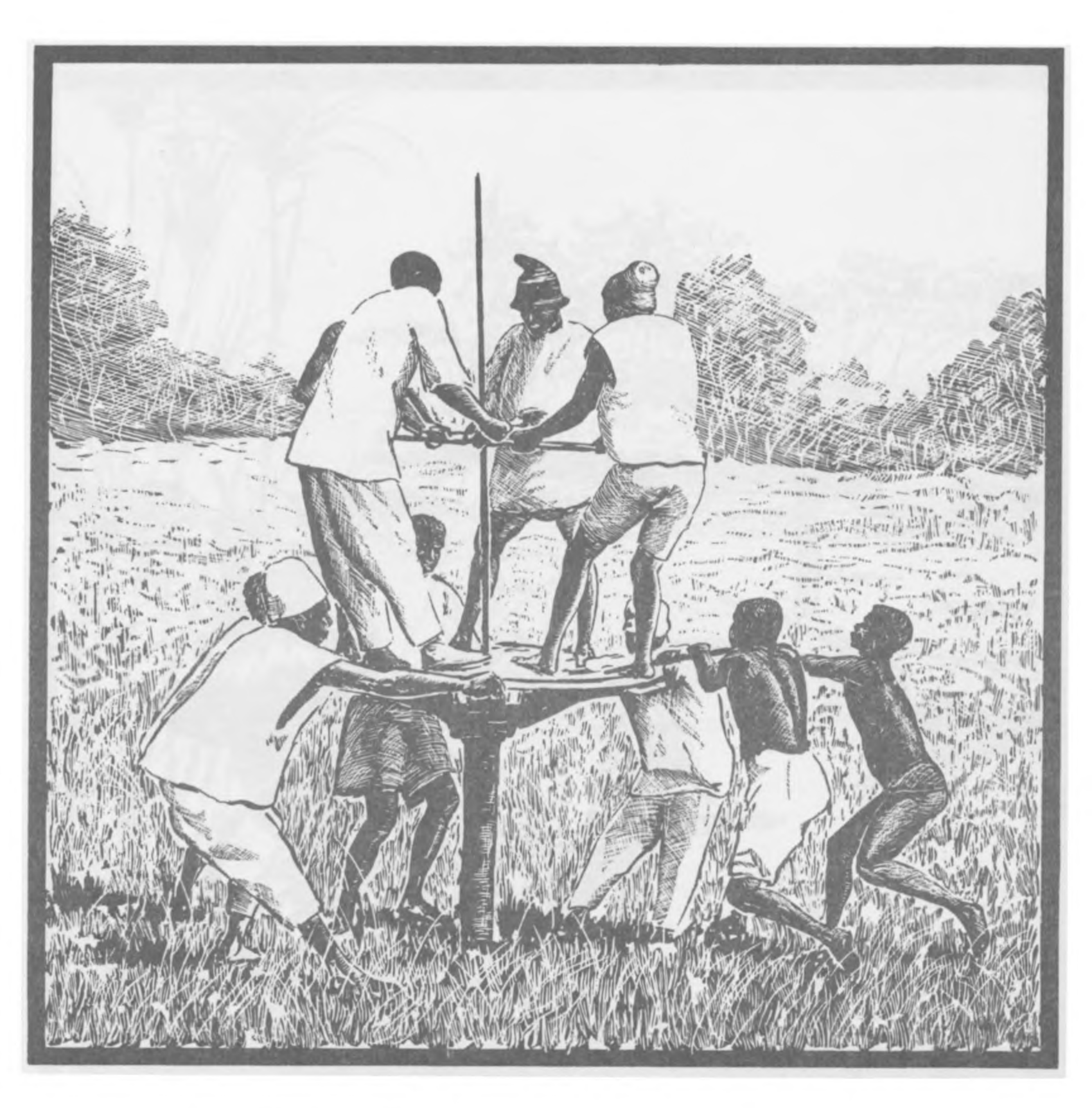
КТО БОЛЬШЕ СЛОНА? Слон показался бы маленьким, если бы его можно было поставить рядом с бронтозавром. Бронтозавров уже нет на земле. Они вымерли много тысяч лет назад. В глубоких пластах земли находят [только] их окаменевшие кости. Слон достигает в длину $3^1/_2$ метров, а бронтозавр достигал 18—19 метров. Были животные и больше бронтозавра, [например, страшный хищник] атлантозавр достигал длины в 35 метров.



ОХОТНИК ЗА РЫБОЙ. У минкопи с Андаманских островов в Индийском океане работа труднее. Они не научились возделывать землю, у них на острове нет крупных животных и птиц. Минкопи питаются дикими растениями и рыбой. Рыбу бьют стрелами, когда она выплывает на поверхность моря. Стрелку приходится долго и терпеливо ждать добычи, и нужно не промахнуться.



ЧЕЛОВЕК ВМЕСТО ЛОШАДИ. В Японии лошади очень дороги. А извозчики — курума — бедны. Они не могут покупать лошадей и возят седоков на себе. Курума — выносливые люди. Коляска — дженерикша — у них легкая, ноги обуты в соломенные сандалии. Но седоки тяжелые. И чтобы заработать немного на рис, курума должен долго бегать. Вот он устал и замедлил шаг, а японки из экипажа, наверное, сейчас закричат ему: «хояку», т. е. «скорее!».



ПЛАТА ЗА РАБОТУ И ЗА ВЕС. Хозяин-европеец нанял этих негров на разную работу: легкие должны бегать и вертеть буровую машину, а тяжелые только стоять на ней, чтобы она лучше шла в землю. Конечно, хозяин мог бы привезти из Европы большой механический бур и к нему хорошего инженера. Но это стоило бы дорого. А неграм он платит мало. И если им не удастся наткнуться на жилу, он им скажет: «Ваша работа никуда не годится» — и прогонит их совсем без платы.



ВОЖДЬ СИУКСОВ. Воины индейского племени сиуксов выезжали в бой совсем без одежды, чтобы показать врагам, что смерти они не боятся. Вожди сиуксов носили на голове уборы из орлиных перьев. Каждое перо прикрепляли к [его] убору неспроста, а за какой-нибудь подвиг на войне или на охоте.

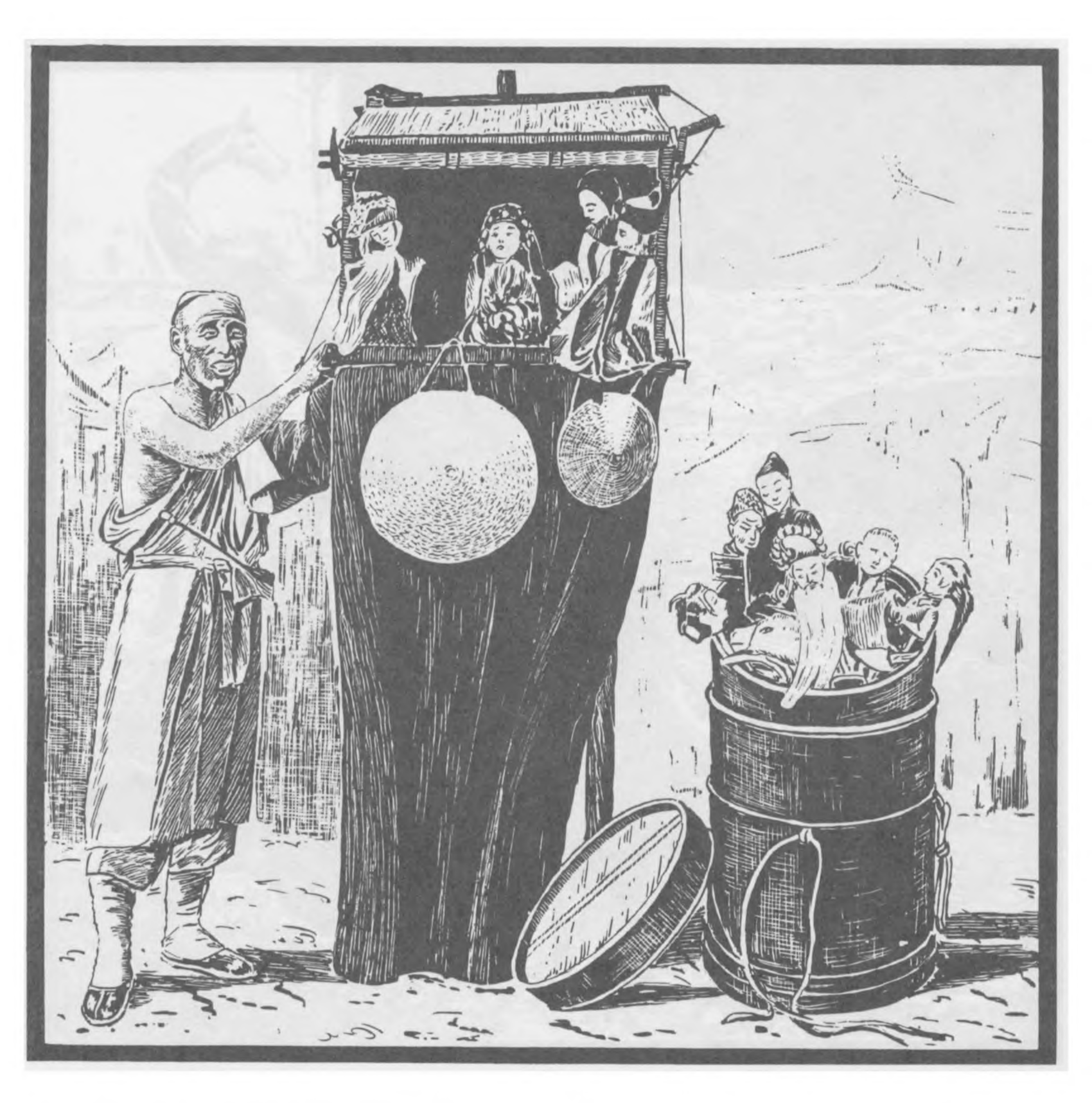


ВОИН ФУЛЬБЕ. Темнокожее племя фульбе живет в Африке, в Центральном Судане, тоже ловки и храбры. Но они надевают на себя и своих коней толстые панцири из стеганой ваты, чтобы защититься от отравленных стрел врагов. Такой панцирь служит очень хорошо, особенно когда намокнет от пота. Мокнет же он всегда — в Судане весь год до 40 градусов жары.



ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДКА. Монгольский бродячий музыкант поет про подвиги славных богатырей и про их богатырских коней. В Монголии лошадиные табуны — главное богатство. Но у самого музыканта лошади нет. Он ходит пешком от становища к становищу, а лошадку вырезал себе из дерева на конце своего инструмента.

22 Зак 3178



ДЛИННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Китайский Петрушка похож на нашего. Представление он дает на базарах. Но представления у него очень длинные: начинаются с утра и кончаются вечером. А есть и такие пьесы, которые в один день не кончишь: их заканчивают на другое утро.



ТЕАТР В МОНАСТЫРЕ. Буддийские монахи — ламы, живущие в Монголии, устраивают у себя в монастырях большие театральные представления, чтобы привлечь к монастырям побольше народу и собрать денег. Они надевают пестрые костюмы, страшные маски, поют, играют на музыкальных инструментах и пляшут. Здесь впереди всех пляшет монах, изображающий страшного бога в маске с клыками и с мечом в руках. За ним, приплясывая, идут восемь человек, одетых скелетами, но из них на картинке виден только один.



КТО ЧЕМ УКРАШАЕТСЯ? Венгерские девушки носят широкие юбки на обручах и пластинах. Юбки смешные, похожие на корзины. Но девушки надевают их только по праздникам. Женщины в Тонкине прикрывают головы странными шляпами, также вроде корзин. Однако эти шляпы хорошо защищают от солнца и дождя. А вот аннамские вельможи отращивают на руках длиннейшие ногти и носят их постоянно, чтобы показать, что у них очень много слуг и что самим им ничего делать не нужно.



ПЛЕТЕНАЯ ЛОДКА. Индейцы-бальзасы живут в Боливии на озере Титикака, занимаясь рыбной ловлей. Свои лодки они плетут из тростника, но так хорошо и плотно, что вода в лодку не протекает. Тростниковые лодки очень легки, а в бурю не опрокидываются. Паруса для лодок делаются тоже из тростниковых стеблей.



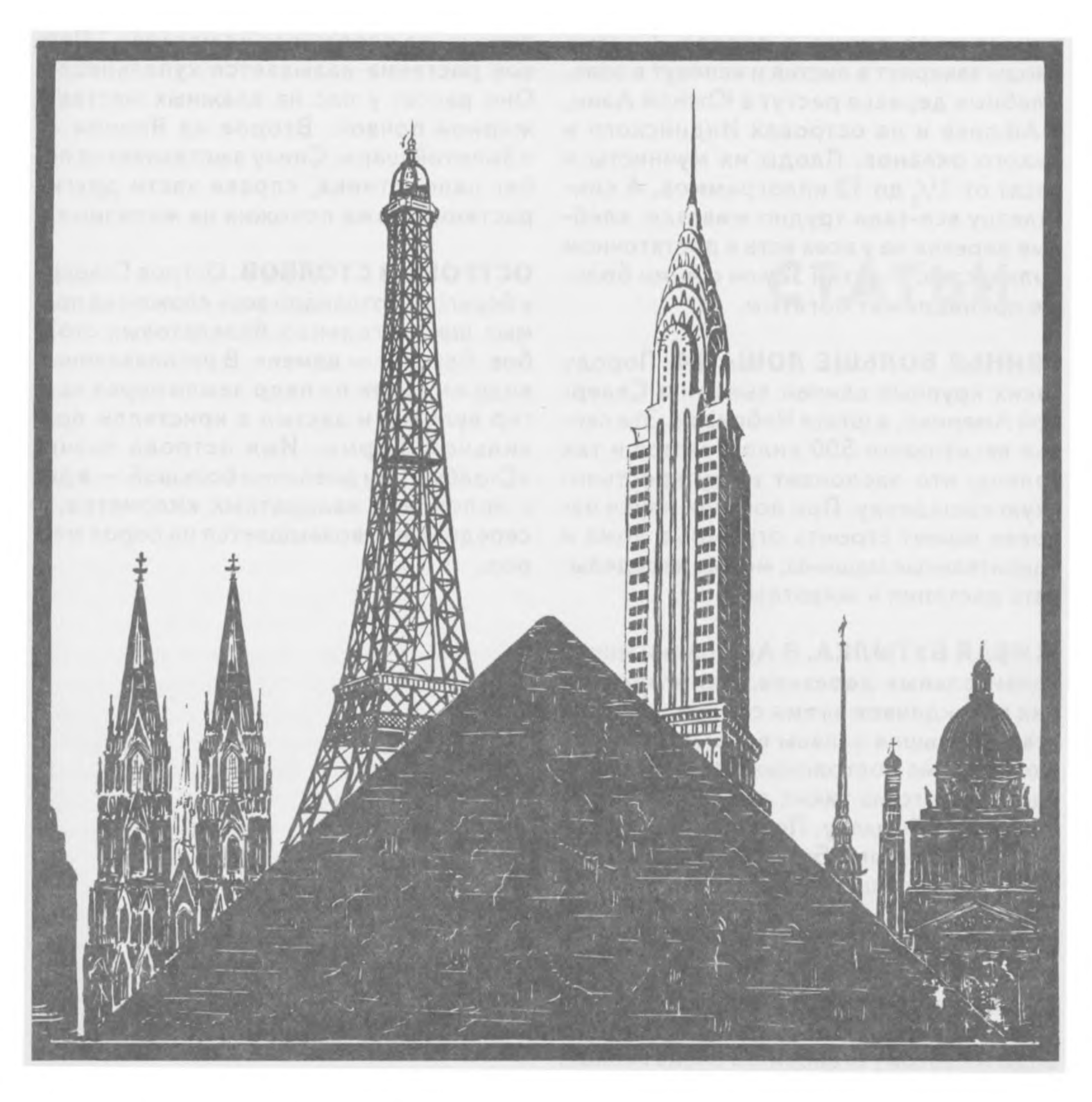
БЫЛ ЛИ ТАКОЙ ЗВЕРЬ? Такого зверя никогда не было, его выдумали китайцы и назвали драконом. Он отлит из бронзы и поставлен в саду. Каменная плита под ним занесена песком. А все-таки он похож на тех огромных ящеров, которые жили в древнейшие времена, когда человека на земле еще не было.



ЯЙЦО И БУТЫЛКА НА КРЫШЕ. У негра-шиллука дом похож на собачью будку. Он без окон, и даже дверь у него такая, что в нее не ходят, а лазают. Но шиллук украсил свою хижину как мог. На крыше он прикрепил яйцо страуса, а сверху воткнул еще винную бутылку. Бутылка его очень удивила. Он не мог понять, как сумели сделать такую вещь. Кроме того, бутылка прекрасно блестела и на солнце, и при лунном свете.



ДОМ НА МОСТУ. Дома на мостах строили во многих странах. Этому домику больше семисот лет. Он стоит в Китае, в городе Амое. Мост под ним наполовину разрушен ураганами. Раньше в домике был ресторан-«чайная». Но в таких домиках не только торговали, в них и жили. В том же Китае есть дома-лодки, которые постоянно плавают по воде.



САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗДАНИЯ. Здесь изображены: пирамида Хеопса, построенная египетскими мастерами более 5 тысяч лет назад, она вышиной 138 метров; Кельнский собор (в Германии), в 159 метров; Эйфелева башня (в Париже), в 300 метров, и здание фирмы Крайслер (в Нью-Йорке) в 312 метров. В СССР самые высокие здания — шпиль Петропавловской крепости и Музей Безбожника (б<ывший> Исаакиевский собор), в 138 и 130 метров. Они находятся в Ленинграде. В Москве, в Кремле, есть колокольня Ивана Великого, вышиной в 100 метров.

ХЛЕБ С ДЕРЕВА. У сингалезца на острове Цейлоне нетрудная работа: он собирает хлеб прямо с дерева. Снятые плоды завернут в листья и испекут в золе. Хлебные деревья растут в Южной Азии, в Африке и на островах Индийского и Тихого океанов. Плоды их мучнисты и весят от $1^1/_2$ до 12 килограммов. А сингалезцу все-таки трудно живется: хлебные деревья не у всех есть в достаточном количестве, участки земли с ними больше принадлежат богатым.

СВИНЬЯ БОЛЬШЕ ЛОШАДИ. Породу таких крупных свиней вывели в Северной Америке, в штате Небраска. Эта свинья весит почти 500 килограммов и так велика, что заслоняет нашу крестьянскую лошаденку. При помощи науки человек может строить огромные дома и удивительные машины, может переделывать растения и животных.

ЖИВАЯ БУТЫЛКА. В Австралии много удивительных деревьев. Некоторые из них в дождливое время собирают в свой ствол большие запасы воды и питаются ею во время постоянных засух. Нижняя часть одного из таких деревьев совсем похожа на бутылку. Поэтому дерево зовут бутылочным. Бутылочные деревья растут иногда целыми рощами.

[САМОЕ ГИБКОЕ РАСТЕНИЕ. Это Юкка.] Она растет в пустынях Аризоны в Северной Америке. На сухое время года юкка набирает в свой ствол много воды и поэтому становится очень гибкой. При сильном ветре ее верхушка пригибается до земли. Ветви юкки, нарисованные на картинке, во время бури крепко воткнулись в землю и уже не смогли подняться. Но растение от этих ветвей пустило вторые корни, а из середины ствола у него пошел новый красивый и сильный побег.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦВЕТЫ. [Они вовсе не железные, а совсем настоящие. Но с виду похожи на сделанные из металла.] Первое растение называется купальницей. Оно растет у нас на влажных местах с жирной почвой. Второе из Японии — «Золотой шар». Снизу выставляется побег папоротника, справа части других растений, тоже похожих на железные.

ОСТРОВ ИЗ СТОЛБОВ. Остров Стаффа у берегов Шотландии весь сложен из прямых шестиугольных базальтовых столбов. Базальт — камень. В расплавленном виде он вытек из недр земли через кратер вулкана и застыл в кристаллы правильной формы. Имя острова значит «Столбы». Он довольно большой — в два с половиной квадратных километра, и середина его возвышается на сорок метров.

СТАТЬИ

Идея нации

Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности.

В. С. Соловьев. Русская идея

Наша многострадальная Мать-Россия тяжко больна. Имеющие очи и уши видят и слышат это.

Но что за болезнь сжигает ее измученный организм? И не есть ли эта болезнь уже безусловное начало распада, конца смертного, или же в ужасающих конвульсиях и стонах мы должны видеть лишь вызванный законами исторического развития кризис, которому близко начало выздоровления, после которого возможна новая жизнь? Хотим верить, что новые семена обильно засеяны в лоно России, и слушаем чутко: не прорастают ли зерна?

I

Православие, самодержавие, народность — вот три кита, на которых встала Русская земля еще во времена татарщины и на которых стоит она до сего времени. Ими скреплено государственное единство России, благодаря им она еще не расползлась по всем швам, но даже если бы государственное единство ее рухнуло, если бы ее ядро подпало под власть чужеземцев — все же идея неразрывности этих трех начал сберегла бы в испытаниях душу русского народа и заставила бы трепетать сердца русских людей единым трепетом. Об эти устои на наших глазах разбилась русская революция. О разбившейся революции скорбят многие, но иначе ведь и не могло быть: наша революция, созданная до некоторой степени искусственно в лице своих вожаков, не хотела или не умела считаться с действительностью. Скажу прямо: русская революция должна была твориться во имя православия, самодержавия и народности и, только будучи творима во имя русской идеи, могла рассчитывать на близкий и осязательный успех.

Пройдет ураган грядущей великой религиозной революции и сломит подгнившее дерево русской жизни. Но останется старый пень и даст новые побеги. Но останутся семена, рассеянные деревом, и прорастут, и вокруг старого пня буйный молодой лес будет зеленеть весной, цвести летом, осыпаться осенью и отдыхать зимой...

В Обществе, разрабатывающем религиозные вопросы, мне, конечно, следовало бы говорить побольше о православии и поменьше о самодержавии и народности. Но ходом исторической жизни русского народа православие, самодержавие и народность слиты воедино (не как понятия, а как известные данности) — являют прообраз Св. Троицы (единосущны и нераздельны), и потому, рассматривая первую, вторую или третью данность, мы обречены затрагивать одновременно и остальные два элемента русской идеи. Кроме того, меня побуждает говорить о самодержавии и народности в связи с православием мое представление о религии как о сущем от века, т. е. не как о беспредметном искании истины вне

полноты жизни, а как о найденном мною, и не только для себя, но и для других (выражаясь точнее: религия есть одинаково относящееся как ко мне, так и к другим индивидуумам), безразлично, принимают ли другие мою истину за последнее или не принимают (разумеется, тут не может быть и речи о насильственном принуждении других индивидуумов к принятию моей истины, хотя такой вопрос возникает здесь, кажется, неизбежно).

Имея представление о религии как о сущем в полноте жизни, т. е. не как о связи личности с Богом, но как о связи личности через Бога с Богом же и с миром, как о начале, осмысливающем существование мое и мира, я, естественно, считаю религию делом общественным, но не личным, и самая идея общественного устроения (в данном случае вопрос о самодержавии и народности) разрешается для меня только в религиозной плоскости.

Помимо всего сказанного мною, нужно заметить, что идея самодержавия является, несомненно, идеей по существу религиозной, и, следовательно, даже смотря на религию иначе, чем я смотрю сейчас, я все же имел бы повод говорить о самодержавии в связи с религиозным вопросом.

II

Думаю, что всех нас привела сюда жажда делания во имя Божие-Христово, думаю, что все мы хотим понять друг друга, ибо без понимания взаимного возможно ли общее дело. Но не знаю я, что мне сказать, как сказать, чтобы вы постигли душу и веру мою. Душа моя во власти моей и моего слова, но во власти ли вашего понимания она — не знаю:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Всякому мыслящему человеку дан собственный критерий, и он живет им. Но есть критерии органические и механические, и чем органичнее критерий, тем труднее логическое его выявление.

Мой критерий первого рода — органический — вера. Но как и кому скажу о вере своей? Вот скажу: когда-то я сомневался в подлинном лице мира сего, сомневался в собственном существовании, но в Бога, мир творящего, и во Христа, мир через Голгофу спасающего, верил. Дано было мне откровение, и ныне верю я и в подлинное лицо мира, и в подлинность существования своего, и трикраты сильнее вера моя в Бога-Творца и во Христа-Спасителя. Чувствую себя вправе вопросить: глубока ли была и есть моя вера?

Но поверят ли?

Лев Толстой в своих «Мыслях о Боге» говорит: «Удивительно, как мог я не видеть прежде той несомненной истины, что за этим миром и нашей жизнью в нем есть Кто-то, Что-то, знающее, для чего существует этот мир и мы в нем». И в той же книжке, несколькими страницами позже, добавляет: «Много думал о Боге, о сущности своей жизни и, казалось, только сомневался и в том, и в другом и проверял свои доводы, и потом, недавно, раз просто захотелось опереться на веру в Бога и в неистребимость своей души, и, к удивлению моему, почувствовал такую твердую, спокойную уверенность, которую никогда прежде не чувствовал».

О простой и легкой вере говорит Толстой, но о горниле испытаний тягчайших вещает нам Достоевский. Чья же вера подлинная? — Толстого, верующего не ради веры, но во имя устроения и успокоения (вспомним только, как тщательно отметает он из учения Христова и из жизни все, что могло бы разнствовать с его системой), вера слишком разумная, или Достоевского — страшная, мучительная, из каких-то неведомых времен и низов исходящая, несущая на себе взятые от века и благословение, и проклятие земное?

Мне кажется, что спора тут не может быть: конечно, неразумная, мужицко-православная вера Достоевского и есть настоящая, органическая вера небоящегося.

Когда Достоевский, косноязычествуя, как одержимый, говорит о Боге, я не могу не почувствовать, что он верующий, ибо Бог его Великая Мощь, Непреодолимый, безо всяких логических поправок; когда же о Боге упрощенно и ясно говорит Толстой, то холодом веет в душу мою и не реяния ангельских крыл слышу я, а взмахи какого-то гигантского маховика.

Пройдя горнило сомнений, не чувство успокоения испытывает истинно верующий, но чувство совершившегося таинства, причастия тайне.

Достоевский всегда будет свидетельством тому, что верующему доступна вся глубина искушения отрицанием, что он не только знает о глубине, но и чувствует ее. Лишь над ним, сыном свободного Духа Божия, не властны искушения. «Сие есть искушения диавольские», — говорит он. Ибо такова его вера. И как ясно на примере Достоевского видим мы всю полноту свободы человеческой воли, видим, что воля утверждается в вере.

Определяя разницу между критериями механическим и органическим, я сказал бы: насколько сущность первого есть логика, настолько сущность второго — художественное творчество, т. е. в первом случае одна статика, во втором и статика, и динамика. Для критерия органического логика не больше, чем масло для художника, то масло, на котором он растворяет свои краски.

Но в попытках определить мировые законы путем параллелизации им логических построений есть соблазн первоначальной правды. Так, например, придерживаясь известного метода, мы можем начертать треугольник В, подобный данному треугольнику А. Несомненно, наш первый опыт (моделирование правила познавания вещи) увенчан успехом. Пытаясь далее логизировать самый мир как совокупность вещей и через то Начало, мир связующее, мы в результате получаем не стройную систему, даже не подобие ее, а лишь некоторую (неизвестную) сумму противоречий. Опускаются руки. Наш метод обманул нас, ибо сокровенной сущностью его было наше «я» — вещь мира. И отсюда уже недалеко до вывода: мир, или, точнее, начало, его связующее, в сути своей вовсе не адекватно нашим логическим системам, а лишь однородно им. Сколь это ни странно, но, поясняя, я должен сказать: однородно их бессилию. То есть я не говорю, что сущность мира не познаваема для нас потому, что мы — вещи мира и что для познания необходимо встать вне вещей, — нет, я хочу указать, что правда наших систем обратная, символическая в том, что, в последнем счете, они, как и самый мир, неразумны, алогичны.

Однако почти все философские системы своим главным и вернейшим оружием считают логику — непомерно тяжкий посох, и, опираясь на этот посох, хотят пройти мир, как переходят поле. Забывают, что здоровому человеку для ходьбы даны ноги, что тяжкий посох — лишняя помеха в пути.

Но две системы решительно отвергают логику: философия Христа — философия откровения и веры, — и Ницше — воли к вере.

Буддизм в своем окончательном выводе, в обосновании непричинной Нирваны, также отвергает логику, но на буддизме я не останавливаюсь.

III

Верующему искуситель больший не Враг рода человеческого, но Христос, и искушение большее всех — Евангелие. Книга Христова как бы и написана для того лишь, чтобы порождать лжеучения и лжетолкования, и мучения тягчайшего нет, как читать ее — противоречивую, под противоречиями своими скрывающую иную сторону здешнего, неведомую сторону и томящую. Но нет и радости большей, ибо на кресте Голгофском завершается дело Христово.

Принять божественность Христа логически нельзя хотя бы потому, что апостол Иоанн повествует нам о прегрешении человека Иисуса (От Иоанна, гл. II, ст. 13–17): «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, *также* и овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: „возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли". При сем ученики Его вспомнили, что написано: „ревность по доме Твоем снедает Меня"». Христос наш в багрянице и в венце терновом, Христос бичуемый, но не бичующий и не в образе инквизиторском. Что может быть больше искушения сего?

И не Христос ли говорил ученикам Своим: «Вы слышали, что сказано древним: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду". А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака", подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный", подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (От Матфея, гл. 5, ст. 21–24).

Христианские подвижники заповеди Христовы блюли строже, чем сам Христос. Они свою подвижническую жизнь начинали тем, что благословляли проклинающих их, — Христос же лишь на Голгофе, в конце жизни своей земной молился за врагов своих: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». На мучения за веру Христову они шли с радостью —Христос во искупление мира и лишь покорствуя воле Отца: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет».

Не посему ли Церковь Христова есть первее всего Церковь праведников и подвижников. И не о них ли сказано: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (От Иоанна, гл. 17, ст. 9–10 и 14–16).

Здесь возникает интересная проблема о праведничестве и подвижничестве, но к ней я вернусь потом, когда буду говорить о Христианизме русского народа.

Итак, логически нельзя оправдать Божественное совершенство Христа как святого (несогрешившего) Сына Божия. Можно лишь поверить в это совершенство. Но по откровению возможно и логическое оправдание. Так, если бы предложено было уму моему избрать одного из двух — Христа или Ницше, то Хрис-

та избрал бы я, ибо вера, несомненно, первее воли к вере: «Плохо воздают учителю, если вечно остаются только учениками. Почему не хотите вы сорвать с меня мой венец?» Венец Ницше — воля к вере. Срываю венец этот и одеваю Христов — веру.

Ницше я назову предтечей Христа. Правда, неразумно посылать Предтечу после Мессии, но ведь это вопрос во времени, а «времени больше не будет».

IV

О Царствии Божием и о путях к нему две истины заповеданы нам Христом.

Истина первая — истина Пастыря Доброго — простая и богатая милостию: «...Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него». Поясняю мысль свою: Царство Божие — Царство народов, ибо народы — большие дети и правду Христову приемлют по-детски. Путь же и врата, ведущие в Царство Божие, просторны суть, ибо даже и в мучениях народы с легкостью несут бремя Христово. Другая истина — истина Агнца, ведомого на заклание за простые (детские) грехи мира и за грехи дьявольские: «...Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной».

Итак, приемлющим Царство Божие детям подобно — нет спасения и жизни вечной потому, что во имя Царства Божия они не оставили близких своих, ибо разве оставляет мать детей своих и дети мать свою? Итак, отрекшиеся от близких своих во имя Царства Божия* не спасутся, ибо не как дети они приняли его.

Для учеников Христовых одна мысль была неотступной: как войти в Царство Небесное. И все слова Христовы о Царстве сем свято и живо хранили они в сердце своем. Когда же, вскоре после благословления детей (по Матфею), пришел ко Христу богатый юноша и спросил у Него совета, что делать ему, дабы наследовать жизнь вечную, и Христос ответил юноше: отрекись от мира сего, — ужаснулись ученики Христовы и спросили: кто же тогда спастись может? Христос же ответил: невозможное человекам возможно Богу, т. е. и те и другие спасутся, ибо учение Христово есть оправдание безумия мира: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (От Матфея, гл. 5, ст. 20), т. е. не будьте подобны разумникам, комара оцеживающим и верблюда поглощающим.

V

Идея государства, как и идея Бога, — детская, выросшая органически, а не созданная во имя каких-либо отвлеченных начал. Если Бог есть абсолютное, т. е. имеющее смысл и помимо существования человеческого и целей этого существования, то идея христианства (вочеловечение Божества), идея Голгофы по-

* «...Скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» (От Матфея, гл. 19, ст. 12).

мимо человеческого существования смысла не имеет. Следовательно, организм человечества, *оделенного свободною волей*, имеет *право* приспособить идею христианства, равно как и какую угодно иную идею, к тем идеям, что представляют первоначальную (органическую) ценность человечества, хотя бы к идее государства.

Что государство, со многими его эксцессическими особенностями, пребудет до скончания века — об этом сказал Иисус Христос («восстанет язык на язык и царство на царство»). Свидетельство для меня компетентное абсолютно, но даже если бы Иисус не был всеведущим Сыном Божиим, то и тогда подлинность Его пророчества мы могли бы подтвердить достаточно веско указанием на историю возникновения и развития двух идейных движений, между собой так или иначе схожих, — христианства и социализма.

Коренные идеи христианства и социализма расходятся значительно, но тем более интересно видеть, что два совершенно различных лекарства (простите за сравнение, не совсем здесь уместное) воспринимаются организмом человечества совершенно одинаково, что какова бы ни была отвлеченная идея, но путь превращения ее из механической в органическую всегда один и тот же, и притом всегда вне времени, т. е. безразличен к тому, когда происходит процесс превращения — в XX веке до Рождества Христова или в XX веке после.

Христос имел своих предшественников, хотя бы в лице Платона, — Маркс (которого я, в данном случае, с легким сердцем могу признать новым Христом) также, в лице утопических социалистов; христианство первых веков возникло и развивалось вне государства (исключало государство из поля своего опыта), — марксизм, направляя свои силы на борьбу с государством, был вначале также вне государства, хотя бы потому, что противопоставлял себя ему; ереси (опыты приспособления идеи к организму) возникли в христианстве очень рано — марксизм, в чистом виде своем, кажется, тоже перестал существовать через полтора часа по рождении, и уж что-то слишком рано ревизионисты и немецкие социал-демократы с националистическим оттенком вступили на путь приращения идеи Маркса к государственности, скорее даже, чем к этому прибегнуло буржуазное (по терминологии марксистов) христианство. Впрочем, тут удивляться нечему: в наш век телеграфов и т. д.

Любая раса, даже и обессилевшая, вымирающая, есть организованная бессознательным историческим процессом данность, но не бесформенная масса (Хаос в стремлении к Космосу). Лицом к лицу с этой истиной пришлось встать проповедникам универсального христианства.

Спор был недолог, и победительницей из него вышла раса. Рано или поздно должны были образоваться христианства романское, византийское, германское и славянское, и если бы буддисты приняли Христа, то, несомненно, быть бы и монгольскому христианству. Русские приняли веру свою от византийцев, но не стали византийцами. Роль Византии России была навязана потом насильственно, и в этой насильственности кроется разгадка того, почему для России оказалась мертвящей идея византизма. И потому самые крепкие русской национальности люди решительно восстали против попытки Никона перекрасить нас окончательно в греков.

Но, утверждая неотмирающую ценность национальной идеи, мы одновременно с тем фатально должны поставить вопрос: в чем же ценность христианства, раз оно в общественной жизни не может играть руководящей роли, но обречено быть лишь поглощаемым? Лишний повод усомниться в Божественной правоте Христа. Прежде чем отвечать на предложенный вопрос, следует указать, что идея устрое-

ния земного во имя Христово отвергается самим Христом: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь: ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ; и царство на царство».

Двух мнений быть не может: не об устроении говорит Христос, но о нестроении. И если христианство все же может способствовать (и способствует) устроению общественному, то в этом лишь побочная его ценность, а не основная. Основная же ценность христианства в том, что оно — идея глубоко жизненная, не отвлеченная, столь же реальная, сколько реально разноязычие, на котором говорят народы, идея Божеская, органически-универсальная, осмысливающая существование человечества не во времени, а в вечности.

Наше существование, взятое безотносительно к Абсолюту, не имеет для нас смысла, так как в этом случае ни на один из вопросов наших нет удовлетворяющего ответа, все мучения наши земные остаются неоправданными. И до сошествия Сына Божия на землю, до искупления Им грехов мира* на кресте Голгофском человеческое существование было безотносительно к Абсолюту, т. е. не имело Божественного смысла. Иисус Христос есть как бы тот знак, что делает возможным установление этого соотношения.

Органичной же идея христианства является потому, что основополагается она не на знании, а на вере. В этом отношении (т. е. в отношении оправдания) правы Отцы Церкви, говоря: и диавол *знает*, но что в том? В приведенных словах правда та, что хотя знание и не исключает веры, но может существовать и без нее. Ведь знают же атеисты, Диаволу подобно, о непреложности существования Бога, но не верят (или не хотят верить) в эту непреложность, а от знания, несмотря на все свои старания, отделиться не могут. В их знании без веры — их проклятие, и в этом они также уподоблены Диаволу. В самом деле, разве в математических знаниях суть оправдания нашей жизни? Для того чтобы узнать, что Вселенная бесконечна и что человек в ней — малая песчинка, не нужно было делать стольких сложных математических исчислений. Бог всемогущ, — да в этом понятии о всемогуществе Бога издавна десять бесконечностей заключено (я говорю «десять бесконечностей», желая тем символически подчеркнуть сугубую, человеческую реальность этих бесконечностей). Не важно знать, что человек во вселенной — малая песчинка, важно почувствовать, что он в ней, а не вне ее, что он, как и каждая песчинка, поцелован Богом. Важно почувствовать то, что почувствовал Фет:

...мой дух окрылился, —
Правду провидит он с высей творенья:
Этот листок, что иссох и свалился, —
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Даже иссохший, свалявшийся листок, «поцелованный Богом», вспыхивает огнем вечного золота.

У Эмиля Верхарна есть стихотворение, в котором с поразительной ясностью выступает этот ужас — проклятие безрелигиозного (не верующего в откровение Божие) человека. Стихотворение достаточно длинно, но я не удерживаюсь от искушения привести его целиком:

---

* Грех я понимаю не как преступление против нравственности, а как противоречие смыслу нашего существования.

Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
На жесткой почве — строгие стволы
Встают с упрямой прямотой иглы;
Как копья, ветви их, и их листва
Зазубрена, недвижна и мертва;
Прямоугольных скал синеют очертанья —
Громады страха и молчанья!
И грезят небеса в своем алмазном сне;
И сонмы звезд глядят с своих высот ко мне,
Неумолимы и суровы;
И за покровами покровы
Вкруг золотой Изиды в вышине!
Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Как взоры пристальны их роковых проблем!
Первичные они — пред нами суть затем,
Чтоб в вечности пребыть такими ж!
От их всевластных рук вселенной не отымешь,
Они лежат на дне и в сущности вещей,
Нетленно проходя сквозь мириады дней.
Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Открою я глаза — их чудеса кругом!
Закрою я глаза — они во мне самом!
За кругом круг, в бессчетных сочетаньях,
Они скользят в воспоминаньях.
Я погибаю, я пропал,
Разбив чело о камни скал,
Сломав все пальцы об утесы...
Как бред Кошмара — их вопросы!
Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Вы тексты от каких затерянных страниц?
Остатки от какой разрушенной вселенной?
Ваш отвлеченный взор, взор глаза без ресниц,
Из-за камней глядит, как лезвие — надменный!
От ваших пристаней поплыл корабль священный
И в щепы раздроблен при криках белых птиц!
Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Мой ум измучен и поник
На берегах спокойных книг,
В слепящем, словно солнце, мраке;
И предо мной, во мгле теней,
Клубком переплетенных змей
Свиваются немые знаки.
Я руки протянул во мгле:
Но вашей тяжестью к земле
Я наклонен в порыве смелом.
Я изнемог, я изнемог —
На переходах всех дорог
Встречаться с вами, как с пределом!
Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Действительность иль призрак вы, не знаю.

Вы холодны душе моей, как лед!
Ваш роковой закон меня гнетет,
И вот в безумии я умираю!
О, вечно ль небесам мечтать в алмазном сне?
И сонмам звезд глядеть с своих высот ко мне
Неумолимо и сурово?
И вечно ль не сорвать покрова
Пред золотой Изидой в вышине!

На что комментарии? В словах Верхарна положительно до ужаса все ясно. И сердцу больно, но следует помнить, что если в лесу Предвечных Числ листва на деревьях «зазубрена, недвижна и мертва», то вот листок этой осины, обожженной предосенним солнцем, — «золотом вечным горит в песнопеньи».

Владыка Михаил указывал недавно, что некоторые на христианство смотрят как на нечто, подобное второму этажу странного здания, здания без первого этажа и без фундамента. Под тенью этого здания, Христом построенного, под тенью Голгофы Христовой можно, мол, отдыхать, ни о чем особенно не заботясь и изо дня в день предаваясь преблагополучнейшим размышлениям.

Люди с таким взглядом, несомненно, существуют, но есть и иные, смотрящие на христианство как на бесконечную постройку здания, к тому же, кажется, до сего времени не ушедшую дальше рытья канав для закладки фундамента, — столпотворители вавилонские, — и таких много — может быть, таковы все русские интеллигенты, занимающиеся в настоящее время богоискательством.

В действительности схема христианства значительно сложнее двух приведенных. Конечно, человечество, оделенное свободною волею, правом выбора, не должно и не может в христианстве играть пассивной роли, и этаж первый — как дело рук человеческих — существует и построяется, только не в бесконечности, а до времени, откуда начинается неизбежность, — Христом построенный второй этаж, Голгофа, окончательный смысл которой остается для нас неясным до сего времени и пребудет таким до скончания века.

Но реченное от Господа да сбудется — хотим мы этого или не хотим. Отречется ли мир от Христа или примет его всем сердцем своим — неизбежно Второе пришествие Христово. В этом-то смысле мы и являемся рабами Господа, рабами созданной Им неизбежности.

Больнее всего душе нашей кажущаяся бессмыслица мира, и даже в неизбежности Второго Христова пришествия мы готовы видеть ту же бессмыслицу, ибо в этой неизбежности кроется как бы начало отрицания свободы человеческой воли. Но это именно кажущееся противоречие: во втором пришествии сокрыта не бессмыслица, но первый (высший) смысл, и если он (смысл) остается для нас неясным, то потому лишь, что пока он вне поля нашего зрения. Он откроется, когда небо и земля прейдут, станут иными. Второе пришествие — второе Откровение, как первое Откровение — вера во Христа Сына Божия. Кто знает веру, кто знает, что приносит она с собой человеческой душе, тот поймет меня.

Сохранился буддийский текст, в котором только следующий взгляд на Нирвану признан единственно верным: «Некий монах, по имени Ямака, высказывал следующее еретическое мнение: я понимаю, говорил он, возвещенное совершенным таким образом, что монах, освободившись от грехов, когда распадается его тело, подлежит уничтожению, что он не существует после смерти. Это мнение еретическое. Верный ученик Будды должен думать так: Нирвана есть прибежище, где нет ни земли, ни воды, ни света, где нет ни бесконечности пространства,

ни бесконечности разума, где нет ни этого мира, ни другого мира, ни солнца, ни луны. Нирвана существует без основы, без развития, без опоры».

Буддизм является одной из попыток борьбы с бессмыслицей мира, с законами Предвечных Числ, с причинами и следствиями. В завершении буддизма — в Нирване — почти победа над бессмыслицей. В понятии о Нирване — величайшая метафизическая глубина: Нирвана не только не заключает в себе причин и следствий, но также не является следствием нашего земного существования и жизни мира, не связана с ними какой-нибудь причиной. Нирвана от нас отрезана, она по ту сторону. Она есть метафизическое отрешение от всяких условностей. Такой взгляд на Нирвану подтверждается еще символически ответом Будды на вопрос: Кто он? — Бог, гений? — «Нет», — отвечает Будда. — «Человек ли?» — «Нет». — «Кто же ты наконец?» — «Будда!» То есть какое-то необычайное создание в человеческом образе, создание, приблизившееся к Нирване и уже находящееся отчасти вне причин и следствий.

Второе откровение христианства я уподобляю Нирване. Но указываю, что если в понятии о Нирване есть стремление к полнейшему отрешению от всяких причин и следствий, то в христианском откровении все же остается причина Второго Христова пришествия, но только она не принадлежит к категории тех причин, что являются уделом нашего земного существования. Будда же и уверовавший — почти одно и то же, ибо верующий, подобно Будде, находится отчасти вне гнета причин и следствий, уже имеет предчувствие второго откровения — о смысле.

VI

В первой половине моего доклада я пытался положить основы философского оправдания моего мировоззрения, моей проповеди о русской идее, ибо во имя мировоззрения говорю я. Не знаю, насколько предыдущие мои слова казались вам понятными, но все-таки думаю, что мною кое-что сказано о моем лице. Теперь же, формулировав по возможности кратко эти основоположения моего мировоззрения, я полагаю своевременным перейти к теме доклада, т. е. говорить о православии, самодержавии и народности в свете моей идеи и в свете истории. Итак:

а) жизнь есть ценность, ибо она создана Богом — абсолютною ценностью;

б) религиозные идеи могут существовать и помимо Христа, т. е. во имя ценности жизни;

в) всякая религиозная идея, существующая помимо Христа, является примитивной, т. е. не дающей окончательно ответа о смысле человеческого существования. В этом отношении, по сравнению с христианством, примитивна не только эллинская религия, но и самая глубочайшая после христианства — буддизм;

г) идея общественного устроения вообще не тождественна с христианскою идеей. Вопрос об общественном устроении даже в религиозной плоскости является вопросом первоначально-органическим, как имевшим возможность существовать до Христа. Этот вопрос лишь одна из подробностей человеческой жизни (есть, например, две подробности: воздайте Божие Богу, а кесарево кесарю), он о жизни и должен быть разрешен национально, так как национальное начало есть жизненное (органическое) и притом ближе всех стоящее к вопросу об устроении;

д) свободная воля отдельного человека (как слагаемого) есть категория души, а не рассудка, — следовательно, начало органическое. Религиозная идея (поми-

мо Христа) также начало органическое. Оба начала сливаются в едином (органическом) человеке, но не в понятии;

е) по праву волющего свободно, человек может в настоящей жизни (довлеет дневи злоба его) принять идею христианства или, вернее, эстетику и этику христианства как идею общественного устроения во времени. В частности, такова религиозная (во Христе) идея православия, самодержавия и народности.

VII

Главнейшее отличие католицизма от православия, конечно, не в догмате об исхождении Духа Святого и не в пресных и кислых хлебах Евхаристии. Различие в самых числителях*, в том что при одинаковом знаменателе (имя Христа Сына Божия, пришедшего в мир) числителем католицизма является папство (поглощение коллектива единым «святым» анархистом, лишение коллектива права на свободное самоопределение), числителем же православия (я говорю о русском православии, которое по духовным свойствам народа, его носящего, отлично от византийского православия) является царское самодержавие (поглощение единого (царя) эстетикой и этикой христианства во имя коллектива).

Главой католицизма взята вся полнота власти над коллективом, все права, до права лжи включительно (иезуиты есть лгущие во имя Христа и его наместника), — в православии же право лжи ни за кем не утверждено. Католический священник вовсе не должен молиться о прощении Папе греха иезуитской лжи — православие категорически утверждает: один Бог без греха, т. е. и безо лжи. Православие к понятию о лжи применяет всегда один масштаб, католицизм — два: ложь во имя полноты власти Папы есть освященное Христом дело, а ложь мирянина, во имя любых побуждений, — грех, требующий мольбы о прощении. То есть Папа перестает, очевидно, быть человеком, и человеческие мерки к нему уже не применимы, так же как и к русскому царю (о царе я еще буду говорить). Результат возвеличения царя и папы один и тот же, но я не хочу сейчас решать, кто правее. Здесь спор эстетического характера, а не о правоте. Впрочем, я все же склонен думать, что этика русского православия эстетичнее католической. Из моих последних слов можно заметить, что не официальное православие и самодержавие собираюсь я оправдывать, но те формы, в которые отлились эти две идеи в душе русского народа. Хочу также разобраться, насколько жизненны эти идеи и не пришел ли черед их смерти.

Как возникло фактическое самодержавие и как зародилась, как развивалась идея православного самодержавия в народе? Если царская власть выросла из княжеской, то идея самодержавия выросла из веча.

Что славянин — прирожденный раб, думают не только иноземцы, но и почти вся наша русская интеллигенция. Стать свободным значит: перестать быть славянином, сделаться западноевропейцем.

С этим, конечно, нельзя согласиться. Наоборот, некоторые исторические и психологические факты в корне опровергают приведенную теорию. Так, никто не назовет вече рабской формой правления, а ведь уже самое слово это показывает, что подобный образ правления был в русских землях исконным, вечным. В смене многих

---

* Числителем я называю здесь форму отношения идеи христианства (этики и эстетики его) к миру; споры же догматические и обрядовые есть лишь некоторый элемент числителя.

столетий русские славяне рождались, жили и умирали свободными, и еще не так давно, почти в эпоху Шекспира, мужики новгородские кричали на вече: «Мы не отчина московского князя! Великий Новгород — вольная от века земля! Великий Новгород сам себе государь!» — и противники Новгорода — бояре московские — говорили: «А захочет Великий Новгород бить челом, то он знает, как ему бить челом». Вече и посейчас существует на Руси в виде сельских сходов, и все вопросы на этих сходах решаются тем же порядком, каким решались они на вече.

Падение личной славянской свободы обычно приурочивается к призванию варягов, и в этом призвании хотят видеть добровольный отказ от свободы. Однако, призвав князей, новгородцы не поступились своим вечем, и только спустя шесть столетий вече перестало существовать как образ государственного правления. История не сохранила нам тех условий, на которых варяжские князья сели княжить в Новгороде и новгородских землях. Лишь позднейшие новгородские договорные с князьями грамоты несколько освещают данный вопрос. В грамотах конца XIII века мы находим такие ограничения княжеских прав, что даже бельгийская конституционная хартия в сличении с этими грамотами не должна казаться нам крайне либеральной. Новгородский князь не имеет законодательной власти; он не может без посадника: а) давать какие-либо грамоты (т. е. льготные, уставные и всякие иные); б) назначать правителей волостей и вообще мелкую администрацию; в) лишать их должности без вины, т. е. без суда; г) не может судить без посадника — словом, князь без посадника, без представителя Новгорода, — ничто. Но и посадник без воли новгородцев — ничто. «А вы, братья, в посадничестве и во князьях вольны», — говорит в начале XIII века посадник Твердислав. Значит, новгородцы вовсе не призывали князя как правителя. Просто в лице его нанимали искусного в ратном деле чужеземца, которому одновременно поручали власть исполнительную и защиту государства от внешних врагов. Конечно, нашлись бы и среди новгородцев искусники в воинском деле, но всякий новгородец был прирожденным полноправным гражданином и, следовательно, мог (имел право), опираясь на воинскую силу, политиканствовать, чего новгородцы прямо не хотели: армия у них должна была стоять вне политики. Князь же полноправным гражданином не считался и в силу этого условия был наиболее подходящим для роли военачальника.

Вместе с соблазном правды (хорошего) в душе человеческой господствует и понятие о праве. Для вожаков новгородских было ясным, что среди новгородской черни могли возникнуть симпатии к князю на той почве, что он судит лучше, чем посадник, справедливее. Оружием против этих опасных новгородским вольностям симпатий могло стать только право, т. е. установление того, кому принадлежит право суда: князю или посаднику. Здесь основа договорных (правовых) грамот, а позднее и целование креста во утверждение справедливости права. Отсюда же и попытка сделать князя неполноправным (не гражданином), лишение его некоторых примитивных гражданских преимуществ, например, права приобретать в пределах новгородских недвижимую собственность, чем пользовался последний новгородский смерд. В этом отношении князь поставлен ниже смерда — он только пришлец, не имеющий собственности по закону, и попытка приобрести собственность является с его стороны нарушением закона.

Лишив таким образом князя права экономического гнета (жена князя тоже не могла приобретать недвижимую собственность), новгородцы не забыли и о тех, на кого князь мог рассчитывать как на своих приверженцев — ядро ратной силы, княжеских служилых людей: последние также были лишены права на недвижимую собственность, не могли гнести экономически; новгородцы как бы

говорили им: «будете жить тем, что мы вам дадим», т. е. здесь, в таком установлении, мы видим нечто обратное общепривившемуся порядку: народ подчинял себе служилый класс экономически.

Наконец, князь в своих происках мог через посредство беглых (недовольных) новгородцев и специальных послов опираться на постороннюю (чужеземную) силу. Но новгородцы оградили себя и от этой опасности путем введения в договорные грамоты такого пункта, по которому князь мог предпринимать правительственные и судебные действия только в пределах новгородской земли. Всякое выступление князя по отношению к чужеземцам как лица самостоятельного, облеченного полнотой власти, в силу указанного пункта становилось противозаконным, и князь, нарушивший закон, подлежал смещению.

VIII

Понятно, такой порядок вещей не мог нравиться князьям, пришедшим с Запада, где власть князя была совсем иной. В то время на Западе уже вполне была утверждена власть правителя-деспота. Западные народы в борьбе за свободу и самобытность не смогли проявить той живучести, что проявил русский народ. Исторически рано признали они право нераздельной власти одного человека над коллективом. И в настоящее время, когда Западная Европа стала сплошь конституционной, она все же сохранила фетиш деспотизма в лице конституционных монархов, ибо, если разбираться по существу, конституционный монарх бессмыслен и о нем нельзя сказать, для чего он есть; он какая-то ненужно дикая игрушка, пережиток, но столь глубоко въевшийся, что преодолеть его невозможно. Нет! Конституционное государство, ставшее таким ради экономических выгод населения, не должно позволять себе иметь конституционного монарха, эту слишком дорогостоящую побрякушку. Непреложный смысл имеет только монарх православно-самодержавный.

Но я немного отвлекся. Следует вернуться к тому, что князья с таким общественным порядком примириться не могли и потому искали средств к утверждению своей власти над свободолюбивыми славянами*.

Идея веча была выражена слабее в Киеве и вообще в славянских землях, лежавших ближе к Западу, где влияние более культурных европейцев сказывалось значительно сильнее, чем в волостях новгородских, кроме того, малороссы и белорусы были много пассивнее и податливее великороссов.

Князьям варяжским житья не было от буйных новгородцев (и впоследствии, уже приобретши гораздо большую силу, князья плохо уживались с новгородцами), и они поняли, что если суждено их власти укрепиться на Руси, то легче всего ей укрепиться в Киеве, который, кстати заметить, вовсе и не призывал князей, может быть, именно по своей пассивности и безразличности, но что, на первый взгляд, совсем не говорит о добровольной отдаче киевлянами своей свободы. Не только местоположение и богатства Киева прельстили князей варяжских, но именно и это сознание. Ведь Новгород потом стал весьма богатым городом, однако и тогда князья не очень-то радовались перспективе княжения над буйными новгородцами.

---

* Славяне чтили и чужую свободу: у них не было института рабства, военнопленных они не делали рабами, но, заставив прослужить несколько лет, отпускали на свободу, о чем говорят летописцы.

Единственной опорой для князя была дружина. Князь и дружина старались жить между собою мирно, так как это было одинаково выгодно и даже необходимо для обеих сторон, — князю потому, что, мирволя дружине, он тем закреплял добрые отношения дружинников к себе*, дружинникам потому, что без князя народ их не потерпел бы, ибо один князь был лицом, принятым по договору, и на нем можно было искать; дружинники же в непосредственный договор с народом не вступали, а договаривался за них князь.

Стремясь захватить власть в свои руки, князья, естественно, не мнили найти себе верных в этом деле помощников среди земских людей. В крайнем случае, они могли рассчитывать только на худший элемент, на изменников народному делу, на продажных людей, а потому, не могши особенно доверять таким людям, набирали свои дружины из иноземцев, преимущественно из варягов — людей, чуждых интересам местного населения. До XI века княжеская дружина не была национальной, и лишь постепенно земские бояре, соблазняясь преимуществами княжей службы, превратили ее (дружину) в славянскую.

Можно порицать за это земских бояр, можно звать их изменниками, но ведь с призванием иноземной дружины они теряли почти все свое значение для земских людей, переставали быть боярами, большими, лучшими людьми, на которых лежала защита славянских земель от иноземных покушений. Расстаться же со своими классовыми преимуществами, слиться с земскою черныо они не хотели, и потому им следовало избрать одно из двух: или прогнать князя и дружину и сесть на их место, или же передаться князю, служить его интересам. Они избрали последнее и тем положили начало своему разрыву с народом, тому разрыву, который в настоящее время предстал перед нами в своей окончательной форме (я говорю о непримиримейшей вражде между народом, с одной стороны, и барством и интеллигенцией, которая тоже является потомком княжеских служилых людей, — с другой). Впрочем, галицкое боярство в XII веке пыталось решительно бороться с усиливающейся княжеской властью, но, будучи не поддержано по каким-то причинам, оставшимся неясными, земскими людьми, потерпело неудачу. (Если мы вспомним позднейшую борьбу польского шляхетства с королем, то усмотрим какую-то отдаленную, но несомненную связь между польским движением и попыткой бояр соседней Польше галицкой земли.)

Татарское нашествие, лишив русские земли политической самостоятельности, вместе с тем значительно утвердило власть князей. Русские уже не могли ставить себе князей, их ставил хан, а так как татары во внутренние распорядки русской земли не вмешивались или вмешивались мало, то князья и не преминули воспользоваться своей сатрапской долей самостоятельности. Затем в русских людях стало крепнуть сознание необходимости освободиться от татарского ига. Освободиться можно было лишь при помощи ратной силы, что, в свою очередь, увеличивало уважение к князю — руководителю ратной силы, а следовательно, увеличивало и его власть.

Новгород не испытал всей тяжести татарского ига, и потому распорядки новгородские и отношение новгородцев к князю оставались прежними. Но пришел черед и Новгороду. Его дедовские обычаи также пали, но пали от руки московских людей, уже объединенных в то время идеей царского самодержавия.

Нельзя сказать, чтобы новгородцы особенно упорно защищали свои вольности: они покорились не только московской силе, но и московской идее.

---

* Самое наименование «княжий дружинник» указывает на дружбу и единомыслие данного лица с князем.

Лишне говорить о том, что пределы новгородские граничили с московскими и что новгородцы, постоянно общаясь с москвичами, не могли быть не знакомыми с идеей самодержавия. И когда Новгород решал вопрос: стать ли ему под Великим Князем Московским, то среди новгородцев было уже много приверженцев Москвы, и хотя вначале власть в Новгороде была в руках противников Москвы, но сторонники помалу приобретали все большую и большую силу и, наконец, одолели.

Кроме вопроса о политическом подчинении Москве, новгородцы должны были решить еще и другой: о православии. Оставаться верными православию — значит принять власть с православным архиепископом и царскую власть, освященную православною церковью; отказаться от православного архиепископа, ставленника Московского митрополита, — значит принять униатского ставленника. Этот вопрос для новгородцев, еще под предводительством Александра Невского защищавших православие от папства, не был пустым вопросом, и потому-то новгородцы в спорах на вече кричали: «Мы не бывали за латиною и не ставили себе архиепископа от них. Как теперь вы хотите, чтоб мы поставили себе владыку от Григория, а Григорий ученик Исидора латинина? К Москве хотим, к Москве, по старине, к митрополиту Филиппу в православие!»

IX

Но в чем же для народа притягательность православного самодержавия?

Православное самодержавие двухсторонне: одна сторона его обращена к небу, другая к земле; оно единит небо и землю. Один из современных русских писателей в поэтической статье о душе русского народа* приводит следующее народное сказание: отыщи большой муравейник, от которого идут двенадцать дорог. Раскопай и облей его водою — и наткнешься на дыру в земле. Копай на три сажени и увидишь муравьиного царя на багряном или синем камне. Облей его кипящей водой, и он упадет с камня, а ты копай опять, охвати камень платом. Он спросит: «Нашел ли?» А ты продолжай копать молча, камень держи во рту и платом потирайся. «Ты небо отец, ты земля мать, ты корень свят, благослови себя взять на добрые дела, на добро». «Что же? — говорит писатель. — Корявый и хитренький мужичонка копается в муравейнике, ищет корешка, которым, верно, будет лечить коровье вымя или свою больную бабу. Отчего же муравьиный царь там беспокоится и отчего мужичонка так красиво просит о корешке небо и землю? Оттого, что у мужичонки — сила нездешняя. И муравьиный царь — тайный его сообщник. А главное, оттого, что мужичонка, наверное, найдет корешок, на что бы он ему не был надобен. Ищет, значит, найдет».

Этот писатель, несмотря на свою интеллигентность, хорошо (по наитию Духа Свята) понял мужицкую душу. И, по заповеди Христа, ему нечего заботиться о том, что говорить, ибо говорить за него будет Дух Святой, который в нем.

Действительно: муравьиный царь русскому мужику тайный сообщник — потому что вера у них обоих одна: в Божескую землю. Плечом к плечу работают в Божеском мировом деле и муравьиный царь, и русский мужик. Здесь почувствована живая связь с миром, нет отрицания мира, логического его распада. Но логика все же есть — изумительно-своеобразная, так как человек, привыкший думать

---

* Появившейся в печати года три назад.

обычно-логически, подобно думать не станет. «Во-первых, — скажет он, — у муравьев осуществлен коммунный строй жизни и, следовательно, царя им иметь незачем; во-вторых, жизнь муравьев я прекрасно знаю, и знаю, что искать у них нечего; в землю на три сажени они не закапываются». Мужик думает иначе не потому, что ему нужно выдумать какую-то небывальщину, отвлеченность вроде рационализированной братской любви, но потому, что для него понятие о настоящем (православном) царе не есть понятие о каком-то начальнике-угнетателе, но о связи Бога с землей, о воплощении по благодати Божией справедливости, без которой общение с землею будет грехом, а не праведным делом. Ишь, муравьи-то копаются! Стало быть, у них Бог и царь есть, иначе к чему им и копаться, если связи с землей и оправдания ее у них нет. Здесь и Бог становится не заступником, т. е. не защитником от чего-либо, так как от чего и от кого защищать Ему мужика, когда Он (Бог) выше всего на свете. Бог-отец с трудовыми мозолями на руках. Изначальный мужику соратник (ты небо отец, ты мать земля). Мужик Богу помощник, а Бог мужику, и оба они по одной борозде идут.

Логически мыслящий человек постоянно стремится найти математическое соотношение между своей личностью и миром, между миром и Высшей силой — благодатью Духа Святого. Но так как все эти величины в настоящем неизвестные, то, конечно, усилия логики оказываются бесплодными. Мужик, признавая (чувствуя) безусловную реальность всех трех величин, объединяет их не в логике, а в вере; вместо знака: ставит + (нагольный тулуп + мужик = мир + благодать Духа Святого). Что бы ни получилось в результате — это другое дело, — но результат есть, и положительный: русская идея — Бог, царь, мужик. И возможность таких плюсов создана мужицким чувством ужаснейшего реализма — реализма веры, органичностью мужика, тем, что для него одинаково непреложно реальны и он сам, и его нагольный тулуп, и благодать Духа Святого.

Но как выросла в мужике вера в эту благодать?

В русском народе заложено огромное стремление к подвижничеству. А кто же, как не подвижник, может ощутить всю полноту благодати Христовой. Подвижники были элементом, объединившим русский народ с Богом, так как, подвижничая, они не теряли живой связи с народом, с организмом, и то, что давалось им, давалось одновременно и организму-народу.

Подвижники объединили народ с Церковью. Что говорила Церковь — говорили они. Церковь говорила о царе православном, справедливом, просветленном Божией благодатью — народ принял царя, ибо он был народом, к которому неприменимы евангельские слова «нет пророка в отечестве своем».

Но это идеалистическая сторона православного самодержавия — обращенная к небу. Земная же сторона, в которой разрешаются различнейшие вопросы практической политики: о земле, о правом суде, о народном представительстве, о государственном национализме — насколько можно судить по историческим фактам и по тому, как эта сторона выражается в настоящее время, — была направлена, подобно идее веча, главным образом, против засилья служилых людей, нахлебников, а теперь, когда служилый класс потерял свое исключительное для народа значение, и против интеллигенции.

Слово «интеллигенция» принято понимать как определение внеклассовой группы людей, играющей в жизни народной роль монетного двора, берущего из недр народной души чистое золото и превращающего его в золотую звонкую монету, в реальное богатство, в народную культуру. Нам, русским, следовало бы давно отказаться от такого определения интеллигенции потому, что наша интеллигенция не имеет непосредственной связи с народом и, следовательно,

не может быть творцом народной культуры. Нам следует отказаться даже от самого слова «интеллигент» и переименовать представителя этого класса в «разумника» — слово русское и по своим ироническим особенностям очень подходящее к духовным свойствам так называемого «интеллигента».

«Мудрость всегда отличали от разума», — говорит Владимир Соловьев. Действительно, только мудрость, духовное понимание Божьего мира и правды его, может творить культуру. Разум, механика — акультурны. Диавол, который, по слову Христа, был искони человекоубийцей, т. е. лишающим человека чувства живой связи с Богом, есть именно разумник и искуситель человеческого разума. И интеллигенты суть дети Диавола, подобно ему исторгнутые из мира и пытающиеся вместе с ним через разум войти в мир, овладеть миром.

Нельзя ответить на вопрос: куда идет Смердяков? Смердяков, русский интеллигент, и Диавол — абстрактны, и в этом их несчастье.

Мысль, что интеллигенты и их родоначальники — служилый класс — сыны Диавола, не моя личная, а народная, и сложилась очень давно. Две былины: киевская — о том, почему перевелись богатыри на Руси, и новгородская — о Ваське Буслаеве, подтверждают мое предположение. По киевской былине, богатыри — представители служилого класса — возгордились и стали вызывать на бой Нездешнюю Силу, но были наказаны за свою дерзость тем, что превращены в придорожные камни. Странная аналогия: душа современного интеллигента тоже каменная, неживая. Новгородская былина однородна с киевской. Отец Васьки, Буслай, жил в Новгороде до 90 лет и:

...жил, не перечился,
С мужиками новгородскими
Поперек словечка не говаривал.

Васька пошел другой дорогой: только то и делал, что всячески измывался над новгородцами, а кончил тем, что, посмеявшись над Силой Нездешней и над головой Адамовой, разбил свою собственную буйную голову о святой камень Алатырь.

Понятно, что одна религиозная рознь не могла укрепить столь сильно вражду народа к интеллигенции. Все-таки служилые люди да и многие интеллигенты в церковь ходили, Богу молились, словом, имели нечто общее с народным христианством — все это должно было ослаблять, но не укреплять вражду. Есть другая причина вражды — экономическая и правовая: у народа тысячу лет назад сложилось мнение о служилом человеке как об обманщике и грабителе, который в свою сторону гнет, что имело фактическую почву. Служилый человек обманывает мужика, главным образом, тем, что ставит ненастоящего царя. И когда Иван Грозный начал борьбу со служилым людом, то народ царю не перечил. И когда новгородцы принимали власть московского царя, то они ни за что не хотели принять московских служилых людей, чуждых местному населению. Царь, принимая новгородцев под свою руку, согласился на их условия: «А что есте били челом мне, великому князю, чтобы вывода из новгородской земли не было, да у бояр у новгородских в отчины, в их земли, нам, великим князем, не вступаться, и мы тем свою отчину жалуем, вывода бы не паслися, а в вотчины их не вступаемся. А суду быти в нашей вотчине, в Новегороде, по старине, как в земли суд стоит».

И в Смутное время, и в разиновщину, и в пугачевщину служилым людям сильно доставалось от мужиков. Разиновщина и пугачевщина были казацкими движе-

ниями. Но ведь казацкие ряды пополнялись беглыми, теми, кому не в меру люто приходилось от боярства и служилых людей.

Года шли, сменялись поколения, а ненависть народная вместе с уверенностью, что служилый человек себе на уме, передавалась из поколения в поколения. И теперь, что бы ни начинал интеллигент, мужик ему не верит и говорит по-прежнему: «Барин-то свою линию ведет».

Если интеллигент идет к мужику со своей дружбой, то мужик обычно думает: «Испугался, хочет обмануть, разлакомить меня на дружбе». Это верно исторической действительности, и предлагать после векового обмана дружбу не совсем этично.

X

Нельзя смотреть на русское православие как на нечто закосневшее, застывшее в буржуазном самодовольстве. Православие русского народа в том, что он ищет постоянно правую веру. Ищут веру и интеллигенты, но между исканиями народными и интеллигентскими лежит глубочайшая пропасть. Для народа Бог — данность, и все искания свои он обращает вовнутрь, ищет путей к Богу, ищет, как жить по Божьей правде. Для интеллигента же, чтобы жить по правде, установить порядок, необходимо найти и утвердить самого Бога (пример Толстого). Это в лучшем случае, а в худшем в итоге получаются просто божки: Кант, Маркс, Гегель, народушко и проч. Народные искания, как известно, выражаются в сектантстве. Народ православный, т. е. верный господствующей церкви, с большим уважением относится к сектантству и всегда сам не прочь перейти в сектантство. Гонят же сектантов те же вековечные обманщики — служилые люди.

В несомненной связи с сектантскими исканиями стоят народные искания «настоящего царя». В народе всегда живет подозрение, что царь не настоящий, подменен господами для своих выгод, а оттого и неправда идет по Русской Земле.

Здесь уместно объяснить, что такое настоящий царь, и высказаться по некоторым вопросам практической политики. Настоящий царь есть такой, на котором, по воле Божией, почила благодать Духа Святого, утверждающая высшую справедливость царя. Не вдаваясь в излишние подробности, я скажу, что против такого утверждения можно спорить, можно доказывать логически его ошибочность, но кто верит в Божию благодать, а тем более испытал ее реальность, тот ни спорить, ни доказывать не будет. Народные искания Смутного времени, разиновщина, пугачевщина — все это искания настоящего царя. И если возможна русская революция, то она должна быть во имя тех же исканий. Говорят, что в народе теперь идея царя уже не имеет прежнего обаяния, даже вовсе пала. Но говорящие не указывают, чем народ заменил эту идею. Если ничем, то, значит, он сидит у моря и ждет погоды. Странное занятие.

Мы не видим в народе попыток заменить чем-нибудь идею царя, но попытки утвердить настоящего царя имеем налицо. Таковы христианство хлыстов и скопцов. Хлысты весьма сильная секта, пользующаяся в народе успехом еще и потому, что она предоставляет своим приверженцам возможности сослужения — исключительная приманка для людей глубоко верующих. Не особенно давно нижегородский губернатор высказался о хлыстах, что если дать им свободу, то через месяц вся Нижегородская губерния запляшет.

Хлыстовский Христос есть прообраз справедливого царя. Скопчество вышло из хлыстовства и вынесло оттуда идею христовства. Основатель скопческой секты,

христос Кондратий Селиванов (он же царь Петр III), поучает (своего сына) Павла I, указывает ему, как подобает править царю:

А царь крепко осерчал,
Забыл первой свой начал;
Потом очень закричал —
Затворил он крепко двери.
«Не хочу быть в твоей вере.
А за этот за смешок
Пошлю в каменный мешок».
Наш Батюшка-Искупитель
Кротким гласом провестил:
«О, я б Павлушку простил.
Воротись ко мне ты, Павел,
Я бы жизнь твою исправил».
А царь гордо отвечал,
Божества не замечал,
Не стал слушать и ушел.
Наш Батюшка-Искупитель
Своим сердцем воздохнул,
Правой рученькой махнул:
«Поди, земная клеветчина,
К вечеру твоя кончина,
Я изберу себе слугу,
Царя Бога на кругу,
А земную царску справу
Отдам кроткому царю.
Я всем троном и дворцами
Александра благословляю:
Будет верно управлять,
Властям воли не давать».

Царь должен ставиться народом. Вопрос о престолонаследии не важен, не нужен. Избрали же в Смутное время царем Михаила (а раньше Бориса и всех прочих), хотя Михаил не был наследником Рюриковичам.

Царь должен советоваться с вечем, с выборными земли, но ввиду того, что на вече могут возникнуть разногласия, — право окончательного решения вопросов принадлежит царю или, вернее, через него самому богу. Да и решать вопросы на вече должны не по большинству голосов, как это практикуется в парламентах, а по «согласу», как решают на сельских сходах. Представители должны избираться тоже не по большинству голосов, а от мира. Так, если Иван получил 9000 голосов, а Петр 8000 или меньше, то Петр идет на вече вместе с Иваном, иначе будет несправедливо поступлено по отношению к избравшим его полноправным мирянам. Подобный порядок избрания должен повести к сильной борьбе партий, но царь — высшая инстанция, — Божьей властью должен враждующих примирять во имя правды Христовой, которая едина. Конечно, церкви благодать ближе, и представитель церкви имеет как бы больше прав на такую роль правителя-миротворца. Но тогда остается неразрешенным вопрос национальный. Представитель церкви слишком привержен ей и будет несправедлив по отношению к иноверцам, будет слишком чужд для них, — царь же как мирянин дол-

жен быть одинаково справедлив и к иноверцам. Потому-то имя Белого (справедливого) царя проникло и в Азию.

XI

Народная, органическая культура есть нечто крепнущее, растущее внутрь, постепенно заполняющее данную форму содержанием. Приведенная форма должна испугать интеллигента, он назовет ее рабским подчинением Року. Пусть так, но «Идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». И вот, если мы вернемся вновь к православному самодержавию и увидим, что, несмотря на стремление народа к нему в течение столетий, даже приблизительного достижения идеи не оказалось, — мы ужаснемся, но ужас наш не будет долог, лишь поймем, что если идея и не осуществлена, то потому, что народ думал о ней не во времени, а вместе с Богом — в вечности. От ужаса нашего не останется и следа.

Кажущаяся застылость культуры отпугивает от нее интеллигента. Все равно как испугали Достоевского слова карамазовского черта о том, что «все это, быть может, уже было и опять будет». А вот пифагорейцев такая мысль приводила, очевидно, в восторг, и, наверное, они немало гордились тем, что она принадлежит им. Однако и Достоевский успокоился на оборотной стороне этой мысли, т. е. он успокоился на вере в народ, а народ своими из году в год повторяющимися праздниками с их обрядами и обычаями, всем укладом жизни столь реально символизировал это «было, есть и будет».

Интеллигент привык думать о культуре так: например, понаставить в Якутской области телеграфных столбов, послать туда врача, акушерку, фельдшера, и Якутская область сделается культурной. А мне думается, что вот написал архангельский помор книгу на бересте*, не зная о существовании бумаги или не имея ее под рукой, и из Архангельской губернии уже тянет культурным духом, а не то что от поставленных там телеграфных столбов.

Интеллигент кичится своими образованностью и культурностью пред мужиком. «У нас такая величина, как Достоевский», — говорит интеллигент. Но что для интеллигента Достоевский? Даже не учитель. А будь этот подвижник у мужика, мужик причислил бы его к лику святых. Если Достоевский велик для интеллигента как художник, то ведь худшая часть интеллигенции прямо пренебрегает откровением художественного слова, а лучшая находится под гипнозом тютчевского афоризма: «Мысль изреченная есть ложь». Народ знает иное изречение о слове: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово».

XII

Теперь мы уже можем ответить на вопрос: чем больна Россия, а выживет ли она — ответит время. Для России необходимо установить форму правления, ей родную, выросшую из ее культурной идеи. Но России одинаково чужды и официальное правительство, и тот класс, что стремится захватить государственную власть в свои руки. Оттого и мучится Россия.

---

* Могущих заинтересоваться этой берестяной книгой отсылаю к книге Максимова «Год на Севере».

Возможно ли примирение народа с интеллигенцией? Вряд ли. Слишком долго шли они в разные стороны и уже не видят друг друга.

Народ не хочет поступиться своим. Достоевский говорил о нем, что он хочет, чтобы любили не его самого, а то, что принадлежит ему. В психологии Достоевский редко ошибался, не ошибся и здесь. В народной песне поется:

Тут летела пава через сини моря,
Уронила пава с крыла перышко.
Ей не жалко крыла — жалко перышка,
Мне не жаль мать-отца — жалко молодца.

Поэтическая параллель проведена здесь весьма тонко. Если хотите отнять кусок, то берите уж лучше целиком, и целого без куска не надобно. Кусок выдерните из дома, все равно весь дом станет разваливаться.

Если интеллигент желает идти на сближение с народом, то, памятуя заповедь Спасителя:«блажен, кто душу свою положит за други своя», он должен отречься от самого себя, погубить свою душу.

«Чем нам быть?» — спрашивает интеллигент. Будьте святыми — и вы получите над народом духовную власть святых. Спасение и для себя, и для народа ищите в церкви Христовой, в этике и в эстетике христианства.

<1910>

Затемненный лик
(По поводу книги В. В. Розанова «Метафизика Христианства»)

Есть Роза дивная. Она
Перед Пафосскою Киферой
Цветет, румяна и пышна,
Благословенная Венерой.
Вотще Киферу и Пафос
Мертвит дыхание мороза —
Цветет между минутных роз
Неувядаемая Роза.

А. С. Пушкин

Ясно, что черти хотят моей смерти.

Владимир Соловьев

Двенадцать слов прежде. Автор не собирается писать специальной рецензии о книге Розанова*. Скорее, все, что читатель найдет в предлагаемой статье, будет сказано лишь по поводу названной книги, в весьма разнообразных степенях приближения к первоначальному поводу — теме книги — и удаления от него. Но все это потому, что предлагаемая статья имеет свои специальные стратегические цели, о которых не место говорить в этом кратком предисловии.

Тактика же автора статьи приблизительно такова:

Считая книгу Розанова глубоко интересной и, как некий темный симптом, пожалуй, пугающей, ибо умный Розанов может найти себе учеников не только глупых и бесталанных (а глупые находятся часто прежде умных), автор, в дальнейшем развитии статьи, старается наметить ряд точек, исходя от которых понятливый читатель мог бы провести несколько линий по направлению к сердцу розановской книги, с тем чтобы, пронзив насквозь книгу, линии эти сошлись в другом сердце — чего-то бесконечно важного, на что Розанов наклеил словесный ярлык.

Быть может, первоначально точки нужно соединить в группы и уже от групп вести эти линии. Наверное, тогда это будет сильнее и значительнее.

И если будет так — автор сочтет свою тактическую задачу на сей раз исполненной в том смысле, что точки окажутся живыми, с силой истекающей. А разве не в этом подлинный и желанный смысл нападений?

Одновременно автор считает необходимым извиниться перед читателем за ненужную, быть может, экстатичность некоторых глав. Задача мыслителя — ясно видеть. Экстаз не всегда видение. Но так как автору приходилось цитировать Евангелие и Апокалипсис, причем он позволил себе приводить некоторые цитаты своими словами (правда, с возможной осторожностью), то понятно, откуда проистекает эта экстатичность. Кроме того, много значит: во-первых, что здесь все главки суть только корни настоящих мыслей, только совпадения и аналогии, долженствующие дать толчок дальнейшему развитию мысли, и, во-вторых, что необходимость сказать многое в немногих словах заставляет прибегать к сильным образам, часто искусительным. В первом случае это вовсе не окончательное положение, но лишь философский, или даже только филологический вопрос. Автор не хочет вводить в заблуждение неопытного читателя иератично-

* Постраничные ссылки сделаны по первому изданию книги.

24 Зак 3178

стью и экстазом и потому, объясняя все это, просит не придавать утвердительного значения всем его словам сплошь.

Что же касается тех, кто достаточно искушен в вопросах подобного рода, то на недоуменные их взгляды автор ответит словами А. А. Блока:

Лишь художник, занавесью скрытый,
Он провидит страстной муки крест
И твердит: Profani, procul ite,
Hic amoris locus sacer est,

и определенным указанием на пример этого художника.

О сем автор всегда помнил и никогда не забудет.

I

Самодовлеющий пол. Формула «самодовлеющий пол» подобна иной: «искусство для искусства», столь часто повторяемой в наши дни. Итак, я начинаю с аналогии.

Когда-то, и очень недавно, нужно было говорить: «искусство для искусства», дабы отмести прочь все не принадлежащее области искусства. Эта формула, исполняя обязанности новой метлы, мела чисто, но теперь, когда она поистрепалась, когда ее уже перестают понимать, пришла пора выяснить, что роль ее только служебная. Изба выметена, остались в ней блюдущие чистоту, и можно, пожалуй, на время остаться без метлы. Пора сказать во всеуслышание: «искусство может оставаться самим собою, но мы желаем осознать его место в иерархии ценностей, выяснить его цель, не умаляя тем, но возвеличивая его достоинство». Повторять ли избитую истину о великих художниках, не полагавших достижение своей художнической цели в чередовании звучных строф и соналожении ярких красок? Сие им присуще по праву владения, как великим мастерам, но не в этом только их заслуга, и никогда прекраснейшее само-по-себе (формально) японское искусство не будет идеальным для истинного европейца — эллинского потомка и наследника в духе, ибо японская живопись не знает картины и, следовательно, не ищет синтеза, ибо японская литература органически чужда Дантовой «Божественной комедии». Великолепно-отчетлива китайская бронза, но сколь великолепнее Фидиев Зевс, помавающий бровями, сколь великолепнее микельанджеловские «Моисей» и «Давид» и сколь характернее для истинно человеческого духа химеры собора Парижской Богоматери именно тем, что они водружены на Божьем храме. Не восхвалять *все это* я собираюсь, но просто указать на явное *большее* великолепие *сих*.

У японцев есть утверждение пола ради пола. Так неужели Розанов — желтая опасность?

II

Дана власть вязать и решить. Нет! Сам Розанов, наверное, не желтая опасность, ибо он все же европеец и не вполне адекватен своим книгам (это можно доказывать с фактами в руках). Он всем сердцем возлюбил Библию, но в книгах его заключается потенциально желтая опасность потому, что в Библии он

возлюбил только ветхозаветную ее часть, до Христа, а желтая опасность в нас самих, в том, что мы можем противопоставить Дальнему Востоку. Да, конечно же, только Лик Христов и уж никак не еврейское обрезание и половое благодушие.

Во Христе пол мучителен, но в Нем же и разрешение этого вопроса вопросов.

Здесь, в Петербурге, не принято удивляться чему-либо. И это «не принято» так глубоко вросло в здешние души, что спроси: может ли быть, чтобы А, В, С и еще несколько (имена рек), люди совершенно различные, соединились в кружок под девизом «искусство для искусства» (будь это поэты, живописцы или музыканты — все равно). Петербуржец ответит: «Отчего же? Я их понимаю». Но, право, он их не понимает, да и как же понять, когда здесь эклектизм должен быть положен во главу всех углов? Если уж нашли возможным А, В и С объединиться, то не значит ли это, что вопрос творчества для них только вопрос металогический?

И заседают в подобном кружке А, В и С, люди симпатичные, хорошие, заседают добросовестно и решают, почему стихотворение А как сонет плохо и почему сонет В хорош... Очень мило. Никто не может обвинить симпатичных дилетантов (конечно дилетантов, ибо специалисты в кружки не объединяются) в том, что они не умеют отличить ямба от хорея. Да, но все же их следует обвинять в том, что у них плохая, недалекая эстетика.

Пусть этот А, распинающийся в кружке за чистое искусство, выйдя после заседания куда-нибудь на Фонтанку, когда хлещет в лицо косой дождь, сердито бурлят волны и холодный ветер свищет из-за углов, пусть он почувствует здесь, перед лицом хаотической природы, что дана нам темная пока для нас власть вязать и решить, почувствует необходимость этого дара и (если он — А, дитя) что мировая игрушка еще не доделана и рано отделывать ее поверхность. Куда деваться с одними, хотя и добрыми, ямбами и хореями в октябрьский ненастный вечер перед лицом природы, как бы возвращающейся к своей первоначальной бесформенности? Вот, поистине, покушение с негодными средствами, эти самодовлеющие ямбы и хореи.

III

Просветленная эстетика. Пожелаем, чтобы А просветлил свою эстетику через возложение ее на Платоновы мощи, если уж эстетика Данта и Владимира Соловьева ему не по плечу. Просветлить значит исцелить. От такого исцеления было бы только хорошее, ибо очень острым должно быть мировосприятие исцеленного калеки и потому сколь полезным может оказаться исцеленный калека.

Кто желает быть архитектором в мире, да призовет себе на помощь Мнемозину и ее дочерей. Вместе с Музами и во главе их грядет Аполлон — Архитектор по преимуществу.

Пожелаем того же и Розанову. Пусть он сначала вспомнит, поймет, что мир до Христа был хаотичен безусловно, что только с Христом явилась уверенность в победе над миром. После Христа хаотичность мира стала условной. До Христа души благочестивейших царей и пророков, души людей, коих мы чтим святыми, шли в Ад, ибо прежнего, Адамова Рая, уже не существовало и нового, Христова, еще не было. Христос же по смерти Своей извел души усопших из Ада.

В утверждении, что положено начало божественному подчинению Хаоса, и заключается смысл Христовых слов: «Мужайтесь. Я победил мир».

Содержание мира — плоть. В субъективных формах духа мы стараемся высветлить это содержание. Но в субъективных формах высветления борьба Аполлона и Диониса — в этом еще нет победы. Победа Христова в том, что рождена форма объективная и что Плоть становится столь же объективной, как и Дух Христов.

А если Христова Рая нет, на что мне самодовлеющие ямбы и хореи, на что мне самодовлеющий пол? В отрицании Христова Рая начало возвращения к Хаосу.

У Розанова дурной вкус. Пусть он просветлит свою эстетику, и тогда он увидит, что в хаосе самодовлеющих и только самодовлеющих вещей ее нет. Она начало устроения.

Розанов умен и силен, и потому ему можно смело посоветовать возложить свою эстетику не на Платоновы мощи, а на Евангелие и Апокалипсис.

IV

Кто не эллин — тот не христианин. Зерно христианства в еврействе, но рост его — в эллинстве. Зерно в ясном сознании того, что Бог един, рост — в стремлении к единству мира.

Знаем, что еврейство было избранным народом, но Библия рассказывает нам, как этот народ в его избранничестве постоянно приходилось удерживать на тугих вожжах. Причина, очевидно, кроется в тягостности и ненужности неприложенного сознания об истинном бытии Бога Единого и в некотором неверии, пожалуй, отсюда проистекающем. Соломон, мудрейший из людей, соблазнился и принес идольские жертвы. Я хочу указать на то, что между собой они постоянно твердили: «Мы — избранные, мы — цари, Мессия лишь для нас. Придет Мессия, и будем господствовать в мире». Когда пришел Мессия и сказал: несть ни эллин, ни варвар, ни иудей; подите и принесите себя в жертву миру, его брожению и росту, — они Мессию не поняли. Для них это был не тот Мессия, которого они ждали. Они думали, что Мессия нужен только для того, чтобы утвердить ясность их представления об Едином Боге, укрепить их в вере отцов. Мессия же принес новое, и, не приняв этого нового, они за чечевичную похлебку национального избранничества и отобщенности продали свои права первородства. И сознание Бога ушло от них, началось распыление по лицу земли. Бога заслонила национальная обособленность.

Спешу оговориться: в еврействе было два зерна. Одно захотело прорасти, понимая как начало приложения сознания к делу слова Божии: «что Бог очистил, то ты не скверни». Другое прорасти не захотело и потому для мира умерло. Здесь я мог бы прибавить несколько соображений, касающихся дальнейшей роли еврейства и подтверждающих только что сказанные выводы, но не хочу прослыть незаслуженно антисемитом, что по нынешним временам так легко.

Когда зерно прорастает, оно перестает быть самим собою и в росте становится чем-то одним с теплом, светом, воздухом, влагой и землей. В эллине и его младшем брате римлянине, а также в отце их египтянине было заложено стремление к единству, это самое стремление роста, стремление к единости с миром. У египтян Изида ищет, собирает воедино разбросанные члены Озириса, а эллин ставит алтари «Неведомому Богу».

Сам Розанов передает в своей книге: «Около церковных стен» (стр. XI–XII) следующее:

«Древние политеисты не только не исключали поклонения никакому, чуждому им самим богу, но были так простодушны и ласковы ко всем народам, что на

тот случай, если в какой-нибудь стране, так сказать, географически не открытой, тамошнее население или по забывчивости, или от бедности, или по какой-нибудь случайности не поставило алтаря своему богу — то вот они, афиняне, ставят этому Deo ignoto алтарь, и таким образом божество не останется без жертвы, а народец ничего не терпит за безбожие».

Готовность к религиозному проникновению удивительная. И потому Павлу легче проповедовать перед Ареопагом, нежели перед Синедрионом.

Итак, мы перестанем быть христианами, как только расхотим быть эллинами.

V

Несколько экскурсов. Сказав в первой части статьи о том, почему желаем мы единства в мире, объективной формы его, и о том, что мы должны идти с эллином, а не с иудеем, во второй части я должен подумать: где путь и как идти.

Сейчас я привожу несколько экскурсов, находящихся в весьма близкой связи с общей темой статьи; происхождение их таково: прочитывая книгу Розанова, я отмечал те места, которые, на мой взгляд, наиболее требовали частных возражений. Теперь, когда я принялся за статью, у меня явилась потребность и желание воспользоваться некоторыми из этих возражений для партизанских целей.

Экскурсы имеют значение вводных частей статьи, и потому я многим совершенно серьезно советовал бы пропустить их при чтении. Изложенные зачастую почти афористически, они являются именно самой шаткой частью статьи, как то и приличествует партизанскому их характеру. Специалисты пусть читают — это дело специалистов заниматься мелочами и находить в них важное, но кто читает вообще, тому достаточно самой статьи. Ведь вполне естественно, что в общих историях войн описанию партизанских набегов не отводят первенствующего положения по месту.

1

Была ли Богородица Девою? (Вопрос из брошюры Розанова «Русская Церковь» (стр. 13), имеющей близкое отношение к «Метафизике Христианства»). Розанов ставит вопрос медицински, и только медицински, без обиняков, не понимая, что слово «Дева» и понятие о девственности есть нечто гораздо большее. Девственность Марии находится в прямой зависимости от того, спас ли Христос мир. Если Розанов докажет мне, что мира Христос не спас, да и не спасал, тогда я соглашусь, что Марии не приличествует быть Девою. Ибо, повторяю в иной форме, девственность ее стала непреложной лишь по воскресении Христовом; во Христе, своем Сыне, Она стала Девой и Невестой, утвердила свое девство. Церковь поет: «Невеста Неневестная», т. е. иная, чем другие невесты.

Если бы Христос внял искушениям Диавола в пустыне, после сорокадневного поста пал бы постыдно, то и девственность Марии пала бы. Дьявол циник, и мы, вместе с ним, имели бы право на цинизм. Но Христос искушениям не внял, а потому, ради Него, Василий Васильевич, избавьте нас от новой «Гавриилиады».

О дьявольском цинизме мне придется еще говорить в конце статьи.

Розанов, наконец, не верит в чудо. Если можно зачать от Духа Свята, то можно и родить, оставаясь физически девою. И если для него затруднительно понять «становление девственной», то пусть бы уж думал попросту.

2

Об эстетическом восхищении Адамовом (из той же брошюры, стр. 15). У Розанова особое и постоянное тяготение к Адамову Раю — золотому веку человечества. Эстетическое же восхищение Адама Евою, пожалуй, можно видеть только во времена до грехопадения, да и говорить об этом в форме гадательной, ибо не следует ли предположить, что эстетические чувства вырабатывались в человечестве постепенно, по принципу: «не отведав горького, не узнаешь и сладкого». Это о положительной творческой эстетике. Отрицательная же эстетика возникла сразу после грехопадения, когда Адам и Ева взаимно устыдились своей наготы, почувствовали свое эстетическое бессилие. «Сшили опоясанья из листьев», да ведь во времени это почти то же, что издали закон о вреде порнографической литературы, поспешили себя явно ограничить.

Название древа познания добра и зла слишком прозрачно для того, чтобы гадать о нем, что оно значит. Слишком прозрачно по отношению к человеческой истории. Колебание маятника между сознанием свободы воли (красивым добром) и детерминизмом (некрасивым злом). Вот наги, нехорошо наги, а нас никто не спросил, хотим ли быть нагими. Так не хотим же. Красота спасет мир (как давно знали об этом, задолго до наших времен), та красота, которую создадим. Так сошьем же себе красивые опоясанья. Жаль только, что никакие наикрасивейшие опоясанья не помогут там, где нужно красивое тело. Никакие маски.

Древний мир был под маской. Но явился Христос и, тайнодействуя, снял маску с мира в своем лице. Вот отчего образ Христов неизъяснимо прекрасен, что признает и Розанов, вот почему и Мария в Нем прекрасна.

Христа и Марию можно обнажить непостыдно. Если же ни один художник не сделал для нас этого, то потому, что мы недостойны зреть. Все, и сам художник. За спиной Данта и Владимира Соловьева всегда стоит Федор Карамазов, хотя бы в лице Розанова, и просовывает сквозь их душу в картине свои цепкие пальцы. В одиночку все это проделывать бы — но здесь индивидуализация созерцания была бы новым прегрешением против единства и братства, и дерзости никого из святых не хватит на единичное созерцание. Оттого молитва святых, как и молитва мытаря, говорит одно: «Боже, милостив буди мне грешному».

Мы изначально были наги беспомощно, с самого сотворения нашего. Только человек истинный микрокосм и, как таковой, разумеется, отраженно наг, несмотря на все маски. Но он в макрокосме заключен как зародыш в яйце, и только о том и старается, чтобы слиться воедино с макрокосмом, прорасти. Высшее наслаждение видеть и чувствовать Душу Мира.

Библия не отрицает нашей изначально отраженной наготы. Когда Адам и Ева сказали Богу: «Увидели, что наги, и скрылись», Бог спросил: «Кто вам сказал, что вы наги?», т. е. не отрицал правдивости их слов, а только добавил, как некую неизбежную мысль: «Не познали ли вы добро и зло?»

Мы уже не хотим Адамова Рая. Вспомните Ивана Карамазова.

А главное, помните: когда Адам и Ева друг от друга укрываются листьями, то где же здесь «эстетическое восхищение», о котором говорит Розанов?

Но вот великая правда, которую Розанов хорошо знает (за что ему спасибо), хотя и плохо толкует: все наши построения, вся этика и вся эстетика начинаются с пола. Пол — краеугольный камень нашей истории, и в нем все должно разрешиться, как началось с него, с того, что Адам и Ева увидели наготу пола.

А впрочем, кто же этого не знает?

3

О веселом христианине («Метафизика Христианства». I ч., стр. VIII). Розанов говорит, что «веселый христианин» так же невозможен, как и «круглый квадрат». Неправда! Эмпирически веселых христиан много, и Владимир Соловьев, которого Розанов сам выставляет как пример христианина, был довольно веселым человеком. Вот благодушие христианину не пристало: это удел татарина только и даже не иудея. У иудея самый тип лица скорбный. Больше чести для христианина в том, что он спокоен и строг. В этом залог его правохудожественной деятельности. Материала же (бунта) достаточно заложено в каждой душе.

Радоваться хотим во Христе: «О Тебе радуется всякая тварь». И лишь в Царствии Божием. Мы подобны тому ученому, о котором рассказывает Иван Карамазов: хотим — идем, хотим — нет, но все же возрадуемся.

4

Социализм и христианство (там же, стр. X). Социализм и христианство, действительно, плохо совместны. В этом я соглашаюсь с Розановым. Но почему несовместимы? Между ними та же разница, что в искусстве между стилем и манерой. Стиль явлен тогда, когда на единой плоскости растет многообразное. Но в манере многообразное подгоняется под единую плоскость.

Кстати: Розанов сам по себе стилен, но по отношению к христианству и полу у него манера.

5

Убили Бога (I ч., стр. 4). В этом тайна, но вместе с эллином, памятуя его дионисические обряды и празднества, думаем: «Так надо; в этом нет греха». Для еврея же это было бы и непонятно и страшно.

6

Учение «божиих людей» (I ч., стр. 16). Таинственная смерть и таинственное воскресение. Малый росток новой жизни.

Уже эллины знали: «Умереть — значит родиться». Розанов на эллинов ссылается часто, но этого он, кажется, никогда не поймет.

7

Христов ли мир? (I ч., стр. 19). Мир изначально Божий, но не Христов. Иначе здесь начинается детерминизм. Мир наш, но нашим он стал через Христа. На самом обыденном языке можно сказать: «Без Христа мы не завладели бы миром».

8

Несоответствия (I ч., стр. 31). «Пушкин писал „Руслана и Людмилу“, декабристы зачитывались Ламартином и проч. В Сарове спасался в то же самое время Серафим».

Ламартина я уступаю Розанову, но Пушкина нет. Сперва Пушкиным владел бес: он написал «Гавриилиаду». Даром ему это не прошло, ибо потом он написал «Бедного рыцаря». Огромное значение «Бедного рыцаря» в нашей литературе до сего времени остается невыясненным.

Вероятно, мы еще не скоро увидим дельную философию нашей литературы.

9

Матерь Заступница (I ч., стр. 93). По поводу слов Буслаева о том, что Лик Спаса всегда пугал своей строгостью и суровостью.

Мир боится строгости и суровости даже в малом, как же ему не бояться Спаса?

Не столько Лик страшен, сколько слово Христа. Богоматерь же никогда не говорила нам. И мы еще не говорили. Потому Она, Мария, этим в нас больше, чем мы во Христе. Отсюда наименование: Матерь, Заступница наша.

Образ человеческий будет иметь красоту неописуемую, равную Ее красоте. Это мы с Ней родили Христа, или: это с нами Она родила Его.

10

Младенец совершенный (I ч., стр. 100). Розанов мыслит так: раз младенец совершенен, то, следовательно, и яблонька, от коей младенец произошел, тоже достаточно совершенна (на большое совершенство Розанов не зарится). Но если Розанова спросить: «так вообще-то человек совершенен?» Розанов ответит: «нет». Спросить: «а в частности? Например, Царь Давид?» Опять Розанов ответит: «нет».

Казуистика, казуистика иногда полезна. Пусть Розанов благодаря ей видит, что не стоит родиться совершенным для того, чтобы впасть в прегрешения. Христианство тут ни при чем, и незачем говорить, что оно испортило мир. Напротив, Христос сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть».

И затем. Младенец совершенен, но ведь как раз в нем-то и есть то самое «безличие пола», о котором так много говорит Розанов, оценивая его отрицательно.

Хочешь остаться младенцем — забудь о поле, никогда не пробуй жить половой жизнью.

Бесконечное число совершенных младенцев — идеал Розанова. Но только совершенство как бы вспыхивающих только и сейчас же погасающих огоньков. Навсегда. Мировое мерцание взамен мирового света.

11

Вертикальные и горизонтальные созерцания (та же страница). То есть о замене созерцаний культурно-исторических (горизонтальных) генерационными, родовыми (вертикальными). К чему такая замена? Пусть то и другое вместе. И знак их крест.

12

Еще об эстетике и о даре терпких слов (та же страница). Эстетика у Розанова плохая, но дар терпких слов необычайный. Его курсивы прямо нужно изучать.

«Пол нехорошо пахнет», — говорит он. Правда. Что дано лилии полевой — не дано нам. Даже как-то обидно, что роза столь хорошо пахнет, а мы скверно. И обида в том, что в поле своем роза хорошо пахнет. Вот где хромает розановская эстетика, как бы в насмешку над его фамилией.

13

Опять о татарском благодушии (I ч., стр. 105). Благодушие и бесскорбность. Розанов сует их всюду, как лекарство от всех болезней. Но пусть бы он спросил Ивана Карамазова о праве быть благодушным. Тот много передумал о благодушии.

Розанов трус по природе. И потому столь дорожит благодушием.

14

О смысле чуда (I ч., стр. 106). Подозревать Христа в том, что Он творил чудеса ради уловления в свои сети сердец человеческих? Не знаю. Приходится быть грубыми и сказать: Христос не Чичиков и мертвых душ ему не надобно. Какая цена тому, кто верит только из-за чуда?

Что сотворил Христос, то сотворил ради нас (исцелял хромых и расслабленных — исцелил хромой мир). Чудо в Кане Галилейской тоже для нас. Претворил воду в вино. Какое хорошее *первое* чудо, полное глубокого смысла.

Где-то Розанов упрекает христианство за то, что, изгнав из храма животных (символ здоровья и плодородия), оно отвело храм неплодным калекам. Какое непонимание! Ведь Христос *исцелял* убогих, давал им новую жизнь — значит, храм и нужен для жаждущих исцеления. Не здоровые имеют нужду во враче, но немощные.

15

Государство — форма (I ч., стр. 178). Форма безразличная по отношению к своему содержанию. По Розанову, значит благодушная, не Антихристова. А если Антихристова, в силу своего безразличия? Вы только видимо покоритесь мне. Знаем мы это «видимо»!

16

Христос не женился (I ч., стр. 228). Христос Жених, но Невеста еще себя не уготовала.

17

Упование Рода Человеческого (I ч., стр. 250). Род человеческий уповает не на скорбь свою, а на то, что можно стать целостным.

Уповает на Марию, но разве Мария не род человеческий? Да, и Нерушимая Стена. На Нерушимую Стену уповать можно.

18

Психея в роли курицы (II ч., стр. 14). Я знаю, что курица может быть десятой женой петуха, но Психею в роли десятой жены невозможно представить себе.

19

Жизнь в потомстве (II ч., стр. 68). Благодушная душа Розанова не боится своей смерти, даже как будто желает ее, но зато Розанов боится за свою плоть и думает, что раз плоть сохранена в бесконечности, в потомстве, то цель отдельного человека уже достигнута. Короче: мигание лучше света.

Правда, материя имеет свою душу, но...

Я еще не знаю, в чем тут собственно «но». Очевидно, в явном противлении материи духу.

20

О любви к мазурикам и шулерам (II ч., стр. 134). «Корову люблю больше мазурика», — говорит Розанов. Но ведь каждый из нас немного мазурик. Это во-первых. Во-вторых, немецкий моралист и русский простолюдин сойдутся в том, что из самого последнего жулика может выйти отличный человек, но из коровы что может выйти? Корова всегда коровой останется.

Однако для Розанова подобные мелкие черточки и замечания весьма характерны. Корову он любит больше жулика потому, что готов утвердить сущее в том виде, как оно есть, лишь немного окоровив его.

Розанов не хочет двигаться. Однажды он сказал: «Не хочу всеобщего воскресения и Страшного Суда — всемирной плевательницы». От любви к корове до нелюбви и до страха к всеобщему воскресению — прямой путь.

21

Загадка Розанову (II ч., стр. 194). Почему в греческой мифологии богиня любви одна, без бога любви? Ведь Эрос любовного отношения к Афродите не имеет: он ей не пара. Да к тому же у него к ней отношения сыновние.

Эрос и Психея.

У Афродиты часты любовные приключения, но Эрос любит только одну — Психею.

Роза Пафосская, благословенная Венерой, не есть ли Психея?

Афродита долго преследовала Психею, но потом благословила ее.

VI

Одни проповедуют — другие философствуют. Эллин — философ, иудей — моралист. У Эллина был Элизиум, а мудрейшие из евреев (очевидно) спрашивали Христа, как быть в Царствии Небесном семимужнице? До чего ветхозаветному иудею чуждо преображение плоти.

Проповедническая мораль — паллиатив, ею мира не переделаешь: ведь она меньше нас, здесь же нужно большее.

И вот почему столь много упрекал я Розанова за его бессмысленное цыплячье царство — царство совершенных младенцев, но совершенных лишь потому, что покамест они младенцы. Вырастут — испортятся.

Сатана и женщина враги между собою. Семя жены будет стирать главу Змия, *пока* не сотрет, и нет для Сатаны большей радости, как бесконечность рождений. Рождаются благодушные младенцы, но разве благодушный сотрет главу своею мощной пятой, да благодушному и не иметь никогда мощной пяты.

Розанов заставляет женщину рожать бесконечно; он вовсе не хочет признать в ней общечеловеческого, некоей половины единого. Розанов — враг женщины. «Упаси Бог ее от индивидуализации, — как бы говорит он, — трагедия индивидуализации может повести ее к катарсису». Розанов не хочет понять, что уже трудно рожать, и он еще готов, быть может, с трудом хотя дать женщине некий незначительный кусочек сознания, но только очень маленький и по возможности без трагедии.

Кроме того, Розанова постоянное влечение к гарему (в книгах). А владельцу гарема совершенно безразличны Фатьма и Ревекка сами по себе, помимо того животно-полового удовольствия, которое они могут доставить ему. Например, безразлично, что Фатьма или Ревекка хорошо играет на лютне, т. е. то, что это именно Фатьма, ее душа. Все равно, кто она, лишь бы играла на лютне, а я, господин, с полным безразличием могу слушать ее. Ведь там, в Магометовом раю, не Фатьма, а Гурии будут услаждать его. Безразличные Гурии, которые ни о чем не спросят.

Итак, полное отделение одного пола от другого в том, что может быть общим. Европеец влечется именно к этому общему, и чем лучше, шире общее, тем сильнее он любит.

В этом-то общем и есть начало философии полов, но уже не философствования, — начало перестроения мира. Философия пола могла возникнуть только в христианстве; в безразличном половом иудейства и магометанства ей нет места.

У иудея и магометанина иначе: «Можешь не любить, но будь верной господину». Это мораль.

Мы — другие, и пока что: «Мира Твоего не приемлю».

VII

З а к о н и п р о р о к и. «Возлюби Бога всем сердцем и разумением и ближнего своего, как самого себя. В этом Закон и пророки, а я пришел не нарушить их, но исполнить».

Исполнить — значит дать полноту смысла.

Возлюби ближнего своего, как самого себя, но не больше. В этом уравнении мудрость единения. Только в таком любовном уравнении и может быть начало единства.

Два есть начало единого — муж и жена, даже до того, что ради двух праведников в Содоме Бог пощадил бы отверженный город. Два праведника (и если муж и жена) корень праведного вообще, но один в поле не воин. В Содоме оказался один праведник, и ему надлежало выйти вон из Содома. Жена Лота праведною не была и за то обращена в соляной столп, Лот не оглядывался — она оглянулась.

В этом непонятном обращении за любопытство в столп как легкий незаметный ветерок дунул из того мира — мира смысла. Но в этом холодящем ветерке, в связи греха и неизбежного наказания, и есть начало разъединения, разложения. Будьте одно, но она отринула эту единость, она плохо верила Богу, плохо ходила перед Его Лицом.

Человечество вообще — множественность. Человек робеет, теряется перед другим таким же, и лишь любимая жена может связать с собою, т. е. с другим человеком и, следовательно, потенциально с миром. Возлюби жену, как самого себя, потеряй различие между ею и собою, не знай, где она в тебе начинается, где кончается. В любви к ней — первый шаг к единству.

Розанов говорит: исполняю Закон и пророков, но отделяет мужа от жены. Мужу — мужеское, жене — женское, определяет он.

Жена Лота (у него) может оглядываться, и сердце Лота не должно дрогнуть от этой холодящей неслитости ее души с его душой — ибо не должно быть (по Розанову) в мире смысла.

VIII

О б я и ч к а х б е л о м и з о л о т о м и о т о м, п о ч е м у И в а н К а р а м а з о в м и р о в о й г а р м о н и и н е п р и е м л е т. Есть у народа присказка о том, как: «жили-были дед да баба. Была у них курочка ряба. Снесла она им яичко, но не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил; баба била-била, не разбила; побежала мимо мышка, хвостиком задела, яичко покатилось и разбилось. Дед и баба плачут, а курочка кудахчет: „не плачьте, дед и баба, снесу я вам яичко, только не золотое, а простое“».

Золотой век для человечества кончился с изгнанием Адама из Рая, и человечество пошло сквозь огонь, воду и медные трубы к Новому Раю — к белому, простому яичку.

Этих огня и воды, этих медных архангельских труб не забыть. «Кто не примет крещения огнем и водою, тот не внидет в Царствие Небесное».

Иван Карамазов боится, что его в конце концов обманут, дадут опять золотое яичко, заставят забыть то, чего он не хочет, не должен забывать. Быть может, боится своего благодушия, боится и того, что он сам, без понуждения и обмана, увидев красоту и велелепие Золотого Рая, забудет огонь и воду, которыми крестился, примет золотую мировую гармонию. Слишком честен Иван Карамазов.

Золотое яичко миру хочет подарить Великий Инквизитор. «Пусть люди будут благодушными и пусть рождают детей», — говорит он, Иван же Карамазов отвечает: «Нет, пусть страдают, через то узнают себе цену».

«Сколь дороже вы птиц небесных и лилий полевых у Отца Моего».

Солнечный свет белый, простой, синтетический. И одежда христианина белая.

А от благодушных младенцев мир задохнулся бы. Статистическая теснота в будущем. Но вот они, благодушные и совершенные, умирают от скарлатины и дифтерита, и потому дышать как будто легче. Жалко их, но на кладбищах обычно хороший, чистый воздух.

IX

Дьявольский цинизм. Отвергающийся женщин не отвержен от Жены. Розанову и этого не понять, но только объяснять ему это я не буду. Розанов — циник. Вот Пушкин это хорошо понимал и так смело писал «Бедного рыцаря». Сатана у него говорит:

Он-де Богу не молился,
Он не ведал и поста,
Он за Матерью Христа
Непристойно волочился.

Сила и резкость цинизма для нашего уха заключается не в том, что говорится одно и то же, только другими, смелыми словами, но в том, что предлагается то же самое, только иною властью и со всеми последствиями от этого нового проистекающими, так сказать, в чувствовании этой иной власти.

Когда Христос в пустыне был искушаем от Диавола, Сатана предлагал Иисусу все то, что уже имел Иисус: хлеб, власть, чудо. Казалось бы, бессмысленно так поступать, так искушать, но на самом-то деле сильнейшему в мире было явлено и искушение самое сильнейшее; воочию видел он кажущееся безразличие Божьего и диавольского. Тягчайшее искушение. И отошел Сатана до времени.

Сколько раз приходил он потом? И сейчас стоит над миром, смеется дробным смешком, говорит те же дерзкие слова, что и христианство, накладывая на них некий тонкий отпечаток своей искаженной природы. Немногие понимают это. Вот Пушкин понимал, и у него в ответ Сатане:

Пречистая сердечно
Заступилась за него (т. е. за рыцаря)
И впустила в Царство Вечно

Паладина Своего...
Улыбнулась тихонько Мудрая.

Владимир Соловьев в предисловии к третьему изданию собрания своих стихотворений говорит о некоей черте, весьма тонкой, едва уловимой черте, которая должна отделить одну власть от другой. Пушкин эту черту знал. Если не разумением знал, то чувствовал благословенным талантом своим. Богоматерь у него так просто, естественно названа Пречистою, заступление ее так видимо сердечно. Двумя словами очищено, разрешается все стихотворение, и совершенно ясно намечено очищение в трагедии человечества. Это — символ, большой и благоухающий.

X

Последние будут первыми. В кротости христианства заключено величайшее дерзание — утверждение своего становления праведным, в Боге. Христианство самое сильное и смелое в мире. Никто с такой твердостью не сказал себе «да», как оно.

Этой смелости не нужно бояться. Не нужно бояться и эволюционирующего христианства. Христос лишь бросил закваску в муку мира. Закваска соединила мир, тесто поднимается, но в Царствие небесное войдет лишь тот, кто не побоится умножить свои таланты; из гнилой же муки теста не выйдет.

Древние христиане разбивали эллинских богов, бежали от женщин в пустыню. Мы этого не делаем, но не потому, что мы стали релятивистами в религии. Нет! Наша философия выросла (любовь к Мудрости Божией), стала глубже и шире. Христианство не может падать или стоять на одной точке. На некую высокую гору поднимаемся мы.

Последние будут первыми.

В чем же наша сила?

XI

Малорусское сказание. «У Бога были два любимых ангела. Одного звали Миха, другого Сатанаил. Сатанаил возмутился против Бога и отпал от Него. Миха остался верен Богу. По сотворении Мира, Миха вступил с Сатанаилом в единоборство и одолел его. Сатанаил побежал; чтобы спрятаться от Михи, он полез на дерево, но в это время выскочил волк и откусил Сатанаилу пятки. Так потерпел Сатанаил. Бог же сказал: „Вот Сатанаил побежден Михой, и потому Миху нужно вознаградить за победу. Так как у Сатанаила откушена часть его тела, то отнимется от имени его окончание и дастся Михе“. С тех пор Миха стал Михаилом, а Сатанаил Сатаною».

Сказание, очевидно, не чисто малорусского происхождения, на что указывает игра окончаниями имен (иль — эль — Божий). Но смысл ясен: будем Божьими, если победим Мир и Князя его.

Я уже говорил об Аполлоне-Архитекторе, но мне приходится возвратиться к нему.

«Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца человеческие», — говорит Достоевский.

В сердце человека борются Аполлон и Дионис, но если победит Аполлон, то это будет победою Дьявола. Если победит Дионис — тоже. Ибо после победы и тот и другой станут тенью: пустым (Аполлон), бесформенным (Дионис).

Противоположение, из которого, казалось бы, нет выхода. Но приведенное сказание помогает нам разобраться в этом противоположении.

Имя «Миха» — дионисическое, бесформенное. Форма (Божий) дается ему лишь за победу над братом своим Сатанаилом, ставшим по существу ложью и не имеющим права на такое имя. Здесь характерно и то, что Миха вступает в борьбу, очевидно, по собственному почину, т. е. как бы с самим собой, потому что естество борющихся одно и то же. И еще характернее, что единоборство происходит лишь по сотворении мира, в мире, чтобы было на что стать пятою. В результате борьбы Сатанаил лишен пят и имени, первоначального, того, в котором только истинная сила, той пяты, которой можно опереться на мир.

Дионис же становится Аполлоном, но Дионис в Аполлоне не умирает.

Пята многознаменательна в человеческих сказаниях. Ахиллес уязвим только в пяте. Семя жены пятою сотрет главу Змия. Под пятою Жены, облеченной в Солнце, — Луна, Девственность, нерастленный мир.

Так некогда выяснился вопрос, быть ли Деве Мира нерастленной.

Да. Быть. Двое посягали на Деву Мира. Но один из них лишен пят, лишен опоры в мире. Другой же не растлитель, но Жених. И лишь Ему Дух и Невеста говорят: «Прииди».

Сатана уже не архитектор и говорит постоянно: не нужно строить. Он не аполлиничен, но и не окончательно дионисичен. Искаженное отражение того и другого. Миха искони дионисичен и аполлиничен вместе, но то и другое у него в росте. Искони борьба между теми, что говорят: мир есть законченная форма, и теми, которые миру определяют рост.

Сатана не стал дионисичным, ибо за ним, в прошлом, как хвост за кометой, тянется тень его былого аполлинизма.

Мир в застое, мир в недвижном дионисизме и недвижном аполлинизме будет сатанинским. И сатана мечтает: перестать быть тенью, стать семипудовой купчихой, ходить в баню и даже благодушно ставить Богу пудовые свечки.

В аполлиническом становлении наша сила. Аполлон вправе содрать шкуру с Марсия, ибо Марсий своей игрой будит темный хаос звуков.

XII

Безматерность. Пока же мы еще нерожденные, безматерние, и Жена, облеченная в Солнце, еще не знает, что уже имеет во чреве.

Были созданы — будем рождены, или еще лучше — родимся, самообразуемся, самоформимся, как Миха.

XIII

Апокалиптика. Апокалипсис — человеческое пламя на неопалимой купине Евангелия.

Мы покамест в Апокалипсисе.

Апостолу Петру — Камню Церкви — было предсказано, что когда он состарится (к концу мира, быть может), то препояшет его другой и поведет туда, куда

Петр идти не захочет. Так и случилось. Иные препоясали Церковь и ведут Ее куда хотят... Иоанну же, который тоже в апостольской Церкви, Иисус сказал: «Хочу, чтобы ты пребыл, пока Я приду». Пребыть — значит остаться в существе неизменным. И Иоанн пребывает как бы в своей части Церкви, в Апокалиптической, неизменным. Он Сын Громов, и Громова ли Сына препоясать другим!

Лежим мы в гробу и видим, что

Он идет из дымной дали, —
И Ангелы с мечами — с Ним, —
Такой, как в книгах мы читали,
Скучая и не веря им.

Розанов же подобен нерадивой и спокойной жене (вот благодушная!), о которой сказано в том же стихотворении:

...ей не дорога свобода:
Не хочет воскресать она.

XIV

З а к л ю ч е н и е. Веселовский в своей «Поэтике Розы» приводит много интересных сказаний о ней из фольклора разных народов.

Так: розы распускаются на гробницах святых, вырастают по смерти из их уст, глаз и ушей. Вспомните пушкинское:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли...
Глаголом жги сердца людей.

Затем в немецкой песне и в целом ряде малорусских, белорусских и моравских поется о том, что на горе стоят три ложа, три гроба, в которых лежат Господь Бог, Богородица, Иоанн Предтеча; над Марией вырастает Роза, из Розы вылетает птичка — Христос.

В этой песне пол Марии уподоблен благоухающей Розе. Вот где следовало бы Розанову поучиться эстетике и потом уже говорить об «эстетическом восхищении Адама».

И далее: демонический Лаурин — господин роз, но рыцари одолевают Лаурина.

И еще: девушка просит отца привезти ей розу, но не называет ее, а рисует на бумаге и говорит: «Привези мне, батюшка, вот эдакой цветок».

До того заветно, до того священно, что нельзя произнести вслух. Лишь можно начертать тайным знаком. И, право, я грешу невольно, вступая с Розановым в полемику.

И еще. И еще. И еще. Но я не привожу более.

У нас слово «рожа» в смысле «лица» стало ругательным. Как жаль! Явно, что оно происходит от слова «роза», и что может быть лучше: «лицо, подобное розе».

Во всех этих сказаниях сквозит как бы одно неизменно:

«Плоть хочет стать розой, и для того нужно человеку умереть».

В этом народная мудрость, та сказка, о которой я уже говорил.

Эллины говорили: «Умереть — значит родиться».



Но:

> Diese Welt glaubt nicht an Flammen,
> Und sie nimmt's fur Poesie.

Впрочем, приведенные два стиха принадлежат перу Гейне, который даже не был христианином.

Петербург
<1912>

Вступительное Слово к исследованию о методологии искусства*

Странный сон мне нынче снился: будто всюду лен, —
Голубое всюду поле в синеве времен.

К. Бальмонт

I

Создание особой науки — методологии искусства — для исследования одновременно технических его сторон и самого бродилища, где зарождаются и возрастают идеологии чисто художественной стороны различных школ, эпох и направлений, в настоящее время весьма необходимо. Быть может, необходимее, чем когда-либо, хотя бы уже потому, что если в наше время и занимаются вопросами искусства столь часто и широко, как никогда не занимались, то вместе с этим оно никогда и не подвергалось таким опасностям, перед которыми находится сейчас.

Это потому, что в наши дни с необыкновенной остротой и, быть может, первый раз в истории поставлен вопрос уже не о формах искусства, а о самом методе творчества, об идеологической почве художеств и о таковой же подготовке художников. Отсюда разговоры о красном и классовом искусстве.

Неправильное разрешение этого вопроса, отдача приоритета в деле искусства методу перед формой может повлечь за собою печальные и непоправимые последствия — искусство, потеряв однажды, в самый сложный для него момент, свое собственное лицо, уже не сможет обрести его впоследствии никогда.

И как ни важен в творчестве метод — нельзя забывать, что без формы он ничто, а не соответствующий форме — просто губитель искусства.

Слишком жестоко могут ошибиться те, кто работникам искусства, уже обладающим опытом, давшим образцы творчества и умножившим неисчислимое наследство прошлого, говорят: «У вас есть технический опыт. Хорошо. Он так нам нужен. Мы возьмем его от вас и создадим на нем свое собственное искусство — небывалое, вольем в старые формы вашей техники содержание, еще не находившее себе выражения, —пролетарски-классовое».

Мы подозреваем, что говорящие так хотят говорить о форме и технике искусства с заглавной буквы подклассового. Учиться художнику-пролетарию у предшествующего ему по времени буржуазного (мещанского) искусства нечему: мы знаем, что формы последнего дряблы, неустойчивы и, как сама буржуазия, будто не имеют за собою сознания моральной правоты.

Мы признаем также, что и подобное выражение взгляда на искусство и, наконец, стремление создать в нем непременно новое, чисто революционное обусловливаются именно революционной энергетикой, но боимся одного: а что, как эти старые формы, уже испытанные в искусстве неклассовом, для нового, классового содержания окажутся непригодными? К чему тогда приведет этот ложный путь вливания нового вина в старые хранилища? Не к разлому ли старых форм слишком буйственным новым содержанием и к эпохе хаотической, где желание излиться

---

* Печатается на дискуссионных началах. *Примеч. ред. журнала «Художественные известия».*

25 Зак 3178

в слове или во всяком другом способе художественного изображения не найдет себе Ноева ковчега, где слово и душа искусства станут вообще только носителями огненной (красной) стихии, не усмиряемой властной дланью, и лишь испепелят человеческую душу, поставив ее под конец перед задачами неразрешимыми для того, кто не умеет творческого равновесия найти в самом себе.

Все это не может быть путем подлинной революции. Это — путь анархии. Анархия — один из этапов революции, а смысл последней в оправдании ее научных обоснований, т. е. в применении чисто методологического конца.

Но эти рассуждения так же общи и условны, как и само намерение перестраивать искусство на пролетарский лад путем усвоения им технических навыков существующего искусства. Да и вообще, почему новое красное творчество должно непременно искать науки в области формы и метода? Быть может, ему совсем другое нужно.

Искусство каждой эпохи стремится отобразить ее сущность, но не потому, что искусство только обезьяна. Здесь другая вложена мысль: собрать, как пчела собирает мед с цветка, все сущее эпохи, чтобы в час, когда придется человечеству сойтись для решения последних вопросов на земле, было у него в руках уже все нужное для этого — те крайние достижения, которых человек добивался в различные времена.

В мире без цвета ничто не живет. Даже бестелесная музыка фиксируется нашим чувством, а чувства возникают в окрашенном человеческом организме. Искусство и самое понятие о жизни, вместе со всем другим, подчинено закону окраски, хотя бы символически. Думаем, что приведенное положение не требует долгих и сложных доказательств; все знают, что мы живем сейчас под знаком цвета, и знак этот вовсе не фигурален, но реален вполне.

К вопросу о цветах мы подойдем впоследствии, загадывая об искусстве будущего, пока же, полагая преобладание того или другого цвета в искусстве данной эпохи за аксиому, мы хотим спросить: как символически было окрашено искусство предшествующей нам эпохи?

Что же? Этот вопрос, пожалуй, не так трудно разрешить. Искусство изначально, как особая действенная мировая сила, было голубым, лазоревым, или, по определению немцев, цвело голубым цветком.

В этот цвет сфер могли исторически вливаться и другие цвета, могли менять его окраску, но основа навсегда была одна и та же. За последнее же время эта окраска стала выступать в литературе и живописи особенно реально, и потому только, что Новалис своим «Голубым Цветком» в Германии и Вячеслав Иванов у нас, вспоминая Новалиса, дали ей такое определение, не потому, что к концу прошлого века жил в России «голубой» философ Владимир Соловьев (сравни, напр<имер>, «Три встречи»), а ему предшествовал Баадер и в живописи (особенно русской: у Калмакова, Борисова-Мусатова, Бенца, Бакста, Рериха и многих других) воспламенился синий цвет, но в том, что весь ретроспективизм (уход в прошлое) последних дней, вся наша эклектика (совмещение различных эпох в одном художественном опыте) обусловливались необходимостью подвести перед поворотом мировой истории итоги тысячелетий предшествующей работы. А что же было в этой работе, даже помимо искусства, как не постоянное устремление ввысь, к сферическому, где синее преобладало, — во всем устремление: в наших гуманитарных науках, в гуманистических учениях, в мистике, в идее права-справедливости, наконец.

И не успели еще подвести этих итогов, как в нарастающей буре событий появилась в виде победоносного Красного Всадника — Земная Жизнь.

III[1]

Нечего спорить — не гуманистические учения, не религия, не мистика подняли массы в наши дни. Начала материалистические играли в нашем восстании главенствующую роль. Навстречу всему логическому (голубому) поднялась косная до сих пор материя, именуемая Земной Жизнью. Вся правда масс заключена в том, что жизнь они поставили во главу второго угла строящегося здания земли, и хотя еще ничего не знают о первом камне — Голубом Петре, но уже в процессе огненного разлада чувствуют необходимость логического завершения революции и на грубом своем языке говорят: «Мы хотим учиться».

И ценность русской революции применительно перед всеми другими в том, что она с исключительной силой, неся с собою

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи, —

как говорил Блок еще задолго до нее, заявила о страстном желании жить тех масс, которые, казалось, никогда не в состоянии были показать самостоятельность, казалось, навсегда были обречены пребывать лишь резервуаром, питающим иные слои, активные слои господ недавней жизни. Но то, что было черным, как железо, подобно железу, под переплавляющим действием внутреннего жара, покраснело и брызжет кровавыми искрами в надвинувшемся мраке.

Правда, весь ход истории неизбежно вел к тому: вначале гигантской войной была разбужена красная кровь масс. Она пролилась потоками, причащая собою Единству всю землю. Из красной крови неизбежно восстал красный призрак — плоть заступилась за кровь, материя — за жизнь, за форму. Она не могла не видеть чудовищного надругательства над самой идеей формы, когда фалломорфные образования — пушки вместо семени жизни вдруг стали сеять в царстве форм только смерть и разрушение.

В этом бунте плоти, материи главная предпосылка необходимости нового классового искусства. По самому началу своему, как возникшее ради сохранения формы, оно и будет преимущественно перед всеми другими владеть ею. Значит, классовое искусство — это искусство формальное.

Поэтому и поиски им формы у другого искусства не имеют вовсе первостепенного значения. Имея также и собственный метод как принцип строения формы, пролетарски-классовое искусство должно искать у своего предшественника главным образом методов усвоения высшей, голубой сущности творчества.

IV

Создавая предпосылку красному искусству, мы тем самым уже заранее утверждаем возможность его существования, и не о возможности его спрашиваем, но о том, как произошло бы, чтобы жизнь, проходя через столь великие потрясения, не отразила в своих формах сущности их? И если пролетариат осознает себя преимущественно перед всеми другими группами как класс — особый однородный и материальный вид в формациях человеческой истории — возможно

[1] Обозначение второго параграфа статьи, вероятно, ошибочно пропущено в журнальной публикации.

ль, чтобы устремления его были иными, чем он сам, т. е. прошли мимо высших на земле форм материального искусства?

V

От господства формального канона в искусстве ближайшего будущего не пострадает то искусство с большой буквы, которому привыкли мы служить, ибо оно не классовое и, как таковое, с классовым (материальным) не противоборствует. Но в борьбу с красным вступает мещанское, серое, безразличное искусство, появившееся на земле с воцарением на ней мещанина и расползавшееся с ним бесчисленными ростками во все стороны, особенно в предреволюционное время. Формам красного искусства суждено победить это серое искусство, но не для того, чтобы стать, в свою очередь, самодовлеющими.

«Дурак любит красное», — говорит пословица. Значит, сам народ заранее определил свою революцию как «восстание дураков». Но каких именно? Не тех ли, перед которыми в сказках растворяются заповеднейшие двери, — дураков, проходящих ряд удивительнейших превращений, чтобы облечься в пурпуровые мантии?

Как с красными дураками, так и с красным искусством. Разрешая проблему красной формы в ее логическом оправдании, в голубом творческом духе, пролетариат придет к новому виду искусства. Мы знаем, что соединение синего и красного цветов дает фиолетовый. Так мы хотели бы наименовать и будущий вид искусства.

О нем уже Врубель знал, желая бросить этот таинственный цвет через призмы кристаллов на тела своих изломанных демонических существ. Равным образом Блок, говоря «О современном состоянии русского символизма», стремился раскрыть сущность «фиолетовых миров».

Следуя добрым правилам геральдики, где фиолетовый цвет именуется другим своим именем — пурпуровым, означающим высшее достоинство, мы так хотели бы назвать то искусство будущего, первые вещественные камни которого стремится сейчас заложить пролетариат. В нем человеческое «я» перестанет быть созерцателем текучего (по Гераклиту) нашего мира — оно само станет этим течением.

VI

Революция еще не одержала окончательной победы, говорят нам. Действительно, как видим мы, по временам все восстают против нее белые. Но горе им, если они действительно только белые, — всякая победа их над красными будет временной. В этом случае и жизни их пропадают даром, и кровь льется без цели — ибо ни серого, ни белого мира не может быть.

Лучше бы этим белым стать синими — тогда и борьба прекратилась бы, утратив свой смысл: пролетариату с синими бороться нечем и незачем — он заранее это синее признает и стремится всячески охранить его (умеючи или нет — это другой вопрос). Или пусть они станут черными — и это лучше, — каким было небо в древние времена и какое оно и сейчас на вершинах гор. В этой черноте таилась вся трагичность древней жизни, оттуда, из бездонного источника, отступившего с веками от земли в глубь вселенной, бесконечно изливалась на нас

голубизна искусства и достижений духа, и самый покров нашей земли — голубое небо — создался из той же черной бездны.

VII

Старое искусство под угрозой, однако, повторяем мы. То великое искусство, представителям которого, Эсхилу или Данту например, казалось бы, все равно, будет его читать и понимать русский пролетарий или отвергнет и понять не захочет. Конечно, если современность в оценке Данта, Эсхила и других ошибется, значение их не уменьшится оттого нисколько. Это бесспорно. Но и вопрос-то нужно ставить в другой плоскости: что потеряет русский пролетарий, если он пройдет мимо Данте, и что нужно делать, чтобы этого не случилось? Ведь не сегодняшний день страшит нас, а судьбище мировых сил. Если же мы обратимся только к текущему часу, что мы увидим и услышим: кто-то из старых работников еще работает по инерции где-то, почти невидимый и неслышимый, а кругом слышны шумные голоса, и одни говорят: — Погодите, придет пролетариат и сметет все ваши исхищрения. Он вам покажет!

Другие же, не новые, а неизвестно какие, восторженно захлебываются: — Ах, классовое искусство! Что может сравниться с ним в красоте! Ах, мы почти пролетарские художники! Ах, мы становимся ими совсем! Ах, еще одна минута, и мы сотворим классовые шедевры, ради которых имя наше останется в мире навеки.

Все это смешно — не более. Такие выкрики ни о чем не говорят, ничего не дают и ничего не обещают. Они обнаруживают лишь всю пустоту кричащих, показывая, что одно — разговаривать о новых формах искусства, и другое — знать эти формы и то, какими путями они приходят. Мы видим постоянно, что у большинства говорящих о творчестве пролетариата совершенно нет сознания и представления о строгих, неумолимых законах развития мировых судеб и о том, что никакая временная идеология не приходит из пустоты и безусловно, но обязывается к возникновению громоздким рядом предстоящих причин.

Искусство, до сих пор предоставленное самому себе, вполне удовлетворялось своими формами. Первенство их в человеческом творчестве было несомненно, и, вместе с преобладанием их, в исследовании о формах заключались, главным образом, труды идеологов. Метод же творчества временно оставался в стороне, и лишь теперь, с возникновением его проблемы, является потребность исследования и расчленения самой динамики творчества, дабы красный художник знал, с какою сущностью придется ему слить свои усилия в будущем, ибо сивиллы пишут, что белое и серое будет мешать народу, стремясь встать между ним и голубою сущностью, они пишут, что красное еще не скоро определит свой ноумен — форму.

И наше дело — дело идеологов — чрезвычайно важно. Для правильного разрешения этой проблемы мы должны заранее изучить, затем охранить и направить два вида искусства к одному, третьему.

Говоря об идеологах искусства, мы отнюдь не подразумеваем лишь теоретиков его — всякий творец, в произведениях которого заложится опыт слияния голубой сущности с красной формой, будет таким же идеологом не только наравне с теоретиком, но преимущественно перед ним.

VIII

В заключение к вопросу о понимании Большого Искусства пролетариатом. Вопрос этот стоит остро — мы все должны знать о том. Но неправы те, кто говорит: «Это искусство пролетариату не нужно потому, что оно все равно ему непонятно и он никогда его не сможет понять». Так ли уж неопровержимо подобное утверждение? Не учит ли нас история самой революции противному? Первые пропагандисты ее решительно не понимались тем классом, через который она теперь пришла. А если б они, когда им говорили о тщетности революционной пропаганды, бросили ее — если б фанатики послушались серых и белых, поверили бы в бесполезность проповеди революционной догмы, — разве приход революции не отсрочился бы и история ее не была бы иной?

Но они не послушались, не бросили своего дела, продолжали его. Так и мы будем делать свое, не смущаясь тем, что нас понимают не всегда и не вполне, а лишь иногда и отчасти. Если мы неправы и слепы — покажет в близком будущем сама жизнь, но подменять Большое Искусство малым, чем-то подобным искусству, через что в Красную стихию могли бы войти серые и белые, — мы не согласимся. Лучше пережить годы отвержения, изгнания, чем изменить делу, служить которому призвала нас сама душа наша, наша сущность художников.

Обманувшийся зрячий

I

Заглавие, почти пригодное для испанской интермедии. Между тем мы говорим о русском поэте, самом культурном у нас после Пушкина и, быть может после того же Пушкина, оказавшем наибольшее влияние на развитие всего русского искусства.

Федор Иванович Тютчев, будто никогда в жизни не представлявшийся нам с виду молодым, но всегда мужественно сильный в стихе, старичок роста маленького, жидковолосый, в очках, небрежный в одежде, но изысканный в слове и остроумии и сводящий с ума красавиц.

Сухие сжатые губы поэта, неизменно сосредоточенный взгляд полуприкрытых проницательных глаз говорят нам, что Тютчев принадлежал к числу людей, видящих тем внутренним зрением, которому дано разрозненные для многих феномены располагать в строгом порядке и оценивать свойства этих феноменов не в отдельности, но в крепкой слитости между собою.

Отсюда появилось ошибочное утверждение о пантеистичности Тютчева, основанное, главным образом, на таких его стихотворениях, как «Не то, что мните вы, природа», хотя и выросших действительно из способности поэта связывать в одно все феноменальное, но вовсе не свидетельствующих о том, чтобы Тютчев обожествлял природу.

Правда, он любил ее, как никто другой из русских поэтов любить не умел, но в религии знал только Личного Бога, противополагая Ему мир и человека вполне. На это определенно указывают помимо многих тютчевских стихотворений и сведения о личной жизни поэта, и его переписка. То же, что обыкновенно принималось за пантеистичность Тютчева, у него является только чувствованием себя в слитности и в единости с природой!

II

Тютчев свою молодость и время зрелого возраста провел в Германии, в Мюнхене, при близком касательстве к немецкой литературе и к ее живым силам той эпохи. Но они, видимо, не смогли оказать на его своеобразную душу чисто художественного воздействия в области творчества, а только личное и культурное. Тютчеву, быть может, для широчайшего развития его дара, для того, чтобы определенно стать в ряды русских визионеров, надлежало бы воспринять от немецкой литературы побольше романтики, но на тогдашний немецкий романтизм уже легла маска гейневской гримасы, и естественно, что прямая, довольно дикарская еще и ортодоксальная в религии душа Тютчева романтизму такого рода воспротивилась и воспринять его не могла, а вместе с тем не восприняла и

никакой другой романтики. Из-за невосприятия же ее впоследствии и создалась у Тютчева его личная и творческая трагедия.

III

Лирическая поэзия бывает двух родов — основанная на постоянном, не иссякающем чувстве сердечного жара или теплоты у одних и создающееся на личных потрясениях, на особых чувствованиях контрастов феноменального и ноуменального — у других. Поэтический дар первого рода позволяет обладателям его пребывать постоянно в своей стихии и повторять в бесконечном разнообразии все одну и ту же песню в словах иногда более удачных, иногда менее. Таковы у нас из новых поэтов Блок и Верховский. У Блока внутренний поэтический жар очень велик и хотя неспособен еще разрешиться в катастрофу, но накладывает на его стихи трагический оттенок, чего совсем нет у Верховского, где этот жар сменяется доброй, мягкой, сердечной теплотой. Наконец, дар первого рода может привести и прямо к катастрофе, как у третьего из современных поэтов с таким даром, у Пяста. У него он разрешается криком:

Нет! мне песни иной не запеть, не запеть, —
Только раз, только миг человеку все небо открыто, —

т. е. душа здесь, сознавая себя лишь одноголосой и приведенная переживаниями к сознанию разлада феноменов между собой, не может не отказаться от песни, ибо понимает, что лишь дарования многоголосые, подобные баховскому, могут вступать в борьбу с множественностью явлений, подчиняя себе оба принципа формы — не только трехмерный (организующий), но и временный (хаотический). Таковы пути поэзии первого рода.

Поэзия контрастов и резко очерченного сильного слова (как сказали бы мы) идет иным путем. Она должна быть многоголосой неизбежно и прежде всего, иначе не получая самой возможности разрешения своих творческих задач и через то существования. Момент творческий в ней начинается с осознания, что за всем феноменальным кроется его близнец и враг — ноумен.

Контраст и создается из яркости этого осознания, и затем уже выливаются подобные стихи:

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О, смертной мысли водомет,
О, водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя страшит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо роковая,

Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Или другие:

Ночное небо так угрюмо
Заволокло со всех сторон:
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одне зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса.
И быстро выступят из мрака
Поля и дальние леса!
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте.
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте... —

где важно не аллегорическое сравнение фонтана с человеческой мыслью, стремящейся к небу, но чувствование самой мысли этой, мысли архитектора и ученого, создавших этот фонтан, и символическое вполне проникновение, рождающееся из такого чувствования, где не величавое сравнение вспыхивающих зарниц с глухонемыми демонами, ведущими свою беседу на языке знаков, но сознание, что таинственное дело природы, даже в сонном будто бы ее состоянии, решается на высоте ею самой, должно выступать на первый план, словом, где критерий чисто эстетический отступает несколько, подавляемый синтетическим, т. е. критерием общей духовной культуры.

В этом залоги тютчевского искусства, зачатки его символизма, почему не без основания поэты-символисты и провозгласили его своим. Но в этих же противоположениях кроется и требование окончательно разрешить их, т. е. таинственный романтический мир вести к сияющей символике, как прообразу возвращающегося на землю в ином лике Единого Мифа.

Тютчев романтизма не понял и через то отодвинул в русской литературе разрешение символических задач на многие годы.

IV

В русской литературе первой половины прошлого столетия романтизм прививался вообще с трудом и плохо. Он, у Пушкина и Лермонтова, то вырождался в «Утопленника» или «Клоками белый пар», где слишком сильно сказывается влияние на тип произведения особенностей русского фольклора (некоего шаманства), глушащего и засушивающего романтические цветы, или же не находил себе окончательного поэтического разрешения, обрываясь на полуслове, как, например, в неоконченном лермонтовском:

Берегись, берегись! Над бургосским путем, —

где звучащий в стихотворении потусторонний голос иссякает собственно уже в этой квадрене:

Когда Мавр пришел в наш родимый дом,
Оскверняючи церкви порог,
Он без дальних слов выгнал всех чернецов...
Одного только выгнать не мог.

Единственным в России романтиком подлинным и по-русски своеобразным был Влад<имир> Фед<орович> Одоевский со своими «Русскими ночами», потому что только он из всех наших писателей определил с полной для себя и для других последовательностью весь внутренний путь развития романтизма и романтического мировоззрения. У Пушкина же и Лермонтова романтический пафос никогда не шел дальше опытной ступени. Быть может, Батюшков стоял ближе к романтизму, когда у него зарождалось желание из державинской величавости языка вывести величавость чувствования. О Жуковском мы не говорим — романтизм его поэзии, целиком пересаженной с чужой почвы, основан не на осознании такового, но на влиянии времени и вовсе не определяет мировоззрения поэта.

У Тютчева же отношение к романтизму, зачавшись при самых благоприятных предзнаменованиях, преломилось вдруг очень несчастливо и, как мы указывали выше, возможно, что под впечатлением, полученным от гейневской поэзии.

V

Трагическое шутовство Гейне, красный язык этого поэта, дразнивший весь уклад жизни, столь дорогой Тютчеву, не могли их не развести в дальнейших поэтических путях, но все же яд неверия в собственное значение и трагическая, не находящая себе разрешения и лишь забываемая подчас гейневская мука закрались в тютчевскую строгую душу и с такою силою сказываются иногда в его стихах, что и самая тютчевская система соответствия и логического порядка выводятся ими из равновесия. Особенно сильно сказывается это в стихотворении «Безумие», на которое редко кто, исследуя творчество Тютчева, обращал внимание. Между тем оно для него очень замечательно, и, для полноты и обоснования наших указаний, мы приводим его здесь целиком:

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.
Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрянет вдруг и, чутким ухом,
Припав к растреснувшей земле,
Чему-то внемлет жадным слухом

С довольством тайным на челе.
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход.

Понятно, что несколько чопорный и светский характер Тютчева не позволял ему прибегать в поэзии к приему, обычному для Гейне: заострить до последней возможности художественное впечатление и затем сломать кончик острия, но в последних стихах приведенного произведения заключена насмешка над пушкинским «Пророком», над величайшим достижением в том, к чему так всегда стремилась русская литература.

И отсюда, по этой причине, от сомнения в собственном мировоззрении у Тютчева так и не разрешился в положительном смысле вопрос о личном слиянии с запредельным. На окраине своего зримого мира, под углом человеческого восприятия только гигантообразным Тютчев увидел то Существо, которое принято называть Личным Богом, увидел, что возле этого Существа, возникая как бы из запредельного тумана и волнуясь, некие странные фигуры то создают замкнутые, тревожащие ум построения, то отражаются в десятках вдруг и на мгновение возникающих сфер*, то приближаются почти к самому существу Личного Бога и стоят молча, недвижно, громадоподобно, — но, увидев, Тютчев принял все это за сон и сказал:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь объята снами.

Действительность, которую после Тютчева видели Достоевский, Вл. Соловьев, А. И. Шмидт и Чурлянис, которую они приняли как явь и поняли как приближение чрезвычайных событий, открыто обнаружив, Тютчев признать не решился: поэтическое чувство победило, видимо, на этот раз в нем ум (обыкновенно же ум и поэзия жили у него в тесном содружестве) и оставило его в числе видевших (зрячих), но обманувшихся.

VI

В политическом убеждении своем Тютчев, подобно многим русским людям, был тем, что принято называть реакционером или, в лучшем случае, консерватором. Но все же если в настоящее время самая революционная из бывших и существующих в мире государственная власть решила поставить Тютчеву наравне с другим политическим реакционером прошлого Достоевским памятники, то как бы по некоторому тайному нашептыванию судьбы-справедливости, не за поэтические заслуги только, а за весь склад характера и человеческой фигуры. В отрицательном отношении Достоевского, Тютчева, К. Леонтьева и многих других наших писателей к русскому либерализму и демократизму сказалось живое чувствование ими государства как единственного установления, способ-

---

* Впоследствии это многократное отражение в сферах видели с особой ясностью Достоевский (в припадках эпилепсии) и Чурлянис.

ного обеспечить народу человеческое существование и вместе с тем дать его труду наиболее целесообразное здесь, на земле, применение. Реакционность Тютчева и Достоевского есть протест их строго и стройно организованного духа против былой и настоящей политической бесформенности русской интеллигенции, против ее безгосударственности и преклонения перед парламентаризмом, где при разрешении государственных вопросов право первого голоса отводится неизменно группам, сообразующимся, главным образом, со своими частными интересами и желаниями и не умеющими сообразовываться с потребностями государственного организма и с идеей этого железного организма, как проявителя наибольшего количества прежде всего полезного труда.

В политике Тютчев был более бодрствующим и сознающим, чем в поэзии. Политическая же фигура его также очень велика.

VII

Тютчев в поэзии был скуп до крайности: за шестьдесят почти лет поэтической деятельности он оставил нам не более двухсот оригинальных стихотворений. Но скупость эта количественная — внутренними и внешними качествами его поэзия чрезвычайно богата. Одинакова с поэзией Тютчева в этом отношении и его жизнь — внешне сухая (дипломатическая и цензорская, государственная служба), а для сердца изумляющие и мучительные смены переживаний и событий. Раскрывать о личной жизни Тютчева еще рано — даже из-за происходящих теперь в России событий: этими сведениями затрагиваются лица, для которых будет лучше, если о них пока перестанут упоминать.

И все этому, т. е. внешней скудости в умном изысканном сочетании с внутренней бурностью сердечной жизни Тютчева, причиной был тот божок, который, по слову самого поэта:

Стрелу ему на память дал,
Чтобы, в досуги
Орфеевой супруги,
Он ею повесть начертал.

Песни Тютчева, обращенные всегда к Эвридике, заклинают ее выйти из Царства Теней.

Тютчев-поэт живет неизменно вещим, а как человек он смотрит на нас со страниц истории немного насмешливым взглядом, повторяющим одно:

Ум скор и сметлив, верен глаз,
    Воображенье — быстро,
А спорил в жизни только раз —
    На диспуте магистра.

Да и о чем же ему спорить? Ведь сила Тютчева такова, что судьба не могла оставить его в непризнанных.

Искусство книгопечатания

Искусство книгопечатания, конечно, только один из видов так называемых прикладных искусств, но все же большое и хитроумное. Вместе с тем на развитие его необходимо обратить особое внимание. Во-первых, потому, что у народа в будущем (нечего обольщаться неосновательными и несбыточными мечтаниями о «всеобщем высочайшем мастерстве») ремесленные художества будут занимать главное место и по доступности своей, и по широкому применению (т. е. обиходности). Во-вторых, пролетариату и крестьянству сейчас приходится и в будущем придется беседовать с книгой чаще, чем, например, с актером, ибо книга и газета всюду проникают, а театр везде работать не может. Да без книги театр сам по себе и существовать не может. Следовательно, умело печатая и украшая книгу, мы украшаем самого близкого друга человека и через это научаем народ смотреть открытыми и хорошо видящими глазами на все художественное в жизни. Полагаем, что споров о целесообразности показательного метода в науке перед всеми другими преимущественно не должно быть, и потому влияние внешнего вида книги на развитие художественного вкуса в народе станет огромным.

Но что значит уметь хорошо печатать книги?

Когда-то в России это искусство стояло очень высоко. Например, большинство книг, выпущенных у нас с половины XVIII века до сороковых годов XIX столетия, отличаются исключительным благородством стиля; все в них достойно одобрения: и шрифты, и графические украшения, и бумага, и формат.

Однако в сороковых годах прошлого столетия, вместе с началом общего упадка во всех областях художественного творчества, с наступлением эпохи какого-то художественного затемнения, замечается ухудшение образцов и печатного дела: книга страдает одновременно со всеми другими художествами. Причиной тому служит крайний утилитаризм, начавший развиваться в России и вытекший из двух источников: из нарождения у нас массового предпринимателя-эксплуататора и развития в обществе крайне материалистических мировоззрений. По отношению к книге интеллигент-общественник стремится лишь к одному — чтобы книг было как можно больше и они стали бы дешевле в целях широкой пропаганды общественных и гуманитарных идей. Купец-издатель поддерживает общественника-интеллигента в этом стремлении, но, конечно, по другим основаниям: он изыскивает способ удешевить печатание книги и размножение ее ради извлечения из массового потребления продукта наибольшей прибыли. Все это ведет к тому, что в конце века, в восьмидесятых и девяностых его годах, всякая книга по внешности становится крайне антихудожественной и потому просто вредной. Немалую роль в том играет и особенно сильно сказавшееся к этому времени засилье мещанина во всех областях жизни.

Лишь к истоку XIX века, вместе с зарождением символической школы в России, в лице кружков «Мира Искусства» и «Скорпиона», наступают несколько лучшие времена для нашей книги. Тогда появляются люди, переставшие смот-

реть на книгу только с низкоутилитарной точки зрения: ряд художников-графиков (Е. Лансере, Александр Бенуа, Поленова, Якунчикова и другие) пытаются поднять художественную сторону книжного дела, упорно работают над вопросом о хороших книжных украшениях нового типа. Труды их не пропадают даром: XX век приносит нам второй расцвет внешности русской книги.

Посмотрим, что же создает внешнее очарование книги?

Прежде всего, качество бумаги.

Раньше книга печаталась обыкновенно на бумаге очень высокого качества — тряпичной. Помимо прочности этого сорта он отличается и особой красотой — особенно при синеватом оттенке бумаги. Бумага же из древесной массы, преобладающая нынче, во-первых, не прочна (едва ли книги из нее просуществуют больше 60–100 лет даже в библиотеках), во-вторых, портится с виду (желтеет) и довольно плохо принимает печать (как шрифт, так и рисунок), если шероховата, а если глянцевита, то ломка и сильно грязнится при чтении (особенно меловая).

Итак, для печатания хорошей, прочной книги (хотя бы для особо достойных произведений) необходимо вернуться к широкому производству тряпичной бумаги. Правда, она очень дорога, но полагаем, что Коммунистическое Государство, разрешив общий проклятый вопрос о дороговизне и прибыльности начинаний, даст возможность производства в нужном количестве и тряпичной бумаги для книг.

Второе — шрифт. Большинство существующих шрифтов крайне некрасивы. Желательно выработать новые, путем заказов художникам и объявления специальных конкурсов на них.

Третье — форматы. Через изучение образцов старых, безусловно прекрасных (всякий человек с развитым вкусом сразу видит их превосходство над новыми), нужно определить различные желательные отношения поля шрифта к формату книги (особенно это трудно при печатании стихотворений), нужно добиться того, чтобы между общей величиной страницы, объемом текста и полями установились нормы гармонии. Мы думаем, что этого можно достигнуть через наблюдения над старыми образцами путем простых арифметических исчислений.

Четвертое — украшение книги, т. е. обложка, иллюстрации, заставки, концовки. Размер журнальной заметки не позволяет нам подробно остановиться на этом чрезвычайно важном и интересном вопросе. Мы считаем, что книга с внешней стороны должна быть однородна по материалу (это один из художественных принципов), поэтому и лучшим украшением книг всегда была и будет гравюра (на дереве или на меди, но не на стали — очень резкая и сухая), как наиболее подходящая по способу воспроизведения к шрифту. Кстати, гравюра лучше всего выходит на тряпичной бумаге, фототипические же произведения — на глянцевитой, так что обыкновенно в иллюстрированные книги воспроизведения рисунков вкладываются на отдельных листах, нарушающих целостность книги. Гравюра в свое время также была убита дешевизной нового вида воспроизведений — машинным способом, но вопрос о ней, об ее воспроизведении, мы уверены, будет разрешен Коммунистическим Государством в той же плоскости, как и вопрос о массовом производстве тряпичной бумаги.

О письмах А. А. Блока ко мне

Об Александре Александровиче Блоке последнее время воспоминаний писали много, но я случайно их не читал и, следовательно, свободен (почти) от посторонних влияний в том, что могу сообщить. И это лучше, — легче и яснее, быть может, выступят в моей передаче некоторые его черты, собственно мне открывавшиеся. С моими определениями многие, даже близко знавшие Александра Александровича, наверное, не согласятся, и уж те, которым я это говорил и которые на многое возражали, — во всяком случае. Но то, что я рассказываю, — все же верно: прежде чем начать говорить, я тщательно проверил записи моей памяти.

Встретился я с Александром Александровичем зимою 1909–10 гг. в христианской секции Религиозно-философского Общества, познакомился через Мережковских и затем неоднократно виделся с ним у тех же Мережковских по субботам (кажется) за чайным столом. В то время там бывали почти каждую субботу: Д. В. Кузьмин-Караваев, старообрядческий епископ Михаил, Пимен Карпов, А. В. Карташов, С. П. Каблуков, я и очень часто Александр Александрович; из остальных, бывавших реже или случайно, я сейчас уже немногих помню — назову лишь Льва Шестова и Вл. В. Гиппиуса (Бестужева).

Время было внутренно горячее. Пусть Зинаида Николаевна разливала чай с определенной манерой и определенно остроумничала, — выйдя на улицу ночью, можно было заблудиться — из-за разговора, — как это случилось однажды со мною и со Львом Шестовым. Вместо Литейного — мы оказались на Преображенской и еще, узнав улицу, не сразу сумели найти обратный ход, хотя я город знал отлично, наизусть.

Мережковские и другие, стоявшие у кормила Религиозно-философского Общества, переживали тогда моду на «людей от земли», из «народной толщи»; тяготение к таким людям было и у Александра Александровича.

К числу этих людей у Мережковских относили Пимена Карпова, Сергея Есенина, Николая Клюева и меня. Первые трое и в литературе и в жизни так и заявляли, что они «землю знают». Со мной было иначе — по вкусам и по манере держаться я не связывался в одно целое с первыми тремя. Молодость и неопытность (мне было 20 лет) понуждали меня в спорах с Мережковским все же опираться на эту близость к «земле»; они немножко дивились несоответствию внешности и утверждений; Мережковский даже не в шутку утверждал, что сначала он принял меня за математика, но представлен я Александру Александровичу ими был именно как «человек от земли», хотя и с некоторыми странностями.

Позже неправильность первоначального представления повредила мне в глазах Александра Александровича; примешался к тому же один случай, заставивший Александра Александровича подозревать меня в большой хитрости (говорить о нем не стоит — не хочется задевать чести одного человека и бередить собственные старые раны); еще позже он перевел меня в разряд «усовершенствованных Победоносцевых», т. е. вкусивших от плодов западной культуры и

понявших, что это тоже пища, а не мишень для византийско-славянофильской практики в стрельбе, — но не изменившихся в своей «инерциальной» сущности, опасных и неприятных тем, что у них все взвешено и размерено.

Как видно из печатаемых ниже писем, переписка между Александром Александровичем и мною возникла по поводу моего доклада «Идея нации», предложенного мною для прочтения в Религиозно-философском Обществе. О докладе мне приходится говорить потому, что Александр Александрович в письмах отмечает свой особенный интерес к нему (он действительно прочитал доклад три раза). Но говорить мне о нем легко: перечитав этот доклад теперь, через пятнадцать лет после написания, я не испытываю по отношению к нему авторского чувства: вижу в нем на девять десятых чуждое мне, теперешнему, и в содержании и в манере изложения.

Для Блока вопрос об отношениях между «народом» и «интеллигенцией» стоял, как известно, очень остро. Он прошел у него через доклад «Россия и интеллигенция», прочитанный публично дважды (в Религиозно-философском и Литературном Обществах), через «Возмездие», через ряд лирических стихотворений и через «Двенадцать». Поэтому он, естественно, должен был заинтересоваться такими местами в докладе другого человека, как о смыслах «сказания о муравьином („рабочем“) царе», о том, почему в былине киевские богатыри окаменевают, о причинах неудачности революции 1905 года и о многом другом из того же круга мыслей и вопросов.

Не мешает отметить некоторые места из доклада, особенно интересовавшие Александра Александровича, — таким способом мы войдем в круг его интересов и разговоров того времени.

Сначала темы чисто интеллигентские — символическая школа, нескептическое мировоззрение, органическая эпоха и т. п.

О судьбах символической школы созвучали ему следующие слова: «...правда наших систем обратная, символическая, в том, что в последнем счете они, как и самый мир, неразумны, алогичны...»

И здесь было не только созвучие в представлениях, но и однородность с его, Блока, исследовательским методом.

Разве не однородно было блоковскому: «Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать... язык свой я назову методом иллюстраций...» это: «...почти все философские системы своим главным и вернейшим оружием считают логику — непомерно тяжкий посох, и, опираясь на этот посох, хотят пройти мир, как переходят поле. Они забывают, что здоровому человеку для ходьбы прежде всего даются ноги...»

Такие утверждения с обеих сторон вели к длинным разговорам именно об «органических мировоззрениях и эпохах». Тема была широка, она захватывала не одного Александра Александровича, но, например, и Вячеслава Иванова. В общем они были людьми одного круга мыслей — собирались втроем (с Андреем Белым) издавать «Дневник трех писателей». Но жизнь распоряжается по-своему — вместо «Дневника» печатались «Труды и Дни», постепенно отходившие в беспросветную эстетику и в неокантианский «Логос».

К теме доклада Александра Александровича «Россия и интеллигенция» и статьи «Вопросы, вопросы и вопросы» притекали другие мысли и положения: «...слишком рано ревизионисты и немецкие социал-демократы с националистическим оттенком вступили на путь приращения идеи Маркса к государственности» (NB — подразумевалась в разговорах государственность хотя бы Бисмарка или английских политиков).

«...В христианстве победила раса — явились христианства эллинское, романское, германское, славянское; если бы монголы сделались христианами — мы видели бы и монгольское христианство... Роль Византии России была навязана...»

«...Столпотворители вавилонские... может быть... все русские интеллигенты, занимающиеся в настоящее время богоискательством...»

«...Мужик... вместо знака: ставит + (нагольный тулуп + мужик = мир...) (NB — он реалист и экономист)».

О надвигающейся второй революции говорилось между нами так: «...народные искания Смутного Времени, разиновщина, пугачевщина — все это искания настоящего (NB в смысле реально-законного, а не случайного)... И если возможна русская революция, то она должна быть во имя тех же исканий (NB — и внешне такая же)».

«...России одинаково чужды и официальное правительство, и тот класс (NB интеллигенция и либеральная буржуазия вкупе), что стремится захватить государственную власть в свои руки...»

«...Возможно ли примирение народа с интеллигенцией? Вряд ли. Слишком долго они шли в разные стороны и уже не видят друг друга...»

Но все эти «интеллигентские» темы переходили вдруг в безудержную народную лирику — резкую, как звук скрипки (ведь скрипка, поэтически, была для Блока огромного значения образом):

Тут летела пава
Через сини моря,
Уронила пава
С крыла перышко.
Ей не жалко крыла —
Жалко перышка,
Мне не жаль мать-отца,
Жалко молодца...

И отсюда шли разговоры (на Малой Монетной) о реальном существовании «Прекрасной Дамы», как существа, живущего между другими, хотя и не принимающего обыкновенного человеческого облика; облик мог переходить и в зимнюю бурю «Снежной Маски», и в эту Паву, не жалеющую своего крыла. Она переставала быть литературной строкой.

Переходили потом к разговору о хлыстах и скопцах, об их силе в русской жизни (Распутин еще не был виден на горизонте, но нижегородский губернатор уже писал: «Если дать им свободу, то через месяц вся Нижегородская губерния запляшет». Тогда, до революции, это было реально; теперь, конечно, нет: опасность хлыстовства разрядилась в безобидных «танцульках»).

О хлыстах Александр Александрович говорил много. Он (с другими) ездил к хлыстам за Московскую заставу. Хлысты держались весьма независимо, но им все же льстило, что писатели ими интересуются. Уважение к писательству уже входило в массы.

Александра Александровича влекла тамошняя «богородица». Она была замечательная женщина, готовая перевоплотиться в поэтический образ, — так был силен ее лиризм.

Слова «Христос Воскресе» (письмо V) для Александра Александровича не могли значить много: он не только не был христианином, но и утверждал, что

26 Зак 3178

сама идея мессианизма, как ее дает христианство, ему совершенно чужда, непонятна (другое — религиозная идея «материнства»).

В известном письме к Ю. Анненкову о Христе Блок говорит, что Он особенный, не такой, как раньше, но я думаю, что Он особенный потому, что для Блока Его и во время написания «Двенадцати» не было, как не было раньше. Он вышел одинаково неубедительным и для христиан, и для противников христианства. Это очень важно, так как у Блока Он только один раз серьезно и появлялся.

Письма начинаются так: первое — «дорогой», со второго по пятое — «многоуважаемый»; потом опять «дорогой». Это не случайно. Отдаление связывалось с опасениями, о которых я говорил выше. Потом они изгладились. Но после появился (уже на Пряжке) «усовершенствованный Победоносцев».

В 1918 году у О. Н. Бутомо-Названовой Александр Александрович говорил мне по поводу одной книги, что насколько при изображении русских предвоенных событий он поймет описание русского мирного быта, уловит в этом описании достоинства и недостатки, будет считать это дело своим делом, настолько же введение в литературные произведения событий и вещей, в русскую жизнь не укладывающихся, а приходящих как бы извне, — он понимать не будет. Равным образом не поймет и мистики как изобразительного средства. Разговор этот связывался с нашими предшествующими разговорами в тех уединениях, о которых Александр Александрович говорил в последнем письме ко мне.

Выходит, как будто в моих воспоминаниях больше намеков, чем фактов. Но многое из моих отношений к Александру Александровичу осталось именно только намеками.

Мои воспоминания будто недружественны. Но в них я держался пределов материала, связанного с печатаемыми на следующих страницах письмами. За этим узким материалом для меня стоит другой образ Александра Александровича — очаровывающий и любимый. Но слова и дела его в этом представлении связаны с иными лицами, о которых пока не следует говорить.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Документы

Дневниковые записи

ПРОТОКОЛ

Явившись 15 октября 1912 г. к Михаилу Алексеевичу Кузмину в качестве секундантов Сергея Константиновича Шварсалона, мы были встречены Сергеем Юрьевичем Судейкиным, который, будучи уполномочен на то г. Кузминым, заявил, что, несмотря на данное им, Кузминым, г. Шварсалону предварительное согласие, г. Кузмин ныне берет слово свое обратно и от дуэли отказывается, при чем этот отказ им, Кузминым, не мотивируется.

Приняв к сведению означенное заявление г. Судейкина, мы, согласно выраженному нам г. Шварсалоном желанию, поставили на вид, что ввиду отказа г. Кузмина от дуэли, г. Шварсалон предоставляет себе по отношению к нему свободу действий, а таковое заявление наше предложили г. Судейкину немедленно довести до сведения г. Кузмина.

С. Петербург, 16 октября 1912 г.

Александр Залеманов. Алексей Скалдин.

При окончательных переговорах с г. Судейкиным, последний заявил, согласно уполномочию г. Кузмина, что мотивом к отказу от дуэли служит неравенство между г. Шварсалоном и г. Кузминым в сословном отношении, каковое неравенство, согласно дуэльному кодексу Дурасова, служит решительным препятствием к дуэли.

Александр Залеманов. Алексей Скалдин.

Обстоятельства дела, изложенные в настоящем протоколе, подтверждаю.

С. Судейкин. 17/X.12 г.

С подлинным верно: А. Скалдин

CURRICULUM VITAE

Скалдин Алексей Дмитриевич [теоретик искусства и литератор] родился 2 октября 1889 г. [До 1905 г. жил] в Новгородской губернии в деревне, где и учился [только] в церковно-приходской школе. С 1905 г. по 1919 служил в Петербурге и Саратове в различных промышленных предприятиях, начиная с должности мальчика-рассыльного и кончив должностью Управляющего Округом Страхового Общества. С марта 1919 г. на государственной службе в должности Заведующего Литературной секцией Саратовского Изотд. Искусств, Заведующего Художественным отделом Педагогического Музея и с 1/IX. 20 г. Заведующего Губернской Музейной секцией и охраной памятников; с 25/XII. 20 заведующий [Музеем] Отделом Культов при Историко-Археологическом Музее Сарат. Об-ва «Истархэт» и с 15/III. 21 Государственным Радищевским музеем (последние три должности совмещаются в настоящее время).

Историей Искусств и литературой стал заниматься с 1908 года. Сотрудничал в журналах «Аполлон», «Труды и дни» и других. Выпустил книги «Стихотворения» 1912 г., изд. «Оры», «Ст. и прик. Ник. Ст.». Роман. 1917, изд. «Фелана», «О метафиз. хр.» [оттиск] издание журнала «Труды и дни»; работал в «Вольной Поэтической Академии», в Христианской секции петербургского Религиозно-философского о-ва, в Московском Религиозно-философском о-ве и в других кружках и о-вах. В 1917–1918 г. был членом Президиума Всероссийского Союза Деятелей Искусств. С XII. 20 г. Член Правления Саратовского О-ва Истории Археологии Этнографии. Работает по изучению церковного искусства Саратовского края с 1920 г., кроме того готовит труд «Философическая история вещественных искусств». Читал много популярных лекций по истории искусств; в настоящее время читает два курса: в Саратовских Высших Художественно-Технических Мастерских «История и теория вещественных искусств» и в Высших Театральных Мастерских «Философия человеческого действования».

А. Скалдин

<1921 или 1922 г.>

Материалы об аресте 1922 года

СКАЛДИНОВЩИНА

Кто это лезет под ноги? Кто мешает идти?
Чья наглость, преступность, цинизм ползет грязным ручьем вокруг нас?
Кто и как умаляет удар бодрых, творческих сил?
Мы сейчас это покажем.

***

Помнит читатель, должно быть, как при открытии наших театров, в этом текущем сезоне, мы подняли компанию против театральной головки. Речь шла о худ. отделе*. Имелся ряд обвинений. В результате: руководитель отдела Скалдин был смещен, то бишь, получил отпуск в ковычках и расследование всех его «дел» поручено специальной комиссии.

А «дел» слишком много. Бесхозяйственность — вне предела. Вопрос финансовый — темный колодезь. Во всем полный развал и распад. Нет начал и конца. Преступность на каждом шагу, говорим это не огульно. Вот хотя бы продажу инструментов, тех музыкальных инструментов, что отдавались кой-кому на прокат.

Здесь нет никаких актов. Совершались частные сделки. После запрещения продавать их, акты о продаже представляются задним числом.

А вопрос с выдачей денег Максакову? Сам черт сломит ногу в догадках, где пружины преступности, глупости. Но Скалдин «выше зла и добра», выше мерзости, на какую сам же способен.

Теперь при отставке его, казалось бы все хорошо. Поэтому руководителю дела придется, мол, приналечь, вооружиться большою лопатой и изо всех сил сгребать, выметать грязный сор предшественника.

Но не тут-то было. Жива скалдиновщина. Ею все пущено в ход. Аппарат расслабляется, падает. Скалдиновщина нажимает.

Начать хотя бы с того, что администраторы всех наших театров (за исключением театра К. Маркса) подают в Губоно заявления, прося отставки. Грязненький желтый журнальчик «Театральное Обозрение» ведет работу «за други своя» исподволь. Там можно видеть заметки, хвалебные Скалдину. И у редактора этих листков муки неудовлетворенного творчества, что на ту же тему другие статьи пропадают у цензора.

Интриги скалдиновщины налицо. Его влияние на театры громадно. Приведем еще пару примеров:

---

* Он переименован в управление зрелищными предприятиями. *Примеч. в газетном тексте.*

На одном оффициальном собрании, был поставлен вопрос о централизации средств или хозрасчете. Отказались его обсуждать театральные администраторы. Ждали слова Скалдина, пошли за решением к нему, к смещенному Скалдину!

Или такая интрига:

На другом заседании шла речь обо многом. Но никто и слова не произнес о работе администраторов.

Наутро — скандал. Администраторы зло взбудоражены. По информации Скалдина, их на заседании все поносили!

Дивишься той гадости, на какую способен сей муж. Уже в стороне оставляя все то, чем связано имя его с делами музейными, минуя его изящную, тонкую «страсть к коллекционированию», поражаешься низостью этой души «художественного» интригана. Речь идет уже о провокации.

Почему уделяем мы так много места этому выкидышу?

А возьмите, вот, факты действительности. Мы имеем шестой год революции и только в этом году видим единый театр, адэкватный по содержанию нашей современности (театр К. Маркса). На шестом году революции мы видим, что есть репертуар, в котором — пыл, зовы, душа, ритмичность нашим запросам и устремлениям. Мы не имеем актеров. Режиссура творила и сейчас даже творит легкоажурные «Четыре ах!», но разящие потом разврата и пошлости. А пожили рядом ростовцы, талантливости больше, двадцать четыре часа каждые сутки отдающие динамике «Города в кольце», творящие чудеса, из слабых, но революционных сценариев!

Революционных сценариев!

Скалдиновщина перед падением не могла устоять перед требованием, и настойчивым и упорным, дать зрелище роста, подъема, протеста, борьбы, высоты, а не слезоточивой сумбатово-чеховской хляби, распада. Закат Скалдина пришелся к неделям расцвета театра с революционными красками. Но скалдиновщина еще жива. Как она отравляет дыхание подлинной красоты, какие средства пускает, чтобы вышибить из чьих-то рук орудие силы колоссальной, подчас недооцененной, каким театр является для нашей повседневности, как смердит эта скалдиновщина мы выше показали*.

С нею надо кончить. Окончательно, бесповоротно. А эти средства ее действия, начиная с «близких людей», сидящие еще в худ. отделе и кончая желтыми листками «Обозрения», — разметать и развеять по ветру.

З. Чаган

---

* Удивляешься, как В.Г.М.Т.И. (Высшие Государственные мастерские театрального искусства, где Скалдин читал курсы лекций. — *Т. Ц.*), в своем юбилейном спектакле не воздержался от чувства брезгливости, выпустить Скалдина, как докладчика о музеях. *Примеч. в газетном тексте.*

ДЕЛО СКАЛДИНА

Состав суда.

Председательствует т. Калинин.

Присяжные заседатели: тов. Касаткин и тов. Чугунов.

Обвиняет тов. Ундревич. Защищает член коллегии защитников Лебедев.

Из свидетелей отсутствуют, находясь по разным причинам в Москве, проф. Соколов, Михаил Зенкевич, Лев Гумилевской.

В ЧЕМ ОН ОБВИНЯЕТСЯ?

Переполненный зал губсуда еле вмещает пришедших на первое заседание.

С захватным внимание заслушивает судебный зал обвинительное заключение.

Наш читатель знаком с обвинением, предъявленным Скалдину, по предыдущим сообщениям.

В общем оно сводится к следующему.

Алексей Скалдин был заведующим художественным отделом губоно.

В начале сентября прошлого года уголрозыском было открыто, что Скалдин собирается вывезти из Саратова различные ценности, принадлежащие Радищевскому музею, губмузею и т. д.

В его квартире были обнаружены ящики, готовые к вывозу.

Специальной комиссией, в состав которой вошли проф. Соколов, Рыков, Чернов, а также тов. Тележников и Семечкин, ящики были вскрыты. В них оказалось 1383 книги, из них 442 иностранных, три ценных миниатюры из коллекции П. А. Васильчикова, коллекции драгоценной парчи.

По этому делу обвиняется также Кожевников, заведовавший музейным фондом, в халатном отношении к своим обязанностям.

Обвинительное заключение развертывает картину корыстного отношения к своему делу, ему вверенному, говорит между прочим о взятках продуктами, полученными им от крестьян при служебных сношениях с ними и т. д.

Упакованные в сундуках и ящиках книги и ценности предполагалось им вывезтись в Петербург.

Все заключенное в ящиках оценивалось на многие миллиарды еще в сентябре прошлого года.

Показания профессора Соколова указывают на один характерный факт, пропитывающий все дело Скалдина особым, специфическим запахом: на одном костюмированном вечере дочь Скалдина была в платье, сшитом из парчи, принадлежащей Радищевскому музею.

Не менее характерны указания свидетелей, что жена Скалдина щеголяла дорогими туалетами, сшитыми из шелка и бархата, тоже принадлежащих музею.

А вот объяснения жены Скалдина по поводу шелковых платьев.

— Музейный материал, который считался бросовым, шел на эти платья, — говорит она при первых своих показаниях.

После предъявления обвинительного акта председатель суда задает подсудимому вопрос:

— Получили ли вы обвинительное заключение?

— Да, получил.

— Признаете ли себя виновным?

— Только в том, — он отвечает, — что хотел вывезти музейные ценности, не соблюдая для этого известных формальностей.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Свидетель проф. Рыков.

Его показания длятся около двух часов. В общем он дает картину, известную уже из обвинительного заключения. Но отдельные моменты его показаний очень характерны.

Свидетель ценил Скалдина, как выдающегося культурного работника; потому осмотр вещей произвел на него удручающее впечатление. Хотелось думать, что вещи взяты из музеев из страсти коллекционирования. Но среди найденных вещей были предметы, имевшие исключительно рыночную ценность, притом много всяких мелочей: ленты, комья серебряной канители, шитые «маленькие херувимы», части церковных потиров, — шелковые, фабричной выделки покровы, так называемые «воздухи», оказались даже шелковый церковный занавес и рулоны черных муаровых, «похоронных» лент... Тут же лента с чьего-то похоронного венка с надп<исью>: «От корпуса жандармов»... Среди остальных оказалось много вещей большой ценности — музейной и научной: книги, коллекция из кусков парчи, две ценные миниатюры XVII века, 83 вынутых из редчайшего художественного издания таблицы, что совершенно обесценивало оставшийся в музейной библиотеке экземпляр-уникум этого издания. Скалдин объяснял свой поступок тем, что он направлял все эти вещи в центр, по словесному распоряжению зав. главмузеем Мошковцева. Но справка в Москве объяснений Скалдина не подтвердила. Он вообще игнорировал коллегию и распоряжался делами монархически. На этой почве — сказал свидетель — между нами, членами коллегии, и им происходили разногласия, мы протестовали, но он поступал по-своему.

Обвинитель: Скажите, свидетель: Скалдин человек культурный?

— Безусловно, культурный, хорошо знающий свое дело и работоспособный в высокой мере.

— Чем вы объясняете его поступок?

— Я уже сказал, что, быть может, страсть к коллекционированию здесь сыграла известную роль, но присутствие в вещах предметов исключительно базарной ценности говорит как будто о другом.

ЧЕЛОВЕК АМОРАЛЬНЫЙ

— Но объяснял ли вам как-нибудь свой поступок сам Скалдин? — спрашивает далее обвинитель.

— Да, он сказал, что он человек «аморальный».

Защитник Лебедев. Как вы это поняли: что он такой человек, который тащит, что плохо лежит?

— Нет, я понял это в том смысле, что у него мораль не наша, а своя собственная.

«БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ»

Обвинитель. Не известны ли вам факты, когда вещи из музейного фонда (церковной принадлежности) выдавались крестьянам в обмен на продукты: муку, масло и прочее?

— Да, известно. Один крестьянин, приехавший по уполномочию своего сельского общества за такими вещами, явившись в музей, спросил меня, можно ли принести «благословение»? Я подумал, что это какая-нибудь вещь исторической или художественной ценности, привезенная из сельской церкви в обмен на вещь из музейного фонда, и сказал, что можно.

Но «благословение» оказалось мешком скоромного и банкой постного масла… я предложил этому крестьянину немедленно уходить с его «благословением».

Обвинитель. Скалдин нуждался?

— По рассказам людей, близко знающих его, в начале он очень нуждался, потом — по моим наблюдениям — не чувствовал нужды — хотя бы уже потому, что приобретал ценные вещи.

Защитник выражает удивление: если Скалдин распоряжался монархически, то почему член коллегии не протестовал.

Свидетель Рыков. Мы об этом заявляли в губоно, но уже после того, как Скалдин был под следствием, заведующий губоно сделал резолюцию, что лучшего зав. музеем не может быть.

СОРВАННЫЕ ПЕЧАТИ

Далее защитник очень подробно допрашивал свидетеля Рыкова, а потом и других свидетелей, членов комиссии, что они увидели, явившись в помещение Радищевского музея для осмотра вещей. Выясняется следующее обстоятельство. Когда взятые у Скалдина ящики с вещами были доставлены в Радищевский музей, они были сложены в комнату подвального помещения. Члены комиссии, осмотрев часть ящиков, уходя, запечатали дверь, по утверждению свидетеля Рыкова, двумя печатями, одна из которых принадлежала Скалдину; затем хранитель музея Прокофьев запер на ключ другую дверь от коридора, ведущую к этому же помещению. Когда на другой день явилась комиссия, дверь в помещение с вещами оказалась отворенной, печати сорваны. Выяснилось, что незапертая, а только незатворенная дверь толчком ветра, ворвавшегося через незапертую форточку окна, открылась, причем и печати были сорваны. Никто этому факту тогда не придал значения и сам Скалдин шутил: «Если бы я захотел, я мог бы воспользоваться этим в своих интересах»… И вот теперь уже, на суде, защита решила использовать порыв ветра в интересах своего подсудимого. Защитник подолгу допрашивает каждого из свидетелей по поводу печатей. А вдруг кто-нибудь проник в помещение и унес что-нибудь из вещей или подбросил?

Это настойчивое возвращение защиты к сорванным ветром печатям вызывает наконец замечание обвинителя: странно, что теперь в такой мере муссируется вопрос, которому тогда не придали значения.

«РЕБЯТА ХОРОШИЕ»

Следующим дает показания Советов.

Свидетель в 1921 году был научным сотрудником Радищевского музея. Ездил, между прочим, в командировку в Софьино Сердобского уезда. Здесь слышал от крестьян отзывы: «Скалдин и Кожевников — ребята хорошие, с ними ладить можно».

— Почему же вы из этого заключили, что речь идет о чем-то незаконном? — спрашивает председатель суда.

— Крестьянин, у которого я стоял на квартире, хваля Кожевникова и, очевидно, полагая, что я могу быть полезен сельскому обществу при снабжении его церковными вещами из музейного фонда, предлагал мне продукты. Я насторожился. Когда я уезжал, другой крестьянин не хотел дать тележки; я упрекнул его: «Ведь я работаю на пользу вашего же общества». Он ответил: «Мы уже и так много давали меду». А третий крестьянин, коммунист, иронически спросил меня: «Много ли я загреб картошки за колокола?»

Определенных фактов о Скалдине и Кожевникове у свидетеля не было, но впечатление составилось определенное.

СВИД. ПРОКОФЬЕВ

Служил и служит хранителем Радищевского музея. Сперва был в прекрасных отношениях со Скалдиным, ценил его как в высшей степени умелого руководителя. История с музейными вещами обострила их отношения. Скалдин присвоил себе напр<имер> редкие книги из национализированной библиотеки Мальцева, уверял, что купил их в Москве.

Другой факт. Скалдин купил у Полимпсестова старинные вышивки, причем сказал, что покупает для музея.

Полимпсестов поэтому уступил их за одну третью стоимости.

Но Скалдин оставил вышивки у себя. Обнаружилось это случайно. Полимпсестов спросил свидетеля, понравились ли вышивки, проданные музею. «Какие вышивки?» — удивился свидетель. Далее свидетель, характеризуя Скалдина, сообщает такой факт. Скалдин уверял, что его так ценят в центре, что Главмузей приглашает его на должность заведующего провинциальными музеями: в действительности оказалось, что его приглашали разъездным агентом...

Затем были допрошены: жена Скалдина, профессор Чернов, секретарь губмузея Столяров и остальные свидетели. Показания их представляют выдающийся интерес и отчет об этой части судебного заседания дан будет в завтрашнем номере.

Допрос свидетелей был закончен около 11 часов ночи, причем суд постановил на следующий день произвести осмотр найденных у Скалдина вещей, хранящихся теперь в музеях.

Сегодня прения сторон и приговор.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ. ПРИГОВОР

Допрос жены Скалдина.

Обвинитель спрашивает свидетельницу, куда направлялись книги, которые свидетельница должна была вместе с другими вещами Скалдина доставить по назначению?

Скалдина. Я не знала.

Обв. Как же так: везете вещи и не знаете куда?

Ск. Я ждала инструкций от мужа.

Обв. Неужели муж не делился с вами своими планами?

Ск. Я о них ничего не знала.

Обв. Как сортировались вещи музейного фонда, которые доставлялись в вашу квартиру?

Ск. Хорошие откладывались, хлам выбрасывался.

Обв. Кто определял «хлам»?

Ск. Муж.

Обв. Часто попадались в этом «хламе» годные куски?

Ск. Иногда. Кое-что оставалось, остальное сжигалось.

Обв. Вы обменивали крестьянам вещи на продукты?

Ск. Да, но только свои.

Обв. Не казалось ли вам неудобным: крестьяне приходили к вашему мужу по служебным делам, а вы занимались обменом вещей? Не думали ли вы, что это может поставить вашего мужа в неловкое положение?

Ск. Я пользовалась случаем. Тогда все занимались обменом.

Обв. Вы знали о коллекциях из парчи вашего мужа, интересовались ими?

Ск. Знала, но не интересовалась.

Обв. Муж ваш часто приобретал вещи?

Ск. Сперва часто, потом реже.

Обв. Когда чаще?

Ск. Когда приехали — чаще, потом реже.

Просит слова Скалдин, который задает свидетельнице ряд наводящих вопросов: не связано ли было направление вещей с местом назначения лица, которое уступило Скалдиным под их вещи часть своего вагона? Не зависела ли также неопределенность места назначения с тем, что сам Скалдин еще не решил, где будет служить — в Москве или Петрограде.

Председ. суда прерывает наводящие вопросы, а обвинитель спрашивает подсудимого:

— Вы утверждаете, что вещи должны были поступить в государственное хранилище, но оказывается, что вы сами не знали, куда направить их. И почему направление их связывалось с вашей личной судьбой?

Скалдин. Будут ли направлены вещи в Москву или Петроград, — это не имело значения: и там, и здесь есть музеи. Кроме того, для задуманных мною работ было необходимо, чтобы вещи следовали со мной.

Свидетели Гамаюнов и Гришин.

Допрашиваются служители Радищевского музея — Гамаюнов и Гришин. Они ходили на квартиру Скалдина, доставляли туда книги, укладывали вещи в ящики. По этому пункту ничего существенного не знают: «Что велели — то и делали». Никогда не видели, чтобы кто-либо выносил свертки из музея.

Защитник Лебедев, по очереди спрашивает обоих: как относился к ним Скалдин?

— Очень хорошо.

— Платил за услуги?

— Платил.

— На чье имя выдавались расписки в получении денег?

— На имя завмузеем.

— Квартирная обстановка Скалдиных была бедная?

— Бедная.

— Очень бедная?

— Очень бедная.

— А жили они бедно?

— Бедно.

— Очень бедно?

— Очень бедно.

— Одевались хорошо?

— Тоже нехорошо.

Свид<етель> профессор унив<ерситета> Чернов.

Дает пространные показания в пользу Скалдина. Знал его как чиновника и ученого. В 21 году им была составлена карта церквей по Саратовской губернии с точки зрения архитектуры и украшений, и губоно оплатило эту рабо-

ту. Скалдин был «центристом», полагал, что наиболее ценные музейные вещи должны быть отправлены в центр. Эта точка зрения встречала поддержку и в Москве. Мы же, комиссия, смотрели иначе: культурные богатства, попавшие в Саратов, должны в нем и остаться. Это было одним из пунктов расхождений между мной и Скалдиным.

Затем он был представителем бюрократического начала, я — коллегиального. Но эти расхождения не мешали мне ценить Скалдина как выдающегося музейного и культурного работника вообще. Он поставил в Саратове музейное дело на большую высоту. Профессор Б. М. Соколов передавал мне отзыв о Скалдине одного из руководителей главмузея: в России есть один достойный своего положения музейный работник — это Скалдин. В области искусства Скалдин представляет также значительную величину. Профессор эстетики Сеземан отзывался о нем как о человеке очень глубоком и имеющем очень большие познания в области искусств.

Лебедев. А в церковном искусстве?

— Тоже. Профессор Федотов отзывался о нем очень лестно. Тоже — профессор Бутенко — в области эстетики.

Защитник Лебедев. Не говорил ли вам профессор Баллод, что Скалдин мог бы быть ассистентом при кафедре эстетики?

— Это я слышал от самого Скалдина...

Лебедев. Не известно ли вам, чтобы большой ученый собирал коллекцию с отступлением от формальных требований закона?

— Что вы понимаете под этим? Что бывают случаи, когда известные ученые задерживают подолгу книги? Да, бывают, в этом я сам грешен.

Лебедев. Не слыхали ли вы, что известный ученый Веселовский делал то же?

— Да, после смерти И. Н. Веселовского, профессора Петроградского университета, остался целый воз задержанных книг. Но это было не присвоение, а задержание.

Обв. Можно ли провести грань между присвоением и пользованием с задержанием, хотя бы и очень продолжительным?

— Присвоение обычно связано с уничтожением следов.

Обв. То, что сделал Скалдин, — что это: признак культурности?

— Я думаю, что это — как бы сказать? — признак небрежного отношения и к товарищам и к учреждению. Это очень плохо, но это бывает.

Обв. Не замечали ли вы, что Скалдин очень много думает о себе, а потому считает, что ему дозволено то, что нельзя другим?

— Он не страдал недооценкой себя. Он очень высоко ставил себя.

Защ. Лебедев. Скалдин был выдающейся личностью?

— Он был большим организатором и очень работоспособным человеком.

Обв. Чем вы объясните, что желая вещи направить в центр, Скалдин хотел это сделать тайно?

— Он знал, что на это он не получит разрешения ни на месте, ни в центре.

Обв. Вам известно, какой роман написал Скалдин?

— Не знаю, не читал, но слышал, что это роман из потустороннего мира. Духи какие-то и тому подобное.

Защ. Лебедев. Что вам известно о личной жизни Скалдина?

— В 1920 г. он был в очень большой нужде. Приходя в археологический музей, он часто кормился хлебом сторожа или ел у товарища.

Лебв. Объедки?

— Ну, не объедки, а остатки. В 22 г., когда он жил относительно хорошо, я видел, как его дети, сидя за чаем, макали черный хлеб в постное масло.

Защ. Лебедев. Ходатайствует перед судом зафиксировать, «что профессор Чернов слышал в центре отзыв о Скалдине, как об единственном в России музейном работнике».

— Я этого не говорил, — возражает свидетель, — я это слышал от профессора Б. М. Соколова и не то, что Скалдин единственный в России музейный работник, а что он единственный в провинции заведующий музейным делом.

Слово предоставляется обвиняемому.

Скалдин, обращаясь к проф. Чернову: Известен ли вам случай, что профессор Франк, уезжая из Саратова, увез с собою из университет<ской> библиотеки рукописи Владимира Соловьева, необходимые ему для завершения работы?*

— Да, известно.

Далее Скалдин ссылается на случай с библиотекой г. Вольска, которую будто бы намеревался перевести в центр бывший зав. ГУБОНО Флеровский; не сделал он этого лишь потому, что не успел: сам был переведен в Москву.

ПОКАЗАНИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Леонтьев — научный сотрудник Радищевского музея, работал под руководством Скалдина. В этот день и на следующий дает подробные показания о совершенных Скалдиным работах — по регистрации деревянных памятников старины, кладбищенских и др. В этой области Скалдин проявил много инициативы, энергии и знания. Многие работы еще не закончены. Общий смысл показаний этого свидетеля, вызванного защитой, сводится к тому, что Скалдин — ценный работник, без которого начатые работы не могут быть окончены. Скалдины нуждались. Было время, когда Скалдина шила платья и продавала их на базаре.

— Но известно, что Скалдин покупал ценные вещи: кольца, барельеф из слоновой кости, вазочки. Все это можно купить на сшитое платье? — спрашивает нар. засед. Чугунов.

— Да, случайно на базаре можно приобрести дешево очень ценную вещь.

СВИДЕТЕЛЬ СТОЛЯРОВ

Служил и служит секретарем губмузея. Производил опись «дел». В одном из таких «дел» о «музейном фонде» видел список книг, подлежащих отправке в Москву и Петроград. Список был составлен и подписан Скалдиным лично. Составление списков относится к сентябрю или октябрю 21-го года. Там не меньше 200 номеров названий, некоторые книги в нескольких томах. Имеются разные отметки Скалдина на полях.

Это показание возбуждает особенное внимание суда.

— Почему из кипы дел ваше внимание остановили именно эти списки? — спрашивает свидетеля обвинитель. — Что, эти списки написаны на особой бумаге или особо красивом почерком? Почему вы запомнили только эти списки?

Определенного ответа свидетель не дает: «При перелистывании дел смотрел не слепыми глазами» и случайно обратил внимание — списки по объему выделяются из других «дел».

---

* В настоящее время рукописи по требованию Сар. университета возвращены. *Примеч. в газетном тексте.*

Обвинитель просит суд истребовать эти списки и к завтрашнему заседанию представить их в суд.

Защита не возражает.

ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ ПРОФ. СОКОЛОВА

Обвинитель оглашает «объяснения», данные на предварительном следствии отсутствующим свидетелем проф. Б. М. Соколовым. Из этих объяснений обращаю внимание <на> следующие. До Соколова дошли слухи, что вещи из музейного фонда обмениваются на продукты. Крестьяне говорили свидетелю о Скалдине и Кожевникове: «Они ребята хорошие, и с ними ладить можно»...

ИЗ ПОКАЗАНИЙ КОЖЕВНИКОВА

Кожевников не считал себя ответственным за состояние музея. Вещи могли брать и не отмечать этого.

Суд объявляет перерыв до 11 часов следующего дня. С утра назначается осмотр задержанных у Скалдина вещей, находящихся теперь в музее.

В пятницу заседание суда открылось около двух часов дня. Места для публики переполнены.

Подробнейшие объяснения дает Скалдин. Это целая речь-лекция. В ней он рассказывает свою жизнь, о своих литературных работах и знакомствах; излагает свою «философию», говорит о своем отношении к революции; ссылается на Эйнштейна и известные и неизвестные труды ученых, от которых идут корни его «философии».

Речь воспринимается по-разному. Часть публики воспринимает ее как знак огромной эрудиции и глубины; другие считают ее ловким приемом, при помощи которого подсудимый рассчитывает «ошеломить».

О впечатлении, произведенном этой речью на суд, можно судить по тому, что по окончании ее председатель кратко, но внушительно повторил не раз задававшийся Скалдину вопрос: чем он может объяснить присвоение музейных вещей...

Речь Скалдина и прочие подробности этого заседания будут изложены в следующем номере.

Защита ходатайствует разрешить ей ссылаться в речах на роман и стихи Скалдина. Обвинитель не возражает против, но просит сделать перерыв до следующего дня, чтобы он имел возможность ознакомиться с этими произведениями — томом «Похождения Никодима Старшего» и сборником стихотворений.

Объявляется перерыв до 12 часов субботы.

ПРИГОВОР

СКАЛДИНА, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМ ПО 2-Й ЧАСТИ 105 СТ. УГОЛ. КОДЕКСА, ЛИШИТЬ СВОБОДЫ, В СТРОГОЙ ИЗОЛЯЦИИ, СРОКОМ НА 3 ГОДА, БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ПРАВ; НО, ПО ПРИМЕНЕНИИ АМНИСТИИ, СРОК СОКРАТИТЬ НА ПОЛОВИНУ С ЗАЧЕТОМ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

КОЖЕВНИКОВА, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМ ПО 1-Й ЧАСТИ 108 СТ. УГ. КОД., ЛИШИТЬ СВОБОДЫ СРОКОМ НА 1 Г., НО, ПО АМНИСТИИ, ОТ НАКАЗАНИЯ ОСВОБОДИТЬ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Объяснения подсудимого.

Скалдин на вопросы председателя суда и обвинения дает подробные объяснения.

— До революции работал в страховом деле, во время революции — тоже, до ликвидации декретом частного страхования. Образование получил в церковно-приходской школе. По происхождению — крестьянин: отец был плотником Костромской губернии. В старой армии служил пулеметчиком, в Красной в политпросвете Донской области. Музейным делом начал заниматься в Саратове.

Обвинитель: Каким образом, получив образование в церковно-прих<одской> школе, вы стали человеком весьма компетентным в области искусства и получили доступ в литературные круги?

Ск.: Меня ввели в эти круги два человека: один Д. В. Философов, который в настоящее время находится за границей вместе с Мережковским и Гиппиус, другой — известный поэт Вячеслав Иванов, ныне профессор Бакинского университета. Они интересовались моими способностями, устремлениями и знаниями, последнее же я приобрел самостоятельной работой. Начал печататься в 1910 году, при содействии Вяч. Иванова. Затем устремился в сторону философскую.

Подсудимый называет ряд лиц, с которыми он столкнулся и которые повлияли на его развитие: известные художники Александр Бенуа, Дебужинский <так!>, Лансере; Вяч. Иванов, Лев Шестов, Александр Блок, Мережковский; «своеобразный, весьма противный, циничный, но все же талантливый Василий Васильевич Розанов»; художник Аскольдов, сын известного философа Козлова, поэт Андрей Белый; затем Бердяев и Булгаков, которые, впрочем, больше интересовались мною, чем я ими; Павел Флоренский, променявший в дни революции рясу монаха на звание инженера Советской республики; Гершензон (историк литературы); Анна Ахматова и М. Кузмин; наконец — Лисенков, хранитель б<ывшего> «Эрмитажа», и Надеждин, который заведует теперь охраной памятников старины.

На вопрос: «К какому философскому течению вы теперь примыкаете?» Скалдин отвечает:

— В настоящее время я назвал бы свое направление математическим материализмом.

Обвиняемый подробно развивает свои взгляды, которые ставит в связь с Эйнштейновской теорией относительности.

— Что, — Блок, Белый, Гершензон и другие оказывали влияние на ваше развитие?

— У них я главным образом учился работать, но влиять на мои взгляды они не могли: между моими взглядами и их была огромная разница. К тому же, столкнувшись с ними, я представлял из себя уже не сырой материал.

— Ваше отношение к революции?

— Я всегда был революционером, хотя того, что я бы назвал «революционным негодованием», у меня не было. Советскую власть признаю и революцию приветствую. Эволюционируя, я пришел к «увриеризму». Увриеризм происходит от французского слова «увриер» — рабочий, работник, в русском переводе это звучит несколько неуклюже: «работничество». Это течение противное «проприетизму», основанному на частной собственности. Убежден, что наше время постепенно вытравляет чувство собственности, заменяя его

чувством любви к труду. Поэтому я не понимаю того обвинения, которое мне предъявлено: как можно быть проприетером в настоящем строе, основанном на трудовых интересах, на интересах всех?

— Однако, вы же хотели увезти книги, миниатюры, коллекции?

Обвиняемый объясняет, что все это необходимо ему было для задуманных им работ — и между прочим, для написания девятитомной истории искусств по совершенно новому научному методу. До сих пор, — говорит он, — научной истории искусств не существует. Есть собственно не история, а регистрация памятников искусств с пояснениями. Необходимо к истории искусств применять естественно-исторические методы и связать искусства с социологией. Две миниатюры, которые найдены у меня, неправильно названы миниатюрами. Это не имеющие никакой ценности «изображения», дрянь, и взял я их не ради их самих, а ради рамок, тоже не имеющих цены. «Грубых», но представляющих интерес с точки зрения стиля, ибо он, Скалдин, работает над вопросами стилей в связи с вопросами конструктивизма. Следует подробное объяснение — ценная лекция о стилях, конструктивизме, упоминается энергетическая теория и т. п.

Председатель прерывает эту «лекцию» вопросом:

— Да, но все же, факт тот, что вы взяли эти миниатюры, перехватили их по дороге — из Археологического музея в Радищевский, куда они так и не дошли. Кроме того: зачем вам понадобились «херувимы»?

— О миниатюрах я уже сказал; «херувимы» же — бросовый хлам, попавший в мои вещи вместе с другими вещами, благодаря Уг<оловному> розыску: когда арестованы были мои вещи, агенты уголовного розыска собрали все в кучу, мои личные вещи и музейные и сложили их вместе в ящики.

— Вы ссылались на распоряжение из центра Машковцева, это не подтвердилось.

— Да, официального письменного распоряжения не было, но был разговор.

Защитник Лебедев. Когда вы начали заниматься литературой и сколько вам тогда было лет?

— В 1908–9 году, мне было около 20 лет.

— Какие работы вами тогда были выпущены?

— Я печатал стихи в «Аполлоне», «Сатириконе» и др. изданиях, затем, вопреки моему желанию, Вяч. Иванов издал сборник моих стихотворений, имеющих для меня формальный интерес. Затем я написал «О метафизике христианства» — возражение на книгу Розанова.

До этого — роман «Похождения Никодима Старшего».

— Вам тогда было 23 года?

— Да.

— Еще что?

— В 1915 г. написал начало истории активного и пассивного вооружения германского флота за 25 лет.

— Разве вы специалист в этих вопросах?

— Нет, но мои способности в области конструктивизма дали мне возможность справиться с этой задачей.

— Еще что?

— В настоящее время работаю над «Вечерами у мастера Христофора» — книгой о революции.

Обвинитель. Какие проблемы вы ставили в написанном вами романе «Похождения Никодима»?

— Прежде всего проблема формы, стиля.

— А сюжет?

— Авантюрист <авантюрный?>: нить неожиданных событий, однако связанных общей идеей.

— Значит, авантюрный роман?

Подсудимый скромно отвечает:

— Да, вроде «Дон-Кихота»...

Обв. Вы признаете в согласии с строем, в котором живете, принцип коллективной работы? Как же вы объясните, что в Саратове вы действовали единолично? Что же у вас не было подходящих сотрудников?

— Этот вопрос здесь освещен неправильно. Собственно все принципиальные вопросы решались коллективно — общей коллегией правления общества археологии и этнографии. И если я был проповедником самостоятельной работы, то это еще не значит, что я ее проводил.

Виновным себя признает лишь в том, что хотел увезти книги, вещи и коллекцию для научных работ без санкции губоно.

РЕЧЬ ОБВИНИТЕЛЯ

Прежде всего обвинитель останавливается на Кожевникове — фигуре второстепенной в процессе, о которой почти ничего не упоминалось. Факт преступной халатности в его действиях налицо. Большой недостаток учетности в музейном фонде, хаос, беспорядок. Сам Кожевников признал, что не отвечает за целость вверенного ему имущества. Обвинитель требует квалификации его деяний по 1-ой или 2-ой части ст. 108 уг<оловного> код<екса>, или по 186, если суд признает корыстные цели.

Центральной фигурой процесса является Скалдин. Есть ли наличность преступления? Прежде всего обвинитель останавливается на обвинении в том, что вещи из музейного фонда выменивались на продукты. Проф. Соколов определенно указывает на случай, когда немцы Малой Скатовки предлагали ему взятку, очевидно имея в этом отношении опыт. То же говорят свид<етель> Советов, проф. Рыков. Но если даже мы не в праве с уверенностью сказать, что Скалдин и Кожевников выменивали вещи из музейного фонда на продукты, то все же были серьезные с их стороны упущения, которые рождали компрометирующие слухи. В вещах у Скалдина найдено много всяких мелочей, тряпок. Он утверждает, что все это нужно было для монтировки и др. музейных целей. Но в этом мы должны ему верить только на слово — других гарантий нет. Скалдин составил коллекции и потому считал себя в праве увезти их. Такое право не может быть за ним признано, потому что составление коллекций, если не формально, то по существу, входило в его обязанности и увозить их, как и книги, он не имел права. В вопросе о книгах ссылаются на списки, найденные в архиве Губмузея и долженствующие доказать, что Скалдин направлял эти книги в центральные музеи. Но, во-первых, эти книги не редкость: они есть в центре, а во-вторых, — 104 иностранные книги, найденные в вещах, совсем не значились в списках, а из 800 русских в списки попало всего 16... При таких условиях говорить о легальности увоза не приходится. Центр на разрешение увоза <так!> не давал. Если здесь даже не было корыстной цели, то во всяком случае налицо личный интерес, хотя никаких гарантий нет того, что вещи получили бы то направление, о котором говорит Скалдин. Он оправдывает свой поступок задуманными работами. Но пусть даже мы признаем, что эти работы необходимы человечеству или хотя бы Р.С.Ф.С.Р,

27 Зак. 3178

все же хозяином вещи является государство, и если каждый будет распоряжаться его вещами, ссылаться на высокие цели, то получится хаос, при котором никакая работа не будет возможна. Да еще большой вопрос — о значении задуманных работ девятитомной истории искусств. Это м<ожет> б<ыть>, и так, а, возможно, это такой же анекдот, как приглашение Скалдина на должность заведующего провинциальным отделом Главмузея: Скалдин уверял, что его пригласили на этот высокий пост, а оказалось, что ему предлагали всего лишь должность разъездного агента... В оправдание поступка Скалдина здесь ссыла<ли>сь на ученых: известные, мол, ученые присваивают себе книги. Это не оправдание, это — преступление, и если проф. Франк безнаказанно увез рукописи Вл. Соловьева, то случилось это потому, что тогда, в период Гражданской войны, власти некогда было следить за подобными фактами. Теперь же она будет бороться с этим. Быть может, с точки зрения людей круга, к которому принадлежит Скалдин, подобные деяния допустимы; но его, к счастью, судят рабочие и крестьяне, которые взглянут на его деяния иначе.

Обвинитель требует применения к Скалдину 2-й части ст. 105 Уг<оловного> Кодекса.

РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА ЧЕРКАСОВА

Черкасов защищает Кожевникова. По его мнению, все обвинение его подзащитного построено на «слухах», а законодательство запрещает пользавоться такими источниками. Для обвинений не достаточных оснований. Защитник желает быть кратким еще и потому, что спешит в клинику проф. Цитовича, который сейчас должен оперировать Кожевникова. Но этого сделать нельзя, потому что больной волнуется от неизвестности. «Но я явлюсь к нему и скажу: „Спокойно ложись на операционный стол". Ибо убежден, что пролетарское правосудие решит судьбу моего подзащитного согласно с справедливостью».

РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА ЛЕБЕДЕВА

Лебедев начинает речь цитатой из статьи, написанной в свое время о «скалдиновщине»: «Кто лезет под ноги? Кто мешает идти?» Оказывается, «мешают идти» к высокой цели враги Скалдина, среди которых свидетели Советов, Рыков, Прокофьев и др. Ими, особенно проф. Рыковым, подробно занимается защитник. Это они ловили «слухи», «давали поцелуи, чтобы распять затем учителя», «сына плотника», «разделить ризы его»... Но «кошмар» после речи обвинителя рассеялся, отпала грозная, карающая высшей мерой наказания ст. 113 и «нам дышать стало легче». Защитник останавливается подробно на отдельных пунктах обвинения. Скалдина обвиняют в единовластии. Но какая могла быть коллегиальность с людьми некомпетентными, а некомпетентность свою члены комиссии демонстрировали перед судом во время осмотра ими в музее вещей: ни один из них не мог определить ценность осматриваемых вещей, и тогда Скалдин честно и мужественно дал суду нужные сведения, рискуя даже головой, потому что среди вещей были вещи и высокой ценности, за похищение которых угрожает смертная казнь. Это говорит об искренности Скалдина, которому потому надо верить. Корыстных целей у Скалдина не было. Не было желания и скрыть следы. Проф. Франк, увозя рукописи, составил их опись? Нет. А Скалдин составил. Коллекция составлена из бросовых отрезков, и это не вина, а заслуга Скалдина. Скалдин выдающийся человек и работник. В 23 года он пишет статью, в которой полемизирует со своим учителем!

А в его романе есть описание усадеб, говорящее о высокой компетенции в вопросах искусства. Он работал для республики, для общей пользы. Он — друг современного общества. Суд должен вынести ему приговор, открывающий путь для дальнейшей работы этого выдающегося человека. Не надо, чтобы в будущую биографию его занесен был факт, что он был осужден пролетарским судом — осужден человек, проповедующий трудовичество, мастерство созидающего труда. «Кто, — спрашивает защитник, — знал Ленина 17 лет тому назад? А теперь его знают все. Подойдите к горе и вы не увидите ее величины. Надо отойти от нее вдаль, чтобы ее увидеть как следует. Нужны годы, чтобы оценить Скалдина».

После сих поэтических сравнений защитник переходит к прозе: он просит оправдать своего подзащитного; но, если суд не согласится с этим, то применить к нему лишь статью 105-ую.

Речи защ<итника> Лебедева аплодирует часть публики.

Предс<едатель> останавливает аплодисменты: здесь не театр и не цирк, чтобы аплодировать. Аплодируя же, значит, вы сочувствуете поступку Скалдина?

После краткого возражения обвинителя на речи защитников, суд удаляется для совещания. Совещание длилось ровно 2 часа.

Вынесенный приговор напечатан в предыдущем № «Изв<естий>».

ПРИГОВОР ПРОИЗНЕСЕН

Дело Скалдина мне живо напомнило анекдот о заучившемся семинаристе, который набрался столь высокой премудрости, что якобы потерял способность понимать обыкновенную человеческую речь и все произносил по латыни. Даже «грабли» у него звучали «грабляус», пока они не ударили его по лбу и не привели в себя. На предложение работать семинар сей отвечал латинскими замысловатыми фразами. Ученик церковно-приходской школы, «брат Пушкина», т. е. по уверению его, друг А. Белого, Блока, Вяч. Иванова, Бенуа, Лансере, Добужинского, ученик Философова, Розанова и др. на вопросы роковые, простые и ясные, отвечает пространными речами-«лекциями». Так на вопрос:

— Почему присвоено музейное имущество?

Скалдин «растекается по древу» речью. Чего тут только нет: и математический материализм, и барракальная гносеология, и «увриеризм», и уверения в лояльности к советской власти, и экскурсии в область влияния масонства на архитектуру и архитектоническая величина в рамках миниатюр. Все, что угодно, кроме ответа на вопрос. Прибавьте сюда такой диалог:

Скалдин. Вам известно, что меня ждало назначение на должность управляющего всеми провинциальными музеями?

Хранитель музея. Я знаю, что вас хотели назначить разъездным агентом.

Или:

Защитник. Не говорил ли вам профессор Баллод, что Скалдин мог быть ассистентом по кафедре эстетики?

Свид. Это я слышал от самого Скалдина.

Прибавили? Разве не ясно, что перед вами человек, сам себя рекламирующий, развязность которого напоминает злополучного семинариста-латиниста.

Защитники подсудимых на процессе очень шаблонно и дешево играли на чувствах: один из них умолял дать его подсудимому Кожевникову «лечь спо-

койно на операционный стол», другой с сентиментальным пафосом упоминал детей. Мало того: развязность Скалдина «с ученым видом знатока» говорить обо всем защитник выставлял как эрудицию подсудимого, сравнивая его с Петром Великим, а профессуру с боярами, брады уставившими. Защитник Лебедев договорился до таких восхвалений подсудимого, что напрашивается вывод — такого гения и судить нельзя, иначе нас история осудит. Театральная речь Лебедева увлекла часть публики, и она почувствовала себя зрителем, а Лебедев актером и зааплодировала. Суд призвал с достоинством к порядку любителей театральщины.

— Тут не цирк и не театр, а суд! — веско и убедительно отчеканил председательствующий. Наиболее чуткие из аплодировавших почувствовали неуместность своего «порыва».

Самое интересное в этом процессе — это столкновение двух миров, двух психологий.

Одна воплотилась в трезвом, здоровом, рабочем суде, и другая в интеллигенции и полуинтеллигенции, представшей в зале и в виде обвиняемого, и свидетелей и публики.

Одна сторона себя продемонстрировала спокойным напряженным вниманием, трезвой оценкой, твердой волей к правде, хотя б и суровой.

Другая: театральным пафосом, туманной фразеологией, сентиментальной игрой на чувствах, отсутствием воли и здоровой мысли за счет чувствительности, жалости, дряблости.

Есть еще любопытный момент в данном процессе: «варвары»-большевики судили культурных людей за присвоение и небрежность к вещам большого культурного значения. И были тверды в защите правого и культурного дела. А культурные люди выгораживали себя и других, апеллируя к чувствам и к великим заслугам и эрудиции проштрафившихся культурных деятелей.

— Оправдайте их, потому что они Петры Великие и потому им простительно растаскивать ценнейшее. — Таков смысл поведения защиты и ее сторонников. И между строк звучало:

— Тем более, что ценнейшее берется от рабоче-крестьянского государства, будто бы похожего на петуха, ценящего ячменное зерно выше жемчужного.

Личный произвол в хозяйничании ценнейшим имуществом Республики защитой возводился даже в традицию. Ссылались, как это ни смешно и грустно, на факты (к счастью профессуры и к стыду защиты оказавшиеся дутыми) такого произвола авторитетных ученых.

Суд оказался на высоте своего положения, как и следовало ожидать. Ни высокомерные речи и лекции, ни рефлективная слякоть и никакая игра защиты на показаниях свидетелей, их промахах не повлияли на суд. Только трезвый учет фактических данных послужил суду ценным материалом для суждения.

А это последнее обстоятельство не было в пользу Скалдина. Отсюда и приговор.

Леонтий Котомка

<СПРАВКА>

Скалдин, Алексей Димитриевич

Литератор, 34^{х} лет, семейный (жена и двое детей школьного возраста; жена больна — ревматизм и хронический бронхит).

Литературная и ученая (в Музейном деле) работа с 1910 года, сотрудничество в журналах «Аполлон», «Сатирикон», «Труды и Дни» и друг., в альманахах.

Изданы: «Стихотворения». Изд. «Оры» 1912 г.

«Странствия и приключения Никодима Старшего».

Роман. Изд. «Фелана» 1917 г.

Различные работы по изящной литературе и по вопросам изобразительных искусств в рукописях.

5 месяцев тому назад приехал из провинции, в надежде найти работу, но до сего времени не удалось найти ничего.

А. Скалдин

31/I 24 года

Документы 1924—1932 гг. из фонда Всероссийского Союза Писателей

В Правление
Всероссийского Союза Писателей

Ленинград

Прошу Правление о включении меня в число членов союза. Занимаюсь литературной работой с 1909 года, сотрудничал в журналах «Аполлон», «Сатирикон», «Труды и Дни», и т. п., в альманахах («Альманах Муз»), выпустил отдельно.

Стихотворения. Изд. Оры. 1912 г.

Роман «Странствия и Приключения Никодима Старшего». Фелана. 1917 г.

Ряд произведений в рукописях.

Научная работа в музейном деле с 1919 г.; служба в провинциальных и центральных музеях, несколько подготавливаемых по истории искусств работ; одна — памятники церковной архитектуры Саратовской губернии передана в Саратовское О-во Истории, Археологии и Этнографии, в готовом виде.

А. Скалдин

Алексей Дмитриевич Скалдин

Ленинград, Плуталова ул. 2, кв. 5

22 мая 1924 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Анкета для членов союза

1. Фамилия, имя, отчество: *Скалдин, Алексей Димитриевич*
2. Литературный псевдоним:
3. Точный адрес: *Детское Село, улица 1-го мая, 33.*
4. С какого времени состоите членом Всероссийского Союза Писателей: *(состоял, но выбыл за отъездом)*
5. Год и место рождения: *1889 г. 2/X. — дер. Карыхново, Валдайск. уезда Новгородск. губ.*
6. Социальное происхождение: *Из крестьян Костромской губ. Кологривского уезда*
7. Образование (домашнее, низшее, среднее, специальное, знание иностранных языков): *Фактич. высшее (без диплома); немного франц., немецк.*
8. В каком возрасте начали писать: *с 9 лет*
9. Где и когда напечатано ваше первое произведение (его заглавие): *Стихотворения — журн. «Аполлон» 1910 г.*
10. Перечислите издания, в которых вы участвовали: а) до 1914 г., б) с 1914 по 1917 г., в) с 1918 г. по сей день:
а) «Аполлон», «Сатирикон», «Труды и Дни», и др.
б) «Отечество»
в) «Художественные Известия», «Красная Газета»

11. Были ли перерывы в вашей литературной работе, и если были, то почему; их длительность:
Нет.
12. Имеются ли у вас отдельные издания (книги, брошюры, сборники, собрания сочинений); перечислите их подробно, по возможности с указанием отзывов критики:
1912 — «Стихотворения». Изд. «Оры».
1913 — «Метафизика Христианства» — изд. «Труды и Дни».
1917 — «Странствия и приключения Никодима Старшего. Изд. «Фелана».
1925 — «Письма А. Блока» — совм. с Княжниным, Чулковым и С. Соловьевым.
1928 — «Чего было много» — Госиздат.

13. Переведены ли ваши произведения на иностранные языки: *Не знаю, кажется роман «Странствия Никодима».*
14. Имеются ли у вас работы в рукописях; укажите их характер и количество печатных листов: *Романы «Деревенская жизнь», «Невероятная жизнь», «Вечера у Мастера Ха», ряд повестей и рассказов.*
15. Почему находящиеся в рукописях работы не напечатаны: *Часть по цензурным препятствиям, другие задерживаю пока до окончательной обработки.*
16. Ваша литературная специальность (беллетристика, поэзия, критика, переводы, редактирование и проч.): *беллетристика и редактирование (редактор Лен От Гиза)*
17. Ваша профессия в прошлом: *Страховой работник, музейное дело.*
18. Какую профессию вы считаете для себя основной:
Литературную
19. Где служите в настоящее время: *Ленингр. Отд. Госуд. Издательства*

20. Состоите ли членом профессионального союза, и какого именно: *Не состою*

21. Ваша партийность: *беспартийный*

22. Ваше участие в революционном движении и в общественной жизни: *Работа в политотделе Донск. области, в Политпросвете Сарат. Губоно и др.*

23. Дополнительные замечания:

Дата *24 авг. 1929*

Подпись *А. Скалдин*

Детское Село

ул. 1 Мая, 33

А. Д. Скалдину

Уважаемый товарищ.

В виду предстоящей перерегистрации членов ВССП, Исполбюро просит Вас заполнить находящуюся на обороте сего анкету и вернуть ее в недельный срок в канцелярию Союза.

Невозвращение анкеты, небрежное заполнение ее (неточные сведения, не достаточно разборчивый почерк) будут обозначать Ваше нежелание перерегистрироваться).

Исполбюро.

(см. на обороте).

1. Фамилия: *Скалдин*
2. Имя, отчество: *Алексей Дмитриевич*
3. Адрес и № тел. *Детское Село, ул. 1 мая, 33, кв. 1*
4. Член ВССП *с октя. 1929 г.* и
   № чл. билета: —
5. Какой Секции: —
6. Какого профсоюза: *Полиграфич. производства*
7. № чл. книжки: *89323*
8. Год рождения: *1889*
9. Соц. происхождение: *из крестьян Костромской губ.*
10. Соц. положение до и после октября 1917 г.: *Литература, научная работа, служба в различных предприятиях и учреждениях*
11. Место службы или работы: *ЛенОГИЗ, Соцэкгиз*
12. Судимость: *В 1923 г. за превышение власти*
13. Не лишены ли Вы изб. прав: *нет*
14. Партийность: *беспартийный*
15. Лит. специальность: *беллетрист*
16. Когда и где напечатан Ваш первый лит. труд и его название: *В 1910 г. в журналах «Аполлон» и «Сатирикон» — стихотворения*
17. Какие лит. труды Ваши вышли за последние три года и где именно напечатаны: *Детские книги в ЛенОГИЗЕ: «Чего было много», «За рулем», «Колдун и ученый». В производстве там же «Музей Чижа», «Нитка, иголка и пуговица», «Земля Каанана»*

Подпись: *А. Скалдин*

5 мая 1931 г.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комиссии по перерегистрации членов Л.О. ВССП
16 января 1932 г.
Присутствовали: М. Фроман, Н. Слепнев.

I. СЛУШАЛИ: список членов Лен. Отд. ВССП
ПОСТАНОВИЛИ: не могут быть перерегистрированными:

1. Бренев-Черний — считая, что т. Черний ведет в основном работу по линии Всероскомдрама.
2. Введенский — как не связанного с Союзом и как оторвавшегося от Союза Советских Писателей.
3. Владимиров-Венцель — как ведущего в основном работу по линии Всероскомдрама и работающего исключительно в области драматургии и эстрады.
4. Воинов — Тоже.
5. Голлербах Э. — как историка в области искусства вообще, не связанного с практической работой Союза и ведущего работу по линии научно-исследовательских организаций.
6. Гросс — как не связанного с практической работой Союза и ведущего работу в области истории и теории искусства по линии научно-исследовательских организаций.
7. Диксон — как не связанного с практической работой Союза и как работающего исключительно в области газетной [никак не связанного с художественной литературой].
8. Еленский — как работающего исключительно в области драматургии и по линии Всероскомдрама, не связанного с практической работой Союза.
9. Горелов — считать механически выбывшим за невзнос членских взносов, не уведомившего Союз о своем переезде в другой город, не связанного с практической работой Союза.
10. Купер — как не имеющего никакой литературной продукции, совершенно оторванного от Союза и не принимающего никакого участия в жизни и работе Союза.
11. Исаков — как не связанного с литературно-творческой работой Союза.
12. Ломакин — как не связанного с практической работой Союза, работа т. Ломакина протекает исключительно по линии Всероскомдрама.
13. Лукашевич К. — как не работающей и никогда не работавшей в Советской литературе, не связанной с идейно-творческой работой Союза.
14. Майзель М. — считать механически выбывшим за отъездом на работу в другой город и не связанного в настоящее время с Союзом.
15. Никонов — как утратившего связь с Союзом и не принимающего участия в работе Союза.
16. Омельченко А. — как утратившего литературно-творческую связь с Союзом.

17. Перельман — как работающего в области популяризации науки и техники и не связанного с творческой работой Союза.
18. Поссе — как утратившего всякую связь с Союзом.
19. Правдухин — за отбытием в Московскую организацию.
20. Пятницкий — как утратившего полностью связь с Союзом.
21. Рабинович — как не связанного с литературой.
22. Редько А. — как не связанного с литературно-творческой работой Союза.
23. Редько Е. — То же.
24. Римский-Корсаков — как совершенно не связанного с литературно-творческой работой Союза, работающего в области музыкальной критики.
25. Сейфуллина Л. — за выбытием в Московскую организацию.
26. Сковородников — как механически выбывшего за переездом в другой город.
27. Соллертинский — как утратившего связь с идейно-творческой работой Союза, не принимающего никакого участия в практической работе Союза.
28. Старк — как не связанного с Союзом ни по линии творческой, ни по линии практической работы Союза.
29. Флит — как работающего исключительно по линии Всероскомдрама в области эстрады и малых форм.
30. Цензор — как работающего исключительно по линии Всероскомдрама и не связанного с идейно-творческой работой Союза.
31. Хармс — как не связанного с Союзом и порвавшего всякую связь с идейно-творческой работой Союза.
32. Четвериков Б. — как механически выбывшего за отъездом в другой город, потерявшего связь с Союзом.
33. Щепкина-Куперник Т. — как не работающая в Советской литературе.

II. СЛУШАЛИ: о подтверждении результатов работы перерегистрационной Комиссии 1931 г.

ПОСТАНОВИЛИ: [исключить] из Союза

Клюева Н. — как абсолютно чуждого по своим идейно-творческим установкам Советской литературе — писателя.

Подтвердить исключение из Союза следующих:

1. Алексеев Вл.
2. Бардовский
3. Иванова-Чарская
4. Рашковский
5. Синельников
6. Скалдин
7. Слепцова
8. Туфанов
9. Фортунато
10. Шмерельсон

Материалы об аресте 1933 года

С.С.С.Р.
Полномочное Представительство
Объединенного
Государственного Политического
Управления
в Ленинградском Военном Округе

Ордер № 1100
20/I 1933 г.
Выдан сотруднику Летохину
на производство обыска и ареста
Скалдина
Алексея Дмитр.
Детское Село ул. 1 мая
дом 33 кв. 1

Все должностные лица обязаны
оказывать указанному сотруднику
полное содействие

Подпись
Печать

ПРОТОКОЛ

На основании ордера Полномочного Представительства ОГПУ в ЛВО за № 1100
20 января мес. 19*33*г., произведен обыск ____________
____________ в доме № *33* кв. № *1* по просп. ул. пер. *1го мая*
Детское Село
граждан *на Скалдина Алексея*
Дмитриевича
Согласно данным задержаны: *Разная переписка разных годов*
Взято для доставления в ПП ОГПУ в ЛВО следующее (подробная опись) *нет*
Опечатано *нет*
Заявления на неправильные действия, допущенные при обыске: *Не было*

Форма № 28
Приложение к приказу ОГПУ
1932 г. № 604/с.
пишется в 3-х экз. (1 подлинник и 2 копии)

__________ Отдела ПП
193 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения

Ленинград 193 *3* года *января «20»* дня
шт. пр. IV отд. СПО Еремин, рассмотрев следственный материал по делу № *НД* и приняв во внимание, что гр. *Скалдин Алекс[андр]ей Дмитриевич* достаточно изобличается в том, что *он является участником к/революционной организации*

ПОСТАНОВИЛ:

Скалдина А. Д. привлечь в качестве обвиняемого по *58-11* УК РСФСР, а мерой пресечения способов уклона от следствия и суда избрать *заключить в ДПЗ*

Уполномоченный: *IV СПО подпись*
Согласен: __________ *подпись*

Постановление мне объявлено *«12» апреля* 193 *3* г.
Подпись обвиняемого: *АСкалдин*

АНКЕТА

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1. Фамилия	*Скалдин*
2. Имя и отчество	*Алексей Дмитриевич*
3. Год и место рождения	родился *«15»/X* года *1889 г. (43)* области, края *Ленинградск.* Района *Валдайского* гор. *(б. Мшенской вол.)* село *д. Карыхново*
4. Постоянное место жительства (адрес)	*Детское село ул. 1го Мая д. № 33 кв. 1*
5. Место службы и должность, или род занятий	*инж. раб. в Госиздате зав. библиотеки и редактор*
6. Профессиональная и профсоюзная принадлежность, № билета	*Литератор союза «Печатников» с 1917 г.*

	ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
7.	Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. и индивид., если колхозник, указ. имущественное положение до вступления в колхоз, дата вступления в колхоз	*б/имущий*
8.	То же до 1929 г.	*тоже*
9.	То же до 1917 года	*тоже*
10.	Социальное положение в момент ареста	*служащий*
11.	Служба в царской армии и чин	*Да. Рядовой*
12.	Служба в белой армии и чин	*нет*
13. а) б)	Служба в расной армии: срок службы, воинская категория	*да в 1920 Лектор*
14.	Социальное происхождение	*из крестьян*
15.	Политическое прошлое	*нет*
16.	Национальность и гражданство	*русский СССР*
17.	Партийная принадлежность, с какого времени, № билета	*б/п*
18.	Образование (подчеркнуть и указать точно, что окончил):	Высшее, среднее, низшее, малограмотный *самоучка*
19.	Категория воинского учета	*рядовой — пулеметчик запаса*
20.	Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение	*да в 1923 г. в г. Саратове за превышение власти. Осужден на 3 года. Освобожден по вмешательству т. Луначарского*
21.	Состояние здоровья	*здоров*

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ				
22. Состав семьи: перечислить: отца, мать, сестер, братьев, сыновей, дочерей (их фамилии, имя и отчество, место службы и должность или род занятий и адрес)	Состав родства	Фамилия, имя, отчество	Возраст	Место работы, должность или профессия	Место жительства
	жена	*Эльзбет Конст.*	*48*	*домхоз.*	*Детское село ул. 1го мая д. 33 кв. 1*
	мать	*Александра Ник.*	*71*	*иждивенка*	-«-
	падчерица	*Вальтер Клара*	*23*	*арт. им. Калмыковой*	-«-
	-«-	*Марина*	*18*	*учащаяся полиграфического техникума*	-«-
	брат	*Георгий Дмитр.*	*41*	*художник*	*ул. Халтурина Дом ученых кв. 8*
	сестра	*Чигиринец Евгения Дмитр.*	*45*	*домхоз.*	*Детское село ул. 1го мая*
	-«-	*Столбина Валентина Дмитр.*	*32*	*медсестра*	*не знает*

Подпись арестованного *АСкалдин*

1) Особые внешние приметы *нет*
2) Кем и когда арестован *20/I г. 33 ор. № 1100*
3) Особые замечания *нет*
4) Где содержится *ДПЗ*
5) За кем зачислен *4 отд. СПО*

Подпись сотрудника, заполнившего анкету

«21»/I 19 *33* г.

Примечание 1-е. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется документальными данными.

Примечание 2-е. Анкетные данные должны быть проверены в процессе следствия и отражены в обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.

Форма № 29

О.Г.П.У.

Ленингр
(Наименование органа)
СПО 4 отд. к делу № 153

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1933 года *I* мес. *30* дня, я *уполн.*
Бузников А. В. допросил в качестве
гражданина(ку)
и на первоначально предложенные вопросы он(а)

1. Фамилия *Скалдин*
2. Имя, отчество *Алексей Дмитриевич*
3. Возраст и год рождения *1889 г.р., 43*
4. Происхождение (откуда родом, кто родители, национальность, гражданство) *из крестьян Новгородской губ. Валдайского уезда Мшенской волости, д. Карыхново*
5. Место жительства *Детское село ул. 1го Мая д. 33 кв. 1*
6. Род занятий (последнее место службы и должность) *заведующий библиотекой ИТР*
7. Семейное положение (перечислить близких родственников, их имена, фамилии, род занятий до революции и последнее время) *женат, жена Эльжбет Константиновна, урожд. Бауман, по национальности немка, две падчерицы – Клара Рейнгольдовна Вальтер, 23 лет, работает в артели, – Марина Рейнгольдовна Вальтер, 18 лет, учится в полигр. Техникуме*
8. Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и его родственников) *заработок*
9. Образовательный ценз (первоначальное образование, средняя школа, высшая специальная, где, когда и т. п.) *самообразование, окончил приходско-церковную школу*
10. Партийность *б/п*
11. Сведения об общественной и революционной работе
12. Сведения о судимости, нахождении под следствием (до Октябрьской революции и после нее) *судился в 1923-ем году в Саратове, получил по суду 3 года строгой изоляции*
13. Категория воинского учета-запаса: начсостав высший, старший, средний, рядовой, переменник, одногодичник, тылоополченец *на учете состоит*
14. Служба у белых *нет*

Показания по существу дела* *Я посещал квартиру левого эсера Иванова-Разумника, находящуюся в Детском селе, и разновременно, чаще всего группами, встречал у Иванова-Разумника следующих лиц – члена партии социалистов-революционеров, б. секретаря Вольно-философского об-ва Пинеса, Дмитрия Михайловича, сохранившего эсеровские убеждения; Брюллову-Шаскольскую, Надежду Владимировну также [активного] члена партии, крупного эсера Прибылева, художника Петрова-Водкина, б. левого эсера, б. эсера Спасского, Сергея – ныне писателя; эсерствующего молодого писателя Куклина, эсера Швецова, ныне покойного, весьма близкого к эсерам писателя Андрея Белого, народнически настроенного писателя Пришвина, М. М., аналогичного Пришвину, но с еще более ярко выраженной кулацкой идеологией писателя Вяч. Шишкова; Котлярова, Григория Михайловича, человека право-народнических убеждений; Леткова-Султанову, начинающего поэта Богданова, тоже эсерствующего.*

С большинством этих людей я знаком давно по десяти и более лет.

Все эти лица представляют собою людей определенной политической ориентации и группирование их вокруг Иванова-Разумника отнюдь не случайно.

Квартира Иванова-Разумника в Детском селе представляет собою удобное место для встреч названных мною лиц на предмет обмена мнениями по кардинальным вопросам современного политического момента. Те беседы, которые мне приходилось слышать в этом доме, носили характер толкования вопросов с точки зрения основных пунктов эсеровской программы, как известно мне, считающей крестьянство основным, доминирующим в стране классом. Молодежь, попадавшая в этот дом, подвергалась соответствующей эсеровской обработке.

В дальнейших своих показаниях разверну фактическую канву своих посещений дома Иванова-Разумника.

АСкалдин
30 янв. 1933 года
Допросил
АБузников

Показания Алексея Димитриевича Скалдина
(продолжение)

С Пинесом, Димитрием Михайловичем, левым эсэром, в прошлом Секретарем Вольной Философской Ассоциации, я познакомился в Вольфиле в 1924 году, затем встречал его у Ксении Михайловны Колобовой, у Юлии Лазаревны Вейсберг и мы взаимно бывали друг у друга. Знаю, что он очень часто бывает у Иванова-Разумника, объясняя это тем, что он ведет с ним работу над текстами А. Блока, а еще раньше вел такую же работу над перепиской Блока.

Свои левоэсэровские убеждения, как и заинтересованность мистикой, он вполне сохраняет, хотя и переживает некоторые колебания в вопросе об отношении к тому и другому.

Я был у Пинеса на квартире раз пять, всегда в одно и тоже время, с 9–10 вечера до утра. Каждый раз происходило чтение каких-либо произведений литературы и обсуждение их. Первый раз я читал свои старые стихи, которые сам считаю неподходящими для настоящего времени. Обсуждение велось с формальной

* Каждая страница протокола должна заканчиваться подписью допрашиваемого, а также и допрашивающего.

стороны. В следующий раз Моисей Семенович Альтман читал о каламбурах в творчестве Достоевского (формальное исследование). Весной 1931 г. он-же читал поэтические произведения своего умершего друга, профессора Георгия Артемьевича Харазова. Харазов, философ и математик, своих стихотворных опытов принципиально не печатал. Они умело сделаны, остры, но очень индивидуалистичны. Весной 1932 г. Альтман читал свою книгу о нечаевце Прыжове и Достоевском. Книга теперь выпущена Издательством Общества Политкаторжан. Чтение длилось долго и обсуждения прочитанного поэтому не было. (вставлено «не» – верить <АСкалдин>) Я только указал, что марксистская установка книги сомнительна, но что у политкаторжан книга пройдет, т. к. они и сами в марксизме не очень сильны.

6 февраля 1933 г. АСкалдин

Той-же весной, несколько позже, я читал черновики своей повести «Земля Ка-анама», посвященной изображению возможной революции на острове Яве. Обсуждение не вышло из рамок формальных вопросов.

В начале осени 1932 г. я читал отрывок из своего большого, еще неоконченного романа «Женихи». Обсуждалось чтение опять только с формальной стороны. Затем последовал разговор Пинеса с моей женой о немецких поэтах символистах-мистиках: Стефане Георге и Райнере Мария Рильке, которых она знала лично, об ее первом муже немецком поэте Рейнгольде Вальтере, теперь профессоре Кельнского университета и яром проповеднике католицизма, о Вольфганге Грегере – ее двоюродном брате, прославившемся изумительно-удачным переводом «Двенадцати» А. Блока.

На всех этих собраниях были почти неизменно одни и те же лица.

Альтман, Моисей Семенович, филолог-классик, научный сотрудник Академии Истории Материальной Культуры и преподаватель университета. Знаю его с 1924 г. (познакомился у Ал-дры Ник. Чеботаревской); он бывший ученик Вячеслава Иванова и его секретарь по Бакинскому Университету. Усиленно изучает Достоевского.

Альтман, Лев Семенович, его младший брат, инженер, определенного о нем ничего сказать не могу.

6 февр. 1933 г. АСкалдин

Альтман, Софья Семеновна, младшая их сестра, инженер-химик. О ней ничего не знаю.

Колобова, Ксения Михайловна, филолог-классик, научный сотрудник Академии Истории Материальной Культуры. Ученица Вячеслава Иванова, но настроенная антирелигиозно с детского возраста. В Ленинграде работала как ученица Н. Я. Марра. Яркая, сильная личность. Примкнула к большевикам в Тандже в 1919–1920 г., т. е. когда ей было лет 15–16. Была захвачена белыми и за подпольную работу приговорена к расстрелу. Во время приготовления к нему была отбита красными партизанами, ворвавшимися в город. С 1928 г. определенно эволюционировала к марксизму и теперь очень хорошо усвоила марксистский метод. На Пинеса имеет определенное влияние. Под воздействием ее страстной убежденной натуры он, очевидно, все более и более задумывается над бесплодностью и бесцельностью своих эсэрства и мистицизма. Я познакомился с ней в Баку в 1925 г.

Морейко, Любовь Григорьевна. Экономистка, работница Обл. финотдела. Умный человек, но политическую физиономию ее я затрудняюсь определить.

Еще две молодые девицы, подруги Морейко, мне неизвестные и фамилий которых я не помню. Ничем себя не проявили.

Других лиц у Пинеса я не встречал.

Показания написаны мною собственноручно.

6 февраля 1933 г. АСкалдин

Допросил <подпись>

Дополнительные показания
Скалдина Алексея Димитриевича

В дополнение и разъяснение к показаниям, данным мною от 30 января 1933 г. сообщаю следующее:

С Разумником Васильевичем Ивановым (Ивановым-Разумником) я познакомился в 1916 или 1917 году, через Андрея Белого, который, приехав из-за границы, остановился в Царском Селе у Разумника. Вторично я встретился с Р. В. Ивановым в 1924 г. – сначала в Союзе Писателей, а потом в Издательстве «Колос», где я одно время работал. В третий раз знакомство возобновилось в 1928 г., когда я переехал на жительство в Детское Село. В 1928–1929 гг. я встречался с ним сравнительно часто, а затем до последнего времени много реже. Я встречался с Разумником в его или своем доме. Подробных политических бесед с Ивановым-Разумником я никогда не вел. Однако из различных его высказываний по тому или иному вопросу, из реплик его и т. п. я могу судить, что Иванов-Разумник сохранил целиком свои прежние эсэровские убеждения и к советской действительности, особенно в части крестьянской политики, относится отрицательно. По своей идеологии это типичный народник, являющийся в настоящее время единственным крупным представителем народничества в Советской России.

Последние два обстоятельства, — а именно — видное эсэровское прошлое Разумника и его положение идеолога народничества — создали необходимые предпосылки для превращения дома Иванова Разумника в Детском Селе в своеобразную «Школу на Капри», в идейный центр сохранившегося и после революции в России народничества, политическим выражением которого в российских условиях является эсэрство.

В основном вокруг Иванова-Разумника группируются три категории лиц, связанным между собою не только через Иванова-Разумника, но и взаимно.

Эти группы:

8 февр. 1933 г. АСкалдин

I. Сохранившиеся после революции старые кадры, концентрирующиеся вокруг Иванова-Разумника, во-первых, как вокруг некоего своего идеологического центра, а во-вторых по линии сохранившихся партийных связей; из этих лиц я встречал у Иванова-Разумника или слышал об его встречах с ними о следующих:

Брюллова-Шаскольская. Видел ее у Разумника, она крупная эсэрка, и убеждения сохраняет прежние. По типу это человек, который может быть в партийной работе очень активным.

Прибылев и Швецов — встретился я с ними у Иванова-Разумника в 1929 г. (а может быть в 1930) видел их раза два в сопровождении Летковой-Султановой. При мне они не вели никаких особых разговоров, очевидно не зная, как ко мне отнестись. Швецов умер.

Леткова-Султанова (имени и отчества не помню). Познакомился с нею в 1912 или в 1913–1914 г. в народном доме гр. Паниной на вечере Качалова. До встречи у

Разумника мне не приходилось где либо ее видеть, но народнические ее убеждения мне известны.

Пинес Дмитрий Михайлович. Библиограф. Работал с Р. В. Ивановым над собранием сочинений А. Блока и встречался с ним очень часто. Полнее о Пинесе и о моих отношениях с ним далее.

Витязев-Седенко, Ферапонт Иванович. Литератор. Активный эсэр. Меня с ним познакомил Владимир Николаевич Княжнин-Ивойлов, который издавал в изд-ве «Колос» вместе с другими письма А. А. Блока к разным лицам. Зная, что у меня есть письма Блока, он предложил мне примкнуть к сборнику и поэтому свел с Витязевым. Позже для Издательства «Колос» работал как представитель по распространению их книг (<года> три-четыре). Я видел встречи Витязева с Разумником в «Колосе», слышал от Разумника о встречах с Витязевым позже, но смысл и значение

8 февр. 1933 г. АСкалдин

этих встреч мне неизвестны.

Доброхотова, Александра Ивановна. Редакционно-издательский работник «Колоса»; позже работала в кооперативной артели им. А. М. Калмыковой. Слышал и от нее и от Разумника о встречах между ними.

Мстиславский, бывший эсэр, живущий сейчас в Москве, и Вера Фигнер, о которой, в связи с Ферапонтом Витязевым, возникают в моей памяти, по рассказам Иванова-Разумника, представления о помощи политзаключенным и ссыльным. Впечатление остается такое, что эта помощь проводится Верой Фигнер путем хлопот и воздействий в советских учреждениях и что непосредственным помощником Фигнер в этих хлопотах являлся Ферапонт Витязев.

Алисов (имени и отчества не помню). Он заведовал в эсэровском издательстве «Колос» финансовой частью. Я видел, что Иванов-Разумник вел с ним разговоры, содержание которых мне неизвестно. Жил Алисов на ул. Красных Зорь, в конце ее, за Карповкой.

Спасский, Сергей Димитриевич. Писатель. Познакомился с ним у Разумника в 1929–1930 гг. Встречал его у Ю. Л. Вейсберг, где он читал свою лирическую повесть об интеллигенте (напечатана). Об его причастии к эсэровскому движению я слышал, но не помню, где и когда.

II. Круги внепартийной народнической интеллигенции, для которых Иванов-Разумник является идейным вождем. Из лиц этой группы (типичных представителей народничества и право-народничества) я видел у Иванова-Разумника или слышал от него и от других о связях с ним следующих лиц:

Котляров, Григорий Михайлович. Историк. Библиотекарь Академии Наук. Его я заставал у Иванова-Разумника чаще, чем кого-либо другого. Познакомился я с ним в 1928 г. у Иванова-же. Между Разумником и Котляровым существует известное единомыслие. У Котлярова определенный пиэтет к Разумнику.

8 февр. 1933 г. АСкалдин

Котлярова, Елена Рудольфовна. Педагог. Политически родна со своим мужем.

Клюев, Николай Алексеевич. Поэт. Физиономия хорошо известна. Я знаю Клюева с 1909–1911 гг., (познакомился с ним у А. А. Блока), знаю, что Клюев читал у Разумника свою «Погорельщину» — произведение большого художественного мастерства, откровенную апологию кулачества.

Сюннерберг (Эрберг), Константин Александрович. Литератор. Я познакомился с ним в 1909–1910 гг. у Вячеслава Иванова. До 1916–1917 гг. встречался с ним

в других местах (у Сологуба, Ал-дры Чеботаревской, Аскольдова, С. Л. Франка и др.). Бывает ли он у Разумника, или, наоборот, Разумник у него — не знаю, но связь между ними есть.

III. Молодежь, воспринявшая народнические идеалы, отчасти и их партийное выражение — эсэрские, политические установки — в послереволюционное время, — по книгам того же Иванова-Разумника и аналогичных ему общественных деятелей, и жаждущих непосредственного общения со своими учителями. Этой группой молодежи я никогда не интересовался и знал из нее только двух лиц, а именно:

Куклин (имени и отчества не знаю). Видел у Разумника (тогда с ним и познакомился) должно быть в 1930 г. Впечатление о нем таково, — в нем сидит народническая закваска.

Богданов, Алексей. Поэт. Народническая окраска. Близко знаком с Куклиным и находился под литературным влиянием Туфанова. Богданов пришел ко мне в 1930 г. от Иванова-Разумника, с просьбой подыскать ему какую-нибудь работу и помочь разобраться в вопросах литературной формы.

Общеполитические разговоры в доме Иванова-Разумника были в корне связаны с чаяниями и ожиданиями эсэров. Ставок на интервенцию нет, есть некоторая надежда на международные осложнения, вроде дальневосточных событий.

8 февр. 1933 г. АСкалдин

Главная ставка на то, что партия и советская власть, под воздействием событий, вызванных хозяйственными затруднениями в стране, будут вынуждены пойти на уступки и начнут «демократизироваться» т. е. будут искать сближения с народническими элементами и что тогда народники получат в правительстве значение большее, чем имели левые эсэры непосредственно после Октябрьского восстания.

Главные ошибки видят в усиленной индустриализации страны и в коллективизации сельского хозяйства.

Опасность роста при такой «демократизации» кулацких элементов считается явной выдумкой большевиков.

Ставка на единоличное сельское хозяйство.

О народно-хозяйственном плане в условиях ориентации на единоличное хозяйство – не говорилось. Тут приходилось слышать просто сильнейший позыв к старому типу хозяйства, т. е. к развитию мелкой буржуазии и к введению парламентарного образа правления. Хозяйство-же образуется само собой.

По вопросу о промышленном производстве ставятся на вид дороговизна и низкое качество изделий. Как средство против них выдвигается отмена монополии внешней торговли, допущение частной конкуренции (в мелком производстве) и учет личной заинтересованности на госпредприятиях. Предложения наполовину реставрационные.

Дальневосточные события и осложнения рассматриваются с точки зрения виновности правительства СССР в нарушении провозглашенных им же принципов. Нужно отдать китайцам Кит.-Восточную ж. д., т. е. совет уйти из Манчжурии, т. к. выходит, что мы держимся за колони-

8 февр. 1933 г. АСкалдин

зационный захват царского правительства.

В политике правительства СССР совершенно одобряются разрешение национального вопроса , отношения с Китаем, Средним и Ближним Востоком и постановка военного дела, в котором мы из страны отсталой в военно-научном отношении превращены в передовую.

Но, под признанием этих достижений присутствует взгляд, что восточная политика СССР есть только продолжение такой же политики царского правительства, но в более удачной форме. Есть надежда, что хорошо обученная армия присягнет и другому правительству в случае проявления у власти.

Большая ставка ставится также на засорение<?> партии чуждыми элементами.

Показания написаны мною собственноручно.

8 февраля 1933 г. АСкалдин

Показания
Скалдина, Алексея Димитриевича
(Продолжение)

В развитие своих предыдущих показаний сообщаю, что посещавшийся мною дом идеолога народничества Иванова-Разумника являлся организационным и идейным центром народнического движения в целом.

Посещавшие этот дом группами и в одиночку представители народнического движения получали здесь основные политические установки по конкретным вопросам текущего политического момента, общая устремленность которых была направлена на борьбу с советской властью.

Основная задача этих указанных политических и тактических установок народничества на современность сводилась к ставке на недовольные колхозной политикой слои крестьянства, долженствующие представить собою в борьбе с Совластью главную движущую силу.

Предполагалось для развертывания борьбы воспользоваться острыми хозяйственными затруднениями в стране и неизбежной, по мнению Иванова-Разумника и ближайшего к нему ядра единомышленников – Брюлловой-Шаскольской, Пинеса, Байдина, «растерянностью» партии и советских органов перед лицом непреодолимых трудностей, которые должны толкнуть последних на сближение с народническими группами в стране.

В качестве основного условия такого сближения намечалось ультимативное требование возврата к единоличному хозяйству, путем роспуска большинства колхозов, организованных якобы в принудительном порядке, и требование прекращения индустриализации страны, проводимой за счет разорения сельского хозяйства.

Дальнейшая программа действия намечала

9 февр. 1933 г. АСкалдин

возвращение (в любой форме) к парламентскому образу правления страной, т. е. к привлечению к решению непосредственных судеб страны самых широких масс деревенской и городской буржуазии и допущение самого широкого свободного товарооборота в стране, путем отмены монополии внешней торговли.

В промышленности народнический центр намечает возвращение в руки частных собственников всех мелких предприятий и ставит задачей изыскать способы повышения личной заинтересованности работников крупной промышленности.

В борьбе с Советской властью и современным партийным руководством центром <сделана> установка на всемерное использование Красной Армии – крестьянской по своему составу, в растущей мощи которой Иванов-Разумник усматривает один из главнейших залогов победы.

Показания написаны мною собственноручно.

9 февраля 1933 г. АСкалдин

Допросил <подпись>

Показания Скалдина
Алексея Дмитриевича

Дополнительно

В непосредственной связи с идейно-организационным центром народническо-эсэровского движения состоящим из Иванова-Разумника, Брюлловой-Шаскольской, Пинес<а>, Байдина и Гизетти, находилась — созданная центром — группа народнически-настроенной интеллигенции, за небольшим исключением, состоящая из народников — (в отличие от кружка молодых народников) усвоивших идеи народничества в дореволюционное время.

В эту группу входили и к ней примыкали близкие друзья членов центра Иванова-Разумника и Брюлловой-Шаскольской — Котляров, Розов, Брюллов, Катков и Гребенщиков. Примыкал к этой-же группе и я. Члены Группы собирались на квартире у Иванова-Разумника и Брюлловой-Шаскольской для собеседований по текущим политическим вопросам и для получения указаний и освоения вырабатываемых центром современных программно-политических установок народничества.

Темы собеседований, характер и сущность их, а также теоретических

АСкалдин

<> е на 10, 11 и 17 стр. сверху не читать

АСкалдин

положений, выдвигаемых центровиками, мною изложены в предыдущих показаниях.

Группа вела, по указанию центра, пропаганду народнических идей — преимущественно — среди представителей высшей интеллигенции — крупных литераторов, искусствоведов, научных работников и т. д., многие из которых также посещали квартиру Иванова-Разумника в Детском Селе. Фамилии их я назвал в предыдущих своих показаниях.

Теже самые идеи пропагандировались членами группы при помощи специфики их профессий. Члены группы Катков и Розов насыщали народническими идеями свои литературные произведения, другие — Гребенщиков и Котляров — по профессии крупные ленинградские библиотекари — использовали в этом плане возможность специфического подбора книг в подведомственных им библиотеках.

АСкалдин

10 апреля 1933 г.

Допросила: <подпись >

Об окончании следствия
мне объявлено
12 апреля 1933 г.
АСкалдин

Выписка из протокола заседания тройки ПП ОГПУ в ЛВО
от 21 апреля 1933 г.

Слушали: Дело № 169-33г. 4-го Отд. СПО ПП на обв. Скалдина Алексея Дмитриевича по ст. 58/II УК.

Постановили: Скалдина Алексея Дмитриевича — заключить в концлагерь сроком на пять (5) лет, считая срок с 20/I—33 г.

Заключение в к/л заменить высылкой в Казахстан на тот же срок.

Фрагменты дневниковых записей 1934–1941 гг.

2 VII 1934.

Да, под чувством разумности всегда живет чувство неладности, а иногда и катастрофы даже. Тип человека, уверенного в своей разумности, представляла Нина Сергеевна Салищева, с которой я ехал в мае из Москвы в Алма-Ату. И уверена она была именно в разумности своей любви, в том, что мировой процесс прошел через ее личность так, как ему следовало пройти.

Впрочем, я смеюсь. Это была только игра в разумность. Когда в процессе разговора я почувствовал, что могу сказать, что в ее жизни многое не так, как она представляет, или хотела бы видеть — я это сказал.

Игра в разумное может вестись по-разному. С ее стороны это было ведением принятой роли. «Неважно, что на самом деле — никому нет дела до того, что происходит в действительности — огни в зале потушены, занавес поднят и я играю». Но партнер по игре путает слова суфлера-памяти неожиданными вставками из другой драмы.

Тогда Нина Сергеевна вместо того, чтобы возмутиться, примолкает и напряженно глядит в окно несколько мгновений. Потом как-то поникает — тоже не больше, чем на минуту. Но этого достаточно. Уже все разгадано.

И действительно, позже она уже не может не сказать, что «разумность» ее жизни не так крепка, как она утверждала сначала. Муж ее ревнует и боится, что она не вернется в Алма-Ату. Ревнует к определенному человеку.

Но это только половина «неладности». Другая в ней самой — она говорит, при каких обстоятельствах она ушла бы от мужа. При каких же? Не все ли равно (я уже забыл, что она сказала). Важно, что обстоятельства возможны.

<июль 1935>

... <не> [хочет ухаживать и не говорит ей комплиментов? Наоборот, от нее сторонятся.

Неужели она не понимает, как она такими мыслями и расчетами унижает свое достоинство (человека и женщины)? Если весь расчет строится на том, что от К. она может уйти только тогда, когда найдет кого-либо третьего — разве это опять не перевод себя в разряд «женщин для мужчин»? Отвратительно! Как отвратительно!

Люба говорит, что ей кажется, будто у Нины родится мальчик (мне тоже кажется), но что она предпочла бы рождение девочки. Мальчишек она не любит.

Хотел ей сказать: у мальчиков свои мерзости, у девочек — свои, — но воздержался. А нужно сказать.

Сегодня полдня ломал голову над заглавием новеллы о чéрте, отдающем себя в руки инквизиторов. Новеллу хочу посвятить Нине. На прощание как бы.

И от него отделался стихами.
Так и не нашел подходящего.
«Неизвестный перед святой инквизицией?»

8/VII.<1935.> Нина все-таки вчера утром была у Любы, очевидно, вопреки желанию и намерениям Кости. И даже спрашивала, когда можно Любу застать дома. Потом пришла Надя с Костиной матерью. Люба из этого сделала вывод, что и Костина мать с ним не согласна.

Но все это несосветимая ерунда, меня не касающаяся.

10/VII.<1935.> Эти парки не только пряхи, но и свахи. Даже та, <утрачено> ножницами. Потому что если бы она не сватала, то нечего было бы ей и резать.]

10–VII–1935. Шестого был толчок силою в 5 баллов. Но я не слышал гула и не ощутил толчка. Я в это время подходил к магазину на Торговой улице. В магазине посыпались на пол пустые ящики, составленные в штабель. Публика бросилась из магазина на улицу с криками. Но я не понял причины этого крика, решив, что люди перепугались падения ящиков, и вошел в магазин. Какой-то из покупателей что-то спрашивал у продавщицы из парфюмерного отдела. «Да погодите, — сказала она. — Я перепугалась». — «Все перепугались», — ответил он. «Но все за себя, а я за парфюмерный товар». — «Что ж вам пугаться, — удивился он. — Это — общее, независящее от вас обстоятельство». Но я не понял и этого разговора. И только через полчаса узнал от Зорина на улице, что было землетрясение. Странно, значит и его не все люди ощущают одинаково. Это так же для меня, как бормашина: другие ее боятся, а мне она нипочем. Наркотиков же я почти вовсе не переношу — даже когда зубной врач впрыскивает мне кокаин в челюсть — это вызывает у меня полуобморочное состояние. Зорин был взволнован — он ощутил толчок впервые. Позже я слышал от Милеева, сидевшего в это время дома, что он пережил несколько жутких мгновений: был гул, как от проходившего где-то гигантского грузовика и сотрясение такое же. Газета тоже пишет о гуле.

14/VII.1935. Вчера вечером с Пудовкиными на «Частной жизни Петра Виноградова». Фильм плохой. Сюжет бледен. Звучание — скверное. «Великий немой» превратился у нас в «Великого косноязычного». Гардин (Петр Виноградов) дает тип не героя, а отвратительного наглеца, самодовольную свинью («интеллигентного Розета»). Да видно он и сам такой по природе. Слишком актер и слишком провинциален в своем актерстве. На лице у него все это написано. Неуспех его у девиц непонятен — обыкновенно такие для них неотразимы. А выведенные девицы — глупы и тем более он должен был, вопреки всякой морали и логике, оказаться дважды победителем.

Сущность его технической идеи не дана. У зрителя является законное основание подозревать, что идеи-то и нет, она слишком бездоказательно дана.

Момент, когда обе девушки, столкнувшись у Виноградова, убегают одна за другой, — вызывает у Любы восклицание: «Так случалось и с Ниной — назначала свидания по ошибке сразу двум, и оба они вдруг являлись».

<обрез листа. На обороте:>

[на это реагировать. Если бы я имел возможность ближе наблюдать жизнь Кости и Нины — я увидел бы факты гораздо более для меня оскорбительные, чем

этот (в смысле реакции Нины на внимание Кости), и я должен об этом помнить и это знать.

12/VII.<1935.> Вчера вечером на «Новом Гулливере» (опять с Пудовкиными). Фильм неудачен. Безжизненность, звуковое рычание, словесная беднота, косноязычность. Режиссерская бездарность и в довершение всего, отвратительно мигающий свет (это уже от Алма-Аты). Были богатейшие возможности для создание фантастического фильма (даже серии — по иностранному образцу), но ничего не вышло. Прекрасные куклы, но режиссер и оператор не]

<Б/д> [что осталось бы от ее «свинских достоинств»?

Девушки, слушая француженку (они едут в коляске) обе вдруг вспоминают вычитанное ими начало сказки Пушкина «Царь Никита».

Их никто не просветил — чего не хватало дочерям царя Никиты, но они смутно догадывались.

Ведь они и сами еще недавно сравнительно обратили внимание на значение многих безделок.]

2/VII. Март. Еду в Москву. В вагоне за перегородкой, в другом отделении, разговор. Один из пассажиров сообщает другим, что спиритизм это не выдумка, что он научно исследован и доказан.

Из дальнейших слов его понимаю, что он спутал спиритизм с гипнотизмом.

Рассказчик — бывший офицер. Потом разговаривающие играют в карты, в домино. Рассказывают анекдоты. Репертуар скуден. И вообще никто ничего не может придумать ни для себя, ни для других. Скука безделья не скрашивается. Кто же они такие? Не сразу поймешь, а и поняв, придешь <в> уныние. Они делают всю нашу жизнь, но ничего толком они не знают. Говорят о городах — не держа в своей голове никакого представления о географии. Каждый город для них сам по себе. И каждое явление само по себе — в их сознании все расположено без композиции — нанизано как грибы на ниточке. Но цепко держится за свое. Антисемитские анекдоты рассказываются со слюной во рту от сладострастия, хотя и не умеют их рассказывать.

Вот картина дня путешествия Кота Аристиппа. У меня вагон, в котором едет Аристипп, — безжизнен.

Приехал домой в Детское. Смотрю, где что лежит, где что стоит, что испорчено или погибло. На столе у мамы лежит толстая книга в переплете, обернутая еще в газетную бумагу. Раскрываю. Смотрю — «Вопросы Ленинизма» Сталина. Оказывается, этой книгой премировали на службе соседку — Асю Израилевну. Ася Израилевна в глубине души явно обиделась — нашли чем премировать. Но мама книгу взяла у нее для чтения и читает всерьез. Говорит — «А в некоторых случаях Троцкий был правее Сталина». Значит, в общем правоту за Сталиным признает. В 73 года, на костылях (безногая), все еще работает и, малограмотная (пишет плохо, но читает хорошо) — находит интерес к общественной жизни и к вопросам ее строительства.

Ну что же? — она не менее, чем отец, своеобразно культурный человек и свою культуру, как и он, создала будто из ничего. Были большие способности, пропавшие даром, как и у него. Но общественные идеалы были несколько другими — поэтому они всю жизнь не могли сойтись. Она была государственником, он — анархистом. Она — реалист, он — романтик.

Репертуар его чтения был очень пестр, а у нее выдержан, хотя, быть может, и однообразен. В жизни она прочитала немного книг, но читала каждую по несколько раз. Толстой, Достоевский, Диккенс, Тургенев, Григорович, Гончаров, Некрасов, Салиас, Данилевский — вот ее репертуар. Теперь попросила у меня для прочтения «Красное и черное» Стендаля. Уважение к книге, как и уважение к порядку у нее живет крепко. Когда нужно было спасать мои книги (вынести из ниши и отобрать от сырой стены, перетереть, переложить по другому — она все сделала своими руками, без чьей-либо помощи. По одной, по две книжки переносила этих добрых полторы-две сотни пудов. Ведь на костылях). Воистину образец живучести, деятельности и крепкого сознания долга. (Все остальные неприятные и тяжелые стороны ее характера искупаются этим).

Вместе с Юрием мы отправились на вокзал за моими вещами. Хотели привезти их сами, но напросился за пять рублей охотник. Он нес — мы шли, за ним следом. Был он слабоват и невзрачен на вид, а мы такие оба здоровяки. От этого обоим стало как-то неудобно. Несколько раз предлагали ему помочь, дать отдохнуть, но он отказывался категорически. При расчете дал ему вместо условленных пяти рублей (не торговались) — шесть. Малое искупление испытанной большой неловкости, но он остался очень доволен. На одно и то же — глубоко различные взгляды.

Теперь уже нет в Алма-Ате на базаре полупоходных дунгальских столовых в палатках — уничтожили весной, когда выводили из города хулиганство и бандитизм. Говорят, что эти столовые были пристанищем для темного алмаатинского элемента. Не знаю — конечно. Тем, кто уничтожал — было виднее. Но кормили в них лапшой, пловом, кашей с урюком и кормили сытнее и вкуснее, чем в общедоступных советских столовых.

Вместе с дунганами-поварами исчезли и дунгане-булочники, продававшие свои по-настоящему белые лепешки. Цена была на белое печенье у них немного выше, чем в Торгсине, но изделия были очень вкусны. Исчезнут, очевидно, навсегда из алма-атинского обихода эти кружочки белого теста в виде тарелочки, что ли? — приподнятые по краям и умятые в тонкий листок посредине.

Больше уже не кричат на базаре: «А вот интеллигентско-пролетарская столовая: повар китайский, мука русская, вода советская. Заходи, заходи, два рубля порция».

Сыпали в изобилии в лапшу зеленый лук и красный перец. Перец сыпали в таком количестве, что не всякий мог одолеть миску до конца.

На столах стояли цветы и бутылки с солью (чтобы не лазали за солью руками).

Как воспоминание об этом остались во вновь открытом в Парке Федерации «великосветском» ресторане надписи около каждого столика:

Твои пальцы грязны
не бери соль из солонки руками.

Цветов же там на столах нет. Цветов много рядом, в парке.

И где-то далеко в городе, на воротах, красуется еще одно объявление около щели, за которой, по другую сторону ворот, привешен ящик

Дляпи сем
Ига зет ижур.

Странное отношение появилось в народе ко всякому «просвещению». Литература и письмо стали для массы, как театр: самому сделать нельзя, а смотреть можно. Ведь очевидно, в этот ящик действительно опускались не только письма, но и газеты, и журналы. Странные, доступные и в то же время неповторимые собственными силами вещи, подобные таинственным амулетам. То же и с ресторанами: платить 10 руб. за порцию барашка или почек в томате — можно, но как обращаться с солонкой?

Тут же плакатики со словами Демьяна Бедного о порядке в работе.

6/VII. В детстве отец называл Elsbete «Египетскою царевной». Правда, в ее профиле было нечто родственное тончайшим женским профилям Египта, а у Константина Георгиевича было увлечение египтологией и сходство он мог уловить.

Египет его интересовал до тяжелой болезни, во время которой, в бреду ему стали являтьсяегипетские песьеголовцы. Испугался он их что ли, или видел что-нибудь и пострашнее, но от египтологии, выздоровев, отстал и стал заниматься оранжереями. Особенно любил тюльпаны и орхидеи.

Так было, когда он жил в Архангельске, а переехав в Юрьев, построил себе обсерваторию и занялся наблюдением над двойными звездами. Несколько вновь открытых двойных звезд, кажется, связаны с его именем.

Бедная моя «Египетская царевна»! Когда ты умерла, твое тело, исхудавшее от болезни настолько, что оно стало подобно мумии, провезли на Кузьминское Детскосельское кладбище через полуразрушенные Египетские ворота.

В нынешнем году их будут реставрировать... Не в твою ли честь?

А покойный Николай Владимирович Недоброво, как-то присмотревшись к моему черепу, определил, что он у меня имеет нубийскую форму.

Определения Николая Владимировича я не проверил. Но может быть мои предки (цыгане по линии матери) в своих странствованиях по белу свету, ухитрились побывать и на берегах Нила и в наследство мне сохранили в своей природе какие-то нубийские элементы.

Так и вышло — жизнь свела «Египетскую царевну» и потомка нубийцев — в Петербурге в 1912 году.

Казалось бы, что нет ни одного встречного, ни одного идущего в ту же сторону, куда идешь и ты, который появился бы на свет иначе, чем потому, что где-то, когда-то какие-то «он» и «она», встретились, сошлись и породили нового человека.

Да и сам ты появился на свет другим способом? Нет. Тем же.

Но почему же ты так восстаешь внутренне против этого способа? Какой-то «выскочка» из мира?

Понял. Не против способа ты восстаешь, а против того, как пользуются этим способом, но восставал столько раз и с таким упорством, что уже нельзя разобраться против чего именно ты восстаешь.

Пойми: нет ничего легче сближения с женщиной (неверно когда-то я сказал Ксении, что «человеку к человеку подойти трудно»). Но а дальше? А если это неверно, если заранее понимаешь и чувствуешь, что здесь много неверного и ненужного (в каждом отдельном случае)? Сначала — сближение, а потом расхождение. Это не нравится, ты неприятно в том обманулся. Зачем это?

До чего доводит осмотрительность. Вот и живешь в городе как отшельник.

Не как отшельник, или пусть как отшельник. Но что делать, когда за целый год жизни здесь я не встретил и одной женщины, которая меня хоть сколько-нибудь влекла?

Осмотрительность моя от требовательности. От чрезмерной требовательности.

Нина Николаевна Шишкина говорит, что от рассудочности. Это на мои слова о том, как меня определяла Лидия Александровна: «Вас должны любить женщины, дети и собаки...». Нина Николаевна говорила, что женщины любить не должны, потому что для них я очень рассудочен.

[Зеркало висело косо и укорачивало смотрящих в него. Он взглянул в него и себя не узнал — таким он стал коротким и смешным от короткости. Ему стало неприятно — он считал, что он на грани между короткостью и длиннотой. Хотелось непременно проверить сейчас то, что говорило зеркало, а было нельзя — другого такого же (на весь рост) негде было найти.

Он отошел с чувством расстроенности. С такой смешной фигурой разве мог он рассчитывать на успех в любви. Ему казалось, что она действительно смешная, и что он себя раньше обманывал, утверждая свое состояние как раз посредине. Середина это пропорциональность, гармония. А разве он мог назвать себя гармоничным?]

Бывает так, что жизнь сводит тебя подряд с несколькими людьми, которые имеют между собой много общего.

Так в Ленинграде и Москве за последнюю поездку жизнь свела меня с тремя Лидиями.

Общее в них было не только то, что все они были женщинами, носили одинаковые имена (хотя имя всегда связывается с человеком, как и темперамент: есть среднее статистическое наименование, как попытка определения свойств).

Общее в них для меня было то, что о каждой подумал, чем она для меня могла бы быть.

Первою была Лидия Константиновна. Судьба ее, конечно, тяжела и бессмысленна, потому что жизнь свела ее с таким отчаянным неврастеником, как Яков Петрович. Была она когда-то очень привлекательна. Но три беременности в пять лет изуродовали ее — бедра и живот приобрели бесформенное выражение, получилась гипертрофия средней части тела, как наказание за то, что было гипертрофированно представление о назначении женщины да и человека.

Не пойдем ли мы назад,
Если будем лишь рожать?

Конечно, пойдем. И у Лидии Константиновны наметился путь к... «брассамтоисской Венере».

Словом человек, как целое, был испорчен. Конечно, многие этого не заметят и не поймут. Разойдясь с Яковом Петровичем, она по всей вероятности найдет если не вторую любовь, то новую половую связь. Впрочем, Владимир Николаевич говорит, что никакой любви у них и не было. Яков Петрович, отчаявшись к сорока годам найти какую-нибудь женщину для себя, свел Лидию Константиновну на Смоленское кладбище к могиле Блока (личность которого Л. К. была дорога) и там, под угрозой самоубийства, потребовал, чтобы Л. К. вышла за него замуж. Так иногда расправляются с девушками.

Лидия Дементьевна Баранова (жена Алексея Алексеевича Иванова) — другая. Всю привлекательность свою она сохранила, несмотря на то, что у нее, как и у Лидии Константиновны, было тоже трое детей. Она очень тоскует по муже. Она умна, приятна. Это легкий, хороший человек. Меня встретила и проводила очень тепло. Жалею, что я не сумею зайти еще раз.

Третьей Лидией была Лидия Александровна Гуляева. Но о ней после, особо. Сначала нужно рассказать о встречах с Ксенией Михайловной.

[Днем шума речки не слышно. Конечно, она шумит так же, как и ночью. Хотя и днем в нашей части Города тихо, но шум дневной жизни, сливаясь в нечто неразличимое и даже неслышимое, понижает звукопроводимость воздуха и заглушает плеск речных водоскатов.

Когда лежишь под навесом во дворе ночью и слушаешь шум реки, то кажется, что он идет не через пустырь перед домом, откуда до реки ближе, а спускается с верховьев по Алма-атинской и Казначейской улицам, может быть так и на самом деле, а не только кажется.]

Религиозный человек, прочитав все журнальные и газетные статьи о постройке «Дворца Советов» в Москве, должен был бы решить, что это новая Вавилонская башня.

Да и действительно: уж слишком много в нее вкладывают «идеологии».

Из-за идеологии, например, не знают, чем закончить постройку.

Предположено поставить наверху гигантскую фигуру Ленина. Нарисовать ее на проекте или прикрепить к макету легко. Но когда скульпторам и архитекторам придется решать задачу в действительности — дело окажется неимоверно трудным. Снизу фигуру увидишь только в таком ракурсе, который ее исказит или обезличит. Плоскостная форма для таких увенчаний гораздо лучше. Недаром выдуманы кресты, петухи, магометанский полумесяц со звездой, да и наши серп и молот. Правда, на шпице Петропавловской крепости укреплен ангел, но зато как вытянут шпиц? И на Александровской колонне ангел тоже, но это — колонна.

Смотришь на рисунки дворца и видишь, что фигура Ленина рисуется кое-как, без разрешения архитектурной задачи. Пока. Будем строить, а там видно будет. Когда дойдем до верха — отношение к вопросу об увенчании здания может решительно измениться. Лица, дающие «социальные заказы», к тому времени могут понять, что у архитектуры свои законы. Конечно, понять это труднее, чем законы механики в строительстве, скажем, аэропланов и паровозов, но дело еще не безнадежное.

Фигуру Ленина можно было бы поместить на другом месте в том же архитектурном комплексе.

А то один шутник советовал — водрузить наверху подобие «Трех Граций» Кановы. Примерно, Ленин, Сталин и Каганович в сюртуках и прочих принадлежностях европейского «культурного» костюма. Напоминала бы карикатуру. Ну что ж? — большинство не поняло. Ведь оно и художественный образ вообще представляет себе не в том виде, как его мыслил художник, а именно в виде карикатуры. Попробуйте проверить. Если б можно было заставить сотни тысяч людей нарисовать их представления (на память) о любом из памятников — мы, наверное, получили бы колоссальную коллекцию карикатур на него.

7/VII. Будто неубедительно все это — о «выскочке из мира». На самом деле очень действенно. Настолько каждый человек «сам по себе», что любовь не только единение, но и противоположность ему — «конфликт». Поэтому каждая сторона и считает себя «победительницей», поэтому и существуют «герои любовных похождений» — Дон Жуан и Нинон де-Лапхло или Клеопатры <...>

<Б/д.> [Нина говорит:

Я не хочу, чтобы вы женились по любви — вы все отдадите жене и мне ничего не останется.]

<Б/д.> не через другого) с печальными перспективами уродства и страданий на всю жизнь. Грязное животное! Хорошо, что я вырвал отсюда Миру.

<Б/д.> Меня она согласна сохранить в качестве знакомого и то лишь потому, что я отец Мирки.

<Б/д.> Ина развивается и говорит очень хорошо. Гораздо лучше, чем в ее возрасте говорила Мира. Она настойчива и капризна в противоположность Мире, но капризы у нее нестойкие, скоро проходят. И удивительно хорошо она распознает изображение на рисунках и фотографиях, уже умеет сама нарисовать круг довольно правильно и всегда просит, чтобы ей рисовали что-нибудь.

<Б/д.> месяц назад, а другой в ночь на сегодня. Первый сон. Живу в подвале, как и теперь. Даже подвал почти тот же самый, но в большом каменном доме. Дом стоит на углу двух улиц, от него тянется высокая каменная ограда, а за ней корпуса фабрики, на которой работает Вася. И квартира ему дана от фабрики, а я у него и у Нины все тем же прихлебателем.

<Б/д.> и высохшая земля растворяется в лужах водки и ранее выпитого чаю, мешаясь с хлебными крошками и огрызками селедки. Все вместе искажает незамысловатый рисунок клеенчатой скатерти. А хлеб!

<Б/д.> Я на майский парад смотрел из окна комнаты брата на улице Халтурина («Дом ученых»). Смешными казались сверху идущие люди (стоящие не казались). В движении ракурсы ног казались непропорциональными установившемуся отвлеченному преставлению о размерах отдельных частей человеческого тела.

<Б/д.> Я шел по этой улице и думал: как жалко, Владимир Ильич, что ты умер. Утешаться за тебя можно только тем, что в массе о тебе и сейчас живет представление как об идеале ума, дальновидности и справедливости.

Ты мифоморфен, Владимир Ильич.

«Девяностые годы».

14/VI.1941. Отношение брата и мое к реальности. Он романтизировал отца. Почему? По характеру он противоположен отцу — отец лентяй, а брат крайний трудолюбец; отец — несдержан, брат отличается крайней сдержанностью; у брата чувство чести развито до крайности, у отца — оно было выражено очень слабо, несмотря на огромное самолюбие. Взять в долг и не отдать — у него было почти привычным делом; начать дело и бросить его на половине — тоже было у него не за редкость. Сделать кой-как и приблизительно он всегда был не прочь.

И тем не менее они понимали друг друга больше, чем я отец. От понимания шла и любовь. Зато брат совершенно не видел матери и ее свойств. Главное в отце было то, что при своей анархичности — он ни в каком отношении к действительности не был революционен. Взрыв, подъем во имя ломки существу-

ющих форм и представлений ему был недоступен. Он в литературе, например, и символизма не принимал. В живописи весь был поглощен передвижничеством. Ему во всем и везде нужны были «польза» и «мораль». Помню, у него хранились его рисунки и опыты рассказов — плод его опытов из сравнительно молодых лет (вероятно, восьмидесятые и девяностые). Рисунки были слабыми, но по типу совершенно совпадали с тем, что мы знаем из карикатур «Искры», «Осколков», «Будильника» и всей плеяды однородных художников того времени. Подписи тоже были соответствующие. Например:

Покупатель: Да вы, наверное, на этом товаре рубль на рубль наживаете?

Продавец: Где уж нам рубль на рубль! Хотя бы на копеечку две копеечки.

Подпись под таким рисунком плохо связывалась с ним. Что изображено было на рисунке? Край прилавка; по одну сторону стоит продавец, по другую — покупатель. Вот и все. Типы? Выражения типов дано не было. А существовавшую подпись можно было заменить и всякой другой. Ну хотя бы:

— Что ж вы так дорожитесь? Уступите.

— Нет, какое уж уступить. Сами знаете, торговли никакой. Ей-богу себе в убыток продаем.

Ничего от этого не изменилось бы. Остроумия стало бы меньше? Но ведь не в рисунке оно уменьшилось бы.

Другой рисунок изображал бабу с петухом в подмышке и человека в чуйке, стоящего против бабы.

— Здорово, кума.

— На рынке была.

— Аль ты глуха?

— Купила петуха.

— Прощай, кума.

— Полтину дала.

И тоже — больше ничего. Подпись сама по себе, рисунок сам по себе. Словом, как у передвижников. Такая уж была эпоха. Островский, конечно, еще играл во всем этом большую роль. Может быть, через театр. Но именно он как-то определял художественную форму, тяготение ее к голому «бытовизму».

Были у отца еще и другие рисунки, но они у меня в памяти не сохранились. И отец сам их никогда не показывал. Я вытащил их как-то тайком из верхнего ящика материного комода и посмотрел, пока старших не было дома.

Подобны рисункам были и литературные опыты отца. Не то это были только нравоучительные диалоги, не то попытки дать комедийные сценки. В них был юмор, но не было веселья, хотя бы даже глуповатого (что было, например, у Димитрия Семеновича Высотского). Отца бурно-веселым я не видел никогда.

Но к девяностым годам рисунки и литературные опыты для отца, пожалуй, были уже делом прошлого. Думаю, что и то и другое интересовало его до женитьбы, т. е. в конце семидесятых и первой половине восьмидесятых годов. Женился он весной 1886 г.; т. е. венчался. Здесь у меня нет точных сведений (мать в рассказе несколько путает) — возможно, что он женился только в 1887 году; в том же году у него родилась первая дочь — Евгения (15 дек.— 27 дек. 1887 г. — по времени рождения могло быть, что он сошелся с моей матерью еще до венчания).

С женитьбы круто изменилась жизнь отца и начались для него те годы, которые я, для отчетливости целого ряда представлений, называю «девяносты-

ми». Они протекли для него, главным образом, в Новгородской губернии — в Боровчике, Карыхнове и Бологом, закончились одиноким переездом (с отрывом от семьи) в Петербург и с 1902 г. перешли в те, что я называю «годами символов», когда он из Петербурга снова переселился в деревню, в Новгородскую же губернию, под Вороний Остров, и попробовал обзавестись сельским хозяйством, на правах арендатора у К. В. Колокольцова. Из опыта отца в этом случае ничего путного, как и в других, не получилось. Уже в 1907 г. он перебрался вслед за мною в Петербург, где и жил до войны. В этот период, в «период символов», он с символизмом все же столкнулся — через своих сыновей, т.е. через меня и через Юрия. Все, что шло от меня и через меня — он отверг, то, что через Юрия — он более или менее примирительно принял. Через меня шел философский и метафизический символизм; через брата — формальный. О себе я буду говорить особо, а у брата символизм преломился в копирование одной картины Беклина и в подражание немецкому югенд-стилю в смеси с российским модерном. Кое-что из российского модерна отец воспринял еще раньше, например, в 1902 г. через листы рукоделий, прилагавшихся к журналу «Родина». Помню, он даже объяснял нам, детям, по поводу одного красочного рисунка вышивки, — что тут нового? Новое он понимал в асимметричности; о большем он не говорил. Может быть потому, что сам больше ни о чем не слышал, а может быть потому, что ничего больше не видел, т. е. потому, что все остальные стороны модерна прошли мимо его сознания.

Девяностые годы для отца начались не только с его женитьбы, но и со вторичной ссоры с дедом — Андреем Ивановичем. Первая произошла, когда отцу было 12 лет, т. е. в 1866 или 1868 г. (я не знаю точно года его рождения). Причиной второй ссоры, если судить о ней на основании препирательств отца с матерью, была именно женитьбы его на матери и тяжелый характер матери, но я думаю, что эта причина выставлялась только позже, для «уязвления» матери, а на самом деле была глубже и принципиальнее. Главное, чего не мог допустить отец — чтобы дед и бабка вмешивались в его дела. Ведь и в первый раз отец ушел от деда, несмотря на свой малый возраст, именно по той же причине.

Материалы об аресте 1941 года

СССР
Народный Комиссариат Государственной
Безопасности
гор. Алма-Ата
ОРДЕР № *987*

Выдан «*28*» *июня* 194*1* г.
Действителен ____________ суток
Тов. *Иванову*
Вам поручается произвести обыск и арест гр.
Скалдина Алексея Дмитриевича
Проживающего *по ул. Чайковского 35*
Арест санкционирован *Прокур Каз ССР*
____________ тов. *Барановым*
«*28*» *июня* 194*1* г.

Всем органам советской власти и гражданам СССР надлежит оказывать законное содействие предъявителю ордера, при исполнении им возложенных на него поручений.

Народный Комиссар Государственной Безопасности Казахской ССР
<Подпись>

Начальник 3 отдела НКГБ Каз. ССР
<Подпись>

Печать

НКВД, УНКВД______________

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1. Фамилия	*Скалдин*
2. Имя и отчество	*Алексей Дмитриевич*
3. Год и место рождения	Родился *1889* году *Калининской обл.* область (края) ______________ район село *Карыхново* гор. ______________
4. Постоянное место жительства (адрес)	*А-Ата ул. Чайковского дом № 37*
5. Профессия и специальность	*Литератор*
6. Последнее место службы и должность или род занятий	а) учреждение *Художественное* предприятие *училище* б) должность *лектор* в) звание ____________ г) в систему какого Наркомата, или другого руководящего органа входит учреждение (предприятие) ______________ д) если не работает – когда уволен *декабрь 1940 г.*
7. Партийная принадлежность	а) в прошлом *нет* б) в настоящее время *нет* билет № ____________
8. Национальность	*Русский*
9. Гражданство (при отсутствии паспорта, указать, какой документ удостоверяет гражданство)	а) гражд. (подд.) *СССР* б) паспорт № *546014* кем выдан ______________
10. Состав семьи (о каждом указывать фамилию, имя, отчество, возраст, место работы и должность, адрес)	отец *умер во время гражданской войны* мать *Скалдина Александра Николаевна 80 лет в г. Славянске* муж ______________ жена *умерла в 1933 году в г. Детском селе* дети *Вальтер Марина Рейнгольдовна 27 лет г. Ленинград домохозяйка Гангаева Вера Константиновна 6 лет г. Славянск* братья (сестры) *брат Скалдин Юрий Дмитриевич 50 лет г. Ленинград. Сестра Скалдина Евгения Дмитриевна 54 года г. Архангельск Скалдина Валентина Дмитриевна 41 год г. Славянск*
11. Образование (подчеркнуть и указать, что закончил):	Высшее, среднее, низшее

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
12. К какой общественной группе себя причисляет (подчеркнуть)	Рабочих, служащих, колхозников, единоличников, кустарей, свободных профессий, служителей культа, иждивенцев, прочих. *Свободная профессия*
13. Социальное происхождение (кем были отец и мать)	*Крестьянин*
14. Имущественное положение и чем занимался до 1929 года	а) имущ. положение *нет* б) занятие *литератор*
15. То же до 1917 года	а) имущ. положение *нет* б) занятие *литератор*
16. Служба в царской армии и чин	*Рядовой в 1911 и 191<?>*
17. Служба в белой армии (какой) и чин	*Нет*
18. Категория воинского учета (запаса)	*Не военнообязанный*
19. Участие в к-р восстаниях и бандах (когда и где)	*Нет*
20. Судимости (состоял ли под судом и следствием, где, когда, за что, приговор)	*В 1933 г. по 58-11 УКА ссылка в Казахстан на 5 лет*
21. Примыкал ли к антисоветским партиям и организациям (меньшевики, с-р, анархисты, троцкисты, правые, националисты и т. д.), где и когда	*Нет*

1) Особые внешние приметы арестованного __________
2) Кем и когда арестован или откуда прибыл (номер ордера) *СПО НКГБ КССР*
3) Направлен в __________ тюрьму
4) Другие замечания __________
Должность, звание и фамилия сотрудника, опросившего арестованного и заполнившего анкету *ст. опер. уполномоч. 3 отд. НКГБ КССР сержант Госбезопасности Евстропов*

Подпись

1.Социальная принадлежность __________
2.Отрасль хозяйства, госаппарата, культуры __________
3.Управление __________ отдел __________
4.Политическая окраска __________
5.Характер преступления __________

Фамилия и подпись сотрудника 1-го Спецотдела __________

«*29*» *июня* 194 *1* г.

Составляется в 3-х экз., из которых один приобщается к след. делу, второй передается в I Спец отдел и третий экз. передается членам семьи арестованного, а при их отсутствии домоуправлению (сельсовету).

Подписываются все 3 экз. акта.

АКТ

На основании [ордера] [предписания] *Доверенности з/к Скалдина А. Д.* (название органа НКВД)

от *«5» июля* 19*42* г.

сотрудником *НКВД Ященко*
(название органа НКВД и фамилия сотрудника)

в присутствии *Z*
(указать служ. или админ. положение, фамилию и иниц. присутств. лиц)

№ ______ дом № ______ по ______ улице
______ пер. ______

принадлежащ. ______ гр. ______

проведен[о]а [следующее] *передача вещей принадлежащих з/к Скалдину Алексею Дмитриевичу указанных в описи № 1 пор. №№ 1–78 и в описи № 2 пор. №№ 1–17 Соколовой Нине Владимировне для дальнейшего хранения.*

Передал <подпись> /Ященко/

Приняла <подпись> /Соколова/

Проживает Многоводная 28

Паспорт АЕ № 551545

10/II–42 г.

Указать конкретно, что именно произведено: запечатана квартира или комната (число комнат), или распечатана, произведена опись имущества, наложен арест на имущество, передано имущество по описи или без описи, кому именно передано на хранение, в личное пользование, конфисковано с передачей, куда именно, краткая характеристика опечатанной жилплощади, ее метраж и т. д.

Кому передано на хранение: ключи, комната, вещи, документы и т. п., по описи или без ______
(нужное подчеркнуть)

Опись № 1
вещей принадлежащих Скалдину
переданых на хранение Соколовой
Нине Владимировной проживающей
по ул. Чайковского дом № 35а

1. Книги и разная переписка	двадцать тюков
2. Чемодан	один
3. Галоши	2 пары. Одна из них новые
4. Полуботинки парусиновые	1 пара
5. Костюм шерст. черный	один
6. Костюм каверкот	один
7. Куртка суконная черная б/у	одна
8. Рубахи летние б/у	две
9. Запонки к рубахе	1 компл.
10. Рубаха летняя белая, новая	одна
11. Кальсон нат.	пять шт.
12. Воротнички	девять шт.
13. Фотокарточки	сорок пять шт.
14. Галстуков	семь шт.
15. Наволочек	три
16. Простыней	одна
17. Детские игрушки «Павлин»	две шт.
18. Ковер-дорожка	два метра
19. Фуражка	одна
20. Бумага оберточная	14 рулонов
21. Обои	четыре рулона
22. Подушки	две с наволочками
23. Полотенца б/у	семь шт.
24. Рубах верхних	четыре старые
25. Кальсоны теплые	один
26. Портфель старый	один
27. Трусы	одни
28. Шапка-ушанка	одна
29. Простыни	одна
30. Одеяло шерстяное	одно
31. Бюст (казачка)	один
32. Ковер дорожка	5 метров
33. Матрацев односп.	два
34. Багажные ремни	один
35. Подтяжек	двое
36. Рюмок	пять шт.
37. Кварцевая лампа с рефлектором	одна
38. Подсвечник деревян.	одна пара
39. Пепельница глиняная	одна
40. Подстаканник серебрянный	один
41. Мочалка	одна
42. Вешалка деревянная	одна
43. Помазки бритвенные	два и проч. бритв. принадл.
44. Безопасная бритва с зап. ножей и чехлом	

45. Журналы разные	шесть тюков
46. Консервы	две коробки
47. Чай	50 грам
48. Стакан	один
49. Вилки столовые	три
50. Ножи столовые	два
51. Ложки столовые	одна
52. Сахарные щипцы	одни
53. Штопор	один
54. Тарелка большая фарф.	одна
55. Поднос металич.	один
56. Перочинный нож	один
57. Книги разные	10 связок
58. Шкатулка с сах. песком	одна
59. Шкатулка с конфетами	одна
60. Чайники	два
61. Кружка эмалиров.	одна
62. Ваза глиняная	одна
63. Рамки портретн.	две
64. Пенал	один
65. Линейки и угольники	девять
66. Пилка по дереву	одна
67. Напильник	один
68. Сапожные ножи	два
69. Оселок	один
70. Зеркало настольное	одно
71. Чайник фарф.	один
72. Пяла <пиала?>	одна
73. Щетки сапожн. и одежные	2 шт.
74. Вешалки	2 шт.
75. Шкатулка с нитками и шилами	одна
76. Щипцы, топор и молоток	
77. Зеркало настенное	одно
78. Совочек	один. железный

Все выше поименованное
на хранение приняла
Соколова
Сдал о/уполн. НКВД
сержант госуд. безоп.
Денисенко
Во время передачи присутствовали
гр. Райзе
и Мельникова
29.9.41 г.

Опись № 2
вещей принадлежащих гр. Скалдину
переданых на хранение гр. Пудовкину
прож. по ул. Чайковского 3[7]5

3 октября 1941 г.

1. Стол письменный	один
2. Буфет	один
3. Шкаф канцелярский	один
4. Диван мягкий	один
5. Кресло	одно
6. Стулья	одно
7. Умывальник жел.	один
8. Ночной горшок	один
9. Ведро железн.	одно
10. Табореток	две
11. Пьедестал под цветошник	один
12. Гардины оконные и дверн.	3 шт.
13. Шторки оконные холст.	2 шт.
14.–«– дверные –«–	1 шт.
15. Люстра стеклянная	одна
16. Электролампа	одна
17. Койка железная	одна

Поименованные вещи принял
на хранение <подпись>
Сдал оперуполн. СПО НКВД
сержант госуд. безоп.
Денисенко
Присутствовали во время передачи:
Мельникова
Райзе

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главный информационный центр

гор. Москва
25.II.93 № 34/3/3-7448ж
на №

Гр.Гринберг Н. К.
Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Ленина, д. 3, кв. 3

На Ваше заявление сообщаем, что по имеющимся данным Скалдин Алексей Дмитриевич осужден 12. 10. 41 Особым совещанием НКВД СССР за контрреволюционную деятельность к 8 годам лишения свободы. Умер 28. 08. 43 в Карлаге (Карагандинской обл.).

Сведениями о других судимостях ГИЦ МВД РФ не располагает.

По вопросу осуждения Вашего деда в 41г. рекомендуем обратиться в КНБ Республики Казахстан, по вопросу смерти в УВД Карагандинской обл.

Начальник отделения М. Ф. Дмитров

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
при управлении внутренних дел
Карагандинской области

470038, Караганды, к. Жамбыл, 97. г.
Караганда, ул. Джамбула, 97
Тел. 52-95-45, телетайп 27-11-55, Сапфир,
телефакс 42-40-81 ANAR.

R5 08.1995 г. № 11/7/13-М-583

На №
Гр. МАТЯШ Светлане Алексеевне
470000 гор. Караганда
Орбита — I дом 17 кв. 150

На Ваше заявление высылаем справку о судьбе СКАЛДИНА Алексея Дмитриевича.

Личного архива и каких-либо сведений о творческой деятельности СКАЛДИНА Алексея Дмитриевича не обнаружено.

Приложение: Справка на I листе

И. О. Начальника отдела архивной работы
Г. Н. Карсакова

МВД
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
При Управлении внутренних дел
Карагандинской области

470038, город Караганда, улица Джамбула, 97
телефакс 52-40-81 ANAR

№ II/7/13-М-583

«25» августа 1995г.

Гр. МАТЯШ Светлане Алексеевне

СПРАВКА по архивному личному делу
№ 208034 СКАЛДИНА Алексея Дмитриевича

Настоящей удостоверяется, что гражданин СКАЛДИН Алексей Дмитриевич, 1889 года рождения, уроженец деревни Катыхново Калининской области, по профессии — литературный работник, до ареста работал в «Союзе художников» в должности лектора, действително 12 октября 1941 года был осужден Особым Совещанием при НКВД СССР за клевету на граждан с обвинением их в контрреволюционной деятельности (статья не указана) сроком на 8 лет. Срок наказания отбывал в Карагандинском исправительно-трудовом лагере, где умер 18 июля 1943 года от декомпенсированного миокардита. Извещение о смерти в настоящее время выслано в отдел ЗАГСа Управления Юстиции Карагандинской области, откуда Вы получите свидетельство о смерти. Захоронен на кладбище Самарского отделения Карагандинского ИТЛ (ныне с. Самарка Мичуринского района Карагандинской области).

Основание: архивное личное дело № 208034

И. о. начальника отдела
архивной работы — Г. Н. Карсакова

техник-архивист отдела
архивной работы — Л. В. Колежнюк

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин(ка) *Скалдин*
фамилия,

Алексей Дмитриевич
имя, отчество

умер(ла) *18 июля 1943 г.*
число, месяц, год,

тысяча девятьсот сорок третьего
(цифрами и прописью)

в возрасте *54* лет, о чем в книге регистрации актов о смерти
19*95* года сентября месяца *7* числа
произведена запись за № *45*[ос]
Причина смерти *декомпенсированный миокардит*
Место смерти: город, селение *места*
район *лишения свободы*
область, край *Карагандинская*
Республика *Казахстан*
Место регистрации *470056 г. Караганда*
наименование

Октябрьский райотдел ЗАГС
и местонахождение органа ЗАГСа

Дата выдачи «*7*» *сентября* 199*5* г.

М. П. <подпись> Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

480099, г. Алматы, ул.Желтоксан 189
54-15-60 факс 53-27-30

25.09.95 № 13/2825-95
⌈На № 56 от 03.08.95г.⌉

⌈Заведующему рукописным
отделом института
русской литературы
Царьковой Т. С.

199034,
г. Санкт-Петербург
наб. Макарова 4

Ваше заявление рассмотрено.

Скалдин А. Д. 12 октября 1841 г. постановлением Особого совещания при НКВД СССР осужден к 8 годам лишения свободы.

В настоящее время согласно Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политических репрессий» Скалдин Д. С. реабилитирован.

Уголовное дело, рукописи и др. вещи Скалдина А. Д. хранятся в КНБ РК. Для ознакомления вышеуказанных документов Вам необходимо приехать в Алматы или запросить через Комитет национальной безопасности Российской Федерации.

Приложение: справка о реабилитации от 25. 09. 95г.
№ 2825-95 — 1 лист.

Прокурор отдела реабилитации
репрессированных граждан Е. Оразымбетов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
480099, г. Алма-Ата, ул.Желтоксан 189
тел. 54-15-60 факс 53-27-30

На № ____________ от ________________
25.09.95 № *13/2825-95*

СПРАВКА
о реабилитации

Гр-н *Скалдин Алексей Дмитриевич*
Год и место рождения *1889 г. д. Катыхново, Калининской обл.*
Место жительства до ареста *г. Алматы*
Место работы и должность (род занятий) до ареста *без определенных занятий*
Когда и каким органом осужден (репрессирован) *12 октября 1941г.*
постановлением Особого совещания при НКВД СССР по ст. 193 п. 17
УК РСФСР к 8 годам л/свободы
Квалификация содеянного и мера наказания (основная и дополнительная)
по п. 17 ст. 193 УК РСФСР к 8 годам л/свободы

приговор суда, постановление НКВД и последующие судебные постановления в отношении *Скалдина Алексея Дмитриевича* признаны необоснованными и на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года он РЕАБИЛИТИРОВАН.

Начальник отдела реабилитации
репрессированных граждан
старший советник юстиции В. В. РООТ

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание является первым собранием произведений и документов А. Д. Скалдина. Оно включает все, ранее опубликованное и позднее выявленное в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и в семейном собрании, кроме произведений, написанных для самых маленьких читателей: «Чего было много» (Л., 1929), «За рулем» (М., 1930), неоконченной статьи «Ленин и культура» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998—1999 гг. СПб., 2003), служебных записок 1920-х гг. (Там же) и эпистолярии, требующей дальнейшей исследовательской работы.

Книга состоит из четырех разделов: «Стихи», «Проза», «Статьи», «Материалы к биографии». Тексты художественных произведений и статей публикуются по нормам современной орфографии и пунктуации, но при этом сохраняются особенности авторского стиля и характерные для эпохи написания. Например, так же, как у автора, слова «Бог», «Церковь» и т. п. в дореволюционных текстах пишутся с заглавной буквы, в текстах 1920—1930-х гг. — со строчной. В экспериментальной прозе, например в «Рассказе о Господине Просто» и др., сохранена авторская пунктуация. Непоследовательность в склонении имен собственных в романе «Колдун и ученый» также сохранена. Документы воспроизводятся без исправления даже очевидных ошибок и описок, рукописный текст в них выделен курсивом.

Ранние редакции стихотворений и варианты отдельных стихов включены в текстологическую часть комментария, там же для недатированных стихотворений приводятся возможные обоснования датировок. Места в вариантах, зачеркнутые автором, заключаются в квадратные скобки. Все составительские дополнения даются в угловых скобках. Неразборчивое слово обозначается: *нрзб.*, сомнительное чтение сопровождается вопросительным знаком, заключенным в угловые скобки. Если неразборчива подпись под документом, она также обозначается в угловых скобках: <подпись>.

Авторские подстрочные ссылки помечаются знаком *, составительские идут под цифровыми обозначениями.

Материалы, публикуемые по печатному источнику, имеют ссылку на источник. Если материал публикуется впервые, дается ссылка на тот или иной архив.

Список использованных сокращений:

ВССП — Всероссийский Союз советских писателей
ГАСО — Государственный архив Саратовской области
ИСТАРХЭТ — Общество истории, археологии и этнографии
НЖ — Новый журнал (Нью-Йорк)
НЛО — Новое литературное обозрение
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук

СТИХИ

При жизни Скалдина вышел лишь один его поэтический сборник — «Стихотворения» (СПб.: ОРЫ, 1912). Кроме того, в 1910—1915 гг. было несколько публикаций стихов в журналах («Аполлон», «Сатирикон», «Gaudeamus», «Отечество») и в альманахах («Орлы над пропастью», «Альманах Муз», «Война в русской поэзии»).

Ряд стихотворений сохранился в виде автографов в письмах к В. И. Иванову и Ал. Н. Чеботаревской. У сестры Скалдина, Евгении Дмитриевны, остались две машинописные подборки стихотворений, недатированные, вероятно 1910-х гг., с незначительной авторской правкой и пометами, написанные по нормам старой орфографии. Ныне одна из этих подборок передана дочерью поэта М. В. Ситниковой в РО ИРЛИ (Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517), другая в копиях поступила от нее к Т. С. Царьковой и В. Крейду (опубликована им: НЖ. 2000. Кн. 219. С. 84—92, без комментариев).

Выход книги не привлек особого внимания критики. Появилась только одна сочувственная рецензия Н. В. Недоброво (Русская молва. 1913. № 51 (31 янв.). С. 6), в которой отмечались «простота» и «твердость» стиха. К числу достоинств книги Недоброво отнес и малый объем ее: «Либо он (автор. — *Т. Ц.*) строго выбирает стихи для печати, что похвально, либо, что хорошо, он мало пишет. Последнее вероятнее, так как в небольшой книге много разнообразия: это значит, что творческое усилие долго накопляется и разрешается сильным и поэтому отчетливым движением; в отчетливости же тайна личного облика предмета, а ряд таких обликов и создает впечатление разнообразия. Хочется думать, что для молодого поэта писание стихов — радост-ный трудовой праздник, а не будничное занятие ремесленно набитой руки». Рецензия завершается перепечаткой из книги стихотворения «Поэт», которое Недоброво называет «очень показательным для Скалдина» и «едва ли не лучшим: оно объясняет многое из сказанного и, думаю, убедит, что перед нами поэт, книгу которого стоит прочесть и за дальнейшею деятельностью которого стоит следить».

Гораздо резче о Скалдине высказывались акмеисты. Скалдин послал сборник в журнал «Аполлон» на рецензию (ныне этот экземпляр хранится в библиотеке ИРЛИ). Рецензия не замедлила появиться. В «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилев писал: «А. Скалдин в своих стихах — двойник Вячеслава Иванова, бедный, захудалый двойник. Старательно и безрадостно подбирает он ритмы, образы и темы мэтра и складывает их, как какие-нибудь кубики. Это не ученичество, иногда столь полезное. Настоящий ученик всегда приходит к учителю со своим содержанием, в его видимой покорности всегда виден задор будущего освобождения. Безволие и дряблость стихов А. Скалдина — дурной признак. В книге нет ничего (не считать же подражательную способность?), что заставляло бы поверить в него как в поэта. Но он недурной версификатор и подсмотрел кое-что в лаборатории Вячеслава Иванова» (Аполлон. 1913. № 3. С. 75).

О рецензии С. Городецкого в «Гиперборее» (1913. № 4) Ал. Чеботаревская с возмущением сообщала Вяч. Иванову в письме от 3 марта 1913 г.: «В последнем номере „Гиперборея“ в рецензии о Скалдине, которого они всячески буквально травят, Городецкий написал, что он „жертва мистического доктринерства Вяч. Иванова“».

Иные оценки находим в письмах к Скалдину и его друзьям. В. В. Ковалевский в письме от 22 мая 1913 г., поблагодарив Скалдина за присланную книгу, отмечает: «Я лишь поверхностно ознакомился пока с ее содержанием, но некоторые стихотворения мне уже врезались в память: „Зодиак“, „Притча о жатве“, „Перенесение знамен“, „Яблоки шлю я тебе...“, <...> „Осенний вечер“ — я уже знаю наизусть. Неожиданно и сильно подействовала на меня своим спокойно-законченным стихом эта вещь — и сдержанная и простая» (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 57). Еще ранее, в январе 1913 г., В. А. Комаровский, тоже благодаря автора «за присылку прекрасно изданной книги», выделял стихотворения, понравившиеся ему больше всего: «Апостольский пир», «Петербург» и отдельные наиболее удачные строки. Там же Комаровский высказывает замечание общего характера: «Обилие мифологических эпитетов кажется мне слабостью, общею многим в настоящее время. Время наше я считаю подготовительным и учебным и в утешение припоминаю, что поэты французской Плеяды 16 века тоже любили щеголять своими познаниями, что не помешало им подчас написать превосходные вещи» (*Комаровский В.* Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. СПб., 2000. С. 183; далее — *Комаровский В.* Стихотворения, с указанием страницы).

Ученический характер своей первой книги признавал и сам автор. 2/15 октября 1912 г., когда еще не были готовы корректуры, Скалдин писал Вяч. Иванову: «О стилистике и метрике ска-

жу: прежде, чем отдавать свою книгу в набор, я попросил Николая Владимировича (Недоброво. — *Т. Ц.*) ознакомиться с ней тщательнейшим образом и сделать все замечания, какие, по его мнению, более или менее необходимы. Он посвятил этому делу целую неделю, причем труд по просмотру разделил и Верховский. Многие исправления по их указаниям я сделал, и если остались ошибки, то да послужит некоторым оправданием, что книга все же ученическая» (НЖ. 1998. Кн. 212. С. 167.).

Высоко оценивая мастерство Скалдина-версификатора, его доброжелательные критики замечали отсутствие «детскости», «Хариты» (пленительности), т. е. того, что делает стих высокой поэзией. Приведем самые характерные высказывания. На завершающей стадии подготовки книги Вяч. Иванов в письме от 23/10 октября 1912 г. писал Скалдину: «Что касается наших с Вами стихов и, во-первых, Ваших, — боюсь, не засудили ли Вы невинного, ибо самокритике Вашей не доверяю в достаточной мере; а воображая, какая выйдет Ваша книга (которую Недоброво, кстати, в письме ко мне весьма хвалит), выскажу наперед, полуинтуитивно, критику. В ней одного мало: Хариты. Вот понятие, которое мне хотелось бы ввести в умственный и словесный обиход. Ведь это не то, что мы зовем „Грацией", — объем понятия безмерно шире. Харита — Милость, — и милость благостная, и миловидность, „милорадность"; улыбчивая, пленительная прелесть — и много еще другого. Так вот — нет у Вас веселого неба и стройного танца; и в стихах беспечного радования нет...» (Из переписки В. И. Иванова с А. Д. Скалдиным / Публ. М. Вахтеля // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 10. С. 131).

По получении книги тогда еще не знакомый со Скалдиным М. О. Гершензон писал Ан. Н. Чеботаревской: «Я не ожидал от него такого совершенства формы: это густо, как ликер, тут порою в целом стихотворении нет лишнего слова, и ритмика, и рифмы парнасские. Я читал эти стихи, как будто рассматривал какую-нибудь работу Челлини: совершенство ювелирного искусства. Но нет, или еще нет поэзии. За этими строками совсем не чувствуется брожения живых соков, волнения сердца и мысли...» (РГАЛИ. Ф. 130. Оп. 2. № 4).

Спустя годы друг Скалдина С. В. Троцкий в своих «Воспоминаниях» так образно характеризовал поэтический стиль Скалдина: «Он — поэт, мастер стиха, при его уме, холодном и проникновенном, его мистической глубине, особенно при силе его воли, наглядно и совершенно связанной с жизнью сердца, стихи его, казалось, могли бы быть прекрасны. Но у Алеши и фантазия, часто подсказанная странно отчетливыми и сложными снами, без противоречия, но произвольно сплетается со сложным ходом мысли. Это часто делает стихи его непонятными, по крайней мере, трудными. Но есть и худшее: его стихи — не всегда поэтичны по той простой причине, что в Алеше нет детскости; нет ее во всем его складе, кроме ужасно скрытых, стыдливых движений сердца. Его мистические переживания были остры и глубоки. Образ кости, образ железа, как живые символы, восставали перед ним. В образах и в символах он мыслит, а не в философической связности мыслей; связи фактов, мистических фактов и художественных, направляют его» (*Троцкий С. В.* Воспоминания / Публ. А. В. Лаврова // НЛО. 1994. № 10. С. 66).

«Разнообразие» ранних стихов Скалдина, о котором писал в своей рецензии Недоброво, проявилось, в частности, и в двух тематико-стилистических пристрастиях, которые характеризуют книгу, — стилизации античного стиха и стилизации стиха фольклорного. Гумилев в рецензии на футуристический сборник «Орлы над пропастью» писал о том, что «Скалдин рабски подражает Юрию Верховскому» (*Гумилев Н.* Неизданное и несобранное. Париж, 1986. С. 90), имея, вероятно, в виду ориентацию на античность, так сильно проявившуюся в книге Верховского «Идиллии и элегии» (СПб.: ОРЫ, 1910). Но и Скалдин и Верховский в это время находились под сильным влиянием Вяч. Иванова, который в письмах Скалдину и в постоянных беседах 1909—1912 гг. наряду с другими темами обсуждал особенности античных литературных форм, в том числе и метрических. Фольклорные мотивы — тоже дань времени, моментные увлечения под опосредованным влиянием поэзии Н. Клюева, К. Бальмонта, С. Городецкого, П. Карпова, не столь характерные для творчества Скалдина, ориентированного на высокую книжную культуру.

Стихи, наряду с прозой, Скалдин продолжал писать до конца жизни. Он привозил их из Алма-Аты и читал в литературных домах Москвы и Ленинграда, но поздние стихи погибли вместе со всем архивом писателя.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1911—1912

Печатается по: Скалдин А. Стихотворения. СПб.: ОРЫ, 1912.

Вячеславу Иванову, брату — *Вячеслав Иванович Иванов* (1866—1949) — поэт, философ, переводчик, филолог. В жизни и литературном становлении Скалдина со времени знакомства в 1909 г. и до отъезда за границу в 1924 г. Вяч. Иванов играл решающую роль: ввел молодого поэта в литературные и философские круги, способствовал появлению первых публикаций, в том числе и этой книги, влиял на его самообразование, помог освобождению Скалдина из первого тюремного заключения (1923). Декларативный характер посвящения мотивирован не только душевной близостью ученика и учителя, но и тем, что многие годы Скалдин был другом всего семейства Ивановых, был принят там как родной человек.

С. 28. В моей полутемной комнате...

Кузмин Михаил Александрович (1872—1936) — поэт. В молодости Кузмин и Скалдин были очень дружны, некоторое время даже жили на одной квартире. Размолвка 1912 г., связанная с дуэлью М. Кузмина и С. Шварсалона (см. с. 404, 509—510), не изменила кардинально их отношений: даже в разгар петербургского скандала, безоговорочно приняв сторону С. Шварсалона, Скалдин писал Вяч. Иванову в Рим: «Я любил Кузмина и всегда жалел о его разгильдяйстве» (НЖ. 1998. Кн. 212. С. 178). До самой смерти Кузмина продолжалась их переписка. Имя Скалдина возникает в дневниках Кузмина 1930-х гг., а имя Кузмина — в дневниках дочери Скалдина — Марины.

Красный песок на дорожках...

Впервые: Gaudeamus. 1911. № 10. С. 3, с одним незначительным пунктуационным разночтением, как лучшее стихотворение по итогам конкурса, проведенного журналом. Конкурс был объявлен в № 4 (с. 16) и там же означены его условия:

«Редакция журнала „Gaudeamus“ объявляет конкурс на лучший рассказ и стихотворение. Автор лучшего рассказа получит двадцать пять рублей. Автор лучшего стихотворения получит пятнадцать рублей.

Условия конкурса:

1. Рассказы и стихотворения присылаются под девизом. В закрытом конверте — имя, фамилия и адрес автора.

2. Рассказы размером — не более 300 стр., стихи не более — 50 строк.

3. Рукописи, присылаемые на конкурс, должны быть переписаны на пишущей машинке, на одной стороне листа.

4. Крайний срок присылки рукописей: для рассказов — 10 марта, для стихов — 3 марта.

5. Решение жюри будет опубликовано в № 8 «Gaudeamus».

Состав жюри — в № 5 журнала».

В № 5 (с. 16) условия конкурса были повторены и объявлено жюри:

«Присуждать премию будут:

За лучший рассказ — Сергей Митрофанович Городецкий и граф Алексей Николаевич Толстой.

За лучшее стихотворение — Михаил Алексеевич Кузмин».

Итоги конкурса были объявлены в № 10 (с. 3):

«Результаты конкурса на лучший рассказ и стихотворение.

1. Премия за лучший рассказ осталась не присужденной, так как ни один из присланных рассказов не удовлетворяет минимальным требованиям художественности и правдивости.

2. Премия за лучшее с т и х о т в о р е н и е присуждена автору под девизом „И моя копеечка не щербата“, по вскрытии конверта автором стихотворения оказался **Алексей Дмитриевич Скалдин»**.

С. 29. Солнышко ласково греет...
Скалдина Агнесса — младшая сестра в многодетной семье Скалдиных. Рано и трагически ушла из жизни: в год окончания гимназии утонула, купаясь в Донце, на глазах у старшей сестры Евгении, не сумевшей ее спасти. В РО ИРЛИ хранится рисунок могилы Агнессы, выполненный, вероятно, братом — Георгием (Юрием) Дмитриевичем. *Матушка-земля* — фольклорный образ и в то же время чрезвычайно значимый для Скалдина символ. Он возникнет в трилогии о Никодиме, первоначально озаглавленной «Повествование о Земле», и генетически восходит к мифологии Вяч. Иванова, где «Земля участвует в мистерии богочеловеческого искупления и совершения» (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 3. Брюссель, 1979. С. 801, коммент. О. Дешарт).

С. 30. Акварели
I. Вероятно, описывается Летний сад осенью. II. *Иванова-Шварсалон Вера Константиновна* (1890—1920) — падчерица, третья жена Вячеслава Иванова. В начале 1910-х гг. Вера и Скалдин были очень дружны, Скалдин посвящал ей стихи, в которых прочитывается высокая платоническая влюбленность (см. с. 48—51 наст. изд.). Стихотворение «Как долго болел я...» не случайно помещено автором в начало книги как закрывающее тему этой любви — тем самым ранним любовным стихотворениям придавалось значение только литературного факта.

С. 31. Мужа я смуглого зрел: склонясь, он рассматривал ребра...
Замятнина Мария Михайловна (1862—1919) — ближайший друг семьи Вяч. Иванова, воспитательница его детей. Возможно, в стихотворении дан ее метафорический образ.

С. 32. Чужедальняя сторонушка!..
Арарат, Белый Град, Никольский погост — здесь мифологизированные понятия.

С. 33. Ярославская
Строки, вынесенные в эпиграф, частушечные. *Пески* — район Петербурга. *Грядка* — жердь, образующая боковые края кузова, в грядки вдалбливаются дуги. *Кулек* — мешок из рогожи.

С. 34. Стояли дети на мостике...
Скалдина Валентина Дмитриевна (1900—1947) — сестра Скалдина. В стихотворении слышатся отголоски блоковских стихов «Балаганчик» (1905) и «Вербочки» (1906).

С. 35. Стадо к полудню уснет, а мы собирать землянику...
Впервые: Орлы над пропастью: Предзимний альманах. СПб., 1912. Без посвящения, с другим графическим рисунком строфы и несущественными пунктуационными разночтениями. Автограф — в письме к Вяч. Иванову (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 159), без даты, с разночтениями: ст. 1: *Пусть пасутся стада*; ст. 3: *Ягоды сочной в траве увидеть кораллы мне в радость. Георгий Владимирович Иванов* (1894—1958) — поэт, мемуарист. Скалдин познакомился с ним в 1911 г. Сохранилось 42 письма Г. Иванова к Скалдину 1912—1915 гг. (РГАЛИ, опубл.: НЖ. 2001. Кн. 222. С. 53—100 / Публ. З. Гимпелевич и В. Крейда). Дружеские отношения продолжались до отъезда в 1918 г. Скалдина из Петрограда в Москву. В первом издании своих мемуаров «Петербургские зимы» (Париж, 1928) Г. Иванов посвятил Скалдину главу, где он выведен под именем «поэта С». В библиотеке РГАЛИ хранится экземпляр первой книги Г. Иванова «Отплытие на о. Цитеру. Поэзы. Книга первая» (СПб.: Ego, 1912) с дарственной надписью Скалдину: «Ну вот, Алексей, тебе мои „поэзы“. Можешь теперь вдоволь бранить их — удобно, как на ладони. Любящий тебя светло Г. И.». На с. 27 этой книги — стихотворение «Осени пир» с посвящением А. Д. Скалдину.

Каменные бородачи
Андрей Белый (наст. имя и фамилия Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — поэт, прозаик, критик, литературовед, мемуарист, теоретик символизма. С Андреем Белым Скалдин познако-

мился в конце 1909 г., когда Белый приехал в Петербург и жил на «Башне» у Вяч. Иванова (Таврическая ул., д. 25). В мемуарах «Начало века» в главе «Башенный житель» Белый дважды упоминает имя Скалдина. В ноябре 1910 г. Скалдин собирался писать статью о «Серебряном голубе» Белого, о чем сообщал в письмах к Вяч. Иванову. Название сонета пришло к автору из романа Белого «Петербург», который Скалдин, как указывает дата под стихотворением, читал до опубликования. Глава «Аполлон Аполлонович вспомнил» включает описание: «Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача. <...> Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее». Однако скульптуры, изображенные Белым и Скалдиным, различаются. По мнению комментаторов романа, «в описании „каменного бородача“, возможно, отразились впечатления Белого от скульптурных фигур атлантов, поддерживающих колонны дворца Белосельских-Белозерских <...>. Это здание у Аничкова моста (на углу Невского проспекта и Фонтанки) несомненно было хорошо знакомо Белому: осенью 1906 г. он жил в Петербурге в меблированных комнатах на Невском проспекте по другую сторону Аничкова моста» (*Андрей Белый.* Петербург. СПб., 1981. С. 651 / Коммент. С. С. Гречишкина, Л. К. Долгополова, А. В. Лаврова). Отметим, что вблизи Аничкова моста нет площади, упоминаемой в стихотворении. В эти годы Скалдин жил по адресу: Большая Морская ул., д. 40, и, конечно, не раз проходил мимо дома № 43 (в конце 1830-х гг. перестроенного по проекту О. Монферрана для Демидовых), фасад которого тоже украшал «каменный бородач», но всего лишь один, а расположенная рядом Исаакиевская площадь никогда не «дымилась кровию». Наконец, в письме от 13 января 1913 г. В. А. Комаровский наряду с другими отметил это стихотворение Скалдина: «Хороши <...> „Бородачи“, в которых я усмотрел гигантов, поддерживающих портал Эрмитажа...» (*Комаровский В.* Стихотворения. С. 182). Но десять атлантов портика Нового Эрмитажа, созданные скульптором А. И. Теребеневым (1815—1859) в 1844—1849 гг., — безбородые. Таким образом, привязка стихотворения к конкретной скульптурной группе Петербурга остается проблематичной, и композиционный образ его, возможно, имеет литературное происхождение.

С. 37. Яблоки шлю я тебе на простом нерасписанном блюде...

Граф Комаровский Василий Алексеевич (1881—1914) — поэт, переводчик, художник. Знакомство Скалдина и Комаровского состоялось, вероятно, весной 1911 г. От этого времени до нас дошли три письма Комаровского с упоминанием приездов Скалдина в Царское Село (Там же. С. 181—183). По поводу этого стихотворения еще до выхода книги в письме от 29 февраля 1912 г. Комаровский писал: «Милый Алексей Дмитриевич, благодарю Вас за яблоки — стихи очень хороши свежестью и простотою. Собственно, я должен был бы отблагодарить Вас рифмованными грушами, но по соображениям здоровья воздерживаюсь пока что от стихов. Еще раз очень благодарю — надеюсь, до свидания. Надеюсь, что „солнце поможет“ и Вам» (Там же. С. 182).

Поэт

См. отзыв Н. В. Недоброво об этом стихотворении на с. 463 наст. изд.

С. 38. Юноша робко всходил на высокую круглую башню...

В стихотворении рисуется аллегорический образ «Башни» Вяч. Иванова и ее домоправительницы М. М. Замятниной (см. о ней на с. 466 наст. изд.).

Зодиак

Чюрлянис Н. К. (Чюрленис Микалоюс Константинас; 1875—1911) — литовский художник и композитор. В январе—феврале 1912 г. «Мир искусства» устроил в Петербурге выставку Чюрлениса и вечер его памяти. В Петербургской консерватории состоялся концерт из произведений Чюрлениса. Вероятно, Скалдин был на посмертной выставке художника, где экспонировался цикл картин «Зодиак». Вдохновленный увиденными картинами, Скалдин написал по их мотивам двенадцать стихотворений, ставших первым откликом в русской поэзии на живопись Чюрлениса. Впечатление от творчества литовского художника оказалось глубоким, и интерес

к нему не угасал. Через полтора года в кратком деловом письме к Ал. Н. Чеботаревской Скалдин сообщает: «Я купил для вас книгу о Чюрлянисе. Книга распродана, но мне посчастливилось найти 2 экземпляра: у меня и у самого ее еще не было» (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 27). Уже в 1920-х гг. художник-иллюстратор Н. В. Кузьмин, обсуждая в письмах особенности стиля романа Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшего», не сможет обойтись без упоминания имени Чюрлениса (см. с. 488 наст. изд.). *То Дионис-Загрей сладчайший...* — одна из архаических ипостасей Диониса. Загрей был сыном Зевса Критского и Персефоны, с которой Зевс вступил в брак в облике змия. Имя Диониса-Загрея постоянно встречается в произведениях Вяч. Иванова. В *Близнецах* Скалдин видит образное воплощение дионисийского и аполлонического начал. Именно поэтому пятое стихотворение цикла было предпослано как эпиграф к первой, журнальной публикации статьи Вяч. Иванова «О существе трагедии» (Труды и дни. 1912. № 6. С. 1—15), которая начинается с определения «эстетической полярности» Диониса и Аполлона: «Бог строя, соподчинения и согласия, Аполлон есть мощь связующая и воссоединяющая; бог восхождения, он возводит от разделенных форм к объемлющей их верховной форме, от текучего становления — к недвижно пребывающему бытию. Бог разрыва, Дионис, нисходя, приносит в жертву свою божественную полноту и цельность, наполняя собою все формы, чтобы проникнуть их восторгом переполнения и исступления, — и вновь, от достигнутого этим выходом из себя и, следовательно, самоупразднением бесформенного единства, обратить живые силы к мнимому переживанию раздельного бытия». *Козерог. Он с блудной дочерью Киприды.* — Дочь Киприды (Афродиты) и Ареса — Гармония.

С. 41. Петербург

В письме от 13 января 1913 г. В. Комаровский среди других выделил как удачное второе стихотворение этого цикла сонетов (см.: *Комаровский В.* Стихотворения. С. 182).

С. 42. Апостольский пир

В. Комаровский в том же письме к Скалдину писал: «„Апостольский пир« очень свежее стихотворение, но если бы к апостолу Иоанну, разославшему „всех“ муз, пришли Анакреон, Сафо, Гейне, Катулл, Лафог и Брюсов — я не ручаюсь за мирный исход пира, и апостол Павел, вероятно, повторил бы совет „о мерзостях не разговаривать“» (Там же). *Роза* здесь и далее у Скалдина имеет значение христианского символа, о котором А. Н. Веселовский писал: «Средневековый рай полон роз: Богородица представляется сидящей среди розовых кустов, на которых щебечут птички; ее венчают розами; розы распускаются на гробницах святых, вырастают по смерти из их уст, глаз и ушей, алые и белые розы расцвели в январе из шипов и терний, на которые бросился св. Франциск, чтобы умертвить вожделения плоти» (*Веселовский А. Н.* Из истории развития личности. Женщина и старинные теории любви. СПб., 1912. С. 88—89).

С. 44. Притча о жатве

Еще одной высокой, важной песни... — первая строка из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1829), являющегося переводом начала «Гимна к пенатам» английского поэта-романтика «озерной школы» Р. Саути (1774—1843). В стихотворении эклектично соединены библейская, масонская, литературная символика. *Великий Мастер* — термин из иерархии розенкрейцеров. *Земля-Владычица* — ср., например, в стихотворении Вл. Соловьева 1886 г.:

> Земля владычица! К тебе чело склонил
> И сквозь покров благоуханный твой
> Родного сердца пламень ощутил я,
> Услышал трепет жизни мировой.
> (*Соловьев Вл.* Стихотворения. СПб., 1900. С. 38.)

Жатвы много — жнецов же мало — неточная цитата из Евангелия: «Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37).

Полдень

Проходит Пан — Великий Пан — в греческой мифологии божество стад, лесов и полей. Входит в свиту Диониса, известен своими пристрастиями к вину и веселию. На переломе веков нередкий образ в русском и европейском искусстве, например: «Пан» (1899) М. А. Врубеля, «Пан и Психея» (1904) Вяч. Иванова и др.

С. 45. Перенесение знамен

Кузмин М. А. — см. с. 465 наст. изд. Было опубликовано также в альманахе «Война в русской поэзии» (Пг., <б. г.> С. 116 / Предисл. Ф. Сологуба. Стихотворения выбраны Ан. Чеботаревской. Обложка художника Н. Калмакова). Без посвящения. Написано, вероятно, под впечатлением от юбилейных парадов в честь 100-летия Бородинского сражения 26 августа в Петербурге на Дворцовой площади и, более грандиозного, 28 августа в Москве на Ходынском поле. Празднество продолжалось с 20 по 28 августа, и центром его были Москва и Бородинское поле. *Рона* — река в Швейцарии и Франции. *Царьград* (Цареград) — древнерусское название Константинополя, столицы Византийской империи, а после ее падения, под именем Стамбул, — Оттоманской империи. Освобождение Константинополя от власти турок — одна из целей внешней политики России, периодически возникавшая на протяжении XVIII—начала XX в.

Эвридика

Эвридика — в греческой мифологии жена фракийского певца Орфея. Эвридика умерла молодой, и Орфей спустился в Аид, чтобы вернуть ее. Своими песнями Орфей растрогал Персефону, и она позволила вывести Эвридику на землю при условии, что Орфей не взглянет на жену прежде, чем придет в свой дом. Орфей нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику. *Юноша Давид* — пастух, псалмопевец, умевший успокоить царя Саула игрой, когда того тревожил злой дух; победитель великана-фелистимлянина Голиафа. Царь Израильского-Иудейского государства в X в. до н. э.

С. 46. Мне было тайно ваше Слово...

В стихотворении ощутимо влияние стихов Вяч. Иванова, посвященных А. Блоку, открывающих книгу «Нежная тайна» (1912), а также стихотворения Блока «Все на земле умрет...» (1909).

Вы не роняйте темных слов...

Е. В. — возможно, посвящено Елизавете Константиновне Вальтер (урожд. Бауман; 1884—1933), будущей жене Скалдина.

С. 47. В альбом

А. А. — посвящение раскрыть не удалось. *Мнемозина* — олицетворение памяти. *Дочери ее* и Зевса — девять муз.

Не знаю, как назвать: заказ иль просьба...

Л. Н. — Любовь Александровна Недоброво (урожд. Ольхина; 1875?—1924?) — жена Н. В. Недоброво, друг Скалдина и Веры Шварсалон, о любви к которой это послание (ср. также следующие два стихотворения). Сохранилось несколько писем из переписки Скалдина и Л. А. Недоброво (РНБ, РГАЛИ). Ей посвящено также стихотворение Вяч. Иванова «Ирина» из приложения к книге «Нежная тайна» — «Лепта» (1912).

С. 48. Дана мне милая задача...

В. Ш. — Вера Шварсалон. Сергей Витальевич Троцкий (1880—1842), малороссийский помещик, поэт-дилетант, друг Вяч. Иванова и Скалдина, в своих «Воспоминаниях» (НЛО. 1994. № 10 / Публ. А. В. Лаврова) сообщал об истории этого стихотворения: «Знаю следующее: А. Скалдин написал стихотворение Вере Константиновне, падчерице В. И. Он сравнил ее с колосом склоненным; и правда, нежное, синеглазое лицо ее и голова, отяжеленная светлыми зо-

лотистыми косами, всегда были склонены, как спелый колос. Но колос — символ; говорят — символ элевзинских таинств; обет возвращения, свидания с миром хтоническим, смерти и любви. После этого В. И. прямо сказал Скалдину о любви его и Веры Константиновны» (с. 66). То же символическое значение присутствует в стихотворении К. Бальмонта «Колос» (1907) («Пшеничный колос — дар Венеры...»). *Но ключевые слезы следом, / Не иссякая и шепча, / Бегут, бегут.* Эти строки удачными назвал в своем письме от 13 января 1913 г. Скалдину В. Комаровский (см.: *Комаровский В.* Стихотворения. С. 182).

С. 51. На кресте

Автограф — в недатированном письме к Вяч. Иванову (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 161). Время написания стихотворения — май 1912 г. По получении его Г. Иванов писал Скалдину 29 мая 1912 г.: «Дорогой, без сомнения, твое новое стихотворение прекрасно и особенно нравится мне, ибо не походит на твои последние вещи. Здесь форма и содержание слиты в одно живое (истинно!) целое... Я очень тебе благодарен за то, что ты прислал мне его, я его все время перечитываю и удивляюсь, как хорошо, я бы сказал изумляюще, ты можешь писать. Только одна погрешность против построения найдена мною, да и то это, пожалуй, гадательная погрешность. Дело в том, что самое яркое ты выложил сразу в первом четверостишии. Я говорю о словах третьей строчки. После таких слов все блекнет, даже коза и тонкая жердь, даже тетя (неправильное прочтение публикаторами, вероятно, *темя. — Т. Ц.*), а скажи ты их в конце, ничего бы этого не случилось. Не надо продолжать разговор — ты блестяще (лучше чем начал!) закончил его своими новыми стихами» (НЖ. 2001. Кн. 222. С. 61—62).

С. 52. Сказание о гибели города

Чеботаревская Александра Николаевна (1869—1925) — литературный критик и переводчик, сестра Анастасии Чеботаревской, жены Федора Сологуба. Со Скалдиным Чеботаревскую связывала многолетняя дружба, она принимала деятельное участие в его судьбе. Сохранилось 13 писем Скалдина к Чеботаревской 1912—1924 гг. (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152) и 16 писем Чеботаревской к Скалдину тех же лет (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 90). Скалдин дорожил мнением Чеботаревской о его стихах, показывал ей только что написанное, таким образом, зачастую она становилась первым его читателем и критиком. Сохранились машинопись этого стихотворения с незначительными разночтениями и авторской правкой (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 6—7) без названия, с датой: 9 июня 1912 г., и более ранняя редакция, тоже машинописная, недатированная, без названия, существенно отличающаяся от окончательной:

Ал. Ник. Чеботаревской

К брегу песчаному вечно валов среброкосмое стадо
С шумом и плеском веселым стремится и, пену взбивая,
Тихо ложится меж ракушек, щепок, камней округленных.
Слушаю шум бесконечный, и новые мысли, сияя
Ровным сияньем, рождаются где-то глубоко-глубоко,
Или внезапно взлетают под небо орлом сизоперым.
Мысли такие под спудом держать не грешно ли поэту,
Миру, что песни поет, не послужит ли каждая песня.
Слушай же, мир, и прости неумелость и робость поэта.
Некогда город стоял у прибрежия грозного моря.
Был многолюден тот город и славен торговлей своею,
Но многолюдство спасет ли с богатством и славою вкупе,
Если судьбою начертан предел неизменный от века.
Вышний пророческий дар во спасение избранным людям
Мудро дает, но пророчествам кто же внимает послушно.
Смехом встречают, толкуют, что старым и глупым на рынке

Бабам-торговкам пророчества слушать пристало и верить.
Песнею вот ублажить немудреной иль мудрой другое —
Повеселятся с веселой, а с грустной поплачут немного.
Вещих речений судьба незавидна, и звонкою песней
Лучше поведаем миру, что нужно ему в назиданье.
В городе пышном, в зловонной темнице, прикованный цепью,
Старый и дряхлый на грязной соломе лежал чернокожий,
Был он рабыней рожден, привезенной купцами с Востока,
С родины дальней еще в малолетстве, и, дома не зная,
Неба родного и рек не видавши, возрос, а под старость
В эту темницу за тяжкий проступок был ввергнут и, мучим
Трудной болезнью, подолгу молился он Деве Марии.
Верной молитве внимая, послала Она облегченье:
Старец однажды заснул на восходе и спал до заката
(Времени впрочем не знал он: окна не имела темница),
Тихо расстался со сном и в кости вдруг почувствовал крепость,
Трепетность в мышцах, а зренье и слух обострились. Не стало
Сумрака вовсе, и гул, тишину заменяя, из груди
Матери черной Земли загудел, будто музыкой где-то
Кто-то незримый решил просветить и устроить земные
Путь и стремленья людей. Растворилась глубокая бездна,
Мимо прозревшего старца метнулись могучие духи,
Мощно ширяя крылами, главы наклонивши, слетелись,
Круг замыкая, воскликнули: будет! Исполнились сроки:
Городу жить остается три дня и три ночи. Не можем
Землю не сдвинуть под ним, да исполнится мудро Всевышним
Данное нам! Прорекая, исчезли. И снова сгустился
Сумрак над старцем, и очи потухли, и слух, ослабевши,
Тщетно искал уловить отдаленных отгулов значенье.
Утром тюремщик, раскрывши скрипучую дверцу, явился.
Старцу он хлеба принес и воды — пропитанье дневное.
«Слушай, сказал ему старец: виденье мне дивное было:
Городу гибель грозит, поспеши же на площадь, поведай».
Молча глядел удивленный тюремщик, ответа не зная:
Старец язык позабыл просвещенных свободных сограждан,
Речь непонятной была, и гортанные дикие звуки,
Предков наследье, из уст исходили, пугая невольно.
Вышел тюремщик, а старец опять погрузился внезапно
В сон и виденье и видел все ярче и глубже, что было,
Утром опять повторил и опять непонятным наречьем.
Также и в третий увидел и в третий, последний, поведал.
Срок истекал неудержно, спокойно, и время настало.
Духи собрались и сильным ударом, подъемля, качнули
Пласт побережный. Посыпались с треском великим каменья,
Кратер раскрылся вулкана, извергласъ кипящая лава,
Огненный пепел и каменный град уничтожили город.
Люди погибли под пеплом горячим с богатством и славой.
Море взметнулось, огромные волны взыграли, на берег
Малые лодки, морские суда побросавши, как щепки.
В пламени гибли они. Избавленья никто не увидел.
Те же, кому благосклонные судьбы решили в открытый
Плыть океан иль, спеша издалека, не к этому часу

В гавань войти, ужасаясь, смотрели, но помощь какую,
Сердцем болея, могли оказать погибавшим на бреге.
В городе мертвом один лишь остался в живых повеленьем
Строгой Судьбы изможденный старик-прорицатель в темнице.
Прочные своды ему от погибели лютой защитой
Были надежной, а духи, потрясши каменья и землю,
Вырвали цепь из стены и, сломавши запоры, свободу
Дали ему. Преисполненный жизни, он выйти немедля
В город хотел, но горячие лава и пепел, пластами
Лежа, грозили спасенному верной и страшною смертью.
Деве тогда он взмолился, попомнив ее заступленье.
Снова щедрот своих светлых и мудрых она ниспослала
Полною мерой ему и могучим бушующим ливнем
К морю промыла меж пепла прямые дороги. И старец,
Тайно ведомый, влача за собою тяжелые цепи,
К берегу утром спустился, нашел уцелевшую лодку,
Сел на скамью и, веслом двухконечным работая, поплыл.
(ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 29—31.)

В. Комаровский в письме к Скалдину от 13 января 1913 г. отмечал как удачный образ «море, „вспухшее горой“» (см.: *Комаровский В.* Стихотворения. С. 183).

С. 55. Путник

И Первого к Коринфянам Посланья... — В третьей главе 1-го Послания к коринфянам раскрывается сущность Евангелия и сущность служения учителя христианской веры. Сохранилась ранняя редакция этого стихотворения — автограф в письме к Вяч. Иванову от 6 июня 1912 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 162—163) и машинопись (ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 7—8) — без разночтений.

ПУТНИК

Без устали я вглубь иду и вижу,
Что видели рожденные давно.
Мне власть дана, грядущему от Бога,
В веках кольцо последнее сомкнуть

С Адамовым кольцом. И Ангел скажет:
«Не стало времени!» Но час далек.
Еще идущие Христова лика
Не зрели светлого в своих путях.

Века текут назад, и в темном море
Судеб людских означен бег планет.
Прозрев, гляди. Исполни повеленье
Христово: день сокрыт, но знай пути.

А в странствиях извечных, неустанных
Что видел я — могу ли передать?
Где мера всех вещей? Кому поведать
И от кого разумно утаить?

Наполеон, Шекспир и Леонардо,
Не с вами ли я был еще вчера,
Но день прошел, и нового виденья
На темном мире начертался лик.

Осталося питать воспоминанье
И ликам вашим с честию служить.
Забыты день и час. Но кто бы вспомнил?
Кто знает счет времен? Никто! Никто!

Над адскими вратами вижу надпись,
И горбоносый Дант с сухим лицом
Ведет меня. Размеренной стопою
Проходим мы за кругом новый круг.

Слежу за ним, но он меня не видит,
А помыслы его открыты мне.
Вергилий знает, но не скажет Данту.
Так нужно. Кто же может изменить?

В Раю узнал бы он, когда б дорога
Лежала вместе нам в далекий Рай,
Но я его в Чистилище покину,
Лишь только смутно станет прозревать...

Апостол Павел, я тобою призван.
Иду к тебе, а ты сидишь, согбен,
И Первого к коринфянам Посланья
Кончаешь мудро окрыленный стих.

Как вестник радостный, я на пороге
Остановлюся на единый миг,
Потом скажу приветливо и просто:
«Обороти лицо и гостя встреть».

С. 56. Осенний вечер

Сохранилась машинопись ранней, но не первой редакции, датированной также 1912 г. (Там же. Л. 1—2). В ней между первой и второй строфами была еще одна:

Приближен срок: я был рожден
В октябрьский день, и мне судьбою
Придти к последнему покою
Дан тот же день — я убежден.

Вместо последней строфы — пять:

Но, может быть, забуду я —
Ведь долог час — что нужно встретить
И на лобзание ответить
Тебе лобзаньем, Смерть моя,

Что, губы сжегши о костяк,
Я должен меч прямой и острый
Подъять и биться, братья, сестры,
За наш венчанный Розой стяг.

Тогда, у дуба притаясь,
Подстережешь во тьме поэта
И, дланью твердою скелета,
Накинешь смертной петли вязь.

Тогда не прозвенят мечи.
Постыдно павшему без боя
Блеснет ли небо голубое
В последний миг в слепой ночи?

Но нет. Не будет. Меч остер,
Рука всегда готова к битве,
И сердце помнит о молитве.
Смотри же, Смерть: я меч простер.

Разбору первой редакции, не дошедшей до нас, посвящено письмо Г. Иванова (НЖ. 2001. Кн. 222. С. 81—82. Без точной датировки).

С. 58. Море белесое спит. Округлые камни темнеют...
Р. Р. фон-Вальтеру. — Фон Вальтер Рейнгольд (Рейнгард) (1882—1965) — поэт, критик, переводчик русской литературы на немецкий язык. Друг Скалдина. После ухода из семьи Елизаветы Константиновны Вальтер в 1913 г. отношения между Скалдиным и Вальтером прервались. Вскоре после этого Вальтер с сыном навсегда уехали из России в Германию, где сын Вальтера стал автогонщиком и погиб.

С. 59. Вино
В. Комаровский в письме Скалдину от 13 января 1913 г. отметил как удачный заключительный стих: «... „песню о розах споем вместе за длинным столом“ — „длинный стол“ очень хорошо» (*Комаровский В.* Стихотворения. С. 183). Здесь розы — знак духовного общения.

Дистихи
Е. К. фон-Вальтер — Елизавета Константиновна фон Вальтер; см. о ней на с. 469 наст. изд. Сохранился карандашный автограф (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 11—9) и авторская машинопись (ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 55). В обоих этих источниках цикл состоит из шести дистихов, из которых два в печатный текст не вошли:

ДИОНИС

Сын Первородный, подъемлющий рдяную чашу хмельную, —
Знай же, благой, из нее пить я готов до пьяна.

АФРОДИТА

Жарким в уста поцелуем пути облегчаешь, благая,
Влагой истомной поишь жаждущих смерти в любви.

Антэрос — вероятно, образ восходит к одноименному стихотворению Вяч. Иванова:

Но за крылатым Эросом и мстительный Антэрос,
Враг юный брата милого...
(*Иванов Вяч.* Эрос. СПб.: ОРЫ, 1907. С. 53).

С. 60. Прикованный к постели...

Автограф — в письме к Ал. Н. Чеботаревской от 17 августа 1912 г., где стихотворение характеризуется как «совсем свежее» (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 11). Без разночтений, за исключением того, что слово «Смерть» в автографе написано с заглавной буквы, как постоянно в своих стихах писал это слово и Вяч. Иванов. Об этом стихотворении Г. Иванов писал Скалдину в письме от 5 сентября 1912 г.: «„Прикованный к постели..." мне нравится. Только это не из лучших твоих стихотворений — жало в нем маленькое и жалит слабо» (НЖ. 2001. Кн. 222. С. 69).

Эрато

Эрато — муза лирической поэзии, обычно изображается с лирой в руках. *Вейнберг Курт Иванович* — потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга, так же, как и Скалдин, занимался страховым делом — служил в 1-м Российском страховом обществе. *Девушка стройная! Мне не забыть...* — неточная цитата из стихотворения Ю. Н. Верховского «Чужестранец» из цикла «У ручья», посвященного Е. К. Герцык, опубликованного в книге Верховского «Идиллии и элегии» (СПб.: ОРЫ, 1910. С. 7). В ст. 2 у Верховского отсутствует слово «был».

СТИХОТВОРЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛАХ И АЛЬМАНАХАХ

С. 62. Осень

Впервые: Аполлон. 1910. № 11. С. 9. Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 9 ноября 1910 г. (НЖ. 1998. Кн. 212. С. 152—154; три редакции), авторская машинопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 5. Первая редакция была написана раньше этих трех. В письме от 13 апреля 1910 г. Скалдин писал: «Дорогой Вячеслав Иванович! Посылаю Вам еще одно стихотворение — „Осень". Не браните меня за уныние мое: оно было случайным и продолжалось час — ровно столько, чтобы была возможность написать стихотворение» (Там же. С. 147). Приводим третью редакцию по автографу, совпадающую с машинописью:

О, ВСЕПЕТАЯ МАТИ

Здравствуй же, убогая всепетая отчизна!
Облака и просини осенним днем бледней.
Тяжкая таится укоризна
В немоте обветренных ветвей.
Порудели травы при дороге.

Вещее поет в пастушьем дальнем роге...

Кровию Христовых ран окроплена поляна,
И Молчба легла в лесах, слова Его сокрыв;
Мертвен Лик под пеленой тумана,
Что река великая, застыв,
Расклубила на равнинах мшелых...

Спасе мой благий! гряди же в ризах белых.

Вариант ст. 8: «И Молчба стоит в лесах».

Вероятно, эта строка вызвала замечания Вяч. Иванова, и при посылке второй редакции Скалдин дает пространные пояснения по поводу того, «чем оправдывается тавтология, заключающаяся в придаточном предложении восьмой строки»: «Молчба стоит — слова сокрыв». Мы приводим эти пояснения полностью, принимая во внимание тот факт, что почти весь архив Скалдина погиб и это единственный, хоть и очень ранний, дошедший до нас авторский анализ поэтики.

«Определение было бы действительно тавтологичным, если бы я сказал: „Молчание стоит — слова сокрыв". Ясно, что два последние слова есть лишь повторение двух первых и потому совершенно излишни. Но „молчба" не „молчание", как „смерть" не „умирание". Можно сказать: „пришла Смерть и погрозила ему", но попробуйте „смерть" заменить его производным „умирание" и получится нечто, страшно режущее ухо пресной неправильностью.

Такие слова, как „смерть" и „молчба" сохраняют для нас вживе древнюю языческую склонность к овеществлению понятий. Смерть — богиня (субъект) умирания, в котором выражается ее действенность. Иного пути ей не дано для этого. Умирание есть состояние субъекта — человека, подразумевающее по отношению к последнему страдательный залог действия первого (смерти).

От А и до V можно повторить то же самое о „молчбе" и „молчании".

Умирание и субъект, ему подверженный, в своих действиях несвободны, а смерть одинаково вольна и умертвить, и пройти мимо. Молчание само по себе тоже бездейственно, но молчба, что захочет: промаячит вдали, взглянет лишь, или же придет и прикроет слова наши.

„Молчаливость" здесь также не годилась бы, будучи лишь определением свойства предмета, его склонности и, как таковое, пассивным.

Свойство, поскольку оно проявляется в состоянии субъекта, может стать иным, перейти в иное: твердое делается мягким и веселое переходит в грустное. Но субъект не преходящ: смерть стать жизнью не может: она приходит и сменяет жизнь.

Нужно только помнить, что подлинным нашим субъектом является не плоть, а бессмертная душа, неуничтожимая, непреходящая через одержание смертью в ничто. Плоть лишь состояние субъекта, и победа Христова тела потому-то и есть победа, что тело, подобно душе, стало подлинным субъектом.

Итак, вот те оправдания, что я могу представить по затронутому вопросу. Восьмая строка может существовать в измененном виде благодаря субъективности молчбы.

Остается непокрытым один грех: вялость рифмы в словах: „сокрыв — застыв". Думаю, что за это Вы не будете меня много бранить» (Там же. С. 148—149). *Всепетая отчизна* — в этом обращении и в названии третьей редакции содержится отсылка к известному внебогослужебному песнопению Православной церкви, посвященному Богородице. В использовании этого образа напоминание и о том, что Россия — удел Богородицы.

С. 62. Путем далеким

Впервые: Аполлон. 1910. № 11. С. 10. По копии с авторизованной машинописи, без названия, с посвящением К. И. Вейнбергу (см. о нем с. 475 наст. изд.) — НЖ. 2000. Кн. 219. С. 85—86 / Публ. В. Крейда.

С. 63. Песня Вани Думного...

Впервые: Сатирикон. 1910. № 49. С. 2. Автограф — в письме Вяч. Иванову от 4 декабря 1910 г. со ссылкой на публикацию в «Сатириконе» (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 155) под названием: «Песня Вани Думного из деревни Нижне-Заклетье». Авторизованная машинопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 63—64. Вариант ст. 21: «О полы руками-то похлопывали б».

Как будто

Впервые: Gaudeamus. 1911. № 6. С. 2. Вероятно, в стихотворении наряду с другими присутствует образ царскосельских Египетских ворот. *Ра* — в египетской мифологии бог солнца.

С. 64. Притча о посеянном
Впервые: Gaudeamus. 1911. № 7. С. 1. Авторизованная машинопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 12. *Не оживет, аще не умрет* — изречение, сопоставимое с евангельским (Ин. 11:25). Стихотворение было написано 9 апреля 1910 г., о чем Скалдин сообщил Вяч. Иванову в письме от 11 апреля (НЖ. 1998. Кн. 212. С. 147).

На погосте
Впервые: Gaudeamus. 1911. № 11. С. 4. Авторизованная машинопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 21, с разночтением в ст. 15: «Вот нисходят...».

С. 65. Воскуренные свечи леса соснового...
Впервые: Там же. Авторизованная машинопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517. Л. 28. Последний номер журнала «Gaudeamus» по тематике своей — предпасхальный. Кроме стихов Скалдина, в нем напечатаны стихотворения В. Брюсова, С. Городецкого, Г. Иванова и др.

Царьград
Впервые: Отечество. 1915. № 13. С. 4. Корректура — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 16). Стихотворение написано во время Первой мировой войны, вероятно, под впечатлением от сообщений о черноморских военно-морских операциях октября—ноября 1914 г. *Елена — Мать!..* — Елена — мать римского императора Константина I (ок. 285—337), основавшего новую столицу Константинополь на месте г. Византии.

Ночь перед Рождеством
Впервые: Альманах Муз. Пг., 1916. С. 155—156. Р. Д. Тименчик увидел в этом стихотворении, как и в 1-й главе 1-й части «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой, «знак» «поэзии 1913 года» (см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки о «Поэме без героя» / Ахматова А. А. Поэма без героя. М., 1989. С. 16.

С. 66. Песнь последняя моя...
Впервые: Там же. С. 157.

Любовь ли искушает силу...
Впервые: Там же. С. 158.

С. 67. Кому нужна моя любовь?..
Впервые: Там же. С. 159. Автограф — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 19), с вариантами ст. 5—7:

> Благословляющая Мать
> Любви не терпит безымянной!
> Она найдет, кому отдать...

Датируется по автографу.

Как странно: все мои обиды...
Впервые: Альманах Муз. Пг., 1916. С. 160.

Звезда
Впервые: Там же. С. 161.

Сновидение
Впервые: Там же. С. 162. Автограф — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 6), с незначительными разночтениями, без названия, с пометкой «Выпрямленное»

(т. е. исправленное, что указывает на стадиальность работы). Датируется по автографу. *Сикоморы* — южные платаны, упоминаются в Библии.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ
(Из первого собрания)

С. 69. «Аз орю и добре землю делаю...» — цитата из письма Ивана (Иоанна) Неронова к Стефану Вонифатьеву от 27 февраля 1654 г. (Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые редакцией «Братского слова». Т. 1, ч. 1. М., <1874>. С. 74). *Иван Неронов* (1591—1670) — один из первых вождей раскола, наставник и друг Аввакума, один из руководителей «Кружка ревнителей благочестия».

«Не признавай того истинным мудрецом...» — цитата из «Слов подвижнических» Исаака Сириянина, которые переводились с древнегреческого на славянские языки неоднократно. Вероятно, Скалдин знакомился с ними по переводу, опубликованному в издании «Творения Святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии» (Т. 24, кн. 3—4. М., 1854.) В эпиграф вынесены строки из «Слова 1» «Об отречении от мира и о житии монашеском» (Кн. 3. С. 9). *Исаак Сириянин* (Сирянин, Сирин) — отец Церкви, жил в VII в., оставил семь томов поучений, содержание которых — анализ разнообразных состояний праведности и греховности и способов христианского подвига самоусовершенствования. Книга «Святого отца нашего Исаака Сирина слова» не случайно включена в действие одной из кульминационных глав романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Ч. IV. Кн. 11. Гл. VIII «Третье, и последнее, свидание со Смердяковым»).

Легенда старого камина
Впервые: НЖ. 2000. Кн. 219. С. 84—85 / Публ. В. Крейда по копии с авторизованной машинописи.

С. 70. Поэты
Впервые: Там же. С. 85. По тому же источнику. На машинописи сделана авторская помета: «Сатирикон 1910», однако публикацию этого стихотворения в «Сатириконе» нам обнаружить не удалось. Возможно, это указание на то, что оно представляет собой иронический отклик на лирическое стихотворение А. Гликберга (свои сатирические стихи он печатал под псевдонимом Саша Черный) «Закат» (Сатирикон. 1910. № 17. С. 3).

Я, приносящий, пред вами, великие боги, склоняюсь...
Впервые: НЖ. 1998. № 212. С. 158 — в письме к Вяч. Иванову от 4 июня 1911 г., без посвящения. Печатается по авторизованной машинописи, принадлежащей дочери Скалдина М. В. Ситниковой. *Латона* — она же Летó, титанида, — одна из жен Зевса. Г. Иванов ответил Скалдину на это стихотворение пародией, которую прислал ему в письме от 29 мая 1912 г. (НЖ. 2001. № 222. С. 62):

Вольное подражание А. Скалдину

КИЛИПОКОРОС

Детям Латоны хвалу бедный поэт воссылая
В звучных стихах — оные мне посвятил.
Я, смущенный зело, у него вопрошаю — за что же?

Грязи великой по тротуаров Градопетровских
Шли медлительно мы. Ах, лавры клонятся не
Улиц этих среди. И тусклы огни изрядно.

Я помяну еще сами с усами вирши,
Кои сплетали мы, впредь как к трамваю тащиться.
Вирши весьма плохи, — исключая первые строки. —

Мирно пиши, поэт, свою страховую отчетность,
Вакса твоих сапог да смердит благовонной розой;
Я ж нашатырным спиртом травиться вовсе раздумал.

С. 71. Из письма
Впервые: НЖ. 2000. Кн. 219. С. 86—92, с расположением отдельных фрагментов стихотворений в ином порядке. Печатается по авторизованной машинописи, в которой нарушена нумерация страниц. Предпринята попытка реконструировать стихотворения по тематическому принципу — развитию основных мотивов и образов. Несогласование грамматических форм в четвертом стихотворении заставляет предположить возможность утраты части текста или опечатки.

Импульсом к созданию цикла послужила сложившаяся в 1911—1912 гг. ситуация любовного треугольника: учитель — ученик — возлюбленная, падчерица учителя. Отъезд Вяч. Иванова и Веры Шварсалон весной 1912 г. из России, их брак, рождение в июле того же года Дмитрия Вячеславовича окончательно разрешили эту ситуацию. Романтическая влюбленность Скалдина постепенно становилась для него только воспоминанием. Написанный, вероятно, летом 1912 г. цикл, скалдинская «попытка ревности», остался неопубликованным по причине авторской деликатности по отношению к своим друзьям: «Мы друзья близкие и верные», — писал Скалдин В. К. Ивановой 16 сентября 1913 г. (РГБ. Ф. 109. Карт. 34. Ед. хр. 40. Л. 1). *Зависти нет и не будет.* — Концовка цикла перекликается с заключительными словами статьи Вл. Соловьева «Русская идея», которую Скалдин хорошо знал и на которую опирался при написании своего доклада «Идея нации» (см. с. 348—368; 496—499 наст. изд.): «Ибо истина есть лишь форма Добра, а Добру неведома зависть» (*Соловьев В. С.* Соч.: В 2 т. М., 1889. Т. 2. С. 246).

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ
(Из второго собрания)

Второе собрание стихотворений представляет собой 64 листа машинописи, выполненной по нормам старой орфографии, с незначительной авторской правкой. Несколько стихотворений из этого собрания вошло в книгу Скалдина или было опубликовано им в периодике, 11 впервые увидели свет в публикации писем Скалдина Вяч. Иванову (НЖ. 1998. Кн. 212), 30 воспроизводятся здесь впервые. Машинопись принадлежала сначала сестре поэта Евгении Дмитриевне, затем — его дочери Мире Витальевне Ситниковой, которая в 1997 г. передала ее в дар Рукописному отделу ИРЛИ (Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 517). Собрание, как и отдельные стихотворения, в него входящие, не датированы, но, несомненно, относятся к первой половине 1910-х гг.

С. 76. Свет неживой?.. Он — нерожденный...
С. В. Троцкий — см. о нем на с. 469 наст. изд. *Таинность матерняго лона?.. Но сердце тлится темной раной.* — Символика, имеющая аналогии в оккультных науках, в частности, в обряде посвящения, когда тело новообращенного символически пронзалось шпагами.

Поэзия! хочу твоей услады...
Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 6 июня 1912 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 161—162), с незначительными разночтениями. *Мэнады* (менады) — в греческой мифологии вакхан-

ки, неистовые спутницы Диониса. *Пентей* (Пенфей) — фиванский царь, которого Дионис покарал безумием за то, что тот препятствовал отправлению его культа. Был растерзан на горе Киферон во время оргии вакханками, принявшими его за дикого зверя. Первыми на Пентея набросились его мать Агава и сестры Ино и Автоноя. Миф разработан Еврипидом в трагедии «Вакханки» и Эсхилом в утраченной трагедии «Пенфей».

С. 77. Голгофа

Машинопись этого стихотворения и следующего, «Август», была послана Ал. Н. Чеботаревской. Там отсутствует разбивка на строфы, после обоих текстов дата (отсылки?): «30 сентября 1909». Вариант ст. 13—14: «Готовность жертвы в сердце тлится / И тайно ранит» (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 1—1об.). Вероятно, по получении этого стихотворения Блок писал Скалдину 17 апреля 1910 г.: «Многоуважаемый Алексей Дмитриевич. Спасибо Вам и за посвящение, и за присланные стихи, в которых мне многое нравится» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 184). Ритм стихотворения и его образность во многом сложились под влиянием циклов Блока «Город», «Снежная маска», «Фаина».

С. 79. Август

В машинописи из фонда Ал. Н. Чеботаревской отсутствует посвящение и ст. 10—12 даны в первоначальном варианте: «Но вот могучий, мрачный бук / Простер с укором голый сук / Прорезав...». Окончательная редакция — в письме к Вяч. Иванову от 11 апреля 1910 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 147), в котором упоминается, но не приводится еще один, промежуточный вариант этих строк. *Акимова Анна Семеновна* — сестра Серафимы Семеновны Акимовой, второй жены Георгия (Юрия) Дмитриевича Скалдина.

Записка

Автограф — в письме к Вяч. Иванову, без даты (опубл.: Там же. С. 159).

Любимую звезду сокроют небеса...

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 8 ноября 1910 г. с указанием места и даты написания (опубл.: Там же. С. 149—150).

С. 80. Памяти М. А. Врубеля

В письме от 17 октября 1910 г. Блок писал Скалдину, получив его стихотворения: «А „Пан“ мне больше нравится, чем „Памяти Врубеля“». Публикуя это письмо, Скалдин сделал примечание: «Замечания на мои стихотворения, посланные А. А-чу. Оба стихотворения, собственно, связывались с памятью Врубеля, а Врубель привлекал внимание А. А. Блока долго и сильно (это общеизвестно). Между нами разговоры о Врубеле были неоднократно — позднее один очень важный для нас (я его считаю таковым не без основания) — о „Раковине“ М. А. Врубеля (на посмертной выставке художника), — о карандашном рисунке, не об акварели» (Письма Александра Блока. С. 190).

С. 81. Когда бы Вы могли предречь...

Автограф — в фонде Ал. Ник. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 2). Датируется по автографу. *Пески* — район Петербурга, где в это время жила Чеботаревская (Греческий пр., д. 11, кв. 4). *Кассандра* — в греческой мифологии имя пророчицы, страшным предсказаниям которой никто не верил. Так назвал Чеботаревскую Вяч. Иванов. В его книге «Прозрачность» (М., 1904) есть стихотворение «Кассандре», об истории которого комментатор О. Дешарт пишет: «Стихотворение это было написано и передано Александре Ник. Чеботаревской в Национальной Библиотеке Парижа. В. И. был тогда с ней едва знаком. Она была удивлена и поражена именем Кассандры. Дома ее дразнили, называя „греческим козлом“, чего В. И. никак знать не мог. Меткое прозвище — *Кассандра* — осталось за нею навсегда в семье Ивановых» (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 864). Мотив страшного предсказания, которому не

внемлют, развернут в стихотворном повествовании Скалдина «Сказание о гибели города», написанном в том же году и тоже посвященном Ал. Н. Чеботаревской.

С. 82. Пряха

Центральный композиционный образ стихотворения — образ пряхи-парки — богини судьбы, прядущей нить человеческой жизни, — перекликается с одним из образов, возникших в стихотворении Вяч. Иванова «В облаках» (из цикла «Песни из лабиринта» книги «Cor ardens», 1904):

Ночь пряжу прядет из волокон
Пронизанной светом волны. <...>
Как звон струны заунывной,
В затвор из затвора ведет,
Мерцая, луч прерывный, —
И пряха-Ночь прядет.

С. 83. На пыльном разлоге...

Ярило — древний славянский бог плодородия. *Весь* — село, деревня.

Лунной ночью

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 11 ноября 1909 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 143). Датируется по автографу. *Ярь* — яровые.

С. 84. Суровый бог!..

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 4 июня 1911 г. (опубл.: Там же. С. 157—158). Датируется по автографу.

С. 85. Раным-рано...

А. С. Акимова — см. о ней на с. 480 наст. изд.

С. 86. Ильин день

Автограф карандашом — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 8) без даты, с незначительными разночтениями.

С. 87. Рождается радость иная...

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 11 декабря 1909 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 145), с обозначением даты написания и вариантами ст. 3: «Иль вспененный рифом рубинным прилив» и ст. 11: «В истершемся цикле жрецом сребровласым».

Тугонько, вишь, ухо старцево...

Автограф — в письме к Вяч. Иванову (опубл.: Там же. С. 150. Публикация текста стихотворения хронологически неверна — получается, что правка предшествует первоначальной редакции), с вар. ст. 1—2: «Неслышаще ухо старцево / Незрящи старцевы очи». После ст. 20 были еще два: «Всеслышаще ухо старцево, Всезрящи старцевы очи». В письме от 8 ноября 1910 г. Скалдин, внося исправления в начало и концовку стихотворения, объяснял и его стилистику: «Слово „вишь“ позволительно в соседстве с „оттоле“ и „червье“. Ведь в этом стихотворении по смыслу его, нужна большая непритязательность речи» (Там же. С. 149). *Посолонь* — по солнцу, с востока на запад, по канону старообрядческого богослужения.

С. 88. Хоровод

Журавли вы длинноноги... — строки из широко распространенной во множестве вариантов хороводной игровой песни. (Ее записи см., например: *Штейн П. В.* Великорусс в своих песнях,

обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах <...> Материалы, собранные <...> П. В. Штейном. Т. 1, вып. 1. СПб., 1898. № 323; *Логавской Ф. Н.* Народные песни Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губерний // Труды Костромского Научного общества. 1923. Вып. 29. № 5, 46; Традиционный фольклор Новгородской области. (По записям 1963—1976 гг.) Песни, причитания. Л., 1979. № 75 и др. Отметим, что во всех этих источниках называется Новгородская губерния, откуда Скалдин родом.)

С. 89. Город

Автограф — первоначальная редакция в форме сонета с датой: «15 октября 1910 года» и публикуемая здесь окончательная редакция — в письме к Вяч. Иванову от 8 ноября 1910 г. (опубл.: НЖ. 1998. Кн. 212. С. 151—152). В первой редакции ст. 9 отсутствует, а последние три стиха имели вид:

Один фонарь погас, а на стене закат,
Смесивши кровь и чернь, таинственной игрой
Колеблет круг часов и окон ряд.

С. 90. Бессонница

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 11 ноября 1909 г. (опубл.: Там же. С. 143—144) под названием «Бессонной ночью». *Митридат* (132—63 до н. э.) — понтийский царь, завоеватель, военачальник. Из-за крупных военных поражений покончил жизнь самоубийством: после тщетных попыток отравиться ядом («чаша Митридата») бросился на меч. *Геката* — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства.

Акростих

Вероятно, сохранившийся начальный фрагмент не дошедшего до нас стихотворного повествования.

Лег тяжкий камень; рдеющий лишай...

Автограф с названием «Белый град» — в письме к Вяч. Иванову от 4 декабря 1910 г. (опубл.: Там же. С. 154—155). Это вторая редакция стихотворения, о чем сообщается в письме. *Осса* — в греческой мифологии гора в Фессалии, которую титаны в борьбе с Зевсом пытались взгромоздить на Олимп.

С. 91. В яблоневом саду

Автограф — в письме к Вяч. Иванову от 13 октября 1909 г. (опубл.: Там же. С. 141—142), с обозначением места и времени написания: «СПб. 8-го октября 1909 года» и вариантами:
ст. 1—3:

Язычник маленький — горох мышиный,
По сохлым сучьям ели цепко в высь взбираясь,
Наивный разговор ведет с седой крушиной

ст. 19:

Се золото плодов

ст. 23—24:

Лицом к лицу земли родной стоят, слепые
В безбрежности ловя глас ангельского рога.

ст. 27:

Что твердь янтарная

Об этом стихотворении Скалдин писал: «Принадлежит оно к тому же циклу „Голгофа солнечная“, что и два присланные Вам. Труда на это стихотворение я положил достаточно, но в достоинствах его опять сомневаюсь вполне искренно. Желал бы посоветоваться с Вами по этому

поводу». Написанные ранее письма Скалдина не сохранились, других упоминаний об этом цикле не встречается, поэтому его состав остается неизвестным.

С. 92. О Имени Твоем

Мотив *Имени* постоянен в раннем творчестве Скалдина. Он возникает в романе о Никодиме, в стихах, в письмах к Вяч. Иванову, например в письме от 23 октября 1912 г.: «Недавно я написал стихотворение, кончающееся словами:

> А я, бессменный у станка,
> Хочу Господне выткать Имя
> На алом нитями златыми, —
> И нить блестящая тонка!

Ну вот, зная важность этих слов, памятуя, что вы говорили мне о „Имени“ и что Имени не знаем — не должен ли я возложить на себя высокую ответственность, печатая такое стихотворение. Но не будь здесь личного — стихотворение я напечатал бы» (Там же. С. 172—173). Упоминаемые Скалдиным высказывания Вяч. Иванова, без сомнения, связаны с положениями, которые он выстраивал в своих статьях, типа: «И в нашей национальной душе уже заложено знание Имени» («О русской идее», 1909); «Имя, коим я себя именую, сжигает меня Твоим огнем. Ни отменить и истребить этого Имени, ни осуществить его я не могу. <...> Пусть же Твое Имя, которым Ты знаменовал чело мое, будет <...> светом Отца на челе сына» (Автокомментарий к мелопее «Человек» (1915—1919) (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 3. Брюссель, 1979. С. 331, 743)) и др.

Вечерняя звезда

Книга Голубиная. — Духовный стих о «Голубиной книге», выпавшей на землю из тучи, содержащей вопросы и ответы о происхождении мира, его явлениях и главных на земле предметах, живых существах и святынях, — одно из важнейших произведений народной литературы. Название книги отражает влияние библейской символики: голубь — символ Святого Духа; кроме того, из-за огромных размеров — в длину сорока сажен, в ширину двадцати сажен — книга также именуется «глубинной» книгой мудрости. Ср. стихотворение К. Бальмонта «Глубинная книга»:

> Восходила от Востока Туча сильная, гремучая,
> Туча грозная, великая, как жизнь людская — длинная,
> Выпадала вместе с громом Книга Праотцев могучая,
> Книга — Исповедь Глубинная, тучей брошенная к нам...
> (*Бальмонт К. Д.* Жар-птица. М., 1907. С. 45—47.)

СТИХИ ИЗ ДРУГИХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

С. 96. Я ухожу и вижу вновь...

Автограф — в письме к Ал. Н. Чеботаревской от 17 августа 1912 г. (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 11 об.), в котором о стихотворении говорится: «совсем свежее». Датируется по временному промежутку между письмами Скалдина к Чеботаревской.

«Поедете в далекий край...»

Автограф — в том же письме к Ал. Н. Чеботаревской (Там же. Л. 10 об.). Это вторая редакция стихотворения, которую Скалдин сопроводил пояснением: «А то (стихотворение. — *Т. Ц.*), которое я послал Вам в предыдущий раз, мною уже переделано капитально: от прежнего осталось весьма немного. Не удивляйтесь этому. В новом виде стихотворение быть может и лживо, но не окончательно. Снова повергаю его на Ваш суд» (л. 10). Первая редакция — в письме к

тому же корреспонденту от 4 августа: «Написал одно стихотворение и, исполняя обещание, посылаю Вам. Мне оно почему-то дорого и успокаивает меня, а хорошо ли само по себе — не знаю. Судите строже. <...>

Поедете в далекий край,
Увидите иных людей,
А тех, кого встречали здесь,
Забудете до новой встречи.
Забудете... Мы вам простим
Забывчивость: ведь нужно знать,
Что нам, усталым, иногда
Так тяжки взгляды наших близких.
Я знаю: это хорошо —
Стать радостным младенцем вновь
И на прекрасный мир взглянуть
Недоуменными очами.
А тех, чьи знаете глаза,
Кто возле вас дышал и жил,
Вам доверял слова свои —
Не чувствовать, не видеть больше.
Так нужно. Но прошу я вас —
Не забывайте лишь того,
Кто вас любил, и чья душа
Горела ярко перед вами.
Не говорите, что забыть
Еще нужнее, чем других —
Увы! — питавшего любовь,
Что сердцу нужно дать свободу.
Я облегчу задачу вам
Советом мудрым и простым:
Лишь думайте, что вы не здесь —
В иных мирах — давно встречались.
Ведь для младенческой души,
Глядящейся в родивший мир,
В воспоминаньях о былом,
Довременном — таится правда.
(Там же. Л. 8—9 об.)

С. 97. Деревья свесили концы...
Автограф карандашом — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 12—14), без даты.

С. 98. Актер
Впервые: *Царькова Т. С.* А. Д. Скалдин и В. Э. Мейерхольд // Русская классика: Между архаикой и модерном. СПб., 2002. С. 28. Автограф — в фонде Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 208. Л. 3), без даты. *Мейерхольд Всеволод Эмильевич* (1874—1940) — режиссер и актер. Знакомство Скалдина и Мейерхольда состоялось на «Башне» Вяч. Иванова в 1910 г. и переросло в многолетнюю дружбу. В 1917 г. они сотрудничали в «Союзе деятелей искусств», и взгляды их на будущность культуры в новом государстве во многом совпадали. Сохранилось два письма Мейерхольда к Скалдину 1913 и 1917 гг. и три письма Скалдина 1917 и 1921 гг. (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. № 2366). Тот же сюжет, что и в «Актере», с совпадением многих деталей развернут в главе «Происшествие в театре» романа «Странствия и приключения Никодима Старшего».

С. 99. На Александровской сидит один...
Впервые: *Савельева Е.* Этот загадочный Скалдин // Саратов. 1993. 29 января. С. 3; как «стихотворение неизвестного автора». Так же оно определено и на обложке архивного дела (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 6. Л. 1). Однако есть основания утверждать, что это автограф. Стихотворение написано в излюбленной Скалдиным сонетной форме, оно автоироничнo. *Александровская* — улица, на которой в доме № 8, квартире № 1 жила в Саратове семья Скалдиных. *То вождь музейный...* — Кроме преподавательской работы и руководства театральной студией, Скалдин в 1920 г. заведует музейной секцией и отделом культов при Историко-архивном музее, а в марте 1921 г., не оставляя прежних занятий, принимает на себя заведование Радищевским музеем. *Не потрясет своей кудрявой гривой...* — ирония: Скалдин к этому времени был лыс. *Парламент оголенных дикарей* — политическая сатира на современность.

Петербург
Автограф — в фонде М. С. Лесмана (ИРЛИ). *Иванов Евгений Павлович* (1879—1942) — публицист, детский писатель, автор воспоминаний о Блоке. Скалдин знал его по «Башне» Вяч. Иванова, Религиозно-философскому обществу, собраниям у Д. С. Мережковского. Е. П. Иванов, «человек с умом и вкусом», упомянут в письме Скалдина к А. Г. Архангельскому от 16 сентября 1916 г. как их общий знакомый (РГАЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № 93. Л. 16—17). *Мера* — философская категория и эзотерический термин, значения которых не совпадают. *Химера* — порождение Ехидны и Тифона, трехглавое чудовище, которое победил Бемерофон, поднявшись в воздух на крылатом Пегасе.

Сибирь
Печатается по автографу — записи в альбоме В. Кривича (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. № 111. Л. 4). Стихотворение навеяно воспоминаниями о многочисленных длительных поездках по стране, в том числе и Сибири, в качестве книготоргового агента в 1924—1928 гг. *Монтецума* (Монтесума) (1390—1469?) — вождь ацтеков, *Кортес* Эрнан (1485—1547) — испанец, завоеватель Мексики — имена, которые часто встречались в русской литературе конца XIX — начала XX в. и приобрели почти символическое значение.

ПРОЗА

СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОДИМА СТАРШЕГО

Впервые: Пг.: Фелана, 1917. Репринтное изд. — Нью-Йорк, 1989. Черновая рукопись, машинопись с авторской правкой и гранки гл. I—X — РГАЛИ (Ф. 487. Оп. 1. № 9—11). Начало работы над романом может быть отнесено к январю 1916 г. В письме от 29 января 1916 г. к Вяч. Иванову Скалдин сообщал: «Шлю привет из Архангельска, куда я себя заточил на время. Работаю, пишу повесть, скучаю». Дата завершения обозначена в рукописи: «мая 29 дня 1916 года». Произведение было задумано как трилогия и в рукописи имело заглавие «Повествование о Земле». Ему был предпослан эпиграф:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек, —
С древней Матерью Землею
Он вступи в союз навек.
Шиллер в переводе.

(Так в машинописи. В рукописи: Жуковский из Шиллера.) Эти строки цитирует Достоевский в романе «Братья Карамазовы» (ч. I, кн. 3, гл. III «Исповедь горячего сердца. В стихах»).

Оглавление в рукописном варианте содержит всего девять глав, и названия их носят более личностный характер: «О двух афонских монахах и о трех тысячах чудовищ», «О том, как я их выслеживал и поездке моей в Исакогорку», в чем проявился автобиографический характер замысла. Сохранился также план не дошедших до нас «Приложений»:

«I — О Дионисе-царе.

II О розе и о двух Духах, облетевших Силы Небесные.

III Об иконе Божией Матери, именуемой Козельско-Проклятскою».

Скалдин описывал места, где он в то время работал, и повествование в первоначальном варианте велось от первого лица. В машинописи гл. XXVII и XXVIII идут в обратном порядке. Авторская правка в машинописи и гранках носит характер сокращений и уточнений в тексте. Так, во «Вступлении» (машинопись) было сокращено начало: «Повествование о Земле, о проявлении ее темных и необузданных сил, о божественно-прекрасных чертах ее загадочного лика, — величественного и страшного — о прегрешениях и святых делах ея, — связано мною с повестью о странствиях и приключениях Никодима Старшего, прозванного так потому, что в семье его, кроме второго, после героя, брата Валентина, был младший брат, носивший тоже имя Никодим.

У истории Земли для нас, разумеется, нет видимого начала и конца ея, хотя бы предполагаемый будет казаться нам загадочным. История же Никодима, начавшаяся весной 191* года странными и необычными событиями, также еще не завершилась вполне: круг событий не описан и некончившееся таит в себе многие новые, не менее странные и необычные возможности. Однако быстротечность жизни побуждает меня взяться за перо теперь, дабы различные подробности, мне сейчас хорошо известные и полные важного смысла, не ускользнули впоследствии из моей памяти, чем для читателя, возможно, была бы совершенно затемнена эта правдивая история. Точный же повествователь, излагая ее, стремился не прибавлять в своем описании к действительно происходившему даже йоты и не убавил ничего.

Как Никодим жил во время описываемых мною событий и какими путями стремился войти в тайную связь с Землею, какой любовью был выведен наконец на прямой и верный путь к достижению неосознанной им цели — читатель узнает постепенно, не из вступления, а из самой повести; характер и лицо Никодима он увидит также из нея. Но ничего не возникает из пустоты и безотносительности: у Никодима был дом, была семья, была родовая история и потому, уступая необходимости несколько осветить его близкое прошлое и указать, в каком кругу он родился и вырос, дабы читателю не приходилось задавать себе иногда праздные вопросы и подыскивать к ним ошибочные ответы, — я опишу то и другое».

В гранках Скалдин сокращает характеристики героев: после фразы: «благодарная своей жизни» (с. 104), относящейся к Алевтине, следовал еще абзац: «Постоянно делала она какие-либо замысловатые игрушки: хижину австралийского дикаря, сталактитовую пещеру, но сама ими не играла, а дарила обыкновенно случайно встретившимся детям. Те, конечно, ломали их скоро; она огорчалась этим, даже плакала, но потом принималась за что-нибудь новое». О Валентине после слов: «собака Трубадур, обыкновенно, сопровождала его» (с. 104) первоначально было: «следовала за ним. Чаще всего Валентина встречали в лесу, причем он жутко взглядывал на прохожего, скривив как-то голову на бок совсем своей манерой и смотря не глазами, а будто половиной лица, обращенной к встречному. Знакомые его побаивались при таких встречах, казалось, он мог убить всякого без малейшего повода со стороны того, лишь в припадке тоски и скрытой злобы на непонятные и неясные свои томления». В самом начале гл. I исключен абзац, относящийся к главному герою: «Проходя перед утренним кофе в столовую, Никодим увидел на одной из новых сосновых рам большую каплю смолы. Он взял ее на палец и растер — смола почернела, как чернеет свертывающаяся кровь. И Никодим подумал: „Это и не может быть иначе — ведь смола тоже кровь“». В гл. III вычеркнута последняя фраза, не исключено, что из соображений автоцензуры: «А впрочем, какие же чудовища? По виду они ничем не отличались от деревенских рабочих». И далее сохранен тот же характер правки.

16 сентября 1916 г. Е. К. Складина сообщала А. Г. и П. И. Архангельским: «Алексей же Ваш друг и приятель, мой муж написал роман и поставил точку, что для нас, конечно, большое со-

бытие, и вот он читает свое детище уже в четвертый раз в разных кружках, имеет успех и будет книжка» (РГАЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № 93. Л. 16 об.). 30 сентября того же года Ал. Н. Чеботаревская писала М. О. Гершензону: «Роман Скалдина мы прочитали вместе с Алексеевыми, Болдыревым и Сюннербергами (читал Скалдин $2^1/_2$ вечера), и он очень всем понравился своей серьезностью и силою в нем изображенного» (РГБ. Ф. 746. № 43. Карт. 23. Л. 52).

Однако журнал «Русская мысль», которому был предложен роман, его отклонил. 22 сентября 1916 г. Скалдин получил ответ редакции:

«Милостивый государь Алексей Дмитриевич,

Редакция „Русской мысли“ прочла Ваш роман „Повествование о земле“. Он обнаруживает художественное дарование Ваше, но по содержанию не подходит к „Русской мысли“ и не может быть в ней напечатан...» (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 85. Л. 1).

Время выхода романа из печати — сентябрь 1917 г. А. А. Блок получил книгу с дарственной надписью 25 октября, о чем есть запись в его книжном «Алфавите». Политические события той осени не способствовали активному обсуждению столь сложного произведения в критике. Скалдин даже обратился от своего имени и от имени Ю. Н. Верховского к М. А. Кузмину с просьбой написать рецензию для литературного приложения к газете «Воля народа». Была ли его просьба исполнена, неизвестно. Появился лишь один критический отзыв на роман — в обзоре Е. Лундберга «Под знаком Зодиака» (Знамя труда. 1917. № 108 (31 дек.)), рецензия весьма поверхностная, но в ней сделана попытка определить предшественников Скалдина. Лундберг называет имена А. Белого и Т. А. Гофмана, из поколения Скалдина — В. Маяковского и поэтов «Центрифуги», с которыми автор, по мнению рецензента, связан «вкусами, литературностью, теософичностью». «Но он — не боец, цели его идут вглубь, а не вширь. Это писатель, которому, вероятно, суждено остаться без читателя и без последователя». Иные оценки находим в письмах к Скалдину его друзей-литераторов. 3 октября 1917 г. Ф. Сологуб пишет: «Получил и прочел Ваш интересный и причудливый роман» (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 83. Л. 3), 13 ноября 1917 г. — К. Сюннерберг: «Грозные современные события, конечно, заслоняют Ваш роман. Но это не надолго. Я уверен, что он, несмотря на все, найдет себе почетное место в истории русской литературы» (Там же. № 37. Л. 2). Масштабно воспринимал роман А. Г. Архангельский, о чем свидетельствует письмо от 8 января 1918 г.: «Читал твой роман и большое на меня, скажу прямо, произвел он давление. И как странно — то, что раньше показалось бы фантастикой — звучит как самое наиреальнейшее. Как мистично все и как символичны чудовища!

Душа поэта — сейсмограф (в пределах зарождения). Дай Бог, чтобы землетрясения наших дней не сломали наших душ» (Там же. № 28. Л. 33). А. А. Кондратьев в письме без даты, вероятно в начале 1918 г., писал:

«Глубокоуважаемый Алексей Дмитриевич

Сердечно благодарю Вас за „Странствия и приключения Никодима Старшего“. Чтение этой книги я предположил было отложить до предполагаемой (увы, не состоявшейся) поездки на юг, но не удержался, соблазнился, начал читать и не мог, конечно, оторваться, пока не прочел ее всю. По-видимому, однако, придется перечесть ее вновь (и я уже к этому приступил), так как ужасно тянет выделить искусно переплетенную со сном и бредом действительность. Это трудно, но заманчиво. Хотя порою мне кажется, что границ мне не найти, так как их и нет вовсе, а возникшие, б<ыть> м<ожет>, первоначально в мозгу Никодима образы ведут затем свое собственное независимое от него существование. Тут уже мы имеем дело с чем-то вроде магии, если не с нею самою.

Во всяком случае, Ваша талантливая книга тянет меня к себе вновь, а этого давно уже со мной не случалось.

Еще раз, хотя и с запозданием, благодарю Вас за Вашего Никодима.

Искренне Вам признательный Александр Кондратьев» (Там же. № 60. Л. 1).

Пройдут годы, а роман по-прежнему будет притягивать читателей. Не знакомый еще со Скалдиным молодой художник Н. В. Кузьмин, будущий иллюстратор Пушкина, писал в 1921 г. из Сердобска автору «книги, которая не переставала занимать и восхищать» его в течение четырех лет:

«Впервые я прочитал ее в 1917 году на фронте под Венденом, где стояла наша часть в ожидании результатов Брестских переговоров. Я живо помню удивительное чувство личной заинтересованности (чувство, которое мы испытываем в детстве при чтении любимых книг и которое мы теряем вместе с детством), которое возбуждают странствия Никодима по невозможно-призрачному миру снов.

Верный первоначальному впечатлению, всякий раз, когда я снова достаю с полки маленький томик с геральдическим рисунком на обложке — меня по-новому захватывает и волнует эта причудливо-убедительная логика кошмара, этот „элизейский" отблеск мира нереального на чертах действующих лиц.

Заинтересовавшись романом, я старался отыскать Ваши вещи по журналам, но кроме двух стихотворений в „Аполлоне" ничего найти не мог. Времена в литературе были глухие, и я не мог также познакомиться с отзывами критики, да признаться — и не ожидал отсюда ничего путного. Подыскивая аналогии в литературе, я припомнил некоторые прозрачные страницы Жан-Поля и „Серебряного Голубя" — тонкость „пейзажной живописи" сближает с ними „Никодима"; убедительность „логики кошмара" приводит на память Честертонова „Человек, который был Четвергом" и, пожалуй, отчасти — „Сны" Ремизова.

Но, в целом, роман ни с чем не сравним, необычаен и оставляет смутное чувство беспокойства. Всё кажется, что не до конца понятны эти намеки нездешнего мира, не разгадана загадка вещего сна и роман остается тревожной и дразнящей фантасмагорией, возникающей в лихорадочном бреду» (Там же. № 65. Л. 1—2 об.).

И через четыре месяца, уже по получении ответного письма (письма Скалдина не сохранились), Кузьмин продолжает делиться своими впечатлениями:

«После Вашего письма я снова взялся за Никодима, чтобы проверить Ваши предостережения.

Вы настаиваете на *реальности* изображенного, но — может быть — это лишь спор о словах? Я помню, как критики называли реалистом фантаста и визионера Чурляниса (художника, которого я очень люблю и очень чувствую), но какое же место мы оставим тогда, скажем, Шардэну или Вермееру Дельфтскому, изобразителям прекрасной „кожи вещей"?

Нет, не думаю, чтобы я был „искушен" романом понапрасну. Ведь не ложны же мои переживания и волнения, которыми вновь подарила меня Ваша книга; снова я ощутил знакомый холодок ужаса и смертельной опасности в главах о Содомской долине и саде мужеубийц (самые волнующие места в книге). Вашим романом я очарован, как прекрасной *вещью*; разве Ваше самолюбие художника не удовлетворено этим?

Буду с нетерпением ждать выхода следующих частей Вашего „Повествования о Земле". Где Вы предполагаете их издать?

Если Вы не имеете в виду ничего лучшего — я был бы счастлив сделать для Вас обложку или фронтиспис» (Там же. Л. 5 об.).

В своем предисловии к переизданию романа В. Крейд процитировал интервью, данное эмигрантским писателем Борисом Фальковым журналу «Стрелец» в 1988 г.: «Уверен, что книга эта отмечена гениальностью. Там много сделано впервые. Например, абсурдистские принципы, вошедшие в обиход в Европе куда позже. Затем перенесение в прозу драматических методов, в частности, отсутствие мотиваций... Психология и поступки его типажей абсолютно лишены архаики девятнадцатого столетия... Скалдин был действительно голова...» Последнее утверждение — цитата. Фальков приводит слова философа С. Я. Аскольдова, вероятно, по воспоминаниям его племянницы: «Скалдин принадлежал к кругу петербургских философов, частенько заходил в дом Аскольдова. И он, и Флоренский, кажется, отзывались о Скалдине с большим пиететом. Аскольдов однажды выразился про Скалдина: большая голова» (*Крейд В.* О Скалдине и его романе // Скалдин А. Странствия и приключения Никодима Старшего. USA, 1989. (Репринт.) С. XVII).

Предположение Е. Г. Лундберга о том, что «писателю суждено остаться без последователя», было опровергнуто в позднейших исследованиях. В том же предисловии к роману В. Крейд писал: «Внимательный читатель отметит определенное сходство „Никодима Старшего" с „Мастером и Маргаритой" Булгакова, памятуя, что Булгаков взялся за свой роман позднее, и, на-

верное, будучи знакомым с произведением Скалдина» (Там же. С. XVIII). Еще категоричнее в своих суждениях современный драматург Н. Садур: «С этого романа Михаил Булгаков написал „Мастера и Маргариту“. Булгаков просто взял Алексея Скалдина и Густава Майринка, перемешал и написал свой на самом деле шедевр. Но в первооснове — Алексей Скалдин и Густав Майринк» (Литературная газета. 2001. № 3 (17—23 янв.). С. 9).

В 1994 г. роман был переведен на шведский язык К. Иохансоном, а в 2001 г. в Германии вышло первое монографическое исследование о нем: *Ackermann A.* Odipus im Gluck. Zur Poetik von Aleksej Skaldins Roman «Stranstvija i prikljucenija Nikodima Starsego», — в котором роман трактуется как «трансформация мифа об Эдипе» и рассматривается как переходный текст двух эпох — символизма и авангарда.

А. П. Остроумова-Лебедева в своих «Автобиографических записках» (М., 1974) воспроизводит разговор со Скалдиным 1932 г., в котором Скалдин сообщил ей о том, что две остальные части трилогии были написаны и отправлены им в зарубежное издательство. Можно предположить, что речь шла о берлинском издательстве З. И. Гржебина, так как с братом издателя Н. И. Гржебиным Скалдин был дружен и сотрудничал в начале 1920-х гг. в Саратове. Однако если обратиться непосредственно к дневникам А. П. Остроумовой-Лебедевой за 1932 г., хранящимся в Отделе рукописей РНБ, то можно заметить, что две записи о Скалдине 1932 г. — о его чтении нового романа и об их встрече в парке Детского Села — полнее, чем текст «Записок»:

«12-го <марта> Суббота

<...> Вечером я была у Верховских. Там писатель Скалдин читал в рукописи свой новый роман. Были Юрий Никандрович, его брат, жена, брат Скалдина — художник с женой, Дима, приехавший из Луги, Лидия Ивановна и еще два неизвестные мне знакомые Юрия Никандровича. <...>

Действие романа происходит на острове Ява. Написан он хорошим, правильным, простым языком. Сюжетно, образно делает впечатление, что автор романа там много лет жил и хорошо знаком с бытом явайцев, флорой и фауной. Прочел он несколько глав.

После моего ухода он еще два часа читал. И я жалела, что мне пришлось уйти.

Было уютно, интересно, и я вспомнила старые годы, когда у них бывать было очень замечательно.

Начала читать его другой роман — „Странствие и приключение Никодима Старшего“. Фантастично» (РНБ. Ф. 1015. № 51. Л. 85об. — 86 об.).

«22 марта, вторник.

Утром, идя в парк, встретила Скалдина. Я его остановила. Мы поговорили о его книге „Приключение Никодима Старшего“, о странностях этого романа. Должны были выйти вторая и третья части, но не вышли и не выйдут. Он обещал зайти к нам и дать ответы на вопросы. Писан этот роман, когда ему было 22 года. Случайностями судьбы остался за границей, так как все издание в свое время находилось в Двинске. Этот роман имеет очень много и самых противоречивых отзывов. Скалдин говорил, что существует только два сорта людей, его читающих: одни, начиная, бросают сейчас же, говоря „чепуха“, другие, начиная читать, не отрываясь, читают его до конца.

Я отношу себя к последним, так как не могла остановиться, не прочитав его весь, на меня он произвел очень странное впечатление, и это впечатление осталось на много дней.

Я спросила название вещи, которую он читал у Верховских. Точно не помню, приблизительно — „Земля Каанам“» (Там же. Л. 90—90 об.).

В дневниковой записи от 22 марта уточняется место заграничного издательства — Двинск. К сожалению, не фиксируется время, когда вторая и третья части трилогии были туда отправлены. Как нам удалось установить, собственно издательств в 1920—1930-е гг. в Двинске не было. Была типография, которая обслуживала городскую газету (менявшую свои названия) и иногда печатала что-то из беллетристики. В эти годы в Двинске жил, работал учителем и редактором этой газеты Арсений Иванович Формаков (1900—1983), поэт и прозаик, впоследствии — автор мемуарных произведений. В 1917 г. Формаков учился в Петрограде, в Технологическом институте, писал стихи и носил их на отзыв к Блоку, восхищался театральными постановками Мейерхольда. В 1927 г. с группой учителей Формаков совершил поездку из Риги в Ленинград и Москву. Свои впечатления о Советской России, встречах и столкновениях двух миров он отра-

зил в романе «Фаина» (Рига, 1940), по жанру приближенном к путевым запискам. Обращает внимание то, что герой Формакова поселяется в Ленинграде в Доме ученых (ул. Халтурина, д. 27), где в эти годы живет родной брат Скалдина — Юрий, что контакты устанавливаются с работниками издательств. В романе героя принимает Ольга Давыдовна Каменева, возглавлявшая Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), но именно к Каменевым по праву родства обращался в 1923 г. Ф. Сологуб с просьбой помочь в деле освобождения из саратовской тюрьмы Скалдина. Таким образом, знакомство Скалдина с Формаковым и передача ему рукописи для печатания в Двинске становятся вероятностными. Формаков был арестован органами МГБ в 1940 г. и выслан в Россию на семь лет, за первой последовала вторая ссылка, которая продлилась до 1955 г. После освобождения он жил с семьей в Риге. В семейном архиве сохранились его послессылочные рукописи (см. об этом: *Трофимов И.* Как Формаков в Россию ездил // Невгин. 2002. № 4. С. 66—71). Архивы Двинска сжигались и эвакуировались в 1939 г. перед приходом советских войск и в 1941 г. перед немецкой оккупацией.

Еще одним фактом, подтверждающим существование продолжения и финала трилогии, может служить надпись Скалдина на обороте гранок статьи «О письмах А. А. Блока ко мне», служивших, вероятно, обложкой другого труда: «Разное 1924 года и к III части Никодима» (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 13).

С. 104. *Из обитателей дома старшею была мать ~ своим полумонастырским одиночеством.* Скупо намеченные в романе линии отношений отца и Никодима, отца и семьи во многом автобиографичны. Дмитрий Андреевич Скалдин тоже не жил с семьею, уезжал на долгие годы то в Петербург, то в другие губернии. Отношения с женой были отчужденными. В семье знали, что младшая дочь Валентина — не его дочь. В молодости Дмитрий Андреевич провел несколько лет в монастыре, потому что в кулачном бою ненамеренно убил человека.

С. 109. *С Афона оба мы. Только изгнаны оттуда за правду...* Вероятно, намек на то, что монахи изгнаны с Афона за принадлежность к секте имяславцев. Секта эта возникла в православных монастырях Старого Афона (Греция) в 1910—1912 гг. Приверженцы ее вопреки официальному православию утверждали, что человек может славить только имя Бога, а не его самого, и были отлучены от Церкви, высланы в Россию. После Октябрьской революции на Северном Кавказе они создавали нелегальные секты и скиты, впоследствии ликвидированные. В 1930-х гг. секта распалась. Споры об имяславии затронули религиозно-философские круги 1910-х гг. С. Н. Булгаков впоследствии посвятил этой проблеме книгу «Философия имени» (Paris, 1953).

Блаженны есте... — Мф. 5: 10.

С. 114. *«Я сказал вам...»* — Ин. 18: 8—9.

С. 120. *Гуммиарабик,* или камедь аравийская — застывший сок африканских акаций; употреблялся для склеивания, для загустки красок, в литографии.

Фуляровый платок — платок из легкой и мягкой шелковой ткани.

С. 122. *Вересина.* Вересиной или вересником в некоторых местах называют можжевельник, а в архаичном значении — вообще хвойные и смолистые растения.

С. 123. *Папортник* — областное произношение литературного слова «папоротник».

С. 124. *Благородный олень.* По мнению В. Н. Илюшечкина, этот образ навеян древнегреческим мифом (*Илюшечкин В. Н.* Реминисценции греческого мира об Актеоне в романе А. Д. Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшего» // Проблемы художественного метода русской литературы конца XIX — начала XX веков: Тезисы докладов Крымской научной

конференции 18—29 сентября 1990 г. Симферополь, 1990. С. 57). В христианской символике олень означает призыв держаться опасливо, оберегаться. Во время, предшествующее написанию романа, в Петербурге под Высочайшим патронажем строился храм Спаса-на-водах, в интерьерах которого был запечатлен образ оленя. В романе этот образ возникает дважды (см. гл. XXX) и тоже может быть трактован как предупреждение об опасности тем, кто вознамерился перейти запретную черту.

С. 124. *Шкаф* — устойчивый образ, символизирующий тайну, сокрытие, смерть. Ср. у Достоевского в «Преступлении и наказании» описание комнаты Раскольникова: «Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру» (Ч. 1), «Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб» (Ч. III), а также позже символическое значение шкафа в книжной и зрелищной поэтике обэриутов.

С. 126. *Надеждинская улица* — одна из центральных улиц Петербурга, с 1936 г. — улица Маяковского.

С. 127. *...керосиновую лампу, в двадцать линий...* Двадцать линий обозначают ширину фитиля лампы — 5 см.

С. 130. *Вотье* — владелец нескольких шляпных магазинов, располагавшихся в Петербурге на Невском проспекте.

С. 134. *Семеновская площадь* — площадь в Петербурге на пересечении Гороховой улицы и реки Фонтанки.

С. 135. *Исакогорка* — железнодорожная станция, расположенная напротив города Архангельска, на другом берегу Северной Двины.

С. 139. *...сердобский второй гильдии купец.* Сердобск — уездный город на северо-западе Саратовской губернии, в котором была налажена торговля преимущественно хлебом и лошадьми.

...за Обводным каналом. Обводный канал в Петербурге соединяет реки Неву и Екатерингофку. В начале XX в. — окраинный район города, где располагались вокзалы и возводились промышленные предприятия.

С. 143. *Крестовский остров* — большой остров в северной части дельты реки Невы. В описываемое время малонаселенный район Петербурга, который только начинали застраивать доходными домами и особняками.

Николаевский вокзал — ныне Московский вокзал в Петербурге.

С. 145. *Руки, ноги, головы, туловища делают...* Мотив замещаемости частей тела, пограничности живых людей и оживленных человеческих конструкций будет воспринят и развит русским авангардным искусством. Наиболее яркий пример — повесть Д. Хармса «Старуха» (1939).

С. 162 и 166. *Медный змий* — ветхозаветный образ, символ идолопоклонства и отступничества от истинной веры.

С. 163. *Рясофорный* — начальная ступень монашества.

С. 167. *Белый голубь* — символ Духа Святого. Белыми голубями называли себя скопцы.

С. 168. *Но тут он заметил в фигуре движение и жизнь.* Мотив ожившей статуи воспринят литературой модернизма из мифологии (Пигмалион) и классической литературы («Каменный гость» и «Медный всадник» Пушкина).

С. 172. *Курма* — верхняя хлопчатобумажная одежда.

С. 203. *Первое выступление Никодима ознаменовалось необыкновенным и ужасным происшествием.* Сюжет этот волновал Скалдина на протяжении нескольких лет. Он возникает в стихотворении «Актер», посвященном В. Э. Мейерхольду (см. с. 98 и 484 наст. изд.).

С. 218. *Глафира Селиверстовна.* Автор монографии о хлыстах А. М. Эткинд прообразом этой героини считает «Охтенскую богородицу Дарью Васильевну Смирнову» (*Эткинд А.* Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998. С. 356).

С. 219. *Дочери Лота.* По библейскому мифу, семья праведника Лота спаслась из объятого пламенем Содома. Жена Лота, нарушив запрет, оглянулась на горящий город и обратилась в соляной столп. Лишенный пристанища Лот с дочерьми поселился в пещере. Дочери его, считая, что из всех людей только они остались в живых, ради восстановления рода вступили с отцом, напоив его вином, в инцестуальную связь и родили от него сыновей.

С. 223. *Сергиевская* — улица в центральной, аристократической части Петербурга, с октября 1923 г. — улица Чайковского.

РАССКАЗ О ГОСПОДИНЕ ПРОСТО

Впервые: Аврора. 1993. № 10—12. С. 35—49.
Беловая рукопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 50. В РО ИРЛИ рукопись поступила от литературоведа П. Н. Медведева. «Рассказ о Господине Просто» представляет собой главу из романа «Вечера у Мастера Ха». Другой вариант названия — «Вечера у Мастера Христофора». Вяч. Иванов в статье «О русской идее» (1909), на которую Скалдин опирался, работая над докладом «Идея нации» (см. с. 348—368 наст. изд.), приводит легенду о Христофоре, «полудиком сыне Земли», спасающем свою душу и переносящем через широкую реку на богатырских плечах паломников. В одну из ночей он «принимает на свои плечи не узнанного им Божественного младенца. Но так оказалось тяжко легкое бремя, им поднятое, словно довелось ему понести на себе бремя всего мира». «Если народ наш назван „богоносцем“, то Бог явлен ему прежде всего в лике Христа; и народ наш — именно „Христоносец“, Христофор» (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 3. Брюссель, 1979. С. 336). В соотнесении с этим образом вариант названия книги, которую Скалдин определял как серию новелл «о революции», можно трактовать как *перед лицом народа.* Книга была закончена и в 1922 г. находилась в производстве, но в связи с арестом Скалдина набор был рассыпан, а рукопись утрачена. Двойная дата под рассказом: «Март 1919 г. — октябрь 1924 г.» — указывает на то, что автор продолжил работу над сохранившейся главой по возвращении в Петроград после освобождения из заключения.

Останавливает внимание и заглавие рассказа. *Человек просто* — один из персонажей «Мистерии Буфф» (1918) В. В. Маяковского (во второй редакции — Человек из будущего). Персонаж этот произносит всего несколько реплик, но автор, безусловно, придавал ему особое значение, так как исполнял эту роль сам. Скалдин, хоть и находился в это время в Саратове, о премьере пьесы, несомненно, знал, ведь ее ставил В. Э. Мейерхольд, с которым отношения установились еще на «Башне» Вяч. Иванова и с которым он был единомышленником в Союзе деятелей искусств. Не исключено, что эта перекличка имен героев носила полемический характер: в недавней рецензии Е. Лундберга на роман о Никодиме произведение Скалдина противопоставлялось революционному творчеству Маяковского.

С. 226. *...парижане выразят так: <...>* — здесь в рукописи предлагался схематичный рисунок раскроя юбки.

Кабошон — драгоценный камень, не граненый, а выпукло отшлифованный с одной или двух сторон.

С. 233. *...как у Гомера...* Имеется в виду «Илиада», песнь третья, ст. 150—160.

УЛИКА

Впервые: Русская литература. 1994. № 1. С. 187—197. Рукопись — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 524, с пометами: «Ц<арское> С<ело> 22/V — 23/V 1928 г.». В рассказе отразились впечатления Скалдина от пребывания в саратовской тюрьме, от экспедиций по Саратовской губернии и по Приморью. Единственное из сохранившихся произведений Скалдина, написанное в сказовой манере.

С. 242. *Шабры* — соседи.

С. 244. *Лампа-семилинейка* — керосиновая лампа с шириной фитиля около 18 мм.

КОЛДУН И УЧЕНЫЙ

Впервые: *Скалдин А.* Колдун и ученый. М.; Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931 / Обложка и рисунки Н. Лапшина. Черновой автограф, машинопись с авторской правкой, издательский договор от 28 мая 1930 г. — РГАЛИ. Ф. 487. Первоначальное название произведения в рукописи: «Художник, колдун и ученый», рукопись датирована: 7/III — 15/III 1930 г. Время работы Скалдина над книгой совпадает со временем его службы в Ленинградском отделении Государственного издательства в качестве редактора и библиотекаря. Вероятно, она в ряду других детских книг Скалдина (Чего было много. Л., 1929; За рулем. Л., 1930 и др.) писалась для заработка. В то же время в этом научно-популярном повествовании, адресованном детям старшего возраста, отразился постоянный интерес писателя к материальной истории, археологии и истории искусств. Вымышленные герои и события, введенные в целях занимательности изложения, соседствуют с историческими фактами, открытиями и именами ученых, поэтому и жанровая природа произведения трудноопределима, она неоднородна и текуча: сказка, легенда сменяются беллетристикой, а та, в свою очередь, — документалистикой и статистикой.

С. 260. *Альтамирская пещера* — пещера близ моря в провинции Сантандер (Испания), знаменитый памятник искусства конца эпохи верхнего палеолита, насчитывающий не менее 20 тысяч лет. Наскальные изображения животных (зубров, кабанов, лошадей и др.) выполнены черной, красной и желтой красками.

С. 261. *Тюк д'Одубер* — пещера в Пиренеях, в бассейне Роны. Открыта 6 июня 1912 г.

С. 262. *Аха-Мен* (Мина, Мена) — первый из египетских фараонов-людей, основатель династии, основатель, по позднейшим сказаниям, города Мемфиса, объединивший Верхний и Нижний Египет, предпринимавший работы по регулировке разлития Нила. Его также считали изобретателем грамоты и автором печальных песен «Манерос», которые он будто бы пел над телом умершего сына.

Буто — город, стоявший в дельте Нила.

С. 262. *Нехебт* (Эль-Каба) — город в Верхнем Египте, стоявший на Ниле.

С. 263. *Гор* — в египетской мифологии божество, воплощенное в соколе, покровительствующее царской власти. Фараоны являлись служителями Гора, преемниками его власти над Египтом. Другая ипостась Гора — объединитель земель Верхнего и Нижнего Египта.

С. 264. *Пта* (Птах) — в египетской мифологии бог города Мемфиса. Демиург, создавший первых восемь богов. Считался покровителем ремесел, искусств, а также богом истины и справедливости.

Тот — в египетской мифологии бог луны, времени, мудрости, счета и письма.

С. 271. *Коптос* (Копт) — город, расположенный севернее Нехебта.

Левкос — город-порт на берегу Красного моря, с Коптосом соединялся Дорогой Гаммамат.

С. 284. *...французский химик Гиме открыл способ...* Одновременное открытие способа приготовления искусственного ультрамарина приписывалось трем независимо друг от друга работавшим химикам: французу Гиме и немцам Гмелину и Кёттигу, директору лаборатории королевского фарфорового завода в Мейсене. Но первый завод по производству искусственного ультрамарина был построен в 1828 г. Гиме.

С. 285. *Перкин Вильям* (Уильям) *Генри* (1838—1907) — английский химик-органик, в 1856 г. получил пурпурную краску мовеин — один из первых синтетических органических красителей — и организовал его производство.

Зинин Николай Николаевич (1812—1880) — русский химик-органик. Синтезы Зинина послужили основой для промышленности синтетических красителей, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов и др. Вместе с другими исследователями Зинин создал большую школу русских химиков, активно участвовал в организации в 1867—1868 гг. Русского химического общества.

Вёлер Фридрих (1800—1882) — немецкий химик, который в 1828 г. впервые синтезировал из неорганических веществ органическое соединение. Вёлеру принадлежат и другие работы в области органической химии; его труды получили широкое распространение.

С. 290. *Унфердорбен* — химик из Саксонии, нашедший в 1826 г. среди продуктов сухой перегонки индиго маслообразное вещество, названное им кристаллином.

Фричше (Фрицше) *Юлий Федорович* (1808—1871) — химик и ботаник. В 1934 г. переехал в Россию, работал в области органической химии. Анилин получил в 1840 г.

Либих Юстус (1803—1873) — немецкий ученый, один из основателей агрохимии; главные исследования — в области органической химии. Работал с Ф. Вёлером.

Гофман Август Вильгельм (1818—1892) — немецкий химик-органик. Ученик Ю. Либиха. В 1868 г. основал Германское химическое общество. С 1868 по 1892 г. — председатель этого общества. Над выделением анилина и усовершенствованием реакции Н. Н. Зимина работал в 1841—1845 гг. Работы Гофмана и его школы имели большое значение для создания промышленной переработки каменноугольной смолы и производства синтетических красителей. Гофман синтезировал в 1858 г. краситель анилиновый красный — фуксин, выяснил строение некоторых других красящих веществ и получил ряд новых красителей.

Митчерлих Эйльгард (1794—1863) — известный немецкий химик.

С. 291. *Верген* (Вергуэн) — изобретатель одного из способов получения фуксина (1859) и один из основателей производства искусственных органических (смоляных) красок.

Никольсон — химик, известный как изобретатель приема, позволяющего растворять искусственные органические краски в воде, а не в спирте, что значительно удешевляло их производство.

ХОРОШИЕ ХОЗЯЕВА

Печатается по рукописи, окончание которой утрачено, — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 515. Вольный перевод испанской анонимной повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554). Вероятно, время работы над повестью относится к началу 1930-х гг.

С. 294. *Саламанка* — город в Испании, расположенный на реке Тормес. Саламанский университет, основанный в XIII в., пережил свой расцвет в XVI в., когда там обучалось до 5 тысяч студентов и когда он стал одним из центров теологического образования и инквизиции.

С. 295. *Блаженны изгнанные за правду* — Мф. 5:10.

С. 297. *...мы спустились к каменному мосту...* Речь идет о мосте, частично уцелевшем еще от римской эпохи.

С. 298. *Гален* Клавдий (129—201) — древнеримский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины и непререкаемый авторитет в течение всего средневековья.

С. 299. *Бланка* — старинная испанская монета, состоящая из сплава серебра и меди.

Мараведи — медная монета, имевшая хождение в Испании XVI в.

С. 300. *Толедо* — город в Новой Кастилии, старинный ремесленный центр, до 1561 г. — столица Испании.

Эскалон (Эскелона) — маленький город, расположенный недалеко от Толедо.

С. 302. *Торрихо* (Торрехон) — маленький город, расположенный недалеко от Мадрида.

Македа — городок, расположенный недалеко от Толедо.

С. 305. *Реал* — название испанской серебряной монеты, а также денежно-счетной единицы.

С. 312. *Старая Кастилия* — историческое название северной части испанской провинции Кастилии, расположенной в центре Пиренейского полуострова.

С. 313. *Вальядолид* — город в Старой Кастилии.

С. 314. *Альгвазил* (альгвасил) — в Испании полицейский чиновник.

С. 315. *Фома Аквинский* (1226—1274) — средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма, монах-доминиканец.

МУЗЕЙ ЧИЖА

Печатается по рукописному макету книги — ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 475, сохранившемуся с утратами. Рисунки Г. Д. Скалдина. В анкете от 5 мая 1931 г. Скалдин называл «Музей Чижа» среди книг, находящихся в производстве. Заглавие книги не случайно перекликается с названием детского журнала «Чиж». В нем сотрудничали поэты ОБЭРИУ, с которыми Скалдин в это время сближается. Книга должна была продолжить серию научно-популярных иллюстрированных детских изданий. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. этот род литературной деятельности (наряду с работой над справочными изданиями) вынужденно становится для писателя основным из тех, что могли бы реализоваться в печати.

СТАТЬИ

ИДЕЯ НАЦИИ

Впервые: НЖ. (Нью-Йорк). 1998. № 210. С. 124—160 / Публ., послесл. и коммент. З. Гимпелевич. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1 № 7.

Рукопись представляет собой текст доклада, предложенного в начале 1910 г. для прочтения в Христианской секции Петербургского Религиозно-философского общества, но не прозвучавшего там. Тема «национальной идеи», «русской идеи», православия как объединяющей силы для русского народа и русской интеллигенции чрезвычайно значительна на протяжении всего XIX в. для отечественной философии, публицистики и литературы, но с 1880-х по 1930-е гг. она особенно напряженно начинает звучать в печати, что, конечно, обусловлено революционными настроениями и преобразованиями в России, обозначившими и предельно заострившими тревожное ощущение выбора дальнейших путей духовного и социального развития страны.

Таким образом, неудавшаяся попытка Скалдина высказаться по этой проблеме занимает свое, не проясненное для большинства его современников даже из близкого круга, место в контексте опубликованных работ Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, Г. Федотова, Г. Флоровского, Н. Бердяева. Можно предположить, что невключение доклада Скалдина в программу слушаний в Обществе связано с ярко выраженной ортодоксальной позицией автора, стремлением после поражения первой русской революции, в пору политической реакции, тяжело переживаемой интеллигенцией, снова вернуться к утверждению дискредитировавшей себя в представлении многих триединой формулы — «православие, самодержавие, народность». И хотя сам Скалдин по прошествии пятнадцати лет по отношению к своему докладу «не испытывал авторского чувства» и видел в нем «на девять десятых чуждое» ему (см. с. 400 наст. изд.), вероятно, авторская позиция того времени была продиктована стремлением найти в прошлом, пусть даже рушащемся, позитивные константы как опоры для объединения нации после политических разгромов.

Доклад привлек внимание Блока. Он трижды прочел его и в письме от 24 марта 1910 г. приглашал Скалдина поговорить о докладе: «Многое в нем мне кажется важным, близко и дорого» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 184). В комментариях-воспоминаниях к письмам Блока, адресованных ему, Скалдин поясняет, что особенно заинтересовало Блока (см. с. 400—401 наст. изд.).

Сравнивая «Русскую идею» Вл. Соловьева и «Идею нации», З. Гимпелевич пишет о «разной сути задач, поставленных авторами. Для Соловьева это в первую очередь ответ на „вопрос о смысле существования России во всемирной истории“». Для Скалдина — это «место России в самой России». Однако, процитировав слова работы Соловьева: «Русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как некоторым определенным аспектом идеи христианской, и миссия нашего народа может стать для нас ясна, лишь когда мы проникнем в истинный смысл христианства», Гимпелевич указывает на сходство конечных выводов мыслителей и на то, что «ответы, предлагаемые Соловьевым и Скалдиным, часто независимые от учений обоих, продолжают находить сторонников в мире» (с. 157).

Еще ближе доклад Скалдина в концептуальном отношении лекции Вяч. Иванова «О русской идее» (Золотое руно. 1909. I, II—III), где о социально-политических причинах появления этой работы Вяч. Иванов говорит весьма определенно: «Наше освободительное движение было ознаменовано бессильной попыткой что-то окончательно выбрать и решить, найти самих себя, независимо определиться, стать космосом, вознести некий светоч. Нам хотелось быть свободными до конца и по-своему, решить вопрос о земле и народе, реализовать новое религиозное сознание. Не одни мечтатели и не отвлеченные мыслители только хотели этого, но и народ. Мы ничего не решили и, главное, ничего не выбрали окончательно, и по-прежнему хаос в нашем душевном теле, и оно открыто всем нападениям, вторжению всех — вовсе не сложивших оружия — наших врагов. Единственная сила, организующая хаос нашего душевного тела, есть свободное и цельное приятие Христа, как единого всеопределяющего начала нашей духовной и внешней жизни: такова основная мысль всего моего рассуждения...» (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 3. Брюссель, 1979. С. 323—324).

С. 348. *Идея нации есть не то...* В эпиграф вынесены заключительные слова вводной части лекции Вл. Соловьева «Русская идея» (Париж, 1888).

С. 349. *Нам не дано предугадать...* Цитируется одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1869).

Лев Толстой в своих «Мыслях о Боге... Имеется в виду издание: Мысли о Боге. Л. Н. Толстого / Под ред. В. Г. Черткова. «Свободное слово». Christchurch, 1900. (Благодарю за указание Л. Д. Громову.)

С. 351. *«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»* — Лк. 23:34.

«Отче! о, если бы Ты благоволил...» — Лк. 22:42.

С. 352. *«Плохо воздают учителю...»* — текст, полемичный евангельскому: Лк. 6:40.

«Времени больше не будет» — Откр. 10:6.

«...Пустите детей приходить ко Мне...» — Мк. 10:14—15.

«Истинно говорю вам...» — Мк. 10:29—30.

...не будьте подобны разумникам, комара оцеживающим, и верблюда поглощающим — парафраз евангельского изречения: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие» — Мтф. 23:24.

С. 353. *«...восстанет язык на язык и царство на царство»* — Лк. 21:10.

С. 354. *«Когда же услышите о войнах и смятениях...»* — Лк. 21:9—10.

«...мой дух окрылился...» — из стихотворения «Поэтам» (1890).

С. 355. *Я — обезумевший в лесу Предвечных Числ!..* — Скалдин цитирует перевод стихотворения «Числа», выполненный Брюсовым (см.: *Брюсов В.* Стихи о современности. М., 1906. С. 61—63).

С. 356. *Владыка Михаил* (Семенов Павел Васильевич; 1874—1916) — архимандрит, был профессором кафедры церковного права в петербургской Духовной академии. Автор книги «Зако-

32 Зак 3178

нодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви» и др. Затем перешел к старообрядцам, за что был лишен церковного сана. В старообрядчестве посвящен в епископы. Основатель движения Голгофских христиан. Участвовал в заседаниях Петербургского Религиозно-философского общества, где играл важную роль. Религиозный проповедник и журналист.

С. 356. *Сохранился буддийский текст*... Цитируется и пересказывается текст «Samyutta Nikaya», приведенный в переводном издании: *Ольденберг Г.* Будда. Его жизнь, учение и община. М., 1898. С. 261—263.

С. 359. *«А вы, братья, в посадничестве и во князьях вольны»* — текст из Новгородской первой летописи под 1219 г. (см.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 260).

С. 362. *«Мы не бывали за латиною ~ в православие!»* — соответствие тексту — в «Московском летописном своде конца XV в.» (см.: Полное собрание русских летописей. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 285).

Один из современных русских писателей в поэтической статье о душе русского народа... Имеется в виду статья А. Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906) («Золотое руно». 1907. № 2).

С. 363. *«нет пророка в отечестве своем»* — Лк. 4:24.

С. 364. *«А что есте били челом мне ~ суд стоит»* — см.: «Московский летописный свод конца XV в.» (Полное собрание русских летописей. Т. 25. С. 318).

С. 365. *Нижегородский губернатор* — по мнению А. М. Эткинда, А. Н. Хвостов (см.: *Эткинд А.* Хлыст. М., 1998. С. 355).

С. 366. *Кондратий Селиванов* (ум. 1832) — крестьянин-сектант, основатель секты скопцов. В течение почти двадцати лет пользовался влиянием в высшем свете, написал или продиктовал тексты, в которых излагал собственное житие и поучения «Страды».

А царь крепко осерчал... — цитата из одной из песен о Кондратии Селиванове многократно воспроизводимой в печати (см., например: Песни русских сектантов-мистиков: Сб. / Сост. Т. С. Рождественским и М. И. Успенским. СПб., 1912. № 28. С. 41—46). В песне «воспевалось пребывание Кондратия Селиванова в Петербурге по возвращения из Иркутска и свидание с императором Павлом Петровичем» (Там же. С. 41).

С. 367. *«все это, быть может, уже было и опять будет»*. Наиболее созвучно этой мысли следующее рассуждение из IV части романа «Братья Карамазовы» (кн. 11, гл. IX «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»): «Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...».

...*отсылаю к книге Максимова «Год на Севере»*. Книга писателя-путешественника С. В. Максимова «Год на Севере» отдельным изданием впервые вышла в Петербурге в 1859 г., четырежды издавалась при жизни автора и входила в Собрания сочинений этого автора, выпускавшихся издательствами «Посредник» и «Просвещение» в 1910-х гг.

«Мысль изреченная есть ложь» — из стихотворения «Silentium!» (1830).

«В начале бе Слово...» — Ин. 1:1.

С. 368. *Народ не хочет поступиться своим. Достоевский ~ не ошибся и здесь.* Имеется в виду следующее суждение Достоевского: «Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу *надо,* чтобы его не за одни страдания его любили, а чтоб полюбили за *его самого.* Что же значит *полюбить его самого*? „А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту“ — вот что это значит и вот как вам ответит народ, а иначе он никогда вас за своего не признает, сколько бы вы там об нем ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его» (*Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. 1877. Декабрь. Глава вторая. II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 115).

Тут летела пава через сини моря... — фольклорная хоровая песня, распространенная во множестве вариантов (см.: *Ефременко С. Н.* Лобановка в городе Курске и ее традиционные песни // Известия Курского губернского общества краеведения. 1927. С. 62—63; *Руднева А. В.* Курские танки и карагодные песни // Вопросы музыкознания. М., 1956. Т. 2. С. 175 и др.). Песню отличает «благожелательность, ласковость, мягкость, закругленность мелодического рисунка, поступенность движения». Пелась на Благовещенье, Вербное воскресенье, на Пасху со второго дня до понедельника Фоминой недели.

«блажен, кто душу свою положит за други своя» — неточная цитата из Евангелия — Ин. 15:13.

ЗАТЕМНЕННЫЙ ЛИК

Впервые: Труды и дни. Тетрадь I и II. М., 1913. С. 89—110.
Рецензия представляет собой ряд частных возражений на отдельные положения книг В. В. Розанова «Темный лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911) и «Люди лунного света» (СПб., 1911), являющихся частями запрещенного тогда цензурой исследования «В темных религиозных лучах» (1909). (В настоящее время книга издана: *Розанов В. В.* В темных религиозных лучах. М., 1994.) В ряду многочисленных и нередко противоречащих друг другу откликов на книги Розанова статья Скалдина воспринимается как критика с позиций розенкрейцерства и эстетики символизма.

Вяч. Иванов восторженно встретил появление этой рецензии. С. В. Троцкий вспоминал: «Статья Алеши, как бы сложенная из афоризмов (не помню даже заглавия), привела в восторг Вячеслава Иванова. „Идите, послушайте“, — сказал он мне. Алеша и мне прочитал ее (по рукописи). <...> Одна эта короткая статья стоит множества дорогих страниц» (НЛО. 1994. № 10. С. 67 / Публ. А. В. Лаврова). Статья была отправлена Вяч. Ивановым в Москву в ответ на запрос Андрея Белого в письме к Скалдину от 15 марта 1912 г.: «„Труды и дни“ ждут от Вас статьи о Розанове. И очень просят» (Там же. С. 82). Однако в редакции «Мусагета» статья возбудила «страшные дебаты»; были предложены сокращения, которые, вероятно, принял Скалдин. 29 сентября 1912 г. Э. К. Метнер писал Вяч. Иванову: «...против Скалдина — целый хор <u>в Мусагете</u>, поэтому я отправил статью Бугаеву. Что касается меня, то я статьей восхищен <u>в целом</u>, но говоря откровенно, не из-за pruderie (показная добродетель *(фр.). — Т. Ц.*), а по чисто вкусовым артистическим побуждениям удалил бы из статьи о мужском семени и одно место о Деве Марии, Розанову все простительно, но quod licet... (что дозволено... *(лат.) — Т. Ц.*). Просто чувствуется талантливый и дерзкий молокосос, который только теоретизирует, а не вымучил из себя право говорить на розановские темы... Если Бугаев не выразит протеста, то статья пойдет целиком». А. Белый задерживал статью и в конце концов вернул ее без редакторских помет.

Между тем уже 5 октября 1912 г. в ответном письме Метнеру Вяч. Иванов торопил: «О Скалдине еще раз: если уж нужны купюры, делайте их скорее и сам, но печатайте статью без замедления, ведь она по поводу новой книги!» (В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров // Вопросы литературы. 1994. Вып. 2. С. 337; Вып. 3. С. 287 / Публ. В. Сапова). Эллис 3 февраля 1914 г., характеризуя «Молодой Мусагет» и имея в виду, вероятно, прежде всего «Затемненный лик», писал Метнеру: «...очень хорош по-моему Скалдин» (РО РГБ. Ф. 167. Карт. 8. № 27).

Десять лет спустя, на своем первом судебном процессе Скалдин среди «лиц, с которыми он столкнулся и которые повлияли на его развитие», назовет «своеобразного, весьма противного, циничного, но все же талантливого Василия Васильевича Розанова» (см. с. 415 наст. изд.).

С. 369. *Есть роза дивная. Она...* — цитата из одноименного стихотворения 1827 г. А. С. Пушкина с ошибкой в ст. 2: «Пред изумленною Киферой».

Ясно, что черти хотят моей смерти — цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig — Weibliche (Слово увещевательное к Морским чертям)» (1898) (*Соловьев Вл.* Стихотворения. 3-е изд. СПб., 1900. С. 161).

С. 370. *Лишь художник, занавесью скрытый...* — из стихотворения «Благовещение» (1909).

...не вполне адекватен своим книгам. Сходные суждения о Розанове в это же время высказывал писатель и критик А. К. Закржевский в своей книге «Религия. Психологические параллели» (Киев, 1913): «Но как бы он ни преуспевал в своей беспощадной и часто весьма ядовитой критике христианства, до какого бы отрицания и бунта ни доходил в своих писаниях — все же он не „отрицатель“ и не „антихристианин“, а самый искренний, самый православный христианин в наше время... Помню, я был очень удивлен, когда после одной из своих публичных лекций, в которой я назвал Розанова язычником — я получил от него письмо, со следующими словами, глубоко врезавшимися в мою память: „а знаете, что я больше христианин, чем язычник и экстаз (особенно половой) мне вовсе чужд. И я люблю вечерний звон, и всенощную, и «свете тихий»... Я вообще не похож на свои сочинения“. Тогда это признание меня удивило. Теперь, ближе познакомившись с розановским творчеством, с особенностями его душевного склада — я вовсе не удивляюсь. Я знаю, что есть два Розанова: один — язычник, обожествляющий пол, поклоняющийся „святому животному“, а другой — искренно верующий христианин с своей трогательной и детской любовью к лампадкам, акафистам, вечернему звону и всему церковному, ко всей церковной обстановке, богослужениям, священникам и дьяконам» (цит. по: Розанов В. В.: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 1995. Кн. 2. С. 159).

С. 371. *«Мужайтесь, я победил мир»* — ср.: «...но мужайтесь: я победил мир» — Ин. 16:33.

С. 372. *«что Бог очистил, то ты не скверни»* — ср.: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» — Деян. 10:15.

«Около церковных стен» — ссылка на издание: СПб., 1906. Т. 1—2.

С. 373. *Была ли Богородица Девою? (Вопрос из брошюры Розанова «Русская Церковь» (стр. 13)).* В книге «Русская Церковь» (СПб., 1909) — своего рода квинтэссенции розановских претензий к аскетическому характеру Православной церкви — автор не столько ставит вынесенный Скалдиным в название параграфа вопрос, сколь акцентирует свою мысль о том, что «православные неодолимо гнушаются внесением „обыкновенного“ в религию: и вопреки тексту Евангелия бурно утвердили так называемое „приснодейство“ Марии, т. е. они, в сущности, как бы закрыли ладонью евангельское событие и сочинили на место его другое, свое собственное, чисто *вербальное, словесное*». Интересно суждение Вяч. Иванова по этому вопросу, высказанное С. П. Каблу-

кову по ознакомлении с книгой «В темных религиозных лучах»: «По поводу утверждения Розанова о невозможности физического девства перенесшей роды Девы Марии, Вяч. Иванов указал на мнение мистиков средних веков, допускавших, что в акте рождения „печать девства“ преломилась, но в тот момент, когда полнота Христа присвоилась человеку Иисусу в акте крещения от Иоанна, Пречистая мать его вполне вновь стала Девою, и она развивалась в этом направлении, как бы молодея параллельно развитию Богочеловеческого естества в человеке Иисусе, какое развитие завершилось в акте крещения» (цит. по: Розанов В. В.: Pro et contra. СПб., 1995. Кн. 1. С. 218).

Если Розанов докажет мне, что мира Христос не спас, да и не спасал... В книге «Русская Церковь» Розанов ставил вопрос иначе: где доказательства того, что Христос кого-то спас? «Где же именно *оно*, это *избавление*, это *облегчение*, эта *радость* и *белый свет*, будто бы связующийся с Голгофой? Для евреев — гибель, а для нас... чахотка, рак, убийства, грабежи, сифилис. Где же знаки „искупления“? и вообще метафизической перемены в самом *бытии* человечества? Все — ветхозаветно, даже хуже, чем ветхозаветно» (с. 32).

С. 374. *Об эстетическом восхищении Адамовом (из той же брошюры, стр. 15).* И в этом случае Скалдин выделяет не центральное рассуждение Розанова о «глубокой изуродованности семейной жизни у духовенства», а заостряет лишь попутное замечание к теме, выразившееся в придаточном предложении: «Брак возникает из любви, — но Церковь не допускает самого слова „любовь“, боится и презирает то плотское чувство, „эстетическое восхищение“, которое выразилось у Адама при виде сотворенной для него Евы» (Там же. С. 15).

«Сшили опоясанья из листьев» — ср.: «И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанья» — Быт. 3:7.

...образ Христов неизъяснимо прекрасен, что признает и Розанов... Имеется в виду утверждение Розанова: «Иисус действительно прекраснее всего в мире и даже самого мира» и далее (*Розанов В. В.* Темный лик // Розанов В. В. В темных религиозных лучах. С. 424).

За спиной Данта и Владимира Соловьева всегда стоит Федор Карамазов, хотя бы в лице Розанова... Сходство Розанова с персонажами Достоевского в то же время обозначил и А. К. Закржевский в своей книге «Карамазовщина. Психологические параллели» (Киев, 1912).

«Боже, милостив буди мне грешному» — Лк. 18:13.

Душа Мира — Мировая душа — понятие-мифологема, близкое к понятиям «София», «Вечная женственность». В философии того времени означает единство живых элементов творения.

«Увидели, что наги, и скрылись» — ср.: «...и убоялся, потому что я наг, и скрылся» — Быт. 3:10.

«Кто вам сказал, что вы наги?» <...> «Не познали ли вы добро и зло?» — ср.: «...кто сказал тебе, что ты наг? Не ел, ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» — Быт. 3:11.

С. 375. *«О Тебе радуется всякая тварь».* Имеется в виду «О тебе, Благодатная, радуется всякая тварь» — церковное песнопение, которое поется на литургии Василия Великого вместо «Достойно есть...».

Мы подобны тому ученому... — отсылка к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. IV, кн. 11, гл. IX «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).

С. 376. *...Христос сказал: «Будьте совершенны...».* — Мф. 5:48.

С. 377. *Где-то Розанов упрекает христианство ~ неплодным калекам.* Скалдин полемизирует с замечанием Розанова: «Недаром древние храмы были полны тельцов, овец, голубей — здоровья еще дочеловеческого; а новые полны хромых, слепых, расслабленных» (*Розанов В. В.* По тихим обителям // Розанов В. В. В темных религиозных лучах. С. 113).

Психея в роли курицы (II ч., стр. 14) — вероятно, ироничный комментарий Скалдина к рассуждению Розанова о преимуществах «многоженства» перед «одноженством».

Жизнь в потомстве (II ч., стр. 68) — воскрешение мертвых мыслится Розановым как продолжение рода: «Смерть есть не смерть *окончательная*, а только способ *обновления*: ведь в детях в точности *я живу*, в них *живет моя кровь и тело*, и, следовательно, буквально *я не умираю вовсе*, а умирает только мое *сегодняшнее имя*».

О любви к мазурикам и шулерам (II ч., стр. 134) — выражение из примечания Розанова к рассуждениям о нравственной личности и уподоблению человека животным в половом акте: «Что же, автор прикажет мне больше любить мазуриков и шулеров, чем овец, коз и коров? Да никогда!»

С. 378. *«Не хочу всеобщего воскресения и Страшного Суда — всемирной плевательницы»* — неточная цитата из статьи Розанова «Вечная тема» (1908): «...Не имею интереса к „воскресению"... <...> Не заставит же Бог нас плевать друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы» (*Розанов В. В.* Во дворе язычников. М., 1999. С. 360—361).

Загадка Розанову (II ч., стр. 194) — возражение Розанову на тезис о том, что европейская цивилизация «вышла и не из Головы Зевса и не из бедр Афродиты, а как отсвет натуры Паллады и Ганимеда», где Афина Паллада — символ мужеподобия, а Ганимед — женоподобия.

...постоянное влечение к гарему (в книгах). Скалдин здесь имеет в виду статью Розанова «Наблюдения, извлеченные из чтения „Шахразады"» (1903) (см.: Там же. С. 269).

С. 379. *«Мира Твоего не приемлю»* — парафраз слов Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского: «Я мира этого Божьего не принимаю <...>. Я не Бога не принимаю <...>. Я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять» (ч. II, кн. 5, гл. III «Братья знакомятся»).

«Возлюби Бога всем сердцем ~ но исполнить» — контаминация евангельских текстов: Мф. 22:37—40 5:17.

С. 380. *«Кто не примет крещения огнем и водою, тот не внидет в Царствие Небесное»* — контаминация нескольких евангельских текстов: Ин. 3:5; Лк. 3:16; Мф. 3:11.

«Сколь дороже вы птиц небесных и лилий полевых у Отца Моего» — контаминация евангельских образов: Мф. 6: 26—28.

Он-де Богу не молился... и далее — неточные цитаты из стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный» (1829).

С. 381. *Владимир Соловьев в предисловии к третьему изданию собрания своих стихотворений...* Имеются в виду следующие слова Вл. Соловьева: «Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силой ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия, — от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти» (*Соловьев Вл.* Стихотворения. С. XIV).

«Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца человеческие» — неточная цитата из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. I, кн. 3, гл. III «Исповедь горячего сердца. В стихах»).

С. 382. *Жена, облеченная в Солнце* — образ из Откр. 12:1. Ср. у Вл. Соловьева: «Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, и вот древний змий собирает против нея свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. Все это предсказано и предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна, и из нея выйдет спасение мира, когда ея обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту» (*Соловьев Вл.* Стихотворения. С. XIV.)

И сатана мечтает... — отсылка к роману Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. IV, кн. 11, гл. IX).

Аполлон вправе содрать шкуру с Марсия... Согласно древнему мифу, Марсий вызвал Аполлона на состязание в игре на флейте. «Дерзкое соперничество кончилось тем, что Аполлон, играя на кифаре, не только победил Марсия, музыка которого отличалась чисто фригийским эстатически-исступленным характером, <...> но и ободрал с несчастного кожу. <...> В мифе о состязании Аполлона и Марсия отразился начальный этап борьбы божеств-антагонистов Аполлона и Диониса» (Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1988. Т. 2. С. 120).

С. 383. *«Хочу, чтобы ты пребыл, пока Я приду»* — неточная цитата из Евангелия: «Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду...» — Ин. 21:22.

Он идет из дымной дали... — цитата из стихотворения А. Блока «Сон» (1910).

Веселовский в своей «Поэтике Розы»... Работа А. Н. Веселовского «Из поэтики розы» впервые была опубликована в художественно-литературном сборнике «Привет» (СПб., 1898. С. 1—5); вторично — в посмертном сборнике статей: *Веселовский А. Н.* Из истории развития личности. Женщина и старинные нормы любви. СПб., 1912. С. 84—96.

Восстань, пророк, и виждь и внемли... — из стихотворения «Пророк» (1826).

С. 384. *Diese Welt glaubt...* — цитата из стихотворного цикла Гейне «Neuer Fruheing» («Новая весна», 1844), которой А. Н. Веселовский завершает работу «Из поэтики розы». Перевод:

Этот мир не верит в пламя,
И он берет его для поэзии.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ИССЛЕДОВАНИЮ О МЕТОДОЛОГИИ ИСКУССТВА

Впервые: Художественные известия (Саратов). 1919 № 18 (45). С. 6—7; № 19 (46). С. 8—11. Статья является первой из дошедших до нашего времени послереволюционных публикаций Скалдина. Возможно, это один из начальных фрагментов задуманной им многотомной истории искусств (см. с. 416 наст. изд.). Так же, как и в последующих двух статьях, опубликованных в том же издании, в основе работы лежит тезис о защите высокой культуры прошлого. Как и старшие его предшественники — Вяч. Иванов, А. Блок, П. Флоренский, — Скалдин прибегает к цветовой символике, чтобы выразить свои культурологические воззрения на искусство современности и дать различные, порой пессимистические, прогнозы в отношении его развития.

С. 385. *Странный сон мне нынче снился...* — неточная цитата из стихотворения «Лён»— у Бальмонта «ночью», а не «нынче». В поэзии Бальмонта голубой цвет преобладает, и это стихотворение заканчивается строками:

Каждый, в малости, создатель голубого сна,
Синей зыбью снова дышит, шепчет глубина.
И безбрежно так и нежно всюду в мире лен,
Голубое всюду поле в синеве времен.
(*Бальмонт К. Д.* Жар-птица. М., 1907. С. 87.)

С. 386. *...Новалис своим «Голубым Цветком» в Германии и Вячеслав Иванов у нас, вспоминая Новалиса...* Символисты воспринимали себя продолжателями мистической традиции немецкого романтика Новалиса (1772—1801). 23 ноября 1909 г. Вяч. Иванов в Петербурге прочел лекцию о романе Новалиса «Голубой цветок» и о голубом цвете как символе. В статье об этой лекции С. Ауслендер писал: «В веках теряется происхождение этого символа, но у всех позднейших мистиков встречаем мы голубой цвет как символ Души мира, имеющий свой корень в мистическом опыте (это доказывается многими местами из поэзии Влад. Соловьева, особенно „Тремя Свиданиями")» (Аполлон. 1909. № 3. С. 41). Кроме того, Вяч. Иванов переводил стихи Новалиса («Лира Новалиса»), написал статью «О Новалисе» (1913), которая при жизни автора не была опубликована, но Скалдин, без сомнения, ее знал. В этой статье голубой цвет трактуется как «цвет небесной земли», а «искания Голубого Цветка означают путь любви, ведущей любящего в сокровенное святилище Мировой Души и сулящей ему там, как дар, переданной из рук обретенной в Боге возлюбленной, целостное знание Божественной тайны и преображающую мир теургическую державу» (*Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. 4. Брюссель, 1987. С. 275).

...«голубой» философ Владимир Соловьев (сравни, напр<имер>, «Три встречи»)... Речь идет о поэме Вл. Соловьева «Три свидания» (1898) и, вероятно, о ее композиционной метафоре-символе «золото в лазури».

Баадер Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий философ, богослов, врач, профессор Мюнхенского университета. Его воззрения во многом имели теософский характер и окрашены мистицизмом.

...(...у Калмакова, Борисова-Мусатова, Бенца (вероятно, опечатка, следует читать: *Бе-нуа. — Т. Ц.*), *Бакста, Рериха и многих других) воспламенился синий цвет...* Ряд художников выстроен Скалдиным весьма произвольно. Калмаков Николай Константинович (1873—1955) — художник театра, график и живописец. Жил в Петербурге—Петрограде до 1920 г., затем эмигрировал. Творчество Калмакова проникнуто мистицизмом, связано с традициями европейского символизма. Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — живописец. Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства, художественный критик. Бакст Лев Самойлович (наст. фамилия Розенберг; 1866—1924) — живописец, график и художник театра, один из организаторов и активный деятель объединения «Мир искусства». Рерих Николай Константинович (1874—1947) — живописец, археолог, путешественник, философ.

С. 387. *Неслыханные перемены...* — цитата из 1-й гл. поэмы А. Блока «Возмездие» (1910—1921).

ОБМАНУВШИЙСЯ ЗРЯЧИЙ

Впервые: Художественные известия (Саратов). 1919. № 19 (46) С. 3—6.
Статья полемична по отношению к устоявшемуся в критике того времени мнению о том, что Тютчев был в русской поэзии предтечей символистов. Вяч. Иванов в статье «Заветы символизма» (1910) назвал Тютчева «истинным родоначальником нашего истинного символизма», видя в его поэзии «параллелизм феноменального и ноуменального», особую интуицию и энергию слова, «тайнопись неизреченного». Кроме того, статья Скалдина носит и просветительский характер: журнал был обращен к провинциальной интеллигенции и учащейся молодежи, поэтому автор приводит элементарные сведения о биографии Тютчева.

С. 392. *Верховский* Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы. С 1910-х гг. и до последнего ареста Скалдина был его ближайшим другом, читателем и авторитетным для автора критиком всех его произведений.

Нет! мне песни иной не запеть... — цитата из одноименного стихотворения Владимира Алексеевича Пяста (наст. фамилия Пестовский; 1886—1940), опубл. в сб.: Антология. М.: Мусагет, 1911. С. 137.

Смотри, как облаком живым... — стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан» (1836).

С. 393. *Ночное небо так угрюмо...* — одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1865).

«Утопленник» — стихотворение А. С. Пушкина с подзаголовком «Простонародная сказка» (1828).

«Клоками белый пар» — ошибка памяти Скалдина или опечатка. Первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Русская песня» (1830): «Клоками белый снег валится...».

С. 394. *Берегись, берегись!...* и далее — цитируется стихотворение «Баллада (из Байрона)» (1830), вольный перевод, которому придан испанский колорит. В ст. «Когда Мавр пришел в наш родимый дом...» ошибка или опечатка, у Лермонтова: «дол».

«Безумие» — стихотворение 1830 г., цитируется с синтаксическими разночтениями и одним лексическим. У Тютчева: «растреснутой земле».

С. 395. *Чурлянис* — см. с. 467—468 наст. изд.

Как океан объемлет шар земной... — цитата из одноименного стихотворения Ф. И. Тютчева (1830). В ст. 2 неточность, у Тютчева: «Земная жизнь кругом объята снами».

А. И. Шмидт — вероятно, опечатка. Имеется в виду Анна Николаевна Шмидт (1851—1905) — журналистка и глава мелкой сектантской общины в Нижнем Новгороде, автор мистического трактата «Третий Завет» и других сочинений религиозно-экстатического характера.

...государственная власть решила поставить... памятники... Имеется в виду декрет Совнаркома от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции», по которому предполагалось возведение памятников революционным и общественным деятелям, в том числе писателям, среди которых был и Ф. И. Тютчев. Памятник Ф. М. Достоевскому по проекту скульптора С. Д. Меркурова был установлен в Москве в 1918 г.

С. 396. *...он оставил нам не более двухсот оригинальных стихотворений.* Эти сведения устарели.

Стрелу ему на память дал... и далее — неточные цитаты из стихотворения Ф. И. Тютчева «На камень жизни роковой...» (1822), в котором речь идет о поэте С. Е. Раиче:

Ему на память стрелку дал,
И в сладкие досуги
Он ею повесть начертал
Орфеевой супруги.

ИСКУССТВО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Впервые: Художественные известия (Саратов). 1919. № 20 (47). С. 8—10.

С. 397. *...ряд художников-графиков (Е. Лансере, Александр Бенуа, Поленова, Якунчикова и другие)...* Лансере Евгений Евгеньевич (1875—1946) — график и живописец, входил в объединение «Мир искусства»; Бенуа Александр Николаевич — см. с. 504 наст. изд.; Поленова Елена Дмитриевна (1850—1898) — график, пейзажист, иллюстратор сказок; Якунчикова-Вебер Мария Васильевна (1870—1902) — художница, ученица В. Д. Поленова, работала в технике живописи, акварели, офорта, аппликации, резьбы, вышивки.

О ПИСЬМАХ А. А. БЛОКА КО МНЕ

Впервые: Письма Александра Блока / Вступ. ст. и примеч. С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Князева. Л., 1925. С. 175—191. Черновой автограф и гранки — РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 13. В конце гранок карандашом обозначена дата: 20/XI.24.

Текст гранок, в котором нет авторской правки, расширен по сравнению с рукописным, и в нем изменена композиция, что свидетельствует о промежуточной стадии работы. Архивная нумерация листов автографа ошибочна.

Статья-воспоминание предваряет публикацию двенадцати писем Блока к Скалдину 1910—1913 гг.

Период знакомства и дальнейших встреч обозначен самим автором воспоминаний: зима 1909—1910 гг. — январь—февраль 1918 г., когда Скалдину пришлось переехать из Петербурга сначала в Москву, затем в Саратов на несколько лет.

Личность Скалдина явно интересовала Блока, и он внимательно относился к молодому литератору. В письме к матери от 8 апреля 1910 г. Блок писал: «На днях у нас очень долго просидел Скалдин — совершенно новый и очень интересный человек» (*Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 307), а в дневнике 1912 г. есть запись от 15 ноября: «Скалдин (полтора года не виделись; совершенно переменился. Теперь это — зрелый человек, кующий жизнь. Будет крупная фигура. <...>)» (Там же. Т. 7. С. 179).

Отношение Скалдина к Блоку всегда было благоговейным, как младшего символиста к старшему. Блоку Скалдин посвятил стихотворения «Голгофа» (1910) и «Мне было тайно Ваше Слово...» (1912). После известия о смерти поэта Скалдин и Лев Гумилевский устроили в Саратове вечер памяти Блока, который вызвал нарекания в местной прессе: устроители были названы «отставшими от революции». В феврале 1924 г. в Вольфиле Скалдин в память Блока прочитал доклад «Две поэмы», ныне утраченный (упоминание об этом см.: *Иванова Е. В.* Вольная Философская Ассоциация. Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 61).

С. 399. *...воспоминаний писали много, но я случайно их не читал...* В рукописи было: «не мог прочесть» — намек на арест и тюремное заключение Скалдина 1922—1923 гг.

Кузмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1885—1959) — юрист, историк, один из руководителей «Цеха поэтов», после революции эмигрировал, стал священником.

...старообрядческий епископ Михаил — см. о нем на с. 497—498 наст. изд.

Карпов Пимен Иванович (1884—1963) — прозаик, поэт. Вероятно, Карпов был одним из первых литераторов, с которыми Скалдин подружился в Петербурге.

Карташов (Карташёв) Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви, профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге.

Каблуков Сергей Платонович (1881—1918) — математик, музыкальный критик, секретарь Религиозно-философского общества в Петербурге.

Шестов Лев (наст. имя Шварцман Лев Исаакович; 1866—1938) — философ, литературный критик.

Гиппиус Владимир Васильевич (псевдоним Вл. Бестужев; 1876—1941) — поэт, критик, педагог. В рукописи имя Гиппиуса отсутствует. Вместо него назван Б. Савинков и сделано лаконичное пояснение в скобках: «он скрывался». *Савинков Борис Викторович* (псевдоним В. Ропшин; 1879—1925) — прозаик, поэт, один из лидеров партии социалистов-революционеров, член ее боевой организации.

Преображенская — площадь вокруг Спасо-Преображенского собора в Петербурге, на которую выходил дом, где жили в то время Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус.

...представлен я Александру Александровичу ~ не хочется задевать чести одного человека... Суть конфликта становится ясна из переписки Карпова и Скалдина 1910 г. (письма Карпова — РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 56, письма Скалдина — ОР РНБ. Ф. 124. № 3982). Карпов обвинил Скалдина в распространении слухов о том, что он, Карпов, печатается под именем Скалдина, и в неблагодарности за то, что якобы Карпов ввел Скалдина в литературные круги, в частности познакомил с Мережковским, а также во лжи: Скалдин, по словам Карпова, представлялся известным литераторам самоучкой, а сам закончил техническую школу. Письма Карпова носят истерично-скандальный и бранный характер. Скалдин в своих ответах подчеркнуто сдержан. Он ни в чем не оправдывается, хотя неповинен во лжи: техническое образование получил не он, а его брат Георгий. Скалдин не пытался вписаться в образ «крестьянского поэта», устремления его были аристократические, чему косвенные свидетельства находим в романе о Никодиме, герою которого приданы автобиографические черты, и прямые — в высказываниях Скалдина, воспроизведенных в воспоминаниях Г. Иванова (*Иванов Г.* Невский проспект: Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 291). В письме от 2 июня 1910 г. Скалдин писал Карпову: «Я заключаю, что вы не хотите со мною знаться. Ничего не могу поделать, хотя и очень жалею о конце нашей дружбы» (ОР РНБ. Ф. 124. № 3982. Л. 4.—4 об.). Об отношении Блока к Карпову см.: Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 459.

Клюев Николай Алексеевич (1884—1937) — поэт. В конце 1900-х гг. под влиянием знакомства с Блоком проявлял интерес к «неонародническим» исканиям символистов.

С. 400. *...по поводу моего доклада «Идея нации»* — см. с. 348—368 и 496—499 наст. изд. Блок заинтересовался докладом Скалдина. 24 марта 1910 г. он писал: «Доклад Ваш я прочел

уже дважды и еще перечту. Многое в нем мне кажется важным, близко и дорого. Практических политических выводов не вижу, может быть потому, что сам я очень чужд политики. Впрочем, по-моему, и вы говорите не о политике вовсе; вся практическая часть носит характер утопии (что для меня вовсе не отрицательно звучит)» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 184).

С. 400. *...доклад «Россия и интеллигенция» прочитанный публично дважды...* Блок читал этот доклад 13 ноября 1908 г. в Религиозно-философском обществе и 12 декабря 1908 г. в Литературном обществе по приглашению С. А. Венгерова и с измененным Венгеровым названием: «Обожествление народа в литературе». Доклад вызвал бурные прения, в которых приняли участие Д. С. Мережковский, Г. И. Чулков, В. Базаров, М. А. Рейснер, Б. Г. Столпнер и др. Опубл.: Золотое руно 1909. № 1. С. 78—85.

«Дневник трех писателей» — т. е. «Дневник поэтов», первоначальное название проекта издания, которое позднее обрело имя «Труды и дни» (1912).

«Логос» — международный журнал по философии культуры. Выходил с 1910 по 1913 г. под редакцией С. И. Гессена, Э. К. Метнера, Ф. А. Степуна.

«Вопросы, вопросы и вопросы» — статья Блока 1908 г., в которой он пишет о «синтетизме» русской культуры прошлого, о злободневности русского искусства в целом — идеях, особенно близких Скалдину в послереволюционные годы.

С. 401. *(NB — и внешне такая же)* — текст, заключенный в скобки, в рукописи воспоминаний отсутствовал. Вместо него было: «Таковы темы разговоров с Блоком о надвигающейся революции. Ему это было все близко и понятно».

(NB интеллигенция и либеральная буржуазия вкупе) — вместо этого в рукописи было: «либерально-буржуазные парламентаристы и социалисты, парламентской окраски: о большевиках тогда не говорили».

Малая Монетная. Имеется в виду петербургский адрес Блока в 1910—1912 гг.: Малая Монетная ул., д. 9, кв. 27.

...о реальном существовании ~ строкой. Первоначально в рукописи было: «о реальности „прекрасной дамы“ как элемента миростроения, о реальности [снежной] зимней бури в „Снежной Маске“ — и эту Паву, не жалеющую своего крыла — Блок очень реально себе представлял, а не ради литературных строк».

...к разговору о хлыстах и скопцах... Об интересе Блока к этим сектам см.: *Эткинд А.* Хлыст. М., 1998. С. 350—353 и др. по именному указателю.

...тамошняя «богородица». По мнению А. Эткинда, «речь идет о богородице Дарье Смирновой, которая посещала Петербургское Религиозно-философское общество» (Там же. С. 355).

С. 402. *В известном письме к Ю. Анненкову...* Имеется в виду письмо Блока от 12 августа 1918 г., в котором он писал об иллюстрациях к «Двенадцати»: «О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и *уходит*. „Христос с флагом“ — это ведь „и так и не так“. Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и *главное* — за ночной темнотой), то *под ним* мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще, это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего

сумел сказать и в „Двенадцати" (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из-за левого верхнего угла „убийства Катьки" дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, это была бы *исчерпывающая обложка.* Еще так могу сказать...» (*Блок А. А.* Собр. соч. Т. 8. С. 514).

Отдаление связывалось с опасениями ~ они изгладились. В рукописи было: «...опаска ко мне у А. А. была, она появилась именно 10 марта 1910 г., чем она была вызвана — не время сейчас подробно говорить, после этого изгладилось». В гранках «Примечаний» к письмам Блока дата «10 марта» исправлена на «8 апреля»: «8 апреля 1910 г., Вячеслав Иванов и Александр Блок на заседании Общества читали свои доклады „Заветы символизма" и „О современном состоянии русского символизма", весьма памятные в истории русской символической школы». Доклад Вяч. Иванова состоялся 26 марта. Не исключено, что Скалдин принимал участие в полемике, и скорее всего на стороне Вяч. Иванова. Отсюда возможные временные расхождения с Блоком, о которых здесь бегло упоминается.

...уже на Пряжке... Адрес Блока в 1920—1921 гг.: наб. р. Пряжки, д. 24, кв. 23.

Бутомо-Названова Ольга Николаевна (1888—1960) — камерная певица, меццо-сопрано, выступала с сольными концертами с 1915 г. В 1917—1918 гг. жила в Петербурге, на Большой Пушкарской, д. 61.

...по поводу одной книги ~ понимать не будет. В рукописи было: «по поводу одной [моей] книги, [что начало ее] о русских [предреволюционных событ] предвоенных событиях, что насколько он [всегда] будет приветствовать изображение мирного русского быта, ему близкого и понятного, настолько всегда будет не понимать введение в литературу других вещей и событий, которые в русскую жизнь не укладываются». Речь, несомненно, идет о романе Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшего», который Блок получил с дарственной надписью автора 25 октября 1917 г.

...в тех уединениях, о которых Александр Александрович говорил в последнем письме ко мне. В письме от 1 ноября 1913 г. Блок писал Скалдину: «Хотите прийти в понедельник (4-го) вечером? Будет еще кое-кто, но это не помешает нам уединиться и поговорить» (Письма Александра Блока. С. 188).

...связаны с иными лицами, о которых пока не следует говорить. Обычная для Скалдина «фигура умолчания», возникающая каждый раз, когда тема высказывания должна коснуться близких ему людей, в особенности семейства Вяч. Иванова.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Документы, дневниковые записи

ПРОТОКОЛ

Впервые (с купюрами): *Азадовский К. М.* Эпизоды / НЛО. № 10 (1994). С. 126. Публикуется по автографу — РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. № 1. Протокол — одна из страниц истории личного конфликта между Вяч. И. Ивановым, В. К. Шварсалон, С. К. Шварсалоном и М. А. Кузминым, получившего освещение в современном литературоведении (см. указ. статью К. М. Азадовского, а также: *Богомолов Н. А.* К одному темному эпизоду в биографии Кузмина // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15—17 мая Л., 1990. С. 166—169).

С. 404. *Шварсалон Сергей Константинович* (1887—?) — старший сын от первого брака Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Со Скалдиным Шварсалона связывала многолетняя дружба, его имя постоянно возникает в переписке Скалдина; в конце 1920-х — начале 1930-х гг., вероятно, Шварсалон привлек Скалдина к сотрудничеству в «Красной газете». Подробнее о Шварсалоне см. в примечаниях к указ. статье К. М. Азадовского.

Судейкин Сергей Юрьевич (1883—1946) — художник. После отъезда Ивановых за границу Кузмин некоторое время жил у С. Ю. Судейкина и О. А. Глебовой-Судейкиной по адресу: Рыночная (ныне Гангутская) ул., д. 16, кв. 10.

Залеманов (Зельманов) Александр Михайлович (1891—после 1929) — чиновник Отдела периодических изданий Министерства финансов, близкий в начале 1910-х гг. к литературным кругам. В советское время — инструктор Ленгубсуда, арестован в 1929 г. Был дружен с С. К. Шварсалоном, осенью 1912 г. проживал с ним совместно в доме на Васильевском острове. (Сведения заимствованы из указ. статьи К. М. Азадовского.)

...дуэльному кодексу Дурасова... Имеется в виду: *Дурасов В.* Дуэльный кодекс. СПб., 1908. Согласно этому кодексу, категорически запрещались дуэли между дворянином и простолюдином.

CURRICULUM VITAE

Публикуется по автографу из собрания анкет членов Саратовской Губернской ученой комиссии (Государственный архив Саратовской области. Ф. 407. Оп. 2. Ед. хр. 385. Л. 103). Без даты.

МАТЕРИАЛЫ ОБ АРЕСТЕ 1922 года

Скалдиновщина

Впервые: Саратовские известия. 1922. № 259 (12 ноября). После опубликования этой статьи в ноябре 1922 г. Скалдин был арестован. Его травля как управляющего театрами Саратова началась с осени 1922 г. Она была развязана режиссером театра им. Карла Маркса Разумовским и газетчиками исполкомовских «Саратовских известий» Зиновием Чаганом и Леонтием Котомкой. Так, в № 224 той же газеты в статье «О театральной политике в Саратове», где упоминается доклад Скалдина, в котором утверждалось, что сильные театральные труппы ликвидировали задолженность перед городом и государством, приводилось также высказывание Разумовского: «Нужен контроль, „коммунистическое око", которое наблюдало бы за театром», а в № 236 извещалось, что театр, руководимый Разумовским, вытребовал себе бесплатное автомобильное сообщение для доставки публики, чего не полагалось другим театрам. Мелкие распри из-за репертуара, популярность Скалдина, его культурно-идеологическая ориентация, которую разделяли далеко не все театральные и административные деятели, и привели к инспирированию уголовного дела против него. С апреля 1923 г. в Саратове начал выходить двухнедельный журнал сатиры и юмора «Метла». Издавался он все той же редакцией «Саратовских известий», и его главным редактором стал Леонтий Котомка, который именовал себя «ответственным метельщиком» (№ 1. С. 3). На задней стороне обложки первого номера была помещена карикатура на Скалдина: он был представлен в отвратительном образе доктора Мабузо, героя популярного одноименного романа Жака Норберта, демонического гипнотизера, подпись под рисунком: «А. Д. Скалдин». Далее следовал дважды повторенный вопрос: «Кто такой Скалдин-Мабузо?» и серия ответов, пародирующая уже завершившийся судебный процесс:

«Он — замечательный ученый!
Он — коллекционер!
Он — математический материалист!
Он — автор «Дон-Кихота № 2»!
Он — авантюрист!
Он — друг Уголовного Кодекса!
Он — гений!
Он — Хлестаков!
Он — все!»

С. 406. *«Четыре ах!»* Пьесу с таким названием найти не удалось. Возможно, имелся в виду водевиль XIX в. «Четыре вдруг».

«Город в кольце» — пьеса (1920) Сергея Константиновича Минина (1882—1962), посвященная обороне Царицына. Ставилась московским театром Революционной сатиры (1921), в Ярославле, Саратове (1922) и в Баку (1923).

Дело Скалдина

Впервые: Саратовские известия. 1923. № 66—69. Воспроизведено: Лица: Биографический альманах. Вып. 5. М.; СПб., 1994. С. 460—484. Судебное дело Скалдина в архиве Саратовского УВД не сохранилось, а тенденциозный газетный отчет — единственное свидетельство об этом процессе. Стараниями друзей — Ал. Чеботаревской, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова — и по прямому вмешательству А. В. Луначарского Скалдин был освобожден из тюремного заключения 27 августа 1923 г. и сразу же уехал из Саратова.

С. 407. *Калинин* А. П. — комиссар Саратовского практического института.

Соколов Борис Матвеевич — профессор, заведующий Этнографическим музеем Саратова, товарищ Председателя ИСТАРХЭТа. *Зенкевич Михаил* Александрович (1886—1973) — поэт и переводчик, со Скалдиным познакомился в 1917 г. в СДИ, в Саратове они организовали Союз поэтов, *Гумилевский Лев* Иванович (1890—1976) — прозаик, в 1922 г. издававший в Саратове журнал «Обозрение», за что был исключен из Союза литераторов 17 ноября 1922 г., «как издатель, преследующий цели наживы, и также как выпустивший статью-прокламацию, распространенную без цензуры» (Саратовский Центр документации по новейшей истории. Ф. 609 (Рабис). № 79. Л. 41) — друзья Скалдина. Их отсутствие на процессе, вероятно, мотивировано тем, что помочь подсудимому они не могли, а участвовать в позорном судилище не хотели.

Рыков Павел Сергеевич (1884—1942) — археолог, профессор, в Саратове появился в 1920 г. Заведовал кафедрой археологии Саратовского университета и Археологическим музеем. После ареста Скалдина стал заведовать Губмузеем.

Чернов Сергей Николаевич — профессор Саратовского университета по кафедре русской истории, выпускник Петербургского университета.

Тележников и Семечкин — работники Губполитпросвета. В ведении Семечкина были пропаганда, культура, образование.

Кожевников Александр Матвеевич — заведующий фондами Губмузея.

С. 409. *Прокофьев* (Прокопьев) Дмитрий Васильевич — хранитель Радищевского музея, с 1922 г. — заведующий музеем.

Советов Михаил Петрович — словесник, преподаватель Коммунистического университета, работник методической комиссии Губоно.

С. 411. *Гамаюнов* Федор Федорович и *Гришин* Никанор Степанович — служители Радищевского музея.

Сеземан Василий Эмильевич — профессор Саратовского университета по кафедре теории и истории искусства, ранее преподавал в Петербурге.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — религиозный мыслитель, историк культуры, член религиозно-философского кружка А. А. Мейера, на заседаниях которого бывал и Скалдин. С 1925 г. в эмиграции.

С. 412. *Баллод* Франц Владимирович — профессор, заведующий историко-художественным отделом ИСТАРХЭТа.

С. 413. *Франк* Семен Людвигович (1877—1950) — религиозный философ, в 1922 г. выслан в Германию.

В настоящее время рукописи ~ возвращены. По сведениям, полученным от сотрудников отдела редкой книги библиотеки Саратовского гос. университета, позднее, в 1930-е гг., рукописи Вл. Соловьева, в числе других ценных рукописных материалов, были затребованы и переведены в Москву.

Леонтьев Александр Владимирович — научный сотрудник Губмузея. Его брат Леонтьев Виктор Владимирович — исследователь памятников саратовской старины и живописец. С братьями Леонтьевыми Скалдин предпринимал экспедиции по Саратовской губернии с целью обследования памятников церковного деревянного зодчества и переписывался из Ленинграда до своего второго ареста.

С. 415. *Аскольдов* Сергей Алексеевич (наст. фамилия Алексеев; 1871—1945) — философ, литературовед, сын философа Алексея Александровича *Козлова* (1831—1901), профессора Университета Св. Владимира в Киеве, и автор книги об отце (Алексей Александрович Козлов. М., 1912).

Павел Флоренский, променявший... В действительности отец Павел Флоренский (1882—1937), не бывший монахом, даже начав работать в системе Главэлектро, оставался верным Церкви и продолжал носить одежду православного священника. См. об этом: *Андроник (Трубачев), игумен.* Предисловие // Священник Павел Флоренский. Детям моим... М., 1992. С. 7.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — литературовед, друг Вяч. Иванова и Ал. Чеботаревской, ценивший творчество Скалдина, часто читавшего свои произведения в его московском доме.

Лисенков Евгений Григорьевич (1885—1954) — искусствовед и поэт, заведующий отделом гравюр Эрмитажа, сотрудник Скалдина по СДИ. Стихи Лисенкова так же, как и Скалдина, печатались в «Альманахе Муз» (1916).

С. 416. *В 1915 году написал начало истории ~ германского флота за 25 лет.* Фрагмент этой работы опубликован: *А. С.* Страничка из истории английского и германского военных флотов // Отечество. 1915. № 13 (страницы не нумерованы).

Приговор произнесен
С. 420. *Леонтий Котомка* — член редколлегии газеты «Саратовские известия».

<СПРАВКА>

С. 421. Печатается по автографу из фонда Ал. Н. Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 152. Л. 30). Вероятно, здесь Скалдин использовал универсальную форму заявления для получения работы или денежного пособия.

ДОКУМЕНТЫ 1924–1932 гг. ИЗ ФОНДА ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Печатаются по подлинникам — автографы и машинопись (ИРЛИ. Ф. 291. Научно-техническая обработка фонда не завершена).

Протокол № 3
Машинопись с многочисленными пометами — свидетельствами того, что с документом работали люди в разное время: № 5 — после слов: *по линии научно-исследовательских организаций* вписано карандашом: *отсутствие четких идейных позиций*; на полях у № 9, 14, 25, 26, 32 карандашная помета — треугольник, у № 16 — кружок; № 12 — после слов: *не связанного* карандашом вписано: *последнее время*, на полях вписано: изменить оста<вить?>; № 15 — после слов: *как утратившего* карандашом вписано: *литературно-творческую*; № 18 — фамилия вычеркнута красным карандашом из списка, на полях: *оставить*; № 19 — слово *отбытием* вычеркнуто карандашом, вписано: *переведен*; № 20 — фамилия вычеркнута из списка красным карандашом, на полях: *оставить*; № 22 — фамилия вычеркнута красным карандашом; № 25 — слова *за выбытием* исправлены карандашом [*переводится*] *за переводом*; № 29 — на полях чернилами напротив фамилии поставлен вопросительный знак; № 33 — фамилия вычеркнута красным карандашом, на полях чернилами поставлен вопросительный знак. Во второй части вместо слова *исключить* вписаны варианты: [*считать выбывшими*], *подтвердить исключение из Союза*; фамилия *Клюева* вычеркнута красным карандашом, на полях чернилами поставлен плюс; имя *Алексеев Вл.* вписано карандашом.

С. 424. *Фроман* Михаил (наст. имя и фамилия Фракман Михаил Александрович; 1891—1940) — поэт. Во время перерегистрации во Всероссийском Союзе советских писателей, которая была запланированной «чисткой» и одним из следствий которой явился публикуемый «Протокол», — член правления Союза.

Слепнев Николай Васильевич (псевдонимы Николаев Н., Альдим Н.; 1902—?) — автор книг «Печать комсомола» (Л., 1924), «Самокритика в комсомоле» (Л., 1930) и др.

Бренев Николай Николаевич (псевдоним Черний В.; 1882—?) — прозаик, автор книг «Срочная любовь» (Л., 1927), «И он кричал» (Л., 1927), «Чудесная девушка» (Л., 1928), «Здесь — скарлатина» (Л., 1930) и др. Печатался в периодических изданиях: «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Солнце России», «Красный ворон», «Бегемот», «Пушка», «Красная панорама», «Огонек» и др.

Введенский Александр Иванович (1904—1941) — поэт, участник ОБЭРИУ. В анкете 1931 г. Всероссийского союза советских писателей написал, что ЛенОГИЗом и издательством «Молодая гвардия» издано до 20 его детских книжек.

33 Зак 3178

С. 424. *Владимиров-Венцель* (наст. имя и фамилия Венцель Владимир Николаевич; 1897—1958) — автор комедии «Званый вечер, или Погоня за коммунистом» (5-е изд., Л.; М., 1929), книги «Красноармейская эстрада» (Л., 1945) и др.

Воинов Владимир Васильевич (1882 (по др. данным 1878) — 1938) — автор романов, рассказов, стихов для детей, оперы-оратории «Фронт и тыл» (М., 1931) и пьесы (в соавторстве с А. Г. Чирковым) «Три дня» (Л., 1935).

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942) — искусствовед, литературный критик и поэт. Ко времени перерегистрации в ВССП выпустил более десяти книг.

Гросс Виталий Николаевич (1900—?) — художественный критик, очеркист. Составитель книг: «Город Ленина в социалистическом строительстве. Фото-книга» (М.; Л., 1931), «На большевистском пути: Сборник документов 1917 г. по истории Ленинградской организации ВЛКСМ» (Л., 1932).

Диксон Константин Иванович (1871—1942) — театральный критик, режиссер, очеркист, библиограф. Сотрудничал в периодических изданиях «Журнал для всех», «Мир Божий», «Новое слово», «Солнце России», «Русские ведомости», «Вестник Европы»; с 1925 г. — постоянный сотрудник журнала «Красная панорама».

Еленский Николай Октавиевич (1868—1939) — драматург, прозаик. За один только 1929 год в Ленинграде отдельными изданиями вышли его пьесы «Без благословения», «В двухнедельный срок», «Вредная болезнь», «Встряска», «Испытание», «Очень просто» (в соавторстве с В. А. Трахтенбергом).

Горелов Анатолий Ефимович (1904—1991) — литературовед, критик. Во время перерегистрации — журналист, работающий в журнале «Стройка» и, кроме того, печатающийся в периодических изданиях «Ленинградская правда», «Красная газета», «Смена», «Звезда» и др.

Купер Соломон Натанович (1896—?) — прозаик, печатался в журналах «Звезда», «На литературном посту» и др.

Исаков. Опечатка, надо Исков Борис Иванович (1881—?) — переводчик. Ко времени перерегистрации опубликовал переводы Г.-К. Честертона, Джона Рассела, А. Франса и др.

Ломакин Игнатий Семенович (1885—?) — прозаик и драматург, автор романа «Сквозь череп» (М., 1910), сборников рассказов «Гримасы жизни» (М., 1913), «Собственная жена» (Л., 1927), «Чужая шкура» (2-е изд. Л., 1927), «Идеал женщины» (Л., 1928) и др., пьес «На заводе» (Царицын, 1921), «Хозяин» (Л., 1926), «Бабьим умом» (Л., 1927), «За полмиллиона» (М.; Л., 1929).

Лукашевич Клавдия (наст. имя и фамилия Хмызникова Клавдия Владимировна; 1859—1937) — автор многочисленных повестей и рассказов для детей.

Майзель Михаил Гаврилович (1899—1937) — литературовед, автор книг «Страницы из революционной истории финляндского пролетариата» (Л., 1928), «Новобуржуазная литература» (Л., 1929), «Краткий очерк современной русской литературы» (Л., 1931).

Никонов Борис Павлович (1873—1950) — прозаик, автор романов «Золотой зверь» (Пг., 1915), «Поэт-булочник» (Л., 1927), «Глухая стена» (Л., 1928), повестей и рассказов.

Омельченко Александр Павлович (1872—?) — беллетрист и драматург.

С. 425. *Перельман* Яков Исидорович (1882—1942) — писатель, популяризатор научных знаний, один из основателей Дома занимательной науки. Его книги «Занимательная физика», «Занимательная математика» и др. выдержали десятки переизданий. Ко времени перерегистрации в ВССП его книг и брошюр вышло около сорока названий.

Поссе Владимир Александрович (псевдоним Новгородцев Л. В.; 1864—1940) — известный публицист. В документах ВССП 1931 г. по отношению к нему и некоторым другим литераторам старшего поколения фигурирует формулировка: «Не прошел перерегистрацию, но оставлен на довольствии Ленкублита как получающий персональную пенсию за литературные заслуги».

Правдухин Валериан Павлович (1892—1939) — прозаик, критик. Автор романа «Ялик уходит в море» (М., 1936). Во время перерегистрации в ВССП сотрудничал в журналах «Красная новь», «Сибирские огни» и др., выпустил книгу «Годы, тропы, рубцы» (Л., 1930). Позднее в соавторстве с Л. Сейфуллиной написал несколько пьес.

Пятницкий Константин Петрович (1864—1938) — один из основателей издательства «Знание» и его редактор. Во время перерегистрации в ВССП — персональный пенсионер, печатающийся в периодических изданиях: «Ленинградская правда», «Красная панорама», «Вечерняя красная газета» и др.

Рабинович Иосиф Яковлевич (псевдоним Ларин О. Я.; 1890—?) — юрисконсульт ВССП, автор статей о литературе и театре, печатавшихся в журналах «Современник», «Журнал журналов», «Заветы», во «Всеобщей газете» и других периодических изданиях.

Редько Александр Мефодьевич (1866—1933) — литературовед, литературный критик.

Редько Евгения Исааковна (урожд. Шефтель; совместные работы с А. М. Редько подписаны псевдонимом А. Е. Редько; 1869—1955) — литературный критик, автор книги «Женщины в „Народной Воле“ (по поводу 50-летия „Народной Воли“)» (Л., 1929).

Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878—1940) —музыковед.

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954) — прозаик; наибольшую известность получили ее рассказы и повести 1920-х гг., неоднократно переиздававшиеся: «Правонарушители» (1922), «Перегной» (1922), «Виринея» (1924).

Сковородников Николай Александрович (р. 1898—?) — прозаик, публиковавший свои рассказы в журналах «Резец», «Стройка», «Ленинград».

Соллертинский Иван Иванович (1902—1944) — музыковед. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. сотрудничал в советских и зарубежных периодических изданиях как критик и переводчик, подготовил ряд изданий для издательств «Academia» и «ГИХЛ».

Старк Эдуард Александрович (псевдоним Зигфрид; 1874—1942) — литературный критик и историк театра, автор книг «Шаляпин» (Пг., 1915), «Царь русского смеха К. А. Варламов» (Пг., 1916), «Старинный театр» (Пг., 1922), «Петербургская опера и ее мастера» (Л., 1940), а также серии очерков о музеях Петербурга и Москвы, печатавшихся в периодике.

С. 425. *Флит* Александр Матвеевич (1891 (по другим сведениям 1892) — 1954) — поэт-фельетонист и пародист, ко времени перерегистрации в ВССП — сотрудник «Красной газеты» и автор книги агитационных стихов «Необычайные похождения члена профсоюза» (Л., 1928).

Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт и прозаик, во время перерегистрации в ВССП сотрудник газет «Красная газета» и «Ленинские искры».

Хармс Даниил Иванович (наст. фамилия Ювачев; 1905—1942) — поэт, прозаик, драматург. Участник ОБЭРИУ. В декабре 1931 г. был арестован по подозрению в антисоветской деятельности.

Четвериков Борис Дмитриевич (псевдоним Четвериков Дмитрий; 1896—1981) — прозаик, поэт, драматург, публицист. 1920—1930-е гг. — период творческой и общественной активности писателя: вышло более 20 книг.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — поэт, драматург, переводчик, прозаик, мемуарист.

Клюев Николай Алексеевич — см. о нем на с. 507 наст. изд. 20 января 1932 г. правление Союза писателей предложило Клюеву подвергнуть его последние произведения «самокритике».

Алексеев Владимир Сергеевич (1903—1942) — сын философа С. А. Алексеева (Аскольдова), поэт, входивший в Ленинградскую Ассоциацию неоклассиков. Печатался в журнале «Красный студент» (1923), в газете «Красная звезда» и в ленинградских поэтических альманахах. Подробнее о нем см.: Из поэтического архива В. С. Алексеева / Публ. А. Л. Дмитренко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 403—430.

Бардовский Александр Александрович (1893—1942) — театровед, автор книги: «Театральный зритель на фронте в канун Октября» (Изд. Рус. Театрального Об-ва, 1928), пьесы «Вожатый» (<Б. м.>, 1936), театрализованных игр: «Бунт игрушек» (Л., 1925), «Да здравствует солнце!» (Л., 1929) и др.

Иванова-Чарская Лидия Алексеевна (псевдоним, который указан в анкете ВССП как подлинное имя, а в качестве псевдонима: Н. Иванова; наст. фамилия Чурилова; 1875 (по другим сведениям 1879) — 1937) — писательница, автор многочисленных романов, рассказов, повестей, сказок, стихов, в том числе детских. В других документах ВССП того же времени проходит в списках «не прошедших перерегистрацию, но оставленных на довольствии Ленкублита как получающий персональную пенсию за литературные заслуги».

Рашковский Натан Соломонович (псевдоним Лир; 1860—?) — публицист, журналист. В 1900 г. подвергся административной высылке. Печатался в журналах «Русское богатство», «Вопросы общественной жизни», «Восход» и др. Так же как и Чарская, был оставлен «на довольствии Ленкублита».

Синельников Исаак Михайлович (1905—?) — поэт, литературовед. Печатался в журналах «Ленинград», «Юный пролетарий», газетах «Транспорт», «Рабочий путь», сборнике «Эхо гудков» (Л., 1922).

Слепцова Мария Николаевна (псевдонимы Корсунский П., Деполович П.; 1861—1951) — детская писательница. Автор книг «В поисках за бессмертием» (СПб., 1910), «Откуда взялись камни на наших полях» (М.; Л., 1927) и др. Ко времени перерегистрации членов ВССП являлась «персональной пенсионеркой за личные заслуги» и поэтому оставлена «на довольствии Ленкублита».

Туфанов Александр Васильевич (1877—1941) — поэт, создатель теории зауми, оказавший влияние на А. И. Введенского и Д. И. Хармса. В 1931 г. был арестован по обвинению в контрреволюционном заговоре.

Фортунато Евгения Ивановна (наст. фамилия Власова; 1875—1968) — писательница, автор «романа из эпохи освобождения крестьян» «Долой рабство!» (Пг., 1916) и сборника рассказов «Змеиная сила» (СПб., 1907). Печаталась в журналах «Звезда», «Вокруг света» и др.

Шмерельсон Григорий Бенедиктович (1901—1943) — поэт, автор книг «Длань души» (Н.-Новгород, 1920) и «Города хмурь» (Пб., 1922).

В РО ИРЛИ сохранился черновик протокола заседания Комиссии по перерегистрации членов ЛО ВССП от 4 июля 1931 г., в котором фамилия Скалдин фигурирует в рубрике «Выяснить». Напротив фамилии — карандашная помета «Вывести».

МАТЕРИАЛЫ ОБ АРЕСТЕ 1933 года

Печатаются по архивному делу ОГПУ № 36227. Комментатору оказались доступными только тома 1 и 5 этого следственного дела (№ 169—33 г.), в которых наряду с некоторыми другими содержатся показания Скалдина, обвинительные заключения и приговоры всем обвиняемым.

В январе—марте 1933 г. было сфабриковано «Дело Ленинградской Областной эсеровско-народнической контрреволюционной организации», по которому проходило 763 человека: сотрудники Всесоюзного института защиты растений и других институтов, связанных с сельским хозяйством, учителя школ и преподаватели техникумов, литераторы, работники библиотек и издательств Ленинграда и области. Разветвленная контрреволюционная организация якобы состояла из следующих формирований: Идейно-организационного центра, в который входили Иванов-Разумник, Н. В. Брюллова-Шаскольская, А. А. Гизетти, Д. М. Пинес, А. И. Байдин; Практического центра и связанных с ними более ста ячеек, в том числе «кружка народнической литературной молодежи» и «ячейки народнической интеллигенции», «которую создали Г. М. Котляров, А. Д. Скалдин, Я. П. Гребенщиков, Б. П. Брюллов, Н. П. Катков, Б. А. Розов». Показания многих подследственных, данные сразу после ареста, отличались пространностью: очевидно, что от допрашиваемых требовали назвать как можно больше имен, и с этой стороны содержание показаний за подписью «Скалдин» не представляет собой исключения. Так, Д. Е. Максимов, тоже причисленный к «кружку молодежи», вынужден был обозначить в показаниях имя своего старшего брата, филолога В. Е. Евгеньева-Максимова, А. Н. Егунов — имена А. И. Доватура, М. М. Калаушина, Б. Я. Бухштаба. В своих показаниях старшие участники процесса, уже прошедшие тюрьмы и ссылки (Иванов-Разумник, Брюллова-Шаскольская, Гизетти, А. Мякотина — хранительница архива Петроградского комитета партии социалистов-революционеров, и др.), склонялись к большей декларативности, к обоснованию своих политических и экономических позиций, несогласия с правящей властью.

Заметно, как в течение трех месяцев следствия стиль показаний разных участников процесса однонаправленно менялся: протоколы становились короче, все более похожими из-за повторения одних и тех же политически жестких формулировок. Последние показания, от 10 апреля, даже написаны не Скалдиным, а, вероятно, следователем, — от Скалдина потребовалась только подпись.

Лица, причисленные к «ячейке народнической интеллигенции», обвинялись в том, что они

«а) состояли членами контрреволюционной группировки народнической интеллигенции, организованной идейно-организационным центром контрреволюционной эсеровской народнической организации;

б) устраивали совместно с членами „идейно-организационного центра“ Иванова-Разумника и Брюлловой-Шаскольской на квартирах последних совещания, на которых обсуждали вопросы текущей политики в духе контрреволюционных программных и тактических установок центра;

в) проводили эсеровско-народническую пропаганду, используя в этих целях подведомственные членам группировки библиотеки и литературные произведения членов группировки.

Означенные преступления предусмотрены ст. 58—11 УК» (Т. 5. Л. 397).

Большинство осужденных, в том числе и Иванов-Разумник, были приговорены к ссылке на три года в Западную Сибирь, около 20 человек высылались в Казахстан, кто на три года, кто на пять лет. Скалдин, Гребенщиков, Котляров получили максимальные сроки высылки в Казахстан.

Протоколы допросов Иванова-Разумника и другие материалы по этому следственному делу, частично использованные в настоящем комментарии, опубликованы В. Г. Белоусом: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 473—492.

С. 431. *Иванов-Разумник* (наст. имя и фамилия Иванов Разумник Васильевич; 1878—1946) — историк русской общественной мысли, публицист, литературный критик. Дружеские отношения и переписка связывали Иванова-Разумника и Скалдина до ареста последнего в октябре 1941 г.

Пинес Дмитрий Михайлович (1891—1937) — ученый секретарь петроградской Вольной философской ассоциации (1922—1924), историк литературы, библиограф. В Вольфиле Скалдин в 1924 г. выступал с докладом (см. с. 506 наст. изд.), там и состоялось их знакомство, продолжившееся в доме Иванова-Разумника.

Брюллова-Шаскольская Надежда Владимировна (1886—1938) — литератор, этнограф. В партии социалистов-революционеров с 1910 г. В 1915 г. окончила Петербургский университет. С 1922 по 1925 гг. находилась в административной ссылке в Ашхабаде, затем с 1925 по 1929 г. — в Ташкенте. Достаточным поводом для ареста некоторых лиц, проходящих по «делу Иванова-Разумника», стала одна встреча с Брюлловой-Шаскольской, на которой она рассказывала о своей ссылке и поселении.

Прибылев Александр Васильевич (1857—1936) — народоволец, член партии эсеров; в 1920-е гг. член общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, жил в доме ветеранов революции в Детском Селе.

Петров-Водкин Кузьма (Козьма) Сергеевич (1878—1939) — художник, прозаик, один из учредителей Вольфилы.

Спасский Сергей Дмитриевич (1898—1956) — поэт и прозаик, печатавшийся с 1912 г. во множестве альманахов, в том числе и в «Альманахе Муз» (1916), где помещена подборка стихов Скалдина. Ко времени ареста автор книг «Как снег» (М., 1917), «Земное время» (М., 1926) и др.

Куклин Георгий Осипович (1903—1939) — писатель. Ко времени ареста автор детских книг «Деревенские ребята» (Л., 1926), «Ребята и кони» (Л., 1929), «Игренька» (Л., 1929), романов «Краткосрочники» (Л., 1929), «На гора» (Л., 1932) и др. произведений.

Швецов Сергей Порфирьевич (1858—1930) — народоволец, писавший о себе в анкете ВССП (ИРЛИ. Ф. 291): «тюремно-ссыльный стаж — 25 лет»; автор ряда книг по статистике, экономике, этнографии, а также публицистических статей.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — прозаик, друг Иванова-Разумника, который дал развернутую оценку творчества Пришвина в статье «Великий Пан» (1911). В 1917 г. Пришвин выступил в правоэсеровской газете «Воля народа» с остроумными заметками о большевистском перевороте, а 2 января 1918 г. был арестован ЧК и провел две недели в заключении.

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — прозаик. До войны жил в Детском Селе, по пятницам у него собирались друзья — писатели и музыканты. Сохранилось письмо 1929 г. Шишкова Скалдину с благодарностью, вероятно, за наведение справок (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Ед. хр. 96).

Котляров Георгий Михайлович (1883—1938) — историк; в 1918—1919 гг. — директор Царскосельского реального училища; с 1930 г. — заведующий Русским отделением Библиотеки Академии наук. В 1937 г. вторично был арестован и выслан по этапу. 31 марта 1938 г. умер от гангрены (подробнее о нем см.: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 473 и по указателю имен).

Леткова-Султанова Екатерина Павловна (урожд. Леткова; 1856—1937) — писательница, общественный деятель.

Богданов Алексей В. (ум. до 1933) — поэт, член «Союза свободных людей». В РГАЛИ хранится письмо Богданова Скалдину от 7 марта 1930 г. с приложением его стихотворения «Ослиный холод», посвященного Скалдину (РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Ед. хр. 37).

С. 431. *Колобова Ксения Михайловна* (1905—1977) — историк античности, ученица Вяч. Иванова. С 1932 г. — преподаватель кафедры истории Древней Греции и Рима Ленинградского государственного университета. Со Скалдиным ее связывала близкая дружба. Отношения не прерывались до его последнего ареста.

Вейсберг Юлия Лазаревна (1879—1942) — композитор, супруга А. Н. Римского-Корсакова. Во время ссылки Скалдина, после смерти Елизаветы Константиновны, их девятнадцатилетняя дочь Марина год жила в семье Римских-Корсаковых. Имя Юлии Лазаревны встречается на страницах ее дневника.

С. 432. *Альтман Моисей Семенович* (1896—1986) — исследователь русской и античных литератур; в 1920—1923 гг. учился в Азербайджанском государственном университете на историко-филологическом факультете, где в то время преподавал Вяч. Иванов; в 1942—1944 гг. отбывал заключение по политическому обвинению, реабилитирован в 1955 г.

Харазов Георгий Артемьевич (ум. 1931?) — математик, в начале 1920-х гг. профессор Бакинского политехнического института, в 1928 г. — старший сотрудник сектора естественных и точных наук Комакадемии в Москве. Подробнее о Харазове и литературе о нем см.: *Альтман М. С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. Комментарии. С. 172—173 и по указателю имен.

...читал свою книгу о нечаевце Прыжове и Достоевском. Имеется в виду кн.: *Альтман М. С.* Иван Гаврилович Прыжов. <Б. м.>, 1931.

«Земля Каанама», «Женихи» — утраченные произведения Скалдина.

Георге Стефан (1868—1933) — немецкий поэт-символист. Наиболее известные к тому времени переводы его произведений — «Современные немецкие поэты в переводах В. Эльснера» (М., 1913).

Райнер Мария Рильке (1875—1926) — австрийский поэт.

Вальтер Рейнгольд — см. о нем с. 474 наст. изд.

С. 432. *Грегер Вольфганг* — переводчик русской литературы. Поэма Блока «Двенадцать» вышла в его переводе в Германии (*Groeger E. von.* Die Zwolf. Berlin: Neva — Verlag, 1921). В 1920-е гг. издавал серию «Русская революция в зеркале литературы».

Альтман Софья Семеновна (1909—1990).

С. 433. *...через Андрея Белого... остановился в Царском Селе у Разумника.* Андрей Белый гостил у Иванова-Разумника в Царском Селе с 30 января по 8 марта 1917 г.

С. 434. *Витязев-Седенко Ферапонт Иванович* (наст. фамилия Седенко; 1886—1938) — историк, библиограф, издатель.

Княжнин-Ивойлов Владимир Николаевич (наст. фамилия Ивойлов; 1883—1942) — поэт, критик, библиограф. Знакомство Скалдина с ним относится к 1909 г. и состоялось, вероятно, на «Башне» Вяч. Иванова. В дальнейшем Скалдины и Ивойловы дружили семьями (см. письма Скалдина Ивойлову — ИРЛИ. Ф. 94. Ед. хр. 66).

Мстиславский Сергей Дмитриевич (наст. фамилия Масловский; 1876—1943) — публицист, прозаик, соредактор Иванова-Разумника по журналу «Заветы» и сборникам «Скифы», деятель Партии социалистов-революционеров.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — народоволка, общественный деятель, литератор. Принимала активное участие в ходатайствах по политическим процессам 1920—1930-х гг.

...свою лирическую повесть об интеллигенте... Вероятно, речь идет о произведении С. Д. Спасского «Дорога», которое в начале 1930-х гг. собиралось опубликовать издательство «Федерация» (см. об этом в писательской анкете Спасского — ИРЛИ. Ф. 291).

...Клюев читал у Разумника свою «Погорельщину»... О тогдашнем восприятии Клюева и его поэмы «Погорельщина» см. в книге Иванова-Разумника «Писательские судьбы» («Николай Клюев»). В протоколе Скалдина повторена принятая тогда официальная оценка. Ср. в показаниях Д. Е. Максимова: «...был приглашен кулацкий поэт Клюев, который прочел свою контрреволюционную поэму „Погорельщина“» (Т. 5. Л. 373).

Сюннерберг Константин Александрович (псевдоним Константин Эрберг; 1871—1942) — критик, поэт, переводчик. Скалдина с Эрбергом связывала, кроме перечисленных в протоколе обстоятельств, работа в Вольфиле.

С. 436. *Байдин* Алексей Иванович (1884—1937?) — эсер, кооператор. По происхождению крестьянин. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства в Московской губернии. До ареста работал библиотекарем в сельхозинституте в Детском Селе.

С. 437. *Гизетти* Александр Алексеевич (1888—1938) — литературный критик, публицист, член совета петроградской Вольфилы. По происхождению дворянин, в партии социалистов-революционеров с 1907 г. Был членом Учредительного собрания от Витебской губернии. Во время следствия отбывал ссылку в Коканде, служил там в межрайонном музее. Был арестован и отправлен из Ташкента в Ленинград спецконвоем.

Розов Борис Андреевич (1881—?) — литератор. Во время процесса Б. А. Розову пришлось давать показания против себя, написанные таким убогим слогом, за которым легко угадывается диктовка следователя: «Я выпустил в изд<ательст>ве „Мысль“ роман „После бури“, конфискованный цензурой после его выпуска из типографии. Этот роман устроил в издательство и

редактировал Иванов-Разумник. В романе, в котором описывается деревня, апологетируется единоличное хозяйство, расцвет последнего при условии отсутствия по отношению к крестьянству мер принудительного характера. Роман пропагандирует народнические идеи.

В самые последние годы я работал над романом „Жизневоды", идеологически враждебным современному политическому строю. Этот роман отражает мои мировоззренческие установки. В судьбе этого романа Иванов-Разумник принял горячее участие, давая мне указания по поводу его содержания. Для устройства этого романа в печать Иванов-Разумник направил меня к завед<ующему> из<дательс>твом „Колос" эсэру Витязеву-Седенко, к которому я ездил для встречи в Москву» (Т. 5. Л. 160).

Брюллов Борис Павлович — преподаватель искусствоведения в Санкт-Петербургском университете, автор статей об эволюции архитектуры, исторических памятниках Ленинграда и его окрестностей в «Путеводителе по Ленинграду» (Л., 1933).

Катков Николай Петрович (1893—1973) — литератор, автор книги рассказов «Рясная ягода» (Л., 1928) и исторической повести «Сын рыбака» (М.; Л., 1929).

Гребенщиков Яков Петрович (1887—1935) — библиограф, сотрудник Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. Отец Гребенщикова был народным учителем, репрессированным органами ГПУ в 1924 и в 1928 гг. Яков Петрович, проходя по делу Иванова-Разумника, «виновным признал себя частично, но изобличается показаниями обвиняемых» (Т. 5. Л. 397). Так же как и Скалдин, был приговорен к пяти годам концлагеря, замененным ссылкой в Казахстан на тот же срок. Проживал в Алма-Ате в одной комнате со Скалдиным. В 1934 г. тяжело психически заболел и вскоре умер.

ФРАГМЕНТЫ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ 1934–1941 гг.

Печатаются по автографам (ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 514. Л. 1—19). Дневники Скалдин вел во время ссылки регулярно, и они были подробными, о чем свидетельствует четырехзначная авторская нумерация на случайно сохранившихся разрозненных листах из большеформатных («амбарных») книг. Часть листов представляет собой фрагменты текста, что оставляет неясным — именно их хотели сохранить или уничтожить текст, соседствующий с оставленным. Дошедшие записи разноплановы: бытовые зарисовки из жизни тогда глухого провинциального города — Алма-Аты, впечатления от просмотренных фильмов и дискуссий, развернувшихся на страницах столичных газет, фиксация черт характеров окружавших Скалдина людей, воспоминания, рефлексия, беллетризованные заготовки для будущих произведений. Имен людей, близких литературным кругам, в этих фрагментах крайне мало. Возможно, их было немного и во всех дневниках, мог сказаться опыт двух арестов и, как следствие их, необходимая осторожность.

С. 438. *К.* — Константин Гангоев, первый муж Нины Владимировны Соколовой (1914—1996), последней возлюбленной Скалдина, матери его дочери Миры.

Люба — старшая сестра Н. Соколовой, первая жена Василия Пудовкина, ставшего после ее самоубийства мужем Нины.

...над заглавием новеллы о черте... В письме к Иванову-Разумнику (июнь 1941 г.) Скалдин называет эту новеллу «Неизвестный перед святыми отцами». Утрачена.

С. 439. *«Частная жизнь Петра Виноградова»* — фильм о советской молодежи (1934 г., на экраны вышел в мае 1935 г.; режиссер — А. Мачерет, в главной роли — Б. Ливанов).

С. 440. *«Новый Гулливер»* — полукукольный-полуигровой сатирический фильм, направленный против фашистских режимов (1935 г.; режиссер — А. Потушко, в главной роли — В. Константинов).

Аристипп — ироническая ассоциация с Аристиппом из Кирены (ок. 435—ок. 355 до н. э.) — древнегреческим философом-идеалистом, сторонником гедонизма.

«Вопросы Ленинизма» Сталина. Упоминание книги И. В. Сталина не становится датирующим признаком дневниковой записи, так как в период с 1931 по 1941 г. она переиздавалась ежегодно.

...на костылях... — Скалдина Александра Николаевна (1857/1858—1942) была инвалидом: попала под трамвай, вследствие чего ей ампутировали ногу.

Отец — Дмитрий Андреевич Скалдин (1856?—1918).

С. 441. *Юрий* — Георгий Дмитриевич Скалдин (1891—1951) — младший брат А. Д. Скалдина, малоизвестный художник, работал как книжный график в ленинградских издательствах.

Торгсин — торговля с иностранцами на золото и валюту в период нэпа.

С. 442. *Elsbete* — Елизавета Константиновна Скалдина (см. о ней на с. 469 наст. изд.).

Египетские ворота — ворота при въезде в Царское (Детское) Село, построены в 1827—1830 гг. по проекту А. А. Менеласа. Рестав-рация их чугунной обшивки и чугунной скульптуры была проведена в 1934 г. В 1937 г. зафиксировано в документах их окрашивание, предпринятое, вероятно, в связи с пушкинским юбилеем.

Недоброво Николай Владимирович (1882—1919) — поэт, стиховед. Друг Скалдина и авторитетный для автора критик его поэтических произведений.

Ксения — Ксения Михайловна Колобова (см. о ней на с. 519 наст. изд.).

С. 443. *Нина Николаевна Шишкина* — об этой знакомой Скалдина сведений найти не удалось.

Лидия Александровна Гуляева — дочь профессора Бакинского университета А. Д. Гуляева, знакомая Скалдина из круга Вяч. Иванова. Сохранилось письмо Л. А. Гуляевой к Вяч. Иванову от 20 января 1925 г., в котором она пишет о Скалдине: «...Думаю о чем хочется и как хочется, и помогает мне думать „милый Алеша Скалдин“, который мне пишет изредка большие и умные письма. (Он теперь в Ново-Николаевске на службе; семья его здесь.) Много пишет мне о Боге, но путь, который он мне предлагает, чтоб прийти к Нему — неверен. Вы недаром прозвали меня бесенком; ангельские пути к раю для меня во всяком случае закрыты» (Архив Вяч. Иванова в Риме).

Лидия Константиновна Чичагова (Гребенщикова; 1899—1942) — жена Я. П. Гребенщикова (см. о нем на с. 521 наст. изд.). Как и муж, работала в Публичной библиотеке в Ленинграде. Умерла в блокаду.

«брассам Тоисской Венере». Точно установить, о чем идет речь, не удалось. Возможно, имеется в виду Венера палаццо Браски — скульптура, хранящаяся ныне в Мюнхене.

Лидия Дементьевна Баранова — вероятно, тоже жена ссыльного.

С. 444. *...статьи о постройке «Дворца Советов» в Москве...* Идея постройки Дворца Советов широко обсуждалась в прессе начиная с 18 июля 1931 г., когда в газете «Известия» был объявлен конкурс проектов.

Нинон де Лапхло — описка, имеется в виду Нинон де Ланкло, известная парижская куртизанка XVII в.

С. 445. *Ина* — Инесса (р. 1938), дочь Нины Владимировны Соколовой и Василия Александровича Пудовкина.

...все тем же прихлебателем. Несколько лет Скалдин жил в одной комнате с супругами Н. В. Соколовой и В. А. Пудовкиным.

...из окна комнаты брата... Г. Д. Скалдин с женой Серафимой Семеновной Акимовой жили до и после Великой Отечественной войны в Доме ученых (Ленинград, ул. Халтурина, д. 27, кв. 43).

С. 447. *Беклин Арнольд* (1827—1901) — швейцарский живописец, повлиявший на формирование немецкого символизма и югендстиля.

МАТЕРИАЛЫ ОБ АРЕСТЕ 1941 года

Получены в копиях и в виде официальных писем — ответов на запросы в государственные органы Республики Казахстан в 1993—1995 гг. Хранятся в личном архиве составителя.

С. 455. *Гринберг* Наталия Константиновна (р. 1940) — дочь Марины Рейнгольдовны Вальтер, внучка А. Д. Скалдина.

С. 456. *Матяш Светлана Алексеевна* (р. 1939) — литературовед, в 1990-х гг. жила и работала в Казахстане, по просьбе автора комментария обращалась с запросами в различные республиканские инстанции.

С. 457. *Свидетельство о смерти* — подлинник заполнен на двуязычном бланке (казахском и русском).

Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛАХ И АЛЬМАНАХАХ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ
(Из первого собрания)

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ
(Из второго собрания)

СТИХИ ИЗ ДРУГИХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

ПРОЗА

СТАТЬИ

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Документы, дневниковые записи

А. Д. Скалдин

Стихи
Проза
Статьи
Материалы к биографии

Редактор *Е. Д. Светозарова*
Художник *В. Д. Бертельс*
Корректор *О. Э. Карпеева*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*

Лицензия: код 221,
Серия ИД, № 02262 от 07.07.2000 г.

Подписано к печати 15.03.2004 г. Формат $70 \times 100^1/_{16}$. Гарнитуры Petersburg, Text Book.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 3178.

Издательство Ивана Лимбаха.
197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5.
E-mail: limbakh@comset.net
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН.
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 5-89059-047-2

